А.С.Грин

А.С.Грин

3



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

А. С. Грин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

РАССКАЗЫ
1917-1930
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р
Г85

Составление с научной подготовкой текста
В. РОССЕЛЬСА

Примечания
А. РЕВЯКИНОЙ, Ю. ПЕРВОВОЙ

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

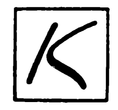
Г $\frac{4702010201-241}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01611-X (Т. 3)
ISBN 5-280-01609-8

РАССКАЗЫ
1917-1930

КАЖДЫЙ САМ МИЛЛИОНЕР

I



огда Скоков пришел к полному, тысячу раз проверенному убеждению, что такому заурядному, как он, такому незначительному, *тихому* человеку суждено до конца дней служить в канцелярии на семидесяти пяти рублях жалованья, он наметил для себя в будущем некий торжественный и блестящий скачок.

«Скачок» этот заключался в следующем: Скоков решил ровно десять лет быть скупым, жить впроголодь, спать в собачьем углу, но зато, скопив ровно десять тысяч рублей, истратить их в 24 часа на роскошь, еду, напитки, развлечения, женщин и цветы — с такой же легкостью и сознанием силы денег, какие присущи миллионерам.

Вознаградив себя таким образом за все лишения и будущего и прошлого, Скоков рассчитывал еще получать с этого «капитального» дня проценты: воспоминания.

Один сказочный день наслаждений он ставил центром, смыслом и целью жизни.

Не будем судить его слишком строго.

Вероятно, этот человек был очень обделен всем, наверное, он читал только в книгах о званых обедах, любви, путешествиях и алмазах.

У него не было ничего, он же хотел всего.

Мы знаем людей с меньшей напряженностью мате-

риальных желаний, добившихся большего, чем хотели, пресыщающего благополучия.

Несчастье Скокова заключалось в том, что он был наделен огромным пассивным упорством в противовес упорству активному, он мог лишь сгустить и придержать то, что есть, добывать и бороться было не в его характере.

Во всяком случае, человек этот наметил себе определенную ясную цель, не лишенную некоторой поэзии («загреметь на миг»), чем похвастаться может далеко не всякий.

Скоков жил в отгороженном углу грязной, сырой мансарды и за такое помещение платил три рубля в месяц.

Мебель Скокова выражалась числом 3: стол, койка и табурет.

Белье Скоков стирал сам по воскресным дням, покупая кипяток в соседнем трактире.

Он не курил, не пил ни чая, ни кофе — ничего, кроме воды.

Его пищу — раз в день — составлял двухфунтовый хлеб с небольшим количеством масла или картофеля.

На керосин и свечи не истратил он даже копейки,— летом темнело поздно, а зимой он просиживал вечера в дешевом кафе, не требуя ничего, кроме газеты.

Лакеи считали его безобидным помешанным.

Раз в месяц он мылся в бане за гривенник.

На белье, одежду и сапоги, все вместе, он тратил ровно сорок рублей в год, считая это ненужной ему лично, но необходимой для службы роскошью.

Покупая за бесценок у торговцев старьем ношеные, в дырах и пятнах вещи, Скоков пускал в ход иглу, бензин и чернила, с помощью которых вдохновенно отремонтированные брюки и пальто принимали терпимый вид.

Воротнички и манжеты он искусно вырезал сам из толстой атласной бумаги, похищаемой из канцелярии.

Галстухи сшивал он из обрезков цветного ситца.

Ко всему этому прибавим, что Скоков передвигался только пешком, не посещал ни кинематографов, ни театров и не покупал газет.

8-го ноября 19... года Скоков отнес в банк свое первое месячное накопление: 65 рублей 17 коп.

С небольшими отступлениями от названной цифры сумма эта вносилась им первого числа каждого месяца в течение десяти лет, и к тому дню, когда мы застаем его накануне кануна великолепного торжества жизни, равного по исключительности разве лишь брачному экстазу пчелы-трутня, погибающего за миг любви, или волнению астронома, исследующего комету с сорокалетней орбитой,— вклад Скокова равнялся девяти тысячам восьмистам двум рублям.

Накануне кануна Скоков взял пятидневный отпуск.

В этот же день он вынул из банка все деньги и запер их в своем крошечном сундуке.

Сделав это, он поцеловал ключ и, подойдя к окну, долго смотрел влажными от волнения глазами на белый снег, белые крыши, белые деревья и черное зимнее небо.

II

Следующий день — канун — Скоков намеревался употребить для приготовлений: оповестить и пригласить сослуживцев, снять целиком ресторанный зал с кабинетами, потревожить портных, цветочные магазины, дорогих кокоток,— вообще выполнить все необходимое кутящему миллионеру.

В такой день он не только не хотел жалеть деньги, но не хотел даже, чтобы осталась хоть копейка.

Пока мысли его бродили среди двадцатичетырехчасового праздника наслаждений, в них замешалась одна мысль, к которой скоро обратилось все внимание Скокова.

Мысль эта, очень простая, была такова: как примет организм после десятилетнего истинно аскетического образа жизни такое нагромождение чувственных восприятий. Все обилие тонких, жирных, вкусных, преимущественно рыбных и мясных, яств? Море вина? Женские объятия? Напряженное волнение музыки? Запах и блеск цветов? Наконец, сытость внутреннюю, усиливающую возбуждение?

Скоков серьезно задумался.

— А вдруг,— сказал он,— вдруг все это именно в силу потрясающего изобилия, обрушившегося на голод-

ное тело, произведет нестерпимо тягостное нервное впечатление?

Он сидел на сундуке с деньгами и думал.

Понемногу настоящий страх охватил его,— то, к чему он привык за десять лет нищеты,— черный хлеб, тьма и уныние,— могли встать между ним и вожделенными наслаждениями, как спазма.

Если его желудок откажется принимать мясо, вино, фрукты,— к чему десять тысяч и все затеянное?

Скоков испугался возможного разочарования. Душа его встрепенулась.

Стемнело, как всегда в зимний день, рано, и долгое сидение в темноте вызвало глухую тоску.

Наконец, после долгого колебания, Скоков решил сегодня произвести *репетицию*: коснуться, хотя слегка, той радужной области наслаждений, которые подготовлял так терпеливо и долго.

Он хотел испытать себя.

Взяв из сундука десять рублей, он по привычке бережно сложил бумажку вчетверо, глубоко засунул ее в карман, оделся и вышел.

Он был на улице.

От одной мысли, что *теперь* свободно и просто может зайти в любой ресторан, как умеющий и любящий пожить человек, сердце его забилось так сильно, как у других бьется перед свиданием.

У освещенных дверей «Золотого якоря» он остановился, дрожа, подобно гимназисту, обуреваемому стыдом и желанием, когда на скопленные тайком деньги, переодетый, спешит он первый раз в жизни к продажной женщине и, позвонив у красного фонаря, бледнеет от внезапной слабости, от страха, от желания и от ненависти к желанию, заставляющему так страдать.

Волнуясь, Скоков вошел, разделся и, чувствуя себя уже немного пьяным от света, звуков оркестриона и белизны столового белья, уселся.

Подумав, он заказал три блюда: мясное, рыбу и сладкое.

Затем потребовал бутылку пива и полбутылки красного вина.

Он сознавал, что действует, как во сне.

Контраст с прежним образом жизни был колоссален.

Выпив стакан пива, он нашел этот напиток сам по себе огромным, неисчерпаемым наслаждением.

Он был очень нервен и потому не опьянел сразу, но взвинтился и пободрел.

В течение двух часов он пережил следующее: сложный аромат горячего мяса, который был им совершенно забыт, вкус этого мяса, совершенно необыкновенный, поразительный и волшебный; запах и вкус рыбы, тонкая поджаренная корочка которой вызвала слезы на его глазах, и обаяние крема, запитого тепловатым, с привкусом ореха, вином.

Его настроение было настроением полного животного счастья.

Желудок принимал все с жадным содроганием настоящей страсти.

Вино оглушало, усиливая звуки оркестриона, придавая им пьяную бархатность и чувственную поэзию.

Улыбаясь, к Скокову подошла и подсела самая обыкновенная ресторанная девушка.

Она была для него самой лучезарной красавицей мира.

Он заговорил с ней, выпил еще, опьянел совершенно и был увлечен женщиной в картинно-зеркальный кабинет,— часть неведомого дворца, как показалось ему.

Он говорил без конца и, главное, о том, что вот он наконец счастлив. Он сыт, пьян, с ним фея.

И он действительно был абсолютно лишен теперь всяких желаний. *Даже этого* было довольно, чтобы после десяти мрачных лет голодания, холода и мечтаний все это показалось (и явилось) действительно венцом наслаждений.

Наконец он уснул.

Утром он вспомнил все, что было вчера, вспомнил, как собирался прожить завтра сутки миллионером, и горько заплакал.

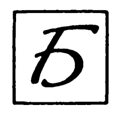
Ему жаль было этих десяти лет, ведь в них он мог получить то несложное счастье, о котором думал так много и представлял его в наивысшем воплощении — земным раем.

Увы, Скоков! Жизнь, как девушка, «которая, будь она самой красивой, не может *дать* больше, чем то, что у нее есть».

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»

Слово не воробей,
вылетит — не поймаешь.

I

ольная девушка лежала на спине, укутанная по самый подбородок меховым одеялом. Черное ночное окно отражало красноватый огонь лампы. По закопченным стенам хижины висели пробочные балберки, грузила, остроги, мережки, удочки и другие рыбные снасти. Над изголовьем больной, прикрепленная шпилькой, виднелась вырезанная из журнала картинка, изображавшая молодого человека в плаще, отбивающего нападение разбойников.

Услышав за окном шаги, девушка приподнялась на локте. Это, видимо, стоило немалых усилий ослабевшему телу, так как брови ее, поднявшись и морщась, выразили мучение. Глаза, однако, светились оживлением.

— Ну что? — спросила она, прежде чем вошедший успел закрыть дверь.— Дали тебе «Звезду»?

— Не прыгай, Дзета,— сказал старик Спуль, отставляя в угол ведерко с пойманной рыбой.— Валяйся себе потихоньку.

— Ты просто невыносим, отец,— сказала девушка. Углы ее рта вздрогнули, а обнажившаяся рука нервно потянула одеяло.— Не понимаю, зачем меня нужно дразнить! Есть или нет? Скажи честно!

— Чего честнее,— захохотал Спуль, торжественно замахиваясь, как мечом, длинной желтенькой бандеролью и бережно подавая ее томящейся руке дочери.— Почта запоздала, видишь ли, на неделю, потому что...

Дзета уже не слушала. Она попробовала разорвать бандероль, но, ослабев, в изнеможении, с закружившейся головой откинулась на подушку, крепко зажав в худеньком кулаке драгоценный журнал.

— Эй, старуха,— тревожно сказал Спуль,— тебе ведь спички не переломить, а туда же... Пусти-ка, я сам.— Он взял у дочери «Звезду», помусолил палец и, словно вспарывая рыбу, произвел весьма чинно на столе деликатную операцию открытия бандероли.

Затем Спуль приступил к делу.

— Посмотри прежде «Эмиля и Араминту»,— тревожно сказала Дзета.— Должно же быть наконец продолжение. Не могу же я верить до бесконечности. Ведь вот полгода прошло, как сама я прочла... помнишь? После того, где Эмиль сказал Араминте: «Ты, дорогая, не беспокойся. Я возвращусь, и мы будем счастливы». Да, так там ведь напечатано внизу: «Продолжение следует».

Она взволновалась, как бы предчувствуя, что и на этот раз ожидания ее будут обмануты.

Пока девушка говорила, старик осторожно перевертывал страницы, опасливо приглядываясь к каждому заголовку. Его широкое, прекрасное наивной старостью и смелыми, но добродушными глазами лицо делалось все растеряннее по мере того, как он приближался к обложке, смущенно бормоча что-то вроде: «пропустил, надо быть», «вот поди найди», «экое дело» — и другие, облегчающие подавленное состояние, слова-вздохи. Он сам был немало заинтересован дальнейшей судьбой главных героев оборванного романа, но стеснялся показывать это.

— «Моисей в пустыне», рассказ,— монотонно говорил он, по временам вглядываясь в петит, словно исчезнувший граф Эмиль притаился как в загадочной картинке, среди букв,— «Волны», стихотворение. «Открытие Южного полюса», научно-популярный очерк. «Испытание огнем», очерк средневековой жизни. «Про то, про се», мелочи. «Смесь». «Пейте шоколад»... Хм, Дзета, ты опять не уснешь... нет, ровнешенько ничего нет!

— Ну что это, право! — жалобно воскликнула девушка.— Ты понимаешь тут что-нибудь?

Старик не ответил. Он был сильно расстроен, Дзета таяла на его глазах с каждым днем. Болезнь ее, как говорил приезжавший врач, «не поддается определению». Он думал, что это на нервной почве. Началось с того, что девушка стала страдать бессонницей, отсутствием аппетита, а месяц спустя слегла с признаками сильного истощения.

— Ее нужно развлекать,— сказал врач, и Спуль по его совету выписал «Звезду», маленький журнал с картинками, с невинным, почти сказочным содержанием.

Отец и дочь свято верили в то, что каждая печатная строка — правда. Вымышленных лиц в «Эмиле и

Араминте» для них не было. Герои романа, конечно, живы, и приключения их по мере шествия событий протокольно описываются доверенными сего дела — писателями. Роман увлек Дзету нежной любовью Эмиля и Араминты, девушки, как и она, бедной, но преданной своему возлюбленному. Граф Эмиль, блестящий придворный, отправился в Америку добывать завещание, украденное разбойниками, и простодушная Дзета, обманутая извещением: «Продолжение следует», искренно страдала от неизвестности дальнейших событий. За полгода, как оборвался роман,— потому ли, что автору надоело возиться с благородным Эмилем, по причине ли скудности авансов в «Звезде», из-за смерти ли романиста,— но только в эти полгода, как думала Дзета, все должно было уже закончиться или благополучно, или катастрофой.

Болезненно страстно хотела она узнать, что случилось, а каждый номер приносил ей новое и новое разочарование. И что главное — в одиноких мечтах ее, в заученном наизусть романе Араминта постепенно превратилась в нее, Дзету, а Эмиль — в того, который год назад стал для ее сердца далекой обетованной страной. Случайный городской гость пробыл несколько дней в пустыне, и Спуль не знал, что притихшая и больная девушка год назад смеялась, крепко целуясь в береговом кустарнике с широкоплечим молодым человеком, модная бородка которого, мягкие усы и быстрые ореховые глаза застряли неподалеку от Хоха (деревня Спуля) благодаря поломке пароходного колеса. Он сказал Дзете, что любит полевые цветы и скоро вернется к ним. И...

— «Продолжение следует»,— невольно пронеслись перед ее глазами знакомые буквы.

«Как его зовут? Акаст. Милый Акаст... милый обманщик».

Она вытерла мигающие глаза и снова спросила:

— Отец, какое же твое мнение?

Спуль раздувал очаг.

— Я думаю, что его... ф-ф-фух! щепки сырые... что его сиятельство граф, видишь ли,— ф-ф-фух! — отдал распоряжение... Сварить тебе рыбки, Дзета? Ну, затрещало.

— Какое распоряжение?

— А чтобы... этого... его не пропечатывали.

— Ну вот! — Она стала смотреть на огонь.— Если

он терпел и знал, что о нем все до сих пор написано... Не понимаю. Зачем запрещать теперь?

Меж ними возгорелся легкий спор. Старик доказывал, что высокопоставленные люди имеют свои резоны — публиковать или не публиковать их приключения; а Дзета утверждала, что здесь замешана какая-то неизвестная дама, которая влюблена в Эмиля и которой, мстительных ради целей, хочется, чтобы бедная Араминта пребывала в неизвестности относительно судьбы своего возлюбленного.

— Если бы поговорить с тем человеком, который писал это! — сказала, вздыхая, девушка.— «Дон-Эстебан» — сказано там. Роман Дон-Эстебана. Писатели, наверное, все знают... Уж я бы у него выспросила.

— Хочешь посмотреть «Звезду»? — спросил Спуль, кончив есть.

Он примостился уже было на краю кровати с журналом в руках, но Дзета нерешительно покачала головой:

— Я не буду смотреть картинки. Отец,— робко прибавила она, помолчав,— если хочешь, почитай мне конец... там, где остановились.

— Опять? Вчера ведь читали, Дзета.

— Ну что ж... жалко тебе?

Спуль взял с полки старый, замызганный номерок и, смотря поверх страницы,— так как наизусть знал развернутое,— отбарабанил далеко не нежным голосом:

«Араминта, обливаясь слезами, обняла Эмиля за шею, и ее прекрасное лицо наполнило сердце героя состраданием и любовью.

— Не плачь, бесценная возлюбленная,— сказал Эмиль,— беру в свидетели небо и землю, что вернусь к радостям семейной жизни с тобой. Мне надо только преодолеть коварный замысел дяди, вручившего жестокому атаману Грому завещание моего отца. Не беспокойся, дорогая. Я вернусь, и мы будем счастливы».

«Продолжение следует»,— хмуро закончил старик.

— Дзета!

Девушка лежала навзничь, уткнув лицо в мокрые от слез ладони. Она не откликнулась. Скоро дыхание ее стало ровнее, тише, и сон, вызванный непосильным волнением, положил свою теплую руку на ее маленькую горячую голову.

II

После рассказанного в течение добрых десяти дней, на протяжении тысячи верст, одинокая старческая фигура — с платком вокруг черной от солнца шеи, в высоких сапогах, в страшной трубообразной шляпе и красной шерстяной блузе — совершала, не останавливаясь, перемещение от одной точки земного шара к другой, пока не появилась на площади Амбазур.

Сначала фигура сидела на одном из звеньев длинного речного плота, затем путешествовала верст пятьдесят от берега к берегу другой реки, где села на пароход, а с парохода, дней пять спустя, в шумный вагон, который к вечеру десятого дня доставил благополучно фигуру на упомянутую блестящую площадь.

Было без четверти пять, когда в передней «Звезды» раздался неуверенный короткий звонок, и редакционный сторож, злобно открыв дверь, увидел живописную фигуру Спуля, благоговейно созерцающего эмалевую дощечку, где строгими черными буквами возвещалось, что секретарь «Звезды» сидит за своей конторкой ровно от трех до пяти — ни секунды более или менее.

— Подписка внизу,— отрывисто, подражая редактору, заявил сторож,— да затворяй двери, дед!

— Послушай-ка, паренек,— таинственно зашептал Спуль, продвигаясь в переднюю,— я, видишь ты, дальний... Мне, видишь, нужно поговорить с вашими. А прежде скажи: здесь находится господин писатель Дон-Эстебан?

— Вот, надо быть, к вам пришел,— сказал сторож, приотворяя дверь в комнату секретаря.— Я, хоть убей, не понимаю этого человека.

Секретарь «Звезды», желчный толстенький господин, измученный флюсом и корректурой, выскочил на каблуках к Спулю.

— От кого? — процедил он сквозь карандаш, зажатый в зубах, тонким, словно оскорбленным, голосом.— Стихи? Проза? Рисунки?

— Как бы мне,— запинаясь, проговорил старик,— потолковать малость с господином Дон-Эстебаном?

— А! Фельетонист?

— Может быть... может быть,— кивнул Спуль, уступчиво улыбаясь,— не знаю я этого. Может, он ваш директор, может, и побольше того.

— В трактире,— сердито сказал секретарь, прыгнул

за дверь, подержался с той стороны за дверную ручку, снова приоткрыл дверь, высунул голову и крикливо адресовал: — «Голубиная почта»! Трактир на той стороне площади! Вот где ваш Дон-Эстебан!

Старик печально надел шляпу. Он не понимал ничего: ни ободранности темной, грязной редакции, где, однако, знают о жизни герцогов и князей больше, чем их прислуга; ни того, почему надо идти в трактир; ни раздражительности толстенького господина. У Спуля был такой обескураженный вид, что сторож пояснил ему, наконец, в чем дело.

— Зайди в «Голубиную почту», дед,— жалостливо сказал он,— там спроси: где тут сидит Акаст? Потому что, видишь, пишет-то он под именем одним, а настоящее его имя Акаст. Вот он Дон-Эстебан и есть.

С холодом и тяжестью недоверия к своему положению Спуль переступил порог «Голубиной почты». Здесь его не мучили; слуга, услышав: «Дон-Эстебан», вытащил палец из соусника и ткнул им в направлении большого стола, за которым сидело и возлежало человек шесть в позах более свободных, чем пьяных. Малое количество бутылок указывало, что головы пока на местах.

— Кто из вас, добрые господа...— начал Спуль, но сбился.— Не тут ли... Который здесь господин писатель Дон-Эстебан?

— Я,— сказал высокий в накидке и серой широкополой шляпе.— Откуда ты, одетый в первобытные одежды, странник Киферии? Кто указал тебе путь в жилище богов? Бессмертных ты или смертных дел древний глашатай? Сядь и скажи, Гекуба, что тебе в моем имени?

— Господин,— сказал Спуль,— послушайте-ка меня... Уж, право, не знаю, как это вам все объяснить, в точку-то самую, а только, изволите видеть, без вас в этом деле, вижу, не обойтись.

И вот, путаясь и волнуясь, поощряемый сначала возгласами и смехом, а затем общим молчанием, рыбак рассказал Акасту, как в глухом, пустынном уголке дикой реки читалась с трепетным напряжением, со страхом и радостью, с опасениями и облегчением история любви блистательного графа Эмиля и Араминты, дочери угольщика.

— Дзета-то, дочка моя,— говорил Спуль,— хлопочет об них не знамо как, прямо так и скажу: надрыва-

ется Дзета. А тут и застопорило, да целых полгода... этого... никаких известий. Здоровому, так скажем, каприз, потому его сиятельство может ведь свои резоны иметь... а больному — горе; только ей, бедняге, Дзете-то, и радости было, что мечтала, будто граф женится на той барышне. И выходит теперь одно-единственное мучение... как принесу эту, «Звезду», ну, вроде ребенка моя Дзета: «Опять,— говорит,— нет ничего». Читай ей вот опять про старое, где прощались. Меня измаяла, и сама извелась; да не встает; хоть бы гуляла или что: слаба, видишь... Ну, я и поехал. Чего там? Сердце-то ведь того... Думаю, разузнаю у вас. Так что на вас вся надежда...

Старик замолчал; Акаст, опустив глаза, водил пальцем по скатерти.

— Вот тебе и макулатура, Акаст,— серьезно сказал сутулый человек в синих очках.— Что ты об этом думаешь?

Акаст поднял голову.

— Вы приехали как раз вовремя, Спуль,— сказал он, протягивая рыбаку полный стакан.— Теперь все известно. Эмиль... впрочем, придите сюда завтра к этому же времени. Дела графа блестящи.

— Ну-те?! — повеселел Спуль.— Значит, благополучно?

— Просто прекрасно. Лучше нельзя.

— И пропечатано?

— Конечно. Завтра я дам вам конец романа, и вы отвезете его домой.

Спуль встал.

— Так я рад, что и сидеть никак не могу,— засуетился он, ища шляпу.— Я и то думал: где же и знать, как не здесь? Я ведь грамотный. «Идти уж,— думаю,— так уж по самой по первой линии! По прямой то есть! Приду». Кончину и причину, значит, представите? Ангел вы, господин Дон-Эстебан... ну — запрыгал старик!

Он вышел то оборачиваясь и пятясь, чтобы еще раз отвесить поклон, то спотыкаясь о тесно расставленные стулья.

— За здоровье Дзеты! — сказал Акаст, поднимая стакан.

III

Стемнело, когда «Дон-Эстебан», присев дома к столу, вспомнил остановку буксирного парохода, на котором, спасаясь от полуголодной жизни провинциального репортера, перекочевывал бесплатно к центрам цивилизации. Вспомнил он веселую Дзету — знакомство с ней у плотов, где девушка полоскала белье, и ее доверчивые слова: «Раз вы говорите, что приедете,— чего же еще?» Затем Акаст вспомнил «Эмиля и Араминту» — роман, шитый белыми нитками, ради нужды, и властно оборванный издателем, сказавшим однажды: «Довольно. Строчек вы выгоняете много, а конца не предвидится». Погрустив обо всем этом, мысленно улыбнувшись больной Дзете и думая о читательской ее душе с тем пристальным, глубоким вниманием, какое сопутствует серьезным решениям,— Акаст взял перо, бумагу, старательно превратил белые листы в строчки, украшающие судьбу влюбленных помпезной свадьбой, стряхнул с колена изрядную кучу папиросного пепла и, зайдя в типографию, сказал метранпажу:

— Дорогой генерал свинца, наберите это к утру.

— Редакционно?

— Ну... между нами. Кстати, я вам обещал два литра коньяку. Коньяк у меня. Вы всегда сможете его получить. Эта рукопись мне нужна самому — в наборе. Поняли?

— Ничего не понял. Коньяк есть — вот это я понял. Хорошо, будьте покойны!

После этого прошло десять дней, в течение которых одинокая старческая фигура с драгоценным печатным оттиском в зашитом кармане и с письмом в сапоге перемещалась с одной точки земного шара к другой, пока не постучалась у дверей старого маленького дома деревни Хох.

— Ну, тетка,— сказал Спуль старухе-соседке, в его отсутствие ходившей за больной,— ступай-ка пока. Потом поболтаем. Дзета! Дело-то ведь выгорело! Прочтика это письмо! Сам Дон-Эстебан написал тебе! «Я,— говорит,— уважаю читателей!» Вот как!

Говоря это, он трудился над распарыванием кармана. Меж тем изумленная и счастливая девушка, едва переводя дух, прочла:

«Дорогая Дзета! Я очень виноват, но дела с графом Эмилем страшно мешали мне приехать или хотя

написать. Прости. Знай, что я тот самый писатель, чей роман о незаслуженно страдавшей Араминте ты читала с таким увлечением и который ты дочитаешь теперь, потому что я передал твоему отцу продолжение и окончание. Я скоро приеду; лучшей жены для писателя, чем ты, нигде не найти. Крепко целую. Твой — виноватый — Акаст».

— Что там в письме, Дзета? — спросил старик, разглаживая сверстанный оттиск.

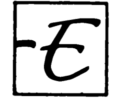
— Что там? — сказала девушка.— Самое простое письмо. Здравствуйте да прощайте, так, ничего... вежливо. Знаешь, я хочу есть. Дай-ка мне молока и хлеба... Нет, ты отрежь потолще. Теперь читай... ну же!

Пока Спуль читал, девушка боролась с волнением и, окончательно наконец победив его, громко, довольная, засмеялась, когда, воодушевляясь и притоптывая ногой, Спуль проголосил последние строки:

«...их свадебное путешествие длилось два месяца, после чего граф Эмиль и его молодая жена поселились в замке Арктур, на берегу моря, вспоминая в счастливые эти дни все приключения и опасности, испытанные Эмилем среди шайки бандитов, потерпевших заслуженное и грозное наказание».

НОЖ И КАРАНДАШ

I



сли бы он не заболел,— сказал капитан Стоп шкиперу Гарвею,— клянусь своими усами, я выбросил бы его в этом порту. Но это его последний рейс, будьте покойны. Такого юнги я не пожелал бы злейшему своему врагу.

— Вы правы,— согласился Гарвей.

— Вчера, после восьми, когда я сменился с вахты,— продолжал капитан,— прихожу я к себе в каюту, а навстречу мне он: выскочил из дверей и хотел уже задать стрекача. Я поймал его и хорошо вздул, потому что, изволите видеть, за пазухой у него торчала украденная у меня бумага. Негодяй повадился воровать ее для своих проклятых рисунков. Помните, как в прошлом месяце пришлось заново перекрасить кубрик? Все

стены были сплошь разрисованы углем да растопленным варом!

— Что говорить! — сказал шкипер.— Я сам застал его на вахте с карандашом и, должно быть, вашей бумагой. Слюнит и марает у фонаря. Кроме того он слабосилен и неповоротлив.

— Жаль, что его сегодня скрутила болотная лихорадка! Я с удовольствием прогнал бы его: не пожалел бы дать свои деньги на проезд домой.

Разговор этот происходил на палубе шхуны «Нерей», Давид (предметом разговора был недавно поступивший юнга Давид О'Мультан) — заслужил немилость капитана непомерной страстью к рисованию. Он рисовал все, что попадалось на глаза и на чем угодно: оберточной бумаге, досках, папиросных коробках... В портах он рисовал улицы, сцены портовой жизни, дома, корабли и экипажи; в местах же необитаемых — странные фантазии, в которых девственные леса, птицы, бабочки-раковины сплетались в грациозно сделанные арабески: узор и картина — вместе. Все матросы «Нерея» были изображены им. Нарисовал он и капитана, но Стоп, увидев рисунок, был поражен весьма нелестным сходством рисунка с собой и порвал его на клочки.

Когда О'Мультана отпускали на берег он всегда опаздывал к назначенному сроку возвращения, приходя с дюжинами различных картинок. Рассеянный, задумчивый Давид вообще не годился для напряженной морской работы и сурового корабельного дела. Каждый день он попадался в какой-нибудь оплошности, за что его жестоко били и оглушали лексиконом притонов.

— Словом,— заключил капитан,— мямля этот мне не подходит. На корабле малярам делать пока у меня нечего, ватер-вейс покрасить могу и я.

— А что теперь с ним? — спросил Гарвей.— Лучше ему?

— Не знаю. Боцман дал ему хины и лимонаду. Мы здесь простоим неделю, за это время он встанет, и я наконец уволю его. Баста!

«Нерей» стоял в маленьком попутном порту Лиссе, на рейде, в четверти мили от гавани.

— Ну, а как ваши дела, Стоп? — спросил Гарвей.

— Дела плохи,— мрачно заявил капитан.— На шерсти я потерял восемь тысяч, на джуте одиннадцать, а между тем за долги грозят описать судно. Вы знаете, что в моем сундуке лежат пятьдесят тысяч золотом,

которые я должен передать здешнему купцу Сарториусу. Деньги эти получены за его опиум, проданный мною в Мальбурге. На днях Сарториус приедет за деньгами... Так вот, Гарвей, дела мои так плохи, что, не будь я честным моряком Стопом, я с удовольствием прикарманил бы эти деньги и глазом бы не моргнул.

Моряки разговаривали довольно громко, сидя на корме, под тентом, за столом, украшенным тремя пустыми и тремя полными бутылками весьма действенного вина. Невдалеке у штирбота два матроса чинили ванты. Ветер дул в их сторону. При последних словах капитана один из них, некто Грикатус, человек сорока лет, с черными маленькими усами, вздернутым носом и глубоко запавшими темными глазами, сказал Твисту, товарищу:

— Слышь, Твист, что капитан сказал?

— Что-то о деньгах...

— Ну да... «У меня,— говорит,— чужих денег пятьдесят тысяч». Украсть бы их!..

— Похоже на то,— пробормотал Твист,— верно... кажется, он так и сказал. Выпивши, значит, болтает.

— Ну, вот что,— сказал между тем Стоп Гарвею,— месяц мы не видели берега, и сегодня следует погулять. Я отпущу всех до утра: сторожить останутся старик Пек, да... этот Давид. И мы с вами проведем сутки на берегу. Кстати, зайдем в здешний клуб, попробовать счастья в игре.

— Ладно,— сказал шкипер.

Капитан свистнул вахтенного, освободил его, отдал распоряжения, и через час команда «Нерея» во главе с капитаном, все одетые по-праздничному, выбритая и жадная, схлынула с двух шлюпок на Лисс разорять прекрасные заведения.

На «Нерее» осталось двое: преданный капитану старик матрос Пек и больной Давид.

II

Давид лежал в кубрике один (Пек жил в каюте боцмана). Он спал с перерывами все утро и весь день и проснулся в полночь. Озноб и жар прошли, остались — большая слабость, головная боль. Такое временное облегчение свойственно перемежающейся лихорадке.

Давид знал, что все, кроме него и Пека,— на берегу,

но, очнувшись, был все же неприятно поражен полной тишиной судна. Легкие скрипы, шорохи сонно покачиваемой ночной зыбью шхуны звучали сумрачно и неприветливо. Над столом горела висячая лампа: огонь ее давал скупой свет и много теней, кутавших углы кубрика в жуткую тьму. Над трапом в полукруге люка блестели звезды; под полом пищали крысы.

Давид встал, придерживаясь за койку, выпил из остывшего кофейника несколько глотков кофе, съел холодную котлету и победрел. Спать ему не хотелось. Подперев голову кулаком, О'Мультан стал мечтать о том времени, когда он сделается знаменитым художником. Мечта потянула к деятельности. Вынув из сундука неоконченный рисунок, Давид только что провел несколько штрихов, как вдруг услышал тихий плеск весел,— лодка, видимо, плыла к шхуне. «Наверное, это наши. Отчего же так тихо? Обыкновенно приезжают без шапок и поют»,— подумал Давид.

Лодка явственно стукнулась о борт «Нерея». Давид прислушался, ожидая обычного гвалта, но была полная тишина. Давид подождал немного, но все же ничего не услышал, и это его встревожило. Он тихо поднялся к люку и выглянул на палубу.

Он увидел невдалеке, у правого борта, одинокую, согнувшуюся фигуру человека, стоявшего спиной к кубрику. В темноте нельзя было различить, кто это. Давид хотел уже окликнуть его, но в этот момент человек быстро припал к палубе,— с кормы блеснул огонек трубки подходившего Пека,— и присел за грот-мачтой. Внезапная слабость, предчувствие ужасного — сковали Давида. Он хотел крикнуть и не мог. Трубка Пека вспыхивала теперь совсем уже близко, озаряя мясистый нос и седобровые глаза старика.

— Эй, что за лодка?! Кто тут?! — закричал Пек, поравнявшись с мачтой.

Ворчливый голос этот на мгновение ободрил Давида, лишив все происходящее ужасающей загадочности, но в тот же момент человек, присевший за мачтой, стремительно выскочил, замахнулся и нанес оторопевшему старику быстрый удар по голове. Пек, не вскрикнув, упал.

На минуту спасительное возбуждение вернулось к Давиду. Чувствуя, что ему также придется пасть от руки неизвестного убийцы, он стал тихо сползать по трапу, не будучи в силах, как очарованный, отвести

взгляд от темной коренастой фигуры. Шорох движений заставил неизвестного вздрогнуть и обернуться лицом к кубрику, и тусклый свет штангового фонаря упал на его черты. Полное ястребиное лицо с выпяченной нижней губой не было знакомо Давиду. Думая, что его заметили, он стремглав бросился вниз, судорожно отшвырнул люк «подшкиперской»[1] и, забежав в тесный угол, зарылся среди брезентов. Страх перешел в истерическое оцепенение, а затем в полное беспамятство.

Почти вслед за этим с моря донеслась громкая, грубо порхающая песнь пьяных возвращающихся матросов. Убийца, махнув в отчаянии рукой на ускользнувшие пятьдесят тысяч, поспешно прыгнул в лодку, и скоро его весла умолкли во сне океана.

III

— Подсудимый Грикатус! — сказал месяц спустя после этого судья бледному, унылому матросу, сгорбившемуся на скамье подсудимых.— Вы обвиняетесь в том, что четырнадцатого февраля тысяча девятьсот семнадцатого года, забравшись в отсутствии экипажа на шхуну «Нерей», убили с целью ограбить судно матроса Пека. Что можете вы привести в свое оправдание?

Свидетельские показания складывались совсем не в пользу Грикатуса.

— Я не виновен! — сказал Грикатус.— Все это путаница и напраслина. Страдаю невинно.

Меж тем матрос Твист утверждал, что Грикатус очень интересовался суммой в 50 тысяч и не переставал говорить о ней даже тогда, когда растрепанная компания смотрела на дно бутылок через горлышко, как в телескоп. Содержатель кабака «Ночная звезда» показал, что Грикатус ушел раньше всех, предварительно хватив шляпой о косяк двери и завернув страшную божбу в том, что он, Грикатус, будет богат. Береговой сторож, дежуривший у волнореза, заметил человека, отвязавшего чью-то шлюпку и выплывшего на рейд.

---

[1] Подшкиперская — чулан под кубриком, где сохраняются корабельные материалы: пенька, канаты, фонари и т. п. (*Примеч. автора.*)

Судебный процесс подходил к концу, как вдруг торопливо открылась дверь, и в залу суда вошел доктор лечебницы Монпелье, где лежал Давид О'Мультан. Доктор держал клочок бумаги; быстро положив клочок этот перед судьей, он сказал:

— Вот все, что требуется для этого дела. Давид, сраженный нервным параличом, как вам известно, был целый месяц не в состоянии ни говорить, ни двигаться. Сегодня в десять часов утра он проявил признаки сознания. Знаками он объяснил мне, что ему нужны бумага и карандаш. Когда принесли требуемое, он, немного подумав, быстро и отчетливо набросал тот самый рисунок, который я имею честь и счастье представить вам, господин судья. Как видите, здесь изображено характерное лицо,— по-видимому, точное изображение лица убийцы. Под рисунком подписано: «Портрет преступника. Найдите его...» Если это обстоятельство может пролить свет на дело, я думаю, что исполнил свой долг.

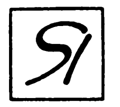
Рассмотрев правильный, четкий рисунок, весь состав суда не мог более ни ошибаться, ни колебаться. В крупном ястребином лице с толстой нижней губой все признали известного лисского вора Джека Ловайда, служившего год назад поваром у губернатора этой провинции. Джек был известен в маленьком порту как устроитель всякого рода темных делишек, вечно шлявшийся по передним и кухням.

Пока выследили и поймали преступника, сознавшегося не без кривляния в том, что, подслушав разговор пьяного Грикатуса о купеческом золоте, украл шлюпку, выплыл к шхуне и убил Пека — прошло много времени: Грикатус досыта насиделся в тюрьме.

Сарториус взял Давида к себе и, посыпав где надо золотом, дал свету нового оригинального художника. Несколько военных рисунков О'Мультана на выставке «Просветителей» привлекли общее внимание. Характерной особенностью рисунков этих было то, что в каждом воине, поражающем врага, были все те же, неизгладимо запечатлевшиеся черты: круглое ястребиное лицо и толстая нижняя губа — след нервного потрясения.

ВРАГИ

I



не знаю более уродливого явления, как оценка по «видимости». К числу главных несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник; мы видим помидор-солнце, метелки-деревья, хлебцы вместо холмов; короче говоря,— изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо: расположение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не уподобится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома, из чьей челюсти попал он на профессорский стол. Египетские и ассирийские фрески, обладая условной правдой изображений, тем не менее — разбей мы о них голову — не заставят нас увидеть подлинную процессию тех времен,— мы смутно догадываемся, грезим, но не созерцаем ее абсолютной, бывшей. Читатель вправе, разумеется, возразить, что требование такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков, или хотя бы скорбь об ее отсутствии — претензия достаточно фантастическая, и однако, есть область, где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувствам громаде, заслоняющей истинную его духовную сущность весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности: падений, самоубийств, самообольщений, мании величия и вообще самооценок столь ложных, что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более отношение наше к другим в лучшем случае является смешением впечатлений: впечатления, производимого действиями, словами и мыслями, и впечатления от качеств воображаемых, навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошиб-

ка, и самое отвратительное лицо самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было, разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня — механического суждения по «видимости». Обладай природа человека чудесной способностью показать единственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо, мы были бы свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз — истинных откровений, способных поколебать мир.

Лет десять назад я остановился в гостинице «Монумент», намереваясь провести ночь в ожидании поезда. Я сидел один у камина за газетой и кофе после ужина; был снежный, глухой вечер; вьюга, перебивая тягу, ежеминутно выкидывала в зал клубы дыма.

За окнами послышались скрип саней, топот, щелканье бича, и за распахнувшейся дверью разверзлась тьма, пестревшая исчезающими снежинками; в зал вошла засыпанная снегом небольшая группа путешественников. Пока они отряхивались, распоряжались и усаживались за стол, я пристально рассматривал единственную женщину этой компании: молодую женщину лет двадцати трех. Она, казалось, была в глубокой рассеянности. Ничто из ее движений не было направлено к естественным в данном положении целям: осмотреться, вытереть мокрое от снега лицо, снять шубу, шапку; не выказывая даже признаков оживления, присущего человеку, попадающему из снежной бури в свет и тепло жилья, она села как неживая на ближайший стул, то опуская удивленные, редкой красоты глаза, то устремляя их в пространство, с выражением детского недоумения и печали. Внезапно блаженная улыбка озарила ее лицо — улыбка потрясающей радости, и я, как от толчка, оглянулся, напрасно ища причин столь резкого перехода дамы от задумчивости к восторгу.

Ее спутники — двое мужчин среднего возраста — вполголоса беседовали с хозяином, по-видимому, насчет ужина. Когда хозяин отошел, я, подозвав его, тихо спросил:

— Вы знаете эту даму?

Хозяин, пожав плечами, приложил палец ко лбу.

— Нет, я знаю только, что ее везут в лечебницу умалишенных Эсприэгуса. Мне сказал это ее брат, вон тот, что снимает с нее калоши. Он просил дать ей удобную, тихую комнату.

Я еще раз пристально осмотрел незнакомку; ничего безумного не было в ее лице и глазах; все, что я мог отметить, это — пораженность, придавленность, некая безропотная, замкнутая грусть, происходившая, быть может, от сознания своего положения. Временами загадочная, чудесная улыбка меняла на мгновение ее лицо, уступая место прежнему выражению. Она ела мало и медленно, изредка роняя неслышные мне слова; все время пребывания внизу она была окружена самым предупредительным и нежным вниманием со стороны своих спутников.

Пробило двенадцать, когда ее отвели наверх. Брат скоро вернулся и, сев у камина, извлек сигару. Я представился, он назвал себя. Помедлив, сколько того требовало приличие, я осторожно привел разговор к интересующему меня вопросу — болезни молодой женщины.

— Допустим,— сказал он,— что это сказка, но и тогда она не была бы более удивительной, чем случившееся. Имя сестры — Ассоль. В путешествии, два года назад, она познакомилась с капитаном «Астарты» Ивлетом и вышла за него замуж. Три месяца назад муж вернулся из плавания. Супруги, утомленные радостью и оживлением встречи, рано легли спать: спали они на одной постели,— Ивлет у стены.

Ночью его разбудил громкий крик, шум падения тела, и, вскочив, он увидел жену лежащей на полу в обмороке. Горело электричество. Капитан, бесполезно употребив домашние средства, вызвал доктора; его содействие вернуло Ассоль сознание: «Кто вы? — спросила она мужа, смотря на него со страхом, изумлением и восторгом.— Я не знаю вас; как вы очутились здесь? Где Ивлет?»

«Ассоль, милая,— сказал встревоженный капитан,— что с тобой? Здесь нет никого, кроме меня и доктора». Так началось внезапное помешательство сестры; слишком тяжело рассказывать, как, неузнаваемый ею, он приводил, словно испуганный ребенок, доказательства того, что он — он, а не некто, видимый молодой женщиной. Теперь обратимся к ней.

Проснувшись и включив электричество, она увидела рядом с собой неизвестного человека, спящего, как спал всегда капитан, на спине, с руками под головой. Лицо этого человека было прекрасно, юно, гармонично-правильно, лицо Феба, смягченное духовной изыскан-

ностью, изяществом неуловимых оттенков. Крупно вьющиеся золотистые, блестящие волосы открывали чистый, высокий лоб. Оно показалось ей совершенным лицом человека, мыслимым лишь в видении. Думая, что спит, Ассоль провела руками вокруг себя, уронила стакан, стоявший на ночном столике, и звон стекла, достоверно подчеркнув действительность, лишил ее самообладания. Испуганная, она вскрикнула и упала.

Ее рассказ об этом, повторенный нескольким врачам в разное время, привел последних к заключению, что они имеют дело с редким случаем полной локализации помешательства, ограничением его странной и редкой галлюцинацией. Во всем остальном Ассоль проявила и твердость и полное сознание положения. Убежденная посторонними, что видит мужа, она не сомневалась более в этом, мужественно умалчивая о страданиях, выпавших на ее долю, благодаря этой тайне умозрения, проектированного в действительность. Она сама пожелала ехать в лечебницу и выражала лишь скорбь о том, что, может быть, никогда не узнает, где истина: в прошлом или теперь.

Рассказ брата Ассоль был более, значительно более подробен, чем мой. Я сжал его в той мере, в какой он сжался отдаленным воспоминанием. В шесть часов утра я отправился в Зурбаган, унося жалость к несчастной,— несчастной потому, что никто не мог видеть ее глазами, обреченными отныне на безмолвный и покорный вопрос.

II

Спустя около полугода я прочел в «Вечернем Курьере» следующее:

«11 октября пароход каботажного Ллойда «Астарта», получив около Мизогена пробоину кормовой части, пошел ко дну в течение 20 минут. Не более половины пассажиров спаслось на шлюпках. Погиб также почти весь экипаж и капитан парохода Ивлет. Трагичны и трогательны подробности его смерти.

Одна женщина, торопясь сесть в шлюпку, уже спускавшуюся на талях, уронила трехлетнюю девочку. Исступленно крича, женщина повисла на тросах. Ее пальцы были раздавлены блоком, но отчаяние сильнее боли заставило ее цепляться, мешая спуску. Она умоляла спасти девочку. Буря и плеск волн заглушили ее вопли.

Тогда капитан Ивлет, сбросив сюртук, прыгнул в воду и, схватив захлебнувшегося ребенка, передал его матери. Корма «Астарты», образуя гибельную воронку, буквально падала вниз с быстротой вертикально брошенного шеста. Переполненная до отказа шлюпка задержалась у борта,— матросы хотели спасти капитана. «Ну, не разговаривать! — крикнул он.— Отчаливайте! Берегитесь! Вас втянет в водоворот!» Сказав это, он оттолкнулся от шлюпки и скрылся. Матросы заработали веслами как раз вовремя,— кипучая водяная яма разверзлась за кормой лодки, едва не затянув ее в свою грозную пропасть».

На этом месте я отложил газету и пристально рассмотрел помещенный в тексте, с фотографии, портрет Ивлета. Портрет весьма согласовывался с описанием наружности капитана, сделанным мне братом Ассоль. Это был коренастый человек лет сорока, с квадратным простодушным лицом, короткой верхней губой и маленькими, упрямыми глазами.

Но я думал, что, может быть, в момент, когда он отталкивался от шлюпки, лицо это было совершенно таким, каким увидела его Ассоль ночью и какое несомненно вызывало прекрасную улыбку в ее печальном лице и глазах, таивших неведомое.

УЗНИК «КРЕСТОВ»

I

Знаменитый Латюд, попавший в Бастилию за то, что пытался угодить маркизе Помпадур, подослав ей анонимное письмо о вымышленном покушении на ее жизнь, а затем послав второе письмо с приложением щепотки поваренной соли, которая должна была изображать яд — доказательство покушения,— страдал тридцать лет по сравнительно серьезной причине.

Мы говорим сравнительно потому, что некто Аблесимов просидел в нашей доморощенной «Бастилии» — «Крестах» — двадцать два года за удивительную и неимоверную чепуху.

Дело было так.

Аблесимов служил наборщиком в типографии газеты «Пестрое дело». Нынешний, несуществующий уже как царь Николай II короновался тогда в Москве, заманивая пирогами на Ходынку многих доверчивых простаков, кричавших «ура» византийской пышности коронационного церемониала не столько из привязанности к самодержавию, сколько из тяготения к пирогу, оказавшемуся, как говорит история, изделием, пропеченным плохо и почти без начинки.

Среди наборного материала, принесенного Аблесимову в самый день коронования вечером, была московская телеграмма, в которой описывался ритуал коронования.

На другой день в полдень начальнику знаменитого Третьего отделения позвонил по телефону министр внутренних дел, требуя его немедленно к себе тоном строгим и жестким.

Перепуганный начальник помчался сломя голову к всесильному временщику, ломая по дороге голову, что бы это могло все значить.

Министр стоял у стола, положив руки на развернутый номер «Пестрого дела».

— Идите сюда,— неторопливо приказал он вытянувшемуся в струнку чиновнику.— Смотрите!

Он провел пальцем по подчеркнутой красным карандашом газетной строке, и начальник Третьего отделения с ужасом прочитал: «Москва, 14 мая 1896, г. ... Его Величество государь Император Николай II ... в 12 ч. проследовал в Иверскую часовню...»

Выпущенное многоточием в середине фразы слово должно было означать «ровно». Ошибка наборщика в спешной ночной работе заменила первую букву этого слова иной, придавшей всей фразе совершенно циничный и оскорбительный для императорской особы смысл.

Начальник затрепетал.

— Без дальних слов,— сказал министр,— в двадцать четыре часа найдите виновного, арестуйте и спрячьте навсегда... куда хотите. Вот полномочие.

Он протянул подписанную уже взбешенным царем бумагу, и начальник Третьего отделения засвистел шинами щегольской кареты в мрачный застенок Третьего отделения.

II

Аблесимов обедал, когда после резкого звонка в квартиру вошел рослый жандарм и, показав несчастному наборщику приказ об аресте, повлек его в узилище, страшно шевеля огромными рыжими усами, плотоядно блестевшими на круглой, как сыр, роже разжиревшего паразита.

Без допроса, без объяснений, без ответа на вопли измученного, несчастного труженика, оставившего малолетних детей и старика отца в их неприветливо голодной свободе,— Аблесимов был брошен в подвальный этаж ужасных «Крестов».

Три месяца провел он в кошмарном полусне, почти лишенный рассудка. Иногда, приободрившись, пытался он объяснить себе смысл всего происшедшего и бессильно поникал быстро поседевшей головой, обуреваемой думами.

Раз, вспоминая последнюю ночь типографской работы, он поймал в памяти нечто,— какой-то намек, проблеск истины. Чтобы не потерять нити, Аблесимов закрыл глаза и вдруг вспомнил.

Метранпаж Васильев всегда был его врагом и вечно ругал его за дело и без дела. В ту ночь, когда Аблесимов кончал работу, Васильев, придравшись к какому-то пустяку, облил Аблесимова потоком отборной брани, в которой искаженное «ровно» повторялось более часто, чем это необходимо для здоровья и настроения.

Теперь Аблесимов вспомнил, что, загипнотизированный этим словом и сердито повторяя его про себя, сделал ошибку, которую хотел исправить, но забыл о ней, так как завязалась крупная ссора...

— Я пропадаю за букву «г»! — вскричал он и умер, проклиная правительство.

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

I

Я украл окорок ветчины в коптильне красноносого отца Дюфура. Дюфура звали «отцом», собственно, по старой памяти: как расстрига, он едва ли даже имел право ходить в церковь. Прекрасно — я украл, и не прекрасно — меня собрались повесить, так как поймали. Отправиться на Монфокон с кляпом во рту, чувствовать там горячей

шеей холодные ногти палача и растворить дух в вое осеннего ветра показалось мне слишком сентиментальным. Разогнув поленом прутья оконной решетки, я бежал, оставив на подоконном гвозде добрый кусок штанины: малый я был плотный и кряжистый.

Покинув Париж, я долго скитался в провинции, иногда приставая к воровской шайке ради странной, случайной оседлости: у воров были в лесах и в развалинах замков насиженные укромные гнездышки; или шел к мужикам работать.

Так прошла зима. Мог бы я давно вернуться в Париж, где, без сомнения, забыли уже и об окороке, и о моей скромной особе, но все время что-нибудь было помехой этому. То завязывался роман с коровницей, то пригревали меня на кухне попутного монастыря, и я, пользуясь смиренной трапезой, мог причесываться без масла, проведя по волосам просто рукой, предварительно огладив ею щеку; то впутывался я в какую-нибудь доходную комбинацию с замаскированным молодцом, умевшим необыкновенно внушительно произносить простые слова: «Кошелек или жизнь»,— и вообще полюбил случайную жизнь. Однажды я заблудился в недоброй памяти Арденнском лесу. Прошли сутки, вторые, третьи — я отощал. Я ел что попало: жуков, сгнившие корешки, траву, листья. Странный сюрприз обоняния переводил все лесные запахи на запахи чего-либо съестного. Цветы пахли конфетами и вареньем, смола — подгоревшей свининой, теплая земля — хлебом. Расщепистая кора старых дубов выглядела хорошо пропеченной коркой, а солнечные разливы на дымных прогалинах — растопленным маслом. Раз я встретил медведя и, представив, как аппетитно захрустел бы он моими костями, чуть не заплакал в припадке голодного бешенства.

От медведя я, правда, залез на дерево, но все-таки смотрел на себя, как на завидное кушанье.

Четвертый день ознаменовался тем, что я поднял искалеченный рыцарский шлем, а подальше, на расширении звериной тропы, встретил заросший травой деревянный крест.

Высохший венок лесных цветов украшал его середину. На кресте была темная надпись: «Meme en ton absence — toujours avec toi. Arthur» [1].

---

[1] И без тебя — с тобой. Артур (*фр.*)

Но мне что за дело до этого? Пусть рыцари, волшебники, великаны и дамы ведают эти дела: я милостью божьей — Франсуа, голодный и бесприютный.

II

Итак — показалась речка: прежде всего я напился; затем осмотрелся. Речка текла быстро и глухо; от берегов черные тени мрачнили половину течения, а середина сверкала, как чищенная на солнце медь. Везде упавшие поперек стволы, ямы и корни, изрытая кабанами осока. Жуткое, неприветливое было это место, клянусь спасением. Но, посмотрев направо, увидел я в зеленой извилине мыска черную бревенчатую лачугу с низкой трубой, из которой шел дым. Где дым, там и печь, а где печь, там и горшок с варевом. От одной этой мысли я пополнел. Прежде чем подойти к сему загадочному жилью, попробовал я — каким голосом попрошайничать: грустным и низким либо же тонким и жалостливым. Последнее нашел я более отвечающим положению и, держа в горле пискливые слова, постучал в дверь.

— Войди, кто бы ты ни был,— раздалось за дверью.

Я вошел.

Передо мной у грубого камелька сидел дряхлый старик. Такого старика я никогда не видел. Был он обут в меховые туфли, а одет в коричневый балахон с откинутым капюшоном. Немного оставалось на его бледном лице места, свободного от белых волос. Борода лежала на груди пышно и строго, длинные кудри сыпались по плечам, а усы тонули в бороде. Вот его глаза: что в них? Много всего; он смотрит как бы издалека. Просьба, приказание, гнев, жалость, любовь, лукавство, грусть, самомнение, беспокойство и ясность — все чувства излучают его острые, выцветшие зрачки,— и я почувствовал страх.

— Добрый отец! — заголосил я.— Помогите бесприютному и голодному Франсуа Долговязому! Я заблудился и четвертые сутки не принимал никакой христианской пищи, питаясь, прямо сказать, корой и листьями!

— Излишек пищи вредит бессмертному духу,— ласково сказал старик,— но что есть — твое. В той чашке орехи, а в углу за тобой — хлеб и вода. Ешь.

Принюхавшись уже к вареву, булькавшему в какой-

то странной медной посуде, я усомнился, чтобы там было съестное,— пахло лекарственным. Поэтому скрепя сердце, так как ожидал чего-либо получше, чем орехи, приступил я к предложенному угощению. Я жевал хлеб, и грыз орехи, и пил воду, а поев, сильно отяжелел. Потянуло меня ко сну. Пока я ел, старик молчал, время от времени заглядывая в книгу с железными застежками и помешивая варево узорной палочкой, разрисованной непонятными знаками. Это да и рассмотрение внутренности хижины убедило меня, что я попал к некоему волшебнику.

С потолка спускалось несколько высохших ящериц и летучих мышей. Живой, черный, как трубочист, кот сидел на очаге, и магические зеленые зрачки его, казалось, читали все мои спутанные мысли. Груды тяжелых, как гробовые плиты, желтых книг лежали на полу и столе, заставленном кроме того различными металлическими и стеклянными вещами с назначением, непонятным до одурения. Над окном висели вязанки корней и сухих цветов; слабый, нежный их запах разносился по всем углам. А в дальнем углу, запертый тремя огромными черными замками, стоял таинственный высокий сундук, относительно которого я сразу подумал нечто существенное. Подумал неопределенно, конечно, но крепко: по привычке и любви к запертым сундукам.

— Франсуа,— сказал старик, погладив свою роскошную бороду,— я не любопытен. Кто ты такой — совсем не нужно знать волшебнику д'Обремону, в жилище которого привели тебя мои заклинания. Слушай: я стар, слабею, и мне нужен ученик, помощник. Помощью магического круга и неких формул я обратился сегодня к демону Азарету — покровителю стариков — и просил его послать мне здорового молодца, как ты. Видишь — просьба моя исполнена.

Я струсил. Значит, д'Обремон может вить из меня веревки.

«Влопался ты, Франсуа»,— подумал я, но ничего не сказал. Колдун продолжал:

— Склонен ли ты к истине, Франсуа? К знаниям высоким, как горы? К устремлению духа в озаренные светом области? Говори смело.

— Я, ваше степенство, склонен ко всему, что кормит и греет,— отвечал я с унынием.

— Я не обещаю тебе лучшей пищи,— возразил д'Обремон,— чем та, которую я ем сам и которая будет

поддерживать твои животные силы. Но я обещаю со временем могущество непомерное, власть над людьми и духами, над золотом и драгоценными камнями, над душой растений и животных. Магия творит чудеса. Твоя душа еще темна и дремотна, как жизнь в яйце змеи, но и мудрость змеи растет с ней. Ты возрастешь, пока же освой себя с новым своим положением и ложись спать, а я займусь комментариями к Альберту Великому, писанными великим и могущественным Нострадамусом.

Сказав так, старик дал мне мешок с сеном, и я повалился в углу, размышляя на сон грядущий следующим манером: «Алхимики, говорят, делают золото. Полезно и весьма прибыльно, если бы удалось научиться такой штуке, а там видно будет».

Уже поэтому решил я не прекословить д'Обремону и пожить у него, даже оставляя в стороне соображения о власти демона Азарета.

Засыпая, я увидел, что ко мне, мурлыча и выгибая спину, подошел кот. Потершись о плечо, сунул он мне голову под мышку и задремал,— кот-то был обыкновенный котище, и не пахло от него серой, в чем я убедился, тихонько прошептав молитву.

А д'Обремон сидел перед высокой желтой свечой, читал, и тень его головы падала на меня.

III

Я много видел людей, бывал в самых причудливых положениях, но такой жизни, которая сплела меня теперь с д'Обремоном, клянусь собственными глазами, еще не испытывал.

Старик обыкновенно спал неспокойно, ворочался и вздыхал и, шаркая на рассвете туфлями, будил меня чуть не стихами:

— Вставай, Франсуа! Аполлон запряг красных коней. Смотри, как вверху, в сонном еще зените, все зыблется и дрожит, и дышит; там тени обнимаются со светом. Смотри, Франсуа, не проспи ранний час! Когда усталая Диана, бледная, оставляет Венеру сгорать в лучах колесницы, все чувства подвижны и тонки, как нежные ароматы. Вставай! Дух созерцает Вечное, Франсуа!..

Лень было подыматься на холоде, но цель, которую я поставил себе, требовала послушания. Я подметал

хижину и выбрасывал из стеклянных колб какую-то за вчера накипевшую гадость; потом завтракал черствым хлебом, орехами и водой.

До чего противна была мне такая пища! Другой не бывало у д'Обремона. Сам он ел только хлеб и так мало, что удивительно, как не потухала жизнь в тощеньком его костячке. Глядя иногда, как, сгорбившись, подставив горсточкой сухую, прозрачную руку, старается он прожевать корочку беззубыми челюстями, а крошки вываливаются на ладонь, смеялся я не раз, задавая себе вопрос: «Ужели волшебство не добычливо насчет жирной, сладкой пищи и кружки винца?»

До времени я относил это к привычкам моего чародея, но вскорости, дней этак через пятнадцать, убедился, что д'Обремон просто придурковатый старик, полупомешанный хвастун. В этом убедился я такой дорогой ценой, что теперь, когда бессильно размышляю обо всем, зубы мои скрипят и лопаются от бешенства. Однако не забегай вперед, Франсуа!

Откуда старик брал хлеб и соль — было для меня тайной, пока однажды к мысу не причалила лодка. Из нее вышел пожилой мужик, таща мешок. Он поклонился д'Обремону, как раб царю, и сказал, указывая на мешок:

— Надолго ли хватит вам этого, господин?

— Э, Жан, хватит, пока хватит! Благодарю!

Жан помолчал, затем, подозрительно косясь на меня, спросил как бы с опаской:

— Ну, что? Готово?

— Еще нет,— задумчиво и величественно ответил старик. Вдруг ребяческая улыбка преобразила его лицо.— Скажи, что надо терпеть, ждать, но уже недолго. Сокровища умножаются. Час восхитительный и божественно-мудрый наступит скоро.

Я навострил уши. Но больше ничего не было сказано меж ними про сокровища. Д'Обремон расспросил Жана о семейных делах и отпустил. Лодка мелькнула за тростником, скрылась; я же спросил:

— Учитель, кто этот человек?

— Он приезжает из далекой деревни раз в месяц,— сказал д'Обремон,— и привозит мне хлеб. Пока тебе незачем знать о моих делах больше. Наступит время, и я открою тебе великую тайну.

По вечерам старик открывал свои скрипящие книжищи и посвящал меня в магию. Я притворялся, что

все это невыразимо интересно. Он показывал мне какие-то треугольники, круги, пентакли, языческие поганые буквы и вдруг, забывшись, начинал говорить на непонятном языке, турецком или арабском, как думаю. Я узнавал о феях, эльфах, гномах, ведьмах, демонах, инкубах, колдунах, сефиротах и о всякой другой нечисти. Приблизительно через день, по утрам, старик отправлял меня в лес за орехами и дровами, а сам запирался, и тогда из трубы целыми часами валил густой дым. Д'Обремон варил свои колдовские зелья.

Как ни любопытен я от природы, однако что-то удерживало меня расспрашивать моего хозяина о прошлой его жизни и о том, как он превратился в волшебника. Он никогда не сердился, но отвечал не на все вопросы; поэтому я предоставил все течению времени. Мне важно было только узнать золотой состав, а заклинания и сказки о феях я предоставлял д'Обремону. Я подсматривал за ним в щели и окна, но это не открывало мне ничего путного; а все мои намеки он пропускал мимо ушей.

— Практическая магия,— иногда говорил он,— есть самое конечное следствие высших знаний. Ты должен пройти их. Можешь ли ты лечить больного, не зная природы человеческой? Учись, Франсуа!

И опять вязли у меня в зубах духи воды и огня, земли и воздуха; опять я погружался в запутанные тайны невидимых сил и стихий.

Раз, помню, мы вызывали духа. Какого духа — забыл. Д'Обремон переоделся в некую белую хламиду, повесил на шею бронзовую цепочку с медными кружками, а в руку взял странной формы извилистую тусклую шпагу и, поставив меня с собой в очерченном кругу, начал произносить заклинания. Я чуть не умер от страха, но скоро оправился, так как дух не являлся. Старик продолжал взволнованно размахивать шпагой. Вдруг кот прыгнул к порогу, задавил там у щелки мышонка и стал возиться с добычей в самом кругу, у моих ног.

— Ну, сегодня ничего не будет, Франсуа,— сказал д'Обремон торжественно, с какими-то странными манипуляциями выбрасывая мышонка за дверь.— Сегодня Агнагул потерял силу и мог принять вид только одного из низших существ. Мышонок был Агнагул. Он не умер, конечно, но видеть его второй раз в образе того же мышонка — не стоит труда. Сотри круг!

Я подумал, что Агнагул столько же был мышонком, сколько тот Агнагулом, но хихикал в кулак по этому поводу, отвернувшись, дабы не сердить чудака.

В лесу бывали особенно хорошие дни, безветренные, жаркие и душистые, когда даже мне вставать рано было уж не так отвратительно. В такие дни д'Обремон иногда говорил:

— Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье, и пестрых тюльпанов, обостряющих слух, и медвяниц, прогоняющих ночное томление; не забудь ландышей и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше. Мандрагору ты вырвешь с корнем, не повредив его; рви, стоя лицом к востоку. Златоцвет и медвежьи ягоды бери левой рукой. Захвати и шиповник, он просто красив.

Я отправлялся в лес, собирал приказанные растения и тащил их нетерпеливо встречавшему меня д'Обремону. Старик, прижимая к груди рассыпающиеся вороха трав и цветов, клал их на подоконник и часами, тихо улыбаясь, сортировал эти зелья, временами нюхая какое-нибудь с видом влюбленного, поднявшего цветок у балкона. Вскорости начинал пламенно дышать кирпичный очаг, старичок варил свои волшебные соусы, надев остроконечную шапку, украшенную магическими рисунками, и на кончике его носа дрожала капелька пота.

Я же садился на порог, перелистывая какую-нибудь старую книгу, но нигде в этих сочинениях не говорилось прямо о том, как изготовлять золото. В самом интересном месте появлялись какие-то Красные Львы, Желтые Реполовы и разные другие затмения секретного дела. Это выводило меня из терпения. Отчего бы не сказать прямо: возьми, мол, того-то и того-то, свари так и этак — и отливай двойные пистоли. «Мой д'Обремон,— рассуждал я,— человек, видимо, слабоумный или помешанный. На его месте — будь оно действительно всемогуще — я бы давным-давно состряпал себе уютный подвальчик, набитый червонным золотом».

IV

Таинственный высокий сундук, разумеется, не давал мне покоя все время. Иногда, пользуясь кратким отсутствием д'Обремона, выходившего побродить на воздух,

я пытался потрясти этот сундук, но так был он тяжел, что не удавалось приподнять его угол даже на полвершка. Д'Обремон никогда не открывал сундук в моем присутствии,— я же, подсматривая за ним в окно, был так несчастлив, что в эти минуты старик оставлял проклятый сундук в покое. Однако все приходит в свое время.

Раз вечером, после жаркого дня, у окна, бледневшего тихо и пышно, д'Обремон, смотря на закатные верхи леса, просидел с очень что-то грустным лицом часа два. Он не любил, если тревожили его в минуты задумчивости. В раскрытой двери явилась, трепеща, вечерняя бабочка.

Д'Обремон обернулся ко мне и указал на бабочку.

— Франсуа,— сказал он торжественно и сердечно,— человек живет не долее этого мотылька. Я стар и, может быть, скоро умру. Настало время открыть тебе великую тайну.

Меня словно подбросило. Хотелось что-то сказать, но язык на радостях ускочил так далеко в глотку, что вытащить его оттуда требовались, пожалуй, клещи. Навострив уши, я перевел дух и фальшиво вздохнул.

Д'Обремон взял меня за руку, подвел к сундуку, открыл его большим гремящим ключом и, еще не поднимая крышки, сказал:

— Ты был добрым, послушным юношей, и если высшая мудрость медленно дается тебе, то здесь, конечно, виноват только твой возраст. В твои годы мысли, естественно, более покорны телу, чем духу. Со временем силой очищенной воли ты соберешь их, как пастух собирает стадо, и то, что надлежит тебе узнать от меня, будет как бы оазисом мрачной пустыни, к которому устремятся твои желания. Смотри, здесь сокровища, каких еще не было в руках ни у одного человека.

Он приподнял крышку, озарив свечой внутренность сундука.

— Это алмазы,— сказал д'Обремон,— двадцать лет я производил их с помощью тайны.

Я вскрикнул и упал на колени. Из сундука хлынул столб блеска, подобного снопу лунных лучей, но ярче и пламеннее неизмеримо. Полсундука было залито разноцветным ослепительным сверканием. Казалось, рука неведомого гиганта, зажав в горсти всю бесчисленность

звезд, бросила их в этот сумасшедше-волшебный ящик. Теперь я не мог считать д'Обремона жалким помешанным. Восторг мучительной жадности овладел мною, и я, содрогаясь, захлебываясь от волнения, уже знал, что эта ночь будет страшной.

— Встань, Франсуа,— сказал д'Обремон.— Как мало еще этого моего блеска! Нужно втрое больше,— слышишь, не менее чем втрое более сего количества,— дабы заветная моя мечта исполнилась. Жан, которого ты видел не раз привозящим мне хлеб, знает тайну и свято хранит ее. Он из далекой лесной деревни. Наступит день, и вот что я сделаю. Я покрою Францию великолепными дворцами. Шелк, атлас, парча, тканое золото и нежные кружева будут одеждой всех. Через реки я перекину серебряные мосты и мраморные белые башни поставлю на высоких горах,— жилищем строгих и мудрых. Болота я превращу в сады, какие снятся лишь разве влюбленным ангелам. Дивные статуи наполнят леса совершенством чудесных линий. Придорожные камни будут сверкать алмазами, и мир заслушается музыкой нечеловеческой красоты. И любовь, Франсуа, любовь, крылья которой покрыты жестокой грязью, воскреснет навеки среди кликов и пенья труб — такой, какую знает лишь сердце в часы молчания.

Он замолчал. Свеча тряслась в его старой руке, а взгляд был отрезан от всего незримой стеной. Всегда бледное, еще бледнее стало его лицо. Простояв неподвижно несколько времени, он глубоко вздохнул, запер сундук и, взяв меня пальцами за подбородок, сказал:

— Ложись спать. Завтра мы поговорим еще об этом. Теперь же я чувствую, что устал, и засну сам.

V

Он сказал: «спи». Но только сон смерти мог бы заставить меня забыться.

Я лежал, вздрагивая, как в лихорадке, с открытыми глазами, с головой, набитой алмазами, и ждал момента, когда д'Обремон заснет. Ни слова я не сказал себе о том, что и как сделается. От меня к старику нужно было пройти пять-шесть шагов; хилая его шея в моих сильных руках должна была пискнуть и замереть, подобно котенку, раздавленному бревном. Я чувствовал, как горят ладони и кровь бьет в виски; я захлебывался

решимостью, и стоило большого труда дождаться, пока д'Обремон, перестав ворочаться, начал коротко всхрапывать. Убить его бодрствующего мешал мне страх сверхъестественных сил, могущих быть призванными чародеем на помощь. Заслышав храп, я стал осторожно, понемногу сбрасывать с себя одеяло. Затем так же осторожно поднялся и, стоя на коленях, с пересохшим от затаенного дыхания горлом, прислушался.

В окно светила луна.

Вдруг, поставив волосы мои дыбом, сброшенное одеяло выпучилось горбом и завозилось, и кот выбрался из-под него, фыркая и глухо мурча. Узко, страшно блеснули его зрачки; он потянулся, подошел ко мне и стал тереться скользкой сухой головой о колено. Едва я удержался от крика, но, и опомнившись, слышал еще не одну минуту, как эхо перепуганного сердца колотится во всех углах и щелях проклятой хижины. Почти не было у меня сомнений в том, что старик тотчас проснется. Однако я успел отдышаться и оттащить кота в сторону, а д'Обремон продолжал лежать неподвижно в своем углу, откуда виден был при тусклом свете луны его острый над белыми усами нос, а впадины спящих глаз, покрытые тенью, казалось, подсматривали за моими движениями.

Я встал и с холодным затылком, вытянув, как слепой, руки, подошел на цыпочках к старику. Пол скрипнул два раза, и каждый раз мучительно хотелось мне провалиться сквозь землю. Наконец мои пальцы остановились над обнаженным, сухим горлом, и я быстро клещами свел их, сжав горячее тело таким усилием, что заметался, как под непосильной тяжестью. Д'Обремона словно подбросило; весь выгнувшись, разом открыв с ужасным пониманием во взгляде белые, широко сверкающие глаза, глядел он на меня в упор, цепляясь до боли неожиданно сильными пальцами за мои руки. Удвоив усилия, я потряс жертву,— и она стихла. Еще я не отошел от постели, как, дико заверещав, кот вцепился в мое лицо, исступленно кусая и царапая где попало. Безумно крича от боли и ужаса, я оторвал проклятого оборотня, сломал ему спину и придушил босыми ногами, но пока он змеей бился в моих руках — и руки, и лицо, и грудь залились кровью. Его когти, даже у сдохшего, остались выпущенными. Покончив со всем этим, я присел на пол у сбитой, бешено

развороченной стариковской постели — и был так слаб, что ребенок мог бы связать меня, не ожидая сопротивления.

VI

Утром я закопал старика и закопал все алмазы, кроме того, что мог удобно нести с собой. Я взял самые крупные блестящие камни, счетом двести пятьдесят штук, и зашил их в свой пояс. Умывшись, перевязав руки и расцарапанное лицо, я наскоро сколотил плот, вырубил правежный шест и поплыл вниз по реке, мечтая о веселой разгульной жизни, цвет удовольствий которой обещал шумный Париж.

Прошло не более месяца, как после многих блужданий и приключений я, побрякивая в кармане пятью назначенными в продажу алмазами, стучал в дверь Фонфреда, мастера золотых дел, жившего на улице Сент-Ануа; к этому ювелиру направил меня за три небольших камня и тысячу клятв, что больше дать не могу, кривой маленький слуга гостиницы «Золотая шпора».

Наступил вечер, и на улице было тихо, почти безлюдно. Вверху двери имелось небольшое четырехугольное отверстие, забранное решеткой, сквозь которое подозрительный Фонфред рассматривал посетителей. Едва успел я, сгорая от нетерпения, постучать второй раз, как внутри дома раздались шаги и в окошечке мелькнул острый худой нос,— нос, неприятно напомнивший мне д'Обремона. Затем, странно блеснув, круглый, немигающий глаз остался среди решетки. Он не мигал, не двигался, не изменял направления взгляда, и взгляд его был безжизненно-ясен, как блеск стекла. Пересилив волнение, я вскричал:

— Кто за дверью?! Открой! Я хочу говорить с Фонфредом.

Скрипнув, прозвенел ключ, и я увидел мертвого д'Обремона. Одну руку он, улыбаясь, протягивал мне, а другой старался отцепить полу халата: какой-то гвоздь задержал ее. Дико крича, затрясся я и обомлел, корчась от ужаса; гремящий туман окружал меня, земля проваливалась, весь я стонал и плакал, как мученик на дыбе... Не помню, как я решился открыть глаза, но, открыв их, увидел, что не лесной призрак, а тучный человек в богатой одежде держит меня за плечи, встряхивая и приговаривая:

— Кто ты? И что с тобой?

Я, выпучив глаза, смотрел на него, еле переводя дыхание; затем, немного опомнившись, сослался на усталость, на лихорадку и, поговорив в этом роде довольно долго, дабы отвести подозрение, сказал, что имею продать несколько бриллиантов по поручению одного лица, назвать которое не могу.

— Хорошо,— сказал Фонфред,— пойдем посмотрим товар. Должен тебе сказать, что я нисколько не любопытен.

Успокоенный таким заявлением, я прошел с ним в его обширную мастерскую и там, вынув алмазы, бросил их на стол, ожидая, что мастер Фонфред подскочит от изумления.

Фонфред, прищурясь, весьма спокойно сгреб к себе камни и принялся исследовать их, временами поднимая на меня замкнутый, испытующий взгляд. Я сидел как на иголках. Больше всего мучило меня незнание истинной цены драгоценностей; поэтому, чтобы не вышло что-нибудь, решил я заломить как можно больше. Вдруг Фонфред покраснел, и я объяснил это волнением жадности. Он сказал:

— Милый друг, алмазы эти ты продаешь, разумеется. Без компаньона я не могу решить, какая сумма прилична их блеску и редкости. Подожди меня здесь; наше совещание продлится недолго.

Он вышел. Блаженное чувство наполняло меня — предвкушение радостного, пышного богатства. Дверь грозно и стремительно распахнулась; стража, гремя оружием, наполнила комнату, и я вскочил, как пораженный стрелой. Впереди всех стоял Фонфред, указывая на меня жестокой рукой:

— Вот мошенник, ребята! Он пытался продать мне, под видом алмазов, простое стекло. Отведите его в тюрьму.

— Стекло, негодяй?! — завопил я, бросаясь к предателю.— Погодите, он хочет меня ограбить!

— Смешно грабить нищего пройдоху, как ты,— возразил Фонфред.— Твои камни — стекло. Один из них я оставлю, как доказательство, а остальные...— и он, смеясь, бросил в окно гибельные мои алмазы.— Впрочем, у тебя, верно, найдется еще достаточно гнусных подделок...

Все это я писал и дописывал в тюрьме. Утром меня повесят. Тюрьма — та самая, откуда я изловчился

скрыться, разогнув поленом решетку. Сторожа узнали меня, и я вынес побои, едва не отправившие злосчастного Франсуа на тот свет.

В часы, когда мрак, голод, бешенство и тоска изливались рыданиями, когда чувства и мысли сливались в беззвучный вой,— передо мной вставал призрак задушенного. Как ужасно его кроткое, безумное, худое лицо! Две черные руки впиваются в его шею, а он пытается оторвать их и шепчет. Когда он наконец скрывается, растаяв в таинственной бездне загробных ужасов, я все еще слышу:

— Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье. И пестрых тюльпанов, обостряющих слух. И медвяниц, прогоняющих ночное томление. Не забудь ландышей и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше...

Старик — ты делал стекло, в наивной и безумной мечте представляя, что помощью волшебства создашь несметное состояние! О, хилый дурак, жалкий безумец, одевающий Францию в бархат, кружева и парчу,— мне нужны алмазы! Ты стар был и полумертв, а я силен, я много хочу съесть и выпить, я могу бегать, прыгать, любить — все могу, а ты — ничего.

Он верил, что сундук полон алмазов. Будь проклят!

А, Монфокон, я вижу тебя! Вот твоя виселица, вот петля. Здравствуй и прощай, темный палач!

МРАК

I

Я никогда не находил удовольствия в так называемых «светлых явлениях», отчасти по скучнейшей их одинаковости, законченности и шаблонности, отчасти по причинам необъяснимого происхождения, лежавшим, надо полагать, в основе моей души со дня рождения. Грубое, топорное з л о тоже отталкивало меня, особенно если оно преследовало какую-либо практическую, материальную цель: деньги, наслаждения, вообще — корысть. В жизни более всего нравилось мне зло обдуманное,

бесцельное зло для зла, для спорта, для удовлетворения преступных инстинктов.

Происходя из богатой, образованной и почтенной семьи, я, в силу своего положения, должен был вести обычную жизнь людей нашего круга: посещать балы, концерты, вечера, модные лекции, театры и выставки. Обстановка такого времяпрепровождения мало располагала к искренности и откровенности, и мне нельзя было ни с кем поговорить о себе, большинство, если не все мои знакомые, были порядочными лицемерами и, вероятно, прозвали бы меня чудовищем, посвяти я их в тайны своих мрачных наклонностей. Я жил одиноко в мире жестоких грез.

Определить, объяснить, как, с какого именно времени появилось, выросло и окрепло во мне желание совершить убийство — я не мог бы, даже размышляя годами. Вид живого человека, кто бы он ни был, начал возбуждать во мне тяжкую, глухую тоску, потребность прекратить эти независящие от меня движения рук, ног, спины, шеи, эти звуки чужого голоса, дыхания, эти явления чужой жизни, тревожившие и угнетавшие мое больное внимание. Вид трупа не менее угнетал меня, но то было, кажется, ревнивое чувство, ревность к смерти, опередившей меня в данном случае.

Я опускаю подробности борьбы с собой в эти жуткие месяцы,— скажу лишь, что потребность убить стала неодолимой, я должен был уничтожить человеческое существо или всю жизнь ужасаться этим настойчивым, маниакальным стремлением. Решение созрело внезапно, как бы во сне; я вздохнул полной грудью и стал обдумывать преступление.

II

Не очень смешно это: обдумывать убийство, не зная еще кого убить, где и каким образом. Я три дня подыскивал мысленно подходящую жертву. Многие из знакомых моих не годились для этой цели, все это был народ чванный, сильный, здоровый, удачливый в жизни и в делах, словом, не принадлежащий к типу людей, погибающих тайной, насильственной смертью; в наружности их не было ничего рокового, а этого-то я и искал, ради не цели, а логичности преступления. Наконец я остановился на Рифте.

Рифт был молодой человек, болезненный, склонный к предчувствиям и меланхолии. Собою представлял он не разочарованного, а тот человеческий пустоцвет, с каким склонны возиться истеричные дамы, утверждая «избранность натуры» там, где душа просто зевает от скуки и бесталанности.

Рифт любил повторять, что жизнь его трагична и что он предчувствует близкий конец. Правда, трагического в его жизни было лишь множество долгов, но он так уверил себя в горестности своего существования, что разговаривал не иначе, как вздыхая и морщась. Лицо аскета, глаза больной овцы и волосы Рубинштейна — вот его грубый портрет.

Он любил охоту, я тоже (по ужасным причинам, уже рассказанным), и мы в теплый осенний день отправились двое в горные леса Лилианы, моей родины.

К закату солнца достигли мы весьма мрачной и удивительно дикой долины, в которой я никогда не был. Я спрашивал себя: не влияние ли некиих неведомых сил, что мы остановились на ночлег именно в такой местности? Ее вид наполнял душу угрюмостью, вызывая скорбные и зловещие мысли, необъяснимый трепет почувствовал я, рассматривая пейзаж. Как нельзя более был создан он для убийства или другого черного дела.

Плохая репутация мельниц, лесных постоялых дворов и каменоломен, быть может, складывалась под влиянием обстановки, толкающей к преступлению. Эта долина была ровным, каменистым скатом к обрыву пропасти. Мох, какого-то неприятно желтовато-белого цвета, покрывавший боковые холмы, и кусты терновника составляли всю растительность долины, придавая ей как бы прокаженный, проклятый вид, однотонный и отвратительный.

Вялые изгибы холмов и тучи, обложившие небо, и мертвенный последний свет запада, в соединении с огромной, дикой пустотой, с молчанием и полной уединенностью — веяли отчаянием. Именно отчаяние души, увидевшей себя преступно-свободной, выражалось этой дьявольской местностью. Я заглянул в пропасть: на глубине — высоте колокольни — стоял непроницаемый слой белого пара, скрывавшего бездну. Из пропасти несло холодом.

— Неужели мы будем ночевать здесь? — сказал Рифт.— Не очень это веселое место, место не для

нервных людей,— прибавил он неохотно, как бы боясь действия слов.

— Какая разница,— возразил я,— между своей спальней и таким ночлегом? Я не вижу никакой разницы.

— Вы шутите,— сказал он.

— Так же умирают в постели, как и в пустыне,— сказал я, пугаясь сказанного, смысл которого был известен мне и чужд Рифту. Он вздрогнул.

— Что это с вами? — спросил Рифт.— Ваша речь похожа на бред... вы дрожите... вы больны?

Тут он сделал некий необыкновенно жизненный, характерный для него жест: слегка стукнул ногой о ногу, как бы шаркнув. Неудержимое желание убить его поднялось во мне, но я ждал, ждал, когда мной овладеет ужас неизбежного и передастся Рифту и когда с ужасом, с тоской и криком я нападу на него инстинктивно, как кошка бросается на мышь.

Привязав лошадей к кустам, мы нарубили сколько могли терновника и зажгли костер. Я помню, что мы закусывали, говорили о городских событиях и уснули, помню также, что перед тем, как уснуть, я странным образом перестал думать об убийстве и, удивляясь этому, отложил дело.

Я спал очень крепко. Я проснулся (взглянув на часы) в середине дня. Еще лежа, я подумал, что Рифт вчера ошибся, говоря о кабанах по ту сторону гор, и захотел сказать ему, что там нет кабанов, но, осмотревшись, увидел с безграничным удивлением, что Рифт исчез. Не было ни его, ни его ружья, ни одеяла, ни лошади. Я был один.

Ничего не понимая, я закричал, призывая Рифта, и не получил отклика. Я выстрелил несколько раз — и безрезультатно. Теряясь в предположениях, в беспокойстве о пропавшем приятеле, я объездил несколько верст в окружности и не заметил даже следов копыт.

— Я мог пропустить следы,— сказал я, останавливаясь на краю пропасти с некоторым сомнением, с некоторым уклоном мысли в сторону невозможного.— Я торопился... наверное, Рифт пошутил со мной и он где-нибудь здесь поблизости. Но где?

Я не мог также не видеть, что нахожусь в очень бодром, здоровом и ясном состоянии духа. Я как бы вышел из укрепляющей ванны. Я выспался. Мои планы убийства, мои зловещие, повседневные замыслы каза-

лись теперь, хотя я вспоминал это с лукавой и рассеянной леностью, очень смешным капризом, недостойным пожатия плечами, даже воспоминания. Тем более я хотел отыскать Рифта. Я хотел воочию увидеть то, чего не сделал, в живом образе человека. Я знал теперь, что никогда не мог стать убийцей, я, джентльмен с головы до ног, сливки цивилизации, человек с лицом мыслителя и привычками сноба!

Как сказал, я стоял, будучи верхом, на краю пропасти, смотря в нее с тем недоумением, с каким потерявший что-либо человек беспомощно уставляется взглядом на любую вещь, желая сосредоточиться для понуждения памяти. Нервность моей лошади удивила меня. Конь беспокойно переступал с ноги на ногу, прядал ушами и все время находился в состоянии сдавленного уздой кипения, его ноздри широко раздувались, и вот он оглушительно, потрясающе заржал, высоко вскинув прекрасную черную голову.

Прошло несколько изнурительных мгновений ожидания, в течение которых неподвижно совершалось во мне бурное потрясение, я слышал вихри и голоса, стоны и оглушающие удары, и неумолимое придвижение ужаса почти лишило меня сознания. Тогда из глубины пропасти, из слоя белого холодного пара, опущенного в ее расселистый зев, достигло моих ушей слабое ответное ржание, и я узнал голос лошади Рифта.

Этого было достаточно, чтобы моя воскресшая в судорогах и в болях память вернула меня к тому глухому часу ночного молчания, когда я, действуя бессознательно, душил сонного Рифта, когда тащил к пропасти труп и, бросив его в пар, сделал то же с вещами жертвы, и когда, терзаясь невыносимым страхом преследования, подвел к обрыву бедную лошадь, выпустив в нее пулю, после чего она покатилась к мертвому своему хозяину.

Вероятно, после несмертельного выстрела тело ее застряло где-то в уклоне заросшего кустами обрыва пропасти, и теперь околевающее животное отвечало призывному наверху ржанию.

И теперь, когда освобожденная от мрака душа силилась понять, как могла она дышать этим мраком и всячески отталкивала его, я должен был завершить жизнь с неотступно звучащим из бездны ржанием и мертвым лицом Рифта перед глазами.

ОГНЕННАЯ ВОДА

I

К главному подъезду замка Пелегрин, описав решительный полукруг, прибыл автомобиль жемчужного цвета — ландо.

В левом его углу с подчеркнутой скромностью человека, добровольно ставящего себя в зависимое положение, сидела молодая женщина с серьезным, мелких черт, лицом и тем оттенком улыбки, какой свойствен сдержанной душе при интересном эксперименте.

Она была не одна. Господин с лысиной, выходящей из-под цилиндра к затылку половиной тарелки, с завитыми вверх, лирой, усами и тройным подбородком, уронив, как слезу, в руку монокль, оступился и, подхваченный швейцаром, вновь вскинул стекло в глазную орбиту, чопорно оглядываясь.

Швейцар звонком вызвал лакея, презрительно поджав нижнюю губу, что, впрочем, относилось не к посетителю.

— Нижайшее почтение господину нотариусу,— сказал он почтительным, но несколько фамильярным тоном сообщника.— Все в порядке.

— В порядке,— повторил нотариус Эспер Ван-Тегиус.— Шутки долой. Пока не пришел кто-нибудь из этой банды, говорите, как дела.

— Во-первых, идут какие-то проделки и стоит кавардак. Во-вторых, совещание докторов окончилось ничем. Я подслушивал у дверей с негром Амброзио. Смысл решений такой, что «нет никаких оснований».

— А... Это печально,— сказал Ван-Тегиус.— Профессор Дюфорс еще меня не известил обо всем этом.— Удар! Последнее средство...— Он обернулся и кивнул даме в автомобиле, махнувшей ему ответно концом вуали.— Ну, что еще? Настроение? Факты?

В далях заднего плана раскатисто заскакало эхо ружейного выстрела, сопровождаемого резким криком.

— Факты? — сказал, вздрогнув, швейцар, и его гладстоновское лицо передернулось, как кисель.— Вот и факты. Утром он убил восемь павлинов, это девятый.

— Но что же...

— Тс-с...

Где-то вверху лестницы уставился в ухо нотариуса

пронзительный свисток, ему ответил второй, и по лестнице, припрыгивая и катясь ладонью по гладким мраморным перилам, спустился бритый человек с лицом тигра; его кожаная куртка и полосатая рубаха были расстегнуты; широкие штаны болтались вокруг огромных ботов с подошвой в три пальца. Копна полуседых, черных волос была стянута малинового цвета платком. Дым шел одновременно из трубки и рта, так что человек спустился как бы на облаке.

Невольно Ван-Тегиус увидел за его спиной призрак подобострастного маркиза в шелковых чулках и красной ливрее, но лакеев этого типа не найти было более в Пелегрине.

— Что здесь происходит? — спросил страшный слуга.

— Нет ни абордажа, ни драки дубовыми скамейками,— с ненавистью ответил швейцар,— просто посетитель, ничего более. Да. Может быть, вы взберетесь по вантам доложить о его прибытии? Нотариус Ван-Тегиус.

Страшилище почесало затылок.

— Я хочу видеть по делу владельца, Эвереста Монкальма,— заявил нотариус, намеренно избегая титула.

— Пойду скажу,— задумчиво ответил матрос,— не знаю, что будет.

Он исчез, шагая по три ступеньки; тем временем швейцар сообщил еще кое-что интересное: уволено тридцать слуг, взамен их Монкальм выписал откуда-то человек двадцать матросов, которые и делают что хотят. Этикет уничтожен; исчезло малейшее подобие знатности и величия. Недавно едва не затравили собаками директора кинематографической фирмы, приехавшего со свитой и актерами просить разрешения снять в древнем гнезде маленькую комедию. Жена Монкальма, эта «темная особа низкого происхождения», как выразился швейцар, вчера самолично руководила на кухне приготовлением кушанья, изобретенного ее мужем. Сам не терпит никаких возражений и указаний. Звонки заменены свистками и трубными сигналами. Все это хлынуло дождем безобразия за три недели, как только изгнанный пятнадцать лет назад за многочисленные художества Эверест по непонятному капризу его дяди стал полным и единственным наследником.

Гм... гм...— сказал Ван-Тегиус, затем вышел к автомобилю, пошептался с дамой и вернулся в момент, когда ему сверху махнули рукой идти.

II

Он все-таки ожидал еще по старой привычке, так как не раз бывал здесь, что с блаженным и торжественным чувством погрузится в бездны темной стенной резьбы, простора внушительных и величественных предметов с гулким эхом шагов. Отчасти это и было так с той поразительной и всему придавшей иной вид разницей, что во всех помещениях стоял яркий, дневной свет. С удалением темных цветных стекол и заменой их прозрачными залы, казалось, сверкали вихрем желтых и голубых перьев. Чинно выступая вслед развалистой походке морского бродяги, Ван-Тегиус, несколько струсив, прошел сквозь строй коек, составленных пирамидой ружей, и матросов, игравших в карты, прихлебывая вино,— это была охрана Монкальма. Вдали, на коротком просвете анфилады, промчалась горничная с паническим лицом. В одной гостиной стояла огромная палатка, внутри ее виднелась походная меблировка пустыни; пальмы в кадках, сдвинутые вокруг, являли вид комнатных тропиков.

Следующая комната, путь к которой шел по небольшой лестнице, показала наконец Ван-Тегиусу более кроткое зрелище. Здесь, полулежа на ковре, подпирая маленькой смуглой рукой голову, расположилась пышно-непричесанная, но в бальном платье, шлейф которого был занят двумя книгами, женщина или, вернее, девочка, ставшая женщиной на семнадцатом году жизни. Все шкафы здесь были открыты, и их музейное содержание — фарфоровые фигурки зверей и людей — образовало перед лицом странной особы маленькую цветную толпу, которую она заботливо группировала в какие-то сцены, по-видимому придавая этому большое значение. Увидев Ван-Тегиуса, она сердито смутилась и грациозно приподнялась, затем встала, сложив руки назад.

— Это пленник? — сказала она серьезно.— Что он сделал?

— Ничего, идет себе,— ответил матрос,— только это не пленник.

Нервно смеясь, угадывая, что видит жену Монкальма, нотариус отвесил театральный поклон и хотел назвать себя, но женщина, покраснев, махнула рукой.

— Идите, идите, я потом приду,— заявила она и отвернулась, очаровательно заалев.

Путь среди этих чудес был пыткой. Наконец она кончилась. Ван-Тегиус, расстроенный, но крепко решившийся, вошел в колоссальную библиотеку, где у раскрытого окна с винтовкой в руках стоял сам Эверест Монкальм, нелюбимый и изгнанный сын Монкальма, одного из трех великих дюжин страны.

III

Он был в турецком костюме, чалме и низких сафьяновых сапогах. Его широкое нервное лицо с прищуренным, как на солнце, взглядом отражало весь его беспокойный, неукротимый характер; сложенный красиво и сильно, он двигался, как порыв ветра, говорил громко и медленно.

— Ван-Тегиус,— сказал он, вывихивая рукопожатием плечо нотариуса,— надоели павлины. Их крик ужасен. Что скажете?

Они сели, причем Монкальм уронил свою винтовку, но не поднял; стук, заставив нотариуса вздрогнуть, помог ему начать в темп встречи — и сразу.

— Эверест,— сказал он,— я знал вас ребенком. Не будем говорить о печальных обстоятельствах...

— Что же печального? — перебил Монкальм.— Обыкновенный блудный сын. Деликатное изгнание с пенсией. Нежелание обручиться с девой, безрадостной, но богатой...

— Молодость Генриха Четвертого,— разрешил себе обобщить Ван-Тегиус,— побеги на рыболовных судах...

— Я откровенно скажу,— снова перебил Монкальм,— пятнадцать лет сделали меня таким, каков я теперь. Со мной Арита. Это моя жена. Я нашел ее в темном углу с пыльным золотым светом. Больше мне ничего не надо. Кстати,— сказал он таинственно,— заметили палатку?

— О, да.

— И военный постой?

— Хм... конечно.

— Ну, так это она. Ей хочется, чтобы все было «как на корабле». Вахта. И пустыня, где она не бывала; поэтому соорудили палатку. Не стоит мешать ей.

— Я удостоился,— с улыбкой сказал Ван-Тегиус,— удостоился вопроса,— «не пленник ли я?».

— Ну да,— ответил, быстро подумав, Эверест.—

Это замок. У нее все спуталось в голове. Она, может быть, ждет драконов,— почем я знаю? Вы знаете,— просто сообщил он,— что здесь все смеются над нами. Однажды меня не было. Ей подали обед в парадном порядке, но с издевательством. От поклонов, услуг и титулования она не могла есть; она сидела и плакала, так как растерялась. Узнав это, я выгнал всех хамов и заменил их старыми своими знакомыми. Вас привел Билль. Он был, правда, пиратом, но мимо спальни проходит на цыпочках.

— К сожалению,— сказал нотариус,— ваш образ жизни, бесцеремонный уход с праздника у сестры вашей, герцогини Эльтрат, в сопровождении забулдыг, ваше нежелание посетить влиятельных лиц и многое другое — отвратило от вас много дружественных душ.

— О,— сказал Монкальм и наивно прибавил: — Правда. Невероятно скучны эти кисляи. Я делаю что хочу. Хотите, мы вам сейчас споем хором «Песню о Бобидоне, морском еже»?

— Нет,— вздохнул Ван-Тегиус.— Я уже стар. Монкальм, я приехал с кузиной вашей, Дорой дель-Орнадо. Она в автомобиле, так как боится войти.

Взгляд, подобный пощечине, и срыв Монкальма в хлопнувшую, как стрела, дверь был ответом. Ван-Тегиус пробыл один около десяти минут, пока Эверест вернулся в сопровождении легко и мило выступающей женщины, видимо, взволнованной тем, что предстояло сказать.

— Меня не надо бояться,— сказал Монкальм, двигая ударом ноги кресло для посетительницы.

Затем нотариус приступил к делу и рассказал, что, умирая, дядя Эвереста ввиду невозможности быстро переделать завещание, сделанное в пользу племянника, призвал его, Ван-Тегиуса, и ее, Дору дель-Орнадо, и заставил поклясться, что устное его пожелание будет передано племяннику.

IV

Оказалось, что игра вышла наверняка. Молодая женщина успела только сказать:

— Дорогой Эверест, мое положение тяжело. Я не посягаю на все и не имею права, но я прошу вас сделать, что можно.

В этот момент вошла Арита, робко потянув дверь. Эверест удержал ее рукой за плечо. Она прошла вперед, упираясь головой в подмышку гиганта, с застенчивым и прелестным лицом, полным неловкости.

— Душа моя,— сказал Монкальм, подмигивая нотариусу и кузине,— мы завтра уезжаем с тобой в Гедарк, в новое путешествие.

— При полном ветре,— сказала она.— И вы с нами?

Смех, короткое представление, два-три ненужных слова,— и посетители удалились.

— Ваш расчет верен,— сказала нотариусу Дора с чувством, смотря на его деловитое, улыбающееся лицо, когда автомобиль тронулся.— Нас даже не провожали, однако.

— Как? Разве вы не видели? Впрочем, я понимаю ваше волнение. За нами шел Билль, этот мрак в образе человека.

— Итак, вы...

Она обернулась на Пелегрин с выражением охотника, повалившего тигра.

— Так просто,— сказал Ван-Тегиус.— Ох, уж эти романтики...

РОЖДЕНИЕ ГРОМА

I

В Страсбургском гарнизоне был молодой инженерный офицер, по имени Руже де Лиль. Он родился в Лон-ле-Сонье, среди гор Юры, страны мечтаний и энергии, каковы всегда бывают гористые места. Этот молодой офицер любил войну как солдат, революцию — как мыслитель; стихами и музыкой он пленял офицеров своего гарнизона. Благодаря двойному таланту — музыкальному и поэтическому — молодого офицера все охотно принимали у себя,— он посещал по-дружески дом барона Дитриха, благородного эльзасца конституционной партии, друга Лафайэта и Страсбургского мэра.

Жена барона Дитриха, ее молодые приятельницы разделяли энтузиазм к патриотизму и к революции, в особенности проявлявшийся на границах,— подобно

тому, как корчи одержимого болезнью бывают более чувствительны в конечностях. Эти женщины любили молодого офицера, вдохновляли его сердце, поэзию и музыку. Они первые выполняли мысли, только что зародившиеся, были доверенными первого лепета его гения.

II

Это было зимою 1792 года. В Страсбурге господствовал голод. Дом Дитриха, богатый в начале революции, но истощенный пожертвованиями, которые вынуждались невзгодами того времени, обеднел. Скромный стол в этом семействе был открыт для Руже де Лиля. Молодой человек проводил там вечер и утро, как сын или брат семейства.

Однажды, когда на столе были солдатский хлеб и несколько ломтей ветчины, Дитрих, взглянув на Лиля своим печальным ясным взором, сказал ему: «Изобилие покидает наш стол, но что из этого, если нет недостатка в энтузиазме для наших гражданских празднеств и в мужестве для сердец наших солдат! В моем погребе осталась еще одна, последняя бутылка рейнвейна. Пусть ее принесут, и мы разопьем ее за свободу и за отечество! В Страсбурге должна происходить вскоре патриотическая церемония; надобно, чтобы в последних каплях де Лиль почерпнул один из тех гимнов, которые вносят в сердце народа восторг, породивший их самих».

Молодые женщины одобрили эти слова, принесли вино, наполнили стаканы Дитриха и молодого офицера до тех пор, пока вино не было осушено. Было уже поздно. Стояла холодная ночь. Де Лиль принадлежал к числу мечтателей; его сердце было взволновано, голова разгорячена. Холод охватил молодого человека. Он пошел колеблющимся шагом в свою комнату и стал медленно искать вдохновения то в трепете своей души, души гражданина, то на клавишах своего артистического инструмента, слагая то песню, то слова, и складывал их в своих мыслях таким образом, что сам не мог различить, которое зародилось прежде,— ноты или стихи, и наконец ему сделалось невозможно отделить поэзию от музыки и чувство от выражения. Он пел, но не писал ничего.

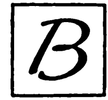
III

Обремененный этим высоким вдохновением, де Лиль заснул, положив голову на свой инструмент, и проснулся только днем. Ночные песни с трудом припомнились ему, как бы во сне. Он их записал, положил на ноты и побежал к Дитриху. Последнего он нашел в саду, копающего собственными руками зимний латук. Жена мэра-патриота еще не вставала. Дитрих разбудил ее; он созвал несколько друзей, подобно себе страстных любителей музыки, способных выполнить композиции де Лиля. Одна из молодых девушек аккомпанировала. Руже пел. При первой строфе лица присутствующих побледнели, при второй потекли слезы, при последних — раздался бешеный энтузиазм. Дитрих, жена его, молодой офицер со слезами бросились друг другу в объятия. Гимн отечества был найден, но — увы — ему предстояло также сделаться гимном ужаса. Немного месяцев спустя несчастный Дитрих пошел на эшафот при этих же звуках, зародившихся у его очага, на сердце его друга, в голосе его жены.

Новая песня, исполненная через несколько дней в Страсбурге, перелетела из города в город по всем народным оркестрам. Марсель решил петь ее при начале и при конце заседаний своих клубов. Марсельцы распространили ее по всей Франции, распевая по дороге. Отсюда самая песня получила имя «Марсельезы». Старая мать де Лиля, религиозная женщина и роялистка, испуганная подобным отзвуком голоса своего сына, писала ему: «Какой это революционный гимн распевает орда разбойников, проходящих по Франции, и соединяет с ним наше имя». Сам де Лиль, изгнанный в качестве федералиста, с трепетом слышал свой гимн как угрозу смерти во время своего бегства на лощины Юры. «Как называется этот гимн?» — спросил он у своего проводника. «Марсельеза»,— ответил ему крестьянин.

Вот каким образом он узнал название своего произведения. Его преследовал тот энтузиазм, который сам же он рассеял за собою. Руже де Лиль избежал смертной казни. Оружие обратилось против той самой руки, которая его сковала.

ШЕДЕВР



2222 году я, по совету помощника заведующего XV-м районом эстетических эмоций, отправился на выставку общества Дерби-Натуралистов. Мало знакомый с социалистическим искусством, я рассчитывал умопомрачиться от восторга и не ошибся в расчете.

У входа продавали сайки, семечки, резиновые набойки и прочее такое полезное. Над входом виднелась надпись пробковой инкрустацией:

«Печной горшок (да-с!) мне дороже:
Я пищу в нем себе варю».

Первый зал представлял пейзажистов. Вот картина,— что она? Посмотрим ближе. Подпись гласит: «Вид на Петрушку» с бол. бук.

Мы увидели восхитительно написанную грядку, засеянную петрушкой «Крик сердца». Вторая картина изображала трудолюбивого муравья под тенью гигантской брюквы.

И т. д. И т. д. Нам нечего распространяться о колорите, свете и решительности контура. Последний превосходил все мыслимое. В некоторых местах черта, проведенная шпандырем, выглядела блистательно.

Во втором зале прелестные миниатюры натюр — морт. Здесь — чайки, солдатские пуговицы, сверла, гвоздики большие и малые и болты от домкратов. Мы заплакали. Наш восторг переходил в истерику. Мы встали на одной ноге посреди залы и запели торжественно:

Вонзите штопор в упругость пробки!
Пуль Ван-Дейку! Где взять полкнопки?

Тогда нас почтительно, под ручки перетащили к жанру. А тут?! Я вижу огромную машину в ходу. Из нее рвется электричество. Страх и трепет! Что же она делает? О — только всего,— таблетки от расстройства желудка. Далее: текстильное производство в четырнадцатом столетии. N. B. фигура бургомистра тщательно замазана белой краской, и по ней надпись: «По сведениям наблюдательного комитета означенный бургомистр был женат на незаконной дочери австрийского короля».

Восхищенные всем виденным, мы приобрели карти-

ну, изображающую полировку дымовых труб, за 400 000 талонов на парную редиску, а автору ее поднесли хоругвь с изображением Гималайских гор, утыканных перочинными ножичками. Дома, поскоблив картину, мы определенно увидели под слоем отставшей краски старое полотно.

Расширив наши завоевания, мы нашли более, чем ожидали. Там, под грунтовкой, сверкнуло лицо молодой женщины с ниткой жемчуга в бронзовых волосах,— лицо, написанное Корреджио.

За это меня сегодня казнят — казнят радиоактивно и поносно — особливо за жемчуг.

СОЗДАНИЕ АСПЕРА

I

В мрачной долине Энгры, близ каменоломен, судья Гаккер признался мне во многом необычайном.

— Друг мой,— заговорил Гаккер,— высшее назначение человека — творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны. Имя художника не может быть никому известно; более того, люди не должны подозревать, что явления, удивляющие их, не что иное, как произведение искусства.

Живопись, музыка, поэзия создают внутренний мир художественного воображения. Это почтенно, но менее интересно, чем мои произведения. Я делаю живых людей. С этим возни больше, чем с цветной фотографией. Тщательная отделка мелких частей, пригонка их, чистка, обдумывание умственных способностей созданного вновь субъекта, а также необходимость следить за тем, чтобы он поступал сообразно своему положению, отнимают немало времени.

— Нет, нет,— продолжал он, заметив на моем лице недоверие и натянутость,— я говорю серьезно, и вы скоро это увидите. Как всякий художник, я честолюбив и желаю иметь последователей; поэтому, зная, что завтра окончу жизнь, решился доверить вам метод, посредством которого достиг известных результатов.

Земля скупо создает новые виды растений, животных и насекомых. Мне пришла мысль внести в роскошное разнообразие природы еще более разнообразия путем создания новых животных форм. Открытие новой разновидности кокуйо [1] или орхидеи увековечивает имя счастливого профессора, тем более мог гордиться я, если бы удалось мне,— не путем скрещивания, это путь природы,— а искусственно изменить видовые признаки отдельных особей с сохранением этих изменений в потомстве. Я нашел верный путь, столь странный, но бесконечно простой, что вы, если я посвящу вас в свое открытие, должны изумиться. Однако я молчу, чтобы не сделать бедных животных пасынками ученого мира, забавными уникам: теперь же они — предмет благоговейного изучения, завоеватели славы своим исследователям.

Я создал плавающую улитку с новыми органами дыхания; шесть пород майских жуков, из коих одна особенно замечательна выделением благовонной жидкости; белого воробья; голубя-утконоса; хохлатого бекаса; красного лебедя и много других. Как вы заметили, я выбирал общеизвестные, легко встречаемые виды с целью наискорейшего их открытия учеными. Мои произведения вызвали фурор; автором считали природу, а я читал о плавниках новой улитки с улыбкой и нежностью к маленьким тварям, отцом которых был я. В это время, определяя границы возможного, я занялся деланием людей. Я придумал их три, выпустив в жизнь: «Даму под вуалью», известного вам «поэта Теклина» и разбойника «Аспера», относительно которого в стране не существует двух мнений: это — гроза округа.

Являлось бесцельной забавой производить обыкновенных людей, которых весьма достаточно. Мои должны были стать центром общего внимания и произвести сильное впечатление, совершенно так, как знаменитые произведения искусства; след, задуманный и проложенный мной, должен был глубоко врезаться в души людей.

Я начал с «Дамы под вуалью» как с опыта. Однажды к прокурору главного суда в Д. позвонила стройная молодая женщина; лицо ее скрывал черный вуаль. Она объяснила, что желает видеть прокурора для секретных разоблачений по сенсационному процессу X., обвиненного в государственной измене. Слуга, ходив

---

[1] Светящийся жук.

ший с докладом, вернулся, но дама скрылась. В один и тот же час того дня, как обнаружилось, таинственная посетительница приходила с аналогичным заявлением к сенатору Г., министру юстиции, военному министру и инспектору полиции и везде скрывалась, не ожидая результатов доклада.

Предположения, возникшие в печати и обществе по поводу этого необъяснимого случая, доставили мне множество приятных часов. Уличные газеты кричали о мадам К., любовнице штабного генерала, заинтересованного в гибели подсудимого; другие, с пеной у рта, объявили даму хитрой выдумкой консерваторов, подкупленных министерской полицией, старавшейся прекратить скандал. Третьи, измышляя интригу государств иностранных, обвиняли в измене правительство и утверждали, что дама под вуалью — морганатическая супруга принца В., красавица, опасная для мужчин, какое бы высокое положение они ни занимали. Салонный шепот распространил клевету на женщин света и полусвета; в таинственной даме олицетворяли подкуп, разврат, интригу, происки партий, трусость и предательство. Наконец, общим голосом объявлена она была Марианной Чен, полубольной сестрой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду.

Три года в четырех городах появлялась она, скрываясь от назначенных ею самой свиданий по разным, но всегда крупным делам, имеющим мировое значение. Никто не видел ее лица иначе, как на портрете, помещенном ею вместе с собственноручным письмом в «Парижском Глашатае». Вот этот портрет.

Рассказ Гаккера взволновал меня, я начал верить ему: было здесь нечто, похожее на эхо в овраге, когда повторенный звук указывает глубину обрыва; эхом человеческого могущества звучал рассказ Гаккера.

Он подал мне фотографию; удачнее выбрать лицо, выражающее тайну, было бы трудно: с полузакрытыми, прямо смотрящими глазами под высоким и гордым лбом белело оно твердым овалом, и сжатые губы, казалось, только что покинул отнятый от них палец.

— Марианна Чен — символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для множества людей деле.

— Сотворение поэта Теклина, переводчиком которого я состоял до его смерти,— более трудное дело. Как вы знаете, это писатель из народа, а художественные

требования, предъявляемые самородкам, не превышают обычного, терпимого уровня; продуктивность их и демократические симпатии обеспечивают им весьма часто жирную популярность.

В редакциях стал появляться застенчивый деревенский гигант, предлагая приличные для необразованного человека стихи; на него обратили внимание, а через год он писал уже значительно лучше. Затем, после нескольких внушительных фельетонов и критических статей о себе Теклин исчез, изредка сообщая, что он в Индии, или Бухаре, или Австралии, с быстротой молнии перекатываясь из одного конца света в другой. Теклин продолжал писать строго идейные в социальном смысле стихи; здоровая поэзия его удовлетворяла широкие слои общества, а слава росла. Я стал переводить его на всевозможные языки и, могу вас уверить, достиг тоже известности, как недурной переводчик.

Теклин умер недавно от желтой лихорадки в Палестро. Даже разбогатев, поэт обходился без прислуги, был вегетарианцем и любил физический труд.

— Вы шутите! — вскричал я.— Но ведь это немыслимо!

— Почему же? — Гаккер искренне удивился.— Разве я не могу сочинить плохие стихи?

Он замолчал.

II

— Это хорошее было произведение — Теклин,— сказал, выходя из задумчивости, Гаккер.— Я тщательно сработал его. Но перехожу к тому, кто мне интереснее всех,— к Асперу; не распространяясь о технике, я оставляю этот вопрос открытым. В настоящем примере вы увидите черновик, будни художника.

Аспер — тип идеализированного разбойника: романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы. Как это ни странно, но, ожесточенно борясь с преступностью, общество вознесло над жуликами своеобразный ореол, давая одной рукой то, что отнимало другой. Потребность необычайного,— может быть, самая сильная после сна, голода и любви; писатели всех стран и народов увековечили в произведениях своих положительное отношение к знаменитым разбойникам. Картуш, Мор-

ган, Рокамболь, Фра-Диаволо, волжский Разин — все они как бы не пахнут кровью, а мысль человека толпы неудержимо тянется к ним, как тянется, визжа от страха, щенок к медленно раскачивающейся голове удава. Это освежает нервы, и я создал легендарного Аспера. Порывшись в трущобах, где лица заросли волосами и пропиты голоса, я остановился на беглом, весьма опасном каторжнике. Не стоило мне больших трудов выгнать его за океан с помощью денег; он был хорошо известен полиции, его арест был мне невыгоден. Я воспользовался его именем «Аспер» — взял чужую мышеловку, но посадил в нее свою мышь. В нашем округе вооруженные грабежи — обычное явление, и я умело распорядился ими, но не всеми, а лишь такими, где преступники обходились без насилия и убийства. Создав Аспера, я создал ему и шайку, после каждого ограбления пострадавший получал коротенькое письменное уведомление: «Аспер благодарит». В то же время наиболее бедные из крестьян получали от меня деньги и таинственные записки: «От Аспера щедрого» или «Свой своему. Аспер». Иногда послания эти становились длиннее; напуганные фермеры читали, например, следующее: «Я скоро приду. За Аспера — помощник его, скрывающий имя».

Случалось, что на фермеров этих действительно нападали, но в случае поимки грабителей они, естественно, протестовали против принадлежности своей к шайке Аспера, и это еще больше удостоверяло прекрасную дисциплину неуловимого и, что признавали уже все, отважного бандита.

Дерзость и наглость Аспера обратили на себя особо пристальное внимание. Сам он, как говорили, появлялся весьма редко, и мнения относительно его наружности расходились. Воображение пострадавших помогало мне сильно. Изредка я оживлял впечатления; например, завидя одиноко едущего по дороге крестьянина, надевал маску и молча проходил мимо него; известная рисовка положением заставляла беднягу рассказывать всем о встрече не с кем иным, как с Аспером. Устроив близ железнодорожной станции потухший костер, я бросил около него на траву две полумаски, несколько пустых патронов и нож; это обсуждалось серьезно, как спугнутый ночлег бандита.

Благодеяния его становились все чаще и разнообразнее. Я посылал деньги бедным невестам, вдовам, уми-

рающим с голоду рабочим, игрушки больным детям и т. п. Популярность Аспера укреплялась с каждым месяцем, полиция же выбивалась из сил, отыскивая злодея. Целые деревни подозревали друг друга в укрывательстве Аспера, но невозможно было уследить ходы и выходы этого замечательного человека. Однажды, зная, что поселку Гаррах по доносу фантазера угрожают надзор и обыск, я послал от имени Аспера письмо в газету «Заря»: Аспер удостоверял клятвенно, что Гаррах враждебен ему.

Около этого времени Аспер влюбился.

Молодая дама Р. поселилась недалеко от Зурбагана в вилле своей сестры. Во время лесной прогулки к ногам ее упал камень, завернутый в лист бумаги. Подняв упавшее, Р. с испугом и удивлением прочла следующие строки: «Власть моя велика, но ваша власть больше. Я тайно и давно люблю вас. Не беспокойтесь; отверженный и преследуемый — я, произнося ваше имя, становлюсь иным. Аспер». Дама поспешила домой. Семейный совет решил, что это глупая шутка кого-либо из соседей, и успокоил взволнованную красавицу. Наутро под окном ее нашли целый сад роз; весь цветник, от клумб до подоконников, был завален гигантскими букетами, а в дереве стены торчал, удерживая записку, кинжал синей стали с рукояткой из перламутра. На записке стояло: «От Аспера».

Р. немедленно уехала в другую провинцию, унося на спине взгляды знакомых дам, не лишенные зависти.

Неуловимость волнует больше, чем преступление. Несколько раз полиция устраивала засады в горных проходах, на берегах рек, в бродах, пещерах и везде, где только можно было предположить тайные лазейки Аспера. Но сверхъестественная неуловимость бандита, лишая полицию даже жалкого утешения в виде стычки или погони, понемногу охладила рвение администрации; вяло, без воодушевления, как хронически-больной, потерявший надежду на излечение, принимала она меры канцелярского свойства — отписку и переписку. Тогда, болея за Аспера, я послал донос с указанием места его постоянного пребывания, выстроив заранее в глухом лесу небольшой дом. По следу этому отправились конница и пехота.

Ранним утром, в то время как преследователи приближались к хижине Аспера, в зеленой чаще раздались выстрелы. Разбойники стреляли из-за кустов. То были

патроны без пуль, укрепленные мною в различных местах леса и снабженные великолепно скрытыми электрическими проводами; конные полицейские, проехав по единственной в этом месте тропе, не подозревали, что копыта их лошадей давили зарытую доску, нажимавшую, в свою очередь, кнопку. Все это стоило мне больших трудов. Полицейские, бросившись на выстрелы, никого не нашли; разбойники скрылись. В очаге хижины тлели угли, остатки пищи лежали на оловянных тарелках, ножи и вилки, кувшины с вином — все говорило о спешном бегстве. В ящиках под кроватью, на стенах и в небольщом тайнике было обнаружено несколько париков, фальшивых бород, пистолетов и огнестрельных припасов; на полу валялись черепаховый веер, пояс и шелковый женский платок; это сочли вещами любовницы Аспера.

Игра тянулась шесть лет. В окрестностях поют много песен, сложенных молодежью в честь Аспера. Но Аспер, как я убедился, должен быть пойман. В последнее время полиция наводнила округ до такой степени, что разбои прекратились совсем. Уже год, как об Аспере ничего не слышно, и существование его многими оспаривается.

Я должен спасти его, т. е. убить. Завтра я это сделаю...

Гаккер расстегнул рукав сорочки и показал мне татуировку. Рисунок изображал букву «А», череп и летучую мышь.

— Я копировал с руки настоящего Аспера,— сказал Гаккер,— полиция примет рисунок к сведению.

— Я понял. Вы умрете?

— Да.

— Но ведь жизнь стоит больше, чем Аспер; подумайте об этом, друг мой.

— У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим неуверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках. Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить.

Он встал, мы пожали друг другу руки. Я знал, что эту ночь не усну, и шел медленно. Аспер, как разбой-

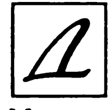
ник, продолжал существовать для меня, несмотря на рассказ Гаккера. Я посмотрел в сторону гор и ясно почувствовал, что бандит там; прячась, караулит он большую дорогу, взводя курки, и неодолимая уверенность в этом была сильнее рассудка.

«Около одиннадцати часов вечера у скалы Вула, где пропасть, убит легендарный Аспер. Остановив почтовую карету, разбойник, взводя курок штуцера, поскользнулся, упал; этим воспользовался почтальон и прострелил ему голову. Раненый Аспер бросился в кусты, к обрыву, но не удержался и полетел вниз, на острые камни, усеявшие дно четырехсотфутовой пропасти. Обезображенный труп был опознан по татуировке на левой руке и стилету, на лезвии которого стояло имя разбойника. Подробности в специальном выпуске».

Так прочел я в вечерней газете, кипы которой разносились охрипшими газетчиками. «Смерть Аспера!» — кричали они. Я положил эту газету в особый ящик редкостей и печальных воспоминаний. Каждый может видеть ее, если угодно.

ВОССТАНИЕ

I



ва человека выдвинулись во время грозных этих событий — Ферфас и Президион.

В полночь на 30 декабря 1948 года гулкий набат одной из церквей предместья Черного Месяца внезапно огласил город. Звонарь, упираясь ногами в дубовую трехаршинную доску, лупил по колоколу тяжеленнейшим языком. Разрываемый воздух мчался на улицы сплошным гулом.

Жители повыскакали из домов. Везде запирались ворота, патрули стреляли в воздух, обезумевшие извозчики мчались вскачь, женщины спешили укрыться. Черная толпа обливала углы, переливаясь с площадей в переулки и обратно силой мгновеннейших впечатлений.

Раздавались страшные вопли-крики, погасло электричество, заблестели факелы.

Выступали, распевая хором, медленные и грозные шествия. Все расступались перед ними. Через улицы словно ветром переносило стаи мальчишек.

Колокол продолжал бить по слуху и нервам.

В черных высоких кузницах толстые кузнецы, засучив рукава, ковали ножи и пики; звон стали и шум мехов, красный ад горнов и шипенье закалки веселили отчаянных тружеников.

Президион выехал на коне. Длинные седые волосы предводителя трепались по ветру из-под широкополой остроконечной шляпы; дырявый плащ развевался как знамя; изможденное лицо пылало неукротимым огнем.

Он был смешон, страшен и свят.

Попадали столбы, опрокинулись телеги и кареты, сгрудились мостовые, начался бой, пальба на всех перекрестках.

Звонарь звонил на разрыв сердца; наконец сердце разорвалось, и горбун, вскрикнув, упал.

II

Президион узнал, что успех восстания может обеспечить только гибель Ферфаса. Поэтому, отдав тайным агентам приказ изловить мошенника, предводитель отдался течению бурных событий.

Сила Ферфаса (о чем знали далеко не все) заключалась в его аппетите. А главное — в его знаменитых словах, сказанных на многолюдном собрании месяц назад.

На трибуну, еще горячую после предыдущего оратора, поднялся, сопя, хмурый толстяк с багровым и беспечным лицом.

— Я — Ферфас,— воинственно заявил он.— Я — не люблю политики,— прибавил он, помолчав, и, еще помолчав, закончил: — Я пойду спать!

Поднялся рев. Образовалась партия Ферфаса. Ферфас же, скрывшись, варил в этот вечер тыквенную кашу с мадерой.

Итак, Президион принял меры против Ферфаса. Но тот?

Тот (заглянем к нему) вздрогнул, заслышав набат, но, оправившись, продолжал любимое занятие.

На полках перед ним расставлены были в строгом порядке банки и мешочки с припасами. Всякие крупы, мучки и соусы были тут; висели также жирная баранья нога, окорок отличной свинины, заяц, гроздь рябчиков и перепелов, а в углу в кадке с желтым маслом торчала новая березовая черпалка.

Ферфас варил на большой спиртовке рагу, подливая в него сложный, только что изобретенный соус с деликатной расчетливостью творца, опасающегося испортить произведение.

Он всегда варил и ел что-нибудь. Население голодало, а Ферфас жарил и варил разные разности и все съедал сам.

Итак, он продолжал свое занятие. Две пули влетели к нему в окно; одна выбила соусник из его руки, другая просверлила живот и обезглазила портрет греческого генерала, висевший сзади Ферфаса.

— Вот штука! — сказал Ферфас и, осторожно захватив горящую спиртовку с кастрюлей, на цыпочках удалился в лифт. Там он прибавил еще соусу, прихлебнул и, нажав кнопку, взвился к чердаку, где сквозь слуховое окно проник к трубе. Здесь, сидя весьма удобно, продолжал он помешивать и пробовать рагу, взглядывая изредка на побоище.

— Надо бы еще соли! — трагически пробормотал Ферфас.

Тем временем агент Президиона, определив по запаху испарений варева местонахождение Ферфаса, влез на крышу и выпалил из револьвера.

Свинец вышиб одну мысль из мозга мишени, но остальные крепко вертелись на своем месте.

Злобно оглядываясь, Ферфас прижал к животу спиртовку и повлек измученное рагу на противоположный край крыши.

Тогда, стратегически окружив его, агент встал на одно колено и выпустил в Ферфаса пять пуль.

Ферфас схватил спиртовку зубами и спустился по водосточной трубе на улицу, преследуемый по пятам.

Агент выстрелил из винтовки, Ферфас, сиганув за угол, отыскал укромную нишу и там, помешав опять кушанье, страдальчески произнес:

— Все еще сыровато.

III

Пока разыгрывался этот драматический эпизод, Президион, не щадя себя, грудью защищал баррикады и дрался как лев. Серьезно говорим, что он преследовал идеальные цели. Закаленный диетой и бешенством

увлечения, старый костяк его отражал безвредно для себя все пули.

Баррикады крепко держались.

Правительство изнемогало.

Стали поступать донесения:

— Арсенал взят!

— Крепость горит!

— Войска колеблются!

— А Ферфас? — мрачно спросил Президион.— Где он повешен?

— Пока... о, пока... нигде...

— Ах! Я теряю терпение.

— Не теряйте!

— Ловите его!

— Есть. Готово. Принимаемся снова ловить его.

Агенты рассыпались по городу. Президион опять появился на гребне баррикады, а Ферфас доедал рагу, чмокая и облизываясь.

Выглянул из-за туч месяц. Из ниши выглянул Ферфас и храбро, под пулями, направился домой спать, таща тщательно завернутые в прокламацию спиртовку и кастрюлю.

Грозный окрик: «Стой!» — заставил его вздрогнуть. Перед ним стоял агент Президиона.

— Ага!

— Ага! — враз сказали они.

— Все кончено! — пролепетал Ферфас.

— На этот раз — да,— подтвердил агент, вынул из кармана веревку и тщательно повесил Ферфаса.

Окончив это трудное дело, агент удалился восвояси, а Ферфас, повисев для приличия минут пятнадцать, вынул ножичек, перерезал веревку и отправился прямо к Президиону.

Президион отдыхал, читая Гераклита. Город спал. Патрули, боясь перестрелять друг друга, рассыпались по квартирам.

— Завтра,— прошептал Президион,— одним последним ударом я докончу столь блистательно начатое. Нет более Ферфаса!

— Ты ошибся! — воскликнул последний, входя в мансарду.

Президион опрокинулся.

Ферфас засмеялся.

Президион встал.

Ферфас сел.

— А! Ты измучил меня! — закричал Президион, хватая револьвер.

— Ты тоже меня измучил,— возразил Ферфас, отламывая ножку стула.

— Так ты бессмертен?!

— Да, как и ты!

— Все для других!

— Все для себя!

— Один из нас лишний!

— Без сомнения!

— Как же мы решим нашу распрю?!

— Очень просто: всенародным голосованием. У меня, Президион, есть чуточку волшебного порошка. Ежели население захочет, чтоб я исчез,— выпью уж я этот порошок, так и быть. А ежели прикажут тебе исчезнуть — угостись ты.

— Согласен.

До утра оба сидели спиной друг к другу и щипали усы.

Утром взволновался весь Зурбаган. Президион и Ферфас вышли на балкон с просьбой решить судьбу дальнейшего их существования.

Многие похудели от горя — сердца их разрывались пополам. Остальные, беспечные,— каких было не особо значительное количество,— кричали каждый по-своему.

Наконец темное дело это проголосовали и... ахнули.

Ровно половина голосов Президиону.

Такая же половина — Ферфасу.

— Сплошной ужас! — закричал мэр.

Толпа обозлилась.

— Обоим порошку! — потребовали первые демагоги.

— Прощай, Ферфас! — сказал Президион.

— Прощай, Президион! — промямлил Ферфас.

Выпито...

Балкон пуст; оба исчезли, как их бы и не было.

Все разошлись по домам.

Ровно через три дня после этого два человека, одновременно посмотрев в зеркало, воскликнули:

— Я удивительно похож на Президиона!

— Поразительно мое сходство с Ферфасом!

— Итак я — новый Президион!

— Решено: я новый Ферфас!

— Пойду-ка и заявлю это!

— Обязательно заявлюсь Ферфасом!

— Все для людей!

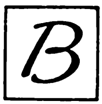
— Все для себя!

Новый Президион отправился в тайную типографию, а новый Ферфас — на рынок.

Плачь, Зурбаган!

РЕНЕ

I



орота закрылись.

Новичок, переходивший двор, бережно охранялся. Его окружал взвод солдат; привратник не выпускал револьвера из руки все время, пока опасный преступник находился в поле его зрения.

Шамполион презрительно улыбнулся. Провинциальная тюрьма с ее старомодными ключами, живописной плесенью стен и окнами, напоминавшими бойницы, смешила человека, ускользавшего из гигантских международных ловушек Парижа, Лондона и Нью-Йорка,— образцовых тюрем, равных чистотой госпиталю и безвыходностью — могиле. Он попался случайно, не сомневаясь, что убежит при первом удобном случае.

Справа от ворот, примыкая к наружной стене тюрьмы, стоял дом смотрителя; часть его окон, заделанных, подобно тюремным, решетками, выходила на двор. Смотритель, взволнованный гораздо более Шамполиона ответственным и немаловажным событием, сидел за письменным столом мрачной конторы острога, готовясь с достоинством встретить легендарного гостя, а у окна квартиры стояла Рене, дочь смотрителя. Она видела, как Шамполион быстро повернул голову, скользнув взглядом по закоулкам двора,— привычка хищника, везде ожидающего засады или лазейки. Не долее как на секунду взгляд Рене встретился с взглядом Шамполиона. Он заметил молодые глаза и неясное за тенью плюща лицо.

Но ей он был виден весь. Его лицо, чувственное и тонкое, с высокомерными холодными глазами, неподвижно блестящими под высокой чертой бровей, дышало жизнью огромного, неуследимого напряжения, подобно обманной неподвижности электрического вала динамо,

вихренное вращение которого немыслимо поймать зрением. Шамполион скрылся под аркой, но Рене долго еще казалось, что его глаза блестят в пространстве, где встретились их взгляды.

В этот день отец с дочерью обедали позднее обыкновенного. Старик Масперо захлопотался внутри тюрьмы, осматривая предназначенную преступнику камеру, пробуя ключи и замки, выстукивая решетки и отдавая множество приказаний, изолирующих Шамполиона от застенного мира. Венцом принятых мер было распоряжение сопровождать арестованного конвоем из четырех человек при всяком оставлении камеры. Впрочем, Масперо надеялся ускорить перевод Шамполиона в центральную тюрьму, сбыв таким образом с плеч тяжесть ответственности. Встревоженный, несмотря на все предохранительные мероприятия, событием столь исключительным, Масперо вошел наконец один к узнику с полуофициальной улыбкой, заискивая у того, кто благодаря фактам и репутации был хозяином положения.

— С вами будут хорошо обращаться,— пробормотал он,— но и вы должны обещать мне не бежать отсюда. Бегите из другой тюрьмы — откуда хотите. Уважьте старика! Меня могут прогнать. Я и дочь останемся без куска хлеба.

— Хорошо,— сказал Шамполион и расхохотался.

Он небрежно развалился на койке, упираясь в нее локтем, в его позе было уже нечто свободное, разрушающее тюрьму Масперо вышел со стесненным сердцем.

За обедом старик рассказал дочери подробности ареста Шамполиона. Облава завела преступника на ярмарочную площадь, где в это время известный канатоходец Данио собирался перейти по канату реку, неся за плечами любого желающего. Шамполион, замешавшись в толпу, окружавшую акробата, выразил согласие быть пассажиром Данио так быстро и решительно, что сыщики, только расспросив присутствующих, догадались, кто это такой, недосягаемый для них, движется по канату за плечами канатоходца, почти достигнув противоположного берега. Ширина реки отнимала надежду опередить смельчака, взяв лодку, и Шамполион скрылся бы, не приключись с Данио непредвиденного несчастия: пряжка ремней, державших Шамполиона, погнулась, скользнув вниз, и пассажир нарушил общее равновесие. Оба упали в воду. Искусный пло-

вец, Данио спас себя и Шамполиона, но последний, оглушенный падением, потерял сознание. Его взяли.

Рене мало ела, внимательно слушала, и глаза ее блестели, как у детей в театре. Она сказала:

— Удивительно, что такой человек — преступник.

— И прибавь — безжалостный,— заметил отец.

«Таких может изменить только любовь»,— подумала девушка. Шамполион поразил ее воображение; его жизнь, способности и присутствие не далее сорока футов от обеденного стола казались ей чудом яркой могущественности среди мелкой вынужденной планомерности повседневной жизни. Он давил тюрьму, сознание и занимал мысль. Рене читала о нем в газетах судебные и хроникерские заметки,— настоящие таинственные романы: наружность Шамполиона вполне отвечала ее представлению о нем.

Остаток дня и вечер прошли всецело под впечатлением этого имени. Приезжали прокуроры, судьи, адвокаты, командир гарнизона и просто любопытные официального мира. Масперо водил их смотреть арестанта сквозь секретное отверстие двери. Множество рассказов выслушала Рене. Шамполион был сыном высокопоставленного лица и цирковой наездницы. Он получил блестящее образование, говорил на всех европейских языках, был заядлым спортсменом. Все его предприятия были осуществляемы, психологически и технически, с точностью математических формул. Он был изобретателен и бесстрашен. За ним числилось множество похищений, шантажей, потрясенных банков, три изумленных миллиардера (говорим: «изумленных», так как охранение собственности американских владык идеально) и шесть убийств, совершенных в силу преступной необходимости, чего не отрицали и власти. Он не жалел денег. Сподвижники и женщины боготворили его.

Камера, отведенная ему, была в нижнем этаже, против ворот. Ее окна приходились в уровень с плитами двора. Встав ночью, Рене видела, как тускло освещенное изнутри окно это маячит ритмически ударяющей по решетке тенью,— Шамполион ходил там, думая о своем. Под утро Рене видела сон, полный страхов, тоски, слез и изнеможения.

II

Рене родилась и выросла в тюрьме. Роды убили мать; девочка росла у отца. Ее домашнее образование было делом двух арестантов, из которых один, бывший учитель, провел в тюрьме четыре года; второй, осужденный на более короткий срок, давал Рене уроки на пятнадцатом и шестнадцатом году ее жизни. Это был поэт, погубивший свою будущность убийством любовника жены. Он великолепно знал историю, его воображение, соответственно своему несчастию, любовно рылось в тюремных исторических эпизодах: Латюд, Железная Маска, Бенвенуто Челлини и другие были постоянным предметом его бесед. Рене от рождения слышала звон цепей, скрип тюремных запоров; видела унылые, безнадежные взгляды конвоиров и узников. Постоянные разговоры отца и его гостей о жизни тюрьмы, суде, бегствах и наказаниях, в связи с упорной мечтательностью, приучили ее представлять жизнь общим жестоким пленом, разрушить который дано только героям. Характер ее был замкнутый и печальный. Привычка к чтению, к красивой идеализированности изображаемой жизни создавала в ее душе вечный разлад с действительностью, мелочно хаотичной и скудной. Ее мечтой было яркое возрождение, взрыв чувств и событий, восстание во имя несознанного блаженства.

Шамполион властно занял пустое место ее сознания, место, где должен был гудеть колокол чувств, направленных к означенной цели. Она мало думала об его убийствах. Это были слишком заурядные факты во всем ансамбле необыкновенной биографии. Его преступный авантюризм слишком поражал внимание для того, чтобы укладываться в какие-либо позорящие определения. Однако Рене была умна и чиста душой. Она не думала, чтобы вполне сложившийся темперамент, наклонности и образ жизни могли отбросить себя. Но она верила, что все это, сохранив свою форму, может стать сущностью облагороженной. Она представляла гениальные способности Шамполиона действующими в том же духе авантюризма, видимо, органически свойственного ему, но, так сказать, действующего по другому поводу. Она видела его Рокамболем, освобождающим похищенных детей, восстанавливающим завещания, отыскивающим клады, отнимающим

награбленное, наконец, убивающим чудовищ в человеческом образе,— словом, преступающим закон там, где последний бессилен, извращен или подкуплен. В таком роде деятельности сохранились все прежние приемы и методы, вся прелесть риска и напряжения, все напряжение сил. Шамполион становился провидением, переданным в человеческие руки, со всеми страстями, ошибками и увлечениями человека. Это было бы, так сказать, провидение, разменявшее свой мистический аппарат на кинжал и отмычки.

Рене в это время исполнилось двадцать лет. Она была умеренно высока, того прекрасного телосложения, которое спокойно восхищает. Богатые пышностью и длиной, темные волосы ее были заплетены в одну косу, окружающую голову почти трижды. Белый, нежных и мягких очертаний высокий лоб отвечал общему серьезному выражению лица с ясными глазами, смотрящими свободно, но грустно. Страстная суровая складка рта бесподобно преображалась улыбкой, заразительно открытой и чистой.

Хотя Масперо с первого же дня усердно хлопотал о переводе Шамполиона в центральный острог, однако из-за некоторых формальностей арестант пробыл в С.-Ж. пять суток.

III

Немыслимо провести границу там, где кончаются предчувствия и начинается подлинная любовь. Лучший пример этому — засыпание. Засыпающий еще здесь, на кровати, он сознает это, ощущая свое тело, постель, дыхание, но мысли его уже фантастически искажены, а тьма закрытых глаз полна непроизвольно возникающих сцен. Все спутано, отвлечено; сон и предсонная явь слиты в рассеянности сознания, и вот где-то, неуловимо мгновенно, гаснет некий тончайший луч. Полный сон поглощает дух; в новом мире причудливой жизнью фантасмагорий живет и действует человек.

На четвертый день Рене увидела Шамполиона гуляющим. Во всех концах двора стояли вооруженные часовые, наблюдая с угрюмым любопытством каждое движение узника. Из трусости его не заковали; он быстро ходил по диагонали двора, сосредоточенно куря

папиросу. Рене стояла у окна, отдалясь в сторону, в тени плюща. Она хорошо рассмотрела его. Он двигался с легкостью ножа, рассекающего воздух, стремительно поворачиваясь на концах диагонали, подобно движению вспархивающей птицы. Холодный магнетический взгляд его, падая на стены, окно, за которым была Рене, и на лица часовых, казалось, оставлял везде невидимый след.

Сердце Рене глухо и сильно билось. Она боялась встретить глаза Шамполиона, в то же время хотела этого. Солнце, выскользнув из-за крыши, озарило двор и глубину решетчатого окна. Тогда Шамполион увидел Рене. Ее прикованный прямой взгляд, слабая улыбка и нечто в выражении лица — некая счастливая растерянность — заставили его, вздрогнув от неожиданности, задержать шаг. Он был в трех шагах от окна, когда сказал, чувствуя, что не ошибется:

— Я вас, кажется, видел вчера; лучше, если бы этого не было... для меня.

Ровный, немигающий взгляд его усилил значение слов, произнесенных так, что их слышала только Рене. Она вспыхнула, но не отошла от окна. Тревога и грусть овладели ею. Шамполион между тем, проходя мимо часового, сказал ему что-то такое, отчего солдат зычно захохотал. Рене запомнила это. Заставить расхохотаться самого жестокого и угрюмого из часовых — чего-нибудь стоило.

По многим расчетам, Шамполион предпочитал бежать из этой тюрьмы, чем с дороги или же в большом городе. После восьми прежних побегов он вправе был ожидать при перевозке далее исключительно строгих мер, делающих побег длительной китайской головоломкой, требующей риска и сложной, организованной помощи. Поэтому, подходя снова к окну, в надежде удостовериться, точно ли есть успех с этой стороны, он сказал с тою же расчетливостью тона и силы голоса:

— Как зовут вас?

— Рене.

— Рене, мне дадут «веселую вдову»?

— Нет,— сказала она почти невольно, одними губами, и отошла.

Шамполион понял. Рене прошла в столовую, обдернула скатерть, закрыла лежавшую на диване книгу, затем, открыв дверь отцовского кабинета, задумчиво

подтянула гирю стенных часов и села, пытаясь сосредоточиться. Мысль об отце, ранее заботливая и ясная, была теперь жестка и упорна, устремлена в одну точку, полезную замыслу, таившемуся в тьме чувств, каждое движение которых гудело, как колокол. Она знала, что не отступит. Монотонное течение ее жизни подошло к концу и падало.

Вечером, перед тем как идти спать, она сказала отцу:

— Не могу представить, что было бы, удайся Шамполиону бежать.

— Очень просто,— поморщился Масперо.— Мне каждую ночь снится это. Меня прогонят, а ты пойдешь работать приказчицей или прачкой.

Рене промолчала. Слова отца тронули, но не взволновали ее, подобно жалобе безнадежно больного, которому все равно определена смерть. Внутренняя связь между нею и прошлым исчезла. Она чувствовала себя чужой, в чужом доме, с чужим, жалким и мешающим человеком. Слепая к прошлому, оглушенная любовью, она была беспомощна и сильна. Новый мир, созданный ею, давил, все разрушая.

— Тебе все-таки нужно присматривать самому.

— Да; эти ключи,— он хлопнул рукой по крышке письменного стола,— я никому не даю, даже помощнику. Они для ночных обходов.

— Дубликаты?

— Дубликаты, Рене. Моя ведомость просит тебя уйти, а то я спутаю цифры.

Рене разделась и легла, прислушиваясь. Масперо же работал до половины второго. Она слышала, как он насвистывает, что означало конец работы; затем Масперо поднялся наверх, в свою спальню. Рене продолжала тихо лежать, выжидая, когда тишина окончательно ободрит ее. Но тишина не нарушалась ничем; с кухни и с верха не доносилось ни малейшего шороха. Она встала в тоскливом напряжении риска.

Так как в кабинете было темно, то Рене хотела зажечь свечку, но, подумав, не решилась на это. Ключ от письменного стола Масперо клал в коробку с почтовой бумагой; так было и на этот раз. Она взяла его с страхом убийцы, заносящего нож.

Этот маленький ключ, казалось, вобрал всю силу тюрьмы,— так резко и тяжело чувствовала его рука. С этого момента до конца Рене не покидало некоторое

представление об ужасе, какой следовало бы испытывать; однако ее личная опасность рассеивала настоящий ужас, и только его тень следовала за нею, пока длилась драма.

План Рене был вполне обдуман, прост и по-женски мудр, так как не выходил за пределы сложившихся обстоятельств.

Правое крыло тюрьмы соединялось коридором с флигелем Масперо: его железная дверь открывалась из кухни. Отсюда Рене намеревалась пройти в тюрьму.

Со связкой ключей в руках, с головой, покрытой платком, готовая на все, ощупью нашла она перо и бумагу и ощупью вывела прощальную строчку: «Папа, прости! Рене» — стояло невидимое.

— Прости...— прошептала она и внезапно заплакала, но внезапно и удержала слезы.

Служанка спала в сенях. Пройдя кухню, Рене остановилась перед дверью, вынужденная зажечь свечу,— без этого нельзя было рассмотреть ключ и скважину.

Дверь открылась. Здесь всегда стоял часовой. Увидев дочь начальника, он поднялся с табурета. Рене, изредка посещая тюрьму, никогда не приходила ночью, и поэтому часовой удивился. Его настороженный взгляд собрал все силы Рене. Она сказала:

— Отец не совсем здоров; я пришла вместо него Двадцать третий номер утром с конвоем переводится в Д., я хочу осмотреть камеру и арестованного — не приготовил ли он чего для побега.

— Едва ли; стерегут хорошо.

— Ну да, мы обещали принять все меры.

Небрежно позвякивая ключами, вошла она, спустясь по винтовой лестнице, в коридор нижнего этажа. Здесь было мрачно, как в склепе. Глухой красноватый свет ламп озарял симметрический ряд серых дверей в глубоких нишах.

Часовой, стоявший в дальнем конце, быстро пошел навстречу девушке. Она сказала ему то же, что и первому, и с тем же успехом. Солдат, нагнувшись, загремел ключами в замке 23-го номера.

— Теперь,— сказала Рене,— не отходите от дверей и входите тотчас, как я позову вас, в случае... чего.

Ноги ее подкашивались, но лицо оставалось сумрачно-деловым. Толкнув дверь, она не торопясь прикрыла ее и очутилась лицом к лицу с Шамполионом.

Как ни дорого было каждое мгновение, она не могла

сразу поднять глаз. Подняв их, она более не смущалась. Любовь, стыд, волнение, тяжесть темного будущего,— все чувства окаменели в ней, кроме страстной пожирающей торопливости. Шамполион сумрачно смотрел на нее, ничем не выдавая ни радости, ни даже слегка насмешливого любопытства к дальнейшему. Он был одет.

— Встаньте за дверью,— шепнула Рене,— сзади; когда войдет часовой...

Все понимая, он бесшумно взял одеяло и встал в углу.

— Ах!.. Киваль...— негромко позвала Рене,— зайдите сюда!

Часовой быстро вошел, прикрыв дверью Шамполиона. Через секунду он уже задыхался, мотая закутанной одеялом головой. Шамполион повалил его, связав ноги шнурком револьвера, а руки простынею, и поднялся, тяжело дыша.

— Теперь идите...— она поморщилась, зная, что сцена борьбы повторится.— Пройдите по концу коридора до лестницы и быстро, без звука, быстро поднимитесь, когда я уроню ключи.

Она двинулась, а Шамполион, разорвав тюфяк, вытряс солому и с холстом в руках следовал на расстоянии за Рене. Девушка подошла к часовому у дверей кухни.

— Все благополучно,— она попыталась открыть замок, но не смогла,— что с замком? Попробуйте-ка вы, я не могу открыть.

Часовой, став спиной к лестнице, протянул руку за ключами и нагнулся поднять их, потому что Рене, передавая, уронила связку. Железный стук пролетел в коридоре.

Быстрее, чем этого ожидала, Рене увидела Шамполиона, сидящего на солдате, голова которого путалась в холщовом комке. Рене помогла связать; затем, держа своей маленькой горячей рукой за руку Шамполиона, провела беглеца сквозь темные комнаты к парадной двери, выходившей непосредственно в пустой переулок. Здесь не было часового,— вечная ошибка предусмотрительности, охватывающей зрением горизонты, но не замечающей апельсинной корки под сапогом.

Они вышли. Шел дождь, порывами ударял ветер.

— Все кончено,— сказала Рене.

— Я никогда не забуду этого,— проговорил Шамполион.— Так... я свободен.

— И я.

— Мне нельзя медлить,— продолжал Шамполион, догадываясь, что хочет этим сказать Рене, но жестко, с хищностью противясь этому. Он брал свое, давя чужую судьбу, хотел быть один.— Я бегу, бегу поспешно к своим. А вы?

— Я? Разве...

В этот момент они рядом проходили глухой переулок. Шел дождь, порывисто хлестал ветер.

Она сжалась, и тень предчувствия тронула ее душу. Шамполион повторил:

— Я иду к своим, девушка. Слышите?

Все еще не понимая, она по инерции продолжала идти рядом с ним, задыхаясь и с трудом ускоряя шаг, так как Шамполион шел все быстрее, почти бежал. Тогда, уверенный, что это навязчивость, он резко остановился и обернулся.

— Ну! Что вам? — быстро и зло спросил он.

— Я...

Она замолчала. Он легко, коротким и равнодушным ударом толкнул ее в грудь,— просто, как отталкивают тугую дверь.

Рене упала. Когда она поднялась, в переулке никого не было. Шел все сильнее крупный осенний дождь.

IV

Прошло два года.

В большой квартире улицы Падишаха сидел человек, искусно загримированный англичанином. Его собеседник, коренастый господин с толстым лицом, стоял у окна, смотря на улицу. Второй говорил, не оборачиваясь, пониженным голосом.

— Полосатый, вчерашний,— сказал он.— Наружность фланера. Покупает газету.

— Обычная история,— ответил другой.— Так началось с Тэсси. Кажется, теперь твоя очередь, Вест?

— Не твоя ли, Шамполион, дружище?

— Нет, это не в силах простого сыщика. Я вечно и оригинально двигаюсь.

— Да. Однако по какому кругу?

Шамполион вздрогнул. Вест остро подметил поло-

жение. Круг продолжал суживаться. Так началось месяцев шесть назад. Опасность, как зараза, перебрасывалась с города на город; целые округи становились угрозой, все более уменьшая свободную территорию, в которой знаменитый преступник мог еще действовать, но и то с массой предосторожностей. Он терпел неудачи там, где проверенный расчет безошибочно обещал жатву. Дела срывались, пропадали важные письма, шесть второстепенных и двое первоклассных сообщников сидели в тюрьме. Шамполион боролся с новым невидимым врагом, чуждым, судя по справкам, ленивой и почти сплошь продажной государственной полиции. Она беспомощно топталась на месте, устремляясь иногда с громом на след собственных ног. Ему не раз приходилось подвергаться систематическому преследованию, но это было именно преследование, хождение следом за ним; теперь к нему шли часто навстречу, шли и за ним, и со стороны, так что не раз только особая увертливость спасала его от топора «веселой вдовы»: злая и твердая рука ловила его. Огромные связи, какими располагал он, беспомощно молчали, бессильные выяснить инициативу организации; он же стремился, покинув круг, заставить облаву стукнуться лбами на пустом месте, но этого пока не удавалось привести в исполнение. Растягиваясь и еще сильнее сжимаясь вновь, круг не выпускал цели из своей гибкой черты.

— Следовало бы,— сказал Шамполион, пропуская замечания Веста,— дать этому фланеру путеводителя.

«Путеводитель», то есть лицо, отводящее след на себя, вызвав чем-нибудь подозрение, употреблялся в неясных случаях для проверки, действительно ли установлено наблюдение и за кем именно; диверсия в пустоту.

— Да он ушел,— сказал Вест.

— Тем лучше.

Шамполион первый заметил фланера. Не случись этого, Вест был бы избавлен от подмигивания, означавшего приказ удалиться.

— Вест, я вернусь завтра. Если что случится, ты позвонишь.

— Ну, да.

Их разговор перешел в мрачную область хищений; затем Шамполион вышел.

Вест, заложив руки в карманы, качнулся на носках.

Его неподвижное лицо, прекрасно удерживая в присутствии Шамполиона внутренний смех, тронулось по углам глаз ясной улыбкой. Он сел и крепко задумался.

Со всеми предосторожностями, отвечающими его привычкам и положению, Шамполион прибыл в другую квартиру. Дама, с которой он поздоровался, была красивым воплощением женственности в том его редком виде, который восхищает и трогает. Ее тихую красоту и обаяние, производимое ею, следовало назвать более утешением, чем восторгом,— глубоким сердечным отдыхом. Вместе с тем не было в ней ничего неземного, никаких мистических, томно-болезненных теней; расцвет жизни сказывался во всем, от твердости рукопожатия до звучной простоты голоса.

Их познакомил месяца два назад скромный курорт — вынужденный отдых Шамполиона. Здесь, отсиживаясь ради безопасности, встретил он молодую вдову Полину Турнейль. Сближение имело началом серьезный разговор о жизни, начавшийся случайно, но приведший к тому, что элегантный цинизм Шамполиона, уступив глубокому впечатлению, произведенному молодой женщиной, прикинулся из уважения к ней шатким пессимистическим мировоззрением.

Из уважения, да. В жизни Шамполиона было много связей и женщин эпизодических, и он совершенно не уважал их. Его любили как живую сенсацию. К нему льнули подобострастно и трепетно, отдаваясь в добровольное рабство ради таинственной, зловещей тени, отбрасываемой опасным любовником. Любопытство и страх приковывали к нему. Во всех его прежних любовницах была некая крикливость духа, в разной, конечно, степени, но одинаково напоминающая цветок, украшенный нелепо торчащим бантом. Не веря в существование женщин иного склада, он случайно встретил живое противоречие и внутренне понял это.

Встречи их повторялись, он искал их и, сказав, наконец, «люблю», почувствовал, что сказал наполовину правду. Она не знала, кто он. Ее «да», как можно было подумать, выросло из одиночества, симпатии и благородного доверия, свойственного крупным натурам. Впоследствии он надел маску политического заговорщика, чтобы хотя этим объяснить сложную таинственность своей жизни,— роль выигрышная даже при дурном исполнении, чего не приходится сказать о Шамполионе. К тому же отважный скептик грандиознее самого пыш-

ного идеалиста. Он знал, что червонный валет даже крупнейшей марки не может быть героем Полины, и так привык к своей роли, что иногда мысленно продолжал лживый разговор в тоне и духе начатого.

Ее характер был открытым и ровным; ее образованность, естественно сливаясь с ее природным умом, не поражала неприятной нарочитостью козыряния; ее веселие не оскорбляло; ее печаль усиливала любовь; ее ласка была тепла и нежна, а страсть — чиста, как полураскрытые губы девочки. Она взяла и держала Шамполиона без всякого усилия, только тем, что жила на свете.

Шамполион стирал грим, сняв правую бакенбарду; левую тихонько потянула Полина, и бакенбарда отстала, причем оттопырившаяся щека издала забавный глухой звук.

— Благодарю,— сказал он.— Три дня я не мог быть и тосковал о тебе.

Обняв женщину, он приник к ее лицу долгим поцелуем, возвращенным хотя короче, но не менее выразительно. Ее рука осталась лежать на его плече, затем сдвинулась, поправляя пластрон.

— Ты озабочен?

— Да. Меня ловят.

— Так надо подумать,— сказала она, вздрогнув и с серьезным лицом усаживаясь за стол.— Насколько все плохо?

Шамполион рассказал, не прибегая даже к ощутительному извращению фактов. Преследование одинаково по существу,— кто бы ни подвергался ему, вор или Гарибальди.

— Боже! Береги себя, Коллар! — сказала Полина.— Хочешь в Америку?

— Нет, я подумаю,— ответил Шамполион, садясь рядом с нею.— Явного еще ничего нет. Пока я думаю о тебе.

Когда он говорил это, целуя ее руки, глуховатый мужской голос, скользя по телефонному проводу из пространства в пространство, оканчивал разговор следующими словами:

— Итак, в шесть — тревога.

— Да, так решено,— прозвучал ответ.

— И мы отдохнем.

— Отдохнем, да...

Аппараты умолкли.

На рассвете Шамполион внезапно проснулся в таком ровном и тихом настроении, что мысли его, ясно возникая среди остатков дремоты, связной непрерывностью своей напоминали чтение книги. Он лежал на спине. На спине же, рядом с ним, лежала Полина, слегка повернув к нему голову, и ему показалось, что сквозь тени ее ресниц блестел взгляд. Он хотел что-то сказать, но, присмотревшись, убедился в ошибке. Она спала. Край сорочки на полуоткрытой груди вздрагивал, едва заметными движениями следуя ритму сердца, и от этого, силой таинственного значения наших впечатлений, Шамполион ощутил мягкую близость к спящему существу и радость быть с ним. Он тихо положил руку на ее сердце, отнял ладонь, откинул с маленького уха послушные волосы и весело посмотрел в потолок, где среди голубых квадратов были нарисованы листья, цветы и птицы. Тогда, желая и не желая будить Полину, он осторожно покинул кровать, налил воды с сиропом и присел у окна, наблюдая стаю голубей, клевавших на еще не подметенной мостовой.

Было так тихо, что долгий телефонный звонок, деловой трелью прорезавший молчание комнат, неприятно оживил Шамполиона, рассеянно сидевшего у окна. Полина не проснулась, лишь ее голова сонным движением повернулась от стены к комнате.

Шамполион снял трубку аппарата, бывшего в кабинете, через три двери от спальни.

— Говорите и слушайте,— условно сказал он.

— Все ли здоровы? — спросили его.

— Смотря какая погода.

— Одевайтесь теплее; ветер довольно резок.

— Я слушаю.

— Все хорошо, если состоится прогулка.

— Так.

— Продаете ли вороную лошадь?

— Нет, я купил еще одну закладку.

Шамполион резко отбросил трубку. Звонил и говорил Вест. Весь этот разговор, составленный из выражений условных, означал, что Шамполион должен спасаться, покинуть город ранее полудня и по одному, строго определенному направлению. Сыск установил след, организовав западню.

Когда Шамполион вернулся в спальню, он выглядел уже чужим мирной обстановке квартиры. Все напряжение опасности отразилось в его лице; глаза запали,

блестя скользящим, жестко сосредоточенным взглядом, и каждая черта определилась так выпукло, словно все лицо, фигуру преступника облил сильнейший свет. Шамполион быстро оделся и решительно разбудил Полину.

— Который час? — потягиваясь, спросила она.

— Час отъезда. Вставай. Нельзя терять ни минуты,— я под угрозой.

Она вскочила, сильно протерла глаза; затем, взволнованная тоном, бросила ряд вопросов. Он, взяв ее руки, сказал:

— Да, я бегу. Не время расспрашивать.

— Я с тобой.

— Если можешь...— радостно сказал он.— Ты первая, которой я говорю так.

— Верю.

Ее тоскующее прекрасное лицо горело слезами. Но это не были слезы слабости. Одеваясь, она заметила:

— Путешественник с дамой меньше возбудит подозрений.

— Да, и это в счет на худой конец.

— Куда мы едем?

— В Марсель. По многим причинам я могу ехать лишь в этом направлении.

Турнейль не ответила. Шамполион быстро гримировался. Когда Полина обернулась на его возглас, перед ней стоял выцветший, сутулый человек лет пятидесяти с развратным лицом грязного дельца, брюшком, лысиной и полуседыми длинными бакенбардами.

— Это жестоко! — насильно улыбнулась она, припудривая глаза.

— Жестоко, но хорошо. Наконец, вот! — Он, подбросив, поймал блестящий револьвер.— Возьми деньги.

— Я взяла.

Теперь, вполне готовый к отъезду и борьбе, он почувствовал лихорадочную усталость азартного игрока, которому с уходом годов длиннее кажутся когда-то короткие в своей остроте ночи, тягостнее — ожидания ставок и раздражительнее — проигрыш, усталость подчеркивалась любовью. Он желал бы вновь присесть у окна, смотреть на голубей и слышать ровное дыхание спящей женщины.

Они вышли, взяв лишь по небольшому саквояжу.

Шамполион, не будя прислуги, открыл двери собственным, сделанным на всякий случай ключом.

В тревоге промелькнули вокзалы, билетная касса и дебаркадер. Поезд отошел. В купе, кроме них, никого не было.

Поезд шел полями с осевшим на ложбинах утренним чистым туманом. Пунцовые и белые облака, сторонясь, пропускали низкий пук ярких лучей, западавших на возвышения. Еще нигде не было видно людей, лишь изредка одинокая фура с дремлющим на ней мужиком сторожила закрытый переезд; это продолжение безлюдной тишины, в которой проснулся Шамполион, помогало ему разбираться в себе. Сидя против Полины, смотря на нее и разговаривая, он продолжал ощупью, бессознательно отбрасывать тревогу роковых возможностей, разбираться в обстоятельствах и мысленно вести расчеты с опасностью во всех ее видах, рисуемых его опытным, точным воображением.

— Твоя жизнь ужасна,— сказала Полина.— Спасаться и нападать; быть постоянно настороже, проверять себя, испытывать других... Какая пытка! Какой заговор изменил сущность мира? Коллар, оставь политику, пока не ушла жизнь. Еще не поздно. Мы можем скрыться навсегда в далекой стране.

— Это не для меня,— коротко ответил Шамполион.

— Ты не придаешь значения моим словам.

— Не раз мы говорили об этом. Я все-таки люблю в жизни ее холодное, головокружительное бешенство.

— Коллар, это пройдет, пройдет, может быть, скоро, и ты не вернешь уже тихого угла, который ждал тебя вместе со мной.

— Не могу.

— Решись все-таки. Мне достаточно твоего слова, Коллар. Марсель ведет и в Англию и в Америку.

— Я стремлюсь в Лондон.

— Нет. Дальше.

— Как ты настойчива!

— Знаешь, ведь я люблю.

— Но и я, черт возьми! Однако не любовь решает судьбу! Оставим это.

Он отвернулся к окну, выдохнув сигарный дым с силой, разбившей его о стекло круглым пятном.

С тоскливым, страстным вниманием смотрела женщина на того, кто был (назвался) Коллар. Мысли ее

мешались. Наконец воля одержала победу, и Шамполион, взглянув снова, не заметил и следа тонкой игры страстей, схлынувшей в глубину женской души.

— С.-Ж.,— сказал кондуктор, проверяя билеты.

Полина подала свой. Один его угол был согнут.

— Есть здесь буфет, Коллар?

— Есть; это маленький городок.

— Ты знаешь?

— Да, я здесь был.

Приключение в тюрьме два года назад озарило его холодным воспоминанием. Останавливаясь, вагон вздрогнул; скрипнули тормоза.

Снова открылась дверь, пропустив трех кондукторов, и по непроизвольному движению их лиц, выдавших нападение прямым взглядом на руки Шамполиона, он мгновенно сообразил, что путешествие кончено. В купе было тесно. Один из сыщиков загородил своей фигурой Полину, Шамполион не видел ее. Было уже поздно думать о чем-либо. Его вязали и били; он вывертывался, как скользящая большая рыба в жадных руках, и изнемог. Ручные кандалы покончили дело. Выходя, в толпе, запрудившей проход, ослепленный волнением, он, задыхаясь, громко сказал:

— Где ты?

Ему ответил — ниоткуда и близко — мертвый, как стук, голос:

— Буду с тобой...

V

Палач грелся на кухне, неотступно думая о шее преступника с вялым, нудным содроганием раба, ждущего подачки и плети. Это был хмурый старик. Ему обещали сто франков и четверть срока. Он не смел отказаться. Кроме того, в его измученном тюрьмой сердце жила смелая надежда вернуться на три года скорее к заброшенным огуречным грядкам, забыв о маленьких девочках, плачущих всегда горько и громко.

Стояло холодное, темное и сырое утро. Шамполион не спал. К четырем часам его оставило мужество. Но не страх сменил стиснутую силу души, ее давила тяжесть — фатализм внешнего. Он сидел в камере 23, из которой два года тому назад был выпущен, как гордая птица, скромной и смелой девушкой. Город был

тот, в котором его поймали тогда и теперь. Запыленная надпись на подоконнике, выцарапанная гвоздем, сделана была его скучающей, небрежной рукой; надпись гласила:

«Еще не пришел мой час».

«Еще» и «не» стерлись. Остальное потрясло приговоренного. Но к подоконнику, как к магниту, обращались его глаза, и с холодом, с непонятной жаждой мучительства он внимательно повторял их, вздрагивая, как от ножа.

Власти, боясь бегства, покончили с ним скоро и решительно. Скованный по рукам и ногам, Шамполион просидел только неделю. Суд приехал в С.-Ж., собрав наскоро обвинения по самым громким делам бандита, судьи выслушали для приличия защиту и обвинение и постановили гильотину.

Полины Шамполион больше не видел. Он думал, что ее держат в другой тюрьме. Представляя, как она перенесла известие о том, кто Коллар, он весь сжимался от скорби, но сам отдал бы голову за то, чтобы увидеть Турнейль. Надежды на это у него не было.

— Вина! — сказал он в окошечко.

Немного спустя дверь открылась. Казенная рука грубо протянула бутылку. Шамполион пил из горлышка. Настроение стало светлее и шире; искры бесшабашности заблестели в нем, смерть показалась жизнью... Вдруг тяжкий удар отчетливого сознания истребил хмель.

— Жизни,— закричал Шамполион.— Жизни вовсю!

Но припадок скоро прошел. Наступил счастливый момент безразличия,— разложения нервов. Шамполион сидел, механически покачивая головой, и думал об опере.

Состояние, в котором он находился, можно сравнить с несуществующим длительным взрывом. Малейший шорох волновал слух. Поэтому долгий ворочающийся звон ключа в двери заставил его вскочить, как от электрического заряда.

Он вскочил: за женщиной, прямо вошедшей в камеру, стояла тень в казенном мундире. Тень сказала:

— По особому разрешению.

Слов этих он не расслышал. Взмахнув скованными руками — единственный доступный ему теперь жест,— он бессознательно рванул кандалы. Нечто в лице Тур-

нейль — не торжественность предсмертного свидания — молчание в ее лице — поразило его. Возвращая самообладание, он сказал:

— Полина?! Да, ты! Видишь?

Она молчала. Ненависть и любовь по-прежнему спорили в ее сердце, и самое памятное объятие не было памятнее короткого толчка в грудь.

— Я пришла,— холодно сказала она, заметив, что молчание становится тягостным,— увидеть вас снова, Шамполион, в том же месте, из которого когда-то освободила. Ведь я — Рене.

Он не сразу понял это, но когда наконец понял, в нем не было уже ни мыслей, ни слов — одни грохочущие воспоминания. Он стоял совершенно больной, больной неописуемым потрясением. Из глубины памяти, раздвигая ее смутные тени, отчетливо вышел образ закутанной в платок девушки; образ этот, стремительно потеряв очертания, слился с образом Полины Турнейль и стал ею.

— Вы предали...— страшась всего, сказал он, когда боль, усиливаясь, не позволяла более молчать.

— Да.

— Вы — Рене!

— Да.

— Знайте,— сказал он, помедлив и смеясь так презрительно, как смеялся в лучшие дни своего блестящего прошлого,— я снова оттолкнул бы вас... туда!.. прочь!..

Жалкая, измученная улыбка появилась на бледных губах Рене. Даже ее незаурядные силы давила тяжесть этой победы, в которой победитель, сражая самого себя, не просит и не дает пощады. Простить она не могла.

— Да, вы толкнули меня совершенно простым движением. В грязь. Я упала... и еще ниже. Я продавалась за деньги. Меня встретил Турнейль, я взяла остаток его чахоточной жизни и его миллионы. Почти все это ушло на вас, Шамполион. Лучшие сыщики помогали мне. Продался Вест и другие. Вас вели под руки с завязанными глазами к яме... но как это было дьявольски трудно, признаюсь! И вот вы упали.

— Сыщики? — недоверчиво спросил он.— Кто же? Не однобокие ли умом Гиктон и Фазелио?

— Все равно. Ждущие признания гении имеются и в этой среде.

— Может быть. Вы довольны?

— А? Я не знаю, Шамполион.

Она с трудом прошептала это, и он увидел, что глаза ее полны слез. Шамполион сел, понурясь. Тогда быстрым материнским движением она прижала его горячую голову к своей нежной груди и горько заплакала, а он, поборов опустошение души, тоже приник к ней, тронутый силой этой любви, нашедшей исход в ненависти, любви ненавидящей — чувстве ужасной сказки.

Рене встала.

— Отец умер, спился,— сказала она.— Мои мечты, те, с которыми я освободила тебя, ты знаешь, потому что знаешь меня. Прощай же! Когда ты... уходишь?

— С последним ударом пяти.

— Скоро придет священник.

— Он скажет мне о пустом небе.

— Наполним же его опрокинутую чашу последними взглядами. Ты помнишь мои слова в вагоне?

— Помню. «Буду с тобой».

— И буду... и буду с тобой.

— Рене! — сказал он, останавливая ее.— Не дух ли ты? Кто пустил тебя сюда, в эту могилу?

— Те, кто имеет власть и знает мою судьбу.

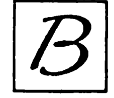
Она вышла; ее последний взгляд воодушевил и успокоил Шамполиона. Он думал о закутанной девушке, лица которой хорошенько даже не рассмотрел, и о только что ушедшей женщине, которую потерял. Но казалось, что в сумраке начинающегося рассвета в камере с бледным огнем лампы еще длится ее невидимое присутствие.

Он приблизился к подоконнику и спокойно прочитал то, что не стирается никогда:

«...пришел мой час».

Рене была одна. Когда часы, висевшие против нее, начали отбивать пять и пробил последний, сильнее других прозвучавший удар,— удар вдали громко прозвучал в ней, вихрем сметая прошлое. Ее трясло, зубы стучали. Она выпила яд, крепко прижала к глазам мокрый платок и прилегла на диван.

СТРУЯ



одном из подземных озер Западной Америки жили слепые рыбы. Они родились и выросли во мраке, так же, как отцы и матери их, как все их предки, кроме родоначальников этой породы. Когда-то, во времена седой рыбьей старины, несколько молодых, прытких рыб, шмыгая по Теллурийскому водопаду, оборвались и, чудом оставшись живы, попали сквозь глубокую трещину в подземный ручей. Ручей этот привел ошарашенных рыб к тому самому подземному озеру, с которого мы начинаем рассказ.

Рыбы живут долго. Через тридцать, сорок, а может быть, и сто сорок лет,— как можем мы знать это наверное? — невольные отшельницы совершенно ослепли. Ни малейшей искры света не проникало в глубину их черной воды, лишенной волны и ветра, течений и подводных растений. Глаза рыб разучились видеть. Они подернулись навсегда глухой белой пленкой; исчезло наконец и воспоминание о свете.

Когда-то, очень давно, в мрачные пещеры подземного озера спустилась компания натуралистов, исследователей горных пород,— и фотограф, снимая внутренность подземных пространств, зажег магний. Как молния белый свст ударил по засверкавшей воде, облил волнами искр сталактитовые колонны, обнажив даже выступы подводных камней, но старички равнодушно пошевеливали хвостом, по-прежнему ничего не видя; вода была для них такой же черной, как в первый день достопамятного путешествия сквозь роковую подводную трещину.

От этих злосчастных рыб пошли новые поколения. Они были не только слепы, но и не подозревали, что такое свет, лучи,краски, блеск воды. Старики, в минуты душевной слабости, любили вспоминать обо всем этом, но сами, как сказано, будучи бессильными мысленно представить свет, на все вопросы детей, внуков и правнуков могли лишь упорно шамкать: «Говорят вам, что от света светло».

Самой молодой, самой любопытной и нервной в подземной компании была рыбка Струя. Ее прозвали так другие рыбы за быстроту и резвость ее подводного хода.

Жизнь казалась ей ужасным сном. Глубокая тиши-

на стояла в пещере и озере. Изредка лишь раскрошившийся от сырости камень падал, возбуждая гулкое эхо, в неподвижную воду, заставляя ее вздрагивать. Вечная тьма висела проклятьем над душой Струи. Она, правда, не имела ни малейшего понятия о свете, но думала, что должно же быть в мире нечто более радостное, чем черное большое «туда-сюда», в котором слышатся голоса рыб и чувствуется их то близкое, то далекое присутствие. Часто Струей овладевала тоска, тогда она бесцельно и долго путешествовала из пещеры в пещеру.

Другие рыбы относились к Струе, как к существу безнадежно безумному. Они обыкновенно стояли кучей, обсуждая семейные дела, заводя никчемные споры, или спали до одурения.

Но вот заговорил вулкан «Бешеный Рот», сто лет дремавший неподалеку от подземного озера. Он загрохотал, затрясся, изрыгнул тучи дыма и пепла, залился огненной лавой и всколебал землю. Ее недра разверзлись. Осели и расползлись горы, взгорбились долины, реки изменили течение, и из подземных пещер хлынуло освобожденное озеро. Почти все население его погибло при этом. Струя только помнила, что ее подняло, завертело, помчало... она лишилась сознания, а очнувшись, почувствовала, что прежней жизни конец. Началось нечто изумительно новое.

Рыбку нашу силой перемещения воды забросило в небольшую реку, протекающую среди болот и степей.

Да, было чему изумиться!

Во-первых, почувствовала она, что должна удерживаться, работая плавниками, на месте, если не хочет бесполезно следовать движению текучей воды. Во-вторых, дышать здесь было невыразимо приятно, сквозь жабры проходила щедро насыщенная кислородом, нежно пахнувшая вода. Черное «туда-сюда» осталось, конечно, но стало неузнаваемым. Мягкое дно, гибкие, послушные толчкам водяные растения, плеск струи, шум ветра, запах береговых цветов, бодрые голоса стремительных рыб и еще множество разных звуков, никогда не слыханных, наполнили сердце Струи неизведанным восхищением.

Если бы она прозрела, то увидела бы яркий полдень зеленой степи и над собой — изумрудно сверкающий покров неба, блестящего сквозь желтоватую воду.

Струя ничего не видела. Она робко, в тихом молчаливом восхищении прижималась к осоке и старалась понять смысл чуда.

— Милочка,— сказала ей пробегающая форель,— ты откуда взялась?

— А где я? — ответила вопросом Струя.

— Как где? Понятно, в реке «Буль-буль».

— Не знаю,— сказала слепая.— Я жила раньше в нашем «туда-сюда», под землей. Ты кто?

— Посмотри хорошенько, невежа!

— «Посмотри». Я не могу посмотреть.

— Ба! Да ты слепая?! — сказала форель.— Совершенно удивительное событие. Как же так?

— Да так.

— Эй, эй, рыбы, идите сюда! Вот слепая из-под земли! — закричала форель.

На зов ее собралось много народа. Трудно описать общее удивление. Струю оглушали словами. Едва она успевала вставить слово, как весь хор любопытных созданий перебивал ее новыми вопросами о прошлом или же беспорядочными сведениями о реке «Буль-буль».

Только поздней ночью разошлось общество, оставив Струю взволнованной и печальной. Она ведь не могла все-таки не понять, что рыбы, живущие в «Буль-буль», обладают неизвестным для нее чудесным даром, от которого хорошо. Дар этот они называют зрением. У кого он есть, тот может, не сходя с места, знать, что есть вокруг него. И еще что-то... Краски, оттенки... Голубое, желтое, белое... Да. Что-то разное.

У нее ничего этого не было.

Ей не спалось, и она грустно думала, что новый мир останется для нее, слепой, таким же темным и безотрадным, как воды пещер.

И она повторила слова, сказанные недавно форели:

— У нас там темно. Невесело у нас, плохо. Здесь мне тоже темно.

— Завидуешь? — спросил ее с берега ночной Гном, умевший читать мысли рыб и бабочек. Он занимался починкой сломанного колокольчика. Колокольчик охал и нервничал.

— Да замолчи ты, лиловая пустота! — вскричал Гном.— Дай же поговорить!

— Я не завидую,— сказала Струя.— Какой смысл завидовать? Ведь оттого, что этим рыбам хорошо смотрится, мне все равно лучше не станет. Нет, я рада,

что есть такие, не похожие на меня рыбы, которые видят.

— Как? — сказал Гном.— Теперь восходит солнце. И не разбирает тебя злоба, что другие видят волшебные чудеса облаков, а ты тыкаешься головой в дно?

Струя пожала плавниками.

— Пусть другие будут другими, а я останусь, какова есть.

Как только она сказала это, Гном засмеялся, уронил с крошечного своего пальчика чудодейственное кольцо и хлопнул в ладоши. Кольцо тронуло оба глаза Струи, и рыба прозрела.

Так начала жить в светлых водах рек красная и шаловливая рыбка форель-хариус, известная всем. Эту ее историю составил Гном, рукопись переписывал на машинке жук-водолаз и отправил в редакцию. Редактор было не поверил столь чудесной истории, но, наведя справку у свидетеля — Лилового колокольчика, убедился, что Гному, в серьезных случаях жизни, можно и должно верить.

ПЕШКОМ НА РЕВОЛЮЦИЮ

I



теперь, Александр Степанович,— сказал финн Куоколен, входя в мою маленькую халупу, где, стоя у раскаленной плиты, производил я некоторые кулинарные опыты,— в Петроград вы не попадете. Движение поездов остановлено. В Петрограде резня.

Станция, где я жил, находится в 72 верстах от Петрограда. Дача моя стоит в лесу, минутах в 10 ходьбы к станции. Чувство отрезанности было у меня и до прекращения поездного движения. Теперь же, выслушав Куоколена, я испытал нечто, вроде того, как если бы меня среди бела дня неожиданно связали по рукам и ногам, заперли в темный угол и оставили одного, бросив на прощанье несколько загадочно страшных фраз. Неизвестность происходящего в Петрограде тянула меня в столицу с силой неодолимой.

— Еще можно, может быть,— сказал финн,—

застать четырехчасовой поезд,— он стоит на разъезде, потому что лопнула ось товарного вагона. Вагон снимут, и поезд двинется. Торопитесь, но знайте, что это последний поезд и идет он все равно только до Оллила.

Оллила — последняя, перед Белоостровом, станция — от Выборга. Я надел шляпу, пальто, сунул в парусиновую финскую котомку 2 кило баранок, булку и 1/4 ф. масла и побежал к станции.

Здесь я застал, у телефонного аппарата, сторожа-финна, говорившего с Перкиярви, но не застал поезда. Шум его колес уже стихал в лесистой дали. Перкиярви сказала сторожу, что поездов действительно больше не будет, а сторож сообщил это мне и неизвестному молодому человеку в очках, с бледным лицом, одетому по-лыжному, во все вязаное и шерстяное.

Молодой человек, оказавшийся заведующим поставкой строительных материалов, проявлял необычайное волнение. То он торопливо советовался о чем-то с подвластным ему мужиком, то пытал сосредоточенно, угрюмо молчащих финнов расспросами о поездах, часах, расстояниях и т. д. Под мышкой у молодого человека был сырой телячий окорок, обернутый газетной бумагой. Незнакомец горячо говорил о своем решении идти — «когда так» — пешком [в] Петроград (больная жена), а так как я, с котомкой за спиной, уже приготовился к этому, то мы познакомились и, привязав окорок к спине молодого человека целой сетью бечевок, тронулись в путь,— около семи часов вечера.

В состоянии крайнего нервного возбуждения зашагал я меж уныло черневших рельс. Канишевский [1], новый знакомый мой, шел впереди,— бедняга оказался туберкулезным, простреленным на позициях, и физически вообще слабым; удобнее поэтому было мне соразмерять свой шаг с его шагом, имея спутника впереди, чем ему догонять меня, шагающего довольно быстро. Давно уже не приходилось мне предпринимать пешие путешествия. Десять лет малоподвижной городской жизни сделали пеший конец от Знаменской до Адмиралтейства изнурительным, сложным — с остановками — переходом, но нервный заряд — громовая Петроградская новость — внезапно вернул телу всю ег[о] сухую прежнюю легкость и напряжение. Я чувствовал,

[1] Далее в источнике фамилия дважды меняет написание: то Кашиневский, то Калишевский. (*Примеч. ред.*)

что могу пройти сто, двести и триста верст, как в старые времена, когда в качестве «пожирателя шпал» ходил, гулял из Саратова — в Самару, из Самары — в Тамбов и так далее.

По дороге, среди разговора, выяснили мы два обстоятельства: первое, что телячий окорок режет бечевками плечи Кашиневского, и второе — что в Белострове могут не пропустить через границу. Последнее было страшно, потому что, будь так, мы бесполезно промаршировали бы тридцативерстное, до русской границы, расстояние, считая столько же, но с отвратительным чувством бесцельности — назад. Мы поворачивали это обстоятельство всячески, рассматривали его в худую и хорошую сторону, спорили, раздражались и, наконец, предоставили все судьбе, решив идти до тех пор, пока хватит сил и сообразительности.

Первой станции мы достигли ровно через час; выпили по стакану кофе, подложили на ключицы Кашиневского тампоны из газетной бумаги, чтобы не впивались бечевки, и выслушали торжественные резоны начальника станции, поклявшегося, что если мы и попадем в Петроград, то только: ногами вперед.

Кстати сказать, до самых Озерков преследовали нас слухи самого ошарашивающего свойства. Говорили, что взорваны все мосты, что горит Коломенская часть, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость, что город загроможден баррикадами, что движется на Петроград свирепая кавказская дивизия и что каждому человеку дают в руки ружье.

Бери и иди с нами.

Сквозь все эти топографические и бытовые подробности ясно просвечивало общее, громогласное мнение: «идти в Петроград — идти на верную смерть».

Отдохнув, мы тронулись дальше. Поднялся резкий, в лицо, морозный ветер, светила луна. Моя левая, разорванная где-то по дороге, калоша сползала и щелкала, как персидская туфля. Мы переходили с левой пары рельс на правую и обратно, в зависимости от того, как и где лежал снег — плотно или рыхло. Во время этих переходов я чуть не попал под товарный поезд, налетевший сзади, из Выборга. Кашиневский схватил меня за руку и толкнул — я проскочил в трех шагах от зловеще засиявшего фонарями паровоза. Но и Канишевскому пришлось броситься в снег, чтобы уцелеть.

Товарных поездов и отдельных паровозов пробегало вообще очень много в эту ночь, и к Выборгу и к Белоострову. Мы часто принимали далекие их, впереди, огни за огни станций. В грохочущей быстроте и обилии их чувствовалось смятение. Кое-где, на станциях, финны говорили:

— Что же мы — смотреть будем? Мы тоже бастуем, вот — поезда пассажирские остановили, а там посмотрим.

Одно загадочное обстоятельство отметил я по дороге. С начала войны вблизи каждой станции, на путях и у всех самых ничтожных мостов стояли часовые-солдаты. В эту ночь мы нигде не встретили часовых. Они словно провалились сквозь землю.

* * *

Однако, пройдя еще две или три станции, мы, зная, что по полотну ходьба воспрещается, и опасаясь попасть под пули этих самых несуществующих часовых, почувствовали себя не совсем ловко. Решив продолжать путь дальше по шоссе, а не по рельсам, мы, заметив в стороне несколько темных строений, постучали в первый подвернувшийся дом. Окно осветилось, открылась дверь. Нас встретил ни слова не понимающий по-русски пожилой финн[,] с которым бились мы не менее получаса, пытаясь узнать, как выбраться на шоссе. Я изображал, на столе, пальцами, шагающего человека, подражал звону колокольчика: «Динь-динь-динь»,— рисовал на бумажке извилистую полоску — шоссе, и прямую — рельсы, затем, указывая первую, приятно улыбался, закатывая, как тенор, глаза, а показывая вторую — хмурился и мотал головой. Ничего не помогало. «Эйо юмора» — «не понимаю»,— твердил терпеливо финн, посматривая на нас так безучастно, как будто двое полузамерзших людей с баранками и телятиной за плечами являлись к нему по нескольку раз в ночь, давно и основательно надоев. Наконец, устав, мы ушли — на те же сумрачные, лунные, морозные рельсы.

Я остановился закурить папиросу и увидел бегущего, догоняющего нас человека. В полутьме трудно было рассмотреть, кто это, и я решил, что к нам бежит часовой, с намерениями весьма суровыми. Но я ошибся. Подбежавший оказался третьим пешеходом — матро-

сом Балтийского флота. Он гостил на той же станции, где жил я. Узнав, что на Петроград вышли два пешехода, матрос, компании ради, пустился догонять нас. С ним был только маленький узелок — новые ботинки жене. Матрос мгновенно ободрил нас, сильно уже уставших и приунывших. Весь его вид, тон, голос, стремительная решительность и простое отношение к слухам — как к слухам — ясно говорили, что «не так страшен черт, как его малюют». Шел он быстро, мелким, прямым шагом, и спотыкающийся от усталости Канишевский начал все чаще просить — «не идти так скоро».

Вскоре после встречи с матросом, за зеленым огнем семафора, вышли мы к станции Райволо. Здесь ожидало нас невыразимо приятное известие: шел самый последний, запоздавший почтовый поезд; шел до Белоострова; купив в кассе билеты, восторженно обменялись мы по этому случаю приветствиями и ликующими соображениями. Еще бы! Поезд сокращал наше пешеходство на целых двадцать верст!

Минут через десять мы сидели уже в теплом вагоне третьего класса, а еще через пятнадцать минут нас безжалостно высадили в Куоккало — предпоследней, от границы, станции. Поезд дальше не шел.

II

На станции застали мы множество пассажиров, ссаженных с последних двух поездов. Были тут дамы, офицеры, студенты, рабочие, толстые человеки в шубах и совершенно неопределимые личности. Большинство топталось, не зная, где приткнуться, присесть: все скамьи и часть пола у стен были заняты обескураженными, угрюмо молчащими пассажирами. Кой-где собирались шепчущиеся, раздраженные кучки, иные бродили по вокзалу, расспрашивая, нельзя ли достать на Петроград лошадей. Не было не только лошадей, но и свободных номеров в местных гостиницах. Калишевский, сильно усталый, растянулся на столе, с телятиной под головой, я мрачно сидел у стены, прожевывая баранку. Опрос пассажиров заставил нас приуныть: нам сказали, что граница всегда, как правило, закрыта до 6-ти утра и что нет смысла идти к Белоострову теперь, глухой ночью. Яд слухов растекался по станции. Матрос исчез. Вдруг он появился в компании человек пятнадцати солдат и рабочих.

— Ну, пойдемте,— сказал он,— врут это, пустое все, граница открыта. Я уж узнал, идем, что ли? Я это потому, что уговорились вместе быть, значит, не бросать же товарищей.

Прислушавшись к внутреннему голосу, редко обманывавшему меня, я решительно поднялся и окрикнул дремавшего Калишевского. Он встал и присоединился, тут же присоединилось к нам несколько человек в шубах и три дамы. Все пошли быстро, гуськом и парами, как придется. Об этой, десятиверстной, части пути до Белоострова могу я сказать только, что механически передвигал замерзшие ноги, смотрел в чью-то спину и слышал, как скрипит, по снегу, взади и впереди, множество угрюмых шагов.

Дамы и толстые шубные человеки отстали от нас в Оллило. Засияла далекая, красивая в черной дали, иллюминация разноцветных Белоостровских огней. Нырнув куда-то вниз, вбок от моста, предстали мы целой толпой перед постовым дежурным жандармом, который, смущенно осмотрев паспорта наши, отправил нас с солдатом, предварительно точно пересчитав всех, к дежурному жандармскому ротмистру.

* * *

В помещении, куда мы попали, теплом и светлом, было человек двадцать жандармов, смотревших на нас кротко, но удивленно.

Едва начались расспросы, как вышел ротмистр, молодой, испуганный человек с плотным сырым лицом.

— Что такое?

— В Петроград.

— Не имею права,— нет, нет, не имею права. И помните — идите теперь по шоссе,— на линии вы можете попасть под расстрел.

Последнее мы приняли к сведению, поднялись и вышли, сопровождаемые жандармом, указавшим, как пройти на шоссе. В дальнейший путь отправилось нас всего шестеро — мы трое, прежние, да еще три солдата, остальные, струсив, остались на Белоострове.

Дальнейшее — до ясного, солнечного незабвенного утра в Озерках, Удельной, Ланской, Лесном и Петрограде — припоминается мною смутно, сквозь призму морозного окоченения, смертельной усталости и полного одурения. Мы то шли, изредка поворачиваясь спи-

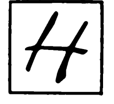
ной к ветру, чтобы отогреть нос, то бежали, то пытались достучаться в какую-либо из бесконечно тянущихся по Выборгскому шоссе дач, чтобы обогреться и покурить. Где-то на мрачном, писчебумажном заводе удалось мне встретить незапертую дверь коридора квартиры управляющего; небритый, страшный, вошел я на кухню и насмерть перепугал своим появлением девушку, сестру управляющего. Наспех она оделась, наспех выслушала мои извинения, а я, наспех же выкурив в тепле папиросу, выскочил догонять спутников.

Светало, когда в чайной, близ Парголова, за горячим чаем, свининой и ситным, мы несколько отошли. Но беспокойство гнало вперед. В Парголове было еще тихо, а от Шувалова до Петрограда Выборгское шоссе представляло собой сплошную толпу. В ней мы постепенно растеряли друг друга. От Озерков я шел один. По дороге я видел: сожжение бумаг Ланского участка,— огромный, веселый костер, окруженный вооруженными студентами, рабочими и солдатами; обстрел нескольких домов с засевшими в них городовыми и мотоциклетчиками, шел сам, в трех местах, под пулями, но от усталости почти не замечал этого. Утро это, светлое, игривое солнцем, сохранило мне общий свой тон — возбужденный, опасный, как бы пьяный, словно на неком огромном пожаре. Железнодорожные мосты, с прячущейся под н[ими] толпой, осторожные пробеги под выстрелами пешеходов, прижимающихся к заборам; красноречиво резкие перекаты выстрелов, солдаты, подкрадывающиеся к осажденным домам; иногда — что-то вдали,— в пыли, в светлой перспективе шоссе,— не то свалка, не то расстрел полицейского — всего этого было слишком много для того, чтобы память связно восстановила каждый всплеск волн революционного потока. Пройдя гремящий по всем направлениям выстрелами Лесной, я увидел на Нижегородской улице, против Финляндского вокзала, нечто изумительное по силе впечатления: стройно идущий полк. Он шел под красными маленькими значками.

Около двенадцати дня я сел на диван в гостиной доброго знакомого, дожидаясь любезно предложенного мне стакана кофе. Кофе этот я пил во сне, так как не дождался его. Ткнувшись головой в стол, я уснул и проспал восемнадцать часов.

МАЯТНИК ДУШИ

I



а «Бандуэре», океанском грузовом пароходе, вышедшем из Гамбурга в Кале, а затем пустившемся под чужим флагом в порт Прест, служил кочегаром некто Ольсен, Карл-Петер-Иоганн Ольсен, родом из Варде. Это было его первое плавание, и он неохотно пошел в него, но, крепко рассчитав и загнув на пальцах все выгоды хорошего заработка, написал домой, своим родным, обстоятельное письмо и остался на «Бандуэре».

Как наружностью, так и характером Ольсен резко отличался от других людей экипажа, побывавших во всех углах мира, с неизгладимым отпечатком резкой и бурной судьбы на темных от ветра лицах; на каждого из них как бы падал особый резкий свет, подчеркивая их черты и движения. Ритм их жизни был тот же, что ритм ударов винта «Бандуэры»,— все, что совершалось на ней, совершалось и в них, и никого отдельно от корабля представить было нельзя. Но Ольсен, работая вместе с ними, был и остался недавно покинувшим деревню крестьянином — слишком суровым, чтобы по-приятельски оживиться в новой среде, и чужим всему, что не относилось к Норвегии. В то время, как смена берегов среди обычных интересов дня направляла мысли его товарищей к неизвестному, Ольсен неизменно, страстно, не отрываясь, смотрел взад, на невидимую другим, но яркую для него глухую деревню, где жили его сестра, мать и отец. Все остальное было лишь утомительным чужим полем, окружающим далекую печную трубу, которая его ждет.

Чем дальше подвигалась к югу «Бандуэра», тем более чувствовал себя Ольсен как в отчетливом сне. Плавание казалось ему долгой болезнью, которую нужно перетерпеть ради денег. Отработав вахту, он ложился на койку и засыпал или чинил белье; иногда играл в карты, всегда понемногу выигрывая, так как ставил очень расчетливо. Раз, в припадке тоски о севере, он вышел на палубу среди огромной чужой ночи, полной черных валов, блестящих пеной и фосфором. Звезды, озаряя вышину, летели вместе с «Бандуэрой» в трепете прекрасного света к тропическому безмол-

вию. Странное чувство коснулось Ольсена: первый раз ощутил он пропасти далей, дыхание и громады неба. Но было в том чувстве нечто, напоминающее измену,— и скорбь, ненависть... Он покачал головой и сошел вниз.

Неподалеку от Преста, когда «Бандуэра» оканчивала последний переход, Ольсен, спускаясь по трапу в сияющее сталью машинное отделение, почувствовал, что слабеет. Это был внезапный обморок — следствие жары и усталости. Блеск поршней свился в яркий зигзаг, руки разжались, и Ольсен упал с трехсаженной высоты, разбив грудь. Некоторое время он был без сознания. Доктор повозился с Ольсеном, нашел, что внутреннее кровоизлияние отразилось на легких, и приказал свезти пострадавшего в лазарет. Там должен был он лежать, пока не поправится. Ему сказали также, что по выздоровлении он будет бесплатно отвезен в Гамбург.

«Бандуэра» выгрузилась, взяла местный груз, уголь и ушла обратно в Европу. На горизонте от нее остался дымок. Лежа у окна лазарета, Ольсен посмотрел на него с напутствующей улыбкой, как будто этот дым, стелющийся на запад, был его гонцом, посланным успокоить и рассказать.

Путешествие кончилось. Жалованье получено сполна, отправлено почтой в деревню. Мир выпускал наконец Ольсена из своих ненужных и обширных объятий. Теперь Ольсен мог плыть только назад.

II

Лазарет, где лежал кочегар, стоял на холме, за городом. Его верхний этаж состоял из спускных тентов, превращающих больницу в веранду. Отсюда видны были порт, океан и — очень близко от стены лазарета — группы растений, покрытых огромными яркими цветами, подобных которым Ольсен не видел нигде. Ольсен смотрел на эти цветы, на странные листья из темного зеленого золота с оттенком страха и недоверия. Эти воплощенные замыслы южной земли, блеск океана, ткущий по горизонту сеть вечной дали, где скрыты иные, быть может, еще более разительные берега,— беспокоили его, как дурман, власть которого был он стряхнуть не в силах. Казалось ему, что на нем надето

стеснительное парадное платье, заставляющее жалеть о просторной блузе.

Кроме Ольсена, в том же помещении лежали распухший от водянки француз, китаец, высохший и желтый, как мумия, и несколько негров. Не зная языков, Ольсен не мог говорить с ними; но если бы и мог, то предпочел бы все-таки лежать молча. В молчании, в неподвижности, в мыслях о родине он чувствовал себя ближе к дому. Вечером, засыпая, он думал: «Марта доит корову, старуха варит рыбу, отец засветил лампу, вымыл руки и сел к огню курить». Тогда тьма внезапно оборачивалась в его сознании утренней свежестью, и он видел не летний деревенский вечер, а глухой зимний рассвет. Ольсен задумчиво, с неудовольствием улыбался, смотрел некоторое время перед собой в полную огней тьму и сосредоточенно засыпал.

III

Время шло, а он худел, слабел, кашлял; испарина и лихорадочное состояние усиливались. Наконец, не видя никакой нужды держать неизлечимо больного кочегара, доктор сказал ему, что у него чахотка и что северный воздух будет полезнее Ольсену, чем лихорадочный тропический климат. Он прибавил еще, что на днях придет пароход, направляющийся в Европу, что бумаги и распоряжения администрации относительно Ольсена в порядке; таким образом, ему предоставлялся выбор: остаться здесь или ехать домой.

В тот день, когда Ольсен узнал правду, его силы временно вернулись к нему. Он был возбужден и мрачен; ликовал и скорбел, и та внутренняя нервная торопливость, какою стремимся мы, когда это не от нас зависит, приблизить желаемое, наполнила его жаждой движения.

Он встал, оделся в свое платье, подумал, постоял у окна, затем вышел. Несколькими тропинками он достиг берега. Белый песок отделял море от стены леса, склоненной с естественного возвышения почвы к Ольсену нависшими остриями листьев. Там, в сумраке глубоком и нежном, дико блестели отдельно озаренные ветви. Там выглядело все, как таинственная страница неизвестного языка, обведенная арабеском. Птицы-мухи кропили цветным блеском своим загадочные растения,

и, когда садились, длинные перья их хвостов дрожали, как струны. Что шевелилось там, смолкало, всплескивало и нежно звенело? что пело глухим рассеянным шумом из глубины? — Ольсен так и не узнал никогда. Едва трогалось что-то в его душе, готовой уступить дикому и прекрасному величию этих лесных громад, сотканных из солнца и тени,— подобных саду во сне,— как с ненавистью он гнал и бил другими мыслями это движение, в трепете и горе призывая серый родной угол, так обиженный, ограбленный среди монументального праздника причудливых, утомляющих див. Мох, вереск, ели, скудная трава, снег... Он поднял раковину, огромную, как ваза, великолепной окраски, в затейливых и тонких изгибах, лежавшую среди других, еще более красивых и поразительных, с светлым бесстыдством гурии, поднял ее, бросил и, сильно топнув, разбил каблуком, как разбил бы стакан с ядом. Чем дальше он шел, тем тоскливее становилось ему; сердце и дыхание теснились одно другим, и сам он чувствовал себя в тесноте, как бы овеянным пестрыми тканями, свивающимися в сплошной жгут. Солнце село; огромный, лихорадочно сверкающий месяц рассек берег темными полосами; прибой, шумя, искрился на озаренном песке. Пришла ночь и свернулась на океане с магнетической улыбкой, как сказка, блеснувшая человеческими глазами.

Ольсен остановился: глухой, с шумом воды, пришел издалека голос: «Ольсен, это мы, мы! Скорее вернись к нам! Это я, твоя милая сестра Марта, и твоя старая мать Гертруда; и это я — твой отец Петерс. Иди и живи здесь...»

IV

Два месяца плыл Ольсен обратно на пароходе «Гедвей», затем прибыл домой и, походив день-два, лег. Но теперь свободно, устойчиво чувствовал он себя, был даже весел и, хотя речь свою часто прерывал мучительным кашлем, был совершенно уверен, что скоро выздоровеет. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Так же безнадежно и скучно судился его отец из-за пая в рыболовном предприятии, так же возилась в хлеву мать, так же улыбалась сестра, и платье у нее было то самое, в каком видел он ее год назад.

Он лежал, изредка рассказывая о жизни на пароходе, о чужих странах. Можно было и продолжать слушать его и уйти: так рассказывают о посещении музея. Но с увлечением, с страстью говорил он о том, как хотелось ему вернуться домой. Чем больше он вспоминал это, тем ярче и прочнее чувствовал себя здесь, дома, на старой кровати, под старыми кукующими часами.

Но бой часов этих начинал все чаще будить его ночью; жарче было дышать в бессонницу; сильнее болела грудь. В маете, в страхе, в угрызениях совести за то, что «не работник», прошла зима. Наконец, весной, стало ясно ему и всем, что конец близок.

Он наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, Ольсен попросился сесть у окна. Мерзнущий, весь в поту, с подушками под головой, Ольсен смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легкого последние глотки воздуха. Тоска, бóльшая, чем в Престе, разрывала его. Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела и смешно билась, махая руками и ногами, крошечная, как лепесток, девочка.

— ...Дай!..— кричала она, выговаривая нетвердо это универсальное слово карапузиков, но едва ли могла понять сама, чего именно хочет. «Дай! Дай!» — голосило дитя всем существом своим. Что было нужно ей? Эти ли простые цветы? Или солнце, рассматриваемое в апельсинном масштабе? Или граница холмов? Или же все вместе: и то, что за этой границей, и то, что в самой ней и во всех других — и все, решительно все: — *не это ли* хотела она?! Перед ней стоял мир, а ее мать не могла уразуметь, что хочет ребенок, спрашивая с тревогой и смехом: «Чего же тебе? Чего?»

Умирающий человек повернулся к заплаканным лицам своей семьи. Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные путы, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он — человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть. Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания. Ольсен повернулся к сестре, обнял ее, затем протянул руку матери. Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и оттолкнул в Престе.

— Мы все поедем туда,— сказал он.— Там — рай, там солнце цветет в груди. И там вы похороните меня.

Потом он затих. Лунная ночь, свернувшаяся, как девушка-сказка, на просторе Великого океана, блеснула глазами и приманила его рукой, и не стало в Норвегии Ольсена, точно так же, как не был он живой — там.

КЛУБНЫЙ АРАП

I

Некто Юнг, продав дом в Казани, переселился в Петроград. Он был холост. Скучая без знакомых в большом городе, Юнг первое время усиленно посещал театры, а потом, записавшись членом в игорный клуб «Общество престарелых мучеников», пристрастился к карточной игре и каждый день являлся в свой номер гостиницы лишь утром, не раньше семи.

Никогда еще азарт не развивался так сильно в Петрограде. К осени 1917 года в Петрограде образовалось свыше пятидесяти игорных притонов, носивших благозвучные, корректные наименования, как-то: «Собрание вдумчивых музыкантов», «Общество интеллигентных тружеников», «Отдых проплюйского района» и т. п. Кроме карточной игры, ничем не занимались в этих притонах. Каждый, кто хотел, мог прийти с улицы и за 10—15 рублей получить членский билет. Публика была самая сборная: чиновники, студенты, мародеры, мастеровые, торговцы, шулера, профессиональные игроки и невероятное количество солдат, располагавших подчас, неведомо откуда, довольно большими деньгами.

Когда Юнг начал играть, у него было около сорока тысяч, вырученных сверх закладной. Крайне нервный и жадный к впечатлениям, он отдавался игре всем существом, входя не только в волнующую остроту данных или же битых карт, но в весь строй игорной ночной жизни. Он настолько познал ее, что не отделял ее от игры; ее наглядность и размышления о ней как бы сдабривали сухое волнение азарта и часто сглаживали

мучительность проигрыша, развлекая своей мошеннической, живой сущностью. Не будь этой игорной кулисы, играй Юнг в клубе старинном, чопорном, где «шокинг» не идет дальше пропавшего карточного долга, пули в лоб или же — верх несчастья — уличения опростоволосившегося элегантного шулера, Юнг, может быть, бросил бы скоро игру. Будучи чужим клубной публике, входя только в игру, с ее лицемерной церемонностью сдерживаемых хорошего тона ради страстей, он, быстро утомленный, пресытился бы однообразным прыганием очков в раскрываемых картах. А в «Обществе престарелых мучеников» его заражал азартом и удерживал именно этот густой, крепкий запах жадной безнравственности, нечто животное к деньгам, в силу чего они приобретали веский, жизненный вкус, разжигая аппетиты и делаясь оттого желанными, как голодному кушанье.

Во всех петроградских клубах игра шла главным образом в «макао» — старинная португальская игра, несколько видоизмененная временем.

В неделю Юнг изучил быт «Престарелых мучеников». Шулеров, в прямом артистическом значении этого слова, здесь не было, отчасти потому, что карты при сдаче вкладывались в особую машинку, мешающую передернуть или сделать накладку (лишняя, затаенная в рукаве, подобранная сдача на одну или несколько игр), а более всего по причине множества клубов и большого выбора поэтому арен для шулерских доблестей. Кроме того, богатые притоны, с целью развить игру, перебивали друг у друга известных шулеров на гастроли, дабы те заставили говорить о случившемся в таком-то месте крупном выигрыше и проигрыше. Ради рекламы не останавливались даже перед тем, чтобы дать Х-су крупный куш специально для «раздачи», как называется упорное «невезение» банкомета.

«Престарелые мученики» наполнялись самой отборной публикой. Тут можно было встретить сюртук литератора, пошлую толщиной часовую цепочку мясника или краснотоварца, галуны моряка, кожан, а то и косоворотку рабочего, офицерские погоны и солдатские мундиры, без погон, по последней моде. Поражало количество денег у солдат и рабочих. Это были едва ли не самые крупные, по азарту и деньгам, игроки почтенного учреждения.

Как сказано, прямого шулерства не было, но существовало «а р а п н и ч е с т в о», среднее в сути своей между попрошайничеством и мошенничеством. Об этом, однако, после.

II

Юнг на первых порах выигрывал. Пословица — «новичкам везет» — права, может быть, потому что новичок инстинктивно приноравливается к единственному закону игры — случайности, он ставит где попало и как попало; прибавьте к этому, что новичок большею частью затесывается в клуб случайно; таким образом, соединение трех случайностей увеличивает шансы на выигрыш, совершенно так же, как выполнение сразу трех намерений редко увенчивается успехом. Позже, присмотревшись, как играют другие, и возомнив, что научился расчету в том, как и где ставить (вещь нелепая), игрок закрывает глаза на то, что он уже борется с законом случайности и борется во вред себе, так как естественно в этом случае изнурение нервов, ведущее к растерянности и безволию. Неизвестно, как лежат карты в колоде. Думаешь, что ты угадал, на какие табло вот теперь следует ставить и в какую очередь,— значит, думаешь, что з н а е ш ь. Но карты издеваются над такой притязательностью. Есть, правда, небольшое число людей с особо тонко развитой интуицией в смысле угадывания, но выигрывать всегда людям этим мешает их же недоверие к интуиции; зачастую усумнившись в внутреннем голосе, ставят они на другое, чем показалось, табло и, думая, что обманули судьбу, дуют потом на пальцы.

Пока Юнг отделывался только замиранием сердца, ставя куда попало и меча ответы без учитывания ж и р а и д е в я т к и, ему везло. Каждый вечер уходил он с сотнями и тысячами рублей выигрыша. Нужно отметить, что уйти с выигрышем — вещь несколько трудная. Выигрывающий обыкновенно назначает себе предельную сумму, с которой, доиграв ее, и решает уйти. Если ему везет дальше,— из жадности мечтает он уже о высшей предельной сумме и, не добившись, естественно, предела в беспредельности, начинает в некий момент спускать деньги обратно. Желания теперь суживаются, становятся все кургузее и молитвеннее. Вот игрок мечтает уже о том, чтобы достичь снова бывшей

кульминационной точки уплывающей суммы. Вот он говорит: «Проиграю еще не более, как столько-то, и уйду». Вот он проиграл весь выигрыш и, бледный, с потухшим взором, ставит опять свои деньги. Не везет! Он, торопясь в рай, ставит большие куши, удваивает их и остается наконец с мелочью на трамвай или извозчика, но часто лишенный и этого, занимает у швейцара целковый.

Юнгу везло, и около месяца, счастливо закладывая банки, меча удачные ответы или понтируя, купался он в десятках тысяч рублей, привыкнув даже, когда играл, смотреть на них не как на деньги, а как на подобие игорных марок,— некое техническое приспособление для расчета. Но счастье наконец повернулось к нему спиной. Проиграв однажды пять тысяч, он приехал на другой день с пятнадцатью и к закрытию клуба совершенно рассорил их. Удар был ощутителен; желание возвратить проигранное выразилось в силу возникшего недоверия к своей «метке» тем, что Юнг начал давать деньги в банк и на ответ другим игрокам, бойкость и опытность которых казалась ему достаточной гарантией успеха. Лица эти, играя для него, но более (если им решительно не везло) для многочисленных своих приятелей, ставивших в таких случаях весьма усердно и крупно, не далее как в неделю лишили его трех четвертей собственных денег. Иногда незаметно платили они за ставки больше, чем следует, а затем делились с получающим разницей. Иногда, после того как карты были уже открыты, на то табло, где сияли выигравшие очки, ловко подсовывалась крупная бумажка, и за нее получалось. Иногда банкомет, смешав, как бы ненарочно, Юнговы деньги со своими, разделял их затем не без выгоды для себя и клялся, что поступил правильно. С помощью таких нехитрых приемов, бывших обычными среди посетителей «Общества престарелых мучеников», карточные пройдохи привели Юнга в состояние полной растерянности и нерешительности. Оставшись с небольшой суммой, он то ставил мало, когда счастье, казалось, подмигивало ему, то много, когда определенно билась карта за картой, и вскоре, дойдя до придумывания беспроигрышных «систем» — худшее, что может постигнуть игрока,— кончил он тем, что остался с двадцатью — тридцатью рублями, напился и в клубе появился снова через дней пять, подавленный, измученный, без всяких определенных планов, с одной лишь

жаждой — играть, играть зо что бы то ни стало, быть в аду вечной жажды, ожидая случая, толпиться и вздрагивать, сосчитывая слепые очки.

Переход от воздержанности к запойной игре, а от последней к арапничеству, совершается незаметно, как все то, где главное действующее лицо — страсть. Окончательно проигравшись или же став в положение, при котором вообще неоткуда достать своих денег, игрок начинает обыкновенно собирать долги. Тот ему должен, тот и тот. Суммы эти служат некоторое время, игра для такого человека сделалась страстью, ее зуд прочно завяз в душе, подобно раздражению десен, когда ненасытно жуют вар или грызут семечки. Но вот истребованы, выклянчены и проиграны все долговые суммы. Возможно, что в этом периоде были моменты относительной удачи,— тем хуже. Игрок смотрит уже на них как на чужие, даром доставшиеся деньги. Истрепанные нервы требуют оглушения. Он пьет, развратничает, играет, не соображая ставок пропорционально наличности, и вскорости начинает занимать сам. Сначала ему дают, затем — морщатся, ссылаясь на собственный проигрыш, затем с ругательствами, издевкой над скулением отбивают охоту вообще просить денег взаймы. Все постоянные посетители знают и его и его привычки, даже тот соединенный неписаным уставом кружок «арапов», к которому он уже принадлежит, но, большей частью, не знают ни его жизни, ни имени, ни фамилии. Такова странность всепоглощающих интересы занятий! Налицо здесь лишь зрительная фигура; фигура менее значит для этого общества, чем «жир» в картах.

Когда так называемая нравственная стойкость достаточно потускнела; когда всю жизнь заполнила и высосала игра, а задерживающие центры перестают обращать внимание на такие пустяки, как унижение и обида,— арап готов. Он сделан из попрошайничества, уменья словить момент, шутовства, настойчивости и мелкого мошенничества. Научившись быстро вести расчет по всей сложности и учету ставок, он, как настоящий крупье, за 10 процентов помогает любому желающему метать ответ, но медлительному в цифровых соображениях. Геройски распоряжается он чужими деньгами; выхватывает их из рук банкомета или изпод его носа; кричит: «Сойдите!» — «Швали ушли!» — «Крылья полностью».— «Какие слова?!»

(Загнутый угол бумажки, обозначающий меньшую, чем ассигнация, ставку) — «Комплект!» — «Куш платит!» — «Делайте вашу игру!» — и все другое, подобное, штампованные выражения выигрыша, проигрыша и ожидания. Он способствует закладу часов и колец карточнику или швейцару. Он достает водку. Он дает «на счастье» рубль в банк и бывает в случае выигрыша необыкновенно привязчив. Он подбрасывает на выигравшее табло лишние деньги. Он привозит богатых и пьяных игроков. Он пытается из-под локтя собственника стянуть деньги и, если это замечается, говорит, что хотел поправить их, они, мол, намеревались упасть на пол. В таких клубах легко смотрят на обнаруженное покушение смошенничать или украсть. Никогда дело не вызывает скандала. В худшем случае — короткий гвалт, в лучшем — гневный взор и угроза трясением пальца.

Постоянно играющие должны быть всегда в проигрыше. Расчет их таков: клуб в виде платы за места, за закладывание банков и штрафами (за игру позже известного часа) собирает в день, в среднем, две тысячи. Общая сумма денег, пускаемых в игру (сообразно процентным отношениям с «ответом» и банком) — сто тысяч. Через месяц и двадцать дней эти сто тысяч целиком переходят в клубную кассу.

Юнг стал арапом.

III

Ему не повезло. Когда он отошел от стола, денег совсем не было.

Трясясь, шаря по карманам и часто мигая, как ослепленный облаком пыли, Юнг старался припомнить порядок, в каком произошло несчастье, но ощущал лишь бессилие и тоску. Глубокое отвращение к себе, к игре, к жизни овладело им. Не зная, что делать, он крикнул, как сумасшедший, в отчаянии: «Покрыт банк!» У стола, где давалось сорок рублей, банк выиграл.

— Будет за мной! — глухо сказал Юнг.

Поднялся отвратительный шум. Кто-то из выигравших, внимательно посмотрев на Юнга, внес сорок рублей.

— В банке восемьдесят! — сказал утихомиренный банкомет.— Прием на первое!

IV

Юнг прошел в читальню, взял номер статистического журнала, повертел его, бросил и сел в кресло. Глухая подавленность отчаяния держала его вне места и времени.

— Что же делать? — сказал он себе.— Теперь — крышка. Одно остается: броситься с моста в воду.— Он построил это как фразу, но, повторив еще раз, проник наконец в смысл сказанного и понял, что броситься с моста в воду — значит умереть. Решимость покончить самоубийством приходит даже у самых меланхолических натур внезапно. Можно приготовиться к этому в двадцать лет и все же дождаться внуков; можно, наоборот, никогда не думать серьезно о самоубийстве и, вдруг почувствовав жизнь нестерпимо омерзительной, кинуться, как к отдыху, к смерти. Такое непродуманное, но уже тоскливо влекущее решение вдруг о ж и в и л о Юнга. В новом, непривычном состоянии безымянного трепета поднялся он с кресла, но в это мгновение случайно взгляд его упал на одну из картинок стереоскопа, рассыпанных на столе. Картинка изображала женщину, сидящую верхом на конце бревна, выдающемся с озерного берега над водой.

Юнг взял картинку. Болезненное желание увидеть перед концом воду, такую же воду, какая должна была вскорости сомкнуться над ним, заставило его установить изображение в стереоскопе и поднести аппарат к глазам. Сначала освещенное электричеством изображение оставалось плоским, но скоро, уступая напряжению взгляда, выявило понемногу перспективу и жизненность трех измерений. Юнг увидел большое лесное озеро, тень в нем от бревна и босые, обнаженные до колен, напрягающиеся неудобством положения, крепкие ноги женщины. Ее лицо удивило его. Вне аппарата — оно было застывшим, с тем самым неестественным выражением, какое свойственно человеку, снимаемому фотографом, а теперь у л ы б а л о с ь. Тяжелое чувство, предвидение необычайного, родственное тягости перед припадком или в ожидании мрачного известия, овладело им. Он быстро опустил аппарат и вздрогнул, как от внезапной струи холода, заметив, что, когда глаза уже расставались с изображением, женщина качнула ногой, словно собираясь покинуть бревно и сойти на землю.

— Дико,— сказал он, морщась и прикладывая руку

к томительно бьющемуся сердцу. «Неужели сумасшествие — начало его?» — подумал Юнг. Тревога его не проходила, а нарастала, подобно приближающемуся барабанному бою. Он оглянулся, переживая странное электризующее ощущение, подобно воображенному, конечно, тому, как если бы все предметы ожили, сошли с места, а затем мгновенно разместились в прежнем порядке, с быстротою частиц ртути, вплескивающихся взаимно.

Против него в пустом ранее того кресле сидела смуглая молодая женщина,— та самая, на которую в стереоскоп смотрел Юнг. Ее черные, ровные как шнурки, брови были высоко поставлены над смелыми, большими глазами, блистающими того рода жуткой одухотворенностью, какая свойственна старинным портретам, в колеблющемся и неверном свете. От платья и фигуры ее веяло разрушением действительности. То, что испытал Юнг в течение этого замечательного свидания, никак не может быть названо страхом. Начало сверхъестественного лежит в нас и, выявленное тайными силами, противу всяческих ожиданий потрясающего недоумения страха, вводит лишь, правда не без сильного возбуждения, в привычную область веры фактам. Чтобы понять это, достаточно представить ощущение человека, впервые попадающего под выстрелы или претерпевающего крушение поезда. Контраст факта разителен с обыденностью предстояния факту, и, однако, что бы ни толковали люди логической психологии,— не страх сопутствует указанным фактам. Оцепенение возбуждения — вот, пожалуй, приблизительно верная оценка переживаний. Что стреляют в тебя,— этому, пока оно не случилось, так же трудно поверить, как явлению демона.

— Это что? — спросил, тяжело дыша, Юнг.

В гостиной, кроме него и неизвестной дамы, никого не было.

— Слушайте внимательно,— сказала женщина, наклоняясь через стол к Юнгу.— Сегодня двадцать третье число, день, в который я выхожу из тумана. Больше вы меня не увидите. Я предлагаю вам новую, чудную по результатам игру, которая при удаче утысячерит всякое счастье, при неудаче магически усилит несчастье. Это — игра на время. Посмотрите колоду. Возьмите ее себе. У нас она называется Шеес-Магор, что значит — потерянная и возвращенная жизнь.

Юнг взял колоду. В ней, как и в обыкновенной игральной, было пятьдесят два четырехугольных, но квадратных, лоскутка, сделанных из неизвестного материала, черного и твердого, как железо, тонкого, как батист, шелковистого на ощупь, слегка просвечивающего и легкого. До крайности странны были фигуры, разрисованные от руки, как и все остальные карты, красной и белой красками. Очки пик были изображены в виде коротких стрел; трефы — трилистников; бубны — красных четырехугольных цветов; черви — сердец, сжатых рукой. Тяжелая, гротескная узорность фигур таила в себе нечто идольское, древнее и потустороннее.

— Играйте с любым, с кем хотите,— продолжала дарительница, когда Юнг поднял глаза, весь во власти открывающейся пред ним бездны.— Вам предоставлено ставить в какую хотите азартную игру любое количество лет, месяцев, дней, часов и даже минут. Битая ставка переносит вас в будущее на ставленный интервал времени, ставка выигранная — отдалит в прошлое.

Последние слова женщины звучали глухо и отдаленно. Договорив, она исчезла — не расплылась, не растаяла, а именно исчезла, как в смене кинематографических сцен. Юнг вскочил, уронил газету и, весь трясясь еще от волнения, нагнулся, собирая карты. Не поднимая головы, он увидел, что возле его рук движутся, делая, что и он, еще две руки. Пальцы их были покрыты крупными золотыми кольцами.

Юнг посмотрел выше. Перед ним на корточках сидел, помогая собирать, крайне удивленный видом карт известный игрок Бронштейн,— сложная разновидность Джека Гэмлина в русских условиях. Круглый, с небольшим брюшком, если не всегда веселый, то неизменно оживленный, человек этот сказал:

— Турецкие?

— Нет,— машинально ответил Юнг.

— Греческие?

— Не...

— Первый раз вижу такие карты. Где вы их взяли?

К Юнгу вернулось самообладание. Он гладко солгал:

— Это карты неизвестно какого происхождения. Ко мне они перешли от отца, вывезшего их из Дагестана. Слушайте, Яков Адольфович. У меня есть примета (карты были собраны, и оба присели уже к столу),— если я впустую играю перед настоящей игрой один удар

с кем-нибудь этой колодой, мне должно тогда повезти за любым столом.

— Хорошо,— сказал Бронштейн.— Все мы игроки — чудаки. Делайте вашу игру. Закладываю в банк на первый случай солнце и... хотя бы... луну...

Быстрыми, летающими движениями привычного игрока он сдал, как всегда в макао, на четыре табло и со скучающим видом приподнял свои три карты.

— Девять,— с неизменяющим игроку никогда, даже при игре в «пустую», удовольствием сказал он.

Юнг еле успел взглянуть на свои карты, т. е. на те, что покрывали предполагаемое первое табло. Он проиграл. У него было три.

V

Приглашая Бронштейна сыграть в «пустую», Юнг мысленно определил ставкой пять лет и два месяца с тем расчетом, что, выиграв, вернется он к особенно любимым в прошлом дням первых свиданий с Ольгой Невзоровой, девушкой, которая должна была стать его женой и которую взял от земли тиф. Проигрыш, наоборот, увлекал в неизвестное, может быть, к смерти. Последнее не беспокоило Юнга. Фантастическая жизнь клуба, где каждая битая ставка являлась, в виде малом и скудном, образом смерти, бесчисленным множеством этих отдельных потрясений, давно уже притупила инстинкт самосохранения; к тому же, как видели мы, Юнг сам желал самоубийственного конца.

У карт не было крапа. Когда они, в числе трех, веером легли перед ним,— в блестящей черноте их, отражавшей, словно водами глубокой пропасти, свет люстры, появились, двигаясь, несколько тихо мерцающих точек. Особым, глубинным и безотчетным знанием Юнг понимал, что точки эти — те годы, которые он поставил. Девятка Бронштейна бросила ему в горло первый комок спазмы. Странные подобия гримасы мысли сопровождали движение его руки, когда он открыл свои три карты.

Юнг повернулся на бок. Все тело нестерпимо ныло, как бы просило уничтожения раздражающих прикосновений одеяла и тюфяка. Прикрученная на круглом столе лампа горела больным светом. В кресле спала сестра

милосердия, полнолицая, рябая женщина. Голова ее низко опустилась на грудь, производя такое впечатление, как будто сестрица всматривается в собственные очки.

Ворочаясь, Юнг задел локтем склянку с лекарством: звонко ударившись о стакан, она разбудила дремавшую женщину.

— Глупости... некуда-с...— забормотала она спросонок и очнулась.— Что вам? Пить? Беспокойно, может? — спросила она привычно заботливым голосом.— А вы хорошо спали нынче, поправитесь, видно.

— Да. В середине ночи проснулся,— не замечая ее смущения, сердито сказал Юнг.— Смерть идет... Плохо мне.

— Больные все мнительны,— сказала сестрица.— Не такие на моих глазах выздоравливали.

— А, ну вас,— с отчаянием прошептал Юнг и закрыл глаза.

Вчера вечером с тонкостью интуиции, присущей тяжелобольным, он видел по напряженному лицу доктора, что дело плохо. Различные воспоминания с беспорядочной яркостью пробегали в его тоскующей голове. Между прочим, он вспомнил, как был пять лет тому назад клубным арапом, вспомнил подробности некоторых вечеров, но далее того сила воспоминаний гасла, оставляя значительный промежуток неопределенных туманностей, как это часто бывает у людей слабой или рассеянной памяти; так называемый «провал» лежал между текущим моментом и тем, когда он решил идти топиться.

Вдруг Юнг вспомнил о картах. Они лежали под его подушкой. Сознание его не шло дальше возможности очутиться с помощью их в небытии или в новых (старых?) условиях. Оно и не могло идти дальше: магическая игра являла действительность столь опрокинутой, отраженной в себе и послушной необычайному, что Юнг бессильно поморщился. Он хотел быть с Ольгой Невзоровой или не быть совсем.

— Юлия Петровна,— слабым голосом сказал он,— подвиньте мне, пожалуйста, столик.

— Чего вы надумали еще? Лежите, лежите себе!

— Да ну, подвиньте.

Она поспорила еще, но исполнила наконец его желание. Юнг с трудом приподнялся на локте, положив перед собой колоду. По причине слабости, а также что-

бы избежать вопросов и любопытных взглядов сестры милосердия, в случае если бы она принялась рассматривать карты, Юнг задумал упрощенную игру в «кучки». В игре этой — если играют двое — колода делится крапом вверх на две равных или неравных половины. Каждый выбирает, какую хочет, выигрывает тот, чья нижняя карта старше нижней карты противной «кучки».

Очки Юлии Петровны с беспокойством и удивлением следили за его действиями.

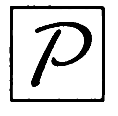
Юнг стал медленно приподнимать «кучку», лежавшую ближе к нему. «Десять лет... десять лет и четыре месяца»,— мысленно твердил он.

— Ах,— дико закричал он, увидев в то же мгновение против короля второй «кучки» свою пиковую десятку.

Все кончилось.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТПАВШЕГО ЛИСТА

I



Ранум Нузаргет сосредоточенно чертил тростью на веселом песке летнего сквера таинственные фигуры. Со стороны можно было подумать, что этот грустный худой человек в кисейной чалме коротает бесполезный досуг. Однако дело обстояло серьезнее. Чертя арабески, изученные линии которых в процессе их возникновения помогали его напряженной воле посылать строго оформленные волны беззвучного разговора, Ранум Нузаргет вел страстную речь своей сильной, жестоко наказанной душой с далеким углом земли — приютом Великого Посвящения.

Прошел час. Ранум высказал все. Раскаяние, скорбь, тоска — ужас отверженности — все передал изгнанник в далекую, знойную страну, Великому Посвящению. Трепет незримых струн, соединявших его с вездесущей волей Высшего из Высших, того, чье лицо он, Ранум Нузаргет, не удостоился видеть,— трепет опал. Струны исчезли. Ранум поднял голову и стал ждать ответа.

Перед ним, взад-вперед, пестрой сменой одежд и лиц шло множество городского люда. В этом огромном

городе, кипящем лавой страстей,— алчности, гнева, изворотливости, страха, тысячецветных вожделений, растерянности и наглости,— Ранум испытывал острые мучения духа, стремящегося к покою блаженного созерцания, но вынужденного пребывать в грязи, крови и тьме несовершенных существ, проходящих низшие воплощения. Военный ад и социальное землетрясение мешали ему совершать внутреннюю работу. Заразительность настроения миллионов, чувствительная любому горожанину, с неизмеримо большею силой проникала в Ранума, так как малейшее внимание его изощренной силы позволяло ему читать мысли, более — знать всю сокровенную сущность человеческой личности.

Он пристально смотрел на прохожих, временами любопытно оглядывавших белый халат, чалму и тонкое, коричневое лицо индуса с неподвижными, черными глазами, остающимися в памяти как окрик или удар. Пока что Ранум не видел ничего особенного. Двигался прикрытый однообразной формой ряд обычных мерзостей, но среди них, на исходе срока ожидавшегося ответа, прошел некто, ничем не замечательный нашему наблюдению и поразительный для Ранума. Ему было лет тридцать; одет он был скромно, здоров, с приятным, легким лицом и твердой походкой.

Ранум глубоко вздохнул. Душа прохожего, совершенно ясная ему, была мертва как часы. Ее механические функции действовали отлично, свидетельством чему служили живой, острый взгляд прохожего, его перегруженность заботами о семье и пище, но магическое начало души, божественный свет Великой силы потух. Роза, потерявшая аромат, могла бы стать символом этого состояния. Душа прохожего была убита многолетними сотрясениями, ядом злых впечатлений. Эпоха изобиловала ими. Беспрерывный их ряд в грубой схеме возможно выразить так: тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаясь, пресытился ими, огрубел и умер — стал трупом всему волнению жизни. Так доска, брошенная в водоворот волн, среди многоформенной кипучести водных сил, неизменно сохраняет плоскость поверхности, мертво двигаясь туда и сюда.

Ранум встречал много таких людей. Их путь требовал воскрешения. Меж тем, уловив тон судьбы в отношении этого прохожего, иог видел, что не далее как через два часа мертвый духом умрет и физически. Пока

он еще не мог определить, какой род смерти прикончит с ним, но проникся к несчастному великим состраданием. Человек, оканчивающий свои дни с мертвой душой, выходил навсегда из круга совершенствования и конечного достижения блаженства Нирваны. Он переживал свое последнее воплощение. Он терял все, не подозревая об этом.

Прохожий, ужаснувший Ранума, скрылся в толпе, но индус мысленно видел его путь среди городских улиц. Пока он оставил его, прислушиваясь к ответу Великого Посвящения.

Ответ этот раздался подобно шуму крови или музыкальному восприятию. Он был мрачен и краток. Ранум услышал:

«Тому, чье имя ныне,— Отпавший Лист.

Еще не кончен срок очищения.

Ранум! Ты вернешься, когда не будешь страдать. Сильно земное в тебе; разрушь и проснись».

II

Ранум был жертвой силы воображения. Ему давалось очень легко то, над чем другие ученики иогов трудились годами. Начало воспитания — отправные точки концентрации внутренней силы заключаются в упражнениях, часть которых может быть здесь рассказана.

Сидя в строго условленной позе, в обстановке и времени, определенных вековым ритуалом, ученик представляет на своем темени точку. Представление должно иметь силу реальности. Следующим усилием является превращение — воображением — этой точки в пламенный уголь. Затем: уголь описывает сплошной огненный круг вокруг сидящего и плоскость круга вертикальна земле. Затем к р у г начинает вращаться справа налево с быстротой волчка, так что сидящий видит себя заключенным в огненной сфере.

Средняя продолжительность — в отдельности — достижений этих такова: т о ч к а — от одного до семи дней; у г о л ь — от трех месяцев до одного года; к р у г — от трех до пяти лет; с ф е р а — от пяти до семи.

Исключительная сила воображения помогла Рануму овладеть всей этой серией упражнений менее чем в один

год. Тридцати лет он готовился уже принять Великое Посвящение.

За три дня до совершения таинства он пал,— его смял бунт связанных молодых сил, взрыв желаний. Все чистые цветы его духовного сада испепелились безудержным пожаром. Находясь в пустыне, в полном одиночестве, ради последнего сосредоточия высших размышлений, он дал себе — молниями воображения, материализующего представления,— все земное: власть, роскошь, негу и наслаждение. Сияющий, разноцветный рай окружал его.

Когда он очнулся, неумолимое приказание изгнало его в мир. Здесь среди потоков темной, материальной жизни он должен был пробыть до того времени, когда в тягчайших испытаниях и соблазнах станет бесстрастен и нем к земному. Кроме того, под страхом полного уничтожения ему было запрещено проявлять силу. Он должен был идти в жизни простым свидетелем временных ее теней, ее обманчивой и пестрой игры.

III

Скорбь, вызванная ответом, прошла. Поборов ее, Ранум услышал над головой яркий, густой звук воздушной машины. Он посмотрел вверх, куда направились уже тысячи тревожных взглядов толпы, и, не вставая, приблизился к человеку, летевшему под голубым небом на высоте церкви.

Бандит двигался со скоростью штормового ветра. За его твердым, сытым лицом с напряженными, налитыми злой волей чертами и за всем его хорошо развитым, здоровым телом сверкала черная тень убийства. Он был пьян воздухом, быстротой и нервно возбужден сознанием опасного одиночества над чужим городом. Он готовился сбросить шесть снарядов с тем чувством ужасного и восхищением перед этим ужасным, какое испытывает человек, вынужденный броситься в пропасть силой ее гипноза.

Труба шестиэтажного дома скрыла на минуту белое видение, гулко сверлящее воздух, но Ранум тайным путем сознания, постичь которое мы бессильны, установил уже связь меж бандитом и прохожим с мертвой душой. Человек с мертвой душой должен был погибнуть от снаряда, брошенного на углу Красной и Черной улиц. Ранум заставил себя увидеть его, медленно вышедшего

из лавки по направлению к остановке трамвая. Он увидел также не заполненную еще падением бомбы пустую кривую воздуха и понял, что нельзя терять времени.

«Да,— сказал Ранум,— он умрет, не узнав радости воскресения. Это — тягчайшее из злодейств, мыслимых на земле. Я не дам совершиться этому».

Он знал, что погибнет сам, вмешавшись нематериальным проявлением воли в материальную связь явлений, но даже тени колебания не было в его душе. Ему дано было понимать, чего лишается человек, лишаясь радости воскресения мертвой души. Ужас потряс его. Он сосредоточил волю в усилие длительного порыва и перешел — внутренно — с скамьи сквера на белое сверло воздуха, к пьяному исступлением человеку и там заградил его дух безмолвными приказаниями.

Летевший человек вздрогнул; им овладели смятение и тоска. Его члены как бы налились свинцом; в глазах потемнело. Его сознание стало безвольным сном. Не понимая, что и зачем делает, он произвел ряд движений, существенно противоположных назначенной себе цели. Аппарат круто повернул в сторону, вылетел над рекой к огромной пустой площади и, мягко нырнув вниз, разбился с смертельной высоты о кучи булыжника.

Ранум услышал гул неразрушительных взрывов и понял, что совершил преступление. Выпрямившись, спокойно сложив руки, он ожидал казни. В это время от клена, распустившего над его головой широкие, тенистые ветви, на колени Ранума упал отклеванный птицей зеленый лист, и Ранум машинально поднял предсмертный подарок дерева.

Тогда из глубины дивных пространств Индии, из воздуха и из сердца Великого Посвящения услышал он весть, заставившую его улыбнуться:

«Брат наш, Отпавший Лист, ты совершил великое преступление!

Оно прощено,— ради жертвы, перед которою ты не остановился.

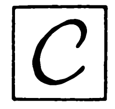
Отныне — оторванный навсегда от святого дерева,— ты, слишком непокорный, чтобы быть с нами, но и не заслуживший уничтожения, ибо восстал против смерти духа, будешь одинок и вечно зелен живой жизнью, подобной тому листу, какой держишь в руке».

Ранум поцеловал душистый кленовый листик и с легким сердцем удалился из сквера.

СИЛА НЕПОСТИЖИМОГО

> В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни.
>
> *Ф. Купер «Мерседес-де-Кастилья»*

I



Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюплэ занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп, и взрыв нервности сменялся упадком сил; в противном случае — нечто, огромнее сознания, основанное, быть может, на синтезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой.

Основным тоном жизни Дюплэ было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души, может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива: подвиг и разгул, благословение и злодейство, производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище — возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром расстилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их — повторим это — увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние; следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания.

Такое же именно отношение к сущему — отношение

музыкальной приподнятости — составляло неизменный тон жизни Дюплэ. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому, оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятий личность Дюплэ со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны — действующим лицом пьесы без названия и конца — предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени переносились Дюплэ тою же дорогой стороннего впечатления; сам — публика и герой пьесы — был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением.

Вместе с тем во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно-ликующей музыки было — как чувствовал всем существом Грациан Дюплэ — полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника.

Однако память Дюплэ по пробуждении отказывалась восстановить слышанное. Напрасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища; звуки, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо — музыкальное обаяние.

Грациан Дюплэ был скрипач.

II

Изыскания Румиера в области цветной фотографии и гипноза, в двух столь различных ведомствах ищущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и беспрерывно увеличивающийся круг почитателей. Поэтому дверной звонок был мучителем Румиера, и он

в тот день, о котором идет речь, с мукой выслушивал его двадцатый по числу треск, заметив слуге, что, если посетитель не выкажет особой настойчивости, не лишним будет напомнить ему об окончании через пять минут приемного часа доктора.

Однако, возвращаясь, слуга доложил, что посетитель, очень болезненный человек с виду, проявил требовательность раздражительную и упорную. Румиер отложил в сторону бледный снимок цветущих утренних облаков и перешел к письменному столу, где встречал посетителей. Дав знак пропустить неизвестного к себе, он увидел человека вульгарной внешности, типа рыночных проходимцев, одетого безотносительно к моде и с сомнительною опрятностью; он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупое страдание мелькало в его запавших глазах; лоб был высок, но скрыт прядями черных волос, забытых гребнем; нервность интеллигента и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице, насчитывавшем, быть может, тридцать с небольшим лет.

— Я музыкант,— сказал он после обычных предварительных фраз, произнесенных взаимно,— и чрезвычайно прошу вас не отказать мне в великой помощи. Случай, который видите вы в моем лице, едва ли представлялся разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дюплэ.

Около года назад среди снов, ощущения и детали которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря их, так сказать, печатной яркости, я уловил мотив — неизъяснимую мелодию, преследующую меня с тех пор почти каждую ночь. Мелодия эта переходит всякие границы выражения ее силы и свойств обычным путем слов; услышав ее, я готов уверовать в музыку сфер; есть нечеловеческое в ее величии, меж тем как красота звукосочетаний неизмеримо превосходит все сыгранное до сих пор трубами и струнами. Она построена по законам, нам неизвестным. Пробуждаясь, я ничего не помню и, тщетно цепляясь за впечатление,— единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар-птицы,— пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удесятеряет жажду погибающего в безводии. Быть может, во сне душа наша более восприимчива; раз зная, помня, что слышал эту чудесную музыку, я тем не менее бессилен удержать памятью даже один такт. Как бы то ни было, усердно

прошу вас приложить все ваше искусство или к укреплению моей памяти, или же — если это можно — к прямой силе внушения, под неотразимым давлением которой я мог бы сыграть (я захватил скрипку) в присутствии вашем все то, что так отчетливо волнует меня во сне. Два различной важности следствия может дать этот опыт: первое — что совершенство таинственной музыки окажется сонным искажением чувств, как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости,— меж тем, проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз; тогда, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что не много теряю от этого; второе следствие — нотное закрепощение мелодии — неизмеримо важнее. Быть может, весь музыкальный мир прошлого и настоящего времени исчезнет в новых открытиях, как исчезают семена, став цветками, или как гусеница, перестающая в назначенный час быть скрытой ликующей бабочкой. Быть может, изменится, сдвинувшись на основах своих, самое сознание человечества, потому что — повторяю и верю себе в этом — сила той музыки имеет в себе нечто божественное и сокрушительное.

Дюплэ высказал все это, сопровождая речь сильной, но плавной жестикуляцией; его манера говорить выказывала человека, привычного к рассуждениям не только лишь о вещах банальных или семейных; взгляд его, хотя напряженный, изобличая крайнюю нервность, был лишен теней безумия, и Румиер нашел, что опыт, во всяком случае, обещает быть интересным. Однако, прежде чем приступить к этому опыту, он счел нужным предупредить Дюплэ об опасности, связанной с таким сильным возмущением чувств в гипнотическом состоянии.

— Вы,— сказал Румиер,— не подозреваете, вероятно, ловушки, в какую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение, оказавшееся (надо допустить это) бессильным восстановить несуществующее. Допуская, что эта мелодия — лишь поразительно ясное представление — желание, жажда,— все, что хотите, но не сама музыка,— я могу наградить вас тяжелым душевным заболеванием; даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно.

— Я готов,— сказал Дюплэ.— Распорядитесь принести мою скрипку.

Когда это было исполнено и Дюплэ со смычком и скрипкою в руках уселся в глубокое покойное кресло, Румиер в течение не более как минуты усыпил его взглядом и приказанием.

— Грациан Дюплэ! — сказал доктор, испытывая непривычное волнение.— Приказываю вам меня слышать и мне повиноваться во всем без исключения.

— Я повинуюсь,— мертвенно ответил Дюплэ.

Квартира Румиера была в первом этаже, окнами выходя на небольшой переулок. Окно кабинета было раскрыто. Музыкант сидел невдалеке от окна. Он был неподвижен и бледен; крупный холодный пот стекал по его лицу. Румиер, помедлив, сказал:

— Дюплэ! Вы слышите музыку, о которой мне говорили.

Дюплэ затрепетал; невидящие глаза открылись широко и безумно, и молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тусклому до того морю. Долгий как стихающий гул колокола стон огласил комнату.

— Я слышу! — вскричал Дюплэ.

— Теперь,— дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом,— теперь,— продолжал Румиер,— вы играйте то, что слышите. Скрипка в ваших руках. Начинайте!

Дюплэ встал, резко взмахнул смычком, и сердце гипнотизера, силой мгновенно прихлынувшей крови, болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюплэ, Румиер понял, что слушать дальше н е л ь з я. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы р а с с к а з а т ь их. Румиер лишь почувствовал, что вся его жизнь в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна и что под действием такой музыки человек — кто бы он ни был — совершит все с одинаковой яростью упоения — величайшее злодейство и величайшую жертву. Тоскливый страх овладел им; сделав усилие, почти нечеловеческое в том состоянии, Румиер вырвал скрипку из рук Дюплэ с таким чувством, как если бы плюнул в лицо божества, и, прекратив тем уничтожающее очарование, крикнул:

— Дюплэ! Вы ничего не слышали и ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что происходило во время вашего сна, сядьте и проснитесь!

Дюплэ, сев, сонно открыл глаза. Пробуждение оста-

вило ему чувство беспредельной тоски; он помнил лишь, зачем пришел к Румиеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос.

— Следовало ожидать этого,— сказал Румиер, стоя к нему спиной и повернувшись лишь после того, как овладел волнением.— Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками серенады Шуберта.

После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румиера, Дюплэ, растерянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь, с первых шагов, догнал и остановил его неизвестный, прилично одетый человек; он был чрезвычайно возбужден; взглянув на скрипку Дюплэ и мельком поклонившись, человек этот спросил:

— Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась; случайно проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы?! Вопрос мой не празден: я, бывший офицер, плакал навзрыд, как маленький, среди шума и суеты дня, от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы?

Дюплэ, начавший слушать рассеянно, под конец речи прохожего мгновенно уяснил истину. Бешенство овладело им. Оставив своего собеседника, с быстротой оскорбительной и тревожной, он кинулся назад, позвонил и менее чем через минуту снова стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставила его потерять всякую связность речи; задыхаясь, он крикнул:

— Ты скрыл!.. Скрыл!.. Негодяй! Знаешь ли ты, что взял у меня?! Хуже убийства! Нет прощения! Смерть!.. Смерть за это!

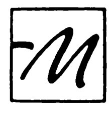
Он бросился на Румиера и повалил его, нанося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они не без труда связали Дюплэ, который после того распоряжением доктора был отвезен в психиатрическую лечебницу.

С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от времени припадками самого разнузданного бешенства. В тихом состоянии он обыкновенно подолгу с тоской и слезами играл на своей скрипке, ища потерянное и удивляя врачей оригинальностью некоторых фантазий, сочиняемых беспрерывно. Иногда, среди вариаций на одну, особенно грустную тему, из-под смычка слетали

странные такты, заставляющие бледнеть,— вспышки обессиленной красоты, намеки на нечто большее... но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшей в бреду, полном горячих просьб поднять безжалостный занавес, скрывающий таинственное, прекрасное зрелище.

БОРЬБА СО СМЕРТЬЮ

I



еня мучает недоделанное дело,— сказал Лорх доктору.— Да: почему вы не уезжаете?

— Любезный вопрос,— медленно ответил Димен, сосредоточенно оглядываясь.— Кровать надо поставить к окну. Отсюда, через пропасть, виден весь розовый снеговой ландшафт. Смотрите на горы, Лорх; нет ничего чище для размышления.

— Почему вы не уезжаете? — твердо повторил больной, взглядом заставив доктора обернуться.— Димен, будьте откровенны.

Лорх лежал на спине, повернув голову к собеседнику. Заостренные черты его бескровного лица, обросшего лесом волос, выглядели бы чертами трупа, не будь на этом лице огромных, как бы вывалившихся от худобы глаз, сверкающих морем жизни. Но Димен хорошо знал, что не пройдет двух дней — и болезнь круто покончит с Лорхом.

— Мне здесь нравится,— сказал Димен.— Меня хорошо кормят, я две недели дышу горным воздухом и быстро толстею.

Лорх с трудом поднес к губам папиросу, закурил и тотчас же бросил: табак был противен.

— Меня мучает недоделанное дело,— повторил Лорх.— Я расскажу вам его. Может быть, вы тогда поймете, что мне надо знать правду.

— Говорите,— сердито отозвался Димен.

— На днях приедет Вильтон. В его руках все нити новой концессии, я лично должен говорить с ним. Если я не смогу говорить лично, важно, не откладывая, подыскать надежное лицо. Меня не испугаете. Да или нет?

— Третий день вы допрашиваете меня,— сказал

доктор.— Ну, я скажу. Вы, Лорх, умрете не позже как через два дня.

Лорх вздрогнул так, что зазвенели пружины матраца. Он взволновался и сразу еще более ослабел от волнения. Стало тихо. Доктор с лицом потрясенного судьи, объявившего смертный приговор, встал, хрустнул пальцами и подошел к окну.

Больной едва слышно рассмеялся.

— Вильтон, положим, не приедет,— насмешливо сказал он,— и нет у него никакой концессии. Но я узнал, что нужно. Кровать действительно можно переставить к окну.

— Вы сами...— начал Димен.

— Сам, да. Благодарю вас.

— Наука бессильна.

— Знаю. Я хочу спать.

Лорх закрыл глаза. Доктор вышел, распорядился оседлать лошадь и уехал на охоту. Лорх долго лежал без движения. Наконец, вздохнув всей грудью, сказал:

— Какая гадость! Просто противно. Какая гадость! — повторил он.

II

Лорх заснул и проснулся вечером, когда стемнело. Он не чувствовал себя ни хуже, ни лучше, но, вспомнив слова доктора, внутренне ощетинился.

— Еще будет время размыслить обо всем этом,— сказал он, придавливая кнопку звонка. Вошла сиделка.

Лорх сказал, чтобы позвали племянника.

Его племянник, широкий в плечах, немного сутулый молодой человек двадцати четырех лет, в очках на старообразном, белобрысом лице, услышав приказание дяди, сказал недавно приехавшей сестре:

— По-видимому, Бетси, мы выиграли. Ты уже плакала у него?

— Нет.— Бетси, дама зрелого возраста, торговка опиумом, находила, что слезы — большая роскошь, если можно обойтись и без них.

— Нет, я не плакала и плакать буду только постфактум. Завещание в твою пользу.

— Как знаешь. Я иду.

— Ступай. Намекни, что я хотела бы тоже увидеть его сегодня.

Вениамин сильно потер кулаком глаза и ласково постучал в дверь.

— Войди,— сурово разрешил Лорх.

Вениамин, страдальчески играя глазами, подошел к постели, вздохнул и сел в прямолинейной позе египетских сидящих статуй.

— Дядя! Дядя! — усиленно горько сказал он.— Когда же наконец вы встанете? Ужас повис над домом.

— Слушай, Вениамин,— заговорил Лорх,— сегодня я говорил с доктором.

Он приостановился. Вениамин заблаговременно поднес руку к очкам, чтобы, сняв их в патетический момент — ни раньше, ни позже,— оросить слезами платок.

Лорх смотрел на него и думал:

«У малого три любовницы,— две — наглые, красивые твари, а третья — дура. Сам он — прохвост. Он подделал три моих векселя. Меня он ненавидит, согласно его речи в Спартанском клубе. Сколько получил он за это выступление — неизвестно, но сплетен развел порядочно и провалил меня в окружном списке. Для такой компании мой миллион — короткая жвачка».

— О! Надеюсь, доктор... Дядя! Вы спасены?! — с натугой вскричал племянник.

— Подожди. Мне жалко вас,— тебя, милый, и Бетси, очень жалко...

— Дядя! — разученно зарыдал Вениамин.— Скажите, что этого не будет... что вы пошутили!

— Нисколько. Вы должны примириться с судьбой.

— Боже мой?!

— Да.

— Итак — примириться?! Родной и дорогой дядя...

— Хорошо, спасибо. Я хочу сказать, что моя болезнь прошла спасительный кризис, и я через сутки самое большое, снова буду петь басом «Ловцы жемчуга».

Вениамин оторопел. Прилив грубой злобы заставил его вскочить, но он вовремя перевел порыв этого чувства в нескладное ликование:

— Вот свинья Димен!.. Он мог бы сказать нам... Не мучить нас! Поздравляю, милый дядя! Живи и работай! Я ожидал этого!

Лорх посмотрел на темную замочную скважину, достал через силу из-под подушки револьвер и выпалил в потолок.

Племянник отпрыгнул. За дверью раздался визг:

там кто-то упал. Вениамин, открыв дверь, показал себе и Лорху растянувшуюся Бетси.

— Как вы любите это дело, Бетси! — кротко сказал Лорх.

— Дура! — зашипел брат сестре, подымая ее.— Спокойной ночи, дядя! Вам теперь нужен покой!

— Как и вам,— холодно сказал Лорх.

Родственники ушли. В гостиной Бетси заплакала тяжелыми ненавидящими слезами. Вениамин вынул из букета розу, понюхал и свернул цветку венчик.

— Он врет. Он злобно мучает нас,— сказал племянник. Бетси высморкалась. Они сели рядом и стали шептаться.

III

По приказанию Лорха кровать была передвинута к окну. Стояли жаркие ночи.

Дом был построен на самом краю пропасти — меж стеной и отвесом бездны оставалась тропинка фута два шириной. Лорх видел в россыпи белых звезд полную, над горным хребтом, луну; ее свет падал в пропасть над непроницаемым углом тени. Смотря за окно в направлении ног, Лорх видел на обрыве среди камней куст белых цветов. Он думал, что цветы эти останутся, а его, Лорха, не будет.

Тогда, решив продолжать жить, он тщательно привел мысли в порядок и понял, что самое главное — побороть слабость. Лорх резко поднялся. Голова закружилась. Он стал, сидя, раскачиваться; затем, взяв с ночного столика нож, ударил себя им в бедро. Резкая боль вызвала тревогу сердцебиения; кровь бросилась в голову. Лорх вспотел; пот и ярость сопротивления дали его душе порывистую энергию, сопровождающуюся жаром и дрожью.

Не говоря уже о том, что каждое движение было ему невыразимо противно (Лорх хотел бы отдаться болезненному покою), всякое представление о движении казалось совершенно ненормальным явлением. Несмотря на это, Лорх, как загипнотизированный, встал и упал на пол. Сапоги лежали возле него; он, лежа, натянул их, затем, поймав ножку кровати, встал, уселся и принялся одеваться. Когда он закончил это дело, его бросало из стороны в сторону. Новый припадок головокружения

заставил его несколько минут лежать, уткнувшись лицом в подушку. После этого его стошнило; жадно возжелав пить, он весь облился водой, но осушил графин и выбросил его в пропасть. Затем он направился расползающимися ногами к двери, но попал к печке. От печки Лорх направился снова к двери, но печка вновь приветствовала его, и он держал ее в объятиях пять минут. Когда он попал наконец к двери, в комнате было все опрокинуто. Лорх опустился на четвереньки, чтобы не производить шума, полчаса потратил на то, чтобы нащупать головой, в темноте, дверцу буфета, отыскал и стал пить коньяк.

Несмотря на строжайшее запрещение доктора употреблять даже крепкий чай, не говоря уже о вине, Лорх без передышки вытянул бутылку крепкого коньяку и впал в того рода исступление, когда, независимо от обстоятельств, человек с пожаром в голове и бурей в сердце, занятый одной мыслью, падает жертвой замысла или одолевает его. Таким замыслом, такой мыслью Лорха явился бассейн. Это был четырехугольный цементный водоем, куда лился горный, ледяной ключ. Удар вина временно воскресил Лорха; шатаясь, но лишь в меру опьянения, мокрый от пота, с обслюненной папиросой в зубах, прошел он боковым коридором во двор, сполз в бассейн — как был — в сапогах и костюме, окунулся, мучительно задрожал от холода, вылез и направился обратно в спальню.

Сырой мороз родника согнал все возбуждение организма к неимоверно обремененной мыслями голове. Сердце стучало как пулемет. Лорх думал обо всем сразу,— от величайших мировых проблем до кирпичей дома, и мысль его молниеносно озаряющим светом проникала во все тьмы тем всяческого познания. У буфета он принял вторую порцию огненного лекарства, но этот прием сильно бросился в ноги, и Лорх вынужден был восстановить равновесие с помощью дуплета. У кровати он задумчиво осмотрел различные, на полу, склянки с лекарством и лужу, образовавшуюся на месте его стояния. Затем он перелез подоконник, прошел, несколько трезвея, вдоль стены, к кусту белых цветов, оборвал их, вернулся и лег, раздевшись, под одеяло, бросив предварительно на него все брюки и пиджаки, какие нашел в шкафу. Сделав это, он вытянулся, приятно вздрогнул и — вдруг — потерял сознание.

IV

— Он не просыпался за это время? — спросил Димен сиделку.

— Нет. Даже не повернулся.

— Где же вы были? Во время припадка прошлой ночи больной мог выброситься из окна в пропасть. Все было перебито и опрокинуто. Он пил вино, купался. Это агония!

— Вы знаете, доктор, больной всегда гнал меня вон из спальни. Каюсь — я вздремнула... но...

— Идите; дело все равно кончено. Позовите Вениамина и Бетси.

Вошли родственники: два вопросительных знака, пытающихся стать восклицательными.

— Ну — вот что,— сказал Димен,— дело кончится не позже как к вечеру. Выходка (вероятно — горячечный приступ) имела следствием, как видите, полное беспамятство. Пульс резок и неровен. Дыхание порывистое. Температура резко упала,— зловещее предвестие. Надо... нам... приготовиться... сделать распоряжения.

Бетси, сверкнув бриллиантами красных рук, закрыла лицо и искренне зарыдала от радости. Вениамин молитвенно заломил руки. Доктор расстроился.

— Общая участь всех нас...— жалобно начал он.

Лорх проснулся. Взгляд его был стремителен и здоров.

— Принесите поесть! — крикнул он.— Я во сне видел жаркое. Принесите много еды — всякой. Хорошо бы пирог со свининой, коньяку, виски,— всего дайте мне — и много!

КАРНАВАЛ

I

Безоблачный жаркий день достиг силы коротких теней, болезненной зрению белизны стен и полного воздушного оцепенения, стесняющего разгоряченное дыхание. Белые, красные и голубые зонтики утомленно порхали над толпой извилистых улиц маленького городка Италии —

Сан-Амиго, празднующего хороводную неделю веселого карнавала, установленного для этого городка с незапамятных времен неким историческим событием, сущность которого давно перешла в легенду, обтрепалась и напоминала собою одно из тех выцветших, убогих знамен, сложенных в передней музея, бессильных оживить своей истасканностью память любопытного современника, относительно присущих им сражений или подвигов.

Расположение улиц Сан-Амиго напоминало колесо, лишенное обода. Ступицами были улицы, идущие от центра — оси — к предместиям. В протекающем полуденном часе по каждой из этих улиц, к оси колеса,— небольшой, но величественной, благодаря высоте окружающих ее старинных зданий, площади,— двигались вереницы феерических экипажей, покрывая грохотом колес забавный стон толпы, разряженной в костюмы всех времен и народов, даже таких, какие могут населять только страны воображения. Самые диковинные фигуры господствовали среди повозок и высоких платформ, производя впечатление, как если бы войско чудовищ вступало после нелепого, заоблачного сражения в покоренную область. Там высился людоед, берет которого плыл наравне с балконами третьих этажей, а в его пасти среди картонных зубов плясали толстопузые мальчишки; здесь — треща крыльями, проталкивался дракон, пестрый, как бабочка, и страшный, как ад в мысли натуралиста; там везли кита; здесь — слон, с подвыпившими, в фигурной башне, остекленелыми шалопаями, трубил скрытым тромбоном; далее — ряд страшных голов на общем туловище покачивался с ужасной выразительностью неодушевленных фигур. Другие процессии составлялись из костюмированных групп, пирующих среди возвышений, убранных атрибутами их идеи. Вакханки из фабричных кварталов, сверкая неподдельно пышными икрами, плясали вокруг Вакха, плавающего в кокетливых джунглях серпантина. Рой обезьян, с белыми носами среди коричневых морд, визжал и скакал в клетке, бесполезно укрощаемый сверху ударами турецкого барабана. Какие-то супостаты, в полумонашеских, полуклоунских одеяниях, ворочали посудой на кухне, блистающей паром и бенгальским огнем, давали концерт посредством тазов и сковородок, выкрикивая малопристойные изречения. Черти с рогами везли повешенных за языки грешников. Ангелы

завивались в парикмахерской у ослов. Экипажи в цветах, лентах и золоченых бусах, с массой хорошеньких женских головок; хоры музыки; отряды ландскнехтов и рейтаров; процессии великанов и карликов — и все другое в этом роде, что было бы утомительно ловить целиком в сети подробного описания,— двигалось, приплясывая и свистя, в облаках цветной муки и конфетти,— к площади, где уже восседало подвыпившее жюри, призванное отличить самый интересный выезд почетной наградой. То был карнавальный кубок — премия, переходящая из года в год к новым рекордистам маскарадной изобретательности.

Толпа потела и зубоскалила. Это был один из тех редких дней, когда разнородности существований,— основа жизни,— отбросив укрепляющую жестокость повседневной борьбы, образуют добровольное государство возвеличенного каприза. Есть вещи,— явления, бесполезные в истинно хорошем значении этого слова, но более соединяющие людей и общенужные им, чем все рогатки приказывающей, доктринерской мысли. К ним принадлежат любовь, гримаса и сказка. От них следовало бы танцевать плакальщикам социальных водоворотов.

II

Часа за два перед тем, как мы с читателем начали осматривать Сан-Амиго, в небольшом доме, стоявшем несколько поодаль за фабрикой сигарет, собралась костюмированная компания, преследовавшая, по-видимому, те же невинные цели, иными воплощениями которых наполнились уже веселые улицы.

Однако было нечто угрюмо мрачное в замысле экипажа и костюмах участников. Три черные лошади были запряжены цугом в продолговатую платформу на колесах, с возлежащим на сей платформе огромным рогом изобилия, черным, как и все в этом сооружении, с пастью, обращенной вперед. Из него сыпались картонные белые черепа, скрепленные проволоками, образуя противную груду отвратительного подражания устрашающему в природе. На высоком передке сидел возница, сравнивая и перебирая вожжи. Все это находилось внутри цветущего двора, под снегом апельсинного цветения.

С крыльца, укрытого пышной зеленью, сошли двое: молодой человек и совсем юная девушка. Все трое, считая возницу, были одеты в черные трико, широкие, густо накрученные пояса и плащи с капюшонами. Мрачная чернота этих одежд придавала описанному трио полумонашеский, полуразбойничий вид; однако, в силу разницы полов, впечатление это следовало отнести более к мужчинам, чем к девушке, тонкое прекрасное лицо которой, серьезное, как на молитве, выражало трогательное, сдержанное волнение. Возница был румян, рус и кудряв; несмотря на это,— нечто неуловимо сдвинутое в его лице, какое-то ничтожное несоответствие черт с веселыми красками молодости,— делало его лицо вызывающе жестоким и наглым. Молодой человек, вышедший с девушкой — ее родной брат,— был худ и землист лицом; его сдавленный, упрямый лоб накрывал редкими бровями широко раскрытые, как бы оцепеневшие глаза. Ничтожная бородка и такая же тень первых усов еще более оттеняли болезненность и нервозность костлявых черт.

— Да, Либерио,— сказал он вознице,— с таким рогом нам нечего надеяться получить приз. Мы сами выдадим премию кровопийцам и толстобрюхим. А ты, Эмилия? Не боишься ли ты?

— Нет,— сказала девушка после короткой паузы.— Ну, что же?! Мы обо всем переговорили. Надо ехать, Карло.

Карло кивнул. Затем, нагнувшись к повозке, он ощупал, в глубине бумажных черепов, три тяжелые, жестяные коробки и, удостоверясь, что им не угрожают толчки, занял место впереди экипажа.

III

Люди эти были — анархисты, задумавшие безумное дело среди шума и пестроты праздника. Они намеревались бросить три бомбы на эстраду жюри, состоявшего главным образом из членов магистрата, художников и торговцев. Рассматривая карнавал как сборище праздных, насквозь пропитанных предрассудками «собственности и мещанской морали», людей в момент их ликования, поэтизирующего основы ненавистной, старой жизни, заговорщики сочли весьма эффектным и действенным поразить город паникой при наибольшем числе

зрителей, отдавшихся без подозрений веселью. Это была так называемая «пропаганда фактом». Их мрачный выезд, символизирующий щедрость смерти, способствовал, по мысли организаторов, силе впечатления от их поступка. Здесь, карнавал как бы поражал сам себя, выделив зловеще оригинальную колесницу. Либерио и Карло были душой замысла; что касается Эмилии, то она присутствовала третьей по жребию, действующему иногда не так слепо, как кажется. Фанатизм мужчин, кроме разрушительных наклонностей их, вытекал из странного, игрушечного представления о природе и жизни, в которых грубый и неподвижный ум, отталкивая неизмеримую сложность явлений, видел лишь застывшие формы предметов, подлежащих перестановке. В значительной степени примешивались сюда романтизм и тщеславие и еще, несомненно, навязчивая *идея крови*, страшная по существу, но именно этим ослепляющая их, создавая фикцию дела огромной важности.

Нам незачем более вникать в этих людей, напоминающих неопытных изобретателей воздушных аппаратов, бессильных, как механизмы. Перейдем к девушке — героине этого дня.

IV

Эмилия родилась и выросла в семье отшельнической, занявшей, по отношению к жизни, роль печальной, но самовлюбленной избранницы. Ее отец был политический эмигрант, радикализм которого при новом курсе оказался в глазах новой власти терпимым. Карино вернулся на родину.

С дня рождения жизнь девушки протекала, так сказать, в семейно-политической атмосфере, насыщенной воспоминаниями, легендами, благоговением перед прошлым отца и преданностью матери, не оставлявшей своего мужа в самых тяжелых испытаниях. Пяти лет дети пели уже революционные песни. Дом часто посещали старики и старухи, такие же седые и отсталые во взглядах, как и хозяин,— знаменитости революционных кругов, живые памятники прошлой борьбы. Имена их произносились с ревнивым почтением. Они беспрерывно толковали о вопросах государственной жизни, и разговоры эти год за годом наслаивали в

душу девочки сознание наследственности — преемственности ее будущих убеждений. Система строгой тенденции проводилась воспитанием. Их детские книги сыпали описанием подвигов и поступков высоконравственных. Сказки преследовались. Дух кулинарного рационализма с неизбежно сопутствующими ему нетерпимостью и прямолинейностью преследовал по пятам неокрепшие души. Слыша с детства восхваления тюремных и всяких других страданий, связанных с кандалами и виселицей, Эмилия постепенно приучилась смотреть на них, как на некое мрачное и неизбежное счастье, даримое судьбой из поколения в поколение. Мещанством, т. е. проявлением презренной и вульгарной косности, почитались здесь наряды, водевили, кинематограф, флирт, танцы — все, что свойственно беспритязательной молодежи.

V

После нескольких переулков, мало оживленных, благодаря тому, что все почти население в веселом дурмане карнавала устремилось к центрам, повозка с заговорщиками выехала наконец на одну из главных артерий, ведших к площади.

Самые приподнятость настроения и волнение тем, что произойдет на площади, волнение, инстинктивно удержанное от страшного озарения его сознанием, располагали уже к тому, чтобы певучий хаос цветных улиц и все, в них происходящее, воспринимались с умноженной и обостренной силой. Старое сравнение с людьми, едущими на казнь, имело бы здесь место, не будь все-таки еще и теперь свободы выбора. Эта добровольность, это полуосознанное насилие над волей к самоохранению должно возбуждать более принуждения. Поэтому никогда еще в жизни девушка не была так хрупко напряжена. Глаза ее горели тайной и ликованием окружающего. Множество взглядов устремилось к ее пленительному лицу, и это заставило ее бессознательно принять позу, наиболее выгодную ее сложению.

«Рог изобилия» двигался меж китайским драконом и колесницей Нептуна, продвигавшейся сзади. На мрачное сооружение было немедленно обращено раздражительно-насмешливое внимание толпы. «Почем старые кости?» — выкрикивали подростки, швыряя апельсин-

ными корками в Либерио и Карло, ехавших с злобным торжеством свирепой безнадежности в душе и двусмысленными улыбками. «Кормильцы навозных мух»,— кричали другие. «Скелетные мастера!» — «Домашние привидения!» — «Смотрите: музейные сторожа грабят студентов!» Такие и подобные им возгласы раздавались вокруг в то время, как группы молодых людей, одетых рыцарями, турками, краснокожими, шутами и проч., обступили с двух сторон девушку, приговаривая любезности и комплименты с искренним восхищением, вызываемым ее внешностью.

Эмилия была некоторое время в замешательстве; затем, уступая вполне женским чувствам, грациозно льстившим ее самолюбию, начала шутливый разговор, заставивший ее временно забыть роковую цель медленного движения к площади. Первый раз жизнь со стороны ее пола так шумно и весело подошла к ней, и она не могла не ощущать этого с печальным вниманием затворницы, выглядывающей из-за решетки замка. На колеснице дракона плавно гремел вальс; балконы домов были украшены коврами и флагами; везде виднелись цветы... Над ее головой беспрерывно сыпался град конфетти; в ее руках и корсаже, как бы выросшие магически, алели свежие розы; и линии серпантина, с их медленно падающими траэкциями, слабо шипя, опутывали ее шею и руки лентами всех цветов.

Тем временем ее колесница завернула на площадь, готовую, казалось, развалиться от грома барабанов и труб, и стала в очереди, среди полукруга, один конец которого, растекаясь под аркой киоска жюри, терялся в облаках флангов.

VI

Карло подошел к девушке с бескровным лицом.

— Сестра! — сказал он вполголоса, так, что его не могли слышать чужие.— Наша святая ненависть скоро обрушится на головы этих безумцев. Может быть, нас убьют на месте. Когда наступит момент, мы простимся. Вот что: нам остается ждать с полчаса до очереди. Либерио хочет пить, я — тоже, вероятно — и ты. За наше отсутствие ты посидишь здесь, а мы заглянем в таверну и принесем тебе чего-нибудь прохладительного.

Будничность этого сообщения еще более подчеркну-

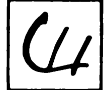
ла сумасшествие кровавого дела. Как только мужчины скрылись в толпе, Эмилия вынула из тайника жестянки, спрятала их под плащом и с чувством человека, нашедшего силу удалиться от пропасти, покинула свое место с целью найти другое, куда безопасно для своей и чужих жизней могла бы спрятать снаряды.

Несколько времени, стоя на тротуаре, она беспомощно оглядывалась, не беспокоимая никем, так как успела среди хаотического движения скрыться от кавалеров, и решила уже искать случая; поэтому, войдя в ближайшие ворота, она, заметив, что двор пуст, поднялась по каменной лестнице совершенно безотчетно, думая с тоской, что этот путь, за неимением выбора, не хуже других. Вдруг, с одной из площадок, заметила она короткий коридор, а в нем, слева, неприкрытую дверь. Заглянув туда, она увидела род чулана, полного сора и хозяйственных в отставке предметов; здесь, торопясь обезопасить зловещую ношу, Эмилия сложила ее в дальнем углу полки и, внезапно почувствовав вслед за этим сильную усталость, присела на ящик.

Возбуждение ее разразилось слезами. Не удерживая их, она закрыла лицо рукой, и слезы, падая сквозь пальцы на цветы, дышавшие за ее поясом, отягчали их лепестки лучшей росой жизни. Наконец, успокоившись, она вспомнила о том, что должна вернуться к своему месту ранее брата, и легко, с нервным, коротким, блаженным смехом пошла к двери.

Но за ее доверчивым телом стояла судьба, подходящая к избегающим ее тысячами путей, не знающих заблуждения. Полка, установленная на неравно вбитых в стену гвоздях, при малейшем перемещении своего груза принимала покатость, незначительную, но достаточную для движения цилиндрического предмета. Один снаряд лежал боком. Соринка ли, уступившая давлению тяжести, или отскользнувшая крупица штукатурки... как сказать, что именно освободило легкий наклон. Уже на пороге Эмилию остановил громкий стук. Краткое мгновение, блеснувшее меж разрывом и стуком, пока, шипя, смешивалась серная кислота с запалом, было самым тяжким страданием, мыслимым на земле. Девушка не могла шевельнуться. Затем смерть бережно провела ее в безветренный сад святых, а каменный вихрь, полный огня и пыли, отразил неистовым громом воздушный узор вальса, присланный карнавалом.

СТАРИК ХОДИТ ПО КРУГУ

оссе шло по насыпи; слева от него тянулась необозримая, мелкая лесная поросль с речками и болотами.

— Вот он! — сказал Фиш Флетч, уступая мне место перед окуляром.— Сперва покури.

— Зачем?

— Будешь смеяться так, что задрожат руки; потом не вставишь в рот папиросу.

Его действительно дергало.

Я покурил и углубился в пространство.

Все ясно как на ладони. Взъерошенный старик, лихорадочного сложения, с лицом, торжественно глупым и беспокойным, лез на упавшее поперек пути дерево. Уверенный, что идет по совершенно прямой линии, он глубоко презирал всякие обстоятельства, противоречащие его замечательному методу. Он наскакивал на дерево животом, маршировал на месте, затем, отступив, снова устремлялся вперед с яростью привидения, обычное путешествие которого сквозь стены почему-то не ладится. Хотя можно было, конечно, пролезть под деревом или же обойти его, однако старик, по-видимому, предпочитал таранный героизм всякому размышлению. К счастью дальнейших наших наблюдений, дерево, лежавшее неустойчиво, постепенно отодвигалось под ударами живота, и старик наконец двинулся дальше, ободрав жилет, с голым пузом.

Видя, что я близок к истерике, Фиш Флетч заботливо поддерживал меня, давая, по привычке, ненужные объяснения:

— Как тебе известно, если в лесу, без компаса, человек захочет идти по прямой линии, он неизменно будет заворачивать влево и идти по кругу, возвращаясь к исходной точке, потому что левая нога у него короче. У старика она сильно короче. И вот злонравия достойные плоды!

Как проклятые мы путешествовали с телескопом. Держись, Гринвич!

Этот научный груз, эта тяжесть в две тонны весом перетаскивалась нами на колесной платформе, без помощи других животных, кроме нас. От утренней до вечерней зари распевали мы песни каторжников, изредка лишь волнуемые удовольствием подсмотреть в туманной дали нечто телескопическое.

Наконец мы встретили ненормально прямую дорогу — шоссе от Режицы к Брежице.

Здесь встретил нас, непьющий и некурящий, бледный брат Армии спасения, в чине корнета.

— Невозможно спасти старика! — плача сказал он.— Старик гибнет. Левая нога у него короче. Жаль разумное божье создание человека в грязи и...

— С ногой,— невозмутимо закончил Фиш Флетч.

— С короткой левой ногой,— методично поправил корнет.

— Где же старик? — спросил я.

— Диаметр его орбиты приблизительно равняется трем верстам. Длина полуокружности должна составить пять верст. Он двигается со скоростью пяти верст в час. Именно — час назад он был здесь, осыпав меня проклятиями за пару-другую сожалений по поводу его адского упрямства. Так что, если вы направите телескоп перпендикулярно к дороге на горизонт, под углом в два с половиной градуса, вы увидите эту, юношески настроенную, развалину.

Он отправился умолять грузового подрядчика кормить кобылу бисквитом, а я и Фиш Флетч устремили чудовищный глаз телескопа по направлению, указанному корнетом.

Меж тем старик скрылся в каких-то оврагах, и мы, зная, что он рано или поздно пройдет мимо нас, сели закусить.

Наконец близ насыпи раздался треск валежника, и мы увидели почтенного истукана в касательной его орбите к дороге. Некоторое время он как разумный шел правильно к Брежице, мужественно бороздя болотце по плечи в воде, но, несколько опередив нас, стал уклоняться влево по — как только теперь заметили мы — многолетней тропинке, протоптанной под его удивительными ногами.

Фиш Флетч не выдержал.

— Счастливой дороги! — закричал он.— Куда это вы идете?

— Из Режицы в Брежицу,— мрачно ответил старик.

— Послушайте,— вмешался я,— вот шоссейная прямая дорога в Брежицу. Почему вы не идете по ней?

— Ложь,— заорал старик, грозя мне кулаком.— Десять лет назад этой дороги не было. Десять лет назад я вышел из Режицы, держась абсолютно прямой линии. Не могу же я уклониться лишь потому, что какое-то

шоссе,— врут мне,— идет в Брежицу. Я ведь вижу, что иду прямо!

— Нет, вы кружите! — сказал я.

— Это вы кружите. Расстояние здесь пустяковое, тридцать верст. Совсем близко.

— Как сказать...— ввернул Флетч.

Старик плюнул и устремился в следующее болотце, бултыхаясь, как утка. Скоро он скрылся по своей странной орбите где-то среди кустов.

— С таким характерцем любая Брежица станет Иерусалимом крестоносцев,— сказал Фиш Флетч.

Меж тем по прямой дороге шоссе текла мелкая и невыразимо важная жизнь.

ВПЕРЕД И НАЗАД

(Феерический рассказ)

I

В конце мая и начале июля город Зурбаган посещается «Бешеным скороходом». Ошибочно было бы представить этого посетителя человеком даже самой сумасшедшей внешности: длинноногим, рыкающим и скорым, как умозаключение страуса относительно спасительности песка.

«Бешеный скороход» — континентальный ветер степей. Он несет тучи степной пыли, бабочек, лепестки цветов; прохладные, краткие, как поцелуи, дожди, холод далеких водопадов, зной каменистых почв, дикие ароматы девственного леса и тоску о неведомом. Его власть делает жителей города тревожными и рассеянными; их сны беспокойны; их мысли странны; их желания туманны и обаятельны, как видения анахорета или мечты юности. Самое большое количество неожиданных отъездов, горьких разлук, внезапных паломничеств и решительных путешествий падает на беспокойные дни «Бешеного скорохода».

5-го июля в сорока милях от Зурбагана три человека шли по узкой степной тропе, направляясь к западу.

Шедший впереди был крепкий, прямой, нервный человек лет тридцати трех. Природа наградила его свое-

образной цветистостью, отдаленно напоминающей редкую тропическую птицу: смуглый цвет кожи, яркие голубые глаза и черные, вьющиеся, с бронзовым отливом, волосы производили весьма оригинальное впечатление, сглаживая некрасивость резкого мускулистого лица именно богатством его оттенков. Двигался он как бы толчками — коротко и отчетливо. На нем, как и на остальных двух путниках, был охотничий костюм; за спиной висело ружье; остальное походное снаряжение — сумка, свернутое одеяло и кожаный мешочек с пулями — размещалось вокруг бедер с толковой, удобной практичностью предусмотрительного бродяги, пользующегося, когда нужно, даже рельефом своего тела.

Этого звали Нэф.

Второй путник, развалисто поспешавший за первым, был круглолиц, здоров и неинтересен в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других. Молодой, видимо, добродушный, но тугой и медлительный к новизне, он являлся того рода золотой серединой каждого общества, которая, по существу, неоспорима ни в чем, подобно столу или крепко пришитой пуговице. Сама природа отдыхает на таких людях, как голодный поэт на окороке. Второго путника звали Пек, а был он огородником.

Третий мог бы нагнать тоску на самого веселого клоуна. Представьте одушевленный гроб; гроб на длинных, как бы перекрученных, испитых ногах, с впавшим животом, вздернутыми плечами, впалыми, кислыми глазами и руками-граблями. Его рыжие усы висели как ножки мертвого паука, он шел размашисто и неровно, вяло шагая через воздух, как через ряд сундуков. Этого звали Хин. В Зурбагане он чистил на улице сапоги.

Все трое шли в полусказочные, дикие места Ахуан-Скапа за золотом, скрытым в тайной жиле Эноха. Умирая, Энох передал план тайников Нэфу [1]. Хин, соблазнясь, истратил на снаряжение деньги из сберегательной кассы, а Пек шел как могучая рабочая сила, годная копать землю и вязать на переправах плоты.

[1] В единственной известной публикации вместо «Нэфу» напечатано «Эхору». (*Примеч. сост.*)

II

Когда стемнело, путники остановились у небольшой рощи, разожгли костер, поужинали и напились кофе.

Огромная ночь пустыни сияла цветными звездами, большими, как глаза на ужас и красоту. Запах сухой травы, дыма, сырости низин, тишина, еще более тихая от сонных звуков пустыни, дающей вздохи, шелест ветвей, треск костра, короткий вскрик птицы или обманчиво близкий лепет далекого водопада — все было полно тайной грусти, величавой, как сама природа — мать ощущений печальных. Человек одинок; перед лицом пустыни это яснее.

Нэф развернул карту.

— Вот, братцы,— сказал он, отводя ногтем часть линии не более пяти миллиметров,— вот сколько мы сделали в первый день.

— А сколько осталось? — спросил, помолчав, Хин.

— Столько.— Нэф двинул рукой до противоположного края карты.

— Д-да,— сказал Пек.

Хин промолчал. Устремив глаза в тьму, бесцельно, но напряженно, как бы улетая в нее к далекой цели, Нэф сказал:

— Помните, что путь наш не легок. Я уже говорил это. Нас будет рвать на куски судьба, но мы перешагнем через ее труп. Там глухо: леса, тьма, враги и звери; не на кого там оглянуться. Золото залегло в камне. Если хотите, чтобы ваши руки засветились закатом, как глаза, а мир лежал в кошельке,— не кряхтите.

Пек и Нэф вскоре уснули, но Хин даже не задремал. Беспокойно, первый раз так опасливо и реально, представил он долгий-предолгий путь, дожди, голод, ветры и лихорадки; пантер, прыгающих с дерева на загривок, магические глаза змей, стрелу в животе и пулю в сердце... Чей-то скелет среди глубокого ущелья... Он вспомнил красоту отделанного под орех ящика, на котором останавливается щедрая нога прохожего, солнечный асфальт, свою газету, свою кофейню и верное серебро. Он внутренно отшатнулся от того края карты, на котором, смеясь, Нэф положил ладонь; отшатнулся и присмирел.

Хин осторожно встал, собрался и, не разбудив товарищей, зашагал к Зурбагану, унося на спине взгляд

догорающего костра. Так человек, страдающий боязнью пространства, поворачивается спиной к площади и идет через нее, пятясь... Мир опасен везде.

III

Проснувшись, Нэф показал Пеку следы, обращенные к ночлегу пятками.

— Нас двое теперь,— сказал он.— Это лучше и хуже.— Пек выругался, невольно все-таки размышляя о причинах, заставивших Хина вернуться. Он был смущен.

Затем прошел месяц, в течение которого два человека пересекали Аларгетскую равнину с достоинством и упорством лунатиков, странствующих по желобу крыши, смотря на луну. Нэф шел впереди. Он говорил мало; часто задумывался; в хорошую погоду — смеялся; в плохую — кусал губы. Он шел легко, как по тротуару. Пек был разговорчив и скучен, жаловался на лишения, много ел и часто вздыхал, но шел и шел из любви к будущему своему капиталу.

Однажды вечером к поселку, расположенному на берегу большой реки, пришли два грязных, бородатых субъекта. Их ногти были черны, одежда в земле. Они вошли в небольшой дом, где молодцеватый, крупный старик и молодая девушка, красивая, как весенняя зелень, садились ужинать.

— Вы куда? — осведомился старик.

— К Серым горам,— сказал Нэф.

— Далеко.

— Пожалуй.

— Зачем?

— Слитки.

— Дураки,— заявил старик.— Туда многие ходят, да мало кто возвращается.

— Мало ли что,— возразил Нэф,— ведь я иду в первый раз.

Старик хмыкнул, как на лепет ребенка.

— Нерра, покорми их и положи спать,— сказал он дочери.— Пусть они во сне целуются с золотом, а наяву — со смертью.

— Шутки не наполняют кармана,— возразил Нэф.

Девушка засмеялась. Пек сел к пирогу со свининой; Нэф выпил водки, потом занялся и едой.

Ужин прошел в молчании. Затем Нерра сказала:

— Сумасшедшие, ваша постель готова.

— Ты любишь умных? — спросил Нэф.

— Должно быть, если не люблю глупых вопросов.

— Какой принести тебе подарок?

— Свой скальп, если ты разыщешь его.

— Бери сейчас.— Нэф нагнулся, подставив лохматую голову.

Старик, вынув изо рта трубку, густо захохотал. Девушка рассердилась.

— Идите спать! — вскричала она.

Нэф скоро заснул; Пек, ворочаясь, вспоминал круглые руки Нерры. Утром, когда Нэф занялся чисткой ружья, Пек вышел во двор и сел на бревно, осматриваясь.

Вдали, за цветущей изгородью, виднелись холмы хлебных полей. В сарае толкались свиньи, розовые с черными пятнами. На другом дворе бродили коровы великанского вида. Под ногами Пека суетились крупные, цветные куры, болтливые индейки; вечно падающие гуси шипели, как тещи; синие с золотом и хохолками на голове утки охорашивались на солнышке.

Старик вышел из хлева. Увидев Пека, он подошел к нему и сказал:

— Любезный, в горах дико и дрянно, а у меня много работы. Два месяца назад утонул мой сын. Если хочешь, живи работником. Мы всегда спокойны и сыты.

В это время через двор прошла Нерра, улыбаясь себе, в солнце и ярком платье, богатая молодостью. Она скрылась. Вся картина знакомой фермерской жизни была для души Пека, как оттепель среди суровой зимы,— тоска мучительного и опасного странствования.

— Хорошо,— сказал Пек.

Старик подбросил лопату. Пек пошел в дом, где столкнулся с Нэфом, одетым и готовым к походу.

— Скорее, идем,— сказал Нэф.

— Нэф... я...

— Где же твое ружье?

— Послушай...

— Время дорого, Пек.

— Я здесь останусь работником.

Нэф отвернулся. Постояв с минуту, он прошел мимо Пека, как мимо пустого места. У ворот он обернулся, увидев Нерру, смотревшую на него из-под руки.

— Ну, я пошел,— сказал он.

— Прощай. Береги скальп.

Нэф досадливо отмахнулся. Девушка презрительно фыркнула и повернулась спиной к дороге, уходящей к горам.

IV

Жизнь знает не время, а дела и события. Поэтому, без точного исчисления месяцев, разделивших две эти главы, мы останавливаемся у окна, только что вымытого Неррой до блеска чистой души. Около нее стоял Пек.

— Что же мне теперь делать?

— Купать лошадей.

— Нерра!

— Отстань, Пек. Твоей женой я не буду.

Он смотрел на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие, сильные руки. Так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе. Он вдруг озлобился, вышел и повел лошадей, а когда возвращался с ними, то заметил спускающегося по склону холма неизвестного человека в лохмотьях, так густо обросшего волосами, что сверкали только глаза и зубы. Человек шел сильно хромая.

— Пек! — сказал бродяга, взяв под уздцы лошадь.

— Нэф!!

— Я. Я и мое золото...

— Так ты не умер?

— Нет, но умирал.

Они вошли в дом. Пек привел старика, Нерру; все трое обступили Нэфа, рассматривая его с чувством любопытной тревоги.

Его вид был ужасен. В дырах рубища сквозило черное тело; шрамы на лице и руках, склеенные запекшейся кровью, казались страшной татуировкой; босые ноги раздулись, один глаз был завязан. Он снял мешок, ружье, тяжелый кожаный пояс и бросил все в угол, потом сел.

— Скальп цел,— кратко сообщил он.

Девушка улыбнулась, но ничего не ответила.

Ему дали еды и водки. Он сел, выпил; на мгновение заснул, сидя, и мгновенно проснулся.

— Рассказывай,— сказал старик.

— Для начала...— заметил Нэф, отворачивая левый рукав.

От плеча до кисти тянулись обрывки сросшихся мус-

кулов — подарок медвежьей лапы. Затем, поправив рукав, Нэф спокойно, неторопливо рассказал о таких трудах, лишениях, муках, ужасе и тоске, что Пек, посмотрев в угол, где лежал мешок с кожаным поясом, почувствовал, как все это на взгляд стало приземистее и легче.

На другой день выспавшийся Нэф побрился, вымылся и оделся. Он перестал быть страшным, но вид его все же говорил красноречиво о многом.

Оставшись с ним наедине, Пек сказал:

— Ты меня предательски бросил здесь, Нэф. Я колебался... Ты не утащил меня, как следовало бы поступить верному другу. И вот — ты миллионер, а я — попрежнему нищий.

Нэф усмехнулся и развязал пояс. Взяв чайный стакан, он насыпал его до краев мутным, желтым песком.

— Возьми! — сказал он покрасневшему от жадности Пеку.

К вечеру Пек исчез. На кровати Нэф нашел его записку и показал Нерре.

«Жадный, вероломный приятель! Прибыв страшным богачом, ты дал мне, всегдашнему твоему спутнику, жалкую часть. Будь проклят. Я уезжаю от тебя и развратной девки Нерры к своему дяде, где постараюсь лет через пять разбогатеть больше, чем ты, хитрый бродяга».

— Закурим этой бумажкой,— весело сказал Нэф.— Не бледней, Нерра; знай, дурак кусает лишь воздух. Послушай... Я сберег скальп для тебя.

Она помолчала, затем положила на его плечо руку, а потом мягко перевела руку на вьющиеся волосы Нэфа.

— Через неделю будет пароход сверху,— сказала Нерра,— если хочешь, я поеду с тобой.

— Хочу,— просто ответил Нэф.

Так началась их жизнь. Одним мужем и одной женой стало больше на свете, богатом разными парами, но весьма бедном любовью и уважением.

У подъезда каменного зурбаганского театра сидел наш знакомый Хин, рассматривая по профессиональной привычке ноги прохожих; выше он почти никогда не поднимал глаз, считая это убыточным.

Прошло несколько времени. На ящик Хина ступила небольшая мужская нога в лакированном сапоге; после нее — другая. Хин заботливо их почистил и протянул руку.

То, что оказалось в руке, сначало удивило его своим цветом, цветом не ассигнаций. Цвет был коричневый с розовым. Развернув бумажку, Хин, встав, с трепетом и почтением прочел, что это чек на предъявителя, на сумму в пятьдесят тысяч. Подпись была «Нэф».

Он судорожно огляделся, и показалось ему, что в зурбаганской пестрой толпе легли тени пустыни и грозное дыхание диких мест промчалось над разогретым асфальтом, тронув глаза Хина свежестью неумолкающих водопадов.

СКРОМНОЕ О ВЕЛИКОМ

(Памяти Л. Н. ТОЛСТОГО)

Однажды А. И. КУПРИН в разговоре о великом покойнике выразился таким образом: — «Старик нас всех обокрал: за что ни возьмешься,— уж им написано». Шутливость замечания этого очевидна, и все-таки так велико, так разнообразно художественное наследие Толстого, так разносторонне, на протяжении полувека, изображена им жизнь русского общества и народа, что, заменив слово «обокрал» словом «предупредил», приходится согласиться с А. И. КУПРИНЫМ по существу дела.

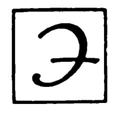
Толстым не оставлено без внимания малейшее душевное движение человеческое. Читая «Анну Каренину» с изумлением, с подавленностью, убеждаешься, что здесь изображена главным образом вся русская жизнь того времени, вся русская душа в ее целом, а уж затем, в огромном узоре этом, в этой сплошной толпе лиц, страданий, судеб, уделяешь необходимое внимание интриге; собственно, романтической. Толстой, как художник, является демократом в самом возвышенном значении этого слова. Он демократичен как солнце. Сила и равномерная страстность художественного проникновения одинакова у него для мужика и царя, пьяницы и священника, светской дамы и простой бабы. Одно прикосновение творческого внимания Л. Т. делает всех людей одинаково

прозрачными удобопочитаемыми. Толстой, как никто, совершенно лишен оттенков отношения к своим персонажам в смысле их социального положения или рода их деятельности. У него отсутствует (чего не избегали подчас крупнейшие таланты) социальная мистика и социальная обывательская щепетильность. Как художник он пленительно суров и бесцеремонен в раздевании душ. Страсти, заблуждения, страдания, удовольствия и подлости человеческие вытекают из одних и тех же духовных явлений, причем, кого бы он ни описывал: князя или полудикого черкеса, казака или Николая 1-го. Благодаря великой простоте выражения, описания человеческих жизней со всеми их внутренними пружинами, читатель неизменно убеждается в тождественности духовной основы всех людей и вместе с Толстым видит, как жалки все ухищрения, все разделения, искусственны все различия одежд, званий, чинов, занятий. Вообще человек, а не человек именно такой-то изучается и понимается им в книгах великого писателя. Особенность художественного таланта Л. Н. Толстого, его эта беспощадная сила реального изображения в связи с огромной любовью к жизни во всех видах ее и окрасках, его плодовитость и ревнивое отношение к каждому слову, имевшее целью наибольшую, совершеннейшую полноту впечатления — сделали то, что действительно после Толстого осталось немного (если только осталось) в жизни, почему-либо не охваченного его волшебным пером. Без преувеличения можно сказать, что жизнь и творчество Толстого равны силой своей целой революции. Тот возвышенный демократизм художника, о котором упомянули мы выше (кстати, единственно истинный демократизм), из года в год, из поколения в поколение оставляя свой мощный след в читательских массах, привел к тому, что слова «Толстой», «толстовство» стали синонимами гуманности, возвышенного отношения к жизни, человечности и самоусовершенствования. Сама жизнь Толстого, столь удивительная и сложная, является одним из наиболее глубоких и ценных его произведений. Он был близок к природе и звал к ней. Вспоминая Толстого, в сущности, вспоминаешь Россию,— народ, общество, исторические их судьбы, вспоминаешь даже всю русскую литературу.

Да, Толстой — это Россия. Россия в настоящее время переживает период мучительной, героической борьбы с самой собою, с своим прошлым. Лик ее затемнен удара-

ми и искажениями. Потому-то хорошо и нужно всем нам вспомнить от Л. Н. Толстого о том, какая она, эта Россия, в своем духе и сущности, в целях своих и силах, чтобы, оглянувшись на великое и прекрасное, идти далее по трудному пути с надеждами укрепленными.

ВОЛШЕБНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

тот город был переполнен людьми, за каждым из которых числилась одна, а то и несколько чрезвычайно странных историй. Некоторые из этих людей давно умерли, однако, проходя кладбищем, я узнаю нюхом, в каких именно могилах покоятся их бывшие тела, прошедшие трудный стаж диковинных личных событий. Я вспоминаю их имена, наружность, манеру покашливать или извлекать папиросу.

На углу Кикса Кисляйства и Травоедения стоит еще и ныне старик посыльный, погубивший свою молодость и красивую семейную жизнь с любимой женою тем, что однажды взялся доставить клетку с птицей бесплатно. Это поручение ему дала очень красивая молодая девушка, одетая элегантно и ароматно. Хотя посыльный был сердцеед и лишь недавно женился на премилой хлопотунье-блондинке, однако красота девушки была исключительная; он почувствовал удар в сердце. У красавицы с огненными глазами случайно не было с собой денег. «Вот что,— сказал посыльный,— я простой человек, но позвольте мне, сударыня, бесплатно услужить вам».— «Благодарю»,— просто ответила девушка и улыбнулась, и улыбка ее окрасила смущенную душу посыльного пожарным отблеском счастливой тревоги.

Девушка потерялась в толпе, а посыльный с клеткой, где шарахалась маленькая испуганная канарейка, отправился по адресу. Он прибыл к серому высокому дому, в далекую туманную улицу, обвеянную фабричным дымом. Улица была грязна, а дом роскошен. Лестница в коврах и цветах привела посыльного к квартире № 202-й. Он позвонил, и ему отперла сама юная красавица.

Посыльный передал клетку, пробормотал несколько слов и, краснея от мучительной внезапной влюбленности, хотел уйти, но девушка, смеясь и приговаривая: «Ничего, ничего, мой милый, пусть это будет малень-

ким приключением»,— взяла его большую руку своей маленькой лепестковой рукой и повела через анфиладу высоких угрюмых зал.

Благодаря опущенным занавесям, везде царили нежилые, хмурые сумерки; мебель и картины были в чехлах; где-то таинственно скреблись мыши. Девушка привела посыльного в отдаленную комнату и заперла дверь. Его сердце билось глухим волнением. Здесь было светло и уютно; топился камин, улыбался скульптурный фарфор; лилии и камелии красно-белым узором сияли в голубоватых горшках; среди атласной мебели, всяческого изящества, среди тонкого аромата прелестного женского гнезда посыльный ослабел волей. Дома о нем беспокоилась жена — прошел час обеда. Но он почти не помнил об этом. Скоро его внимание привлек ряд пустых клеток, висевших на стене, против камина.

«Я покупаю и выпускаю их на свободу»,— сказала красавица. Немедля повела она себя пленительно вызывающим образом; посыльный был в ее власти. Он очнулся от тяжелого глубокого сна поздно утром. Неизвестно кем поданный завтрак и кофе дымились на белом столике; любовники подкрепили свои силы, и девушка, капризничая, сказала:

«Вот адрес зоологического магазина. Три раза в день ты будешь ходить туда покупать мне одного дрозда, одного зяблика и одного чижа. Немедленно отправляйся за первой партией».

Он механически повиновался, вышел и скоро разыскал магазин. Здесь, в узкой полутемной лавке, сидел у железной печки суетливый дрожащий старичок; взгляд его был тускл, голос насмешлив и тонок. В стенных клетках блестели идиотические глаза попугаев, их кривляющееся бормотанье мешалось с звенящим высвистом синиц, разливной трелью канареек, воркованием голубей и другими звуками, издаваемыми бесчисленными пернатыми существами, прячущимися в глубине клеток. За прилавком виднелись ларьки, где сохло конопляное семя, разная зерновая смесь, фисташки, японские бобы и прочие блюда птичьего ресторана; пахло пером и нашатырем.

Посыльный, купив назначенных птиц, завернул клетки в газетную бумагу и вернулся к возлюбленной.

По дороге он вспомнил, что ничего не знает ни о ее жизни, ни о личности, не знает даже ее имени, но, позвонив у дверей, снова забыл об этом.

Девушка встретила покупку выражением необузданного восторга, и ее розовое лицо с огненными глазами вспыхнуло пределом оживленной удручающей красоты. Пока посыльный по ее указанию подвешивал клетки в ряду других, девушка умиленно разговаривала с птичками, являясь как бы олицетворением любви к маленьким изящным детям природы.

Случайно взглянув на вчерашнюю клетку с канарейкой, посыльный заметил, что птицы там уже нет. На вопрос свой по этому поводу, он получил ответ, что канарейка выпущена на рассвете.

«И она, конечно, пресчастлива»,— воскликнула девушка.

Посыльный расцеловал ее. Так, среди ласк, еды, страсти и милых разговоров о пустяках, прошел день, за ним другой и третий, и каждый день посыльный ходил покупать каких-нибудь певчих птиц и, просыпаясь, видел новые клетки пустыми. Каждую ночь он спал тяжелым непробудным сном и не видел, как на рассвете очаровательная любовница его приносила жертву свободе, выпуская нежной рукой крошечных летунов.

На пятую ночь случилось так, что со стены над кроватью сорвалась фарфоровая тарелка и больно ударила посыльного по колену. Он вскочил, огляделся — он был один, возлюбленная его исчезла. Он позвал ее, но безрезультатно. Встав, молодой человек вышел в соседнюю комнату — здесь тоже никого не было. Он прошел несколько пустых помещений и наконец, толкнув полуспрятанную портьерой дверь, увидел красавицу сидящей перед камином, с клеткой и синицей в руках. Девушка, исступленно смеясь, бросила птицу в бледный жар кучи углей. Судорожно пищащий дымный клубок забился, подняв облако золы среди красных решеток; раза три взлетело нечто бесформенное и жалкое и, сникнув, стало, подергиваясь, тихо шипеть. Девушка оскалилась, ужасное счастье сияло в ее мертвенно-белом лице.

«Гадина, ведьма!» — закричал, холодея, посыльный: волосы его поднялись дыбом, и не помня себя он бросился на девушку с кулаками.

Полураздетая, она вскочила, выронила пустую клетку и скрылась в противоположную дверь. Трясясь, посыльный вернулся, оделся наспех и выбежал на улицу. Было раннее утро. Потрясенный виденным, молодой человек решил отправиться предупредить хозяина

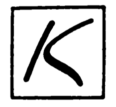
птичьей лавки — в расчете, что он не продаст более ничего той женщине; он намеревался сообщить ее приметы и адрес. Однако, к удивлению своему, посыльный не нашел так хорошо знакомого магазина. Это была та улица и то самое место: напротив стояла церковь, ряд домов в приметной комбинации — домов тех же, что были тут вчера,— наполнял маленький загородный квартал, но зоологической лавки с вывеской, изображавшей оленя и павлина, как не бывало. Смутившись, посыльный прошел взад-вперед от угла до угла несколько раз, всматриваясь в каждый камень каждого дома. Но лавка исчезла. На том месте, где она была или могла быть, стоял фруктовый ларек. Посыльный стал наконец расспрашивать местных жителей, но все они с удивлением отвечали, что в квартале никогда и не было птичьего магазина. Тогда странное подозрение овладело посыльным. Не помня себя бросился он к дому, где жила девушка, и, вызвав швейцара, спросил его, кто занимает квартиру № 202-й. «Да она пустая,— сказал швейцар,— в нашем доме, видишь ли, давно не производили ремонта; хозяин разорился, и дом теперь бросовый. Неисправно у нас паровое отопление, холодно, жилец и не едет. Пустует он шестой год; да у нас всего жилых-то восемь квартир».

Шатаясь, посыльный вышел на воздух и, немного оправившись, поехал домой. Он очень торопился. Его мучило терзающее раскаяние. С тоской и жалостью думал он о жене, которая, вероятно, больна от беспокойства и неизвестности, и светленькое теплое свое жилье вспоминал со всеми его милыми подробностями: кочерга у печки, задернутой ситцевой занавеской, старенький яркий самовар, герань на окошке, кот с рассеченным ухом — все видел он так безупречно отчетливо, как если бы уже сидел дома за завтраком. Но приехав, узнал он, что отсутствие его длилось три года: квартиру занимали другие люди, а жена недавно умерла в городской больнице.

Посыльный этот всегда кланяется, завидев меня, так как я охотно даю на чай за небольшие концы. В его глазах есть нечто замолкшее. Он сильно постарел, любит вечером посидеть в чайной. Там он часами неподвижно размышляет о чем-то, над остывшим стаканом смотря вниз, и папироса гаснет в его поникшей руке.

ИСТРЕБИТЕЛЬ

I



огда неприятельский флот потопил сто восемьдесят парусных судов мирного назначения, присоединив к этому четырнадцать пассажирских пароходов, со всеми плывшими на них, не исключая женщин, стариков и детей; затем, после того как он разрушил несколько приморских городов безостановочным трудом тяжких залпов — часть цветущего побережья стала безжизненной; ее пульс замер, и дым и пыль бледными призраками возникли там, где ранее стойко отстукивали мирные часы жизни.

Нет ничего банальнее ужаса, и, однако, нет также ничего стремительнее, что действовало бы на сознание, подобно сильному яду. Поэтому-то в прибрежных городах и селениях появилось множество сумасшедших. Глаза и неуверенность нелепых движений существенно выдавали их. Они никогда не плакали — безумие лишено слез,— но произносили темные тоскливые фразы, от которых у слышавших их сильнее стучало сердце. Между тем неприятельский флот остановился в далеком архипелаге, где, как в раю, солнце мешалось с розовым отблеском голубой воды,— среди нежных пальм, папоротников и странных цветов; пламенные каскады лучей падали в глубину подводных гротов, на чудовищных иглистых рыб, снующих среди коралла. Из огромных труб неподвижных стальных громад струился густой дым. Тяжелое любопытное зрелище! Крепость и угловатость, зловещая решительность очертаний, соединение колоссальной механичности с океанской стихией, окутанной туманом легенд и поэзии,— сказочная угрюмость форм, причудливых и жестких,— все вызывает представление о жизни иной планеты, полной невиданных сооружений!

В одно из чудесных утр, среди ослепительного сияния радужного тумана, в неге сверкающей голубой воды, взрывая пену, к крейсеру «Ангел бурь» понеслась таинственная торпеда. Удар пришелся по кормовой части. «Ангел бурь» окутался пеной взрыва и погрузился на дно. Флот был в смятении; трепет и тревога поселились среди команд; назначались меры предосто-

рожности; охранители, сторожевые суда и дозорные миноносцы, получив приказание, зарыскали по архипелагу, а в далекой стране сотни молодых женщин надели траурные платья, и сны многих осенило угрюмое крыло страха. Меж тем самые тонкие хитрости не помогли открыть виновников катастрофы, и это казалось изумительным, так как в тех диких водах не было других судов, кроме судов флота, разрушившего цветущие берега.

— Вы посмотрите,— сказал неделю спустя командир огромного броненосца «Диск» старшему лейтенанту,— посмотрите на эти орудия: они напоминают упавшие стволы лесов Калифорнии. Из всех жерл вылетают конденсированные воздушные поезда, сжавшие в своих округлостях вихри и землетрясения.

Он замолчал и повелительно осмотрел вечернее небо. В этот момент «Диск» дрогнул; свирепый гул скатился по его железным сцеплениям в потрясенную тьму, и броненосец получил смертельную рану.

В течение следующих недель были потоплены миноносец «Раум», крейсера «Флейш», «Роберт-Дьявол» и две подводные лодки. Невозможно было предугадать или отразить катастрофические удары. Их как бы наносил океан. Казалось, в глубоких недрах его отражением напряженной действительности рождались громоподобные силы, принимающие сверхъестественным образом внешность реальную. Морской простор стал угрозой, небо — свидетелем, корабли — жертвами. Угрюмость и отчаяние поселились среди моряков. Тогда, желая раз и навсегда покончить с невидимым ужасным врагом, адмирал велел тайно вооружить две парусные шхуны с тем, чтобы, плавая по архипелагу, они, защищенные безобидностью своего мнимого назначения, старались отыскать неприятеля. Последний, несмотря на всю осторожность, с какой действовал, мог наконец пренебречь ею в виду парусной скорлупы, чего, конечно, не допустил бы с военным разведчиком. Одна шхуна называлась «Олень», другая «Обзор». На «Олене» был капитаном Гирам, человек странный и молчаливый; «Обзором» командовал Лудрей, веселый пьяница апоплексического сложения. Пустившись на розыски, суда взяли противоположные направления: «Обзор» двинулся к материку, а «Олень» — к югу, в пустынное лоно вод, где изредка можно было встретить лишь скалистый риф. На рассвете следующего

дня был густой белый туман. К «Обзору» кинулась бесшумная торпеда, разорвала и потопила его, а «Олень», застигнутый тем же туманом, находился в это утро неподалеку от архипелага. Паруса, заполоскав, сникли. Ветер исчез.

Гирам вышел на палубу. В матово-белой тьме, насыщенной душной влагой, царило совершенное молчание. Дышалось тяжело и тревожно. На баке матрос чистил гвоздем трубку, и скрип железа о дерево был так явственно близок, как если бы эти звуки раздавались в жилетном кармане.

II

Гирам некоторое время смотрел перед собою, словно мог взглядом разогнать туман. Затем, бессильный увидеть что-либо, он сел на складной стул в странном, полугипнотическом состоянии. Оно пришло внезапно. Капитан не дремал, не спал, его ум был возбужден и ясен, но чувствовал он, что при желании встать или заговорить не смог бы выполнить этого. Однако он не беспокоился. Ему случалось переходить за границу чувств, свойственных нашей природе, довольно часто, начиная именно подобным оцепенением, и тогда что-нибудь вне или внутри его принимало особый истинный смысл, родственный глубокому озарению. Скоро он услышал шум воды, рассекаемой невидимым судном. По стуку винта можно было судить, что оно проходит совсем близко от «Оленя». Два человека разговаривали на судне не громко, но так явственно, что все слова с грустным и величественным оттенком их были слышны, как в комнате:

— Что происходит с нами?

— Не знаю.

— Мы как во сне.

— Да, это не может быть действительностью.

— Где остальные?

— Все на том свете.

— Кругом море, и нам не уйти отсюда.

— Кажется, сегодня туман.

— Я чувствую сырость и тяжесть в груди.

— О, как мне больно, как безысходно горько!

— В тьме родились мы и в тьме умираем!

Шум отдалился, голоса стихли.

Гирам встрепенулся. Стоя за его плечами, вахтенный офицер вполголоса приводил свои соображения относительно неизвестного судна. Он думал, что оно весьма подозрительно.

— Вы слышали разговор, Тиррен? — спросил капитан.

— Я слышал действительно невнятное бормотание, но был ли это разговор или проклятие, решать не берусь.

— Нет, это был разговор, и очень странный, чтобы не сказать больше.

— А именно?

— Признаюсь, я не мог бы передать его содержания. Однако туман редеет.

Туман, точно, редел. Под белым паром просвечивала заспанная вода, а вверху наметился мутный голубой тон. Вскорости, рассекаемый золотым ливнем, туман распался стаями белых теней, в апофеозе блистающих облаков открылось океанское солнце. Сникшие паруса, взяв ветер, крылато потянулись вперед, и «Олень» двинулся дальше, на поиски истребителя. Как ни осматривал горизонт капитан Гирам — нигде не было видно следов недавно проскользнувшего судна.

III

Прошла неделя. «Олень» безрезультатно вернулся к своему флоту, который тем временем потерпел еще две значительные потери. Так как не было оснований ожидать прекращения военных действий со стороны невидимого врага, то адмирал дал приказ идти в море. Флот направился к берегам Новой Зеландии.

Когда он ушел, когда его одуряющее присутствие, его гарные запахи и металлические звуки исчезли, архипелаг вернул своим лагунам и островам их прежнее выражение — роскошь страстного творчества, и снова стало казаться мне, свидетелю тех событий, что к этим оазисам в живописном сиянии тонко окрашенных лучей летят райские птицы с оранжевыми и синими перьями.

В бурную ночь, когда дьявол тьмы, взбесившись, приподнимал истерзанные волны, целуя их с пеной у рта, за борт почтового парохода упал матрос Кастро. Он хорошо плавал, но, выбившись наконец из сил, поте-

рял сознание и очнулся на пустынных камнях, в утренней тишине маленького залива, куда погибавшего выбросило случайной волной. Кастро был разбит ужасом и усталостью. Однако уголок океана, приютивший его, был так прелестен, что к несчастному немедленно снизошло настроение ясной живости. Тесный круг сияющих скалистых зубцов отражался в дымчатой синеве моря, а глубина залива, полная облаков, задышала сказочными намеками. Оглядевшись, Кастро заметил недалеко от себя спину подводной лодки, дремлющей в тени каменного навеса. Удивленный таким неожиданным обстоятельством, матрос долго рассматривал опасное судно, пока на его площадку не вышли изнутри два человека, из которых один был, видимо, слеп, так как двигался неуклюжей ощупью, с закрытыми глазами; его лицо, завешенное изнутри тьмой, было грубовато и грустно. Второй, явный моряк, бородач, решительной внешности, говорил с первым, наклонясь к его уху, и Кастро, хотя прислушивался, ничего не расслышал. Затем оба они скрылись внутрь лодки; через несколько минут она продвинулась к скале, и тот же моряк вышел на мостик один, с сумкой за плечами и палкой в руке. Он спрыгнул на камни и, поспешно шагая, скоро увидел Кастро.

— Остановитесь, приятель,— сказал матрос,— и если прогулка наша не выйдет длинной, уделите мне чуточку чего-либо съестного.

— Что ты за человек? — подозрительно спросил неизвестный.

— Я человек, умеющий хорошо плавать. В эту ночь меня смыло за борт; но я очень сердит; я рассердился и спасся.

— Идем,— помолчав, сказал моряк.— Моя прогулка длинна, но нам хватит галет.

И молча, осторожно рассматривая друг друга, они выбрались из каменного хаоса прибрежья в тихую пустыню.

IV

— Приятель! — заговорил, не выдержав, Кастро.— Я по природе не любопытен, но если вы не видите во мне врага, то расскажите, как попала в это глухое место подводная лодка? Мы идем вместе. Я ем вашу

галету, путь, кажется, предстоит не близкий, так как нет нигде признаков какого-либо селения, а потому осмеливаюсь просить вас приоткрыть маленький уголочек сих странностей.

Неизвестный ничего не ответил, улыбнулся и заговорил о другом, а Кастро в течение дня еще раза три пытался навести разговор на ту же тему, но лишь когда они заночевали у костра под придорожной скалой, моряк открыл тайну подводной лодки:

— Мы плыли из Европы с минным отрядом и,— долго рассказывать, как это произошло в подробностях,— после трех суток бурной погоды потеряли из виду свой отряд, крейсируя вблизи этого берега.

Наконец, волнение стихло; мы остановились неподалеку от старенького монастыря, погрузившего свои белые стены в зелень и аромат цветущих апельсиновых садов. Там жили слепые, тринадцать человек, схоронивших блеск дня и алмазные огни ночей в унылой тьме трагического рождения. Скоро, нуждаясь в пресной воде, я, захватив часть команды, отправился в монастырь.

Пока матросы, руководимые монахами, делали свое дело, я присел в саду; обвеянный теплым ветром, уставший, я не мог противиться смыканию глаз и скоро уснул, а когда очнулся, была ночь. Взошла луна, разостлавшая белый мир среди черных теней. Я вскочил и тревожно стал звать команду. Тогда вздохи и шорохи наполнили сад, и тринадцать слепых мужчин медленно окружили меня, всматриваясь слепыми глазами.

— Вот наш командир,— он ждал нас, и мы пришли.

— Мы знаем его,— сказали другие,— но он еще не узнает нас. Капитан Трен, ведите свою команду!

Я был в страхе, но не мог противиться ничему, что совершалось в ту ночь, как не мог бы противиться вулканическому эксцессу. Я спросил:

— Где мои люди?

— Посмотри,— сказали они, указывая на лужайку, блистающую лунным покоем,— они теперь дома и пробудут среди семей до тех пор, покуда мы не вернемся.

Я увидел всех пришедших со мной и тех, кто остался на «Этне». Как попали они сюда? Все спали в траве, с улыбкой сладкого отдыха. Тогда нечто сильнее меня наполнило мою душу трепетом и грустным безмолвием. Я двинулся, окруженный слепыми, к морю; с ними же

вошел в подводную лодку и здесь, друг Кастро, я увидел, что слепые все видят.

Да, я подозреваю, что мои сны, мои отчетливые сновидения за прошедший месяц — были действительностью. Я просыпался около полудня, всегда в той бухте, где ты встретил меня, как будто «Этна» никогда не покидала ее, и со мной были подлинные слепые, бродившие ощупью в непривычном им сложном помещении военного судна; они громко жаловались на диковинную перемену жизни, спали, много ели и вечно ссорились, и я — объясни мне это? — не мог уйти, как если бы лодка висела на высоте тысячи метров; но, мгновенно засыпая с закатом солнца, видел во сне, что отдаю приказания, что все тринадцать слепых с быстротой и опытностью истинных моряков кипят в боевой работе и что, выплывая рядом хитрых маневров к самому пеклу неизвестного военного флота, мы топим суда, всегда ускользая обратно, а после этого плачем в безысходном отчаянии.

Сегодня меня оставила эта чужая сила, как тучи оставляют поля; я глубоко вздохнул и ушел... Слепые исчезли, остался один, самый старый и равнодушный ко всему, что может произойти с ним. Быть может, на «Этну» скоро вернутся мои проснувшиеся матросы.

— Что же это за монастырь? — спросил Кастро.— Какие демоны живут в нем?

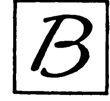
— Не знаю. Но здесь вообще, как я слышал, появилось множество сумасшедших. Они бродят и бредят, всегда бредят о сияющих берегах, разрушенных синевой моря.

ГРИФ

I

ГИМН





еликий лев! Очаровательный спартанец! Дикая победоносная кошка! Гривастый огонь! Шалун с лицом старого капитана! Рык и гнев!

Да славна будет порода твоя, твои толстоголовые котята!

Желаю тебе много мяса, камышей и лунного света!

II
ОШИБКА СТОРОЖА

Тадеуш был пьян. Прислонившись спиной к огромной стальной клетке, по которой безостановочно и бесшумно ходили два льва, поляк думал о коварной Анельке, подарившей свое, не первой свежести, сердце ресторанному повару.

Львы Гриф и Астарот, ступая с могучей мягкостью гигантских кошек, расхаживали по диагонали клетки навстречу один другому, не сталкиваясь, поворачиваясь всегда на одном и том же месте с точностью заводных фигур.

Астарот был стар, с впалыми линяющими боками и худым хвостом. По клетке он ходил двадцать два года.

Гриф был молод, в расцвете сил, массивен, космат и статен. По клетке он ходил восемь лет и помнил еще озеро Чад. Изредка ужасное «Х-грар-р-р!», подобное коротким раскатам грома, вырывалось из горячей его пасти.

Астарот отвечал тем же.

Они говорили:

— Я в клетке!

— Тресни она! И я в клетке!

На задней цементной стене львиной тюрьмы метались их тени.

Тадеуш долго смотрел на пол, утирая слезы любви, затем, махнув рукой, отпер клетку, вошел в нее и сказал:

— Лев! Грифочка! А, Гриша! Съешь меня!

Гриф остановился, сморщился, вытянулся на передних лапах и улыбнулся. Улыбка его напоминала выражение лица человека, собравшегося чихнуть.

— А-хр-гра-р-р?..— сказал он. (От тебя пахнет водкой. Ты не злой?..)

— Так что, зверюги, растерзайте меня,— продолжал, всхлипывая, Тадеуш.— Пусть она, подлая, тешится моими кусочками. Излохматьте меня, жизнь моя горькая!

— Гра-р! — сказал Астарот. (Скучно. Каждый раз то же самое.)

Тадеуш стоял, покачиваясь. Разжалобив себя, сколько мог, тщетными увещеваниями к зверям использовать его как ужин, сторож наконец расплакался навзрыд,

изругав львов уличной бранью, и побежал в не столь отдаленный переулок за порцией «кали-мали».

Разбитое сердце погубило его пьяную память. Он забыл запереть дверь клетки.

III

«БЕЖЕНЕЦ» НОВОГО ТИПА

Львы снова принялись ходить по диагонали, но скоро внимание Грифа было привлечено узкой блестящей щелью между замком и стальной стойкой. Лев изучил каждый дюйм клетки. Он знал, что в этом месте щели никогда не бывает. Лев тронул щель лапой: дверь хлопнулась и открылась шире (вовнутрь). Гриф раскрыл ее легким движением головы.

Астарот, остановившись, смотрел.

— Г-р-р! — сказал Гриф. (Астарот, я удивлен. Тут пустота, свобода!)

— А-х-гр-рг-рах! (Не верю, клеток много на свете.)

Новый взрыв грома. Длительно и грозно заревел Гриф, скакнув в коридор. Астарот беспокойно метался в клетке, но не выходил. Его опустошенное сердце волновалось непонятной тоской.

— Ра-грам-ронг! - ответил Гриф. (Я ухожу, старик!)

Астарот молчал.

Обезьяны подняли визг, скача, подобно крошечным безумным старушкам. Дикобраз проснулся и зашуршал иглами. Маленький гималайский медведь вдруг почувствовал себя смертельно обиженным, влез на свою качель, доска которой была украшена надписью: «Миша качается», и, скрючив босые пальцы, проворно залетал взад-вперед, испуская тонкие, скулящие возгласы.

Гриф бросился на струю свежего воздуха, лившуюся из-под входной двери. Разбив дверь могучим скачком, зверь прыгнул через садовую ограду и начал производить сенсацию.

Почти тотчас же, как ушел лев, вернулся Тадеуш. Он мгновенно протрезвел, запер Астарота, схватился за голову и побежал к телефону.

IV

СВИНЬЯ. ДВА «ЛЬВА»

За оградою был пустырь, за пустырем — деревянные заборы и уединенные дома окраины.

Гриф остановился среди пустыря и огласил громом окрестность. Тотчас же где-то кто-то пустился бежать, кто-то закричал «караул»,— и добрая сотня собак затявкала в различных местах города.

На одном из дворов плотный мужчина с уравновешенно-жирным лицом смотрел на розовую ушастую свинью, хлюпавшую пойло из кадки. Мужчина держал фонарь, поглаживая свободной рукой бороду.

— Лопай, Машенька,— вдумчиво говорил он,— потом хозяина кормить будешь.

— Хрюх! — сказала свинья.

— Правильно дело. Вопче,— продам я тебя за сто тысяч... Не свинина, а брулиант. За полтораста отрекусь от тебя.

Тут произошло нечто: свинья, пронзительно завизжав, сшибла хозяина, и, падая, увидел он в вспышке потухающего фонаря грозное чудовище с острым пламенем круглых глаз, заносящее над свиньей лапу, в позе геральдических львов, то есть величественно.

— А-гр-р-р-р!..— сказал Гриф. (Это свинья!)

Он лишил ее дыхания и стал есть. Кто-то, вопя, бежал к дому. Там замелькали огни, захлопали двери. Оберегая свое отличное настроение, Гриф захватил ужин и вернулся на пустырь. Докончив дело уничтожения полутораста тысяч, лев быстро направился к изумляющим его огням трамвайной линии и отсветам окон, где раздавались шум, звон и неясные выкрики.

Вообразите себя тихо переходящим небольшую площадь, где скрещиваются трамваи,— нынешнюю полутемную площадь. Магазины еще торгуют: вы видите наискось в белых квадратах витрин озаренные блузки, чемоданы, роскошные краски фруктов; вы настроены мирно. И вот видите вы в скупом свете фонаря присевшего на задние лапы огромного, черного от полутьмы льва.

Видение или большая собака?!

Именно это увидели на углу Залихватской и Остолбенелой улиц сразу тридцать два человека, не считая множества лошадей, ноги, шеи, хвосты и гривы которых

мгновенно составили прямые линии, ринувшиеся с великим «и-го-го!» куда попало.

Тридцать два человека присели, задохнулись, подскочили и произвели неописуемую суматоху.

Все бежало; лавки закрывались, двери гудели.

Гриф беспомощно, тоскливо оглядывался, изредка посылая раскаты грома: рев льва!..

Где же пустыня? Везде стены, костры вверху и внизу. Ничего не понять.

Сильное возбуждение охватило Грифа. Он метался по площади, то вскакивая на тротуар, то исчезая в тенях углов. Наконец он помчался вдоль улицы.

Лев Пончик, главный по соде и макаронам, благодушно сидел в «Кафе мародеров». Сиял он, сияли его перстни, сиял оранжад в высоком стакане. Лев Пончик был тщедушен и мал ростом, но носил высокие каблуки.

Вошел Гриф и опрокинул кафе. Сначала он медленно спустился по ступенькам входа и встал, колотя хвостом. Глаза его горели, как люстры. Затем он молча прыгнул в середину прохода.

Пончик сидел спиной к Грифу.

— Зачем смятение, господа? — внушительно проголосил он, видя, что все лезут под столы, давя друг друга.— Что? Милиция? Обход? Когда я свободный гражданин...

— Лев! — крикнули сзади из-под стола.

Думая, что это — личное к нему обращение, Пончик уже хотел рассердиться на подобную фамильярность и с достоинством обернулся. А затем присел перед стулом, приподнял шляпу, чем-то подавился и вытащил почему-то бумажник.

Перед ним стоял Гриф.

Состоялась величественная встреча двух львов.

Пончик замахал руками и упал в обморок.

Гриф поднял его зубами за спину пиджака и сильно встряхнул. Шурша, посыпались из карманов деньги.

Заинтересованный Гриф выпустил Пончика, отчего тот брякнулся в кофейную лужу, и презрительно обнюхал бумажник.

— Раг-х! — коротко сказал он. (Не понимаю, чем он набит!)

Гриф покинул кафе и отправился в ужасной тоске далее.

V

«ЭТО МЫ». ЛЕВ И ШАКАЛЫ. ЧЕГО БОЯТСЯ ЛЬВЫ. КОНЕЦ

Довольно значительная толпа двигалась по одной из главных улиц. Впереди толпы два человека несли внушительных размеров черное знамя. На знамени стояло: «Это мы». Несравненно более скромное, чем, например, объявление кинематографа, заявление это, однако, сильно смущало прохожих: почти все встречавшие процессию боязливо расступались, сворачивая в боковые улицы.

Навстречу им мерным шагом совершающего моцион зверя вышел и остановился Гриф.

Он зарычал.

«Это мы» заколыхалось, вздрогнуло и повлеклось по земле. Передние ряды, мгновенно став задними, поползли на карачках, пытаясь, подобно страусам, затолкать свои головы меж туловищами бегущих. Бестолково затрещали револьверы. Не прошло минуты, как Грифу не на кого было уже нападать.

Смущенный быстрым исчезновением неприятеля, который, как показалось ему, скрылся, чтобы напасть сзади или окружить его, лев решил переждать. Легкими скачками взобрался он по некой освещенной лестнице.

Одна из дверей была раскрыта. Люди, выходящие из нее с узлами, увидели, как на картине, мясистую жесткогривую голову. Два верхних клыка пасти висели вниз, дымясь горячей слюной.

Лев встрепенулся. От людей несло особым, хорошо знакомым ему запахом истребления, вернее, нервным током убийства. Он сшиб лапами одного грабителя, упавшего замертво. Другой, бросив узел, прыгнул в раскрытое окно и ухватился за водосточную трубу, но оборвался — с пятого этажа. Эхо, раздавшееся внизу, напоминало звук расколотого полена.

Дрожа от гнева, Гриф пробежал ряд комнат, разыскивая новых врагов.

Внезапно из дверей кухни выступило нечто живое, полуголое, ростом немного ниже глаз Грифа. В одной руке оно держало нечто круглое — красное, вившееся на короткой нитке. Ужасный, леденящий душу звук огласил квартиру.

— А-а-а-а-а!..— пронзительно верещало это.

Лев попятился. *Оно* хлопнуло его *круглым — красным* по лбу, отчего красное лопнуло, как выстрелило; затопав, *оно* залилось снова:

— А-а-а-а-! М-а-а-м-ма!

Лев струсил. Он беспомощно оглядывался, но кругом были три стены коридора и *оно*. Бегство немыслимо! Пытаясь умилостивить *его*, лев лизнул *это* в щеку, отчего оно пошатнулось и шлепнулось. Гриф снова лизнул, *оно* опрокинулось. Вдруг, задрожав, лев отпрыгнул и скорчился в углу: *оно* заголосило так звонко, что сердце менее храброго зверя лопнуло бы от страха.

В этот момент, глухо вскрикнув, вошла женщина. Она не упала в обморок, но, бескровно побледнев, стояла несколько мгновений, упираясь ладонями и спиной в стену; затем, стиснув зубы, подошла к мальчику, вынесла его на площадку и, шатаясь, заперла дверь.

Гриф облегченно вздохнул.

Женщина, крепко прижимая сына к груди, спустилась к телефонной будке и позвонила в комиссариат. Трубка бешено плясала в ее руке.

— Вот,— сказала она.— Нижегородская улица. Дом сто двадцать один.

— Что вы хотите? Мы заняты.

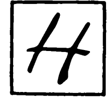
Слова еще не вполне повиновались ей. Наконец она нашла силу договорить.

Она сказала:

— Здесь лев!

СОСТЯЗАНИЕ В ЛИССЕ

I



ебо потемнело, авиаторы, окончив осмотр машин, на которых должны были добиваться приза, сошлись в маленьком ресторане «Бель-Ами».

Кроме авиаторов, была в ресторане и другая публика, но так как вино само по себе есть не что иное, как прекрасный полет на месте, то особенного любо-

пытства присутствие знаменитостей воздуха не возбуждало ни в ком, за исключением одного человека, сидевшего одиноко в стороне, но не так далеко от стола авиаторов, чтобы он не мог слышать их разговора. Казалось, он прислушивается к нему вполоборота, немного наклонив голову к блестящей компании.

Его наружность необходимо должна быть описана. В потертом, легком пальто, мягкой шляпе, с белым шарфом вокруг шеи, он имел вид незначительного корреспондента, каких много бывает в местах всяких публичных соревнований. Клок темных волос, падая из-под шляпы, темнил до переносья высокий, сильно развитый лоб; черные длинного разреза глаза имели ту особенность выражения, что, казалось, смотрели всегда вдаль, хотя бы предмет зрения был не дальше двух футов. Прямой нос опирался на небольшие темные усы; рот был как бы сведен судорогой, так плотно сжимались губы. Вертикальная складка раздваивала острый подбородок от середины рта до предела лицевого очерка, так что прядь волос, нос и эта замечательная черта вместе походили на продольный разрез физиономии. Этому — что было уже странно — соответствовало различие профилей: левый профиль являлся в мягком, почти женственном выражении, правый — сосредоточенно хмурым.

За круглым столом сидело десять пилотов, среди которых нас интересует, собственно, только один, некто Картреф, самый отважный и наглый из всей компании. Лакейская физиономия, бледный, нездоровый цвет кожи, заносчивый тон голоса, прическа хулигана, взгляд упорно-ничтожный, пестрый костюм приказчика, пальцы в перстнях и удручающий, развратный запах помады составляли Картрефа.

Он был пьян, говорил громко, оглядывался вызывающе с ревниво-независимым видом и, так сказать, играл роль, играл самого себя в картинном противоположении будням. Он хвастался машиной, опытностью, храбростью и удачливостью. Полет, разобранный по частям жалким мозгом этого человека, казался кучей хлама из бензинных бидонов, проволоки, железа и дерева, болтающегося в пространстве. Обученный движению рычагами и нажиманию кнопок, почтенный ремесленник воздуха ликовал по множеству различных причин, в числе которых не последней было тщеславие калеки, получившего костыли.

— Все полетят, рано или поздно! — кричал Картреф.— А тогда вспомнят нас и поставят нам памятник! Тебе и... мне... и тебе! Потому, что мы пионеры!

— А я видел одного человека, который заплакал! — вскричал тщедушный пилот Кальо.— Я видел его.— И он вытер слезы платком.— Как сейчас помню. Подъехал с женой человек этот к аэродрому, увидел вверху Райта и стал развязывать галстук. «Ах, что?» — сказала ему жена или дама, что с ним сидела. «Ах, мне душно! — сказал он.— Волнение в горле...— и прослезился.— Смотри,— говорит,— Мари, на величие человека. Он победил воздух!» Фонтан.

Все приосанились. Общая самодовольная улыбка потонула в пиве и усах. Помолчав, пилоты чокнулись, значительно моргнули бровями, выпили и еще выпили. Образованный авиатор, Альфонс Жиго, студент политехникума, внушительно заявил:

— Победа разума над мертвой материей, инертной и враждебной цивилизации, идет гигантскими шагами вперед.

Затем стали обсуждать призы и шансы. Присутствующие не говорили ни о себе, ни о других присутствующих, но где-то, в тени слов, произносимых хмелеющим языком, заметно таился сам говорящий, с пальцем, указывающим на себя. Один Картреф, насупившись, сказал наконец за всех это же самое.

— Побью рекорд высоты — я! — заголосил он, нетвердо махая бутылкой над неполным стаканом.— Я — есть я! Кто я? Картреф. Я ничего не боюсь.

Такое заявление мгновенно вызвало тихую ненависть. Кое-кто хмыкнул, кое-кто преувеличенно громко и радостно выразил отсутствие малейших сомнений в том, что Картреф говорит правду; некоторые внимательно, ласково посматривали на хвастуна, как бы приглашая его не стесняться и говоря: «Спасибо на добром слове». Вдруг невидимый нож рассек призрачную близость этих людей, они стали врагами: далекая сестра вражды — смерть подошла близко к столу, и каждый увидел ее в образе стрекозообразной машины, порхающей из облаков вниз для быстрого неудовлетворительного удара о пыльное поле.

Наступило молчание. Оно длилось недолго, его отравленное острие прочно засело в душах. Настроение испортилось. Продолжался некоторое время кислый перебой голосов, твердивших различное, но без всякого воодушевления. Собутыльники вновь умолкли.

Тогда неизвестный, сидевший за столиком, неожиданно и громко сказал:

— Так вы летаете!

II

Это прозвучало, как апельсин в суп. Треснул стул, так резко повернулся Картреф. За ним и другие, сообразив, из какого угла грянул насмешливый возглас, обернулись и уставились на неизвестного глазами, полными раздраженной бессмыслицы.

— Что-с? — крикнул Картреф. Он сидел так: голова на руке, локоть на столе, корпус по косой линии и ноги на отлет, в сторону. В позе было много презрения, но оно не подействовало.— Что такое там, незнакомый? Что вы хотите сказать?

— Ничего особенного,— задумчиво ответил неизвестный.— Я слышал ваш разговор, и он произвел на меня гнусное впечатление. Получив это впечатление, я постарался закрепить его теми тремя словами, которые, если не ошибаюсь, встревожили ваше профессиональное самолюбие. Успокойтесь. Мое мнение не принесет вам ни вреда, ни пользы, так как между вами и мной ничего нет общего.

Тогда, уразумев не смысл сказанного, а неотразимо презрительный тон короткой речи неизвестного человека, все авиаторы закричали:

— Черт вас побери, милостивый государь!

— Какое вам дело до того, что мы говорили между собой?

— Ваше оскорбительное замечание...

— Прошу нас оставить, вон!

— Прочь!

— Долой болтуна!

— Негодяй!

Неизвестный встал, поправил шарф и, опустив руки в карманы пальто, подошел к столу авиаторов. Зала

насторожилась, глаза публики были устремлены на него; он чувствовал это, но не смутился.

— Я хочу,— заговорил неизвестный,— очень хочу хотя немного приблизить вас к полету в истинном смысле этого слова. Как хочется лететь? Как надо летать? Попробуем вызвать не пережитое ощущение. Вы, допустим, грустите в толпе, на людной площади. День ясен. Небо вздыхает с вами, и вы хотите полететь, чтобы наконец засмеяться. Тот смех, о котором я говорю, близок нежному аромату и беззвучен, как страстно беззвучна душа.

Тогда человек делает то, что задумал: слегка топнув ногой, он устремляется вверх и плывет в таинственной вышине то тихо, то быстро, как хочет, то останавливается на месте, чтобы рассмотреть внизу город, еще большой, но уже видимый в целом,— более план, чем город, и более рисунок, чем план; горизонт поднялся чашей; он все время на высоте глаз. В летящем все сдвинуто, потрясено, вихрь в теле, звон в сердце, но это не страх, не восторг, а новая чистота — нет тяжести и точек опоры. Нет страха и утомления, сердцебиение похоже на то, каким сопровождается сладостный поцелуй.

Это купание без воды, плавание без усилий, шуточное падение с высоты тысяч метров, а затем остановка над шпицем собора, недосягаемо тянувшемся к вам из недр земли,— в то время как ветер струнит в ушах, а даль огромна, как океан, вставший стеной,— эти ощущения подобны гениальному оркестру, озаряющему душу ясным волнением. Вы повернулись к земле спиной; небо легло внизу, под вами, и вы падаете к нему, замирая от чистоты счастья и прозрачности увлекающего пространства. Но никогда не упадете на облака, они станут туманом.

Снова обернитесь к земле. Она без усилия отталкивает, взмывает вас все выше и выше. С высоты этой ваш путь свободен ночью и днем. Вы можете полететь в Австралию или Китай, опускаясь для отдыха и еды где хотите.

Хорошо лететь в сумерках над грустящим пахучим лугом, не касаясь травы, лететь тихо, как ход шагом, к недалекому лесу; над его черной громадой лежит красная половина уходящего солнца. Поднявшись выше, вы увидите весь солнечный круг, а в лесу гаснет алая ткань последних лучей.

Между тем тщательно охраняемое под крышей непрочное, безобразное сооружение, насквозь пропитанное потными испарениями мозга, сочинившими его подозрительную конструкцию, выкатывается рабочими на траву. Его крылья мертвы. Это — материя, распятая в воздухе; на нее садится человек с мыслями о бензине, треске винта, прочности гаек и проволоки и, еще не взлетев, думает, что упал. Перед ним целая кухня, в которой, на уже упомянутом бензине, готовится жаркое из пространства и неба. На глазах очки, на ушах — клапаны; в руках железные палки и — вот — в клетке из проволоки, с холщовой крышей над головой, подымается с разбега в пятнадцать сажен птичка божия, ощупывая бока.

О чем же думает славное порхающее создание, держащееся на воздухе в силу не иных причин, чем те, благодаря которым брошенный камень описывает дугу? Отрицание полета скрыто уже в самой скорости, бешеной скорости движения; лететь тихо — значит упасть.

Да, так о чем думает? О деньгах, о том, что разобьется и сгинет. И множество всякой дряни вертится в его голове,— технических папильоток, за которыми не видно прически. Где сесть, где опуститься? Ах, страшно улетать далеко от удобной площади. Невозможно опуститься на крышу, телеграфную проволоку или вершину скалы. Летящего тянет назад, летящий спускается — спускается на землю с виноватым лицом, потому что остался жив, меж тем зрители уходят разочарованные, мечтая о катастрофе.

Поэтому вы не летали и летать никогда не будете. Знамение вороны, лениво пересекающей, махая крыльями, ваш судорожный бензиновый путь в синей стране, должно быть отчеканено на медалях и роздано вам на добрую память.

— Не хотите ли рюмочку коньяку? — сказал буфетчик, расположившийся к неизвестному.— Вот она, я налил.

Незнакомец, поблагодарив, выпил коньяк.

Его слова опередили туго закипавшую злобу летчиков. Наконец некоторые ударили по столу кулаками, некоторые вскочили, опрокинув бутылки. Картреф, грозно согнувшись, комкая салфетки и пугая глазами, подступил к неизвестному.

— Долго вы будете еще мешать нам? — закричал

он.— Дурацкая публика, критики, черт вас возьми! А вы летали? Знаете ли вы хоть одну систему? Умеете сделать короткий спуск? Смыслите что-нибудь в авиации? Нет? Так пошел к черту и не мешай!

Незнакомец, улыбаясь, рассматривал взбешенное лицо Картрефа, затем взглянул на свои часы.

— Да, мне пора,— сказал он спокойно, как дома.— Прощайте или, вернее, до свидания; завтра я навещу вас, Картреф.

Он расплатился и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, с гулкой лестницы не донеслось шума шагов, и летчику показалось, что нахал встал за дверью подслушивать. Он распахнул ее, но никого не увидел и вернулся к столу.

III

«Воздух хорош»,— подумал Картреф на другой день, когда, описав круг над аэродромом, рассмотрел внизу солнечную пестроту трибун, полных зрителей. Его соперники гудели слева и справа; почти одновременно поднялось семь аэропланов. Смотря по тому, какое положение принимали они в воздухе, очерк их напоминал ящик, конверт или распущенный зонтик. Казалось, что все они направляются в одну сторону, между тем летели в другую. Моторы гудели, вдали — как толстые струны или поющие волчки, вблизи — треском парусины, разрываемой над ухом. Стоял шум, как на фабрике. Внизу, у гаражей, двигались по зелени травы фигурки, словно вырезанные из белой бумаги; то выводили другие аэропланы. Играл духовой оркестр.

Картреф поднялся на высоту тысячи метров. Сильный ветер трепал его по лицу, бурное дыхание болезненно напрягало грудь, в ушах шумело. Земной пейзаж казался отсюда качающейся круглой площадью, усеянной пятнами и линиями; аэроплан как бы стоял на месте, в то время, как пространство и воздух неслись мимо, навстречу. Облака были так же далеки, как и с земли.

Вдруг он увидел фигуру, относительно которой не мог ни думать ничего, ни соображать, ни рассмеяться, ни ужаснуться — так небывало, вне всего земного,

понятного и возможного воспрянула она слева, как бы мгновенно сотворенная воздухом. Это был неизвестный человек, вызвавший вчера вечером гнев пилота. Он несся в позе лежащего на боку, подперев рукой голову; новое, прекрасное и жуткое лицо увидел Картреф. Оно б л е с т е л о, иначе нельзя назвать гармонию странного воодушевления, пылавшего в чертах этого человека. Напряженное сияние глаз напоминало глаза птиц во время полета. Он был без шляпы, в обычном, средней руки костюме; его галстук, выбившись из-под жилета, бился о пуговицы. Но Картреф не видел его одежды. Так, встретив женщину, сразу поражающую огнем своей красоты, мы замечаем ее платье, но не видим его.

Картреф ничего не понял. Его душа, пораженная чувством, которое мы не можем представить, метнулась прочь; он повиновался ей, круто нажав руль, чтобы свернуть в сторону. Неизвестный, описав полукруг, мчался опять рядом. Мысль, что это галлюцинация, слабо шевельнулась у Картрефа; желая оживить ее, он закричал:

— Не надо. Не хочу. Бред.

— Нет, не бред,— сказал неизвестный. Он тоже кричал, но его слова были спокойны.— Восемь лет назад я посмотрел вверх и п о в е р и л, что могу летать, как хочу. С тех пор меня двигает в воздухе простое желание. Я подолгу оставался среди облаков и видел, как формируются капли дождя. Я знаю тайну образования шаровидной молнии. Художественный узор снежинок складывался на моих глазах из вздрагивающей сырости. Я опускался в пропасти, полные гниющих костей и золота, брошенного несчастьем с узких проходов. Я знаю все неизвестные острова и земли, я ем и сплю в воздухе, как в комнате.

Картреф молчал. В его груди росла тяжелая судорога. Воздух душил его. Неизвестный изменил положение. Он выпрямился и встал над Картрефом, немного впереди летчика, лицом к нему. Его волосы сбились по прямой линии впереди лица.

Ужас — то есть полная смерть сознания в живом теле — овладел Картрефом. Он нажал руль глубины, желая спуститься, но сделал это бессознательно, в направлении, противоположном желанию, и понял, что погибает. Аэроплан круто взлетел вверх. Затем последо-

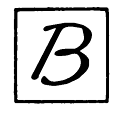
вал ряд неверных усилий, и машина, утратив воздушный рельс, раскачиваясь и перевертываясь, как брошенная игральная карта, понеслась вниз.

Картреф видел то небо, то всплывающую из глубины землю. То под ним, то сверху распластывались крылья падающего аэроплана. Сердце летчика задрожало, спутало удары и окаменело в невыносимой боли. Но несколько мгновений он слышал еще музыку, ставшую теперь ясной, словно она пела в ушах. Веселый перелив флейт, стон барабана, медный крик труб и несколько отдельных слов, кем-то сказанных на земле тоном взволнованного замечания, были последним восприятием летчика. Машина рванула землю и впилась в пыль грудой дымного хлама.

Неизвестный, перелетев залив, опустился в лесу и не торопясь отправился в город.

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ОТЦА И МАЛЕНЬКОЙ ДОЧЕРИ

I



городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.

Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.

Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама.

Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив наконец потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверью, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.

II

Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.

«Мой дорогой папа,— значилось там,— я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкап мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, некстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.

III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.

— Он уехал, барышня,— сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскали тень улыбки

в бородатом лице,— он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.

— Да, время идет,— согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет — возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

— Это конюшня,— сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела.— Или невыметенный амбар. Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленную, сырую комнату.

Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминулись. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.

— Папа, ты — детка мой, измучилась без тебя! — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

— Боже мой,— сказал он, садясь и снова обнимая ее,— полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

— Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось

принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

— Что же? — сказал, смеясь, Дрэп.— Ну, вижу тебя.

— А еще?

— Что такое?

— Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее!

Теперь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

— Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блестеть.

Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

— Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

— Я нашла на кухне немного угля.

— Вероятно, какие-нибудь крошки.

— Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.

Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.

— В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

— Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.

IV

Он стал разом седеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа — выражения, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.

— Но, папа,— сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение,— неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?

Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.

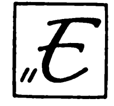
— Хорошо ли тебе, папа? — сказала она.— Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стона, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.

— Да,— сказал он, отнимая от лица руки,— я больше не пролью слез. Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая,— а мне понадобится еще лет пять,— я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

— Ну, вот мы и дома!

ТИФОЗНЫЙ ПУНКТИР



сли тиф передается насекомыми,— рассуждал я с отвращением к этому слову,— ибо обидно было зависеть от какой-то организованной протоплазмы, хотя сам я чесался уже во всех местах тела самым методическим образом,— если так,— продолжал я, взглядывая на храпевших рядом солдат,— то странно, что до сих пор я не болел». Так думал я, тревожно рассматривая красное лицо человека, лежавшего рядом со мной под шинелью и

полушубком. Он потел и крепко дышал. Это продолжалось с ним седьмой день; днем он перемогался, а ночью бредил и вскакивал, но, боясь как огня больницы, предпочитал неопределенность сознанию роковой болезни, и никак нельзя было уговорить его показаться врачу.

Меж тем не было у меня сомнений, что у него тиф,— так страшно горели его глаза; как от печки, дышало от него жаром, и, двигаясь через силу, он говорил неровным, упавшим голосом. Тогда я еще не знал, что тиф разит спустя дней двенадцать после того, как она попробует твоей крови. Поэтому, спя рядом с больным, считал я себя редким счастливцем, так как пока был совершенно здоров.

Мне не спалось. Я курил отвратительную «советскую» махорку,— признак солдатской бедности,— ее курил только тот, у кого не было денег купить лучшего табака,— курил и вспоминал дворника одного дома, в котором жил до солдатчины. То был тридцатилетний гигант, красавец деревенского типа; не прогнувшись, вносил он на пятый этаж четверть сажени дров. После смерти жены осталось у него четверо детей,— две девочки и два мальчика,— от шести до одиннадцати лет; они и отец умерли в три недели. Перед смертью, шатаясь, встал с постели и пошел, в полном бреду, великан этот на улицу. Я задержал его с помощью прохожих; отбиваясь, но уже слабый, он твердил: «Вот луна — лунушка, я пойду на луну, жаловаться; там дохтуров нет. Убьют меня дохтура наши».

II

Мы жили близ вокзала маленького уездного города, в чайной,— шесть человек обозной команды, отряженной караулить обоз; он стоял под навесом среди путей. Днем чайная была полна народом, и мы гнездились за угловым столиком, не раздеваясь, одурелые от газа и холода. Холод стлался внизу, щемя ноги; наверху же стоял банный пар, пропитанный махорочным дымом. Когда чайная закрывалась, мы сдвигали столы и ложились на голый пол, и в зубы, из щелей между бревен, крался мороз. Утром мы вставали, дрожа.

Все мы были из Петербурга и все тосковали о нем. Странный, роковой город,— лишь в те месяцы почувствовал я всю магнетическую силу его притяжения, все мрачное очарование его ран, зияющих пустырями и темными громадами пустынных домов, лишенных огней, среди глыб снега и льда на заколоченных улицах. Истинную и глубокую страсть внушал он. Не было дня, чтобы компанионы мои — два сапожника, повар, сын лавочника, неоконченный реалист и я — не составляли планов, как попасть в Петербург, и не вспоминали всех милых особенностей этого города, ставшего духовной необходимостью. Он снился. Подобно потерянному раю, отделенный пропастью положения, светился и блистал он вдали заветной страной.

Три вещи были у меня, чем-то приближавшие Петербург — картинка,— хоровод молодых девушек, «Вестник Иностранной Литературы», взятый из местной библиотеки, и настоящий китайский чай, добытый путем жертвенной продажи пайка. Будь благословенно, растение страны мандаринов,— твой аромат и магическая сила твоя не раз уводили затерянного в глуши солдата к себе, возвращали его — себе.

III

Как я не спал, то разводящий, проснувшись, только спросил: «Идешь?» Моя очередь была стать на караул. И я вышел в мороз, под свет луны, в тишину снега.

С платформы, под крышей которой меж темных рядов фур, железных кухонь виден был ряд вагонов проходящего эшелона; светящиеся окна теплушек и раскрытые двери их дышали огнем железных печей, бросающих на засыпанный сеном снег рыжие пятна. Там ругались и пели. Закрывая хвост эшелона, темнели белые вагоны санитарного поезда, маня обещаниями, от которых содрогнулся бы человек, находящийся в обстановке нормальной. Взглядывая на них, я думал, что нет выше и недостижимее счастья, как попасть в эти маленькие, уютные и чистые помещения, так нерушимо и прочно ограждающие тебя от трепета и скорбей мучительной, собачьей жизни, нудной, как ровная зубная боль, и безнадежной, как плач. Но я

знал, что счастливцы — счастливцы исключительно лишь могут быть там, среди уютного запаха лекарств и бодрого электрического света, озаряющего чистое белье, в то время как расторопный, грубоватый санитар несет в ведерках кашу и суп. Эти счастливцы были раненые и труднобольные или те, кто с помощью солдатских преданий, передаваемых устно, прострелил ногу себе сквозь дощечку; или набил в ухо горчицу, жертвуя барабанной перепонкой ради иных ценностей, более важных. Признаюсь в том, в чем, думая тогда так же, как я, не признается, быть может, никто; я хотел заболеть, и заболеть так серьезно, чтобы меня эвакуировали в Петербург, без которого, я уже ясно чувствовал это,— жить не могу. В этом роде размышлял я еще около двух часов; потом явился сапожник и взял у меня винтовку, и я ушел в чайную и заснул.

IV

Как ни сопротивлялся повар (это он заболел тифом), но, упав два раза на улице, смолк и ушел в больницу. Больше я не видел его. Меж тем «она» делала свое дело, и я не знал этого. В воскресенье, читая «Вестник Иностранной Литературы», а именно «Поглотители» — Анны Виванти,— роман, прочитав который в первый раз в четырнадцатом году, я собрался было писать автору благодарственное письмо, но не сделал этого по незнанию итальянского языка; роман, в котором женщина, написавшая о своем так беззаветно и честно, что книга кажется откровением,— я остановился читать и поднял глаза.

Когда внутри меня улеглось стремительное движение, вызванное контрастом меж тем, что я увидел вокруг себя, и тем, что прочитал в книге, я понял неуловимым ощущением организма, что наступил момент, когда я должен и мог идти в белый вагон. Мои колени дрожали, во рту было невкусно и сухо, а пространство, оставляя неподвижными все предметы, качалось внутри меня или предо мной. Ледяная вода озноба лилась по спине, я дышал жарко и глухо, с сознанием опасности, помогающей жить.

Я никому не сказал, куда и зачем иду. Я так торопился, боясь, что уйдет санитарный поезд, который

приходил вообще случайно и ненадолго,— а меж тем в этот день он как раз был у станции,— что ряд еврейских девчонок, вытянувшись по тому переулку, которым я шел, мелькнул мимо меня с быстротой частокола. В амбулаторном вагоне пожилая сестра свертывала порошки, и я сел с ней рядом на табурет в ожидании, пока позовут доктора. Он пришел не скоро, но я не мучился этим. Я наслаждался ровным, сухим теплом чистого помещения,— этим невыразимым обещанием жизни, разлитым в белой окраске стен, лечебном виде склянок, расставленных по полкам, и чистенькой холщовой дорожке. Все это было так приветливо ненормально после четырех месяцев грязи, холода и тоски, что слезы подступили к моим глазам.

Наконец пришел врач, плотный латыш; нечисто выговаривая по-русски, он выщупал меня жесткими, как горох, пальцами, взглянул на язык и сунул мне под мышку термометр. У меня было горячо в подмышке, но, крепко прижимая стеклянную трубочку, боялся и трепетал я, что температура не выручит. Однако сестра милосердия, взяв термометр, мельком взглянула на меня с выражением, равным, по крайней мере, градусам 38-ми. «Сколько?» — спросил я. «Без двух сорок». Тогда я оглянулся вокруг с чувством жильца, въехавшего в уютное помещение.

Затем санитар, поддерживая меня, так как я шатался от слабости, переправлял в другой вагон,— с полок тупо смотрели воспаленные лица больных,— и указал койку. То был соломенный матрас, подушка и старое суконное одеяло с гнилыми прорезами. Я лег, тотчас стало таять и исчезать все, крепившееся до тѐх пор перед глазами; смутный разговор — или бред еще отозвался некоторое время во мне, без смысла и связи слова; затем, настраивая счастливо, дрогнули под полом колеса, и меня медленно понесло прочь от дикого уездного города. «Петербург». Это я узнал от врача. Окна стемнели; наступил сон.

V

«Вы будет эвакуация»,— так говорил доктор, осматривая меня, и я, проснувшись снова, услышал это, словно из-за окна, где билась метель. Голос задрожал и

исчез; другой раздался над ухом. Я открыл глаза; мужчина с всклокоченной бородой, держась за мое колено, сидел рядом, его глаза были красны и печальны.

— Чего спишь? — говорил он.— Вставай, давай плановать.

— Как плановать?

— А я не сплю, слышу: Питер да Питер. Ты это бредишь. Питерский сам?

— Да...

— Ну вот, в Питере тебе не бывать. Знаешь, куда везут? В В. Всем питерским сказывают: «Питер, мол; дома будешь». Ну, чтобы не бубетенили. Был санитар тут, он и открылся.

Я встал; казалось, изломав все тело, совершил я это движение. Как! С быстротой ветра мы уходим все дальше от города, одно имя которого веет уже надеждой? Я вдруг поверил и в д р у г же с возбуждением, полным отчаяния, уперся всей душой противу движения, умыкающего меня в неизвестную и ненавистную сторону. Прав был мужик,— или, бредя наяву, слышал, передав мне то, чего никогда не было,— так и не узнал я, но хорошо знал, что теперь сделать. Мной двигала сила отчаяния. «Что надумал? — сказал мужичок.— Давай плановать; вот — первое это, пойду просить в В., чтобы отправили в Питер; там лечиться; я семейный, семья у меня на Лиговке; муки им купил».

Не слушая его, тронулся я, хватаясь за вагонные пинерсы с головокружением, но и с упрямством, равным упрямству пьяного, попадающего несмотря ни на что именно туда, куда вздумал попасть. Открыв дверь в соседнее отделение, увидел я дежурного санитара. Санитар спал, тыкаясь затылком в трясущуюся стену вагона; сидел он на табуретке, загородив вытянутыми ногами проход, и я перешагнул их. Открыв дверь в боковой коридорчик, соединяющий внутреннее помещение с площадкой вагона, я выскочил на нее с тем чувством, с каким, спасаясь от пожара, должен выскочить задыхающийся в дыму человек.

Передо мной была п о с л е д н я я дверь; за ней, резко стегая рельсы, мчался напевающий стук колес, и я быстро открыл ее.

В тьме выла и кипела вьюга, коля снегом лицо. Ничего нельзя было рассмотреть в мелькающем белиз-

ной мраке, он рвался и гудел против движения поезда, гася мгновенные искры трубы, огненные черты которых секли пространство перед глазами. Хотя был я в жару, мороз крепко обжег меня, хлынув в ноздри и легкие резким запахом холодного снега, и засеклось дыхание. Но мороз оживил меня. Занося ногу в пустоту и выпятившись вперед на руках, цепляющихся горячей кистью за каленое железо поручней, думал я так же быстро, как отстукивали колеса: «Мгновенно ли приму смерть? Останусь ли жив? «Карма», «Кисмет» — «Судьба» — «Рок» — все имена таинственного Завязанного Лица метнулись по открытой странице мгновения и исчезли.

«Если головой в столб? Но Петербург дороже всего. Умереть в В. или теперь,— разница тридцати — сорока верст». Я отделился без страха, как купающийся бросается в воду, и, вытянув вперед руки, упал. В тот момент я не чувствовал тела, казалось, одна голова моя рванулась по тьме, и тотчас ударило по ногам. Перестав слышать и видеть, я хлопнулся, взрыв снег, тотчас набились им мой рот, ноздри, уши и рукава; задыхаясь, вылез я из глубокой ямы и переполз к рельсам. Далеко впереди исчезал огонек фонаря,— то уходил поезд, и стук его отдавался в рельсе, под коленом моим, еле слышным: «чик-чик, тик-тик, чик».

Заряд, двигавший мной, не только не исчез после падения, но как бы удесятерился; мне было жарко; так жарко, что резкая стремительная пурга, бившая по щекам, казалась нежной прохладой. Не желая даже минуты оставаться в бездействии, я встал и, шатаясь от рельсы к рельсе, побрел в противоположную сторону.

VI

Как я шел,— скоро, или же — тихо, ныло ли тело мое или, наоборот, с легкостью духа, одержимого безумием, неслось в вьюге, среди морозной пустыни, — теперь я не могу вспомнить. Но я очень хорошо помню, что снег, вначале стлавшийся струями сыпучей пыли вдоль рельс или перетекавший через них, скоро перестал виться меж ног; он повалил так густо, что, подобно массам белого пара, застлал все. И в нем родился тонкий аромат сирени, столь восхитительный, что я с изумлением и восхищ-

гом остановился как бы среди белого сада. Он повеял, проблагоухал и исчез. Все было бело; в белой непроницаемости, стихшей и мертвой, шел я без уверенности, того ли направления я держусь; не было даже видно рельс, и я часто ощупывал их руками, становясь на колени. Но не было во мне по-прежнему никакого страха; веселый, лишь чувствуя себя легким, как вата, я пел или пытался свистать. Меня не оставляло убеждение, что я скоро подойду к станции. Об остальном я не думал,— всякие поезда, во все стороны, идут от станции той, и мне следовало выбрать из них тот, который движется в Петербург.

Как я был уверен, что скоро подойду к станции, то нимало не удивился, заметив впереди рыжие, с радужной каймой, круги света; настолько-то я отдавал себе отчет в обстоятельствах, чтобы сообразить близость этих огней,— раз свет одолевал спокойный снег. Переход от хаоса к человеческому гнезду совершился внезапно,— я был уже о ч е н ь близко к станции (к полустанку). Как будто сквозь мокрое полотно проступил неполный рисунок; угол крыши, с другой — фонарь над ней и яркие искры рельс, проходящих в белую тьму. Свет среди нее распространялся туманной, но яркой сферой, тогда я увидел, что у полустанка, отступя вправо три пары рельс, стоит поезд; заликовав, я побежал прямо к нему.

VII

На платформе не было ни души. Проваливаясь в тяжелый снег, торопливо побрел я вдоль ряда темных вагонов, закрытых наглухо, ряд этот прерывался платформами, с буграми занесенного снегом холста, из-под которого торчали дула орудий. Малейшей озаренной щели не виднелось в вагонах, и я подумал уже, не стоит ли он здесь давно на запасном пути, как, еле дыша, еле передвигая от поразившей меня усталости горячие и мокрые, в валенках, ноги, заметил далеко впереди маленькое пятно огня, трепетавшее у вагона,— и крикнул. Никто не слышал меня. Не было и конца вагонам, которые миновал я, пробираясь к замеченному огню, страстно желая одного: не повалиться без сознания в снег. Как закостеневшее страдание, как жизненный путь долог был переход этот, но вот — стал больше, на снегу, свет, в нем

показались следы, комья,— я подходил, был близко, уже слышались медленные, глухие голоса, топот и хруст лошадиной жвачки. Вдруг отчаянные, как топором в стену, удары перебили это тихое оживление, так что загудел весь вагон. В это время соседний вагон, о который я опирался рукой, скрипнул и двинулся, колоколами прозвенели сцепления, щелкая по всему составу, и я понял, что поезд уходит.

Нельзя было терять момент, конец которого так слепо и глупо ускользал из моих рук. Я стоял против раскрытых заслонов теплушки, под полом которой болталась, готовая выпасть, засунутая концом где-то внизу, доска; видимо, ее подняли,— без нужды теперь входить и выходить. Ее конец торчал вровень с моим плечом. Судорожно охватив доску, я повис на ней всем телом, силясь приподнять и перекинуть его так, чтобы лечь животом поперек доски; тогда мне легче было бы подняться в вагон. Едва мне не удалось это, но, соскользнув опять вниз, потерял я всю силу, выброшенную отчаянием. «Помогите! — кричал я.— Спасите! Здесь человек!» — но увидел, что дверь с шумом закрылась. Слабо ли я кричал, воображая, что кричу оглушительно, или потерялся мой голос в нарастающем движении поезда,— в его дребезге и громе колес, пересекающих рельсовые соединения,— только дверь осталась закрытой. Подогнув ноги, я висел на руках. Менее всего было у меня мысли отпустить доску, хотя, на сравнительно тихом еще ходу, мог я сделать это безнаказанно. Уверенность, что поезд идет на Псков, поддержала бы меня даже против опасности упасть в пропасть. Меж тем, теряя силы, руки мои вытягивались с болезненной ломотой и дрожью; уже скользили по промерзшей доске окостеневшие пальцы. С понятием крайнего ужаса перехватился я вплотную к вагонной двери и стал стучать в нее головой — так, как стучат поленом; замутило и затошнило меня. Тогда с тем же визгом, как при обратном движении, двумя-тремя рывками, отъехала, заскользив, дверь, и за мои руки, с силой истинного чуда, ухватилось несколько рук. Ряд непечатных ругательств, раздавшихся одновременно, прозвучал мне райской мелодией; я застонал, ступил на доску и повалился без чувств.

VIII

— А ну, дай хлюста!
— Давай еще.
— Вини проклятые.
— Ходи с крестей.
— Туз тебе в лоб!
— А вот выкуси!

Я лежал в «лошадином» вагоне. Только что открыл я глаза, как в стороне раздались оглушительные удары о стенку; казалось, треснет она. Вагон трясся и скрипел, убегая в морозном полурассвете, показавшем сквозь полураскрытые двери тускло-зеленое небо, к неизвестной мне цели; внезапный страх, что едем мы не на Псков, окончательно разбудил меня, опередил все прочие впечатления. Несколько солдат, греясь вокруг костра, расположенного тут же, на железных листах и толстом слое песка, среди кип прессованного сена, играли в карты.

Я лежал на сене. Ни приподняться, ни даже пошевелиться я был совершенно не в состоянии; жар, истощина и тягучая боль во всех членах в связи с жаждой были так нестерпимы, что я замычал. «Страдаешь? — спросил, услыша меня, солдат, оборачиваясь с рассеянным вниманием человека, занятого игрой.— Смотри, ожил ведь, а говорили — помрет».

— Куда мы едем? — сказал я.— Дайте воды, горю весь.

Солдат, не выпуская карт, сунул мне в рот носок жестяного чайника, жадными глотками залил я терзавший меня огонь; дышать стало легче.

— На Скоп едем,— ответил он.— Еще пить хочешь? Говори, кто такой, тебя с доски сняли, убился бы ты...

Память была жива, я рассказал. Молчанием встречен был рассказ мой; не думали они, что пригрезилось мне рассказанное?

«Так мы едем на Псков?» — раздраженно спросил я. «Вот дурной, говорят,— в Скоп, ну и в Скоп».— «Побожись!» — и я привстал даже, чтобы подметить в выражении лиц солдатских, не лгут ли они. «Я тебе божиться не буду!» — закричал солдат, поивший меня.— «Молчи, когда лежишь, в Скопу в лазарет сдадим...» — «Не кричи,— сказал я,— ведь я только спросил».— «Только,— проворчал он, вытаскивая прикупку.— «Ну вот — очко с гаком, леший же тебя побери и с Скопом твоим».

Тут снова раздался грохот, шум, тяжкий, как горе, вздох и сотрясающее падение огромного тела. Тогда я увидел, что в полутьме стойл, судорожно двигая головой и беспомощно махая копытами, бьется на боку огромная белая лошадь; ее живот вздулся; твердая красивая шея с расшатавшейся гривой в ужасе и боли агонии силилась взвиться, но, изнемогая, вытягивалась снова в навоз. Бока животного вздувались и опадали. Раз вскочила она, трясясь вся, роняя изо рта пену и взматывая головой, но тяжело грохнулась; копыта загрохотали по стенке. Там были еще три лошади; они шарахались или, пугливо косясь, шумно и нервно дышали, беспокойно переступая ногами. Умиравшая была опоена — после большой порции овса дураком конюхом,— и овес задушил ее. Я узнал это потом.

Солдаты приостановили игру.

— Кончается.

— Загубили скотину.

— Эй, как трепыхает ее... И сколько ж часов это.

Она билась еще — долго; забываясь по временам, я вздрагивал от резкого стука. Наконец в полной тишине среди заснувших, скорчась от холода, солдат открыл я глаза, всматриваясь в угол вагона,— тихо и неподвижно торчали там из бугра вздувшегося горой тела прямые, как палки ноги.

«Петербург, Петербург»,— отстукивали колеса, все приближая меня к Пскову,— откуда я мог, я знал это — попасть в Петербург. Но где «Петербург» этой несчастной лошади?

И не смешно ли, что до слез, до потускнения радости своей мне жаль было ее?

БЕЛЫЙ ОГОНЬ

I

Зал художественных аукционов» — коммерческое учреждение, основанное, как гласила вывеска, в 1868 г., лишилось ценного служащего. То был Джозеф Лейтер, повесивший ударами молотка на золотые гвозди покупателей десятки тысяч картин.

Он продавал с азартом, с пламенным ожесточением проповедника. Его глаза, налитые нервным блеском, останавливались на лицах колеблющихся соперников с затаенным льстивым восторгом; скромно опуская ресницы или вдруг насмешливо озирая публику, он подстрекал самолюбие, дразнил жадность, медля опустить молоток, срывая последние судороги запоздавшего аппетита; он в совершенстве постиг власть пауз, выкрикивая ни раньше, ни позже, но именно в нужный момент, с оттенком непоправимой потери: «Восемьсот слева! Спереди — центр — тысяча! Сзади — направо — три,— три тысячи сзади; три, три, три,— кто более?!» — в результате чего кто-нибудь, как бы слыша вызов или презрение, бросал решительную надбавку.

Обстоятельства сложились так, что один из сподвижников Лейтера заболел, другой переменил место, а третий был рассчитан за мошенничество, почему последние одиннадцать дней Лейтер безотлучно стоял на аукционной эстраде. Надсаживаясь и хрипя от переутомления, с горлом, повязанным платком, небритый, бледный и грязный, он не выпускал молотка, следя за выражением лиц, подобно опытному рыболову, которому вздрагивание лесы точно говорит о величине и породе рыбы, схватившей приманку. Его голос срывался, рука дрожала; ослабевающее внимание упускало важные моменты тишины; теряя способность угадать, что даст следующая минута,— падение молотка или взрыв надбавок,— он делал непростительные ошибки, выходя из ритма общего внутреннего движения, тратясь без нужды на вялые моменты и плохо соображая там, где следовало подчеркнуть большую игру.

У его левой руки, меняя форму и силу, сверкала вечная человеческая душа, выраженная художественным усилием. Она появлялась, исчезала и появлялась вновь с номером на лице. Картина, статуя, вышивка, гобелен, бронза, камея, этюд, рисунок, медальон, бюст — и каждый раз в каждом творении Лейтер находил немного себя, тотчас продавая это немногое тем, кто владел силой зажать рот чужому желанию безнадежным холодом высокой цены.

Последний месяц по количеству вещей, выброшенных на аукционные рынки, был исключителен. В том мире есть шквалы и штили, затмения и ясные дни, при-

ливы и отливы. Эпидемия продаж подобна чуме, в силу обстоятельств весьма сложных и значительных для того, чтобы была возможность без надобности объяснить их в кратком повествовании.

Эта эпидемия, этот непрерывный трепет души, выраженный трагическим усилием и ощупываемый грязной ладонью художественной похоти, треплющей ее по щеке с видом глубокомыслия,— выяснил, наконец, полное бессилие Лейтера стучать впредь молотком по карману и нервам. Решительную роль сыграл рисунок Берн-Джонса — узкая полоса желтой бумаги с изображением обнаженной женской руки. Еще ранее Лейтер останавливался перед этим рисунком со вздохом тихого облегчения. У Лейтера было второе внутреннее лицо, над которым он не задумывался.

Эта совершенно прекрасная рука, вытянутая горизонтально от плеча до кисти, которая слегка свешивалась с нежным и твердым выражением, объясняла нечто неназываемое так бесспорно, что зрителю оставалось лишь отвечать ей мыслью и чувством так же красиво и чисто, как красиво и чисто было изображение.

— Рисунок Берн-Джонса! — провозгласил Лейтер.— Собственность Марка Твида, заявленная цена двести...— Привычным движением он поднял свою руку и вдруг увидел ее по-новому. Эта рука с нечищенными ногтями тряслась в грязной манжете, облитая набухшими жилами.

Произошло некоторое смещение предметов и мыслей, подобно тому, что называется «двоится в глазах». Лейтер милостиво улыбнулся; у него было сухо и горько во рту, скверно и разносторонне противно на душе. С остротой боли вдохновенно подметил он все оттенки идиотизма, рассеянные в физиономиях, увеселился и рассмеялся. В то же время на него направились глаза всех портретов и статуй. Он выпрямился.

— Я имею сказать,— захрипел Лейтер,— что этот рисунок должен быть куплен безусловно по цене небесной зари. Это оттого, что я очень устал. Давно уже замечаю я, что покупаете вы множество всякой дряни, до которой вам, как и до Берн-Джонса, нет никакого дела. Однако я желал бы продать этот рисунок, предварительно узнав, был ли покупатель рожден женщиной. Закрываю аукцион!

На него хлынул туман, заставив отступить к стене; бормоча: «попала мне пальцем в глаз какая-то шельма»...— он был подхвачен усердными руками служащих. И неторопливые, степенные, безусловно приличные, вполне нормальные люди отвезли Лейтера в больницу умалишенных.

II

— Довольно! — сказал Лейтер, еще не открывая глаз.— Я не хочу вашего супа. Он него делается изжога. С меня достаточно чая, хлеба и масла.

Никто ему не ответил. Он сел и осмотрелся с досадой, тотчас уступившей место глубокому изумлению.

Он находился в глухом лесу, у ствола старого дуба, на краю узкого зеленого луга, замкнутого со всех сторон чащей. Блаженное утреннее солнце поджигало траву. Веселый аромат сырости, зелени и земли возбуждал легкие. За деревьями, в гнездах лесного мрака вспыхивали зеленые искры. Ближайшие птицы, подхватывая или перебивая далекое щебетание, разражались неистовой трелью; бабочки, сидя на цветах, медленно поникали крыльями; бродил свет, трепетали тени, дымилась роса.

Лейтер, сжав голову, минут пять осваивался с положением, пока не натолкнулся на единственное правильное толкование происшедшего.

— Я бежал,— сказал он, внимательно прислушиваясь к своему голосу, с тревожной и добросовестной подозрительностью человека, не вполне уверенного в благополучном состоянии собственного рассудка.— Да, я, очевидно, бежал из больницы,— тресни она. Я был болен. Теперь, кажется, я здоров, я чувствую, что я здоров, так как у меня нет больше этой проклятой тоски.

Невероятным усилием вырвал он из недр ослабевшей памяти блеск лунного окна, расшатанную решетку и четыре пустых бочки, поставленных одна на другую в углу садовой стены.

— Прекрасно,— продолжал он.— Сделаем экзамен рассудку: «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками».— «Сомнение в собственном сумасшествии должно быть признано доказательством психического здоровья». Я — Джозеф Лейтер, тридца-

ти лет, нахожусь в дикой лесистой местности с явным желанием немедленно вернуться домой к обычным своим занятиям.

Но он уже понимал, что выздоровел, и без этих наивных упражнений, быть может, благодаря потрясению свободы, добытой путем связных усилий, долгому сну, отдыху,— вернее же всего — силой тех душевных течений, какие при остром помешательстве, бурно выйдя из берегов, скоро нащупывают прежнее основное русло.

Успокоенный и почти счастливый, так как полному счастью мешало тревожное нетерпение выбраться возможно скорее к заселенным местам, Лейтер обошел лесной луг, избирая верное направление. По теням скоро заметил он, что двигается спиной к западу, и тотчас повернул обратно, сделав спустя короткое время привал ради орехов и диких слив, что, утолив голод, не вернуло, однако, его смягченному воспоминанию о больничном супе прежнего отвращения. Затем Лейтер продолжал путь, следуя течению маленького ручья, бегущего к западу.

В поту, с ободранным лицом и руками он делал милю за милей то вброд, то по руслу, если растительность, свисавшая над водой, мешала идти берегом, то проваливаясь в овраги, заваленные буреломом, или продираясь в густой тьме, с клочком неба над головой, сквозь заросли, вызывавшие припадок сердцебиения. Чем больше он уставал, тем острее подгоняла его сама усталость, которую он стремился опередить, оставив лес позади. Меж тем, вначале маленький, как струя воды из опрокинутого ведра, ручей расширился; его течение нарастало, ширина увеличивалась, а призрачный блеск мелкого песчаного дна медленно угасал, оставляя местами воду черной, как полоса бархата, трепещущая под ветром. Изменялся характер берегов: довольно просторная опушка, усеянная мысами и желтыми мелями, незаметно образовала крутые обрывы, к осыпям которых в угрюмой тесноте и вечном молчании подступали прямые влажные стволы чащи. Их вершины разделялись высоко над головой Лейтера извилистой синей щелью; внизу бродил искаженный свет, еле шевеля черноту потока серыми отблесками. Лейтер принимался кричать, но крики возвращались к нему тупым эхом, запертым на замок. Затем отстаивалась прежняя тишина, нарушаемая так внезапно и

редко, что испуганный слух болезненно переносил эти краткие нарушения; подавленный, угнетенный, бессильный, с извращенным удовлетворением раба, возвращался он к прежнему состоянию покорного напряжения. Плеснула рыба, выдра прошумела в траве, скакнула и заверещала пума; отдаленный треск, ворочаясь, как кора в огне, звучал дикой тоской. Эти явления разделялись долгими промежутками лесного безмолвия.

Так проходил день, пока наконец не увидел Лейтер впереди себя, сквозь стволы, поворота течения, род просвета, заполненного сверкающей белизной. Вначале показалось ему, что это известковый утес, чему он весьма обрадовался, надеясь с высоты обозреть местность, но, приближаясь, был вынужден неоднократно останавливаться, так как белое нечто усложнялось странными очертаниями, напоминающими группу человеческих тел или статуй; Лейтер протер глаза. Между тем сомнениям все менее оставалось места; уже, заслоненный ветвями, мелькнул впереди мраморный профиль, за ним другой, третий и, наконец, тонкий рисунок фигуры, стоящей где-то вверху, в полных, как веселый крик, лучах солнца, поднявшегося к зениту.

Лейтер отвернулся, пятясь спиной к таинственному явлению, в надежде, что оно, если, приблизясь, он станет к нему вдруг снова лицом, рассеется, подобно туману; однако поймал себя на том, что невольно прибавляет шагу, подгоняемый любопытством. В том месте лес отступал и был значительно реже; лишь там, где сверкала чудная белизна, его крылья вновь смыкались у берегов пышными остриями. Лейтер не выдержал. Он обернулся шагах в двадцати от зрелища, которое, раскрывшись теперь вполне, исторгло у него крик изумления. Не бред, не галлюцинация поразили его. Пред ним блистало подлинное произведение чистого и высокого искусства, брошенное, подобно аэролиту,— телу непостижимой звезды,— в стомильные дебри лесной пустыни.

Здесь берега ручья несколько возвышались, образуя естественные устои, на которых держалось сооружение. Это была мраморная лестница без перил, согнутая над ручьем высокой аркой, с круглым под ней отверстием, в которое, серебрясь и темнея, шумно устремлялся поток. Оба конца лестницы повертывались внизу легким винтообразным изгибом так, что

нижние их ступени почти сходились, образуя как бы рассеченное снизу кольцо. По лестнице, улыбаясь и простирая руки, сбегал рой молодых женщин в легкой, прильнувшей движением воздуха одежде; общее выражение их порыва было подобно звучному веселому всплеску, овеянному счастливым смехом. Две нижних женщины, коснувшись ногой воды, склонялись над ней в грациозном замешательстве; следующие, смеясь, увлекали их; остальные, образуя группы и пары, спешили вслед, и с их приветливо вытянутых прекрасных рук слетала улыбка.

Это мраморное движение разделялось на обе стороны лестницы, с живописным разнообразием, столь естественным, что строго рассчитанная гармония внутреннего отношения форм казалась простой случайностью. Центром чуда была легкая фигура девственной чистоты линий, стоявшая наверху, с лицом, поднятым к небу, и руками, застывший жест которых следовало приписать инстинкту тела, ощущающего себя прекрасным. Они были приподняты с слабым сокращением маленькой кисти, выражая силу и стыд, смутную прелесть юной души, смело и бессознательно требующую признания, и запрещение улыбнуться иначе, чем улыбалась она, охваченная тайным наитием.

Внизу и на верху лестницы, свешивая ползучие ветви, покрытые темными листьями, стояло несколько плоских ваз. Растения, выбегающие из них, были, по-видимому, насажены здесь давно, так как, пробравшись на самую лестницу, Лейтер заметил, что земля в вазах и дикий вид старых ветвей, почти высохших, помечены рядом лет. Но ничто не говорило о древности самих ваяний, в них чувствовалась нервная гибкость и сложность новых воззрений, мрамор был бел и чист, на медной доске, врезанной под ногами верхней прекрасной женщины, чернел крупный курсив: *«Я существую — в силе, равной открытию»*.

Какой замысел, какой глубокий каприз, какая могучая прихоть крылись под этой надписью? Более двух часов провел Лейтер, рассматривая фигуры, созданные безвестным резцом для того, чтобы навсегда помнил их лишь некий случайный и — мнилось — столь редкий в этих местах, что самое появление его здесь следовало считать чудом,— одинокий бродяга.

От лестницы ручей резко поворачивал к югу. Лей-

тер, держась прежнего направления, покинул место, осененное святым мрамором, и через два дня достиг наконец поселка, оказавшегося так далеко от города, что он сел в поезд.

Врачи подтвердили его выздоровление, хотя, расскажи он им о своем открытии, больница могла бы его вновь пригласить к супу, вызывающему изжогу. Но другим, тем, кто не имел к психиатрии ни малейшего отношения, Лейтер рассказывал о прекрасной мраморной группе. Никто не верил ему; он стал повторять рассказ все реже и реже, сохранив его наконец только для одного себя.

КАНАТ

Посмотри-ка, кто такой
Там торчит на минарете?
И решил весь хор детей:
«Это просто воробей!»

Величко

I

Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка — оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой, наконец,— я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мой мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.

Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинченной, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека?

Рассмотрим этот костюм: на голове — высокая шляпа, утыканная петушьими и гусиными перьями, ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, едва скрепленный

сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перевитый жестяной стружкой.

Это — король, Наполеон, Будда, Христос, Тамерлан... все вместе. Торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом; в глазах — упоение величием; на ногах — рыжие опорки; в душе — престолы и царства. Заговорите с грандиозным прохожим — он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток; вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях; он говорит — выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти: «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!» — и эта отрывистая истерика, мнится ему, заставляет дрожать мир.

Такой-то вот дикой и ужасной болезнью, ужасной потому, что — перевернем понятия — у меня бывали приступы просветления, я был болен два года тому назад, в самую счастливую, со стороны фактов, эпоху моей жизни: брак по любви, смешные и хорошие дети — и золото, много золота в виде бледных желтых монет,— наследство брата, разбогатевшего чайной торговлей.

II

Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог впоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, в котором постепенно, но ярко меняется оценка впечатления, производимого собой на других. Приличным случаю примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает вначале сильное удовольствие, понижающееся по мере того, как этот мотив, в повторении оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о нем отбивает всякую охоту повторить его голосом или свистом.

Такая избитость мотива делает его надоедливым и пустым. Теперь — если представить шкалу этого привыкания в обратном порядке — получится нечто похожее на шествие от себя, как от обыкновенного че-

ловека, к восхищению собой,— во всех смыслах,— к фантастическому, счастливому упоенью.

Я не могу точно рассказать всего. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно горделивой позе, с надменным лицом и грозно пляшущими бровями. Но — главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества перемешанных с ним здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он знает, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.

Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо, поразившем внимание, и особенный род ликующей нервности служили для меня точными признаками надвигающегося безумия. Однако способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черного Величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного цифрам бухгалтерской книги, рассказывающей крах предприятия, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют,— вот пытка, которую я переносил три с половиной года.

Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.

Первое: мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцать шестым зрением, но не укладывается в слова.

Второе: я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.

Третье: впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко, я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они для меня — ничто, а я для них — все.

Четвертое: я — владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности; меня стерегут убийцы; я живу в дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира.

Пятое: мне поставлен памятник, и памятник этот — я, и я — этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться подвижным на пьедестале, а чувство каменной статуйности заставляет ходить.

III

Теперь, полностью восстановляя канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо.

Я шел по набережной. Стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река с перекинутыми вдали отчетливыми мостами казались мне, в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, робкой лестью побежденных неукротимому победителю. Мое предназначение — спасти мир; мои слова и добродетель Великого Пророка стоят неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение видело «вещи в себе» — потрясающую тайну вселенной.

Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад; я бессмертен и всеобъемлющ; не умирал и не умру; мое имя — Амивелех; мое откровение — благостное злодейство; я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства.

Я захотел есть и вошел в кафе.

Низенькое длинное помещение это было отмечено посредине узкой, прилегающей бордюром к стенам и потолку аркой. Я принял ее за зеркало благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый с другими столиками, помещался геометрически точно против столика, стоявшего за аркой. У того столика, на равном моему расстоянии от бордюра, так же уперев руки в лицо, сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с воображаемым благодаря всему этому зеркалом, вскоре отразил, надо думать, сильнейшее мое изумление, так как мое предполагаемое отражение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше: что этот неизвестный — чудовищно похожий на меня человек — одет различно со мной. Иллюзия зеркала исчезла.

Он встал, перешел, внимательно присматриваясь

ко мне, узкое, почти лишенное посетителей зало и сел у окна вне поля моего зрения, так что, желая взглядывать на него, я должен был отрываться от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, кто это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, князь мира сего, вечный и ненавистный враг.

Я съел то, что подал издали наблюдавший за моими движениями слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом, затем решительно повернулся к нему. Я хотел немедленной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества Духа.

— Ты — трус! — громко сказал я, стукнув кулаком по столу.

В продолжение всего нашего разговора, начатого так шумно, но оконченного вполголоса,— так как речь шла о полубожеских силах,— в углах залы и за стойкой происходили отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помешаны, я не обращал на этих жалких отродий особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточилась на нем. Я повторил:

— Ты — трус!

Он молчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня относительно истины своего существа, затем встал и пересел за мой столик. Держался он очень скромно; его поза, движения, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них: казалось, их черный блеск блистал рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая проницательность спасовала перед западней мстительного плана, изобретенного этим Двуличным.

— До удивления,— начал он,— до крайнего удивления похожи мы с вами, сударь. Смею спросить, кто вы и ваше имя?

Мгновение я колебался: сорвать с него маску или притвориться наивным? Подумав, я решил быть самим собой, относительно же него держаться доверчиво, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явно издевательским способом.

Я сказал:

— До крайнего, крайнего удивления. Мое имя — Амивелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь, в самом деле, какие-либо сведения обо

мне? Наша страна пустынна, это — страна вздохов, и я послан Пророком Пророков ради страшного труда спасительного злодейства. А вы?

— Я — Марч. Канатоходец Марч.

Он говорил, конечно, подобострастно, но в слове «Марч» слышалась профессиональная гордость. Меня сильно забавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию! Доверия к профессионалу у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечают: «Я... собственно... знаете...» — и тому подобное.

— Итак?

— Совершенно верно. Я зарабатываю хлеб очень трудным искусством.

— Знаю,— сказал я.— Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы бегаете взад и вперед по туго натянутой проволоке, приседаете и приплясываете с похвальной целью доказать зрителю, что это не так легко, как кажется.

— Совершенно верно, господин Амивелех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как переход Ниагары или подскакивание на одной ноге. А теперь не то. Жаль, что вы, глубокоуважаемый Амивелех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное. Вы, например... хо-хо! Я говорю, что если бы вы... попробовали... Даже вообразить это нельзя без ужаса. Нет, нет, у меня очень мягкое сердце. Одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову... У меня даже голова закружилась... Тьфу! Какие иногда бывают смешные мысли!

— Марч! — внушительно сказал я.— Я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее!

— Вот так штука! — захохотал он.— Задали же вы мне задачу! Да разве от вас спрячешь что-нибудь? Вы людей насквозь видите!

— А! Ты дрожишь?!

— Дрожу, весь дрожу, господин Амивелех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение — это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивелех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит: «Марч, твоя левая нога поскользнулась»... И мне нужно крепко стоять этой ногой. Она утомляется,

вздрагивает. Опять голос: «Марч, ты теряешь равновесие... наклонился... падаешь... вот твое тело у земли — три фута, фут, дюйм... удар!» Становится очень холодно, господин Амивелех, пот бежит по лицу, шест тяжелеет, канат стремится выскользнуть из-под ног. Я на уровне циферблата соборных часов — раз было так,— и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса увеселять публику. Но стрелки не двигаются... Ах! Вот вам воображение, господин Амивелех, ну его к черту!

— Так далеко? — спросил я.— Конечно, ты шутишь, опасливый Марч. Но я, я могу помочь твоей беде. Повелеваю: расстанься с воображением!

— Готово! — воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же, как мои, черные глаза к потолку.— Ага! Вот оно и улетело... воображение... дымчатый комочек такой. Чуть-чуть осталось его... совсем немного...

Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкрадчиво улыбался. Он обшаривал взглядом мое лицо и кривлялся, как продажная женщина.

— Сегодня, в три часа дня,— продолжал он, осторожно понизив голос,— я выступаю на площади Голубого Братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас, только о вас, дорогой учитель Амивелех. Я горжусь, что несколько похож на вас,— смел ли я быть совершенно похожим? — что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы в подражание великому вашему существу! О, я преклоняюсь перед вами! Ваша жизнь драгоценна! Одна мысль, что каким-то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате... что вы шатаетесь, падаете... какой ужас! Вот он, остаток воображения. Да сохранит вас бог! Пусть никогда нелепая мысль...

Я остановил его жестом, от которого содрогнулись в своих пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железною пятой своего черного духа на белое крыло моего призвания, и я принял вызов с царственной свободой цветка, безначально распространяющего аромат в жадном эфире.

— Марч! — тихо заговорил я.— На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо, и да будет так! Я, а не ты, я в три часа дня сегод-

ня появлюсь на площади Голубого Братства и заменю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии!

— Но...

— Ни слова. Ни сло-ва, Марч!

— Я...

— Молчи! Тише!

— Вы...

— Слушай, не думаешь ли ты, что тайна великой борьбы священна? Умолкни! Когда говорит Амивелех, молчат даже амфибии. Мы отправляемся!

Наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кобольда — свита ненавистного Марча. Я слышал, как гремит в его душе подлая, трескучая радость. Что касается меня, то я переживал нечто подобное величавому грому — предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его полный отчаяния полет в бездну, откуда он появился.

Мы молча смотрели друг на друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнув мне, встал и вышел. Я не торопясь последовал за ним.

IV

Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и делаю и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной полотняной палатке у стола, на котором лежал расшитый золотом бархатный костюм Марча. Полуприподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади, черную от массы людей. Неясный, хлопотливый шум проникал в палатку. Я видел еще нижнюю часть столбов, между которыми была протянута проволока; дальний столб казался не толще карандаша, а ближний, почти у самой палатки, толщиной с хорошую мачту. Лестница, приставленная к нему, отбрасывала на столб тень; между лестницей и столбом, среди булыжников, искрилась трава. Помню, меня как бы толкнула это простота обыкновеннейшего явления: трава, камни. Не более как на момент я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной Марча, я, может быть, оказался бы в начале реакции, перелома. Я вспомнил о нем, как о дьяволе, и внутренний, неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения.

Замысел Марча, как искусителя, был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся,— о жалкий! — увидеть мое унижение, когда, по злобным его расчетам, я, силой его заклинаний, грохнусь с высоты пятиэтажного дома. Нимало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавры победителя. Я знал, однако, что не только по проволоке, а по морской буре могу пройтись с легкостью водяной блохи, не замочив ноги. Поэтому, сгорая от нетерпения скорее поразить демона своей властью над послушной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оборвал несколько пуговиц.

Разумеется, я вел себя, как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появилось трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата с таким обилием позументов, что я напоминал сказочную жар-птицу, и плюшевая зеленая шляпа с белым пером.

Как только Марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны даже попугаю на жердочке, не только мне, поющему хвалу Духу. Я взглянул в зеркало и подбоченился. Затем я стал дрыгать поочередно ногами, любуясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй Марчу, смотревшему на меня, притворно, конечно, с беспредельным обожанием, я, подняв голову, вышел из палатки и огляделся.

Ха! Гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплесканий рук. Здравствуйте, компрачикосы! Я кивнул и стал взбиратья по лестнице!

С момента моего выхода меня охватил вдруг подмывающий, как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнившей все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой плотности, став частью среды, единородно слитой и напряженной в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие — я потрясенно чувствовал это — пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют ощущения тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, будто подымаюсь, пользуясь, с соответ-

ственными тому движениями, перекладинами лестницы. Мной двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. Я мог, в том же или ином любом темпе, совершить лестничное путешествие на луну, дыша по окончании его ни чаще, ни медленнее. Только исключительной остротой безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше.

Подымаясь в подымающемся вместе со мной, застрявшем в ушах обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре между небом и землей был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой упомянул выше. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые, безостановочно вступая в меня волнистыми усилениями, составляли как бы нечто среднее между настроением, выраженным словами, и яркой догадкой, подтвержденной обострением интуиции. Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу наиудобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте:

Я воспринимаю следующее:

Он вышел из палатки.

Он приближается к лестнице.

Он лезет по лестнице.

Он продолжает ловко взбираться по лестнице.

Скоро он перейдет на проволоку.

Неизменным, основным тоном этих поступлений была уверенность, серьезная, непоколебимая уверенность в том, что я, Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении не отмечать некоторою, таившеюся захирело и глухо, здоровою частью души своеобразного действия, производимого всплывающим извне массовым тоном у в е р е н н о с т и. Представьте человека, связанного по рукам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения, представьте затем, что веревки, стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной, очаровательно доброй постепенности; что обнадежен-

ный человек, пробуя двигать членами, двигается действительно, встает, ходит, подпрыгивает, и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я нимало не сомневался в родстве своем со всем чудесным и исключительным.

Взобравшись наверх, я уселся в приделанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую блестящую проволоку, тянувшуюся от моих ступней вогнутой воздушной чертой к далекому противоположному столбу с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг, сзади, над моей головой, шелестел под ветром, иногда касаясь лица, и это — близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своему назначению,— более чем доказательства глаз дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом, над охваченной глазами толпой, а предо мной на специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом.

Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескания. О, если бы они знали, кто я! Впрочем, я собирался немного погодя сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное схождение небесного ставленника. Я решил дать великое откровение.

Радостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест (я должен был до времени быть во всем Марчем) и, отделившись таким образом от последнего прочного основания, ступил на зыбкую проволоку. Не долее как секунду я стоял совершенно неподвижно над пустотой, с чувством немоты мысли и остолбенения; затем двинулся и пошел.

V

Да, я пошел, и пошел не с бо̀льшим затруднением, чем то, с каким, расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще способный ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыке, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты я оказался

вне губительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался — необъяснимо и, главное, самоуверенно — стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание незримом хоре уверенности, знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.

Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал главным образом о посрамлении Марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель рассыпались в прах, и о том, что блаженство духовной власти в соединении с маршем «Славные ребята»,— предел восторга, выносимого человеком.

При каждом шаге ноги мои, согласно закону тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги многократным, разливающимся по всей ее длине гибким волнением; я шел как бы по глубокому сену. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивания проволоки делались сильнее и глубже. Это, при почти полной атрофии физического сознания, при машинальности движений моих, производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат, таинственным образом подражает — следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку так же колебаться и оттягиваться вниз, как следуя по ее линии.

Я только что собрался произвести этот опыт — опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры, как быстро, но незаметно для себя вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений — результату сложности, возникшей в первоначальном однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать, откуда, из какой части толпы шли тяги знаменуемости оригинальной. Остальные видоизменения токов, словесная душа их, воспринимались

мной на протяжении всего кольца зрителей; иногда лишь незначительные, дрожащие колебания давали в этой среде сгустки подобно скрещиванию лучей рефлекторов.

Первоначально стало навеиваться в меня нечто хмыкающее, ровное, как барабанная трель, что, обострив внимание, я безотчетно стал переводить так: «Это акробат Марч, Марч, чувствующий себя на канате, как дома. Вот мы на него смотрим. Акробаты, говорят (мы говорим, все говорят), показывают иногда чудеса ловкости. Острое восхищение — увидеть чудеса ловкости! Однако этот Марч, видимо, не из тех. Он идет по канату; просто идет. А что же дальше? Нам мало этого. Пусть он станет на голову и завертится волчком. Разве это так трудно — идти по канату? Я не пробовал идти по канату. Я, может быть, попробую. Да. Вдруг это совсем пустяковое дело? Наверное, это не совсем замысловатое дело. Вот он идет; просто идет и держит в руках шест высоко над землей. Он идет, а мы смотрим (скучно!), как он идет, как будет идти».

Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться, как кипяток, когда в него суют ложку, уменьшает бурление. Я осмотрелся. Я был наравне с крышами. Преглупый вид у крыш! Их выпяченные слуховые окна зевали, как беззубые рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед! У меня тоже был фоксик, я о нем вспомнил теперь и удивился. Зачем, собственно, фоксик Амивелеху? Я — кто же такой? Я — Амивелех, да...

Неожиданно в противное густое хмыканье врезался развеселивший меня тонкий вздох радости:

— Весьма приятно, и мы благодарны. Ходите на здоровье! Хорошо видеть ловких людей!

Я не успевал думать. Я был прикован к хору своей души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться; я подходил к другому столбу, но, находясь от него не далее как в двадцати футах, остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавшей в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз, на самое пламя зрения, в то время как должен был держать сам в себе все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей

борьбы. Движение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожило бы бессмысленного противника.

Размышляя об этом, я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в средине которой, схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики: «Мошенник! Вор! Я тебе покажу! Полицию!» — и т. п. По-видимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало ряд мыслей практического характера, закрепленных чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряженно ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд,— только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь внезапно остановились. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства, во всей их плотно земной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами Амивелеха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, проникся, несмотря на жару, терпким ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Видения, жалостно побледнев, взвились подобно волшебному пейзажу театрального занавеса, и за ними сам себе предстал я — лунатик, разбуженный на карнизе крыши, я — чиновник торговой палаты Вениамин Фосс, над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца, с головокружением и отчаянием.

Давно уже настойчивый холод (понятия времени, разумеется, здесь очень условны) отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людское тяготение. Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спички поджигателя, опасающегося произвести шум. Желающие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неответственную игру ума. Однако хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии душ с неуклонностью вожделения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объединенных раздражающей зрительной точкой — мной, могущим потерять равновесие. Я читал:

— «Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы по-

смотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть — надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же... ну!.. Падай, а не ходи! Падай!»

Я смутно, с ужасом воспринимал это. Я действительно шатался. Шест бешено прыгал в моих руках. Каждое, казалось бы, целесообразное усилие вызывало неописуемое волнение проволоки. Спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площадь, заполненная народом, кружилась и опрокидывалась: на нее стремглав падало небо. Солнце пылало у моего лица.

— Спасите! Спасите! — закричал я.

Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно черкнувший воздух; затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаясь от потрясения. Канат вследствие сильного толчка бешено раскачался! Проволока резала руки. С воплями, в отчаянии бессмысленной смерти, сопротивляясь падению, я наконец испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев. Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх, и сознание мое смолкло.

Я упал в сетку. Помощники Марча успели, подбежав как раз вовремя, растянуть ее подо мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. Два дня я доказывал следствию и корреспондентам, что, будучи Фоссом, никак не могу быть Марчем. Самоличность моя, подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи, установила, однако, что я, даже на пристальный взгляд, несомненно разительно схож с Марчем, не исключая голоса и еще кое-чего, заметного при движении.

Я объяснил приключение капризом, похмельной фантазией; хождение объяснил гимнастикой юности... Так ли это? Этот вопрос, может быть, мысленно задавали

многие, знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал правду в момент своей болезни, навсегда оставившей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу: «Падай!» — всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо...

Поиски Марча привели к полному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой — значительным состоянием, а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца, так заметно похожего на него, Марч после неминуемой, по его расчетам, моей смерти — при первых же шагах по проволоке — получал через жену страховую премию, а через гроб «Фосса-Марча» — загробную жизнь под любым именем.

Мне кажется, мое толкование вполне правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день пью за его здоровье. Это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в «Вестнике цирковых деятелей» за 1913 год. В нем нет ничего дьявольского.

КОРАБЛИ В ЛИССЕ

I

Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею, как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие — геометрически — с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их

постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение — значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелкая мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но — начали мы — есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет, и люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути ее — и вся она в молниеносно возникших кристаллах застыла неизгладимо... в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живется грезам, свободным от придирок момента. Такой человек предпочтет лошадей вагону; свечу — электрической груше; пушистую косу девушки — ее же хитрой прическе, пахнущей горелым и мускусным; розу — хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя состоит во взаимном отталкивании.

II

Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному примеру — человеку с его жизненным настроением.

Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины

старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс. Здесь две гостиницы: «Колючей подушки» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе — трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани — в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе» после десятилетней борьбы воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.

Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер; ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры — стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.

Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти — географического и гидрографического свойства; все в общем произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями.

III

В тот момент как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно была видна гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансивная личность; капитан Роберт Эстамп; капи-

тан Рениор и капитан, более известный под кличкой «Я тебя знаю»: благодаря именно этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.

Такое блестящее, даже аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны — вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования,— почему-либо сходились пьянствовать.

Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Рениор, с длинными черными волосами и глазами навыкате, напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой, ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом, отличался ехидством.

Трактир был полон; там — шумели, там — пели; время от времени какой-нибудь веселый до беспамятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути; гремела посуда, и в шуме этом два раза уловил Дюк имя «Битт-Бой». Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.

— Вот с Битт-Боем,— вскричал Дюк,— я не убоялся бы целой эскадры! Но его нет. Братцы-капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть не я, а «Марианна». «Марианна», впрочем, есть я, а я есть «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я — с картечью и порохом! Видит бог, братцы-капитаны,— продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом,— после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую!

— Капер снова показался третьего дня,— вставил Эстамп.

— Не понимаю, чего он ищет в этих водах,— сказал Чинчар,— однако боязно подымать якорь.

— Вы чем же больны теперь? — спросил Рениор.

— Сущие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия!

Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени,

чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара — он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.

— Я знаю, чего ищет разбойник! — заявил Дюк.— Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода? «Фелицата». Говорят, что нагружена она золотом.

— Судно мне незнакомо,— сказал Рениор.— Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?

Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов «Фелицаты», преследуемые любопытными взглядами, чинные, пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табаку и более не показывались.

— Какой-нибудь молокосос,— пробурчал Эстамп.— Невежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте,— вдруг разгорячился он, обращаясь к окну,— может, усы и вырастут!

Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:

— Как ни верти, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что мне, собственно, чужие лимоны?). Но отдать «Президента»...

— Или «Марианну»,— перебил Дюк.— Что, если она взорвется?! — Он побледнел даже и выпил двойную порцию.— Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор!

— Вы надоели мне со своей «Марианной»,— крикнул Рениор,— до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва!

— А ваш «Президент» утопнет!

— Что-о?

— Капитаны, не ссорьтесь,— сказал Эстамп.

— Я тебя знаю! — закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю.— Поди сюда, угости старичишку!

Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей по-

душке» небывалыми новогвинейскими похождениями.

Эти суда: «Марианна», «Президент», «Пустынник» Чинчара и «Арамея» Эстампа спаслись в Лиссе от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якорь «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.

— Так я говорю, что хочу Битт-Боя,— заговорил охмелевший Дюк.— Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Маластино. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «боже мой» [1] и держит на коленях Бутузку. Входит Битт-Бой: «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса... Ах, чики, чики, сорвало бакены»... Но суть-то, братцы не в бакенах. Али — турок, бывший бепповский боцман — сделал ему в бриге дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец Беппо в обмороке проплыл с Битт-Боем адский пролив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили других больше, чем макаронщика, но... каково же счастье Битт-Боя?! В Кассете их швыряло на рифы... Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочонки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки!

— Битт-Бой... я упросил бы его к себе,— заметил Эстамп.— Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети.

— Я вам расскажу про Битт-Боя,— начал Чинчар.— Дело это...

Страшный, веселый гвалт перебил старого плута.

---

[1] Нечто убийственное. Чистый спирт, настоянный на кайенском перце с небольшим количеством меда.

Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:

— Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой, приносящий счастье!

IV

Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованием, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек, не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость, черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилием характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки, через руку перекинут был дождевой плащ.

Битт-Бой пожал десятки, сотни рук... Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских осклаблений; винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжение нескольких минут животворным облаком сердечной встречи; наконец он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-воловий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но подетски, Битт-Бой был общим любимцем.

— Ты барабанщик фортуны! — сказал Дюк.— Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот налицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну».

— О капере? — спросил Битт-Бой.— Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал

я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за каменьями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз... ялик и я высветились бы, как муха на блюдечке. Там камни, тени, мох, трещины, меня не отличили от пустоты, но не опусти я свой парус... итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор, помните фирму «Хевен и К°»? Она продает тесные башмаки с гвоздями навылет; я вчера купил пару, и теперь у меня пятки в крови.

— Есть, Битт-Бой,— сказал Рениор,— однако смелый вы человек. Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты...

— Нет, «Пустынника»,— заявил Чинчар.— Я же тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.

— Почему же не «Арамею»? — спросил суровый Эстамп.— Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.

Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:

— Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу... Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас, ничего то есть определенного. Есть тому одно обстоятельство.

Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же... И как мне выбирать среди вас? Дюка? О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и, чтобы всем сказать: нате вам! Согласный ты с морем, старик, как я, Дюка люблю. А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю и Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты — «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник — как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?.. Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я — и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно, шутить не будет, однако — какой же

может быть выбор? Даже представить этого нельзя.

— Жребий,— сказал Эстамп.

— Жребий! Жребий! — закричал стол. Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:

— Осанистая эта бригантина, Эстамп. Кто ею командует?

— Невежа и неуч. Только никто еще не видел его.

— А ее груз?

— Золото, золото, золото,— забормотал Чинчар,— сладкое золото...

И со стороны некоторые подтвердили тоже:

— Так говорят.

— Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.

— На нем аккуратная вахта.

— Никого не принимают на борт.

— Тихо на нем...

— Капитаны! — заговорил Битт-Бой.— Совестна мне странная моя слава, и надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится одно обстоятельство.

— Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! — проснулся кто-то в углу.

Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так, впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает и вдруг, встав, прямо идет к двери,

чтобы ее открыть: идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.

— Провались твое обстоятельство! — сказал Дюк.— Что же — будем гадать! Но ты не договорил чего-то, Битт-Бой!

— Да. Наступает вечер,— продолжал Битт-Бой,— немного остается ждать выигравшему меня, жалкого лоцмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, и откажусь прямо. Но все равно, играйте пока.

Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Марианна», длинный «Президент» с высоким бугшпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями, та «Фелицата», о которой спорили в кабаке — есть ли на ней золото.

Как печальны летние вечера! Ровная полутень их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль — в беззвучной тоске угасания. На взгляд — все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышный ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни... но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне... И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.

— Вот,— сказал Битт-Бой,— летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитаны? Теперь,— продолжал он, получив согласное одобрение,— теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если... как сказано. Ну, ну, толстокрылый!

Тут четыре капитана наших обменялись взглядами,

на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз меж «Президентом» и «Марианной», так близко на середину этого расстояния, что Битт-Бой и все усмехнулись!

— Птичка божия берет на буксир обоих,— сказал Дюк.— Что ж? Будем вместе плести маты, друг Ренийор, так, что ли?

— Погодите! — вскричал Чинчар.— Баклан ведь плавает! Куда он теперь поплывет, знатный вопрос?!

— Хорошо; к которому поплывет,— согласился Эстамп.

Дюк закрылся ладонью, задремал как бы; однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате», стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригантине, и направился, ныряя, баклан; Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами.

— Есть! — кратко определил он.— Все видели?

— Да, да. Эстамп, все!

— Я ухожу,— сказал Битт-Бой,— прощайте пока; меня ждут. Братцы-капитаны! Баклан — глупая птица, но клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо, я сделал бы это. Итак, прощайте! Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или... расстанемся, братцы, на «никогда».

Последние слова он проговорил вполголоса — смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро пошел к выходу.

— Битт-Бой! — закричали вслед.

Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице.

V

Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.

Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн, в кроткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясенные,— наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. Есть люди, двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», «легкая рука» — слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей проще и ясней настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. Одна есть верная их примета: простой смех — смех потому, что смешно и ничего более; смех, не выражающий отношения к присутствующим.

Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым

инстинктом — не все ли равно... «Битт-Бой, приносящий счастье» — под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.

Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Колючей подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, к короткой каменистой улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнея под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду.

Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать, две темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.

— Режи, Королева Ресниц! — сказал меж поцелуями Битт-Бой.— Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер.

— Наш, наш, милый мой, безраздельно мой! — сказала девушка.— Этой ночью я не ложилась, мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.

— Девушка должна много спать и есть,— рассеянно возразил Битт-Бой. Но тут же стряхнул тяжелое угнетение.— Оба ли глаза я поцеловал?

— Ни один ты не целовал, скупец!

Нет, кажется, целовал левый... Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок...— И он получил его вместе с его сиянием.

Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать — вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидите, как бьются две души, пытаясь

звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, досыта продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.

Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота душ и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.

Девушка бессознательно помогала ему:

— Сделай же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький.

Битт-Бой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом.

— Вот что,— сказал он изменившимся голосом,— ты, Режи, не перебивай меня.— Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился.— Я спрашивал и ходил везде... нет сомнения... Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, выслушай! Разве мы не будем друзьями? Режи... ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше: я пришел ведь только проститься! Я люблю тебя на разрыв сердца и... хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А разве к тому же я один на свете? Мало ли хороших и честных людей! Нет, нет, Режи; послушай меня, уясни все, согласись... как же иначе?

В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы, но душевное волнение спутало наконец его мысли.

Он умолк, разбитый нравственно и физически,— умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони.

— Битт-Бой...— рыдая заговорила девушка.— Битт-Бой, ты дурак, глупый болтунишка! Ты еще ведь не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху. Вот видишь,— продолжала она, разгорячаясь все более,— ты расстроен. Но я успокою тебя... ну же, ну! — Она схватила его голову и прижала к своей груди.— Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе — хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо — и мне давай хорошо. Если ты повесишься — я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне большую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый... Я не знаю, чем уверить тебя: смертью, быть может?!

Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.

Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.

— Битт-Бой,— продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного,— ты умница, что молчишь и слушаешь меня.— Она продолжала, приникнув к его плечу: — Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь «Битт-Бой», собака «Умница» и кошка «Режи». Из Лисса тебе, собственно, незачем больше бы выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде: при врагах, при друзьях, при всех, кто придет,— пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту — как ты хотел улизнуть, негодный,— но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет твой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза...

Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, над яркими подводными цветами.

— ...И там много тюленей, Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битт-Бой, из-за какой-то там, не знаю... турчаночки? Ты сказал — я Королева Ресниц... Возьми их себе, ми́лый, возьми все, все...

Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив ни мертв. Однако уходило время; луна поднялась выше... Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел, со скрученным в душе воплем, на улицу.

По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую подушку».

VI

Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув с борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.

— Эй, на бригантине! — раздался сдержанный окрик.

Вахтенный матрос подошел к борту.

- Есть на бригантине,— сонно ответил он, вглядываясь в темноту.— Кого надо?

— Судя по голосу — это ты, Рексен. Встречай Битт-Боя.

— Битт-Бой?! В самом деле...— Матрос осветил фонарем шлюпку.— Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?

После поговорим, Рексен. Кто капитан?

Вы его едва ли знаете, Битт-Бой. Это — Эскирос, из Колумбии.

— Да, не знаю.— Пока матрос спешно спускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости.— Так вы таскаетесь с золотом?

Матрос засмеялся.

— О, нет,— мы нагружены съестным, собственной провизией нашей да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.

Он опустил трап.

— А все-таки золото у вас должно быть... как я понимаю это,— пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.

— Иное мы задумали, лоцман.

— И ты согласен?

— Да, так будет, должно быть, хорошо, думаю.

— Отлично. Спит капитан?

— Нет.

— Ну, веди.

В щели капитанской каюты блестел свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами.

Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собою, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым.

— Кто вы? Что привело вас? — спросил он, не повышая голоса.

— Капитан, я — Битт-Бой,-- начал лоцман,— может быть, вы слышали обо мне. Я здесь...

Эскирос перебил его:

— Вы? Битт-Бой, «приносящий счастье»? Люди оборачиваются на эти слова. Все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина; вот моя рука и признательность.

Битт-Бой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток; закурил, насильственно рассмеялся.

— К каким берегам тронется «Фелицата»? — спросил он.— Какой план ее жизни? Скажите мне это, капитан.

Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им,— вернее, намерения — толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться.

— Ну, что же... поговорим,— начал он.— Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не смогли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир — ближе и доступнее. Влечет он меня — весь, как в гости. Я одинок. Проделал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади — известно. К тому же есть у меня — была всегда — большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь с в о е путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще Скалистому Санди, а там — внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться, иногда — спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть — временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер,— ведь хорошо так, Битт-Бой?

— Я слушаю вас,— сказал лоцман.

— Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми, и, один по одному, набрались у

меня подходящие. Экипаж задумчивых! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якоры! Вы сказали, что знали Рексена...

— Я знал его и знаю по «Радиусу»,— удивленно проговорил Битт-Бой,— но я еще не сказал этого. Я... подумал об этом.

Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.

— Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?

— Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой.

Наступило молчание.

— Так в добрый час, капитан! — сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом.— Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу.

Приготовив записку, он передал ее Эскиросу.

Там стояло:

«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. «Обстоятельство» совершилось. Прощайте все,— вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня».

Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.

— Снимаемся! — крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.

В душе каждого несся, распевая, свой ветер: ветер кладбища у Битт-Боя, ветер движения — у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло десяти минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось впотьмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща, совершал круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.

Битт-Бой, взяв руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула Королева Ресниц.

«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево и вел так судно около мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя

вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.

Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как бы беззвучный окрик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них от угольно-черных башен крейсера падал на скалы Лисса огромный голубой луч.

— Не там ищешь,— сказал Битт-Бой.— Однако прибавьте парусов, Эскирос.

Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс.

Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, вверху; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки».

Не ворчи, океан, не пугай.
Нас земля испугала давно.
В теплый край —
Южный край —
Приплывем все равно.

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка без обмана
Пьет за всех, кому пить лень!

Ты, земля, стала твердью пустой:
Рана в сердце... Седею... Прости!
Это твой
След такой...
Ну — прощай и пусти!

Припев:

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка без обмана
Пьет за всех, кому пить лень!

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня
Корабли,
Да помилует нас!

Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к Эстампу, Битт-Бой спросил:

— Мальчик, он долго шпынял тебя?

— Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал.

Эскирос был весел и оживлен.

— Битт-Бой! — сказал он.— Я думал о том, как должны вы быть счастливы, если чужая удача — сущие пустяки для вас.

Слово бьет иногда насмерть. Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.

Эскирос вздрогнул. Выше левого соска, на побелевшей коже торчала язвенная, безобразная опухоль.

— Рак...— сказал он, трезвея.

Битт-Бой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.

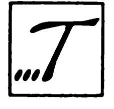
Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее, внизу услышалось только:

«Южный Крест там сияет вдали...», и после смутного эха, в захлопнувшуюся от качки дверь:

«...Да помилует нас!»

Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман Битт-Бой, «приносящий счастье».

УБИЙСТВО В КУНСТ-ФИШЕ



Так произошли вещи, о которых более логические умы принуждены думать лишнее; во всяком случае — придавать им расплывчатость и неопределенность, без чего им, пожалуй, не стоило бы и размышлять о происшествии в предместье Кунст-Фиш. На мой в то время пытливый взгляд — ожидалось торжество судебного следствия. Из этого правильно заключить, что — вообще — я думал нормально; лишь неопределенный страх гнал меня прочь отовсюду; отовсюду, где мне мерещилось преследование. Болезнь эта достаточно известна; ее симптомы изучены, ее явления однородны, поэтому я предлагаю сразу увидеть меня среди роскошных парков Кунст-Фиша, скрывающегося в кустах или перелезающего ограды с чувством смертельной опасности, сжимающей свой черный круг по всем путям, на кото-

рые ступал я. Ее не было, этой опасности, так же как у меня не было достаточного самообладания и рассудка, чтобы перестать мучить себя.

Когда луна скрылась, я почувствовал себя лучше: в тьме есть гарантии, важные злодеям и жертвам. В этот момент я находился перед стеной, покрытой виноградными лозами. Вокруг по смутно проступающей белизне статуй и скамеек едва можно было судить о направлении и расположении аллей. Чей был этот сад — я не знал, не мог также восстановить последовательность забросивших меня сюда условий, но помнил с горечью и отвращением к жизни, что страх — необъяснимый страх гнал меня весь день из конца в конец города; что я бродил, прятался, бежал и скрывался от неизвестных врагов, подстерегающих меня в толпе, за углами зданий и везде, где было место ступить ноге человеческой.

Вдруг луна вышла и озарила сад, выделив мою тень в тени кустов. Серебристо-трепещущие деревья стояли в центре черных кругов. Лужайки дымились. Я был виден, виден весь всем и каждому, кто захотел бы всадить нож или пулю в мою похолодевшую кожу.

В это время запел — очень далеко и спокойно петух.

Кого предостерегал он? Не было времени думать о нерешенной загадке его тройного ночного окрика. Казалось, силы ночи играют на его нервах в определенные часы,— что мог бы он рассказать сам?! Но мысль эта, как коротко пролитая струя, плеснула и разбилась бесформенно.

И я тотчас вернулся к своей главной заботе бежать. Быть может, за стеной крылись новые обстоятельства, новые спасительные условия. Я разыскал ящик, встал на него и перескочил по ту сторону стены.

В это время я уже чувствовал изнурение, требующее приюта. С наступлением утра припадок ослабевал; тени вечера обостряли его; ночь терзала, как пытка. Я хотел разыскать что-нибудь,— трещину, собачью конуру, подвал — все равно, лишь бы забыться сном, начинавшим мучить меня не менее сильно, чем страх. Осмотрясь, я увидел в кругу высоких дубов небольшой дом того легкого и острого типа, какой быстро вошел в моду с счастливой руки Дорна, застроившего немало загородных участков подобными зданиями.

Свет луны снова пошел на убыль, так что рассмот-

реть дом я мог только отчасти. В свете внутреннего окна, скрытого под навесом, выступала полукруглая терраса, и я довольно смело поднялся на нее по изящным ступеням, перевитым среди перил цветущим австрийским вьюнком. Как был уже поздний, глубоко ночной час — средина ночи,— то я не ожидал встретить на террасе людей, надеясь быстро разыскать среди ниш и внутренних лесенок, так как эти дома изобиловали подобными практически ненужными добавлениями,— тот безопасный угол и тьму, где мог бы заснуть. Я шел тихо, я двигался мимо единственно освещенного на террасу окна и на мгновение заглянул в него.

У камина стоял, ко мне спиной, стройный человек, подняв, как бы с намерением ударить нечто, на чем еще не остановилось мое внимание, бронзовые каминные щипцы; но он тихо опустил их и повернулся.

Следя за направлением его взгляда, я увидел молодую женщину, сидящую в низком кресле; ее ноги были вытянуты, лицо откинуто с напряженной и нетерпеливой улыбкой, которая, раз ожидаемое движение не совершилось, тотчас перешла в ласковое и смелое выражение. Тогда неплотно прикрытое окно позволило мне слышать их разговор.

Но прежде я укажу вам вещь, какую единственно угрожали разбить щипцы, единственно — потому, что на каминной доске более ничего не было.

Я говорю о небольшой фарфоровой статуе, изображавшей бегущего самурая, с рукой, положенной на рукоять сабли. Нечего говорить, что японцы вообще неподражаемы в жизненности этих своих изделий.

Желтое лицо с острыми косыми глазами и свисавшими кончиками черных усов, под которыми змеилась тонкая азиатская улыбка, так естественно отражало угрожающее движение тела, что хотелось посторониться. Он был в шитом шелками и золотом кимоно. За драгоценным поясом туго торчали две сабли. Левая нога, с отставшей от туфли пяткой, была как раз в том вытянутом положении, какое видал я в пьесе «Куросино», где японский артист, пав, ловит бегущего врага за ногу.

Более нечего сказать об этой небольшой статуе,— уже мое внимание было отвлечено коротким и странным разговором.

— В конце концов, это — ребячество,— сказал мужчина, сев рядом с той, кто продолжала смотреть на

самурая с задумчивой насмешливостью.— Ее можно убрать, Эта.

— Нет.— Женщина засмеялась, выразив смехом что-то обдуманное и злое.— Он хотел, чтобы подарок стоял здесь, в этой гостиной. Тем более что он связал с ним себя.

— То есть?

— Но, боже мой, пусть он смотрит, если ему так хочется, на меня с тобой глазами этого идола. Впрочем, ему никогда не везло в подарках; он покупает то, что нравится ему, а не мне.

— Не это же он хотел сказать?

— Тебе ли упрекать меня, Дик? Но я часто не знаю сама, что делаю, я слишком люблю тебя и ненавижу его. Но он скоро,— о! — слишком скоро,— вернется!

— Не думай, Эта. Пока мы вместе — сейчас.

— Но он сумел отравить это «пока».— Она взяла сумочку, где лежало письмо, расправила его на коленке и, подняв, стала читать тем тоном, каким читают газету:

«С некоторых пор меня все более тревожат, смущают мысли о тебе. Уже год, как мы расстались. Но нужно окончить дела, в них наше будущее. Я вижу, дорогая, странные и дерзкие сны: тебя целует другой.... прости, но это лишь сон... Твои письма нервны и коротки. Я приеду через месяц. Посылаю тебе старинную статуэтку самурая, купленную мной на аукционе,— вместо меня посылаю ее, так как долго с чувством свидания рассматривал эту вещь, зная, что твои глаза также увидят ее. Но я не умею сказать, что чувствую. Да сохранит и защитит тебя этот воин, как если бы я сам был с тобой».

— Я вижу только,— сказал Дик,— что твой муж, Эта, пламенно любит тебя. И он сильно тоскует. Прости мою вспышку и... щипцы.

Я смотрел. Они встали, обнялись, и я отступил со смущением, так как поцелуй был хорош. Что бы ни делали эти люди — они любили друг друга. Неожиданно свет погас.,

Обманывал меня слух или то твердило естественное мое волнение, но я чувствовал шорох, шепот, дыхание двух — и чувствовал, что теперь там свой и все отрицающий мир. Вдруг крик нарушил эту страстную тишину,— мертвящий, рассекающий душу вопль.

Я вздрогнул; лед и огонь смешались в моей душе. Еще теперь, по пугающему звуку воспоминания, я вижу,

как страшен был этот цепляющийся всем отчаянием своим за тьму крик существа, рухнувшего под ноги ужасу.

Он смолк, повторился, перешел в стон и исчез. Затем послышалось странное сухое и жесткое сцепление звуков, в которых решительно ничего нельзя было понять.

Довольно было мне и того, что перенес я до этого крика, до этой сцены, окончившейся так потрясающе мрачно. Не думаю, чтобы тряс я дверь, соображая, что-либо в те головокружительные мгновения. Но я сломал и распахнул дверь.

С помощью спичек я разыскал выключатель и осветил спокойно-роскошную комнату, где за поцелуем промчался и угас крик. Они лежали крест-накрест. Но я больше не мог рассматривать эту трепещущую, почти живую смерть, залитую кровью, еще лишь минуту назад цветущую розами и огнем. И я бежал в тьму, но где блуждал и где был — не знаю.

Как рассвело — бред кончился, и, в тысячный раз давая клятву не злоупотреблять более кокаином, я, дрожа от усталости и тоски, грелся вином в кафе, из окна которого видны были заставы и фермы.

Я сидел и вспоминал то, что рассказал вам, и вспомнил о том снова, со всей яркостью вторичного переживания, когда, уже днем, с ужасом споткнулся в газете о заголовок: «Загадочное убийство в Кунст-Фише».

Не столь отменно разрабатывая факты, ибо они, наверное, были подчинены приличию, сообщение детально останавливалось на характере ран, имеющих точный вид сабельных ударов, нанесенных сильной и холодной рукой.

Что было думать об этом? Но была выражена надежда, что экстренное возвращение Ван-Форта, мужа убитой женщины, «прольет свет» на ставящее в тупик происшествие,— я не помню, где еще я читал подобное выражение в таком же лишенном ограбления и всяких следов случае. Однако никто не может принудить людей «думать лишнее» — о чем упомянул я в начале этих страниц.

Мое сердце полно смирения, и я благодарю судьбу за взгляд, каким иду мимо точек и запятых среди строк.

ПРОПАВШЕЕ СОЛНЦЕ

I

Страшное употребление, какое дал своим бесчисленным богатствам Авель Хоггей, долго еще будет жить в памяти всех, кто знал этого человека без сердца. Не раз его злодейства — так как деяния Хоггея были безмерными, утонченными злодействами — грозили, сломав гроб купленного молчания, пасть на его голову, но золото вывозило, и он продолжал играть с живыми людьми самым различным образом; неистощимый на выдумку, Хоггей не преследовал иных целей, кроме забавы. Это был мистификатор и палач вместе. В основе его забав, опытов, экспериментов и игр лежал скучный вопрос: «Что выйдет, если я сделаю т а к?»

Четырнадцать лет назад вдова Эльгрев, застигнутая родами в момент безвыходной нищеты, отдала новорожденного малютку-сына неизвестному человеку, вручившему ей крупную сумму денег. Он сказал, что состоятельный аноним — бездетная и детолюбивая семья — хочет усыновить мальчика. Мать не должна была стараться увидеть или искать сына.

На этом сделка была покончена. Утешаясь тем, что ее Роберт вырастет богачом и счастливцем, обезумевшая от нужды женщина вручила свое дитя неизвестному, и он скрылся во тьме ночи, унес крошечное сердце, которому были суждены страдание и победа.

II

Купив человека, Авель Хоггей приказал содержать ребенка в особо устроенном помещении, где не было окон. Комнаты освещались только электричеством. Слуги и учитель Роберта должны были на все его вопросы отвечать, что его жизнь — именно такова, какой живут все другие люди. Специально для него были заказаны и отпечатаны книги того рода, из каких обычно познает человек жизнь и мир, с той лишь разницей, что в них совершенно не упоминалось о с о л н ц е[1]. Всем, кто

[1] Равным образом, ни о чем светящемся в небе — луне, звездах. Фергюсон — правая рука Хоггея, чаще других навещавший Роберта, приучил его думать, что люди сами не желают многого в этом роде.— *А. Г.*

говорил с мальчиком или по роду своих обязанностей вступал с ним в какое бы ни было общение, строго было запрещено Хоггеем употреблять это слово.

Роберт рос. Он был хил и задумчив. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, Хоггей среди иных сложных забав, еще во многом не раскрытых данных, вспомнив о Роберте, решил, что можно наконец посмеяться. И он велел привести Роберта.

III

Хоггей сидел на блестящей, огромной террасе среди тех, кому мог довериться в этой запрещенной игре. То были люди с богатым, запертым на замок прошлым, с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой. Кроме Фергюсона, здесь сидели и пили: Харт — поставщик публичных домов Южной Америки и Блюм — содержатель одиннадцати игорных домов.

Был полдень. В безоблачном небе стояло пламенным белым железом вечное Солнце. По саду, окруженному высокой стеной, бродил трогательный и прелестный свет. За садом сияли леса и снежные цепи отрогов Ахуан-Скапа.

Мальчик вошел с повязкой на глазах. Левую руку он бессознательно держал у сильно бьющегося сердца, а правая нервно шевелилась в кармане бархатной куртки. Его вел глухонемой негр, послушное животное в руках Хоггея. Немного погодя вышел Фергюсон.

— Что, доктор? — сказал Хоггей.

— Сердце в порядке,— ответил Фергюсон по-французски,— нервы истощены и вялы.

— Это и есть Монте-Кристо? — спросил Харт.

— Пари,— сказал Блюм, знавший, в чем дело.

— Ну? — протянул Хоггей.

— Пари, что он помешается с наступлением тьмы.

— Э, пустяки,— возразил Хоггей.— Я говорю, что придет проситься обратно с единственной верой в лампочку Эдисона.

— Есть. Сто миллионов.

— Ну, хорошо,— сказал Хоггей.— Что, Харт?

— Та же сумма на смерть,— сказал Харт.— Он умрет.

— Принимаю. Начнем. Фергюсон, говорите, что надо сказать.

Роберт Эльгрев не понял ни одной фразы. Он стоял и ждал, волнуясь безмерно. Его привели без объяснений, крепко завязав глаза, и он мог думать что угодно.

— Роберт,— сказал Фергюсон, придвигая мальчика за плечо к себе,— сейчас ты увидишь солнце — солнце, которое есть жизнь и свет мира. Сегодня последний день, как оно светит. Это утверждает наука. Тебе не говорили о солнце потому, что оно не было до сих пор в опасности, но так как сегодня последний день его света, жестоко было бы лишать тебя этого зрелища. Не рви платок, я сниму сам. Смотри.

Швырнув платок, Фергюсон внимательно стал приглядываться к побледневшему, ослепленному лицу. И как над микроскопом согнулся над ним Хоггей.

IV

Наступило молчание, во время которого Роберт Эльгрев увидел необычайное зрелище и ухватился за Фергюсона, чувствуя, что пол исчез, и он валится в сверкающую зеленую пропасть с голубым дном. Обычное зрелище дня — солнечное пространство — было для него потрясением, превосходящим все человеческие слова. Не умея овладеть громадной перспективой, он содрогался среди взметнувшихся весьма близких к нему стен из полей и лесов, но наконец пространство стало на свое место.

Подняв голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось, его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нем, зазвучав вихрем, и догадка, что до сих пор от него было отнято все, в первый раз громовым ядом схватила его, стукнувшись по шее и виску, сердце. В этот момент переливающийся раскаленный круг вошел из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки, по глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах.

— Он ослеп,— сказал Харт.— Или умер.

Фергюсон расстегнул куртку, взял пульс и помолчал с значительным видом.

— Жив? — сказал, улыбаясь и довольно откидываясь в кресле, Хоггей.

— Жив.

V

Тогда решено было посмотреть, как поразит Роберта тьма, которую, ничего не зная и не имея причины подозревать обман, он должен был считать вечной. Все скрылись в укромный уголок, с окном в сад, откуда среди чинной, но жестокой попойки наблюдали за мальчиком. Воспользовавшись обмороком, Фергюсон поддержал бесчувственное состояние до той минуты, когда лишь половина солнца виднелась над горизонтом. Затем он ушел, а Роберт открыл глаза.

«Я спал или был болен»,— но память не изменила ему; сев рядом, она ласково рассказала о грустном и жестоком восторге. Воспрянув, заметил он, что темно, тихо и никого нет, но, почти не беспокоясь об одино честве, резко устремил взгляд на запад, где угасал, проваливаясь, круг цвета розовой меди. Заметно было, как тускнут и исчезают лучи. Круг стал как бы горкой углей. Еще немного,— еще,— последний сноп искр озарил белый снег гор — и умер,— навсегда! навсегда! навсегда!

Лег и уснул мрак. Направо горели огни третьего этажа.

— Свалилось! Свалилось! — закричал мальчик. Он сбежал в сад, ища и зовя людей, так как думал, что наступит невыразимо страшное. Но никто не отозвался на его крик. Он проник в чащу померанцевых и тюльпанных деревьев, где журчание искусственных ручьев сливалось с шелестом крон.

Сад рос и жил; цвела и жила невидимая земля, и подземные силы расстилали веера токов своих в дышащую теплом почву. В это время Хоггей сказал Харту и Блюму: «Сад заперт, стены высоки; там найдем, что найдем,— утром. Игрушка довольно пресная; не все выходит так интересно, как думаешь».

Что касается мальчика, то в напряжении его, в волнении, в безумной остроте чувств все перешло в страх. Он стоял среди кустов, стволов и цветов. Он слышал их запах. Вокруг все звучало насыщенной жизнью. Трепет струй, ход соков в стволах, дыхание трав и земли, голоса лопающихся бутонов, шум листьев, возня сонных птиц и шаги насекомых — сливалось в ощущение спокойного, непобедимого рокота, летящего от земли к небу. Мальчику казалось, что он стоит на живом, теплом теле, заснувшем в некой твердой уверенности,

недоступной никакому отчаянию. Это было так заразительно, что Роберт понемногу стал дышать легче и тише. Обман открылся ему внутри.

— Оно вернется,— сказал он.— Не может быть. Они надули меня.

VI

За несколько минут до рассвета Фергюсон разыскал жертву среди островков бассейна и привел ее в кабинет. Между тем в просветлевшей тьме за окном чей-то пристальный, горячий взгляд уперся в затылок мальчика; он обернулся и увидел красный сегмент, пылающий за равниной.

— Вот! — сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться.— Оно возвращается оттуда же, куда провалилось! Видели? Все видели?

Так как мальчик спутал стороны горизонта, то это был единственный — для одного человека — случай, когда солнце поднялось с запада.

— Мы тоже рады. Наука ошиблась,— сказал Фергюсон.

Авель Хоггей сидел, низко согнувшись, в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, заставил его прижать руки к глазам; сквозь пальцы потекли слезы.

Проморгавшись, мальчик спросил:

— Я должен стоять еще или идти?

— Выгнать его,— мрачно сказал Хоггей,— я вижу, что затея не удалась. А жаль. Фергюсон, ликвидируйте этот материал. И уберите остатки прочь.

ПУТЕШЕСТВЕННИК УЫ-ФЬЮ-ЭОЙ

Это пролетело в Ножане.

Но прежде я должен объяснить, что страсть к путешествиям вовлекла меня в четыре кругосветные рейса; совершив их, я с простодушием игрока посетил, еще кроме того, отдельно, в разное время — Австралию, Полинезию, Индию и Тибет.

Но я не был сыт. Что я видел? Лишь горизонты по обеим сторонам тех линеек, какие вычертил собственной особой своей вокруг океанов и материков. Я видел крошки хлеба, но не обозрел хлеба. Не видел всего. Всего! И никогда не увижу, ибо для того, чтобы увидеть на земном шаре все, требуется, при благоприятных условиях и бесконечном количестве денег,— четыреста шестьдесят один год, без остановок и сна.

Так высчитал Дюклен О'Гунтас. Этому вы поверите, если я вам скажу, что для того, чтобы пройти решительно по всем улицам Лондона (только), надо пожертвовать три года и три месяца.

Итак, я устал и проиграл. Я почти ничего не видел на нашей планете.

Мое отчаяние было безмерно. В таком состоянии в Ножане 14 марта 1903 г. я вышел на улицу из гостиницы «Голубой Кролик».

В этот момент невиннейший ветерок змейкой промел уличную пыль.

Под ноги шаловливому ветерку бросился встречный малюсенький ветерок, от чего поднялся крошечный пыльный смерчик и засорил мне глаза.

Пока я протирал глаза, было слышно, как возле меня сопит и свистит, временами тяжело отдуваясь, некий человек в грязном и лохматом плаще. Плащ был из парусины, такой штопаной и грязной, что, надо думать, побыла она довольно на мачте. Его мутная борода торчала вперед, как клок сена, удерживаемая в таком положении, вероятно, ветром, который вдруг стал порывист и силен. На непричесанной голове этого человека черным шлепком лежала крошечная плюшевая шапочка, подвязанная под подбородок обыкновенной веревкой.

Как поднялась пыль, то я не мог толком рассмотреть его лицо... Черты эти перебегали, как струи; я припомнил лишь огромные дыры хлопающих, волосатых ноздрей и что-то чрезвычайно ветреное во всем складе пренеприятной, хотя добродушной, физиономии.

Мы как-то сразу познакомились, с первого взгляда. Положим, я был подвыпивши; кроме того, оба заговорили сразу, и к тому же я никогда не слышал, чтобы у человека так завлекательно свистело в носу. Что-то было в этом неудержимом высвистыва-

нии от нынешней капающей и скребущей музыки. И он дышал так громко, что с улицы улетели все голуби.

Он сказал:

— А? Что? Эй! Фью! Глаз засорил? Чихнул? Не беда! Клянусь муссоном и бризом! Пассатом и нордвестом! Это я, я! Путешественник! Что? Как зовут? Уы-Фью-Эой! Ой! А-а! У-у-ы!

Я не тотчас ответил, так как наблюдал охоту степенного человека за собственным котелком. Котелок летел к набережной. Оглянувшись, я увидел еще много людей, ловивших что бог пошлет: шляпы, газеты, вырванные из рук порывом пыльной стихии; шлепнулся пузатый ребенок.

— Ну, вот...— сказал Фью (пусть читатель попробует величать его полным именем без опасности для языка),— всегда неудовольствие... беготня... и никогда... клянусь мистралем, ну, и аквилоном... никогда, чтоб тихо, спокойно... А хочется поговорить... уы... у-у-у... по душам. Нагнать, приласкать. А ты недоволен? Чем? Чем? Чем, клянусь, уже просто — зефиром, с чего начал.

Кто объяснит порывы откровенности — искренности, внезапного доверия к существу, само имя которого, казалось, лишено костей, а фигура вихляется как надутая воздухом. Но сей бродяга так подкупающе свистел носом, что я сказал все.

Фью загудел: «Ах так? Клянусь насморком! Клянусь розой ветров! Везде быть? Все видеть? Из шага в шаг? Все города и дома? Все войны и пески? Забрать глобус в живот? Ой-ой-ой-ой! Фью-фью! Это я видел! Я один, фью! И никто больше! Слушай: клянусь братом. С тех пор как существует что-нибудь, что можно видеть глазами,— я уже везде был. И путешествовал без передышки. Заметь, что я никогда не дышу в себя, как это делаете вы раз двадцать в минуту. Я не люблю этого. Хочешь знать, что я видел? Как раз все то, что ты не видел, и то, что ты. Что англичане? Дети они. Возьми проволоку и уложи в спираль вокруг пестрого шара от полюса до полюса, оборот к обороту — это я там был! Везде был! Помнишь, когда еще не было ничего, кроме чего-то такого живого, скользкого и воды? И страшнейших болот, где, скажем, тогдашняя осока толщиной в мачту. Ну, все равно. Я путешествовал на трире-

мах, галиотах, клиперах, фрегатах и джонках. Короче говоря, на каком месте ты ни развернешь книгу истории...»

— Жизненный эликсир,— сказал я,— ты пил жизненный эликсир?

— Я ничего не пью. И ты не пей. Вредно! Клянусь сирокко! Пей только мое дыхание. Слушай меня. Я врать не буду. Хочешь? Хочешь пить дыхание? Мое! Мое! Клянусь ураганом!

Мы в это время подошли к набережной, где немедленно, на разрез течению, бросился по воде овал стремительной ряби, а плохо закрепленные паруса барок, выстрелив, как бумажные хлопушки, выпятились и уперлись в воздух. Крутая волна пошла валять лодки с борта на борт.

— Да, выпить бы чего...— пробормотал я.

В тот же момент пахнуло нам в лицо с юга. Странный, резкий и яркий, как блеск молнии, аромат коснулся моего сердца; но ветер ударил с запада, дыша кардифом и железом; ветер повернул ко мне свое северное лицо, облив свежестью громадного голубого льда в свете небесной разноцветной игры; наконец, подобный медлительному и глухому удару там-тама, восточный порыв хлынул в лицо сном и сладким оцепенением.

Вдруг вода успокоилась, облака разошлись, паруса свисли. Я оглянулся: никого не было. Только на горизонте нечто, подобное прихотливому облаку, быстро двигалось среди белых, ленивых туч с вытянутым вперед обрывком тумана, который, при некотором усилии воображения, можно было счесть похожим на чью-то бороду.

Ах, обман! Ах, мерзостный, все высмыгавший, все видевший пересмешник! О, жажда, ненасытная жажда видеть и пережить все, страсть, побивающая всех других добрых чертей этого рода! Ветер, ветер! С тобой всегда грусть и тоска. Ведь слышит он меня и стучится в трубу, где звонко чихает в сажу, выпевая рапсодию.

Шалун! Я затопил печку, а он выкинул дым.

ГЛАДИАТОРЫ

Повторяю,— я ничего не выдумываю. После долгого периода, после несказанных нравственных мучений, после молчания, вынужденного рядом тягчайших обстоятельств, я получил возможность открыть кое-что, но еще далеко не все, об Авеле Хоггее, человеке, придумавшем и выполнившем столь затейливые и грандиозные преступления,— единственно удовольствия и забавы ради,— что, когда будут они описаны все, многими овладеет тяжесть, отчаяние и ярость бессилия.

Наступил вечер, когда вилла Хоггея «Гауризанкар» наметила огненный контур свой в холмистом склоне садов. Здание было иллюминовано. Казалось, ожидается съезд половины города, между тем подобные вечера редко посещались более чем шестью лицами, не считая меня. Никто посторонний, подозрительный, ненадежный не мог посетить их, тем более оргию того рода, какая предполагалась теперь. Но шесть человек, подобных самому Авелю, участвовали в его затеях почти всегда, хоть не могли тратить так много денег, как он, особенно на покупку людей.

«Пусть будет сегодня Рим»,— сказал жене Хоггей, когда я рассматривал мраморные колонны, увитые розами, и, бросая взгляд на огромные столы, чувствовал все ничтожество современного желудка перед изобилием, точно повторяющим безумие древних обжор. Разумеется, это была более декорация, чем ужин,— едва ли тысячную часть всего могли съесть Хоггей и его гости,— но он хотел полного впечатления... «Рим»,— повторял он своим тихим, не знающим возражений голосом, и точно — воскресший Рим глянул вокруг нас.

Единственно, что нарушало иллюзию,— это костюмы. Сесть в триклинуме во фраке, не делаясь нимало комичным,— так поступить мог только Хоггей. Он презирал покупаемое, презирал Рим. Стерс высчитал, что, обратив состояние Хоггея в алмазы, можно было бы нагрузить ими броненосец. Такие вещи делают фрак величественным. Его друзья, его неизменные спутники, имена которых шуршат сухо, как банковые

билеты: Гюйс, Аспер, Стерс, Ассандрей, Айнсер и Фрид,— отсвечивали меньшим могуществом, но в тон тех групп алмазов, которыми мог бы обернуться Хоггей. Естественно, что тога, туника, сандалии могли и не быть. Над белыми вырезами фраков поворачивались желтые сухие глаза владык.

Воспоминание сохранило мне смуглые руки рабынь, блеск золота и вихри розовых лепестков, слоем которых был покрыт пол, когда рой молодых девушек, вскидывая тимпаны, озарил грубое пьянство трепетом и мельканием танцев. Я погрузился в дикий узор чувств, напоминающий бессмысленные и тщетные заклинания. Яркость красок била по глазам. Музыка, подтачивая волю, уносила ее с дымом курений в ослепительное Ничто.

В то время, как пьянство и античный разврат (когда он не был античен?) развязывали языки, Хоггей молчал; лишь три раза сказал он кому-то «нет». Так сонно, что я подумал самое худшее о его настроении.

Но не успел я обратиться к нему по своей обязанности врача с соответствующим вопросом, как он, хрустнув пальцами, крикнул мне: «Фергюсон, ступайте к бойцам, осмотрите и выведите. Вино не действует на меня!»

Повинуясь приказанию, я отправился к гладиаторам. То были два молодых атлета, купленные Хоггеем для смертельной борьбы. Я застал их вполне готовыми, в тихой беседе; крепко пожав друг другу руки, они взяли оружие и сошли вниз.

Я знал условия. Оставшийся живым получал 500 тысяч, вдвое большую сумму получала семья убитого. Так или иначе, они жертвовали собой ради своих близких. У меня не было мужества посмотреть им в глаза. Конечно, все сложные объяснения по поводу трупа были уже придуманы; недосмотр покрывался, как всегда, золотом.

Да простит мне читатель эту сухость, это отвращение к подробностям, я только прибавлю, что их тренировал Больс.

Временно умолк говор, когда два стальных мужских тела, блестя бронзой вооружения, звонко сошли по лучезарной, полной цветов лестнице к взорам гостей. «Подождите, мы заключим пари»,— сказал Гюйс. Немедленно были заключены пари. Сам Хоггей, которому было все равно — выиграть или проиграть,

покрыл кляксами миллионный чек. Наконец подал он знак.

Я был близко, так близко к сражающимся, что слышал перебой их дыхания. Они разошлись, сошлись; перед метнувшимися вверх щитами звякнули их мечи. Все чаще встречались клинки; в свете люстр, отброшенные его заревом, трепетали светлые дуги. Но оба были искусны. Ни один удар не обнаруживал растерянности или трусливой поспешности; казалось, они фехтуют. Лишь особый трепет рокового усилия, заключенный в каждом ударе, показывал, что борьба не шуточная.

Если еще был у зрителей остаток пьяной флегмы, то он исчез, уступив кровожадному азарту. Все повскакали. Некоторые подошли совсем близко, криками и жестами ободряя самоубийц. Бой затянулся, искусство соперников, очевидно, становилось меж ними и заветной наградой. Тем временем поощрения приняли оскорбительный характер ударов хлыста. «К делу! — ревел Хоггей.— Убей его! Я плачу только за короткие удовольствия!» — «Коровы!» — орал Фрид. «Это драка пьяных!» — взывал Аспер. «Ударьте их в зад!» — «Суньте им в нос огня!» Такие и им подобные восклицания повторялись хором. Раздался треск, лопнул один щит, и гладиатор сбросил его. «Проткни мясо!» — сказал Хоггей.

Вдруг разом опустились мечи, последнее восклицание вызвало и опередило развязку. «Ральф,— сказал старший боец младшему.— Ты слышал! Я теперь действительно не владею собой. Я продал жизнь, но не продавал чести, следуй за мной!» И их мечи свистнули по толпе. Отступив за колонну, я видел, как Хоггей рухнул с рассеченной головой. Разразилось исступление, наполнившее зал кровью и трупами. Меньше всех растерялся Ассандрей, лишенный нервов. Он стрелял на расстоянии четырех шагов. Нападающие им были убиты, но из зрителей уцелело лишь трое.

Уэльслей был мертв, Ральф, испуская последнее дыхание, приподнялся и плюнул Ассандрею в лицо:

— Виват, Цезарь! Умирающие приветствуют тебя!

Он п р о х р и п е л это, затем испустил дух.

ПРИКАЗ ПО АРМИИ

Великая европейская война 1914—1917 гг. была прекращена между Фиттибрюном и Виссенбургом обывательницей последнего, девицей Жанной Кароль, девяти лет и трех месяцев. Правда, эта война была прекращена не совсем, не более как, может быть, на один час и только в одном месте,— что до этого? Важно событие.

Часов около пяти пополудни на пыльной дороге, огибавшей лес, носивший местами следы крупной вырубки, показались два существа, из которых одно, побольше, бунтовало и густо ревело, утирая окровавленными руками вспухшие от слез глаза, а другое, поменьше, настойчиво влекло первое по направлению к крышам деревни. Уцепившись за братнину рубашку, девочка резко дергала ее каждый раз, как только мальчик, вспоминая о мужской самостоятельности, начинал вырываться, крича:

— Ступай к черту, Жанна! Не твое дело. Не пойду!

Но он тем не менее шел отлично и довольно скоро, сопротивляясь более по привычке, чем серьезно. Ему было 11 лет. Его мужское чувство, источник презрения к «девчонкам», было опрокинуто и уничтожено ударом кулака в нос. Он затеял драку и ретировался с позором. Жанна сердилась, но и жалела его; все произошло на ее глазах.

— Пожалуйста, не реви,— говорила она,— нам надо торопиться; дома, наверное, уже беспокоятся, и все по твоей милости. Как хорошо, что я была тут. Уж и измочалили бы тебя.

— Хы...— ревел Жан,— я их сам измочалю; погоди, как встретим в другой раз, я покажу. Хы. Вдвоем каждый может. Нет, ты испробуй один на один, вот сейчас. С грязью смешаю.

— Вот ты бы и не дразнил их.

— Я не дразнил.

— Врешь. Ты же бросал им вдогонку камешки и кричал: «Фиттибрюнский домовой лезет в кашу с головой! Ты головку обсоси, съешь и больше не проси». А ты же знаешь, что фиттибрюнские на стенку прут, как им сказать это?

— Эх, дура ты, дура! — вскричал Жан.— Что ты смыслишь в наших делах вообще? Девчонка. А это ничего, что они поют: «В Виссенбурге на сосне видит мясо мышь во сне»...

— Ну, поют, а теперь не пели; ты сам раздразнил их.

— Все равно; все они жулики.

Этот решительный аргумент приободрил Жана и временно парализовал девочку. Споря, оба разгорячились и остановились.

За их спиной стоял лес; впереди, пониже дороги, пестрела обширная вырубка с кустами и пнями среди стен дров, занимавших большую часть открытой равнины. Дрова эти, составленные тесными линиями четырехугольников, не позволяли ничего видеть далее двадцати шагов.

Уже третий день в окрестности шли бои; иногда дым на горизонте указывал пожар далекой деревни. Непрерывно падали за горизонтом тяжелые пушечные удары; и тогда, казалось, к ногам, остановясь, подкатывается чуть слышный толчок.

— Тебе когда-нибудь здорово попадет с твоим языком,— сказала девочка.— Что? Из носа-то что течет? Небось не сливки.

— Кровь,— сказал Жан, рассматривая запачканные пальцы.— Ничего. Мы, мужчины, должны приучаться сражаться. А вы будете шить и плакать.

— Видать, что сражался. Глаз-то какой толстый стал.

— А наплевать. Все надо стерпеть. Зато как вырасту и поступлю в солдаты, станут говорить: «Эге, Жан Кароль будет генералом».

— Это ты-то?

— А что же? Вон сколько дров! Смотри. Сколько солдат на свете, и еще больше. Все они могут стать генералами и отвоевать знамя. А тебе нечего делать у нас.

Жанна задумалась. Машинально держась за рукав мальчика, смотрела она на раскинутые по вырубке стены дров, представляя, что все это босоногие Жанны с раскрашенными носами. В ее маленькой душе жила отвага ее знаменитой тезки, но отвага, направленная к поучению и примирению. Ее глазки блеснули.

— И я бы вас встретила,— вскричала она.— Уж

я бы вас отчитала. Вот, Жан, если все эти дрова станут солдатами и закричат на меня, я им скажу: «Ступайте домой, солдаты. Отдаю вам приказ по всей армии: драться нехорошо. У нас курицу сегодня зарезали, вот так и вас всех зарежут. И постреляют! У-у! Пошли, пошли. Разойдитесь. Наплачешься с вами, как вас побьют. Мы тоже скоро уедем; уж по деревне все отцы говорят, что здесь нельзя жить. Чего дома не сидите? Чего пришли? Раздумайте-ка воевать. Чтобы и духу вашего не было. А то устанете и к обеду опоздаете».

Она воодушевилась, проголосив эту тираду стремительным и сердитым звонком, но тут же соскочила с пня, на который встала ради величия, и спряталась за Жана, успевшего только закричать: «Ай!» Над поленницами взлетели сотни фуражек, и вся засада французов, выступив из-за прикрытия, где отлежала бока, поджидая делавший обход германский эскадрон, с хохотом повалила к девочке.

Судьбе угодно было показать и второй конец этого эпизода. Еще Жанна сидела на плече рослого пехотинца, который, вертясь волчком, звал всех идти полюбоваться «на исчадие антимилитаризма, опасное, как змея» — как, градом прошумев в лесу, выкатился конный отряд.

Неожиданность, венчаемая малюткой, видимой подобно знамени всем, произвела мгновенное действие холостого выстрела. Положение было странное и глупое. Щелкнули затворы драгун, но дула опустились; француз стал вертеть над головой носовой платок.

— Дальше, дальше, боши! — вскричала засада.— Мы обедаем. Читаем «Берлинер Тагеблат».

И понемногу завязался разговор. Он кончился благополучно, как обычно кончаются подобные случаи непредвиденного помешательства, и стычки не произошло. Детей вывели на дорогу, приказали им идти домой. Жан злился.

— Дура, ты все спутала,— говорил он.— Вот попало бы драгунам на орехи.

— Ну, иди же, иди,— хмуро сказала девочка.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ИГРОК

I

Воспой, о муза, человека четвертого измерения — зеленого стола,— так как именно в картах или, вернее, нераскрытых доныне законах их комбинаций, заключена таинственная философская сфера — вещественное и невещественное, практическое и умозрительное, физическое и геометрическое,— предел всем человеческим мерам, за которым всякий расчет столь неясен, что самый острый ум в соединении с отточенной интуицией является картонным мечом. Исход сражения предуказан. Острый ум гибнет, и только дурак, по безобидной терминологии «добрых людей», является в игре карт надежно вооруженным чем-то таким, что позволяет ему с завязанными глазами уверенно идти там, где нет ни входов, ни выходов.

Однако был человек, решивший объемистую эту задачу путем своеобразного расчета, секрет которого унес с собой в мрак могилы, а умер он потому, что встретил могущественное препятствие, помешавшее ему воспользоваться плодами невероятных своих трудов.

В 1914 году Нью-йоркский клуб «Санта-Лючия» только что открыл свои роскошные помещения для бесчисленных аргонавтов, собирающих, где не теряли, и жнущих, где не посеяли. Потомство Джека Гэмлина восседало под звуки очаровательного оркестра среди столь художественной обстановки, полной утонченного замысла картин, статуй и гобеленов, что только рыжая душа янки могла остаться нечувствительной к окружающему ее великолепию, сосредоточив весь жар свой на числе очков. Приличие не нарушалось. Дьявольский узор чувств был безупречно прикрыт лоском; играла музыка, и освежающее веяние серебристых фонтанов придавало происходящему магическую прелесть «Летней фантазии» Энсуорта, разыгрываемой в четыре руки.

Вдруг раздался крик.

Взгляды всех обратились к столу, где молодой человек с бледным лицом, стройный, красивый, хорошо одетый, с яростью, но сохраняя достоинство в движениях и в выражении лица, рвался из рук двух сильных крупье, схвативших его за кисти,— одна разжалась,

и на стол, сверкая, вместе с золотом просыпалась колода карт. Крупье поспешно собрали ее.

Подобные происшествия отличаются тем, что для освещения их случай посылает обыкновенно человека, обладающего даром слова. Такой человек уже был тут, он стоял, ждал и выполнил свое предназначение коротким рассказом:

— Как только он сел, я почувствовал содрогание,— предчувствие охватило меня. Действительно, менее чем в полчаса мне пришлось расстаться с двадцатью тысячами долларов, ни разу не взяв при этом. Не менее, если не более, пострадали Грант, Аймер, Грантом. Еще ранее удалился Джекобс, присвистнув, с бледным лицом. Короче говоря, молодой человек держал банк, всех бил и никому не давал. Я не помню такого счастья. Он приготовлялся тасовать третью талию, но так неловко подменил колоду, что был немедленно схвачен. Теперь я, Грант, Аймер, Грантом и Джекобс отправимся в кабинет директора клуба получить проигранное обратно.

И он ушел, Грант, Аймер, Грантом и Джекобс последовали за ним, сопровождаемые толпой дам, улыбающихся, воздушных, прекрасных — и совершенно невозможных в игре, так как они сварливы и жадны.

II

Дела подобного рода разбирались в «Санта Лючия» без свидетелей; оттуда иногда доносились вопли и проклятия избиваемых артистов темной игры; и ничто не указывало на тихий исход казуса; однако арестованный молодой человек, будучи введен в кабинет, потребовал во имя истины, которую он решился открыть, совершенного удаления всех посторонних, а также жертв своих замечательных упражнений.

Лакеи, уже засучившие рукава, вышли, покашливая неодобрительно; двери были плотно закрыты, преступная колода водружена на столе, и воинственно дышащие четыре директора, один другого мясистее, апоплексичнее и массивнее, стали вокруг изобличенного непроницаемым ромбом.

Лицо уличенного нервно подергивалось; но ни стыда, ни растерянности, ни малодушия не было заметно

в полных решительного волнения прекрасных чертах его; ничто в нем не указывало мошенника, напротив, казалось, этому лицу суждены великие дела и ослепительная судьба.

— Я сказал, что дам объяснения, и даю их,— заговорил он высокомерно,— я скажу — что, но оставлю при себе — как. Меня зовут Иоаким Гнейс. Мой дедушка был игрок, мать и отец — тоже. С одиннадцати лет мною овладела идея беспроигрышной колоды. Она обратилась в страсть, в манию, в помешательство. Я изучил все шулерские приемы и все системы, составители которых с радугой в голове не знают, где приклонить голову. Но я хотел честной игры.

Постоянное размышление об одном и том же с настойчивостью исключительной привело к тому, что я мог уже обходиться для своих опытов без карт. На улице, дома, в лесу или вагоне меня окружали все пятьдесят две карты хороводом условных призраков, которые я переставлял и соединял в уме как хотел.

Так прошло восемь лет. Чувствуя приближение кризиса — решения невероятной задачи, преследуемой мной, я удалился в заброшенный дом, где почти без сна и еды семь дней созерцал движение знаков карт. Как Бах увидел свое произведение, заснув в церкви, собранием архитектурных форм несравненной красоты и точности, так вдруг увидел я свою комбинацию. Это произошло внезапно. В бесплотной толпе карт, окружавшей меня, пять карт выделились, сгруппировались особым образом и поместились в остальной колоде таким образом, что сомнений более не было. Я нашел.

Суть моего изобретения такова. Вот моя колода карт — без крапа, без фальсификации; одним словом — колода честных людей. Я примешиваю ее к талии. После этого тысяча человек могут тасовать талию и снимать как хотят,— я даже не трону ее. Но у меня всегда при сдаче будет очков больше, чем у остальных игроков.

— Что же я делаю для этого?

Я беру из этой колоды шесть карт; каких — я не скажу вам. Пять я смешиваю в известной последовательности, вкладывая в любое место колоды. Шестую карту кладу предпоследней снизу. Затем эта колода, в числе произвольного количества колод, может

быть растасована как угодно — я всегда выиграю. Меня погубила неловкость. Но шулером назвать меня вы не можете.

III

Пораженные директоры, с целью проверить слова Гнейса, пригласили экспертов, опытных игроков во все игры, людей, судьба которых переливала всеми цветами спектра звезды, именуемой — Счастье Игрока. Десять раз перемешивали они колоду, сложенную тайно от них по своему способу Гнейсом, и не случалось ни разу, чтобы карты, выпавшие ему на сдаче, проиграли. У него всегда было больше очков.

Взгляд презрительного, глубокого сожаления, брошенный на молодого изобретателя игроком Бутсом, заставил Гнейса вспыхнуть и побледнеть. Он встал, Бутс вежливо удержал его.

— Ум, направленный к пошлости,— кратко сказал он,— талант хама, гений идиотизма. Вы...

Но Гнейс бросился на него. Схватка, предупрежденная присутствующими, еще горела в лицах противников. Гнейс тяжело дышал, Бутс пристально смотрел на него, сжав свои старые, тонкие губы.

— Я с намерением оскорбил вас,— холодно сказал он.— В вашем лице я встречаю гнусный маразм, отсутствие воображения и плоский расчет. Игра прекрасна только тогда, когда она полна пленительной неизвестности. И жизнь — тоже. То и другое вы определяли бухгалтерским расчетом. Поэтому, то есть для вящего удовлетворения вашего, я предлагаю решить наш спор вашей колодой; мы сыграем вдвоем.

Гнейс рассмеялся.

Были стасованы и сданы карты; перед тем колода, сложенная им особо, была пущена в талию. «Кто проиграл, тот стреляется,— сказал Бутс,— у кого меньше очков, тот умер».

— Семь,— сказал, перевернув карты, спокойный Гнейс.

— Девять,— возразил Бутс.

Гнейс подержал карты еще минуту, побелел, схватился за воротник и упал мертвым. Его сердце не перенесло удара.

— Так бывает,— сказал в конце всей этой сцены

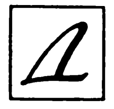
Бутс потрясенным свидетелям,— по-видимому, его открытие только иногда — редко, может быть, раз в десять лет — подвержено некоторому отклонению. Но в общем — система не имеет себе р а в н о й. Он проиграл.

СЛОВООХОТЛИВЫЙ ДОМОВОЙ

Я стоял у окна, насвистывая песенку об Анне...

Х. Хорнунг

I



омовой, страдающий зубной болью,— не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это быль,— маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая нечесаной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал — жалостно, как ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание.

Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть...

— Теперь все равно,— сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе,— все равно, тебе никто не поверит, что ты видел меня.

Сделав на всякий случай из пальцев рога улитки, то есть «джеттатуру», я ответил:

— Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст.

— И-ох. Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда,— возразил маленький домовой.— Вот послушай. Я расскажу, так и быть. Все равно у меня болят зубы. Когда говоришь — легче. Значительно легче... ох. Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему.

Мои-то, мои,— он плаксиво вздохнул.— Мои-то, ну,— одним словом,— наши,— давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять.

Оглянись — дыры в потолке и стенах, но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой, занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу; пол ярко натерт; плита, на которой ты сидишь, как на холодном, могильном памятнике, красна от огня, и клокочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром.

Неподалеку были каменоломни — гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена — пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену — Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот, если тебе это нравится, то она была точно такая.— Здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника из набившейся годами земли, и демонстративно преподнес мне.— Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой; для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся,— в этом есть магия, великое знание прекрасной души, но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки; люди непроницательны.

«Анни! — весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе.— Я не один, со мной мой Ральф». Но шутка эта повторялась так часто, что Анни, улыбаясь, без замешательства сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга,— она бежала к нему, а он приносил ее на руках.

По вечерам он вынимал письма Ральфа — друга своего, с которым провел часть жизни, до того как женился, и перечитывал вслух, а Анни, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах и жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который слышишь протяжный звон.

«Он скоро приедет,— говорил Филипп.— Он бу-

дет у нас, когда его трехмачтовый «Синдбад» попадет в Грес. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам».

Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа; тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку: нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра. Вечное волнение. Вечная музыка берега и моря.

Я не слышал, чтобы они ссорились,— а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодно взглянули они,— а я все вижу. «Я хочу спать»,— говорила вечером Анни, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: «Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с тобой?» Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза: «Ворона ходит по крыше; ветер шумит в деревьях; камни блестят в ручье,— спи и не ходи босиком».

Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет; потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли лунных лучей феи замечательные ковры.

II

— Ну, слушай... Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп, с записной книжкой в руке, отмечал груды гранита, а Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом — и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос.

Наши лесные дороги — это сады. Красота их сжимает сердце, цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так

как глаза устают от него и бродят бесцельно; желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего.

Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят, но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец, он остановился; продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут.

Он был смугл — очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнея еще больше и ярче; а светлые глаза женщины кротко блестели.

Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи.

Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука; тогда он протянул руку, и она — медленно — протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову — осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись.

Потом они разошлись — и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему:

— Вот Ральф; он пришел.

— Пришел, да.— От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но наконец бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца: — Анни ты уже видел, Ральф. Это она.

Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи.

— Ты поживешь у нас, Ральф; мы все покажем тебе. И поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя.

Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом своим, затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей.

— Я вернусь,— сказал Ральф.— Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Потому

я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за ним.

Они условились и расстались. Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне.

— Ральф вернулся?

— Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело.

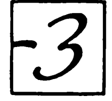
— А те?

— Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода и жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом, полуседой, потом он исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого?.. Зубы болят, и я не могу понять...

— Так и будет,— вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, немытую лапу.— Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые — непроницательны.

БУНТ НА КОРАБЛЕ «АЛЬЦЕСТ»

I



амечали ли вы что-нибудь раньше? Были ли таинственные разговоры? Дерзости, неповиновение? И вообще, черт возьми, как это могло случиться под самым у нас носом?

— Увы, капитан,— ответил его помощник Фекан,— этот сброд, как вы знаете, был нанят в Багашойо всего две недели назад. Я никого не виню. Надо было воспользоваться хорошим ветром, белых не подвернулось; это я понимаю. Мы все торопились.

— Клянусь экватором,— сказал капитан,— говорите короче: валяли они дурака или нет?

— Нет. Все шло хорошо.

— Было, как я уже рассказал,— перебил боцман, держа зубами конец бинта, которым он спешно обматывал раненную ножом руку.— Они взбесились, сошли с ума; у них какой-то непонятный нам замысел. Когда я стоял у трюма, Самбо сделал вид, что скатывает

брезент очутился у моих ног, дернул меня за щиколотку, и я грохнулся затылком о палубу, но защитился этой рукой. Вы знаете их ножи. От скуки они точат их каждый день. Не так больно, но лезвие скользнуло насквозь. Мне не забыть выражение его лица, когда я оглушал его кулаком. В то время, спасаясь от четырех, стрелявших по нем, как в зайца, промчался Фекан,— вы были в каюте...

— Да, пасьянс вышел,— вставил капитан,— и вышел бы еще раз, как взлетели вы с посиневшими физиономиями. Когда были скрадены ружья?

— По-видимому, сегодня ночью, во время моей вахты.— Фекан тяжело дышал, след произведенных неграми в него выстрелов еще не скрылся из глаз, горевших тяжелым страхом.— Исчез и ящик с патронами. Счастье, что они плохо стреляют, иначе я не стоял бы теперь в этой каюте.

Все трое пристально смотрели друг на друга, с силой совершенного непонимания, вызванного внезапным наступлением отчаянной борьбы.

Капитан посмотрел на дверь, к которой был придвинут тяжелый стол, и стал слушать. Сверху доносился топот перебегающих негров; он стих; прозвучал крик, перемешался с ответными восклицаниями; затем в неясном шуме этом наметилось что-то согласное и решительное.

— Идут сюда,— сказал Стерс,— капитан. Идет один. Ну, сейчас все узнаем. Фекан, не ухмыляйтесь над моими пасьянсами, они помогают иметь нужные мысли; катите этот бочонок.

Боцман вопросительно оглянулся, затем, поняв, о чем говорит Стерс, схватил широкими своими ладонями дубовый бочонок, вместительностью пятнадцать галлонов, стоявший у койки Стерса в виде ночного столика, и переставил его поблизости двери.

— Он пустой,— сказал боцман.

— Хорошо, хорошо; ставь против замочной скважины; вот так. К тому же бочонок этот не пуст, это — пороховой бочонок.— И Стерс подмигнул.— Но я не собираюсь взорвать судно, нет. Однако мы разведем такую негритянскую дипломатию, что о ней долго будут говорить на восточном и западном берегах.

Фекан и боцман не поняли Стерса, но скоро им предстояло понять все, и они вынесли это драмати-

ческое испытание с невозмутимостью наемных свидетелей.

На столе, приставленном к двери, лежали два револьвера. Услышав быстрое дыхание негра, спустившегося по трапу к двери и остановившегося, стали прислушиваться. Стерс взял револьвер и отодвинул стол так, что, баррикадируя дверь, позволял теперь видеть в замочную скважину часть каюты с бочонком посередине ее.

— О, о! — вскричал негр, услышав возню — музунгу [1] Стерс! Стерс слышит. Он здесь. Это я, Самбо, посланный говорить.

— Говори, негодяй,— сказал Стерс.— Что вы хотите делать?

— Вы погибли, умрете.— Негр сделал паузу с расчетом ошеломить.— У вас нет воды и еды, а ружья у нас.

— Да вы украли их.

— Пусть будет — украли. Вас — четыре...

Здесь осажденные оглянулись, не понимая, о ком четвертом говорит Самбо, однако он скоро еще более изумил их.

— Все — четверо,— вкрадчиво и грозно продолжал негр,— и один из вас — женщина, значит, вас не четыре, а три... Нас десять и еще шесть. Вот сколько нас и восемь ружей.

— Подумаешь,— процедил Стерс.

— Ты будешь думать, музунгу. Я уже думал. Все решено нами.

Тут Фекан и боцман не выдержали.

— Что за околесицу несет черномазый,— вскричал Фекан,— о какой женщине он болтает. Вы понимаете, Стерс?

— Кое-что, но смутно. Дадим ему высказаться. Продолжай, багашойская обезьяна, и моли бога, если я терпеливо выслушаю тебя.

Негр за дверью презрительно фыркнул.

— Самбо не боится,— сказал он угрюмо.— Самбо говорит, музунгу — слушай. Никто не тронет вас, если сядете в шлюпку и поедете к берегу. Мы дадим запасов. Но вы оставите нам белую красивую женщину, которую музунгу Стерс прячет в своей каюте.

— Ни слова, ни слова! — заорал Стерс Фекану, пы-

---

[1] Капитан, начальник.— *А. Г.*

тавшемуся разразиться ехидной бранью полнейшего недоумения.— Представьте все одному мне! Продолжай, Самбо!

Негр, помолчав, шумно и тяжело вздохнул. Мрачно заговорил он теперь, с злобным воодушевлением человека, делающего последнюю ставку.

— Музунгу Стерс, я видел ее на прошлой неделе, когда выносил мыть твою койку. Она стояла в углу. Ты там спрятал ее... и я не мог смотреть на все долго, потому что ты выгнал меня. Но Самбо видел, он хочет теперь белую женщину. Ее лицо прекрасно, оно розовое и белое, как цветок олеандра. Ее волосы цвета солнца, а глаза подобны чистому вечернему небу. Ее грудь белая, и жирная, и красивая. Самбо любит белую женщину. Он раз видел ее, но, увидев, рассказал остальным, и они, как и я, хотят владеть этой женщиной, красоту которой тебе не удалось спрятать от глаз Самбо. Отдай ее нам и уезжай с музунгу Феканом, боцман тоже может уехать с вами, хотя он больно дерется. Вот все Самбо сказал.

Еще никогда Стерсу не приходилось попадать в такой сложный тупик неожиданных и странных эмоций, подобных этому казусу. Фекан с удивлением видел, что Стерс покраснел. Что поразило негров? Какое могучее впечатление разрушило их покорность? Но некогда было размышлять; сдавив смех, который при иных обстоятельствах мог бы стать полуобморочным, сумасшедшим хохотом, Стерс пошел к цели прямо и резко.

— Самбо,— сурово сказал он,— ты дурак. Белые женщины не уходят к неграм и не живут в их вонючих корзинах. Это сказано навсегда. Смотри в скважину. Я покажу тебе кое-что интересное.

— В скважину застрелить Самбо? — насмешливо спросил негр.— Ох, Самбо хитер.

— Нагнись, я стрелять не буду; клянусь спасением души матери моей.

— Музунгу верить?

— Как себе.

— Хорошо. Самбо глядит.

Стерс приблизил глаз к скважине: вдруг ее светлый крючок погас, словно с наружной стороны скважину прикрыли черной бумагой. Затем она снова стала прозрачной, и наконец, блестящий глаз чернокожего появился в ее очерке, разглядывая каюту.

«Прикрыл для пробы рукой,— подумал капитан, усмехаясь».

— Вот,— вслух заговорил он,— видишь этот бочонок?

— Самбо видит.

— В этом бочонке порох. Если его взорвать, «Альцест» лопнет как банан под ногой верблюда. Я мало скажу. В моих руках часы: они показывают десять минут третьего. Если через пятнадцать минут все восемь ружей не будут брошены за борт с левой стороны против иллюминатора, чтобы я мог видеть и считать, сколько их упало в воду, если затем все вы до единого не сядете в шлюпку и не отчалите восвояси к берегу, который, кстати сказать, хорошо виден на горизонте,— я, Стерс, капитан, никогда не изменявший своему слову, ровно двадцать пять минут третьего всаживаю в порох пулю и пускаю нас всех ко дну. Кроме того, если, выслушав это, ты скажешь хоть одно слово, задашь один вопрос — произойдет то же самое. Я сказал. Одна минута прошла.

О Стерсе было широко известно, что он не боится смерти и никогда не шутит. За дверью раздался такой стон, такой исступленный вопль схваченной за горло души, что все вздрогнули. Потом топот ног вверх дал знать, что Самбо кинулся предупредить своих, там поднялся сложный, как на пожаре, крик, полный безумного ужаса.

— Пасьянс вышел,— сказал Стерс, утирая мокрое лицо. Но бочонок был пуст.

II

Развязка произошла с повелительной быстротой спасения. Перед иллюминатором восемь раз плеснула вода, скрывая дула и приклады прекрасных винчестеров, затем Стерс с облегчением услышал скрип талей,— негры спустили шлюпку. Они отъехали так поспешно, что не прошло десяти минут, как из иллюминатора можно было уже видеть, на расстоянии тридцати — сорока сажен, их искаженно оглядывающиеся физиономии.

— Готово.— Стерс отшвырнул стол, бросился к углу, где за шкафом, среди ящиков, находилось нечто, окутанное газетной бумагой, и, схватив таинственный

предмет, устремился на палубу, говоря: — Идем, Фекан, идите и вы, боцман Троп, вам предстоит увидеть необычайное.

Судно, никем не управляемое, со спущенными парусами, медленно раскачивалось на ровной зыби. Все трое появились у борта.

— Эй,— закричал Стерс беглецам,— захватите-ка вашу Дульцинею!

С этими словами, сорвав газетные листы, скрывавшие очертания таинственного предмета, он высоко поднял его над головой, и все увидели парикмахерский восковой бюст, кокетливая головка которого блес нула в огненной синеве африканских вод безделушкой мертвой улыбки.

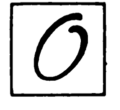
— Часть груза,— пояснил Стерс ошеломленному своему помощнику.— Мой знакомый цирюльник в Даготе просил захватить куклу на обратном пути. И он обратился к неграм: — Подберите это очарование!

Манекен, не теряя улыбки, с улыбкой перевернулся в воздухе и с улыбкой шлепнулся в воду. Плывя, он продолжал улыбаться.

— Разве этим удержишь их,— сказал Фекан.— Легенда о белом колдуне-капитане пойдет гулять как коза. Слышите — они кричат... воют. Что это? Клянусь, капитан, они спасают ее!

СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

I



Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума,— три художественные натуры,— три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть з е р н о. Разными путями пришли они к тому, что видели одну ш е л у х у.

Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так, например, легенда о бриллианте в тысячу восемь-

сот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалом шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О'Нэйль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс стал думать о Стелле и застрелился.

Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке дыма из крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь, подобно авгурам; бледные, несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего.

Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.

Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.

Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь — зеркала, пианино, красного дерева буфет.

Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стиль.

II

Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорил и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интере-

су. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться.

Консейль, мягко качнув ногой, посмотрел на сухое уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.

Несколько дней назад Стиль сидел, пил и говорил с ними, и они з н а л и его. Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рот, с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает внимание; но Стиль даже не подозревал, что его вышутили.

— Это он,— сказал Консейль.

— Человек из тумана,— ввернул Гарт.

— В тумане,— поправил Вебер.

— В поисках таинственного угла.

— Или четвертого измерения.

— Нет; это искатель редкостей,— заявил Гарт.

— Что говорил он тогда о лесе? — спросил Вебер.

Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:

— Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.

— Положим,— сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина,— положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: «в лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего неизвестного впечатления, некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно». И если бы он знал, как разыскать этот з е н и т, он бы пошел туда.

— Вот странное настроение в Кордон-Брюне,— заметил Консейль,— и богатый материал для игры. Попробуем этого человека.

— Каким образом?

— Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно у с т о й ч и в о. От вас требуется лишь говорить «да» на всякий вопросительный взгляд со стороны м а т е р и а л а.

— Хорошо,— сказали Вебер и Гарт.

— Ба! — немедленно воскликнул Консейль.— Стиль! Садитель к нам.

Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул.

III

Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи.

— Ленивец,— сказал Консейль,— вы, Стиль! Огребли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы?

— Давно уже,— спокойно ответил Стиль,— но нет желания предпринимать что-нибудь еще в этом роде. Как новинка прииск мне нравился.

— А теперь?

— Я — новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему потянет меня внутри.

— Особый склад вашей натуры я приметил по прошлому нашему разговору,— сказал Консейль.— Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща в роскошной полутьме своей неожиданно пресекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему послышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстилаться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности,— большей заброшенности среди почти недоступных недр, конечно, трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни — охота; единственно охотой промышляли они, сплавляя добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и

обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек.

Как попали они туда, как подобрались, как устроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день — он не более, как вспышка магния среди развалин,— поймано и ушло, быть может, существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла,— что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись петь. И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева — маленькая рука, махающая с балкона, впереди — солнце и рай.

Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит отрывком, полным очарования, вырванной из неизвестной книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы не вошли в эту жизнь, и потому овеяна она странной поэзией. Так было и с Пелегрином.

Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля.

— Я вижу все это,— просто сказал он,— это огромно.— Не правда ли?

— Да,— сказал Вебер,— да.

— Да,— подтвердил Гарт.

— Нет слов выразить, что чувствуешь,— задумчиво и взволнованно продолжал Стиль,— но как я был прав! Где живет Пелегрин?

— О, он выехал с караваном в Ого.

Стиль провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то.

— Как называлось то место? — спросил он.— Как его нашел Пелегрин?

— Сердце Пустыни,— сказал Консейль.— Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт?

— О, нет.

— Еще подробность,— сказал Вебер, покусывая губы,— Пелегрин упомянул о трамплине,— одностороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг.

— Скат переходит в плато? — Стиль поворачивался всем корпусом к тому, кого спрашивал.

Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе посматривал на него, насвистывая: «Куда торопишься, красотка, еще ведь солнце не взошло»... Однако ничего не случилось.

Стиль выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд проснувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить по его наружности, что он думает,— то был человек сложных движений.

— Откуда,— спросил Консейль Вебера,— откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности.

— Отчет экспедиции Пена. И моя память.

— Так. Ну, что же теперь?

— Это уж его дело,— сказал смеясь Вебер,— но поскольку я знаю людей... Впрочем, в конце недели мы отплываем.

Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стиль.

— Я вернулся, но не войду,— быстро сказал он.— Я прочел порт на корме яхты. Консейль — Мельбурн, а еще...

— Флаг-стрит, два,— так же ответил Консейль.— И...

— Все, благодарю.

Стиль исчез.

— Это, пожалуй, выйдет,— хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказало что-то каждому из них по-особому.— И он найдет вас.

— Что?

— Такие не прощают.

— Ба,— кивнул Консейль.— Жизнь коротка. А свет — велик.

IV

Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный лет; но наконец и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом, к едкому наслаждению одиночества без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознавать.

Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминавшую Кордон-Брюн.

— Я принимаю,— сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканной неприятности своего положения живительное и острое любопытство.— Пусть войдет Стиль.

Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажен огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, присматриваясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись.

— Кордон-Брюн,— любезно сказал Консейль.— Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе,— я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навевает тайны вселенной.

— Да.— Стиль улыбался.— Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.

— Я виноват,— сухо сказал Консейль,— но мои слова — мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль.

Смеясь Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.

— Да нет же,— вскричал он,— не то. Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли чудаком — все

равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, что этот лес. Голод... и жажда... один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня,— смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота,— есть вещи, о которые слова бьются как град о стекло,— только звенит...

— Дальше,— тихо сказал Консейль.

— Нужно было, чтобы он был там,— кротко продолжал Стиль.— Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал с станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я не мог не найти, раз есть такой я,— это понятно. Так вот, поедемте взглянуть; видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, так ли вы представляли.

Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.

Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился как вкопанный.

— Вы — турбина,— сдавленно сказал он,— вы знаете, что вы — турбина. Это не оскорбление.

— Когда ясно видишь что-нибудь...— начал Стиль.

— Я долго спал,— перебил его сурово Консейль.— Значит... Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а?

— Советую,— сказал Стиль.

— Но его не было. Не было.

— Был.— Стиль поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах.— Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.

Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины.

Стиль улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.

ЛОШАДИНАЯ ГОЛОВА

Он умер от злости...

Шатобриан

I

Приехав на разработку Пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и «местный житель», как он рекомендовал себя сам, бродячий Диоген этих мест, охотник Энох Твиль изменились, как бывает после болезни. Они разучились улыбаться и говорить громко.

Багровый Пульт, сидя в душной палатке, продолжал пить, но поверх грязного полотняного рукава его блузы был нашит креп. Сквозь пьянство светилось удручение. «Вы знаете, что произошло здесь?! — встретил он Фицроя, поддевая циркулем кусок копченого языка.— Добб упал в пропасть».

Казалось, он продолжает разговор, начавшийся только что. Беспорядок временного жилища Пульта ничем не отличался от состояния, в каком покинул палатку Фицрой одиннадцать дней назад; среди чертежей, свесившихся со стола завитками старой виньетки, стояла та же бутылка малинового стекла и та же алюминиевая тарелка, с единственной разницей, что тогда

на ней были остывшие макароны. Смотря на нее, Фицрой поймал мысль: «Хочу ли, чтобы те макароны были теперь?» Это равнялось веселому и живому Доббу. Но он еще не разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться.

Перед тем как заглянуть в остановившееся лицо вдовы, Фицрой знал уже все от служащих. «Как громом поразило меня»,— сказал он Пульту,— солгал и знал, что солгал. «Да, подумайте! — закричал Пульт.— Кроме того, что жалко,— Добб был моей правой рукой».

— Прекрасный, энергичный работник! — с жаром солгал Фицрой еще раз и стал противен себе. «И не все ли равно теперь,— подумал он,— не я же столкнул его. Я только хотел, чтобы он умер. Но мое право думать, что я хочу». И он сказал почти правду: — Добб умер. Смерть эта ужасна. Но я устал думать о ней.

— Как?! — переспросил Пульт.— Выпейте, вы что-то путаете, это прояснит ваши мозги.

— Вы знаете, что может случиться при местной жаре от чрезмерного употребления спирта?

— Да, жи́ла в мозгу. А что?

— Мокрое полотенце,— сурово ответил Фицрой,— купанье и молоко.

Пульт вытаращил глаза, прыснул и расхохотался. Все затряслось под его локтем.

— Дикий, безобразный шутник! — сказал он, вытирая усы кистью.— Я пью, но... Мы живем раз. Вы отправитесь на А31. Хина и лекарь там.

Фицрой опустил глаза. Перед ним встала Конхита прежних дней. Он не мог уйти от нее и от еще чего-то, принявшего неопределенную форму Лошадиной Головы.

— Только три дня, Пульт,— сдержанно заговорил он.— В конце концов при вашей ужасной манере дробить горы самому, почти не сходя с места...

— Впрочем,— рассеянно перебил Пульт,— побудьте пока с Доббами. Им очень тяжело.

— И мне тоже,— сказал, выходя, Фицрой. Теперь он не лгал. Он не лгал и себе, когда, ведя в поводу лошадь, особенным, верхним взглядом рассматривал строго и грустно обширную долину с насыпями карьеров, столбами шахт и линиями канав. Работы, начатые по оригинальному плану Пульта одиннадцать дней назад, вызвали бы у него привычную мысль о могущест-

ве человеческого ума; теперь эти следы стали на диком пейзаже казались царапинами, сделанными тупым ножом по дубовой доске. Он заметил также, что не хочет есть, хотя поел лишь рано утром. Жар солнечных лучей раздражал его, как прикосновение колючего и липкого меха.

Он правильно сцепил мысли, надеясь вызвать наконец чувства мести и торжества. «Добб умер, так поступил бы я с ним, если бы не боялся суда. И я смотрел бы сверху, как исчезает с криком в пустоте это бодрое, любимое тело. Я все равно что видел. Вот мое черное счастье; его цвет будет носить Конхита. Я зол, зол, зол; его смерть сладка».

Слова эти, эти мысли мешались с кроткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которой было полно его существо, и светлая грусть о недоступной душе, и мольба к ней — могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества.

II

Войдя в свое помещение, Фицрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто,— как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерло: «приход Добба»,— Добб более не придет сюда. Он не придет также к жене и матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг с исчезновением человека, составлявшего часть жизни, хотя бы и ненавистную часть. Думая о Доббе, он видел безмолвную пустоту везде, где в его мысли мог жить и быть Добб: в горах, шахтах, перед собой и всюду, о чем он думал как о месте, связанном с фигурой приятеля.

Зная, что никто не увидит его, и если увидит, то никогда не постигнет той смеси презрения и вызова по отношению к самому себе,— не ощутит пружины движения, заставившего подойти к зеркалу,— Фицрой остановился перед стеклом и быстро заглянул в собственные глаза. Даже видя лицо, ему было трудно поместить внутренний мир свой в черты зеркального двойника,— черты были красивы и грустны. Бледность и загар смешались в этом лице с ясностью прозрачных сумерек; выражение не было ни подлым, ни хитрым, лишь в гла-

зах тронулось и исчезло нечто подобное мгновенно вильнувшему хвосту лисы. «Это мое лицо. Я зол. Я жесток. Я рад».

— Мой рад, масса,— сказал негр, внося кофейник.— Твой приехал, не захворал.

— Рад? — переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него.

— Очень рада, был хорошо здоров.

— Ты врешь, черная собака,— сказал Фицрой, вдруг посинев от злобы и тоски.

Негр, съежившись, отступил. Его жалобно оскаленный рот и сморщенные от страха глаза еще более обозлили Фицроя.

— Лжешь,— повторил он.— Ты был бы рад, если бы я валялся в пыли и гнили.

— Уфф! — сказал негр, пятясь.— Масса больной. Твой пьет кофей, горячий; хороша будет.

Фицрой рассеянно отвернулся. «Все мы говорим так»,— пробормотал он. Затем прошло несколько минут в тупом и горьком недоумении перед лицом жизни, которую он любил так нежно и тяжело. Кофе, как показалось ему, отзывался железом. Он нехотя выпил полстакана, затем отправился к вдове Добба.

У колодца ему пересек дорогу Энох Твиль, махая рукой. Он бежал, но, перейдя в шаг и поздоровавшись, дышал не чаще, чем мы, когда встаем со стула. От легкой фигуры старика веяло сродством с движением и горами. Седые волосы, подстриженные на его крутом лбу, окружали ввалившееся, с острым носом, лицо косматым четырехугольником, прищуренные желтые глаза блестели шестьюдесятью годами солнца и ветра. Он был в темном жилете поверх красной блузы и остроконечной шапке из рыжей белки. Догнав Фицроя, Твиль остановился и, прижав локтем ружье, с которым не расставался, стал закуривать папиросу. Взгляд его исподлобья не покидал глаз Фицроя.

— Вернулись? — сказал он.— Да, было дело. Все знаете? Это произошло на том месте тропы, на повороте, как раз против Головы. Накануне я выследил медведя, но пройти можно было только тропой. Конечно, ходили не раз. Я отстал. Как он вскрикнул — было уже поздно, хотя я все понял. Потом я осмотрел место. Потоки нанесли щебня, и он скользнул по нему, как на коньках. Еще при мне упало несколько крупинок песку, а внизу было еще тише, чем всегда. Не сразу я пошел

назад. А самое страшное — что он здесь только что был.

— Был? — повторил Фицрой.

— Да. Он стоял и писал карандашом на скале. Но об этом не надо говорить ей. Она не могла пойти туда смотреть вниз, но если сказать — может пойти, и тогда он умрет для нее второй раз.

— О! — Фицрой улыбнулся.— Что же написал Добб?

— Ничего такого. На него, должно быть, нашло. Я не был женат, но могу понять это. Так, различные нежности.

— Это похоже на него,— сказал Фицрой, вспомнив стихи Добба и выражение его лица, когда он произносил: «Конхита».— Я иду к нему... к ним.

— Я любил парня.— Твиль стал возить шапку на голове, кусая усы.— У него был такой вид, как будто он здесь прожил сто лет. Ну... и песни поет, бывало... Прощайте.

Твиль коротко давнул холодную руку Фицроя горячей, старой рукой, и его согнутая упруго спина стала удаляться. Фицрой смотрел вслед; впервые сладкая, терпкая острота тайной усмешки вызвала у него полный вздох. «Все вы любили его, и я тоже, и может быть, больше вас. По крайней мере, я не переставал думать о нем.— Он посмотрел еще глубже в себя: — И вот, нет тебя, милая влюбленная суета, легкое и горячее дыхание с глаза на глаз, улыбка по моему адресу... а она должна была быть». Вскипев, он сжал кулаки, но радовался приливу злобы, так как с ней ему было легче войти к Конхите.

Но лишь он увидел ее, все лучшее его души тронулось и потемнело сочувствием, хотя тут же мгновенно растаял весь рисунок эгоистического расчета на действие времени и силу собственного своего чувства. Войдя в эти стены, он дышал горем, напоминающим их, но не мог говорить просто, не думая о словах. Невольно — и неудачно — подбирались они мертвой схемой, их тон был глух и неясен.

Фицрой представил трагедию в угнетающе-театральном духе, но на деле все произошло просто, как сама смерть. Обстановка не изменилась, лишь перед фотографией Добба стояли пунцовые лесные цветы; в их отсвете, при опущенных занавесках окон, лицо Добба казалось розовым.

— Мать спит. Она стала слаба, бредит. Будем говорить тихо.— Прямой взгляд молодой женщины был суров, как после примирения, когда улеглось не все и есть еще о чем горько и трудно сказать.

Всматриваясь в нее, он старался понять ее состояние. Всегда она производила на него впечатление того отчасти умилительного свойства, когда думаешь, что в обиде или горе такая шаловливо-хорошенькая женщина непременно обхватит руками первого попавшегося, плача и жалуясь на его груди как ребенок. Случись это теперь, он все простил бы ей и ему. Но было ясно, что они неизмеримо дальше друг от друга, чем в день, когда, выслушав его до половины, Конхита сжала руку Фицроя, быстро сказав: «У меня только одно сердце. За него уцепился ваш друг Добб. Но будь у меня второе сердце, я, может быть, отдала бы его вам».

Она была в черном платье. Счастливое лицо, о котором он тосковал, исчезло; то лицо, какое увидел он теперь, было отуманено потрясением и жутко, до холода в душе, напряжено силой не испытанного никогда горя. Во время разговора она нервно проводила по лицу рукой или, бессознательно захватив пальцами край узкого рукава, стискивала его зябким движением. В потемневших глазах не было ни слез, ни опухлости, но взгляд дрожал, непрерывно пересекаясь одной мыслью. Эта мысль тотчас передалась Фицрою уходящей в глухой туман чертой падающего тела.

Он не мог просто сидеть и молчать с нею; это было возможно лишь другу или приятелю Добба. Он был тайный враг. Поэтому он заговорил:

— Ужасно! Ужасно, Конхита, вот все, что я могу вам сказать.

Она несколько оживилась, поверив его искренности, так как нуждалась в ней, хотя продолжала пристально и ревниво всматриваться в замкнутое лицо.

— Да. На днях мы уезжаем. Я начала бы укладываться теперь, но мне жаль маму. До сих пор она ничего не ест и очень слаба.

— Можно ли говорить об э т о м?

— В а м нужно.

— Я буду слушать вас. Вы ходили туда?

— Я не в силах. А вы знаете,— она нагнулась к нему, странно блеснув глазами,— если думать только о нем и не дышать, может быть, можно было бы на миг увидеть его; потом — все равно.

— Там тьма, глухая тьма! — вскрикнул Фицрой.— Выбросьте это из головы!

– Быть может, есть иной свет, Фицрой. Мы никогда не узнаем. На прошлой неделе, в пятницу, пришел Твиль. Когда только я догадалась по его лицу, он сказал прямо в чем дело.

— Ужас,— сказал Фицрой.— Если бы вы знали, как мне вас жаль.

— Я все хожу и думаю. Но нечего и не о чем думать. Его нет. Странно, не правда ли?

— Крепитесь, Конхита.— Он искал горячих, бурных и твердых слов, но не нашел их.— Постепенно это пройдет, станет легче.

— Ну, нет. И вы знаете, что так говорить жестоко.

Он смолк, осваиваясь со смыслом ее слов, тронувших злорадные голоса, и не мог удержаться, чтобы не приоткрыть далеким, неизобличенным намеком истину своих чувств.

— Жестоко,— подтвердил он,— и правильно. Все проходит, все гаснет в собственной своей тени.

— Вероятно, вы правы, но я сейчас не хочу думать об этом; думать так.

— Простите меня,— покорно сказал Фицрой.

Ее волнение улеглось. Подумав и кусая платочек, она взяла из ящика письменного стола черепаховый портсигар и, скрыв его в пригоршне, протянула, тихо улыбаясь, Фицрою.

— Вам это будет очень приятно,— прошептала она,— берите, это от него на память, и думайте о нем хорошо. И ради бога не потеряйте.

Приподняв руку, Фицрой отпрянул всем существом, непримиримо волнуясь,— столько наивной беспощадности было в этом, так трогательно выраженном подношении, что резкая боль, сжав его сердце, одолела сдержанность, и он возмутился. Право самозащиты было неоспоримо. И он не хотел лгать так громко, как надо было солгать сейчас. Эти протянутые в горе руки отнимали у него единственное черное утешение, они посягали на тайны его сердца, стремясь исказить их.

— Но...— Фицрой напряженно улыбнулся,— я не знаю... Вы можете пожалеть.

— Это вам,— сказала она, не понимая его колебания.

Тогда он решительно положил руку на портсигар и на ее пальцы, сжав все в затрепетавший комок, и ти-

хонько оттолкнул, передавая взглядом, что думал. С медленно поднимающимся удовольствием полного отчаяния увидел он беззащитно побледневшее лицо.

— Что значит... это? — Вырвав руки, Конхита отвела их и спрятала за спиной.— Говорите.

— Я не возьму подарка,— сказал Фицрой, радуясь, что перешагнул в пустоту.— Я не могу взять. Вы не имеете права ни предлагать, ни настаивать.

— О! я не настаиваю. Могу ли я вслух понять выражение вашего лица?

— Да, и я не спрячу его.

— Тогда... вы обманули Добба. Вы — враг.

— Я — враг,— сказал как в тумане Фицрой,— враг и всегда буду врагом памяти этого человека. Но я не враг вам.

— Еще удар.— Она смотрела на него без гнева, сдвинув брови и постукивая носком ботинка.— Слава богу, удар этот — ничто в сравнении с т е м ударом.

Фицрой взял фуражку.

— Мне ничего не осталось,— задумчиво проговорил он,— я не знаю, жалею ли я вас в эту минуту. Не надо было дарить. Тогда я ничего не сказал бы вам. Может быть, вы поймете меня, так как сам себя я понимаю довольно плохо. Проще всего — поставить себя на мое место. Знайте, что и мне не сладко. Однако простите. Вместо разговора о вас произошел разговор обо мне. Я не хотел этого.

— Низкая, низкая ненависть! — Крупные, тяжелые слезы скользнули по вздрагивающему лицу Конхиты.— Фицрой, не смейте ненавидеть его!

— Я ненавижу,— грустно, сильно и глубоко сказал Фицрой, открывая дверь,— но так же я могу и любить. Мир его праху! Я сказал искренно. Пожелайте,— о! пожелайте и вы, Конхита,— мира ненависти моей.

Горько махнув рукой, она бросилась в кресло и прижалась лицом к подушке, делая знак уйти.

Фицрой вышел, осторожно прикрыв дверь.

III

Не думая о направлении, он шел в сторону от бараков, изредка снимая фуражку и вытирая платком обильный прохладный пот. Он чувствовал себя так, как буд-

то не дышал несколько дней, борясь с наполнившим грудь песком. Весь только что окончившийся разговор представлялся ему сплошным криком, эхо которого еще гудело в ушах. Он был потрясенно тих, как после спасения. К отвратительному впечатлению собственных слов примешивалось удовлетворяющее сознание правды, хотя бы брошенной в исступлении.

Подойдя к опушке леса, зеленым дымом охватывавшей низы гор, Фицрой увидел кроткие тени лесных лужаек, и в мирной чистоте этого отдаления от людей, как над ручьем, сторонними глазами увидел свое внутреннее лицо, каким открыл его несколько минут назад помертвевшей от боли и горя женщине,— как будто занес нож. Большее, чем стыд, свернуло шею его волнению. Стиснув зубы, он закрыл глаза и мысленно ударил себя по щеке. Разумеется, ни о каком уважении с ее стороны более не могло быть речи, и он не мог, теперь уже никогда, видеть ее. Но в тумане изнуряющего стыда раздавленный голос шептал все нежные слова, какими до сих пор он наполнял свою жизнь, не смея вслух произнести их. Некогда он честно боролся, намечая все фазы успокоения; смерть, жертву, путешествие, но твердая рука истинного его чувства к Доббу, временно онемев, снова вела свою острую, черную линию. Яд начал кипеть с первого дня. Он часто придумывал, как тяжелее и мучительнее надо было бы умереть этому человеку, чтобы утолить безысходное ожидание грома, способного наконец разорвать оцепенение злой и тоскующей любви, ставшей болезнью.

Обдумывая странное подозрение, мелькнувшее среди чувств, переживаемых им далеко не в первый раз, Фицрой отнесся к нему с вниманием удивления, почти испуга, хотя, едва стих толчок, продолжал думать о том же совершенно спокойно, как думает о незамеченной ступеньке человек, оступясь во тьме и идя далее. Вначале он счел это любопытство сопоставлением — не больше. Ни опровергнуть, ни проверить и доказать связь меж его настроением и гибелью Добба не было никаких средств, однако неустранимое совпадение поворачивалось перед ним всеми сторонами своими, и он мог придавать ему любой смысл. «А если? — сказал Фицрой.— Странный мир — мысль, и велика сила ее. Тогда... Все равно — мысленно я убивал его. Это одно и то же».

Здесь он почувствовал ветер в спину и обернулся. Поляна шла вниз; снизу, через склон леса, ярко развер-

тывалась долина с ее насыпями, палатками и строениями; вился дым труб. Это была картина мысли Пульта: он сам, Фицрой, служил там потому, что так думал Пульт. На почти вневременное мгновение ему стало ясно нечто решающее все задачи задач, затем это прошло, обернувшись гулким сердцебиением. До этого не было в нем полной уверенности, что он придет к пропасти, но теперь идти туда стало необходимостью. Он даже хотел этого,— завершить круг. Тут его настроение немного улучшилось, тем более что показались уже невысокие скалистые гряды, обросшие кедром; через них, влево, лежал лесистый проход к тропе, вьющейся над самым обрывом.

Солнце, едва перейдя зенит, жгло ноги сквозь кожу сапог. Скалы, вершины гор, далекие плоскогорья, залитые туманом и светом, на фоне самых колоссальных масс, слитых с небом стеной неподвижного лилового дыма, напоминали облачную страну. Здесь было на что взглянуть, что могло бы сделать счастливым даже человека без ног и рук, но эта ослепительная океаноподобность мира была теперь вне Фицроя. Она отделялась от него ясным сознанием, что между ней и потерянной навсегда женщиной исчезла связь. Только через н е е мог идти сливающий все в одно свет. Фицрой смотрел, как смотрят на сломанные часы. Белые, как сталь в лунном свете, хребты горной цепи были неудачной ловушкой его душе — второй сорт, червивое яблоко, рай для бедных. Он подошел к отдельной скале, по узкому, неизвестно на чем удержавшемуся обвалу которой тянулся род неровной террасы, осыпанной глыбами. Справа, в расселину, бывшую одной из сравнительно неглубоких пустот, расширявшихся постепенно, по мере того как все ближе подступали они к пропасти «Лошадиная Голова», сыпался, пыля серебром, отвесный ключ. Он напоминал воду, падающую из крана, отверстого где-то в скале,— то стремясь, то останавливаясь неподвижной светлой чертой, смотря по тому, падал ли вместе с ним взгляд, или удерживался на одной точке его падения, он однозвучно шумел внизу, и, заглянув туда, Фицрой почти в облегчением увидел вполне доступную для ловкого лазуна тенисто освещенную глубину ста — ста двадцати футов, с веером пены среди черных и зеленых камней.

На том месте путь огибал скалы с их внутренней стороны, оставляя меж человеком и звеньями неболь-

ших пропастей стену гранитных махин, почти лишенных растительности. Ящерицы и пауки сновали в камнях, среди неподвижной духоты красноватых колодцев и призрачных лестниц косых теней, соединяющих верхние края стен с полным шороха шагов низом; под сапогами Фицроя сухо трещал щебень; это безжизненное яркое место тревожило, как раскаленная печь. Наконец он увидел справа неровно раздернутое пространство, пересеченное туманными облаками высот, и вышел на край.

IV

Он был здесь два раза — раньше — для нового впечатления, от которого осталось у него несколько одиноких мыслей,— он не сумел бы их выразить. Твиль говорил, что здесь нельзя долго смотреть вниз без риска отползти прочь на четвереньках, так как начинало тошнить. Но Фицрой побывал первый и второй раз в том особенно не располагающем к гипнотической впечатлительности вялом и безжизненном настроении, когда душа, подобно водяному шарику, катающемуся по раскаленному добела железу, двигается не испаряясь. К тому же подготовленный человек многое переносит иначе. Но все-таки тогда он как бы постоял перед направленным дулом.

Смотря вперед, можно было вначале подумать, что стоишь на краю озера с неверными отражениями берегов, искаженных и мрачных благодаря прозрачной тьме неподвижной воды. Но едва взгляд погружался в обманчивую поверхность провала, противоположный край которого явил бы движущуюся по нему фигуру всадника мельканием неразличимо малого смешанного пятна, как горизонтальная перспектива, мгновенно утратив для пристукнутого внимания всякое значение и размеры, сплывала облачной тенью, оставляя с глазу на глаз бездну и изменившееся лицо смотрящего.

На том месте, где остановился Фицрой, очерк пропасти достигал полутора миль в длину и около полумили в ширину. Ее стены со всех сторон и во всех направлениях были совершенно отвесны, касаясь в неосвещенной глубине огромной, как ночная равнина, тени, скрывающей вертикальное пространство неуследимого протяжения. Этот подземный мрак был как бы отражением

черного неба, какое видят аэронавты, подымаясь на удушливую высоту воздушных границ. Всматриваясь до боли в глазах, можно было различать степень его спущения лишь по соседним изгибам отвеса, где исчезающие вниз стены, уходя от лучей, мерцали все тусклее и глуше, пока угрюмые сумерки не останавливали исследования раскинутым в страшной глубине мраком.

Столетия опасных передвижений, утрамбовав и сравняв обрывки естественного карниза, тянувшегося по левой стороне скал, образовали узкую тропу, оступившись по которой шага на два в сторону пропасти человек мог только пожелать иметь крылья. Ступив на эту тропу, Фицрой невольно стал дышать глубже и медленнее, как это делаем мы при встречном ветре,— ощущение своего тела достигло силы самовнушения; бессознательно его плечо все время касалось скалы, и он особым усилием отталкивал непрекращающееся впечатление тихого, как бег маятника, позыва взглянуть вниз. К тому времени его нервы были напряжены, как в крупной игре.

Он медленно обошел выступ, впадину и стал приближаться к щели, за аркой которой тропа тянулась еще не более как на триста футов, круто заворачивая в ущелье. До сих пор дорога Фицроя была лишена каких бы то ни было указаний; здесь их не могло и быть, ибо тропа пока что являла прихотливую, но вполне устойчивую поверхность. На всякий случай он тщательно осматривал скалы, но не открыл нигде надписи о которой говорил Твиль.

Она остановила его, когда он прошел щель.

V

Отбрасывая камни ногой, чтобы не скользнуть самому по этому вылощенному как шлак ветрами и дождем выпуклому карнизу, Фицрой прочел мелкую строку последних слов Добба жене: «Стою здесь и думаю о теб...» «О тебе»,— машинально договорил Фицрой.

Этой строкой было сказано об ужасном исчезновении все — и так полно, как не мог бы полнее передать чувства свои,— той минуты,— сам Добб, будь Фицрой тогда с ним. Погибший остановился, захваченный острой глубиной впечатления; сияющий горный мир хлы-

нул в него всей силой собственного его счастья, и он захотел весело воскликнуть, один, той, которая не могла слышать его, но всегда была с ним. Он написал это в порыве, похожем на мальчишеский крик в лесу — бессмысленный, но понятный, как наивно блуждающая улыбка.

— Значит, карандаш и пустота были рядом; так тесно, так неразрывно сплетены были они, что ты не успел узнать этого,— сказал Фицрой, оборачиваясь и упираясь спиной в скалу. Странная отчетливость представлений не покидала его. Он видел нажатый сапогом камень и легкое движение согнутого колена, отчего камень двинулся, отталкиваемый прянувшей взад ногой. Мгновенный удар крови в сердце и голову стер все мысли, кроме вихря, сопровождающего падение,— вихрь и крик, цепляясь за безумный след свой вверху, несли еще некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом вернувшееся сознание, мгновенно осветив все, все поняв и истребив тут же, в муке невыразимой, не перешло тайную границу молчания. И этим все кончилось.

Фицрой неподвижно стоял, смотря вниз и нервно касаясь жутким лучом души — мрака, безмолвно рассматривавшего его из пучины сплошным зрачком.

Он никогда ранее не смотрел так долго и тяжело в эту колоссальную трубу, поперечный разрез которой вдали смыкался высокой скалой, имевшей условное сходство с головой лошади, закинутой к небу. В ней, как в облачных фантомах, было неясное и подавляющее торжество слепой формы, живущей тенью чувств наших, бездыханно и поразительно, как мавзолей. Соответственно настроив внимание, можно было счесть соседние углы скал согнутыми передними ногами гигантского коня, вставшего на дыбы и задом оседающего в пустоту пропасти.

Не без усилия перестав рассматривать заставляющую замирать тьму внизу, Фицрой поднял тяжелый, как шест, взятый рукой за конец, взгляд на эту ясно обрисованную расстоянием каменную фигуру, перехватив ее застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его. Тогда все двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода, горный горизонт начал оседать вниз. В груди Фицроя стало поворачиваться же-

лезо, давя и сося. Страх, конвульсивно охватив его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твердая поверхность земли была для Фицроя лишь тонкой корой льда, простертого живописным покровом над черным ничем. Он чувствовал, что, если пойдет, его ноги будут странно и бессвязно плясать и что Твиль сказал правду о четвереньках. Он ужаснулся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересекший дыхание, и, догадавшись, закрыл глаза. Бившееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на свое место, стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди: «Засмейся, Фицрой!»

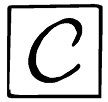
Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы, коротким ругательством и не испытал ничего, кроме смутного удивления. По-прежнему, как врезалось в мозг, Добб срывался и летел перед ним вниз, но это видение возникало и проходило вне мстительного очарования, каким жил Фицрой до сего дня. Он открыл глаза с чувством набегающего пространства и, вяло спасаясь, оглянулся на строку Добба. Теперь уже не стоило возвращаться в каменную пустоту будущего. Но это проходило без мысли, без отчетливого сознания. Чувство непобедимой равнодушной пустоты в себе, других и внизу явилось ему с ясностью сделанного рукой знака, и он перешагнул к незнающей колебания, вдруг опустившей все повода и тяги холодной улыбке голого «все равно».

Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Добб, Фицрой, тоскливо улыбаясь, приписал в слове «тебе» последнюю, перехваченную смертью букву и вывел внизу: «Думаю и люблю. И умираю — потому что носил Зло».

Затем не более как с чувством полета, рванувшего его силой оступившегося навсегда тела, он отделился от скалы и стал вязнуть в мгновенно проносящейся пустоте — к мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая все глубже истинное свое лицо. Фицроя било и трепало кинувшимся к нему воздухом. «А если не будет конца?» От этой мысли он умер, и его тело достигло неизвестной нам последней границы, где нет никогда дна и где его ожидал Добб.

ГОЛОС И ГЛАЗ

I

лепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае, делать движения только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравновешивая себя в светлом пространстве таинственной работой зрачков, представляясь вдруг ясно, так волновала его, что он весь дергался, как во сне.

Оберегая нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, безусловно, станет вновь зрячим. Какой-нибудь десятитысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду:

— Будьте спокойны. Для вас сделано все, остальное приложится.

Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид услышал голос подходящей к нему Дэзи Гаран. Это была девушка, служившая в клинике; часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить ему на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к онемевшей от неподвижности голове. Так и случилось.

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда и он услышал стремительный женский голос, распоряжавшийся устройством больного, в нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но

необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь — стало его целью ради нее.

Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, сознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением,— и она знала, что он любит ее.

До операции они подолгу и помногу разговаривали. Рабид рассказывал ей свои скитания, она — обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той же очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумывали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее были:

— До свидания пока.

— Пока...— отвечал Рабид, и ему казалось, что в «пока» есть надежда.

Он был прям, молод, смел, шутлив, высок и черноволос. У него должны были быть — если будут — черные блестящие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах. И ее болезненное, неправильное лицо покрывалось нежным румянцем. «Что будет? — говорила она.— Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но откройте его тюрьму, профессор Ребальд, прошу вас!»

II

Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Рабид, профессор и помощник его и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабида. «Дэзи!» — сказал он, думая, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что

в этот момент она не нашла сил видеть, чувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты как завороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотела бы предстать новорожденному взгляду,— вздохнула и покорилась судьбе.

Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Рабид лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал. «Дело сделано,— сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения.— Смотрите, откройте глаза!»

Рабид поднял веки, продолжая думать, что Дэзи здесь, и стыдясь вновь окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесь. «Уберите материю,— сказал он,— она мешает». И, сказав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешенной как бы на самое лицо, есть оконная занавесь в дальнем конце комнаты.

Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающих все его истощенное, належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дэзи. Блаженно улыбаясь, он взял со стола стакан; рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место.

Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэзи и, с правом получившего способность борьбы за жизнь, сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной, ученой беседы вполголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит.

В быстром мелькании мыслей, наполнявших его, и в страшном возбуждении своем он никак не мог припомнить подробностей этих минут и установить, когда наконец он остался один. Но этот момент настал. Рабид позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дэзи Гаран, и стал блаженно смотреть на дверь.

III

Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистотой одиночества комнату и, со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, зачеркивающей все встречи, оделась в хорошенькое летнее платье. Свои густые волосы она прибрала просто,— именно так, что нельзя ничего лучшего было сделать этой темной, с влажным блеском волне, и с открытым всему лицом, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабид, а некто совершенно иной. И, припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил ее.

Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабид лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась.

— Кто вы? — вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.

— Правда, я как будто новое существо для вас? — сказала она, мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое.

В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и страдание отпустило ее. Не произошло чуда, но весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви.

— Теперь, только теперь,— сказал Рабид,— я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне. Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите меня. Я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно разрешить говорить все.

В этот момент его рожденное тьмой точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она.

РУСАЛКИ ВОЗДУХА

I

В 1914 году пилот Раймонд Люкс получил приказание перелететь границу, высадив на условленном месте военного шпиона. Это предприятие, затеянное штабом, касалось важных военных тайн. Поэтому выбор остановился на отважном и осторожном Люксе.

Предварительно было установленно, что по ту сторону гор тянется обширное лесное плато, с луговиной внутри, довольно обширной для благополучного спуска. На этой луговине Люкс должен был ссадить шпиона, а затем вернуться обратно.

Столковавшись с шпионом, Люкс, перед тем как расстаться, спросил его:

— Вы не страдаете боязнью высоты? Я спрашиваю это потому, что за последнее время стал нервен; настроение пассажира действует на меня, и мне хотелось бы чувствовать за спиной нечто очень спокойное, подобное мешку с ватой.

Дагобер — так звали шпиона — возразил на это:

— Это уже не первый мой полет. Никакого беспокойства я вам не доставлю, будьте уверены.

С тем он ушел, а Люкс остался стоять возле ангара, где жил. Он был задумчив. Внешние впечатления, подобно птицам в пространстве, свободно рассекали его сознание. За ангаром солдат играл на гитаре. Через старинный вал было видно, как дышит в ночную синеву неба, желтым блеском, труба электрической станции. Гудел телеграфный провод; по шоссе двигался папиросный огонь. Люкс машинально твердил въевшийся отрывок стихотворения, который не покидал его, как часто и со всеми это бывает, дней десять:

На горной круче, где
Не дотянуться рукой,
На каменном отвесе
Цветет эдельвейс.

В это время невидимый человек, выдавая свое приближение только шумом шагов, шел неторопливо к ангару. Наконец Люкс рассмотрел и узнал его. То был Катенар, тоже пилот, пожилой человек, некоторое время искавший в авиации смерти, по причинам, оставшимся неизвестными. Полеты вылечили его. «Я вывет-

рился,— говаривал он приятелям,— я проветрился». Тем не менее след тайного потрясения еще блестел в его глубоко запавших глазах странным огнем.

Разговаривая, оба они зашли в помещение Люкса, стали пить и говорить о погоде...

— Погода будет хорошая,— сказал Катенар,— это я знаю потому, что моя простреленная нога ничем не дает себя чувствовать. Но я пришел не без особенной цели. Слушайте меня внимательно, а затем думайте, что хотите. Я не пустился бы ни с кем другим в подобные объяснения. Вы очень похожи на моего сына... хотя я уже не знаю, почему говорю это. Он сильно напоминал лицом мать. Как вы думаете, отчего молодые люди умирают на двадцатом году, только что вооружась всем необходимым для жизни? Хотя Бланш выглядела тоже удивительно юной. Вы полетите на Понмаль?

— Именно так,— сказал Люкс,— но почему вы знаете, что это — самое короткое расстояние?

— Я не знал.— Катенар несколько раз крупно отхлебнул из стакана, смотря в стол.— Но ведь мы говорили о северном направлении.

— Совершенно верно,— сказал Люкс, снимая плавающую в стеарине свечи моль, отчего, перестав трещать, огонь вновь стал теплиться спокойно.— Так что же Понмаль?

— А то, что, если вам дорога жизнь, огибайте проклятую гору как можно дальше. Бойтесь этой горы, Люкс. Я над ней был. Вы меня знаете. И я говорю вам совершенно серьезно, что миновать эту вершину благополучно может только глухой.

— Глухой? — спросил Люкс, думая, что ослышался.— Должно быть, это я глух, потому что не понял.

— Лучше, если ее минует слепой и глухой вместе,— продолжал Катенар.— Я поясню. Параллели и меридианы существуют действительно, хотя и не в виде правильных черт, так же существует нечто, именно над Понмаль. Сказать ли вам сразу? Будете вы хохотать или с миной сомнения упретесь в лоб пальцем, смотря на меня странно, с маленьким подозрением?

— Лучше пять слов, чем монолог,— сухо ответил Люкс.

Катенар откинулся, глубоко засунул руки в карманы брюк, скрестил ноги и полузакрыл глаза.

— Над Понмаль вы встретите воздушных русалок,— отчетливо проговорил он.— И услышите пение.

— Как?! — вскричал тихо Люкс. В то время, как он молчал, еще не зная, что сказать на это удивительное заявление, что-то нелепое и заманчивое сладким неприятным холодком коротко прошлось под его сердцем; затем исчезло.

— Что за черт! — пробормотал он наконец, пристально уставясь на Катенара.— Вы думаете, что я поверил? Чепуха. Чушь.

Катенар, схватив Люкса за руку выше локтя, крепко сжал:

— Простое предупреждение,— мягко сказал он,— внушит вам, может быть, более доверия к моим словам, чем подробный рассказ о пережитом мной лично над этим самым Понмаль; как мистификацию или как беспардонный вымысел слушали бы вы мои описания. Поэтому-то я ухожу; иначе наша беседа естественно остановится в заколдованном кругу; я буду молчать, вы — спрашивать. Прощайте. Избегайте Понмаль.

Он встал.

— Но... но вы сами не пострадали?! — спросил Люкс.— Иначе как вы могли бы предупреждать меня?!

— Ну,— возразил Катенар,— это было в день горя, когда я летел с мертвой душой. Умертвите душу и Понмаль будет не страшен. Спокойной ночи.

Люкс хотел удержать его, но он отрицательно качнул головой и вышел. Летчик поморщился, пожал плечом; затем, без удовольствия выпив стакан вина, лег, не раздеваясь, на койку. Перед закрытыми глазами его торчало как бы острие громадного, неподвижного угла: странные слова Катенара. Он думал, что здравомыслящий человек не должен ничего думать обо всем этом. Здесь — именно потому, что он считал предосудительным думать,— несколько сказок рассмеялось ему в лицо плеском маленьких рук, выжимающих зеленые косы над утонувшим в черной воде месячным медным серпом. Но сказки он слышал в детстве. Теперь же ему было тридцать два года, и серп только отражался в реке.

II

Той ночью произошло событие, имевшее большое значение для Дагобера, который временно жил в особняке Преста, занимая две комнаты верхнего этажа. Когда Дагобер уснул, у темного раскрытого окна

его спальни показалась осторожно движущаяся тень человека. Конечно, он пришел с дурными намерениями. Напряженная грация охотящейся кошки сквозила в его движениях; бесшумно, как дух, побыл он несколько минут около изголовья спящего и исчез тем же путем, каким забрался, связь между этим посещением и дальнейшим не совершенно ясна,— более — она никогда не сделалась ясной, так как простые совпадения играют большую роль; возвратимся к пилоту.

Летчик, разбуженный вестовым, объявившим о прибытии Дагобера, вышел из ангара одетый и вооруженный; выйдя, он увидел шпиона стоящим около аппарата; на Дагобере было плотно застегнутое клеенчатое пальто, шлем с наушниками и шарф; большие очки скрывали верхнюю часть лица. Люкс — человек дела — кивнул, пожал руку товарища и занялся приготовлениями. Проснувшийся мотор забарабанил по тишине предрассветной тьмы своей адской трелью; Люкс и Дагобер заняли места. Дагобер сидел сзади Люкса. Аппарат вздрогнул, скользнул по траве луга с распростертыми в полутьме белыми крыльями и, отделясь, понесся по восходящей линии к неправильному зубцу Понмаль, который на краю плоскогорья имел вид сторожевой башни. Небо светлело; легкие и чистые облака серебрили розовеющий горизонт.

Не более получаса было здесь пути в прямом направлении. С удовольствием ощущал Люкс, что аппарат хорошо слушается рулей, а мотор отчетливо и ровно оглушает привычное ухо, что ветер не силен. Здесь вспомился ему Катенар, вчерашние слова которого среди утренней свежести тела и воздуха потеряли было свою острую причудливость, но теперь вновь привлекли сознание к задумчивой над ними работе. «Не летите над Понмаль»,— было напечатано на горизонте, и Люкс пристально рассматривал эту строку внутри себя, взглядывая в то же время на медленно приближающуюся вершину так же спокойно, как спокойно передвигалась мрачная ее громада внизу. Вверху, ясно различимые глазом, парили, изредка колебля крыльями, четыре орла; гром мотора заставлял их время от времени передвигаться дальше вперед. Но они были, казалось, безотлучно на равном от Люкса расстоянии.

Теперь вершина была под ним. Он видел ее скалы, ее безлюдные, пылающие первым солнцем скаты и трещины. Еще думал он об опасных воздушных течениях

какие, в расстроенном уме Катенара, могли бы, если они есть, принять характер иных опасностей, как вдруг нечто, подобно мелькающим по ветру перьям, слабо застлало его взгляд, мешая смотреть. Лишь он тряхнул головой, как это делаем мы, когда, вызванное раздражением зрительного нерва, черное или цветное пятно так неприятно плавает перед нами в воздухе, как явление исчезло, но тотчас повторилось справа и слева.

Как стаи, кружащиеся спиралью, охватившей полнеба, перед ним и вокруг него метались бесчисленные крылатые существа с синими волосами, нагие и нежно отчетливые, как те звуки, которые сопровождали это ослепительное движение. Он слышал пение, перестав слышать мотор. Оно наслаждало не насыщая и похищало все, кроме жажды полного, неистового оглушения этой музыкой, надвигающей сладкую грозу.

Вне себя, не зная, что с Дагобером, и желая хотя бы взглядом передать ему свое состояние, Люкс обернулся. Руки его разжались, но машинально ухватился он снова за рычаги,— так странен был изменивший вдруг образ — спутник его: синие женские глаза увидел он за собой, прекрасное и томительное лицо, полное обещания, и синие, как само небо, отлетевшие по ветру пышные кудри. Белая рука взмахнула перед ним, что-то указывая; прозвучал смех.

— Да! — сказал он.— Да! — вкладывая в эти безумные слова всю безысходность своего восторга и жажды повиноваться с нежностью, не имеющей себе ничего равного. Уже не понимал и не сознавал он, что с ним, лишь знал твердо, что путь его сломан хороводом взлетающих все выше прекрасных и безумных созданий. Некоторое время аппарат шел под крутым углом вверх, затем смолк и рухнул вниз ребром, описывая кривую.

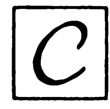
Из него выпало скорченное, подобно заснувшему ребенку, тело, опередило аэроплан и, падая, мертвым достигло земли. Казалось ему, что перед тем, как почувствовать задушившую его пустоту, кто-то кротко поцеловал его в ослепшие глаза; затем все исчезло.

Не с мертвой ли душой смотрим мы вверх? Но Люкс не был человек мертвой души, поэтому, приняв в нежном поцелуе прощание со всем, чем был полон и жил, мог бы — воскресни он — снова перелететь Понмаль, зная, что предстоит.

Дагобер сказал впоследствии, что у него среди

прочих вещей неизвестным ночным вором был украден заведенный будильник, поставленный на пять утра. Он полетел на другой день с другим летчиком.

КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО



тало темно. Туча, помолчав над головой Костлявой Ноги, зарычала и высекла голубоватый огонь. Затем, как это бывает для неудачников, все оказалось сразу: вихрь, пыль, протирание глаз, гром, ливень и молния.

Костлявая Нога, или Грифит, постояв некоторое время среди дороги с поднятым кверху лицом, выражавшим презрительное негодование, сказал, стиснув зубы: «Ну хорошо!», поднял воротник пиджака, снятого на гороховом поле с чучела, сунул руки в карманы и свернул в лес. Разыскивая густую листву, чтобы укрыться, он услыхал жалобное стенание и насторожился. Стенание повторилось. Затем кто-то сквозь долгий вздох выговорил: «Будь прокляты ямы!»

Грифит сделал несколько шагов по направлению выразительного замечания.

Прислонившись к пню, сидел молодой человек в недурном новом летнем пальто, с хорошенькими усиками и румяным лицом. Охватив руками колено, он раскачивался из стороны в сторону с таким мучительным выражением, что Грифит почувствовал необходимость назвать себя.

— Позвольте представиться,— сказал он, угрюмо, как будто посылал к черту.— В тех кругах, где вы не бываете, я известен под именем Костлявой Ноги. Мой отец ничего не знает об этом, так как его звали Грифит. Чем вы недовольны в настоящую минуту жизни?

— Тем, что свихнул ногу,— ответил молодой человек, смотря на серое, голодное лицо Грифита и переводя взгляд на ближайший толстый сук.— Я не могу больше идти. Боль страшная. Нога горит.

— Вы бы встали,— заметил Грифит.

Пострадавший злобно и тяжко крякнул.

— Бросьте шутки,— сказал он.— Лучше бегите по дороге на ферму — это полчаса ходьбы — и скажите там Якову Герду, чтобы прислал лошадь.

— На ферму «Лесная лилия?» — кротко спросил Грифит.— Ну нет, я не так глуп. Месяц назад я поспорил там с одним человеком. Я старательно обхожу эту ферму. Она мне не нравится. Прощайте.

— Как,— вскричал пострадавший,— вы бросите меня здесь?

— Почему же нет? Какое мне дело до вашей ноги? Ну, скажите, какое? — Грифит пожал плечами, сплюнул и отошел. Постояв под дождем, он вернулся, сморщась от раздражения.— Вот вы и пропадете тут,— сказал он грустным голосом,— и помрете. Прилетят птички, которые называются вороны. Они вас скушают. Конечно. Прощайте радости жизни!

Взгляд разъяренного кролика был ему ответом.

— С людьми вашего сорта...— начал молодой человек, но Грифит перебил.

— Черт бы вас побрал! — сурово сказал он, схватив жертву под мышки и ставя на одной ноге против себя.— Прислонитесь пока к стволу. Я посмотрю. Вес легкий. Я вас снесу, но не на ферму — долой собак! — а где-нибудь поблизости. Там вы можете проползти на брюхе, если хотите.

— Удивительно,— пробормотал молодой человек,— зачем вы ругаетесь?

— Потому что вы осел. Почему вы не свернули себе шею? По крайней мере, мне не пришлось бы возиться с таким трупом, как вы. Ну, гоп, кошечка! С каким удовольствием я бросил бы в озеро ваше хлипкое туловище.

Говоря это, он с ловкостью и бережностью обезьяны, утаскивающей детеныша, взвалил жертву на плечи, дав ей обхватить шею руками, а свои руки пропустил под колени пострадавшего и встряхнул, как мешок. Взвизгнув от боли, молодой человек страдальчески рассмеялся. Его взгляд, полный ненависти, был обращен на грязный затылок своего рикши.

— Вы оригинал, но, как вижу, очень сильны,— проговорил он.— Я не забуду вашей доброты и заплачу вам.

— Заплатите вашей матери за входной билет в эту юдоль,— сказал Грифит, шагая медленно, но довольно свободно по размытой дождем дороге.— Не нажимайте мне на кадык, паркетный шаркун, или я низвергну вас в лужу. Держитесь за ключицы. Так с высоты моей спины вы можете обозревать окрестность и делать кри-

тические замечания на счет моей манеры говорить с вами. Моя манера правильная. Я сразу узнаю человека. Как я увидел вашу лупетку, так стало мне непреобоpимо тошно. Разве вы мужчина? Морковка, каротель,— есть такая сладенькая и пресная. Другой бы за десятую часть того, чем я вас огрел, вступил бы в немедленный и решительный бой, а вы только покрякиваете. Впрочем, это я так. Сегодня у меня дурное настроение.

Его ровный, угрюмый, дребезжащий голос, а также ощущение могучих мускулов, напряженных под коленями и руками жертвы, привело молодого человека в оторопелое состояние. Он трясся на спине Грифита с тоской и злобной неловкостью в душе, нетерпеливо высматривая знакомые повороты дороги.

Грифит, который эти дни питался случайно и плохо, стал уставать. Когда ноша сообщила ему, что ферма уже близко, он присел, ссадил жертву на траву, отдохнуть. Оба молчали.

Молодой человек, охая, ощупывал распухшую у лодыжки ногу.

— Зачем шли лесом? — угрюмо спросил Грифит.

— Для сокращения пути.— Молодой человек попытался фальшиво улыбнуться.— Я там знаю все тропочки от Синего Ручья до Лесной Лилии. И вот, представьте себе...

— Полезай на чердак! — крикнул Грифит вставая.— Эк разболтался! Не дрыгай ногой, чертов волосатик, сиди, если несут.— И он снова побрел, придумывая, как бы больнее растравить печень себе и своему спутнику.— Решительно мне не везет,— рассуждал он вслух,— тащить вместо мешка хлеба или свинины первого попавшегося ротозея, которому я от души желаю лишиться обеих ног,— это надо быть таким дураком, как я.

Дорога стала снижаться. Под ее уклоном блеснуло озеро с застроенным несколькими домами берегом.

— Ну,— сказал Грифит, окончательно ссаживая молодого человека,— катись вниз, к своему Якову Герду. Возьми палку. Ею подпирайся. Да не эту, остолоп проклятый, вот эту бери, прямую.

Он сунул отломанный от изгороди конец жерди.

— Вы... потише,— сказал вывихнутый, взглядывая на крыши.— Здесь не лес.

— А мне что? — добродушно ответил Грифит.— У меня нет крыши, на которую ты так воинственно смотришь. Прощай, береги ножки. Как бы там ни было. Мой сын был вроде тебя, но я его обломал. Он умер. Убирайся!

Не обращая более внимания на человека, с которым провел около получаса, Грифит задумчиво побрел в лес, чтобы обогнуть ферму, где некогда водил знакомство с курами. Его что-то грызло. Скоро он понял, что эта грызня есть не что иное, как желание посидеть в чистой, просторной комнате, за накрытым столом, в кругу... Но здесь мысли его приняли непозволительный оттенок, и он стал тихо свистать.

Гроза рассеялась: дождь капал с листьев, в то время как мокрая трава дымилась от солнца. Грифит провел несколько минут в состоянии философского столбняка, затем услышал собачий лай. Лай затих, немного погодя в кустах раздалось жаркое, жадное дыхание, и Грифит увидел красные языки собак, удержанных от немедленной с ним расправы ремнем, оттянутым железной рукой Якова Герда. Это был старик, напоминающий шкап, из верхней доски которого торчала вся заросшая бородою голова гиганта. Винтовку он держал дулом вперед.

Грифит встал.

— Я не ем куриного мяса,— сказал он.— Вы ошиблись и в тот раз и теперь. Я — вегетарианец.

— Если я еще раз увижу тебя в этих местах,— сказал Герд, бычьим движением наклоняя голову,— ты при мне выкопаешь себе могилу. Что сделал тебе племянник? За что ты так оскорбил его?

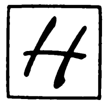
— Мы поссорились,— угрюмо ответил Грифит, не сводя взгляда с собак.— Спор вышел из-за вопроса о...

— Ступай прочь,— перебил Герд, тряся за плечо бродягу.— Помни мои слова. Я пощадил тебя ради воскресенья. Но Визг и Лай быстро находят свежую дичь.

И он стоял, смотря вслед бродяге, пока его спина не скрылась в кустах.

ПО ЗАКОНУ

I



аконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был, для моих шестнадцати лет, дверью мира, началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутные представления о морской жизни. Казалось мне, что уже один вид корабля кладет начало какому-то бесконечному приключению, серии романов и потрясающих событий, овеянных шумом волн. Вид черной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторженную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за стеклом сидели пестрые, как шуты, попугаи), все, встречаемые мной, моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде,— были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей. Меня пленяла фуражка без козырька с золотой надписью «Олег», «Саратов», «Мария», «Блеск», «Гранвиль»... голубые полосы тельника под распахнутым клином белой, как снег, голландки, красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжальчиком с мозаичной рукояткой, я присматривался, как к откровению, к неуклюжему низу расширенных длинных брюк, к загорелым, прищуренным лицам, к простым черным, лакированным табакеркам с картинкой на крышке, из которых эти впущенные в морской рай, безумно счастливые герои вынимали листики прозрачной папиросной бумаги, скручивая ее с табаком так ловко и быстро, что я приходил в отчаяние. Никогда не быть мне настоящим морским волком! Я даже не знал, удастся ли поступить мне на пароход.

Довольно сказать вам, что я приехал в Одессу из Вятки. Контраст был громаден! Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где на каждом шагу открывал Америку. Здесь бился пульс мира. Горы угля, рев гудков и сирен, заставляющий плакать мое сердце зовом в Америку и Китай, Австралию и Японию,— по океанам, по проливам, вокруг мыса Доброй Надежды! Вот когда география совершила злое

дело. Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества. Было лето, стояла удушливая жара, но, в пыли и зное, обливаясь потом, выхаживал я каждый день молы, останавливаясь перед вновь прибывшими пароходами, и, после колебания, взбирался на палубу по трапу, сотрясаемому шагами грузчиков. Обычно у трюма, извергающего груз под грохот лебедки, под отчаянный крик турка: «Вирра!» или «Майна!», торчала фигура старшего помощника с накладными в руках, и он, выслушав мой вопрос: «Нет ли вакансии»,— рассеянно отвечал: «Нет». Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания,— я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию «мексиканской панамы»), ученической серой куртке, подпоясанный ремнем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах.

Запас иллюзий и комических представлений был у меня вообще значителен. Так, например, до приезда к морю я серьезно думал, что на мачту лезут по ее стволу как по призовому столбу, и страшился оказаться несостоятельным в этом упражнении. Рассчитывая, по крайней мере, через месяц попасть в Индию или на Сандвичевы острова, я взял с собой ящичек с дешевыми красками, чтобы рисовать тропических птиц или цветы редких растений. Поступить на пароход казалось мне так же легко, как это происходит в романах. Поэтому крайне был озадачен я тем, что на меня никто не обращает внимания, и ученики мореходных классов, красивые юноши в несравненной морской форме, которых я встречал повсюду, казались мне рожденными не иначе, как русалками,— не может обыкновенная женщина родить такого счастливца.

II

Подъезжая к Одессе, я разговорился в вагоне с подозрительным человеком. На мой взгляд, он был опасный международный авантюрист, из тех, что хладнокровно душат старух, присваивая бриллианты и золото.

Поэтому я отправился в соседнее купе, чтобы предупредить там пожилую еврейку с большим количеством багажа. С ней я тоже свел знакомство. Вообще в поезде все знали, что я еду «на море», и я у всех допытывался, как поступить на пароход. Я сказал ей, чтобы она остерегалась, так как рядом со мной сидит несомненный жулик. Она горячо благодарила меня и, кажется, поверила.

Все произошло оттого, что я никогда не видел таких людей, как этот самоуверенный, хлыщеватый господин с остроконечной бородкой, в золотом пенсне, щегольском клетчатом костюме, лиловых носках и желтых сандалиях. Он так разваливался, картавил, делал такие капризные широкие жесты, что я принял его за мошенника благодаря еще обилию брелоков и колец, так как читал, что червонные валеты унизываются драгоценностями. Между тем это был всего-навсего главный бухгалтер Одесской Мануфактуры Пташникова, человек безобидный и добрый. Узнав, что я еду с одним рублем, что о море и морской жизни имею не более представления, чем о жизни в пампасах, он дал мне письмо к бухгалтеру Карантинного Агентства Русского Общества с просьбой обратить на меня внимание. Но до момента вручения письма я был непоколебимо уверен, что письмо заключает какую-то ловушку или страшную тайну, хранить которую меня обяжут под клятвой, угрожая револьвером. Однако именно благодаря этому письму второй бухгалтер устроил мне приют и полное матросское содержание,— правда, без жалованья — в так называемой «береговой команде».

«Береговой командой» были матросы, кочегары и другие мелкие служащие Общества, почему-либо неспособные временно находиться на корабле. Это был полулазарет-полубогадельня. Можно здесь было встретить также загулявшего и отставшего от рейса матроса или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего. Всего жило человек двадцать, по койкам, как в казарме; днем кто хотел работал носильщиком в складах пристани, а ночью нес очередную вахту около пакгаузов Общества.

Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рева и грома, свистков и криков, лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей — и голубым заревом свободного, за волнорезом, за маяком синего Черного моря. Я жил в полусне новых

явлений. Тогда один случай, может быть, незначительный в сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, показал мне, что я никуда не ушел, что я — не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей.

III

В казарму привезли раненого. Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в спину. Поссорились они или, подвыпивши, не поделили чего-нибудь — этого я не помню. У меня только осталось впечатление, что правда на стороне раненого, и я помню, что удар был нанесен внезапно, из-за угла. Уже одно это направляло симпатии к пострадавшему. Он рассказывал о случае серьезно и кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению. Рана была не опасна. Температура немного повысилась, но больной, хотя лежал, ел с аппетитом и даже играл в «шестьдесят шесть».

Вечером раздался слух: «доктор приехал, говорить будет».

Доктор? Говорить? Я направился к койке раненого.

Доктор, пожилой человек, по-видимому, сам лично принимающий горячее участие во всей этой истории, сидел возле койки. Больной, лежа, смотрел в сторону и слушал.

Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к судьбе обидчика. Он послан им, пришел по его просьбе. Положение ранившего таково, что его будет судить военный суд. У него жена, дети, сам он — военный матрос, откомандированный на частный пароход (это практиковалось). Он полон раскаяния. Его ожидают каторжные работы.

— Вы видите,— сказал доктор в заключение,— что от вас зависит, как поступить — «по закону» или «по человечеству». Если «по человечеству», то мы замнем дело. Если же «по закону», то мы обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.

Была полная тишина. Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не проронившие ни одного

слова, замерли в ожидании. Что скажет раненый? Какой приговор изречет он? Я ждал, верил, что он скажет: «по человечеству». На его месте следовало простить. Он выздоравливал. Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало нераздельно. Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родиной больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет...

Раненый помолчал. Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым воспоминанием. Он вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнес:

— Пусть... уж... по закону.

Доктор, тоже помолчав, встал.

— Значит, «по закону»? — повторил он.

— По закону. Как сказал,— кивнул матрос и закрыл глаза.

Я был так взволнован, что не вытерпел и ушел на двор. Мне казалось, что у меня что-то отняли.

С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с ее внутренних, настоящих сторон, впервые почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса — в самих нас.

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУТЧИК

Знаменитый актер Дуглас почти никому не рассказывал свою странную историю, только я да наш общий друг Эмерсон знали ее. Теперь, когда Дуглас умер, простив всех, а в глубине души простив, быть может, и Эмерсона (я улыбаюсь, говоря так, оговариваю это с улыбкой потому, что сам не знаю себя, как и все мы), можно безболезненно для него и безобидно для прочих очертить тайну одного дня на Сан-Риольской дороге, между Вардом и Кэзом, в изложении хотя литературном, но вполне верном действительности.

Около четырех часов дня у большого камня, пересекающего своею тенью дорогу, присел человек лет тридцати пяти.

Босой, загорелый, небритый, он был одет или, вер-

нее, прикрыт ужаснейшими лохмотьями, куча которых, брошенная отдельно, заставила бы бережно обойти их даже кошку.

Голову оборванца прикрывал пестрый платок, завязанный узлом на затылке. У него не было рубашки, и голая грудь выказывалась почти вся из драного на локтях кителя, с короткими рукавами, без пуговиц, в узорах заплат.

Нижние края грязных парусиновых брюк были истрепаны в бахрому; холст просвечивал на коленях, а щели выдранных карманов блестели полоской тела.

Однако его сумрачное лицо с мягким очертанием рта и спокойными голубыми глазами не отражало удрученности, озлобления или приниженности. Поставив толстую палку между колен и беспечно оглядываясь, человек насвистывал арию из «Кармен» с искусством, выказывающим хороший слух, а также любовь к музыке.

Его взгляд упал на придорожную яму, полную дождевой воды. Насмешливо вздохнув, человек встал, подошел к этому естественному зеркалу, предку всех венецианских и парижских зеркал, и склонился над своим отражением.

Оно было не лучше, не хуже оригинала, имея, впрочем, то преимущество, что распадалось и исчезало, если болтануть воду рукой, тогда как оригинал, даже при стремительном урагане, оставался в мире вещей точно таким, как и в безмятежное утро.

Бродяга рассматривал себя с странной улыбкой удовольствия и комического презрения. Он сидел боком к яме, наклонясь и упираясь руками в траву.

Из этого сосредоточия его внезапно вывел насмешливый, степенно выговаривающий слово за словом голос неизвестного человека, раздавшийся так близко от нового Нарцисса, что тот, подняв голову, вспыхнул подобно молодой девушке, кокетство которой находит преувеличенную оценку.

На противоположном краю ямы, скрестив по-турецки ноги и сложив на груди руки, восседал почти что его двойник, с той разницей, что его лохмотья были иного цвета, платок заменяла рыжая, как огонь, шляпа, а тонкое, молодое лицо с правильными чертами выглядело моложе лет на десять. Быстрый и резкий взгляд черных глаз и упрямое выражение рта придавали его

лицу впечатление опыта и душевной гибкости более старшего возраста.

— Сорокалетняя наяда без юбки перед визитом Тритона,— внушительно сказал он, смеясь глазами,— или куртизанка в спальне соперницы. Не утопитесь в своем трюмо, милейший, и не делайте таких соблазнительных глазок лягушкам, не то список ваших побед в следующей странице начнется с «ква-ква»!

— Что это значит?! — сурово воскликнул первый, одолев смущение.— Прекратите свой монолог и оставьте меня в покое.

— Как?! — сказал, издеваясь, шутник.— Как? Упустить такой случай? Покорно подать ваш эмалированный гребешок и, почтительно склоня голову, с восхищением следить за блистающими под пудрой розами и лилиями вашего очаровательного лица?! Жестокий и неописуемо чванный граф! Для этого ли...

— Меня зовут Эмерсон,— коротко перебил этот ядовитый дифирамб первый бродяга, вскакивая с бледным лицом,— и ты немедленно увидишь собственную красоту.

Насмешник не успел отступить, как суковатая палка с силой пропела возле самого его уха, едва не разбив лицо, и воткнулась в землю далеко позади. К великому удивлению Эмерсона, оборвыш, вместо того чтобы швырнуть в него своей палкой, спокойно перешел лужу и протянул руку, ничем не выказывая трусости или хитрости.

— Я не думал, что это так серьезно для вас,— просто сказал он, в то время как Эмерсон неохотно и хмуро дотронулся до его руки,— что делать, надо как-нибудь веселить жизнь, если она сама, забавляясь, хлопает нас по щекам каждый день, да еще при этом так брезгливо отворачивается. Однако бросим учтивости. Куда идешь, милый?

По лицу старшего прошла едва уловимая улыбка. Он ответил не сразу и попытался уклониться от прямого ответа.

— Не все ли равно? — сказал он.— Люди, подобные нам, часто идут одной дорогой, но к разной цели. Мой путь недолог.

— Не гордись, братец, тем, что ты на своем веку выпил из придорожных канав больше воды и больше накрал чужих кур, чем я. Уверяю тебя, с некоторых пор я достиг немалого искусства в этом интересном за-

нятии, так что смогу показать тебе коллекцию петушьих гребней весом в кило.

— Надеюсь, однако, что в эту коллекцию не попадут петухи с моей фермы,— сказал Эмерсон посмеиваясь,— в противном случае ты рискуешь потерять свои волосы.

— Ну вот, наконец-то ты заговорил человеческим языком,— заметил бродяга, шагая рядом,— верно, ты идешь так скоро, как будто тебя и вправду ждет жена с воскресным яблочным пирогом. Обещаю тебе, дружище, если у тебя когда-нибудь будет ферма, выкрасть тебе на развод птичника петушка с курочкою и мешок овса, чтобы кормить их. Как я вижу, нам по дороге. Ну так знай, что меня зобут Билль Железный Крючок, и если мы когда-нибудь еще встретимся, можешь смело подать мне огня для трубки, не опасаясь репрессий.

Эмерсон внимательно посмотрел на своего странного спутника. Следы голода и бессонных ночей в лице Билля наполнили его некоторым уважением к этому человеку, способному, казалось, шутить даже на смертном одре. К тому же его взгляд, несмотря на беспокойство и живость, отличался необъяснимым внутренним равновесием и лукавой, подкупающей мягкостью.

— Ты голоден? — быстро спросил он.

— Да, но в высшем смысле,— сказал Железный Крючок.— В вульгарном смысле я сожрал бы быка, а в высшем удовлетворюсь виноградинкой и глотком воды Сирано де-Бержерака.

— В таком случае,— сказал Эмерсон,— выбирай либо низший, либо высший смысл,— а может быть, есть середина между тем и другим, так как ты сегодня обедаешь у меня, где можешь в придачу получить пару сносных брюк и рубашку.

Совершенная уверенность и невозмутимость тона, каким Эмерсон высказал эти радушные вещи, произвели быстрое и ошеломительное действие. Билль Железный Крючок внезапно согнулся, как будто его ударили палкой по животу, затем сел и стал мять в ладонях лицо, удерживая такой страшный, душепожирающий хохот, какой иногда сражает нас до боли в боках, до истерических взвизгиваний и может повести к смерти, если развеселившийся таким образом человек имел в это время во рту что-нибудь рассыпчатое или колючее, скажем, сухарь или непрожеванную рыбу с костями.

Пока он хохотал, Эмерсон смотрел на него с неловким выражением досады и легкого раздражения; подметив это, Билль закатился еще неистовее.

— Как... ты... сказал?..— выговорил он наконец сквозь вопли, стоны и вздохи, сморкаясь и отдуваясь, подобно купающемуся.— Как... это — а... э... о-ох! Как это ты так ловко завинтил?! «Обед»,— говоришь,— ха-ха-ха! и «штаны» — говоришь?! О-о! Я умру без погребения, канашка ты этакий! Может быть, брюки из шелкового трико? И жилет к ним — белое пике с серебряными цветочками?! Знай, что даже теперь я не променяю своих штанов на твои, а так как ты тот самый счастливый человек, у которого нет рубашки, то и не пытайся украсть ее, чтобы подарить мне. Нет, не говори. Не говори, что ты обиделся за мои слова около лужи,— но как ты великолепно разыграл это? Подними меня, я обессилел от хохота!

— Печально,— сказал старший бродяга,— если бы ты поменьше смеялся или, по крайней мере, потрудился хорошенько меня расспросить, в чем дело, я, может быть, оставил бы тебя восхищаться моим мнимым уменьем дурачить прохожих на большой дороге; однако я не люблю, если мне навязывают несвойственную роль. Вставай, веселый человек.

Билль встал. В лице и манерах его совершилась неуловимая перемена, овладеть которой в подробностях Эмерсон не мог, но он почувствовал ее так же ясно, как хорошую погоду, смотря на просветлевшее после дождя небо. Взгляд Билля стал зорок и тверд, выражение лица блеснуло худо скрываемым превосходством, и легкая улыбка презрения, столь тонкого, что почувствовать его равнялось бы унижению, внезапно остановила речь Эмерсона. Показалось ему, что яростно хохотал, хватаясь за живот, кто-то другой — таким непохожим на прежнее обернулось перед ним странное лицо Билля.

Но он ничего не сказал об этом и, помолчав, медленно зашагал, переваривая неожиданное впечатление. Билль шел рядом, иногда взглядывая на своего спутника тем свободным движением, какое свойственно прямому и решительному характеру.

Эмерсон принадлежал к категории людей, которые, раз начав развивать внутренно какое-либо положение, хотя бы и оборванное, не могут уже удержаться, чтобы не привести это положение к развитию и окончанию в действительности. Поэтому, нахмурясь от досады

на самого себя за то, что поддался мелкому чувству смешной и пустячной обиды, он все-таки досказал, что хотел.

— Все произошло из-за испорченного затвора. Я должен был поехать проверить и пересчитать плоты, прибывшие на лесопильный завод — мой завод,— крепко подчеркнул он, подозрительно всматриваясь во внимательное лицо Билля и начиная сердиться в ожидании выходки с его стороны.— Это в тридцати милях отсюда. Дело было вчера вечером. Противно обыкновению, я взял с собой штуцер, а не револьвер, как делал раньше. Мы не всегда можем дать себе отчет в некоторых движениях. Вот этот-то штуцер и сыграл со мной партию наверняка. В сумерках на лесной тропинке ускакать было немыслимо. Двое уцепились за гриву и узду, а трое столкнули с седла. Одеты они были... гм... немного получше вашего.

— Продолжайте,— мягко, но твердо перебил Билль.

— Продолжать — значит кончить,— заметил Эмерсон, с неудовольствием чувствуя на себе испытующий взгляд своего спутника. Все время рассказа его смущал также вид его босых ног, смешно торчащих из коротких штанов, и коробила нелепость положения, ярко обозначенного в безжалостном свете солнца видом настоящего придорожного дикаря бродяги.— Я оканчиваю. От сырости или от плохой чистки, но затвор штуцера не поддавался моим усилиям, и он был отнят у меня вместе с лошадью и всем, что было на мне. Вдобавок я получил тумаки и благодарю бога, что жив. Ну-с, я шел обратно всю ночь голый, дрожа от злобы и холода. Это отрепье мне дал железнодорожный стрелочник,— я подошел к его окну в ожерелье из веников, которые связал сам. Стоило послушать наш разговор и мои объяснения... К тому же местность эта пустынна. Но путь был невелик, считая от стрелочника. В полумиле отсюда мой дом.

— Но это ужасно! — сказал Билль совершенно новым, спокойным и участливым тоном, так же не шедшим к его внешности и положению, как трудно вязался неожиданный рассказ Эмерсона с отсутствием у него рубашки.— Я не могу не верить вам, я верю,— добавил он серьезно и быстро.— Но, правда, говорят — жизнь страшнее романов. Простите мистификацию, естественно подсказанную мне моей ужасной одеждой: я — Эдмонд Роберт Дуглас, член и секретарь председателя

Географического Общества в Сан-Риоле и временный бродяга на полуострове; смотрите как хотите на мое поведение, но пари, которое я держал с одной дамой, по существу своему, не позволяет мне проиграть его. Я знаю, что вы удивлены, но, клянусь вам, не менее был удивлен и я, когда вы пригласили меня обедать.

— Вы лжете,— сказал, оторопев, Эмерсон.

Ему пришлось выбранить себя за поспешность, с какой бросил он оскорбление.

Дуглас, вздрогнув, остановился. Его лицо вспыхнуло, затем побледнело: судорога мучительной борьбы меж гневом и чрезвычайным усилием сдержать себя тенью прошла в его чертах с таким напряжением и достоинством, что Эмерсон только пожал плечами.

— Вы сказали странные вещи,— заметил он тоном извинения.— Да, вы поразили меня.

— Я мог бы сказать то же относительно вас. Но, помимо слов ваших, было неизъяснимое душевное движение между нами, заставившее меня поверить. Я надеюсь, что точно такое же движение возникнет у вас, если я расскажу о себе. Правда и то, что я счел вас обыкновенным бродягой, не сразу поверив; поэтому вы правы, не веря без доказательств.

— Я верю,— сказал Эмерсон просто,— вы доказали мою вину именно тем «внутренним движением», какое только что тронуло меня. Но как необыкновенно, как странно все это! То есть, я хочу сказать, что ваше и мое положение, взятые отдельно, не есть еще редчайший курьез,— редкость заключается в нашей встрече.

— Не меньшая, чем если ухитриться поставить иглу острием на острие другой иглы,— сказал, улыбаясь, Дуглас.— Но со мной было так. На рауте у Эпстона, известного, вероятно, и вам, по слухам, миллионера, рауте в честь знаменитого путешественника Виталия Кроугли, я стал утверждать, что человек, кто бы он ни был, может без всякого вреда для своего характера и основных склонностей стать в любое положение на любой срок, возвратясь тем же, чем был. Кроугли указывал неизбежное, по его словам, давление среды, легкий, может быть, едва ощутимый осадок, муть покинутых и не свойственных данному субъекту условий. Спор произошел в присутствии — имя не играет роли — одной женщины; когда мой оппонент заявил, что стоит мне провести месяц на большой дороге, и я начну вести

себя с некоторой оригинальностью, я предложил это пари. Правда, Кроугли имел в виду мою крайнюю впечатлительность; он утверждал, что я, незаметно для самого себя, выкажу в обхождении и складе речи такие мелочи позаимствованного в новой среде багажа, какие уловятся лишь посторонними. Но мне надо было обратить на себя внимание, заставить думать обо мне одно твердое и холодное сердце. Короче говоря, я вызвался провести шесть месяцев без денег, в рубище, исходив полуостров от Кэза до Минигама и от Зурбагана до Сан-Риоля, питаясь чем случится с тем, что, возвратясь, немедленно явлюсь в общество заранее извещенных лиц и предоставлю их компетенции судить, оставила ли бродячая жизнь на мне и во мне хотя бы малейший след. Но я переимчив и наблюдателен, поэтому-то и раздражил вас, сознаюсь, утрированным изображением веселого Билля Железный Крючок.

— Но все это крайне интересно! — сказал Эмерсон, настолько увлеченный рассказом Дугласа, что забыл о своем странном костюме и вспомнил о нем, лишь когда за поворотом дороги показалась затейливая голубая крыша большой белой усадьбы.— Теперь мы дома, прошу вас, Дуглас, быть у меня гостем.

Показалось ли ему, что его спутник издал неопределенный быстрый звук, или тот действительно произвел нечто вроде короткого восклицания, смешанного с глухим кашлем,— только Эмерсон вопросительно взглянул на него. Но лицо Дугласа было невозмутимо спокойно. Он, казалось, с удовольствием рассматривает плантации, сад, городок служб и белую, вымощенную щебнем дорогу, поворачивающую от шоссе, через зеленые изгороди, к веранде дома.

Разговор, который вели теперь оба путника, был о редких случайностях. Вдруг Дуглас остановился, дотронувшись до плеча Эмерсона несколько фамильярным движением.

— Что вы? — спросил Эмерсон.

— Слушайте,— сказал, посмеиваясь, Дуглас,— слоняясь, я воспитал в себе беса, который так и подмывает меня перевернуть банку с орехами. Будь вы действительно бродягой, прикидывающимся, чтобы поморочить приятеля, собственником большой фермы,— знаете, как я заговорил бы тогда?

— А как?

— Ну... это — искусство. Например: послушай, небритая щетина, не забудь, если тебе удастся пробраться на кухню, замолвить словечко и за меня. Скажи что-нибудь сердцещипательное хозяевам — ну, хотя бы, что ты не можешь есть с аппетитом, если я не сижу рядом с тобой.

Эмерсон добродушно рассмеялся.

— Да, вы овладели этой манерой,— сказал он,— и если бы я не боялся обидеть вас, то попросил бы вначале не открывать при жене, кто вы, ради простой шутки, конечно.

— Я еще сказал бы вам,— задумчиво и хмуро продолжал Дуглас,— не иди так прямо к подъезду, как свинья прет на чужое корыто, иначе тебя отдубасят так, что вместо подачки придется мне тащить сломанные кости твои, старый плут.

Эмерсон без улыбки посмотрел на Дугласа, находя, что шутка переходит предел.

— Так, так,— рассеянно и нетерпеливо сказал он. Они шли мимо веранды.

— Анни,— сказал Эмерсон, заметив белую фигуру с книгой в руках среди узора дикого винограда.— Анни, не испугайся. Это я. Скажу кратко — меня раздели, но я цел и невредим.

Молодая женщина, вся вспыхнув от неожиданного волнения, вызванного ужасным видом мужа, быстро сбежала по лестнице, утирая слезы и удерживая нервный смех; с быстротой и живостью ощупала она Эмерсона, поворачивая его из стороны в сторону, отступая, всплескивая руками и тряся головой, как будто весь наряд пострадавшего сыпался на ее темные волосы.

— Дорогой мой! — сказала она.— Но знаешь, ты бесподобен! Правда ли, что цел? Но покажись еще; повернись так. И так. Прости меня, идем, я одену тебя, бродяжка! А это...

Поймав ее взгляд, Эмерсон обернулся, сказав:

— Анни, случайная встреча; и мы уже познакомились. Но не пугайся вторично: Эдмонд Роберт Ду...

Он остановился с тревогой, пораженный до чрезвычайности. Дуглас стоял, прислонясь к молодому каштану и вытянув вперед правую руку, как будто отталкивал прочь Эмерсона или предупреждал его движение. Но

Эмерсон был ошеломлен в такой степени, что мог только сказать:

— Вы... что случилось?..

Дуглас был крайне бледен; два раза порывался он заговорить, но не мог. Из его глаз скатились две крупные слезы, и он тихо снял их рукой, видимо, стыдясь этой слабости.

— Что? — сказал он наконец с мучительным глухим усилием.— Ничего больше, как то, что вы обманули меня. Я думал... о, черт! — выругался он, взглянув на пристально обнюхивающего его водолаза.— Я думал, что вы такой же Эмерсон, как я — Роберт Дуглас. Меня встряхнуло, но это, знаете, оттого, что я не предвидел финала. Слушая вас, я даже завидовал: ведь вы ни разу не улыбнулись, когда несли эту... когда рассказывали о нападении и стрелочнике. Да, вы — Эмерсон, и это — ваш дом, и это — ваша жена. Но я — я Билль, выгнанный за скандалы актер, мот и игрок, и ничего более. Я думал, что оба мы «ловим блох». В нашей компании трепать языком, как трепал я, называется «ловить блох». Иногда это скучно, иногда занятно, смотря с кем, и я думал, что наше состязание... Простите мои больные нервы. Это оттого, что и я ранее представлял себе, как вхожу в дом, где... где меня не облают. Прощайте. Кушайте на здоровье. Я отказываюсь от приглашения.

Эти беспорядочные слова бродяги глубоко тронули Эмерсона. Он обладал верным и тонким инстинктом к людям, поэтому первым его движением было взять Билля за руку и потянуть на веранду.

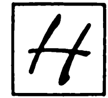
Билль, отняв руку, покачал головой:

— Я только больше расстроюсь.

— Так войди же и живи с нами! — вскричал Эмерсон.— И пусть меня разорвут на части мои собственные собаки, если я не сделаю из тебя человека!

Так Билль Железный Крючок поселился у Эмерсона, а впоследствии развил свое необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах. Финальная виньетка к этому рассказу изображает крючок среди рассыпанных на столе карт; стол стоит на большой дороге, а над всем этим блестит тонкий луч восходящего солнца.

ОБЕЗЬЯНА-СОПУН



а третьем действии «Золотой цепи», поставленной после продолжительного перерыва в Новом Сан-Риольском театре, сидевший в ложе второго яруса Юлий Гангард, натуралист и путешественник, был несколько озадачен одной сценой, в отношении которой долго старался что-то припомнить, но безуспешно. Это был как раз тот момент, когда, по пьесе, смертельно раненный Ганувер падает и лежа протягивает руки к Дигэ, принимая ее за Молли, в то время как круг озверевших гостей, мерно ударяя в ладоши, вопит песню. Не песня, не каждое движение актеров в отдельности, но совершенно неуловимое стечение впечатлений, подобно легкому движению воздуха, вынесло Гангарда из театрального настроения в область неверных воспоминаний — тронуло и прошло, оставив неутоленный след.

Некоторое время он был задумчив, рассеянно говорил со своим приятелем, почти не слыша его замечаний, и, когда занавес спустился, вышел один в буфет, где, стоя у прилавка, выпил коктейль.

Он думал, что странное веяние, коснувшееся его во время описанной сцены третьего действия, прошло, но, рассмотрев толпу, заметил, как сквозь перебегающие обычные мысли возвращается, приближаясь и ускользая, настойчивое воспоминание — с закрытым смыслом, в спутанных очертаниях сна. Оно было как твердый предмет, попавший в ботинок, ощутительно и неизвестно по существу. Больше того, оно вывело его из равновесия, требуя разрешения, и он стал самым положительным образом искать в памяти: что такое почти припомнилось ему во время игры.

В это время через шумную тесноту фойе пробирался, рассыпая улыбки, худощавый нервный человек с живым, напоминающим мартышку лицом, и, рассеянно взглянув на него, Гангард разом связал потуги воспоминаний в одно отчетливое и загадочное зрелище, которому был свидетель год назад, очень далеко отсюда. Вновь встал перед ним лес, из леса вышли звери с мохнатыми, круглыми, человеческими глазами, и повторилось острое изумление, усиленное замечательным совпадением поз,— здесь, на сцене, и в лесу — там.

Продолжая думать об этом, он разговаривал теперь с одним из своих поклонников, молодым человеком, не

умеющим отличить пули от пороха, но несмотря на это мечтающим или, вернее, болтающим о далеких путешествиях языком томного петушка, зачислившего себя в орлы.

— Скажите-ка мне, Перкантри,— прервал его трепет Гангард,— как театралу плохому и случайному,— кто это играл Ганувера?

— О! Неподражаемый Бутс, конечно,— сказал Перкантри, изящно шевеля талией,— кстати, вы знаете его историю? Ну, конечно, знаете, и в строгих, каменных чертах вашего лица я уже уловил симпатию к Бутсу. Как же: он был в Африке, хотя и случайно. Он ехал в Преторию с труппой, ха-ха! — вы хотите сказать, Гагенбека? О, нет, сам великий Давид Патарон, антрепренер, вез его в первоклассном салоне; кормил конфетами и так мягко вспоминал о контракте, как будто горел желанием вписывать туда все новые и новые суммы. Да: «Сингапур» толкнулся о мину, после чего на шлюпках, при хорошей погоде и попутном ветре, вся братия высадилась где-то севернее или южнее Занзибара,— сказать не могу. Да, их потрепало, конечно, и там были экзотика, и таинственный лес, и хищные звери, и все. Ну, естественно, реклама чудовищная. Теперь Бутс здорово раздул щеки.

Сославшись на телефон, Гангард оставил Перкантри и пошел за кулисы. Он ничего не понимал, догадок у него никаких не было, но какая-то нить уже связывала актера и путешественника, и еще отчетливее, с большими, тревожно обращенными в прошлое глазами увидел Гангард сцену в лесу.

Бутс, кончив роль, переоделся; уже брал он цилиндр, когда явился Гангард.

— Я не задержу вас,— сказал гость после обмена приветствиями, с наполовину искренней лестью.— Привычка говорить через переводчика научила меня экономно составлять фразы, и потому я кратко расскажу о странных наблюдениях моих на восточном берегу Африки. Сначала коснемся вашей игры, вернее, той сцены, которая повергла меня в недоумение. Я говорю о моменте падения Ганувера, когда он, стараясь поймать подол платья Дигэ, принимает ее за свою невесту, а гости, стоя вокруг умирающего, хлопают и поют.

— О! Я не был в ударе...— начал Бутс, но Гангард остановил его жестом.

— Ваша игра прекрасна,— сказал он.— Теперь слушайте. В лесу, в лунную ночь, я увидел на тесной, ярко озаренной поляне, как из чащи, спускаясь по лианам, вышло стадо обезьян-сопунов, довольно редкая разновидность человекоподобных.

Бутс стал вдруг крайне внимателен и, описав сигарой что-то подтверждающий полукруг, согласно кивнул.

— Итак,— продолжал Гангард, пристально смотря в напряженные глаза Бутса,— эти обезьяны, отчасти напоминающие кокетливо одетых в меха шоферов, особенно если принять во внимание автомобильные очки и движения быстрые, как движения пальцев вяжущей чулок женщины, спустились с деревьев и наполнили поляну по странному сигналу своего предводителя. Был это фыркающий, тоскливый и глубокий, как вздох, крик, после чего на поляне произошло смятение, подобное фальшивой тревоге пожарного обоза, когда он выезжает на упражнения. Обезьяны толкались, бесцельно переходя с места на место. Часть их еще скакала по веткам, но скоро все сплотилось в одну сумасшедше-быструю кучу, и нельзя было понять смысл этого сборища. Наконец крики, тревожные, грустные крики знающих что-то свое зверей, перешли в хор, в режущий ухо вопль, иногда просекаемый густым ворчанием самцов.

Но вот — все они расступились. В середине круга стало два зверя; согнувшись, руками касаясь земли, они гримасничали, блестя круглыми, в меховых очках, глазами, и один зверь, раскачиваясь, упал. Дикий крик издал он, пронзительный, резкий вопль, какой издает обычно антропоид, если его подстрелят. Он упал, стараясь схватить за хвост другого, который, увертываясь, вытягивал руки и потрясал ими, выказывая всем видом крайнее исступление.

Я, конечно, не помню мелочей общего движения этих шоколадных фигур в лунной пустоте чащи. Прошло несколько времени, когда, казалось, видя всеобщее замешательство, они перейдут в драку, но упавшая обезьяна оставалась лежать по-прежнему среди некоторого свободного пространства, и я не видел ничему объяснения. Тогда — обратите на это внимание — круг обезьян, утихнув, привстал, окружив лежащего в середине теснее, и некоторые из них, медленно покачивая головами, стали соединять и разъединять руки, правда, не хлопая, но совершенно так, как в глубокой рассеянности поступает человек,— трогая рукой руку, не зная,

то ли потереть их, то ли, сжав, на чем-то сосредоточиться. Это движение, этот однообразный жест, полный грустной механичности, вскоре стал общим, после чего на высоте дерева раздался короткий крик, и, соскочив оттуда в гущу действия, вновь явившаяся обезьяна стала поднимать лежащую.

Вот, собственно, все. Когда Молли, ваша блестящая, высоко даровитая артистка Эмилия Аренс, прибегает к раненому Гануверу и поднимает его, в то же время разгоняя хищную толпу самозванных гостей, я вижу, что ее драматический момент в точности совпадает,— конечно, в грубых чертах — с поведением той обезьяны, которая спустилась с дерева; она зарычала. Круг обезьян отступил и рассеялся. Все смешалось. Лежавший зверь тоже вскочил, и произошло обычное, бессмысленное для нас скаканье взад-вперед, после чего целый дождь пружинных прыжков разнес все сборище по окружающим поляну деревьям, и, еще несколько повозившись на высоте, сопуны скрылись, а я вернулся в палатку, чувствуя, что подсмотрел нечто, едва ли встречаемое натуралистами.

Крайне заинтересованный, я провел на этом месте еще три ночи подряд, и каждый раз, с несколькими вариациями, сопуны проделывали это же непонятное действие. На четвертую ночь я подстрелил одного из них — именно того, который падал посередине круга, желая узнать, не является ли какое-нибудь органическое страдание зверя причиной этих ночных загадочных сборищ. Итак,— но... хочу ли я что-нибудь сказать этим? Нет. Я только рассказал факт.

— Где это происходило? — спросил Бутс, едва Гангард смолк.

— На морском берегу, между Кордон Брюн и устьем небольшой речки, называемой туземцами Ис-Ис. На картах она отмечена не везде.

— Мы выехали из Кордон Брюн,— сказал потрясенный актер,— выехали на нефтяном пароходе, но скажите еще одно, не начинается ли длинный овраг от песчаной полосы там, где вход на эту поляну?

— Да, и я пересек овраг в отдаленном его конце.

— Отдаленном от моря?

— От моря.

— Пройдя большие серые камни?

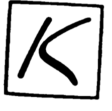
— Их пять штук, они расположены прямой линией под углом к лесу.

— Слушайте,— сказал, помолчав и усмехаясь, Бутс,— на этой поляне я и мои товарищи, между прочим, небезызвестная в Европе Мери Кортес, разыграли от нечего делать для себя и для прочей спасшейся публики третье действие «Золотой цепи». И стая обезьян собралась смотреть на нас. О! Я все хорошо помню. Их так густо нанесло вокруг по вершинам, что кое-кто хотел выстрелить, чтобы их разогнать, так как они иногда мешали своим сопением и чрезвычайным волнением, но Мери Кортес взяла их под свою защиту, объявив, что им выданы контрамарки. Да, мы весело провели несколько дней, по-африкански весело. Теперь что же? Как вы объясняете все?

Гангард долго молчал.

— Я, кажется, напрасно застрелил сопуна,— сказал он с внезапной неподдельной грустью, что-то обдумывая.— Да, конечно, так, дорогой Бутс. Эти впечатлительные нервные существа были, надо думать, поражены действием. Они видели притворное горе, и притворную смерть, и притворную любовь во всей недоступной им человеческой сложности и, ничего не поняв, все же что-то оставили для себя. Им прозвучал сильный призыв из навсегда закрытого мира. Увы! бедняги могли только перенять внешность и тщательно повторять ее. У вас никогда не было более потрясенных зрителей. Мы встретимся поговорить об этом подробно, а пока что я так расстроился, что поеду домой и, не сердитесь, пришлю вам чучело моего сопуна. Это ваш меньшой брат — маленький Бутс.

БЕЗНОГИЙ



Когда я остановился...

Как правило, я не люблю зеркал. Они возбуждают представление отчетливой призрачности происходящего за спиной, впечатление застывшей и вставшей стеной воды, некой оцепеневшей глубины, не имеющей конца и вещей в далях своих.

В особенности жутко рассматривать отражения уличного зеркала, с его неточностью вертикали, где стены и улицы клонятся, привстав, на тебя, или — прочь, вниз, подобно палубе в качку, пока не отведешь глаз.

Мы обычно рассматриваем себя изнутри, не отделяя наружности, какой смутно помним ее, от мыслей и чувств,

поэтому большей частью бываем настроены несколько мстительно и настороже, когда видим эту живую форму — свое лицо — отделенной от нас в беззащитное состояние.

Я не отвернулся бы к зеркалу, не обратился бы к его немому подсказу, если б не замечание вполголоса:

— Смотри, калека, дай ему что-нибудь.

Это сказала женщина. Они сострадательнее мужчин, может быть, потому, что у них живее воображение чувств, отличное от воображения зрительного.

Я оглянулся и увидел человека в рваном пальто, сидящего на бедрах в тележке-ящике. У него было опухшее, безжизненного цвета молодое лицо; жизнь этого рассеченного пополам узника ушла в глаза, блестяще и напряженно бегающие по лицам идущей над ним толпы. Вся насильственно остановленная подвижность тела выражалась этим шагающим на привязи взглядом. Его плечи были сведены вперед, руки упирались в края ящика, палки лежали рядом.

Иногда, приподнимая черный картуз и снова туго натягивая его, он вносил этим движением в мои впечатления черту уродливого благополучия; тогда, с некоторым усилием, я мог представить, что этот человек стоит наполовину в земле — как рабочий в водосточной канаве — и что у него есть ноги.

Меня удерживало около него желание превзойти самого себя, постичь его ощущения, его вечное чувство укороченности, неправильного сердцебиения, его особый ход мыслей, всегда связанных с своим положением.

Я не знаю, почему было мне это нужно, так как я не люблю калек из чувства решительного, несколько раздраженного сопротивления, возбуждаемого этими переделанными, заштопанными телами, заставляющими вводить в спокойный и свежий свой мир вид несчастья уродливого,— увы, мы ищем гармонии даже в лохмотьях, картинности — в отравленной угаром мансарде, и зрелище мужественной нужды тронет нас скорее, чем просто голодный вой, потому что первый случай картинности кует воображение.

При виде калеки я делаюсь замкнут, любопытен и холоден.

Я был таким и теперь, когда, не желая смущать несчастного, изучал его в зеркале, замечая, что и он тоже упорно смотрит мне в глаза в стекле, может быть, ожидая, что я подойду и дам денег.

Наверное, он так и думал.

Я убежден, что каждого прохожего он рассматривал исключительно с этой стороны, что его негодование было непрерывным, так как едва один из ста совал ему что-нибудь. В таких случаях калека механически кланялся и снова начинал молча вертеть ярким взглядом, находя, конечно, излишними всякие причитания и возгласы.

Когда в ящике накоплялось несколько штук бумажек, он неторопливо сортировал их и раскладывал по карманам, смотря перед собой с рассеянностью бухгалтера.

Я хорошо чувствовал и понимал это профессиональное настроение, связанное с особыми душевными искажениями, которые в свете жестокой, непроизвольной внутренней усмешки моей получали показной, театральный характер.

Калека был мне неприятен и жалок, но я не мог отойти от зеркала, рассматривая его с живейшим и ненасытным интересом, разбрасывая вокруг отрывочные картины боя, разрыва гранат, серого с розовой полосой утра, где в сумерках, с руками, оттянутыми носилками, спотыкаются санитары и ровный, как пение самовара, стон сумеречного поля мешается с далекой пальбой.

Затем — операция, сознание новой и трудной жизни, тысячи мелких приспособлений, неизвестных до этого, сны о ногах, попытки неумелых движений, наука двигаться заново, с иным представлением о себе; согретое годами отчаяние и темное безразличие.

Между тем я замечал, что, по впечатлительности или особой нервности, машинально двигаю руками, подражая калеке, когда он возился с деньгами или менял в чем-нибудь свое положение. Эти неполные, только лишь намеченные и оборванные движения мои чрезвычайно раздражали меня, и я стал смотреть на других как в зеркале, так и по тротуару.

Эти бесчисленные шаги *ног*, пульсация множества сухих женских лодыжек, мерное откусывание калошами, сапогами и валенками больших, ровных кусков тротуара, шум, стук, шарканье и шелест движения вызывали во мне приятное чувство силы и равновесия, благодаря которому я могу пройти всю Тверскую взад-вперед, поднимаясь в гору и спускаясь с нее.

Калека в ящике иначе должен ценить и сознавать пространство; оно для него — почти фикция, забытый сон; он смотрит на ближайший угол с сложным расче-

том дали, и крыша Гнездниковского небоскреба должна ему казаться Монбланом.

Здесь мои размышления внезапно вспыхнули, рванувшись вслед женщине, прошедшей быстро и озабоченно сзади меня; я тотчас узнал ее, все вспомнив, что было семь месяцев назад.

Я поднимался в четвертый этаж, где мне открывали дверь, зная, как я звоню, две сестры,— младшая, держа старшую за талию и выглядывая из-за нее с шутливым вопросом: «Чего-с?»

Старшая смущалась, но не особенно; есть род приветливого смущения, действующего взаимно, и я, смущаясь сам, радовался тому. Что же разлучило нас? Я никак не мог вспомнить в эту минуту. Вообще у меня плохая память на прошлое. Первым движением моим было броситься вслед, но я почему-то не сделал этого тогда, когда она была в двух шагах, затем у меня уже не было сил двинуться.

Я точно окаменел. Я стоял, пытаясь что-то понять, но мысли так разбегались, что я сам — глухое отражение зеркала и звонкий оригинал — улица сзади меня,— все спуталось в сеть, и беглый, глубокий трепет ошеломления вызвал наконец эту ужасную кристаллизацию, от которой перехватило в горле.

Так! Это я смотрю на себя, я, забыв, чтó со мной; у меня нет ног, палки лежат рядом, и прохожие, втянув голову в плечи, посматривают на меня сверху вниз, иногда бросая бумажку.

Действительно — я очнулся. Зеркала вызывают сны — странное смещение прошлого и настоящего, меняют взгляд, цели и впечатления,— этот хоровод исчез; с болью, крутым твердым винтом прошел сквозь меня день бегущих, чужих ног и пригвоздил к ящику, где я могу шарить руками вокруг своих бедер, шурша бумажками. Я смотрю на ноги и всегда думаю о ногах и о себе.

Где же мое сокровище, белое тело мое, мои ноги, которыми всходил я на четвертый этаж,— смущаться, смотря в глаза? Я отвел взгляд от зеркала.

С рыданием, с злым воем, не удерживаясь, а торжествуя и плача, я — безнаказанный, безногий, погибший, я, в котором всегда два,— беру свои палки.

О проклятое зеркало! Бей его, я бью — раз! И лохмотья стекла остро сверкают на пустом дереве. Невероятно смешно смотреть на это со стороны.

Но мне теперь все равно. Все равно.

КРЫСОЛОВ

На лоне вод стоит Шильон.
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты мрачным мохом лет...

I

Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа,— дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени наверное будет расспрашивать в редакциях,— я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг — последнее, что у меня было.

Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем начинало темнеть— обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.

Справа от меня стояла старуха в бурнусе и старой черной шляпе с стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я,— книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка,— не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи,— ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих,— без

улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот семечки,— все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.

Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас».

Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее «Дон-Кихота»; и тогда она несколько оживилась.

— Никто не знает, что я ношу продавать книги,— сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахивая,— то есть, я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала... мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?

— Н-нет,— сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел),— не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.

Она взглянула на меня с наивным вниманием — так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника — и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.

— Вы простудитесь,— сказала она, машинально защипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая.— Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.

Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.

— Телячьи нежности,— сказала, проходя мимо, грузная баба.

— Ну вот.— Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула.— Все. Идите гулять.

Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим, или ее не видим; видим же, увы, только когда нам плохо.

Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.

— Сказать недолго,— ответила она, с жалостью смотря на меня,— только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.

Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.

II

Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была ма-

ленькая железная печка. Дрова... в те времена многие ходили на чердаки,— я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью — как сошедшие с ума часы,— швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель,— довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.

Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезывают свой след, если не было ничего л и ш н е г о. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок,— это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.

Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.

III

При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.

Теперь, может быть, уместно будет привести коечто о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. «Он смугл,— пишет Репин,— с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни,— она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, я обыкновенно сидел в стороне.

Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых

знакомых — путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня — то, что произошло со мной.

IV

К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча привела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли — мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки,— я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка, где двести шестьдесят комнат стоят, как вода в пруде, тихи и пусты.

— Ватикан,— сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру.— Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?

— Эх! — только и сказал экс-лавочник.— Дом этот недалеко; идите и посмотрите.

Он завел меня в большой двор, перегороженный

арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов.

— Ключ есть,— сказал лавочник,— только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти — сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол — оповещу вас немедленно. Вследствие этого — извините за щекотливость, есть-пить каждому надо — соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.

Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас — воспоминаниями звуков жизни,— уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.

Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далей с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен.

Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое вои-

тину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые развалины, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, гроссбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст — содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами,— взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей,— так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней,— чувство, обратное тому, с каким мы произносим: «Малая улица» или «Малая площадь». Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Все было однообразно — вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.

Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться: пласт извести на полу; там — сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами; проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжкой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, переносная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.

Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры слились с мглой, и мутный свет ромбами перекосил паркеты в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум как в кустах. Шагая, оглядывался я с трепетом,— так вязок, неотделен от меня был в тишине этой самомалейший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же — что было всего отчетливее и мрачнее — брожу в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.

Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полок, параллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немыслим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием — так густо смешалось все.

Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв

лицо,— так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями,— передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслыханной дерзости тянулось из дверей в двери — стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звоном в ушах следует неотступно,— мысль, напоминающая девиз:

«Сделано — и молчит».

V

Наконец я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не

наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть, это — скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф: он был заперт. Я выкурил папиросу-другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега.

Давно уже я не знал счастья усталости — глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах кололо, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом, как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем,— бессмысленность этого положения. Я испытал все средства: рассматривание точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы — и безуспешно.

У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и

был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.

Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.

Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И тем не менее я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему,— так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что ни говори буква закона,— теперь — теперь я имел право.

Светя огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину против замка и,

нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся — и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.

VI

Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенного, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии — шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью,— отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.

Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.

Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь,— не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук, ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены — шкаф стоял тихо.

Естественно, я удивился этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (Murinae) и крысы (Mus decum anus) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом

сокровищ, тем более что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров — от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.

Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем ли или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом, но когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, какая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер х о р о ш.

Между тем, как я ни напрягался в догадках, они,

естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял, чем связан мой лавочник с этим писчебумажным клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составили бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и штепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс; их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.

Насытясь, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не счел я виноватым себя в этом) я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.

Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком,— единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой,— мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек,

о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикни она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал, как предметы, разъясненные не вполне,— род суеверия, навеянного, между многим другим, «Атмосферой» Фламмариона, с его рассказом о молнии. Я очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. «Килоуатты» и «амперы» мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокнутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.

Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной

стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.

Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Старания понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично, лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мной овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на непереводимом языке ощущения ночных сил.

Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих пряло и гудело во мне, когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаясь установить, какое соединение их напомнит утерянное число. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковерный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но если бы мы помнили, если бы могли вспомнить все,— какой рассудок выдержит безнаказанно целую

жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?

Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. «Сто семь двадцать один»,— проговорил я, прислушиваясь, но не зная точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно — жужжание полилось гулом, что-то, звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контральто сухо сказал: «Станция». «Станция!..» — нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу,— так холодно сжалось горло,— потому что в глубине сердца я все еще только и г р а л.

Как бы то ни было, раз я заклял и вызвал духов,— отнести их к «Атмосфере» или к «Килоуаттам» общества 86 года,— я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни толкнул маятник, механизм начал мерно отстукивать. «Сто семь двадцать один»,— сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. «На группу А»,— раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.

Мне было у м с т в е н н о - ж а р к о в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода,— подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вой пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы,— неведомые ораторы, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей — «А-ла-ла-ла-ла!» — вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. «Я не могу дать»...— «Если увидите»...— «Когда-нибудь»...— «Я говорю, что»...— «Вы слушаете»...— «Размером тридцать и пять»...— «Отбой»...— «Автомобиль выслан»...— «Ничего не понимаю»...— «Повесьте трубку»... В этот ры-

ночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав «Группа Б».

— «А»! Дайте «А»,— сказал я,— перепутаны провода.

После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: «Группа А».— «Сто семь, двадцать один»,— отчеканил я как можно разборчивее.

— Сто восемь ноль один,— внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку,— эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер,— едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.

— Да, да,— сказал я в чрезвычайном волнении, бегущем по высоте, по краю головокружительного обрыва.— Да, именно так,— сто восемь ноль один.

Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного «звоню» или «соединила»,— я не помню, что было сказано. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:

— Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело? Кто у телефона? — сказала она, видимо не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.

Почти крича, я сказал:

— Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени,— подтвердите, что это вы.

— Чудеса,— ответил, кашлянув, голос в раздумье.— Постойте, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?

Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.

— Я встречу припоминаю,— снова обратилась она к моему уху.— Но я не помню, о какой булавке вы говорите. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами — наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?

— Хорошо ли вы слышите? — ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: — Я не знаю, долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес, я не знаю его.

Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль,— отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:

— Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите,— не без лукавства сказала она это «запишите»,— запишите мой адрес: 5-я линия, 97, кв. 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома...

Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя,— наконец едва слышное толкание тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.

Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.

VII

Еще очень далеко от меня — не в самом ли начале проделанного мною пути? — а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, послышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако мысленно я видел его спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, осилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались, я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалась мне удачно придуманным средством избегнуть опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю как игрок в рулетку, который, переменив номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.

Между тем не было уже никакого сомнения, что

расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда — глаза в глаза, и я молил бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками,— я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: «Идите сюда». Затем прозвучал тихий, задорный смех.

При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. «Кто зовет?» — тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность отвечающей удовольствию слуха и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: «Идите, идите сюда». Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: «Идите, о, идите скорей!» — я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них

в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:

— Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?

Прежде чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: «Спешите, не останавливаясь; идите, идите не возражая». Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые, как плеск, и звонкие в своем полушепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользающее движение женщины,— везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться, остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:

— Сюда, скорее ко мне!

Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще — и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения,— я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем.

Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким «Сюда!». Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.

— Я здесь,— сказал наконец голос тоном конца истории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.

— Хорошо, но это последний раз,— предупредил я.

Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.

— Где же вы? — всматриваясь, заговорил я.— Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.

— Я не могу,— тихо ответил голос.— Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.

Действительно, я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.

Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв шутку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехуголь-

ный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.

Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще ш е в е л и л о с ь; здесь отошел некто, может быть, на расстоянии десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть и встал, прислонясь к стене, в нишу заколоченной двери.

Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнули бы от меня в эти минуты, так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле,— такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму,

но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле успокоения — если назвать таким словом «покой в бурях»,— множество шагов раздалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвиганием мебели.

Среди ночи — я не знал, который теперь час,— это проявление жизни в глубине трех этажей, после уже испытанного мною над люком, звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неутомимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.

Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при белении потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его снизу: окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул

нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации,— да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей — что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.

Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл «под сурдинку», как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные — жестокий визг; увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики.

Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.

— Привет Избавителю! — ревом возгласил хор.— Смерть Крысолову!

— Смерть! — мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрашенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул — никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.

— Он умрет,— сказал неизвестный,— но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!

VIII

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз,— бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире этой еще другая семья,— довольно, что я думал о той и что она была там. В таком устрашенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С си-

лой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинался рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более что за мной гнались,— я слышал торопливые переходы сзади и спереди,— этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара,— так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, сдвинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чащей своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась; ее скрепы трещали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец ноги нащупали тротуар; я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным; поэтому, как только передохнул, пустился бегом.

IX

Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?»

Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности я не мог бросить ребенка, тем более что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Гладя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. «Дружок,— сказал я, решаясь постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка,— посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты! — закричал я, стремясь освободить руку.— Брось держать!» И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. «Кто ты?» — угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег.

Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклица-

ние, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

— Но ведь это вы! — сказала она.— Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва,— милее было бы мне прийти к ней, туда.

— Слушайте,— сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз,— я спешу к вам. Еще не поздно...

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

— Сейчас рано,— значительно сказала она,— или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты,— нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

— Нет, ты не обманешь меня,— сказал я,— она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели вод, я был уже далеко от них, я бежал, пока не достиг ворот.

X

Тогда или, вернее, спустя некоторое время наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове: раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» — крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.

Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее ви́дение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь — разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской

голоса спорили, впустить ли меня,— я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.

Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку жёлудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.

Он сказал:

— Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. «Свободный ход», о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последние дня ход этот действительно был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: «Кладовая крысиного короля», книгу, представляющую собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене, как еретик. Ваш рассказ...

Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:

— Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?

— Меры? — сказала Сузи.— О каких мерах вы говорите?

— Опасность...— начал старик, но остановился, взглянув на дочь.— Я не понимаю.

Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.

— Я говорю,— начал я неуверенно,— что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.

Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: «Как это может быть?»

— Он устал, Сузи,— сказал старик.— Я знаю, что

такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу,— он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника,— словом «Освободитель», вы будете уже кое-что знать.

— Это шутка,— возразил я,— и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова.— Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:

«КРЫСОЛОВ»
Истребление крыс и мышей.
О. Иенсен.
Телеф. 1-08-01.

Я видел ее у входа.

— Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот «Освободитель» принес вам столько хлопот.

— Он не шутит,— сказала Сузи,— он знает.

Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок,— взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.

— Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус.— Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом.— Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

...«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения подобные человеческим и даже не уступающие человеку,— как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также

драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей».

— Но довольно читать,— сказал Крысолов,— и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.

Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним? — раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: «Он спит»,— слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что «для мужчины был очень легок». Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день, в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие...

И более — ни слова об этом.

БЕЛЫЙ ШАР

Первый удар грома был оглушителен и резок, как взрыв.

Разговор оборвался. Сантус, сохраняя запальчивое выражение лица, с каким только что перешел к угрозам, сжал рукой свою длинную бороду и посмотрел на расстроенного Кадудара так, как будто гром вполне выражал его настроение,— даже подкреплял последние слова Сантуса, разразившись одновременно. Эти последние слова были:

— Более — ни одного дня!

Кадудар мог бы сравнить их с молнией. Но ему было не до сравнений. Срок взноса арендной платы минул месяц назад, между тем дожди затопили весь урожай. И у него не было никакого денежного запаса.

Как всегда, если один человек сказал что-нибудь непреложно, а другой потерял надежду найти сколько-нибудь трезвое возражение, длится еще некоторое время молчаливый взаимный разговор на ту же тему.

«Злобное, тупое животное! — подумал Кадудар.— Как мог я заставлять себя думать, думать насильно, что такой живодер способен улыбнуться по-человечески».

«Жалкий пес! — думал Сантус.— Ты должен знать, что меня просить бесполезно. Мне нет дела до того, есть у тебя деньги или нет. Отдай мое. Плати аренду и ступай вон, иначе я выселю тебя на точном основании статей закона».

Второй удар грома охватил небо и отозвался в оконном стекле мгновенным жалобным звоном. Волнистые стены туч плыли стоймя над лесом, иногда опуская к земле свитки тумана, цепляющиеся за кусты, подобно клубам дыма паровозной трубы. Налетел хаос грозы. Уже перелетели с края на край мрачных бездн огненные росчерки невидимого пера, потрясая искаженным светом мигающее огромное пространство. Вверху все слилось в мрак. Низы дышали еще некоторое время синеватыми просветами, но и это исчезло; наступила ночь среди дня. Затем этот хлещущий потоками воды мрак подвергся бесчисленным, непрерывным, режущим глаза падениям неистовых молний, разбегающихся среди небесных стремнин зигзагами адских стрижей, среди умопомрачительного грохота, способного, казалось, вызвать землетрясение. В комнате было то темно, то светло, как от пожара, причем эта смена противоположных эффектов происходила с быстротой стука часов. Кадудару казалось, что Сантус скачет на своем стуле.

— Серьезное дело! — сказал он, беря шляпу.— Закройте окно.

— Зачем? — холодно отозвался Сантус.

— Это гроза не шуточная. Опасно в такой час сидеть с раскрытым окном.

— Ну, что же,— возразил Сантус,— если меня убьет, то, как вы знаете, после меня не остается наследников. Ваш долг исчезнет, как дым.

Вексель все еще лежал на столе, и Кадудар резонно подумал, что здесь наследники ни при чем. Действительно, порази Сантуса гром, ничего не стоило бы расправиться с этим клочком бумаги. Просто Сантус подсмеивался.

— Я не понимаю вас,— сказал Кадудар и сделал шаг к двери.— Мне не до шуток. Прощайте.

— Останьтесь,— сказал Сантус,— хотя ваш дом близко, но в такую погоду вы подвергаетесь серьезной опасности.

— Пропадет долг? — язвительно спросил Кадудар.

— Совершенно верно. А я не люблю терять своих денег.

— В таком случае я доставлю вам несколько неприятных минут,— Кадудар открыл дверь.— Пусть я промокну, как собака, но под защитой вашего крова оставаться я не хочу.

Он замер. Небольшой светящийся шар, скатанный как бы из прозрачного снега, в едва уловимом дыме электрической эманации, вошел в комнату — мимо лица Кадудара. Его волосы трещали и поднялись дыбом прежде, чем ужас запустил зубы в его сердце. Шар плавно пронесся в воздухе, замедлил движение и остановился за плечом Сантуса, как бы рассматривая человека в упор, не зная еще, что сделать,— спалить его или поиграть.

Сантус не шевелился так же, как не шевелился и Кадудар: оба не имели сил даже перевести дух, внимали движению таинственного шара с чувством к о н ц а. В комнате произошло нечто непостижимое. За дверцей буфета начало звенеть, как если бы там возилась человеческая рука. Дверной крючок поднялся и опустился. Занавеска взвилась вверх, трепеща, как от ветра; неясный, мучнистый свет разлился по всем углам. В это время шар был у ног Сантуса, крутясь и передвигаясь, как солнечное пятно колеблемой за окном листвы. Он двигался с неторопливостью сытой кошки, трущейся о хозяина. Вне себя Сантус двинул рукой, чтобы убрать стоявшее возле него ружье, но, как бы поняв его мысль, шар перекатился меж ног и занял сторожевую позицию почти у приклада.

— Кадудар,— сказал дико и тихо Сантус,— уберите ружье!

Должник помедлил не долее трех биений сердца, но все же имел силу *помедлить*, в то время как для Сантуса эта пауза была равна вечности.

— Отсрочка,— сказал Кадудар.

— Хорошо. Полгода. Скорей!

— Год.

— Я не спорю. Бросьте ружье в окно.

Тогда, не упуская из вида малейшего движения шаровидной молнии, описывающей вокруг ног Сантуса медленные круги, все более приближающие ее к магнетическому ружью, Кадудар, весь трясясь, перешел комнату и бросил ружье в окно. В это время он почувствовал себя так, как если бы дышал огнем. Его правая рука, мгновенно, но крепко схватив со стола вексель, нанесла ему непоправимые повреждения.

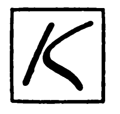
Казалось, с удалением предмета, способного вызвать взрыв, шар погрузился в разочарование. Его движение изменилось. Оставив ноги Сантуса, он поднялся, прошел над столом, заставив плясать перья, и ринулся в окно. Прошло не более вздоха, как из-под ближайшего холма раздался рванувший по стеклам и ушам гром, подобный удару по голове. Молния разорвалась в дубе.

Встав, Сантус принужден был опереться о стол. Не лучше чувствовал себя и Кадудар.

— Все? — спросил Сантус.— Вы довольны?

— Дайте вексельный бланк,— спокойно ответил Кадудар,— я — не грабитель. Я перепишу наш счет на сегодняшнее число будущего года. Таким образом, вы сохраняете и деньги и жизнь!

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ



ак стало блестеть и шуметь лето, мрачный дом в улице Розенгард, окруженный выбоинами пустыря, не так уже теснил сердце ночного прохожего. Его зловещая известность споткнулась о летние впечатления. На пустыре роились среди цветов пчелы; обрыв за переулком белел голубою далью садов; в горячем солнце черные

мезонины брошенной старинной постройки выглядели не так ужасно, как в зимнюю ночь, в снеге и бурях. Но, как наступал вечер, любой житель Амерхоузена с уравновешенной душой — кто бы он ни был — предпочитал все же идти после одиннадцати не улицей Розенгард, а переулком Тромтус, имея впереди себя утешительный огонь окон бирхалля с вывеской, на которой был изображен бык, а позади не менее ясные лампионы кинематографа «Орион». Тот же, кто, пренебрегая уравновешенностью души, шел упрямо улицей Розенгард,— тот чувствовал, что от острых крыш заколоченного дома бежит к нему предательское сомнение и вязнет в путающихся ногах, бессильных прибавить шаг.

Но что же это за дом? Кстати, в пивной с вывеской быка хозяин словоохотлив, и я узнал от него все. Не всякий может это узнать; лишь тот выйдет удовлетворен, кто похвалит бирхаллевского шпица. Шпиц получил премию на собачьей выставке и чувствует это в тех только случаях, когда внимательная рука погладит его по вымытой белой шерсти, почешет ему за ухом и в острых, черных глазах его прочтет тоску о беседе.

Я сказал шпицу: «Великолепная, блистательная этакая ты собаченция; уж, наверное, за чистоту кровей выдали тебе диплом и медаль». (А я уже узнал, что выдали.)

Немедленно стал он ласков, как муфта, и подвижен, как фокстерьер, и облизал мне впопыхах нос. Хозяин порозовел от счастья. Мечтательно закатив глаза и снизу вверх пальцами причесав бороду, он сказал:

— Я вижу, вы понимаете в собаках. Большая золотая медаль прошлого года в Дитсгейме. Вот что, камрад,— волосы ваши длинны, шляпа широкопола, а трость суковата; правой руки указательный палец ваш с внутренней стороны отмечен неотмывающимися чернилами. По всему этому вы есть поэт. А я чувствую к поэтам такую же привязанность, как к собакам, и прошу вас отведать моего особого пива, за которое я не беру денег.

— Заколоченный дом Берхгольца,— продолжал он, когда особое пиво подействовало и когда я выразил к этому дому неотвязный интерес,— известен мне довольно давно. Вам многие наговорят об доме Берх-

гольца невесть какой чепухи; я один знаю, как было дело. Берхгольц повесился перед завтраком, ровно в полдень. Он оставил записку, из которой ясно, что́ привело его к такому концу: крах банка. Состояние улетучилось. Казалось бы, делу конец, но жильцы меньше чем через год выехали все из этого дома. Все это были почтенные, солидные люди, к которым не придерешься. Сколько было голов, столько и причин выезда, но ни один не сказал, что его мучат стуки или хождения, или еще там не знаю какие страхи. Однако стали говорить вскоре, что Берхгольц стучит в двери во все квартиры, когда же дверь открывается, за ней никого нет. Солидный жилец как может признаться в таких странных вещах? Никак — он потеряет всякий кредит. Поэтому-то все приводили различнейшие причины, но все наконец выехали, и в доме стал гулять ветер. Это было лет назад двадцать. Наследник сдал дом в аренду, а сам уехал в Америку. Арендатор спился, и с тех пор никто не живет в доме, хотя были охотники попробовать, не минуют ли их ужимки покойника. Пробы были недолгие. Скоро стали грузиться возы смельчаков — в отлет на более легкое место. Раз... был я тогда моложе — я вызвался на пари с судьей Штромпом провести ночь среди, так сказать, мертвецов и чертей...

— Чертей? — спросил я довольно поспешно, чтобы не замять это слово, так как хозяин Вальтер Аборциус имел обыкновение брать высокие ноты, не обращая внимания на оркестр, и нахально спускать их, когда слушающий сам забирался на высоту.— А что же черти, много ли их там?

— Как сказать,— произнес самолюбивый Аборциус, потягивая особое пиво, которое имело на него особое действие.— Как сказать и как понимать? Черти... да, это были они, или что-нибудь в том же роде, но еще страшнее. Я прочитал молитву и лег в кабинете Берхгольца — прошлым летом, как раз под Иванову ночь. Уже я начинал засыпать, так как выпил перед тем особого пива, вдруг дверь, которую я заставил курительным столиком, раскрылась так стремительно, что столик упал. Ветер прошел по комнате, свеча погасла, и я услышал, как над самым моим ухом невидимая скрипка играет дьявольскую мелодию. Мелькнули образины, одна другой нестерпимее. Что же?! Я не трус, но при таком положении дела почел за лучшее выскочить

в окно. Как я бежал — о том знают мои ноги да соседние огороды. Судья, получив выигрыш, злорадно хохотал и стал мне ненавистен.

— Мастер Аборциус! — сказал тут чей-то голос с соседнего стола, и, подняв взоры, увидели мы квадратную бороду Клауса Ван-Топфера, счетовода.— Стыдитесь! — продолжал он тем трезвым тоном, который даже сквозь пиво являет признаки положительного характера.— Вы несете непростительную чепуху. Какие черти?! Какие дьявольские мелодии?! Да я сам ночевал раз в доме Берхгольца, и так же на пари, как вы. Я спал спокойно и безмятежно. Дом стар; дуб изъеден червями, печи, окна и потолки нуждаются в небольшом ремонте, но нет чертей. Нет чертей! — повторил он с апломбом здоровой натуры.— И ночуйте вы там сто лет, никакой удавленник не придет к вам жаловаться на дела Дитсгеймского банка. Все. Получите за пиво.

Аборциус был, казалось, связан и несколько пристыжен таким решительным заявлением. Пока он собирался с духом ответить Клаусу, я незаметно улизнул через заднюю дверь с запасом действия в голове особого пива и отправился к заколоченному дому Берхгольца. Так! Я решил сам войти в это спорное место. Меж тем звезды повернулись уже к рассвету, и в ночной тьме не хватало той прочности, устойчивости, при какой ночь властвует безраздельно. Ночь начала таять и хотя была еще отменно черна, воздух свежел.

По стене дома, снаружи, шла железная лестница; я поднялся и проник под крышу через слуховое окно. У меня были спички, и я светил ими на чердаке, пока разыскал опускную дверь, ведущую во внутренние помещения третьего этажа. Был я не так молод, чтобы верить в чертей, но и не так стар, чтобы отказать себе в надежде на что-то особенное. Дух исследования вел меня по темным комнатам. Я спотыкался о мебель, время от времени озаряя старинную обстановку светом спичек, которых становилось все меньше; наконец их более уже не было. В это время я путался в небольшом, но затейливом коридоре, где никак не мог разыскать дверей. Я устал; сел и уснул.

Открыть глаза в таком месте, где не знаешь, что увидишь по пробуждении, всегда интересно. Я с инте-

ресом открыл глаза. Горячий дневной свет дымился в золотистой пыли; он шел сквозь венецианское окно с трепетом и силой каскада. Как и следовало ожидать, дверь была рядом со мной, за дверью щебетала малиновка. Тотчас войдя, я увидел эту хорошенькую птичку перепархивающей по жесткой, цветной мебели красного дерева; одно стекло окна, выбитое камнем или градом, объясняло малиновку. Она исчезла, порхая под потолком, в соседнее помещение. Здесь же, в сору, меж карнизом пола и стеной, полз дикий вьюнок, семена которого, попав с ветром, нашли довольно пыли и тлена, чтобы вырасти и зацвести. Неожиданно из-за стены прогремел бас: «Смелее, тореадор!» — прогремел он; я бросился на жильца и, толкнув дверь, увидел драматурга Топелиуса, расхаживающего в табачном дыму с пером в руке.

Мое изумление при таком афронте было значительно; оно даже превысило мои описательные способности. «Друг Топелиус! — сказал я, протягивая руки, чтобы отразить нападение призрака.— Если ты тень — исчезни. Нехорошо привидению гулять утром с трубкой в зубах!»

Он яростно закричал: «Неужели и здесь я не найду покоя, хотя ты мне и приятель! Так это твои блуждания я слышал сегодня ночью, когда сцена прощания Тристана с Изольдой подходила уже к концу?! Клянусь трагедией, я начинал поджидать визита Берхгольца. Впрочем, сядь; пьеса готова. Слушай: когда под тобой, внизу, сто раз в день сыграют рапсодию Листа, а над тобой — «Молитву девы» и когда на дворе смена бродячих музыкантов беспрерывно от зари до зари,— ты тоже подыщешь какой-нибудь заколоченный дом, куда надо влезать в окно, но где, по милости молвы, живут одни привидения. Впрочем, здесь так чудесно!»

— Да, чудесно, и я повторяю это за ним, так как чудеса — в нас. Не тронул ли меня солнечный свет в лиловых оттенках? И вьюнок на старой панели? И птица — среди вещей? Наконец, эта рукопись, которую он протянул мне с гордой улыбкой, рожденная там, где боятся дышать?

ГОЛОС СИРЕНЫ

I

Среди битв, через открытое поле, близ Ангудора, проезжало семейство Эмилона Детерви. Он переселялся в зону, свободную от военных действий. Между тем неправильно взятый путь, благодаря тому, что путешественники хотели сократить дорогу, привел их на этом поле к крутому обстрелу, и шальная граната, лопнув под синим небом, выбросила град пуль, одной из которых сын Детерви, Артур, был контужен в спину.

Что произошло с нервной системой пострадавшего, как изменилась она и в чем,— мы не знаем. Вскоре после этого Артур Детерви начал чувствовать тяжесть и онемение нижней части спины, ходить начал с трудом, и наконец у него совершенно отнялись ноги.

Семейство Детерви было зажиточным. Несколько докторов и клиник за приличный гонорар нашли возможным только сказать, что случай неизлечим. Во всяком лечебном заведении больной находил радушный прием, но очень мало надежд. И наконец, по совету профессора А. Ренольда, Артура Детерви перевезли в южный город, где был большой порт. Неподалеку от города находилась грязевая лечебница. Сняв уютную загородную дачу, отец Детерви поместил больного в лучших условиях: его комната примыкала к веранде, где, лежа днем, Артур видел море и, по изгибу уходящего в лиловатую даль берега, часть порта. У него было также всегда много цветов под окнами, в саду и на столе. Раз в неделю больного навещал доктор, кроме того, две сиделки, сменяясь посуточно, ухаживали за ним с ловкостью, терпением и тишиной образцовыми.

Сделав это, отец Детерви погрузился в биржевую игру, почему редко бывал дома. Его сестра Беатриса, девушка семнадцати лет, едва поспевала присоединиться к той или другой компании, переходя от гребного спорта к верховой езде с неутомимостью молодого животного, жадного к жизни. Две тетки, сестры отца Детерви, увлекались работами на биологической станции и, по-дилетантски упрямо, сидели за микроскопом. Мать Детерви, вскорости после приезда, переехала на тот берег бухты гостить к родственникам. Таким образом, неподвижный больной мальчик почти всегда был один.

Артуру Детерви было восемнадцать с небольшим лет. Вынужденное лежание или сидение в кресле временами доводило его до бешенства. Это была нервная, непоседливая натура, пылкая и настойчивая. Здесь, на даче, на обрыве дикого, цветущего берега, он чувствовал себя, как в вечной, монотонной тюрьме. Ему было запрещено чтение волнующих книг, отчего часто с досадой отбрасывал он те вялые и пространные сочинения, какими вынужден был довольствоваться и над которыми засыпает даже здоровый. Лучшим развлечением было для него смотреть на море и порт. Внизу, под обрывом, двигался белый узор прибоя; за черту горизонта текли дымы пароходов и белые паруса шхун. Огромный стоял перед ним мир, с запахами ветра и соли. В далеком порту звенел гул, напоминающий летнее ликование кузнечиков. Сквозь дым и солнечные лучи Детерви видел наклонные черты кранов, острые мачты и гигантские, слегка откинутые назад трубы с цветными полосками. Меж молов просвечивала вода. Дым, пар, полощущие и набирающие ветер паруса; огромными клинами контуры океанских пароходов выплывали на рейд. Иногда смешанный, алчный хор стонущих, звонящих и громыхающих звуков порта выделял мелодию свистков, совпадающих так, что, начиная с пронзительных, отрывистых катерных свистков и до поворачивающего в глубине сердца самые большие тяжести, низкого воя сирен — все промежуточные голоса различных судов сливались в стройный, упрямый вихрь. Тогда, сквозь печальную задумчивость, в душе Артура Детерви начинали подыматься непонятные, подступающие слезами в горле, гордость и нежность. Нагнувшись в своем кресле, побледнев от тоски и радости, он смотрел в пестрое отдаление порта так, как будто хотел взглядом переброситься к высоким бортам пришедших издалека стройных судов.

Когда проходил этот момент волнения, он устало откидывался на подушки и, взяв книгу, смотрел мимо нее.

II

Раз рано утром — так рано, что еще бледное небо сообщало всему бледный и сонный вид,— Артур Детерви проснулся и, не в состоянии будучи снова заснуть, лежал, смотря на выступающий над нижним краем окна морской горизонт. Второе окно приходилось слева от Де-

терви, и из него виден был порт. Переведя взгляд к этому окну, увидел он вспыхнувшую за рамой струйку белого пара, такую маленькую отсюда, что воображением можно было принять ее за струйку дыма, выпущенную из трубки курильщиком. Она кипела, резко восходя вверх; затем Детерви услышал, как едва дрогнули оконные стекла и, продолжая легко дрожать, наполнили комнату как бы гулом двигающихся на стекле шмелей. Низкое, как подымаемый тяжкий груз, далекое, сжимающее слух, «о-о-о-о-о!», приближаясь издалека сильными, наваливающимися волнами, заставило Детерви поднять голову. Нет сомнения, то была сирена — гудок трансатлантика «Эквадор», звук, зовущий и вместе приковывающий слушать неподвижно. Из всех ревов и гулов порта больше всего волновал Детерви именно этот страшный, как судьба, звук оглушительного гудка.

То был не рев, не вой, но вой и рев вместе. Наконец струя пара угасла. Звук, оканчиваясь, сошел к самой низкой ноте и, как бы зачеркнув сам себя этим обрывом, исчез, как бы улетел прочь.

Пока Детерви слушал, внушительная вибрация звука прогнала прочь остаток сна, бросила кровь в сердце и голову. С ним произошла странная вещь: он испытал легкое, подобное лишь мысли об этом, напряжение мускулов правой ноги и почти с ужасом подумал, что пошевелил ею. Но этого не было.

Несколько минут он лежал, прижав руки к вискам и прислушиваясь к своим мыслям, восстающим внезапно. Наконец смертельная тоска, рожденная безумной надеждой, воодушевила его. Он приподнялся, на руках переполз к стулу, поднялся на него и заглянул в окно, выходящее в сад.

Уже солнце поджигало траву; по саду шел садовник и его пять рабочих.

— Друзья,— сказал им Детерви,— вы знаете, может быть, что у меня болят ноги. Слушайте: я вам заплачу щедро; пока в доме все спят, снесите меня на пароход «Эквадор», затем — обратно.

Ему пришлось повторить эту просьбу несколько раз и на разный манер до тех пор, пока полусонные люди не убедились, что им не предлагают ничего страшного или непозволительного.

Детерви дал им вперед денег, оделся, затем сел в кресло и поплыл на четырех парах сильных рук вниз по тропе.

III

Чем далее двигался он, разговаривая с носильщиками об окружающем и об их делах, а также и о своей болезни, тем спокойнее становилось у него на душе. Наконец он приближался к миру неутомимого раскаленного движения, о котором мечтал все эти три года. Он вдыхал запахи угля, морской воды и особый, имеющий тайную прелесть запах прокаленных ветром и солнцем парусных судов, кузова которых, рядом, как затылки солдатской шеренги, теснились у набережной, немного ниже ее, открывая беспорядок палуб. Дальше порт отходил вправо в бухту каменными затонами молов, у концов которых дымились трубы пароходов; там же сквозь изменчивый в тумане и пыли цвет пространства поднимались на воздух, как бы перелетая, бочки и кучи ящиков; цепь крана, схватившую их, глаз не замечал сразу, почему казалось, что материя получила самостоятельное движение. По воздушной железной дороге, временами скрывая эту картину, тянулись груженные хлопком платформы. Было такое впечатление у Детерви, что вся эта громада судов, заслоняющих своими мачтами и трубами друг друга так, что тянулись по набережной целые улицы снастей, дымит трубами от нетерпения сойти с места и плыть в страну далей.

Детерви сидел в кресле. Его ноги были окутаны пледом. Кресло с колесиками, когда его поставили на мостовую, катилось довольно легко, поэтому двое рабочих катили, а двое шли сзади, затем сменяли тех, кто толкал кресло. Прохожие взглядывали на Детерви, и он отвечал им взглядом, говорящим: «Да, ходить не могу». Женщины, соболезнующие, подняв брови, перешептывались на его счет, двое-трое мальчишек шли некоторое время сзади, но отстали.

Меж тем настало полное утро и пламенно улыбнулось. Яркий, живой блеск заиграл в воде. За зданиями пакгаузов, при повороте Детерви увидел «Эквадор».

Он вспомнил тогда Гулливера и лилипутов. Корабль, размеры которого глаз мог охватить только на отдалении, стоял стеной между ним и остальной гаванью. По длине, высоко громоздящейся над мостовой и, казалось, достигавшей домов порта, мог продвинуться целый небольшой пароход. У сходен, ведших вверх, как на башню, шествие остановилось. Здесь, в густой толпе, хлопо-

чущей среди гор ящиков и багажа, Детерви затерялся. Устав, он посмотрел вверх.

Среди труб вилась тонкая струя белого пара. Она выровнялась, потекла прямо вверх, приняла форму долгого, белого взрыва, метнувшегося под облака, и начала песнь, от которой все померкло, все стало тихим и малым. Некоторое время не было совершенно слышно никаких звуков, как на улице кинематографического экрана, кроме волн победоносного гула, разрывающего пространство. Померкли мысли, дыхание, цвета и предметы; и тот же ужасный рев ревел в самой груди слушающих.

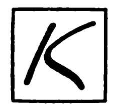
И вне себя от восторга, от счастья видеть и слышать переполняющую его силу, Детерви, весь зазвучав сам, встал со своего кресла. Вначале он не чувствовал ног, как бы летя на месте, но скоро по онемевшим суставам прошли холодными иглами мурашки. Он сделал шаг, пошатнулся и удержался за кресло.

— Теперь поедем назад,— сказал он людям, несшим его,— они еще слабы. О, как ревет! Прямо в меня!

— Да, лучше вам не ходить,— сказал один из носильщиков, ничего не поняв в этом и думая, что Детерви мог стоять.— Однако, голосок у этого парохода. Даже ушам больно.

НА ОБЛАЧНОМ БЕРЕГУ

I



огда Август Мистрей и его жена Тави решили наконец зачеркнуть след прекрасной надежды, им не оставалось другого выбора, как поселиться на непродолжительное время у Ионсона, своего дальнего родственника. Год назад, когда дела Ионсона пошли в гору, этот человек, возбужденный успехом, много, фальшиво и горячо болтал, поэтому его тогдашнее приглашение приехать, когда того захочется Мистреям, в только что приобретенное имение Мистреи рассматривали до сего времени как истинный огонь сердца и просто потянулись к нему, вздохнув о чудесном уголке, владеть которым были бы не в состоянии, даже заплатив деньги вторично.

Это было семь дней назад. Мистрей побледнел и при-

крыл глаза, а Тави, уцепившись маленькими руками за решетку ворот, приподнялась на цыпочки, чтобы хоть еще раз оглянуть цветущий солнечный завив садовой аллеи. Хозяйка, кокетливая молодая женщина со спокойным лицом, провожая их, тронула легким движением руки ветку лавра, как бы погладив ее, и это движение, полное чувства собственности, отразилось в душе Тави беззлобной грустью. Ее с мужем ограбили так умно, что было бы бесцельно искать мошенника; бесцельно было бы растравлять боль поисками концов. Кроме того, как Тави, так и ее муж питали глубочайшее отвращение ко всякой грязной борьбе.

— Зачем вы доверились этому человеку? — спросила хозяйка.— Почему вы ранее не посетили нас без него?

— Он сказал...— захлебываясь, начала Тави и посмотрела на мужа.— А? Разве не так?

— Ну, говори,— кротко согласился Мистрей.

Тави, помахивая указательным пальцем, начала робко и строго:

— Мы поместили объявление... знаете? В той газете, где попугай. Мы продали кое-что; собственно говоря, продали все, но наша мечта зажить наконец в живописном солнечном уголке должна же была исполниться? Вот пришел тот самый О'Тэйль...

— Но мы уже говорили это,— мягко перебил Мистрей.— О! Злое дело. Ну, короче сказать, нас обманули, и никто не виноват, кроме нас. Мы отдали почти все деньги, так как нас уверили, что на владение уже есть много охотников, что надо спешить.

— Но ведь вы даже не посмотрели, что покупаете?

— Увы! — сказал Мистрей.— По словам этого мошенника, здесь чудесным образом оказывалось налицо все, что удовлетворяет вполне наши вкусы. И в этом смысле он не обманул нас.

— Он производил,— краснея, сказала Тави,— вполне, знаете ли, приличное впечатление. Мы были так рады.

— Это верно,— подтвердил Мистрей и устало кивнул жене.— Тави, пора уезжать.

— Обратитесь немедленно в суд,— сказала хозяйка,— может быть, еще не поздно разыскать преступника.

Говоря это, она сламывала одну за другой тяжелые пунцовые розы, пока не собрался в ее энергичной, сму-

глой руке букет, полный прихотливой листвы. Затем она передала цветы расстроенной молодой женщине.

— Возьмите,— нежно произнесла она,— мне хочется хоть этим утешить вас.

Тави, развеселясь на мгновение, взяла подарок и отошла, чувствуя себя совершенно пристыженной. Оба молчали. Перед тем как сесть в экипаж, она, виновато, но твердо посмотрев на Мистрея, отбежала в сторону и пристроила свой букет в пышной траве так, чтобы он не упал. Затем, вздохнув, Тави промаршировала с Мистреем под руку несколько шагов нога в ногу.

— Я возвратила их земле и солнцу. Не стерпеть их в руке. Потому что они — не наши.

II

Муж и жена были не одни. С ними ехал к Ионсону слепой старик, Нэд Сван. Он ослеп лет тридцать назад, но продолжал по-своему, видением, видеть все, о чем ясно и просто говорили ему, так как навсегда сохранил внутреннее лицо явлений. Те, кто некоторое время заботился о нем, бросили его, как бросают газету. Сван просидел до вечера в отравленной тишиной комнате, затем вышел на лестницу, постучал в первую попавшуюся квартиру, и Тави, взволнованно посуетясь, сказала Мистрею:

— Дай ухо. Нет, не драть. А я тебе скажу: он вполне, вполне порядочный человек и может умереть. Поселим его у нас.

Нэд Сван говорил о своем прошлом четырьмя словами: «Не будем вспоминать пустяков»,— и, улыбаясь, смотрел закрытым, напряженным лицом в угол стены. Он был сутул, юношески стар, сед и приветлив.

Как стало смеркаться, наемный экипаж путешественников прибыл к воротам Ионсона. В этом месте огненная от заката стрела ущелья лежала на лиловой зелени крутых склонов, льющих девственные дебри свои с полнотой и размахом песни. Отсюда начинали бешеное восхождение знаменитые утесы Органной Горы, овеянные спиралью тропинок, заламывающих головокружительный взлет над поясом облаков.

Давно уже разговор Мистрея и Тави стал лишь тем, что видели они, выраженным с тихой страстностью ве-

ликой любви к чистой и прекрасной земле. «Смотри!» — говорила Тави; затем оба кивали. «Смотри! — говорил Мистрей.— А там?!» — «Да, да!» — «А там! Смотри!» Так они ехали и восклицали.

— О, если бы нам здесь жить! — сказал Мистрей.— Как тихо! Как все прозрачно!

Время от времени Нэд Сван спрашивал их, что видят они. Тогда, стараясь подражать книжному способу выражения, Мистрей кратко сообщал характер пейзажа, и, кивнув, слепой покрывал действительное, чего видеть не мог, плавными соответственными видениями, черты и краски которых были не более далеки от истины, чем король Лир — от короля вообще.

В этом же деле помогала ему и Тави. Она изъяснялась сбивчиво, например, так: «Ручей, как бы вам сказать, машет из-за ветвей платочком». Но в ясных колебаниях ее голоса, напоминающих приветливое подталкивание, Сван ловил больше для своего таинственного рисунка, чем в подробной передаче Мистрея.

Как солнце село, за поворотом горной дороги начался спуск, и минут через десять карета прогрохотала перед освещенными окнами Ионсонова дома.

III

— Две массы,— сказал негр.— И один небольшой дама. Там, на дворе. Я сказал: вы не спал.

Когда Ионсон встал из-за письменного стола, его опередила проворная, ширококостная женщина с маленьким узлом редких волос на макушке и холодно-терпким выражением пожилого лица, темный цвет которого чем-то отвечал характеру ее быстрого взгляда. За ней вслед вышла огромная фигура Ионсона.

Два негра с фонарями, подняв их, освещали группу.

— Да, конечно, я рад,— сказал Ионсон несколько не тем тоном, какой рассчитывал услышать Мистрей; затем пристально посмотрел на жену, в поджатых губах которой таилось неодобрение по адресу прибывших. Тем не менее она нашла нужным сказать:

— Да, да. Нас почти никто не посещает, кроме деловых людей. Это нам приятно, конечно.

Последнюю фразу Тави могла принять как на свой счет, так и на счет «деловых людей». Она ответила:

— Простите, пожалуйста, если приехали неудачно.

А Мистрей все расскажет. Мы не одни. Вот Сван, вы видите? Мы не расстаемся. Вы не покинете нас, Нэд?

— Пока не закрылись глаза ваши,— раздельно и внятно произнес слепой. Он стоял, держась под руку Мистрея, и, опустив голову, казалось, слышал уже холод чужого угла, враждебного согревающему доверию.

— Марта,— сказал Ионсон жене,— надо распорядиться. Войдите, гости.

Все прошли тогда в огромный зал, развернутый электричеством. Здесь была симметрически расставлена жесткая тяжелая мебель; несколько дешевых картин в дорогих рамах тускло разнообразили массивность жилья, выстроенного из крупных камней в виде казармы. Эта казарменность прочно отражалась внутри короткими окнами и серой обивкой стен; двери закрывались плотно и с гулом, унылый оттенок которого невозможно поймать ухом чернил.

Тави привела Свана в угол, где он сел, слушая разговор. Она пыталась благодарить Ионсона за то, что полтора года назад доставил он им светлое удовольствие приглашением посетить свой дом. Но Ионсон ответил искренно непонимающим взглядом, и Тави умолкла. Затем говорил Мистрей. Он рассказал о мошенничестве, жертвой которого сделались они благодаря тонким уловкам, рассчитанным на их доверчивость; о своей мечте поселиться навсегда среди тихих деревьев, подальше от городских дел, и как купленная усадьба оказалась чужой.

На середине его рассказа пришла Марта, сев рядом с мужем в позе, какие принимаются на дешевых фотографиях, если снялась пара. На Марте было черное шелковое платье, в руках держала она колоссальный веер, не подвергая его, однако, опасности треснуть движениями мощных дланей.

Выслушав, Ионсон громко захохотал.

— Недурно обтяпано,— сказал он и толкнул локтем жену.— А, Марта?! Слышала ты такое?

— Чудеса,— ответила та, бесцеремонно рассматривая гостей.— Все продали?

— Увы,— сказал Мистрей,— и наше маленькое наследство, и мебель. Иначе не составлялось необходимой суммы.

— Так какого же черта,— возразил Ионсон, поглаживая колено,— какого же, я говорю, черта не посмотрели вы свою кошку в мешке?!

— Кошку? — удивилась Тави.

— Ну да; я говорю об усадьбе. Вам надо было приехать на место и рассмотреть, что вам предлагают купить. Ведь вы сваляли дурака. Кто виноват?

— Дурака,— машинально повторил Мистрей,— да, дурака. Но...

Он умолк. Тави открыла рот, но почувствовала, что, сказав, понята не будет. За них ответил Нэд Сван:

— Мои друзья,— тихо повел он из угла,— не будут в претензии, если я доскажу за них. Они хотели бы радоваться неожиданности, той, может быть, незначительной, но всегда приятной неожиданности, когда, ступая на свою землю, еще не знаешь ее. Они дорожат свежестью впечатления, особенно в таком серьезном деле, где первое впечатление навсегда окрашивает собой будущее. Вот почему они поверили спокойному болтуну.

Тави сконфуженно рассмеялась. Мистрей застегнул кнопку блузы, раскрывшуюся на ее плече, затем сказал:

— Пожалуй, так и было оно.

— Х-ха...— крякнул Ионсон, играя узлами челюстей, и посмотрел на жену.

Та, подняв веер, склонилась над его ухом, шепча:

— Ты видишь, что это идиоты. Но они н е в с е продали...

Едва он успел движением головы спросить, в чем дело, как Марта обратилась к молодой женщине:

— Это настоящий жемчуг?

— Мой? — Тави коснулась жемчужной нитки, нежившей ее шею гладким прикосновением крупных, как бобы, зерен.— О! Он настоящий. Хвостик наследства, которого теперь нет.

— Х в о с т и к не плох,— сказал Ионсон, вставая и приглядываясь с высоты своих семи футов. Он прищурился.— Да. Но ведь вокруг вашей шеи висит по крайней мере пять недурных имений.

Тави вздохнула весело и задорно.

— Надо вам объяснить, я вижу,— сказала она, лукаво подмигнув мужу.— Эта ниточка нас сосватала. Когда Мистрей пришел сказать... самые хорошие вещи... и... тогда он увидел эти жемчужины на моем столе. Они еще от прабабушки. Вот он воодушевился и представил мне в лицах, как на дне морском раковина дремлет, сияя. Как она живет глубокой жемчужной мыслью. И... и... как она любит, закрывает свою жемчужину, а мы сидели рядом... и... и...

— ...и поцеловались, конечно,— добродушно пробасил Сван.

— Нэд! Думайте про себя! — крикнула Тави.— Что за суфлер там, в углу?!

Воцарилось натянутое молчание.

— Ничего, что я так сказала? — повернулась Тави к мужу.

Он взглядом успокоил ее.

— Все ничего, все пройдет,— сказал он и, обратясь к Ионсону, добавил: — Разумеется, не продаются такие вещи, как не продаются обручальные кольца.

— Здорово! — сказал Ионсон.

— Что же вы теперь будете делать? — спросила Марта.

— Прежде всего — подумать.— Мистрей невольно вздохнул.— Только несколько дней, дорогой Ионсон. Пусть она порадуется дикой красоте ваших мест.

— При-ро-да! — протянул Ионсон.— Моя болезнь та, что завод плохо работает. Есть, правда...

— Ужин есть,— сказал негр в пиджаке, раскрывая дверь.

— Вы давно ослепли? — спросила Марта у Свана.

— Давно.

IV

Отрывистое настроение хозяев мало улучшилось за столом, хотя Ионсон пил много и жадно. Но Марта стала внимательней. От ее любезностей подчас хотелось крикнуть, однако резкая болтовня стерла отчасти натянутость, делавшуюся уже невыносимой для Тави.

Наконец, слегка качнувшись, так как промахнулся опереться локтем о стол, Ионсон счел нужным посвятить Мистрея в свои дела. Завод гибнет. Его преследуют неудачи, долги растут, близятся роковые взыскания, спрос мал, застой и кризис в торговле. Однако он не унывает. Всю жизнь приходилось ему выпутываться из положений гораздо худших,— туча рассеется.

Мистрей выразил надежду, что она рассеется быстрее всех ожиданий. Как у Тави слипались глаза, он не поддерживал особенно разговора; молчал и Нэд Сван. Незадолго перед тем, как часы ударили полночь, под окном дома мелькнул громовой выстрел, сопровождаемый собачьим лаем и криками.

— Это вернулся Гог,— заметила Марта,— наш сын.

По всему дому пронеслось хлопанье дверей, затем высокий, как его отец, молодой человек с нелюдимым лицом появился перед собранием. Его голова по-горски была обвязана красным платком, жесткая борода неестественно, как черная наклейка, обходила полное, загорелое лицо с неприятным ртом и бесцветными, медленно устанавливающими взгляд, сонно мигающими глазами. В его руках был карабин.

— Чужая собака,— сказал он, несколько смутясь при виде чужих, и повернулся уйти.— В голову. Ха-ха!

— Сядь,— сказал Ионсон.

Гог, пробормотав что-то, скрылся, стукнув о дверь дулом ружья.

— Невежа! — закричал вслед отец.

Мать пояснила:

— С него взятки гладки: раз уж набрал в рот воды или не хочет чего-нибудь,— упрашивать бесполезно.

Об этом не говорили больше. Посидев еще несколько времени, гости были отведены в приготовленные для них комнаты. Перед тем как лечь, оба зашли к Нэду посмотреть, не нужно ли ему что-нибудь.

— Ну, что вы скажете,— спросил Мистрей,— каковы впечатления ваши?

— Вижу отчетливо всех троих.— Сван слепо прищурился в тот свой мир, где так все было знакомо ему.— Ионсон: черный, большой рот и рыжая черта поперек налитого кровью глаза. Его жена: зубчатый небольшой круг с клювом спрута внутри. Гог... этот неясно... да: тьма, две медные точки и крылья совы.

— Ну, вот еще,— с некоторым неудовольствием отнеслась Тави,— милый Нэд, вы нервны сегодня. Но, правда, что-то беспокойно и мне.

— Кажется, мы приехали неудачно,— заметил Мистрей, но, не желая расстраивать Тави, прибавил: — Все это пустая мнительность... Нэд, спокойной вам ночи!

— Благодарю. Да будут спокойны и ваши ночи,— ответил Сван,— спокойны, п о к а я с л е п.

Муж и жена давно привыкли уже к странной манере, в какой иногда выражал мысли свои Нэд Сван; поэтому, не обращая особенного внимания на его последние слова, попрощались и удалились к себе.

V

Несколько дней прожили они, сходя по утрам в долины или поднимаясь среди цветущих теснин к затейливым углам горного мира, где яркие неожиданности пейзажа напоминают ряд радостных встреч с лучшими из своих желаний, принявших кроткую или захватывающую дыхание видимость. Среди этого мира, неподалеку от дома, рвал дымом нежную красоту гор завод Ионсона,— трубы, обнесенные стенами и складами. Казалось, был перенесен он сюда из города каким-то подземным путем, вынырнув вдруг среди зеленого сияния склонов. Без вопросов смотрела на него Тави, иногда говоря тихое «А!..» — если случившийся тут же Ионсон объяснял что-нибудь. И она спешила на озеро, где с удочками в руках, беспечные обобранные люди вбирали всем существом своим блеск бездонной воды, отражающей их фигуры.

Нэд Сван неизменно сопровождал их. Благодаря его присутствию прогулки гостей были медленны и покойны, так как надо было вести слепца, дав ему держаться за себя или за конец палки, другой конец которой Мистрей брал под мышку. Нэд Сван расспрашивал их, слушал и говорил о своем.

Меж тем впечатления д о́ м а — естественным путем взаимного отчуждения, скрывать которое все же приходилось известным усилием,— стали за их спиной, но редко они оборачивались к острому их лицу. Там крикливыми голосами, счетами и проклятиями, бранью и своеобразной душевной отрыжкой, точно обозначающей все колебания делового дня, текла, собранная в жидкий узел на маковке, своя жизнь. Хозяева и гости встречались редко. Гог приходил иногда к обеду, но чаще давал знать о существовании своем окрестными выстрелами или хохотом где-то позади конюшен, который звучал так долго, ровно и громко, что хотелось закрыть окно. Он почти ничего не говорил, здоровался чуть ли не с отвращением и был вообще — с а м.

Прошла неделя, а эти чужие друг другу люди так же мало знали взаимно о себе, как при первой встрече.

Под вечер следующего дня пьяный, но отлично державшийся на ногах, внезапно получивший дар речи Ионсон вошел в комнату гостей с таким видом, что сразу, еще до первого слова, создалось предчувствие некоего делового момента.

VI

— Мне надо поговорить с вами, Мистрей,— медленно сказал Ионсон. Избегая смотреть в глаза, он ворочал засунутыми в карманы брюк кулаками, как будто месил.— И с вашей женой также. Есть дело. То есть я хочу говорить о деле, если вы против ничего не имеете.

— Нет, я слушаю вас.— Мистрей посадил Ионсона и сел против него. Тави сидела в глубине комнаты, укрытая тенью, выказываясь оттуда далекой и тихой.— Предупреждаю, однако, что я не деловой человек. В этом могли вы убедиться из моего опыта покупки чужой земли.

Взгляд Ионсона блеснул двусмысленно.

— Гм...— сказал он,— да, каждый может стать, конечно, добычей изворотливых молодцов... однако... но я скажу прямо, что дело касается только вас и меня.

— А меня? — рассмеялась Тави.

— Вас? Ну, и вас, конечно. Оно касается вас обоих, но более всего — одного меня.

— Так говорите,— сказал Мистрей, намеренно избегая паузы.

Ионсон грузно вздохнул, сдвинув лицо так, что все его черты собрались к глазам, старавшимся пристально отметить что-то в лицах жены и мужа,— нечто, указывающее линию дальнейшего разговора.

— Я разорен,— хрипло заявил он,— разорен в лоск и не больше как через месяц должен буду уйти отсюда. Есть только один выход из положения. Слушайте: мне предлагают крупную партию сырья почти даром. Почему это так, я сам хорошо не знаю; знаю лишь, что человек, с которым веду переговоры, безусловно надежен. В моем распоряжении еще есть двадцать четыре часа. Если я внесу половину суммы — товар мой, и я через две недели выпускаю его готовыми фабрикатами по цене, значительно более дешевой, чем рыночная. Таким образом, помимо крупной прибыли, я получаю заказы и задатки, чем отсрочиваю и частью оплачиваю векселя. Но сегодня или — самое позднее — завтра надо уплатить тому человеку тридцать тысяч.

Он смолк, откинулся, полузакрыв глаза, затем внезапно и нагло бросил упорный взгляд на Мистрея, хлопнув по колену рукой.

— Так,— сказал, подумав, Мистрей,— но, право, я неважный советчик.

— Совет мне не нужен.

— Тогда... что?!

— Деньги.

— Как?!

— Жемчуг,— сказал Ионсон, волнуясь уже заметным образом.— У вашей жены есть жемчуг. Он стоит шестьдесят верных. Постойте, я кончу. Вы даете мне жемчуг в обеспечение поставки. Я закладываю его. Он будет цел, ручаюсь своей честью. Ровно через месяц, ни днем раньше, ни позже, я возвращаю вам вещь обратно, плюс двадцать процентов на сто. И мы квиты.

Наступило молчание. Тави пересела к Мистрею. Ее рука поднялась было к шее, где снимавшееся лишь на ночь кружило в электрическом свете огненно-молочный блеск свой ее радужное воспоминание, как опустилась вновь с гордостью, выраженной тихой улыбкой. Впрочем, она взглянула на мужа не без лукавства, предчувствуя интересный ответ.

— И вы подумали это? — сказал Мистрей.— Но я скажу так же прямо, как прямо обратились ко мне вы: на это мы не пойдем.

Ионсон проглотил слюну.

— Почему? — глухо и вкрадчиво спросил он.

— Это невозможно.

— Так почему, черт возьми?

Красными пятнами покрылось его лицо. Он встал и сел снова с силой, так, что затрещал стул. Беспомощно и свирепо звучали его слова.

— Послушайте,— начал он, помяв руки,— здесь нет риска. Я отвечаю и могу поклясться...

— Мне жаль вас,— твердо перебил Мистрей,— но пачкать душу свою я не буду. В этой вещи, о которой вы говорите с понятной, на ваш взгляд, легкостью, так как для вас это — просто ценность,— в этой вещи заключен первый наш простой вечер,— мой и жены моей. Эта вещь не продается и не закладывается. Она уже утратила ту ценность, которая дорога вам; ее ценность иная. Я сказал все.

Ионсон встал.

— Отлично,— сказал он, качая головой гневно и медленно, как если бы рассуждал об отсутствующих.— Эти люди... ха... Эти люди приезжают к тебе, Ионсон. Да. Что они просят? Нет, они ни-че-го не просят. Они благородны. Это гости. Они живут, едят, пьют...

— Мистрей! — едва могла сказать Тави.

Мистрей быстро положил руку на плечо Ионсона.

— Выйдите и ложитесь спать,— сказал он так тихо и явственно, что Ионсон отшатнулся.— Мы не останемся здесь более десяти минут. Тави! — но она уже встала, смотря в окно.

Здесь он заметил, что дверь раскрыта. Мягко держась за притолоку, стоял с опущенной головой Нэд Сван. Он кашлянул.

— О! Да, вот что это! — вскричала, увидев его, Тави.— Собирайтесь и вы, Нэд.

— Я готов,— печально сказал слепой.

Ионсон вышел, смотря на гостей с расстояния нескольких шагов, через дверь. Он топнул ногой.

— Ступайте под окно! — закричал он.— Там вам швырнут багаж.

Сван знаком остановил Мистрея.

— Багаж моих друзей, а также и мои пожитки,— сказал он, повернув лицо к Ионсону,— останутся пока здесь. Они будут выкуплены через несколько дней суммой, вознаграждающей Ионсона. Он нес расходы. Мы пили и ели у него.

— Благодарю, Сван,— сказала Тави.— Так надо.

Они вышли немедленно. Никто не провожал их ни бранью, ни дальнейшими разговорами об этой оскорбительной стычке. У подъезда стоял Гог. Он видел, как три человека не оглядываясь, медленным шагом отошли прочь и скрылись в лесу.

VII

Тропа, которой они шли, вилась отлогим зигзагом; у самых ног их падали от уступа к уступу молчаливые, ярко озаренные склоны. Казалось, здесь был предел разнообразию: едва утомленный сверкающей пустотой долин глаз переходил к ближайшим явлениям, как висящие над головой скалы или поворот, оттененный светлой чертой неба, по-иному колебали волнение, вызванное и ровно поддерживаемое оглушительной тишиной стремнин.

Устав, путники сели, свесив ноги над бездной. Вначале показалось Мистрею, что Тави говорит что-то,— такой сосредоточенной трубочкой вытянулись ее губы, шепча или мурлыкая про себя. Но она просто летала, держась руками за землю, по противоположному скло-

ну, отделенному от нее не более как перелетом ядра. Она летала, мысленно опускаясь там, где было более живописно. Ее глаза ярко блестели.

— О, Мистрей! — могла она только сказать, прижав руку к сердцу.— Нэд, простите меня за то, что у меня есть зрачки.

Сван помолчал. Странная улыбка прошла по его лицу.

— Я вижу,— сказал он.— Но я вижу иначе: тем настроением, какое сообщается мне от вас.

Оглянувшись, Мистрей заметил в скале подобие ниши, что и было приветствуемо как приют. Сухие кусты росли густо вокруг. Это годилось для костра. Неподалеку, на мшистом отвесном скате, висел, перескакивая внизу, прозрачный ручей. Тави залезла на ореховое дерево, порвав юбку. Сван выгрузил из кармана большой кусок хлеба.

— Я взял с собой,— сказал он,— это припишем к счету.

Они долго сидели у огня, разговаривая и восхищаясь романтичностью положения. Затем Тави положила голову на колени мужа и уснула, а он прислонился к стене.

Сван лег у выхода ниши.

VIII

В самом зените ночи, вставшей высоко вверху и молча смотревшей вниз на отражение свое по пропастям и обвалам, из ущелья на дорогу вышел медведь. Став к ветру, неодобрительно слушал он глубиной ноздрей, сосавших пахнущий камнем и листвой воздух, мельчайший крап оттенков его: не тронет ли тоскливым ознобом внутри дыхания, не ясным ли станет памятный от прежних встреч шагающий образ с направленной к медвежьим глазам черной чертой, откуда надо ждать треска и боли.

Но колеблющийся баланс воздушных течений сдвинул легкую ткань опасного запаха, расслоил и переместил ее. Тогда, шумно вздохнув, медведь фыркнул в пыль уснувшей тропы. Коза, еж и лисица явились умственному взору его, так как вчера были на этом месте — но слабо; явление отмечало значительный промежуток времени. Тогда той частью души, которая у зверей по-

хожа на состояние сонного человеческого сознания, когда, дремля, натуживается оно никогда не приходящим воспоминанием, медведь двинулся по тропе вниз, раскачивая головой и осторожно следя, не пересечется ли путь подозрительным воздушным узором.

Вдруг он остановился и сел, подняв голову, как собака. Ветер, случайно завернув вспять, хлопнул его по ноздрям одеждой и телом нескольких людей, находившихся где-то совсем близко. Он ощутил слабый позыв желудочного беспокойства, и лапы его отяжелели. Однако он не убежал и не вскарабкался выше, а с недоумением разминал запах, вслушиваясь в него с медленно проходящим испугом. Запах был лишен яда, то есть мог принадлежать только другой породе, может быть, в чем-то равной образу, шагающему с гремящей чертой в лапах.

Зверь подвинулся, фыркая тихо и вопросительно. Он видел, как мы днем. Совсем войдя в группу, он приблизил носовое внимание свое к лицу Тави и успокоился. Затем, мягко перешагнув ноги Мистрея, провел, почти касаясь мордой, по контуру тела Свана.

Все утихло, все заленилось в нем, но пахло еще чем-то, давно забытым. Это была хлебная корка. Он тихо слизнул ее, поиграв челюстями, и лег, вытянув голову к ногам спящей женщины,— как ковер из его меха, лежащий, быть может, теперь под человечески-звериной ногой.

Он спал. Когда снова его начал мучительно волновать тот запах, за две мили от которого поспешил он обеспечить себе спокойную ночную прогулку, горное чудовище выползло на тенистый свет звезд и, дыбом, тронулось к Гогу, поспешно направившему гремящую черту в косматое сердце. Но медведь только махнул лапой. Пощечина обнажила скулы, и, мгновенно помертвев, согнутый в коленях страшным ударом, человек, видевший всю ночь только жемчуг, отправился на край бездны.

Сказалось ли темное прошлое семьи в том, что у человека, который плеснулся с полумильной высоты о широкий камень, подобно воде, красное пятно, покрывшее известняк, расплылось в форме ножа,— мы не знаем. Осталось лишь прошлое. Будущее растеклось по скале и высохло в отвесных лучах.

Утром Мистрей сказал Свану, что на золе следы лап, прося не говорить жене о своем открытии.

Сван обратил с тихой улыбкой серебряный взгляд к обрыву, где — лишь он один знал — упал сын Ионсона. Но это знание было равно сну, не выразимому словом.

Все трое благополучно спустились к горному поселению, где смогли нанять мулов.

Через неделю они получили свой багаж — без письма.

ГАТТ, ВИТТ И РЕДОТТ

I

Три человека, желая разбогатеть, отправились в Африку. Им очень хотелось иметь собственные автомобили, собственные дома и собственные сады. В то время африканские алмазные прииски, расположенные на реке Вивере (эта река такая маленькая, что ее нет на карте), каждый месяц давали от тысячи до трех тысяч каратов драгоценного камня. Поэтому каждый месяц пароход, приходивший к тому берегу из Занзибара, ссаживал сотни людей, желавших попытать счастья.

Наши три человека были: почтальон, извозчик и пекарь. Первого звали Гатт, второго — Витт и третьего — Редотт. Скопив денег на дорогу, отправились они в страну змей, обезьян и львов копать тамошние пески.

Немедленно по приезде с ними начались несчастные случаи. Сначала заболел лихорадкой Редотт, затем Витт и наконец Гатт. Пока они лежали в палатке, отпиваясь хиной и кокосовым пивом, негры украли у них все деньги, инструменты и лошадей. Выздоровев, они подыскали себе участок, где, по их расчетам, должны были находиться алмазы; заняли три лопаты и стали работать.

После целого месяца усиленного труда на всех троих нашли всего лишь один-единственный бриллиант, но и тот мутный, как грязное стекло. Он был, правда, величиной с орех, но почти ничего не стоил; маклер дал за него только три фунта.

Между тем их энергия стала падать. Они попытались менять участки, но нигде более ничего не нашли.

Кроме того, зной плохо действовал на состояние их здоровья: они худели, пили много воды и почти не могли спать; тревога и забота не давали им покоя.

Однажды вечером сидели они у костра молча и тихо.

— Итак, у нас ничего нет,— сказал задумчивый, спокойный Редотт,— нет даже сил, чтобы разрубить дерево для костра. Питаемся мы почти одной зеленью. Этак мы скоро подохнем.

— Я не желаю подыхать,— возразил беспокойный, крикливый, более всех тщедушный и прожорливый Гатт,— я хочу, понимаете, бифштексиков, вина и денег. Вообще я хочу широко наслаждаться жизнью, черт ее побери.

— Наслаждайся,— насмешливо сказал желчный черноволосый Витт.— Мне бы только немного окрепнуть. Я тогда пойду к голландцу Ван-Клопсу. Ван-Клопс даст мне ружье и пороха. И я присоединюсь к охотникам за слоновой костью. Но, увы, я должен поесть, поесть много раз хорошего мяса.

— Да, сильным быть хорошо,— отозвался Редотт.— Куда я гожусь? — Он засучил рукава и посмотрел на свои худые руки.— Будь я, например, немного посильнее Самсона, я черной земляной работой добыл бы себе здесь форменный капитал. Разве не так?

— Я ловил бы слонов, как мышей,— сказал Витт.— Я вырывал бы руками клыки и таскал бы целые снопы их, как пачку папирос. Кроме того, десяток-другой львов, пойманных живьем, купит любой зверинец. А вы знаете, сколько стоит приличный лев? Говорят, тысячу фунтов. Теперь сосчитайте.

— Двадцать тысяч фунтов,— сказал Гатт.— При такой силишке, о который вы говорите, я просто плюнул бы в реку, не сходя с места, и убил бы простым плевком столько рыбы, сколько нужно для всего прииска. Рыба свежая — пожалуйте, и деньги на бочку.

II

— Так в чем же дело? — раздался над головами их громкий вопрос.

Костер бросал в тьму летающий рыжий блеск, и в блеске этом показалась бронзовая фигура индуса. Его тюрбан сиял дорогим шитьем, за поясом мерцали драгоценные камни кинжальной рукояти. Матовые, орли-

ные глаза индуса выражали достоинство и гордость. Недавно прибыл он на Виверу с множеством лошадей и слуг, но не собирался жить здесь; как говорили, держит он путь в глубину Африки.

— Ваше степенство...— пробормотал, подымаясь, Гатт.— Удостойте присесть.

— Садитесь,— угрюмо пробормотал Витт.

Редотт встал и, ответив индусу на его приветственный жест поклоном, сказал:

— Саиб Шах-Дуран, зажги свою трубку у нашего огня. Больше у нас ничего нет.

— Но будет,— сказал индус.— Я прогуливался и услышал ваш разговор.— Он сел.— Так в чем дело? Повторяю,— продолжал Шах-Дуран,— если хотите быть сильными, я могу исполнить ваше желание.

— Вы шутите! — воскликнул Редотт.

— У нас, в Индии, такими вещами не шутят,— сказал индус.

— Арабские сказки,— фыркнул на ухо Витту смешливый Гатт, и шепотом ответил ему Витт:

— Шах, кажется, был в миссии и хватил немного хмельного.

Тонкий слух индуса поймал смысл их слов.

— Я не пью «хмельное»,— сказал он без раздражения, но так внушительно, что Витт и Гатт оторопели.— Что же касается «арабских сказок», то лучше мне прямо приступить к делу. Хотите вы быть сильными или нет?..

— О! — сказал Витт.

— Ага! — ответил Гатт.

— Да! — произнес Редотт.

Шах-Дуран расстегнул платье и достал из бисерного мешочка три пшеничных зерна.

— Вот зерна,— сказал он,— эти зерна взяты из саркофага египетского фараона Рамзеса первого, который жил тысячи лет назад. В них заключена сила жизни. Пять тысяч лет копилась она и увеличивалась. Человек, съевший это зерно, станет сильнее целого стада буйволов.

— Позвольте спросить вас,— обратился к нему Гатт,— почему именно это зерно имеет такую силу, а те, из каких печем мы свои лепешки, вызывают только расстройство желудка?

— У тебя не хватает терпения пропечь лепешку как следует. Что касается этих зерен, то я сейчас объясню, почему в них колоссальная сила. Египетская пшеница

в хорошем урожае дает сам-двести. Следовательно, из одного зерна — если бы оно проросло — получится двести зерен.

— Он не пил виски,— шепнул Гатт Витту как можно тише.— Единожды двести — двести, это я ручаюсь.

— Я не пил виски,— меланхолически подтвердил Шах-Дуран, а Гатт сделал невинные собачьи глаза.— В доказательство этого я приведу дальнейший расчет. Нил разливается два раза в год, два раза в год плоские его берега дают жатву... Итак, одно зерно с его двумястами детьми дадут в год сорок тысяч зерен. На следующий год сорок тысяч произведут восемьдесят миллионов потомства. На пятый — заметьте, только на пятый год — число зерен возрастет до ста двух центилионов четыреста секстилионов, то есть...

Индус взял палочку и начертил на песке 1024, прибавив к этой цифре 23 нуля.

— Вот,— сказал он,— вот сколько будет зерен через пять лет только из одного зерна.

— Высшая математика! — благоговейно прошептал Гатт.

— Говорить ли о пяти тысячах лет? — сказал, посмеиваясь, Шах-Дуран.— Тогда будет столько нулей, что вы соскучитесь их писать.

— Сойду с ума,— подтвердил Витт.

— Или...— вставил Гатт.

Редотт молчал.

— Один золотник весу содержит колос,— продолжал индус.— Та цифра, что я написал, выдержит тяжесть такого же числа колосьев, то есть шестьдесят четыре квинтилиона пудов зерна. Вот сила, с которой нам приходится иметь дело. Какова же она за пять тысяч лет?

— Но эту силу,— ехидно возразил Витт,— вы изволите спокойно подбрасывать на ладони, да еще увеличенную в три раза.

— Да,— сказал Шах-Дуран.— Вся сила растительности одного зерна за пять тысяч лет сообщится тому, кто проглотит зерно. Как и почему, это я вам объяснять не буду. Желаете ли вы иметь такую силу?

Как ни был притуплен рассудок алмазоискателей нуждой и усталостью, все же они поняли, что предлагают им,— и похолодели от ужаса. Но скоро овладел страхом своим Редотт и, улыбаясь, протянул руку.

— Берешь? — сказал Шах-Дуран.

— Да.

Но, положив на ладонь темное зерно, Редотт взял иголку и царапнул ею свой талисман. Одна едва заметная пылинка отделилась при этом, и он лизнул то место руки, где она должна была быть.

Индус благосклонно улыбнулся.

— Ты осторожен,— сказал он,— и, кажется, поступил хорошо. Но даже при такой скромной порции ты спокойно можешь разбить кулаком каменный дом. Брось это зерно, оно более не может служить. Пусть идет в землю и спокойно освобождает свою силу. Нуте,— обратился он к остальным,— что скажете вы?

«Не может быть столько секстилионов из одного семечка»,— легкомысленно подумал Гатт и, взяв зерно, съел его, даже разжевал.

— Вот и все,— сказал он, благодушно прислонясь к камню, затем упал.

Раздался оглушительный вой.

Выскочив при движении локтя Гатта, десятитонный камень секнул пространство на неизмеримую высоту; там, раскаленный трением воздуха, вспыхнул он метеоритом и рассыпался яркою пылью.

— Ползерна! — вскричал, видя это, охлажденный Витт.— Ползерна — настоящая порция! Иначе меня разорвет сила.

Индус вынул перочинный ножик и отсек ползерна Витту. Налив чашку воды, Витт запил ползерна крупным глотком.

— Чтобы растворилось немного,— сказал он и похлопал себя по животу.

Шах-Дуран встал.

— Будьте здоровы,— сказал индус, поклонился и исчез во тьме.

Затаив дыхание, смотрели наши приятели, как тает во мраке его белый тюрбан, потом осторожно сели и закрыли глаза.

III

То, что они чувствовали, было поразительно. Казалось Гатту, что в жилах его мчатся и гудят железнодорожные поезда. Витт слышал, что сила впивается в него, подобно водопаду. Редотт задумчиво ковырял ногтем огромный пень, откалывая пудовые куски дерева.

Но их оцепенение, их изумление перед самими собой скоро прошло, так как тело их уже забыло, что значит быть слабым. Первый вскочил Гатт, он закричал что было духу:

— С такой-то силой, как у меня, шутить не приходится! Эх, где бы ее показать?.. К чему бы это ее немедленно приложить?.. Никак не подвертывается такого предмета!

Он кружился, топал и размахивал руками, оглядываясь; затем, сбив с ног Витта, лишившегося от толчка чувств, кинулся к тысячелетнему баобабу, взял его из земли так же легко, как мы берем спичку, и хлопнул им по Вивере.

Удар был неплох. Дерево, пробив течение реки, прошло в ее дно на глубину двухсот метров и обратилось в пыль, и в этой же бешеной воронке земли и воды мгновенно исчез Гатт, увлеченный силой собственного удара, и от него не осталось ничего. Вивера же вышла из берегов, а затем вздрогнула на триста миль в окружности, отчего жители проснулись и побежали, думая, что началось землетрясение.

— Ты видел? — сказал Редотт очнувшемуся от толчка Витту.— Он сожрал, правда, все зерно, но и в тебя вошла приличная порция. Смотри не ошибись.

— Я буду охотиться на слонов,— сказал Витт.— Теперь мне не надо никакого ружья.

И они зажили разной жизнью. Витт ушел с топором в лес и пропадал три недели, разыскивая слонов. Сначала скажем, как действовал он, потом вернемся к Редотту. Витт действовал до крайности просто. Его первая встреча со слоном произошла так: слон бросился на него, подняв хобот. Витт намотал хобот на руку, пригнул голову испуганного великана к земле и вырвал клыки; после такой операции зверь бросился бежать, а Витт, всадив клыки в землю, пошел дальше. То один, то два, то целое стадо слонов попадалось ему, и у всех их, то дергая за ноги, то опрокидывая кулаком, вырывал он клыки с хладнокровием и легкостью зубного врача. Он опрокидывал их, как кот мышей. Очень скоро у него скопилось тысяча двести пудов слоновой кости. «Это будет получше алмазов»,—сказал он, когда связал плот из тысячелетних деревьев и погрузил на него добычу. Плот тихо стоял у берега, Витт сидел у костра, благодушествовал и курил. Теперь ему было легко добывать пищу. Стоило хлопнуть ладонью по

стволу кокосового или мангового дерева, как все плоды, стряхиваясь, усыпали землю вокруг него. Если же ему случалось попасть камнем в стадо антилоп, то одна из них наверняка была разорвана на куски.

И от того, что он стал так невероятно силен и каждый день убивал зверей, он стал очень жесток. Ему доставляло удовольствие разрывать рот львам, давить пальцами рысей и пантер, связывать хвостами всех вместе — носорогов, красивых жирафов, слонов, крокодилов и буйволов — и смотреть, как обезумевшее от ярости стадо грызло и топтало друг друга. Он громко хохотал, а затем, набрав пудовых камней, бросал их в пленников, пока жертвы не превращались в груду дымного мяса.

И вот, когда однажды он сидел у костра, посматривая на свой плот и замышляя, не прибавить ли еще груза,— маленькая коралловая змея, упав с дерева, вонзила ему зубы в колено и умерла, так как он раздавил ее. Затем он сам покрылся холодным потом, скорчился, почернел и умер. И гиены поужинали его трупом.

IV

Между тем Редотт, почувствовав такую силу, что мог бы мешать землю рукой, как мы ложкой мешаем крупу, долго размышлял, что бы теперь предпринять. Он хорошо понимал, что обнаружить силу свою опасно в полном размере, так как его будут бояться, будут ему завидовать, и он наживет себе врагов. Если враг стреляет в темноте ночью,— какая сила удержит кровь пробитого сердца?

— Что ж, надо работать все-таки,— сказал он себе.— Работать мне теперь будет легко. Вся тяжелая человеческая работа есть для меня сущие пустяки.

Он нанялся на прииск копать землю. Вначале ему было очень смешно притворно ковырять землю лопаткой, делая иногда вид, что устал; однако он скоро приноровился и, возбуждая, правда, великое удивление, начал выкапывать за день столько земли, сколько самый сильный негр мог выкопать только в три дня.

«Вот так силач!» — говорили о нем, но так как такая сила, хотя очень редко, все же существует, то ровно никто не подозревал, что Редотт может разбить каменный дом ударом кулака.

У него было много работы и много денег, так как ему платили в пять раз больше, чем другим. Случилось, что он подружился с одним бельгийцем и, малость подвыпив, открыл ему свою тайну.

Бельгиец захохотал.

— Никак я не думал,— сказал он насупившемуся Редотту,— что вы, такой дельный, честный человек, можете так нагло и глупо врать!

Редотт спокойно посмотрел на него, затем встал.

— Идите за мной! — сурово сказал он.

Они вышли из палатки и подошли к рельсам, сложенным на пути.

— Вот куча рельс,— сказал Редотт,— смотрите и судите.

Затем он взял рельсу и воткнул ее в землю аршина на три, так, что конец торчал вровень с его лицом. Бельгиец попятился, а Редотт, хлопнув ладонью по верхнему концу рельсы, заставил ее исчезнуть в землю.

— В таком случае,— сказал упавший от испуга бельгиец, вставая и вытирая о штаны руки,— надо завтра же завоевать Африку. Я буду вашим министром. Не будете же вы без толка и пользы держать вашу сверх-переверх-силищу?!

— Не знаю,— сказал Редотт.— Я посмотрю. Может, наступит день, когда мне понадобится вся моя сила. Лучше я поберегу ее.

И он взял с бельгийца клятву молчать.

— Клянусь Бельгией! — сказал устрашенный рабочий.

— Хорошо, я вам верю,— ответил Редотт.

V

Была ночь, когда разбудил Редотта страшный, глухой гул. Он вскочил и побежал к копям. Множество народа бежало уже туда, крича: «Обвал, обвал!» И стало всем ясно, что на большой глубине под землей, где рыли землю, разыскивая алмазы, тысячи человек, случилось несчастье.

Разные назывались причины. Однако скоро стало известно, что взорвались ящики с динамитом. Взрыв был так силен, что обвалились и засыпались все верх-

ние входы, проникнуть под землю было уже нельзя.

Увидев ряд фонарей, Редотт подошел к ним. Здесь собрались инженеры, горячо спорившие о том, как спасти тех, кто, погребенный обвалом, может быть, еще жив, но должен будет задохнуться от недостатка воздуха. Здесь же громко и тяжело плакали женщины, мужья которых работали под землей. Каждая из них успела уже броситься на колени перед инженером, умоляя спасти близких, но инженеры только разводили руками. И, высчитав приблизительно необходимое количество дней, чтобы открыть шахту, сказали, что потребуется десять дней; только через десять дней можно будет сойти вниз и извлечь мертвых и живых, если живые не поумирают к тому времени от голода и удушья.

В том месте, где было отверстие шахты, склон горы оканчивался справа отвесной скалой, имевшей высоту не менее двухсот футов. На эту-то скалу обратил свое внимание Редотт, слушая вполуха, что говорят инженеры. Наконец раздумье его окончилось; он вытряхнул свою трубку и подошел к совещанию. Теперь он не скрывал свою силу, так как торопился. Проходя сквозь толпу, он просто разводил руками, как по воде, и от этих тихих его движений люди посыпались как горох. Но все это было приписано суматохе и толкотне, поэтому никакого удивления еще не было. Ему только кричали:

— Чего вы толкаетесь!

— Мистер Витсон,— сказал Редотт старшему инженеру,— есть способ спасти всех или почти всех. Разрешите мне это сделать.

Инженеры умолкли. Штейгер, знакомый Редотта, сказал с досадой:

— Ступайте и проспитесь, Редотт. Нехорошо быть сегодня пьяным.

— Понюхайте! — Редотт взял штейгера за голову, притянул к себе и дохнул ему прямо в нос.— Пахнет ли водкой?

— Не пахнет,— сказал тот,— но вы, значит, малость не в своем уме. Идите и не мешайте.

— Витсон,— сказал Редотт, поворачиваясь к инженеру,— слушайте, я говорю правду: я спасу всех. И сейчас.

— Объясните толком, чего вы хотите.

— Вот чего я хочу: чтобы вы и все, кто тут есть,

приготовились увидеть небольшое гимнастическое упражнение. Дело, прямо скажу, ответственное. Кроме того, прикажите публике отступить подальше от шахты, чтобы не произошло новых несчастий.

Все были растерянны, все говорили, перебивая друг друга, и Редотт видел, что ему никто не верит. Тогда подошел и встал рядом с ним бледный как смерть бельгиец. Смотря на Редотта, он трясся от ожидания и волнения.

— Он сделает,— сказал бельгиец,— он может, верьте ему,— клянусь Бельгией!

Не зная, что делать, и уступая мольбам рабочих, требовавших разрешения Редотту сделать свою попытку, Витсон приказал разойтись всем как можно дальше от шахты. Едва приказание было исполнено, как Редотт неторопливо подошел к скале, в которую упирался горный скат, и исчез. Во тьме было не видно, что он делает. Толпа, затаив дыхание, ожидала.

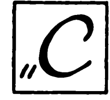
И вот произошло великое дело, памятное доселе в летописях алмазных копей Виверы. Редотт уперся в скалу правым плечом, скрестил руки, ногами уперся в камень и, собрав всю силу, двинул весь горный склон прочь. Под этим местом шли ходы шахт. Он сгреб гору своей скалой так же просто, как паровоз грудью сбрасывает с рельс снежный завал, открыв этим усилием сразу несколько вертикальных ходов. Так мальчик сбивает вершину муравейника, обнажая внутренние муравьиные галереи.

Рев сорванных горных пластов напомнил ужасный гул тропических бурь. Ему ответили крики замурованных обвалом людей. Торопливо выползали они на воздух, вынося обмерших и откопанных. Спасение остальных было уже делом часов, а не дней.

Труп Редотта нашли лежащим у опрокинутой и далеко отъехавшей скалы. От непосильного напряжения у него лопнула на руках и ногах кожа; лопнули жилы шеи и внутренностей. Среди других за его гробом шел бельгиец, говоря каждому, кто хотел слушать:

— Действительно, он свернул шею горé, клянусь Бельгией!

БРОДЯГА И НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ



вет полон несправедливости. Ни одно дарование не находит достойной оценки. К чему, например, высшее образование, честолюбивые мечтания, безусловная порядочность, аккуратность, наконец, почерк, каким не постыдились бы писать на Олимпе? Увы, все тщета».

Так рассуждал начальник тюрьмы в Н.— городке, столь уединенном и малом, что он никак не мог позволить себе роскошь иметь большую тюрьму и важных преступников. Едва ли было хоть раз, что все сорок камер тюрьмы заняты постояльцами. Как правило, одновременно находилось в ней не более десяти арестантов; но не было блестящих имен. Ни Равашоль, ни Джек-Потрошитель, ни Картуш, ни Ринальдо Ринальдини — но мелкие воры и серые жулики да бродяги.

Таким образом, Пинкертон, начальник тюрьмы, возненавидевший свою громкую фамилию именно за ее блеск фальшивого бриллианта, вечно страдал желчью и напрасным честолюбием.

Наступила весна. Тысячи честолюбцев, легионы непонятых Наполеонов возделывают в это время грядки или окапывают клумбы. Это их роковая судьба: сажать салат и пионы, в то время как их более счастливые камрады насаживают пограничные столбы.

Так поступал теперь и Пинкертон: он бродил по маленькому тюремному саду, намечая где, что и как посадить. Садик был отделен от тюремного двора живой изгородью; с другой стороны к нему примыкала наружная стена. У стены стояло кресло-качалка; побродив, Пинкертон сел в нее, утомленный ночной работой, и стал жмуриться под жаркими лучами, как кот. Солнце, накаливая стену, образовало здесь род парника; начальник вспотел.

Вошел часовой с хлипким мышеподобным субъектом, достаточно рваным, чтобы подробно не описывать его костюм. Его маленькие глаза бегали с задумчивым выражением; короткое, костлявое лицо, укрытое гнедой пеленой, имело философский оттенок, свойственный вообще бродягам.

— Можешь ты копать землю? — спросил Пинкертон.— Вообще — умеешь ли работать в саду? Ступайте, Смит, я буду сидеть здесь.

Часовой ушел; начальник повторил вопрос:

— Умею ли? — почтительно переспросил рваный субъект.— Но, право, вы меня рассмешили. Я работал в висячих садах герцогини Джоанны Фиоритуры, в парке лорда Альвейта, в оранжереях знаменитого садовода Ниццы Кумахера, и я...

— Похоже, что ты врешь,— перебил Пинкертон, зевая и располагаясь удобнее.— Только вот что, приятель: видишь эти две клумбы? Надо их поднять выше.

— Пустое дело,— сказал бродяга.— Не извольте беспокоиться. Однажды, путешествуя — пешком, разумеется,— из Белграда в Герцеговину, я возымел желание украсить придорожные луга. Я нашел старую лопату. Что же? К вечеру полторы мили лугов были покрыты клумбами, на которых росли естественные дикие цветы!

— Как ты лжешь! — сказал Пинкертон.— Зачем ты лжешь?

Прежде чем ответить, бродяга сделал несколько ударов киркой, затем оперся на нее с видом отдыхающего скульптора.

— Это не ложь,— грустно сказал он.— Боже мой! Какая весна! Вспоминаю мои приключения среди гор и долин Эвареска. Великолепно идти босиком по свежей пыли. Крестьяне иногда сажают обедать. Спишь на сене, повторяя милый урок из раскинутой над головой астрономии. Как пахнет. Там много цветов. Идешь как будто по меду. Также озера. Я имел удочки. Бывали странные случаи. Раз я поймал карпа в двадцать два фунта. И что же? В его желудке оказался серебряный наперсток...

— На этот раз ты действительно безбожно врешь! — крикнул Пинкертон.— Карп в двадцать два фунта — абсурд!

— Как хотите,— равнодушно сказал бродяга,— но ведь я его ел.

Наступило молчание. Арестант разрывал небольшой участок.

— Нет лучше наживки,— сказал он, вытаскивая из глыбы и перебрасывая с руки на руку огромного ленивого червя,— как эти выползки для морского окуня. Вот обратите внимание. Если его разорвать на небольшие куски, в затем два или три из них посадить на крючок, то это уже не может сорваться. Испытанный способ.

Между тем профаны надевают один кусок, отчего он стаскивается рыбой весь.

— Глупости,— сказал Пинкертон.— Как же не сорвется, если выползка перевернуть и проколоть несколько раз, головкой вниз.

— Вверх головкой?!

— Нет, вниз.

— Но обратите внимание...

— А, черт! Я же говорю: вниз!

Арестант сожалительно посмотрел на начальника, но не стал спорить. Однако был он задет и, взметывая киркой землю, бурчал весьма явственно:

— ...не на всякий крючок. Притом рыба предпочитает брать с головы. Конечно, есть чудаки, которые даже о поплавке знают не больше кошки. Но здесь...

Снова устав, землекоп повернулся к Пинкертону, убедительно и кротко журча:

— А знаете ли вы, что на сто случаев мгновенного утопления поплавка — девяносто пустых, потому что рыба срывает ему хвост?! Головка же тверже держится. Однажды совершенно не двигался поплавок, лишь только повернулся вокруг себя, и я понял, что надо тащить. А почему? Она жевала головку; и я подсек. Между тем...

Его речь текла плавно и наивно, как песня. Жара усилилась. От ног Пинкертона к глазам поднималось сладкое сонное оцепенение; полузакрыв глаза, вслушивался он в ропот и шепот о зелени глубоких озер и наконец, чтоб ясно представить острую дрожь водяных кругов вкруг настороженного поплавка, зажмурился совершенно. Этого только и ожидал сон: Пинкертон спал.

— Это так портит нервы,— ровно продолжал бродяга, грустно смотря на него и тихо жестикулируя,— так портит нервы плохая насадка, что я решил сажать только вверх. И очень тщательно. Но не вниз.

Он умолк, задумчиво осмотрел Пинкертона и, степенно оглянувшись, взял из его лежавшего на столике портсигара папироску. Закурив ее и вздохнув, причем его глаза мечтательно бродили по небу, он пускал дым, повторяя: «Нет, нет,— только вверх. И никогда — вниз. Это ошибка».

Он бросил окурок, не торопясь подошел к дальнему углу сада, где сваленные одна на другую пустые известковые бочки представляли для него известный соблазн, и влез на гребень стены. «Вниз,— бормотал он,—

это ошибка. Рыба непременно стащит. Исключительно — вверх!»

Затем он спрыгнул и исчез, продолжая тихо сердиться на легкомысленных рыбаков.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Скульптор, не мни покорной
И вязкой глины ком...

Т. Готье

I

Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу,— сказал Геннисон, закрывая дверь и вешая промокшее от дождя пальто.— Ну, Джен,— отвратительная погода, но в сердце моем погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил потрясающие новости.

Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал Стерс.

Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих глаз, нехотя улыбнулась.

— Ох, я боюсь всего потрясающего,— сказала она, приступая было к еде, но, видя, что муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку.— Не сердись. Я только хочу сказать, что, когда ты приносишь «потрясающие» новости, у нас, на другой день, обыкновенно не бывает денег.

— На этот раз, кажется, будут,— возразил Геннисон.— Дело идет как раз о посещении мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого дела — вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и других, поэтому Стерс сказал: «Мой милый, это ведь ваша

фигура «Женщины, возводящей ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках»? Конечно, я отрицал, а он докончил, ничего не выпытав от меня: «Итак, говоря условно, что ваша,— эта статуя имеет все шансы. Нам,— заметь, он сказал «нам»,— значит, был о том разговор,— нам она более других по душе. Держите в секрете. Я сообщаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие надежды. Поправляйте свои дела».

— Разумеется, тебя нетрудно узнать,— сказала Джен,— но, ах, как трудно, изнемогая, верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что еще сказал Стерс?

— Что еще он сказал — я забыл. Я помню только вот это и шел домой в полусознательном состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?

— Ледан уже представил свою работу?

— Верно — нет, иначе Стерс должен был говорить о нем. Ледан никогда особенно не торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как шесть его детей, мал мала меньше, тоже, вероятно, ждут премию. Что ты подумала?

— Я подумала,— задумавшись, произнесла Джен,— что, пока мы не знаем, как справился с задачей Ледан, рано нам говорить о торжестве.

— Милая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит премии. Первая: его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у людей положительных. Я ведь все знаю. Одним словом, Стерс еще сказал, что моя «Женщина» — удачнейший символ науки, ведушей младенца — Человечество — к горной вершине Знания.

— Да... Так почему он не говорил о Ледане?

— Кто?

— Стерс.

— Не любит его: просто — не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.

Напряженный разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией, строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено

украсить бронзовой статуей, и за лучшую представленную работу город обещал три тысячи фунтов.

Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив деньги. За шесть месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры еще никогда не были так реальны и ярки, как теперь. В течение десяти минут Джен побывала в лучших магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые работы, после которых придут слава и обеспеченность.

Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер, скульптор утомленно огляделся. Это была все та же тесная комната, с грошовой мебелью, с тенью нищеты по углам. Надо было ждать, ждать...

Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе. Он взглянул на часы — было почти семь — и встал.

— Джен, я схожу. Ты понимаешь — это не беспокойство, не зависть — нет; я совершенно уверен в благополучном исходе дела, но... но я посмотрю все-таки, нет ли там модели Ледана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать все, особенно в важных случаях.

Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и ее, но так же, как Геннисон, она ее скрыла и выдала, поспешно сказав:

— Конечно, мой друг. Странно было бы, если бы ты не интересовался искусством. Скоро вернешься?

— Очень скоро,— сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу.— Итак, недели две, не больше, осталось нам ждать. Да.

— Да, так,— ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: — Иди же. Я сяду шить.

II

Студия, отведенная делам конкурса, находилась в здании Школы Живописи и Ваяния, и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса,

давно и хорошо знавшего Геннисона. Войдя, Геннисон сказал:

— Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую, я хочу еще раз взглянуть на свою работу и, может быть, подправить кой-что. Ну, как — много ли доставлено сегодня моделей?

— Всего, кажется, четырнадцать.— Нурс стал глядеть в пол.— Понимаете, какая история. Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберется жюри и, вы понимаете, желают, чтобы все было в порядке.

— Конечно, конечно,— подхватил Геннисон,— но право, у меня душа не на месте и неспокойно мне, пока не посмотрю еще раз на свое. Вы меня поймите по-человечески. Я никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душе, таким образом это дело пройдет безвредно. И... вот она,— покажите-ка ей место в кассе «Грилль-Рума».

Он вытащил золотую монету — последнюю — все, что было у него, и положил в нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой.

— Ну, да,— сказал Нурс,— я это очень все хорошо понимаю... Если, конечно... Что делать — идем.

Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам стал на пороге, скептически окинув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях, покрытых зеленым сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той странной, преображенной жизненности, какая отличает скульптуру. Два человека разно смотрели на это. Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений и стал искать глазами Ледана.

Нурс вышел.

Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей, вышиной не более трех футов. Модель Ледана, которого он сразу узнал по чудесной легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла меж Пунком и жалким размышлением честного, трудолюбивого Пройса, давшего тупую Юнону с щитом и гербом города. Ледан тоже не изумил выдумкой. Всего-навсего — задумчивая фигура молодой женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом ветки геометриче-

скую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном лице отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчета, какой она производит.

Геннисон отступил с чувством падения и восторга. «А! — сказал он, имея наконец мужество стать только художником.— Да, это искусство. Ведь это все равно что поймать луч. Как живет. Как дышит и размышляет».

Тогда — медленно, с сумрачным одушевлением раненого, взирающего на свою рану одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той «Женщине с книгой», которую сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость ее позы. Он всмотрелся в наивные недочеты, в плохо скрытое старание, которым хотел возместить отсутствие точного художественного ви́дения. Она была относительно хороша, но существенно плоха рядом с Леданом. С мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Ледана делать из мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса.

За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение могли принять только одну, свойственную ему, форму. Он взял каминные щипцы и тремя сильными ударами обратил свою модель в глину,— без слез, без дикого смеха, без истерики,— так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо.

— Эти удары,— сказал он прибежавшему на шум Нурсу,— я нанес сам себе, так как сломал только собственное изделие. Вам придется немного здесь подмести.

— Как?! — закричал Нурс.— Эту самую... и это — ваша... Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?

— Что? — повторил Геннисон.— То же, но только лучше, чтобы оправдать ваше лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, нелепый, бородатый, обремененный младенцами и талантом Ледан может быть спокоен, так как жюри не остается другого выбора.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУТОВ

I

И так, она вам отказала обоим? — спросил на прощанье хозяин степной гостиницы.— Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере, этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:

— Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле...

— Но что же особенного узнал трактирщик? — хмуро возразил Кист.— Ну... любил ты... любил я... любили одну. Ей — все равно... Вообще, был ведь разговор этот о женщинах.

— Ты не понимаешь,— сказал Род.— Мы сделали нехорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в... за стойкой. Ну, и довольно об этом.

Несмотря на то что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а никто так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушились.

Как сказал Кист: «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.

II

«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба — Род и Кист — пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть, немного жестоко рассуждал восемнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не по-

нимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорятся только при настоящей разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.

— Ступайте,— сказала Кэт.— Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.

Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и малоразговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: «цып-цып»...

III

Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смешение скал — отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня — обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти мили полторы влево, а *затем* начать восхождение.

На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ширина пропасти была значительна, но в общем казалась на подходящих для того местах доступной скачку коня.

Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой — налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род — его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.

Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.

IV

Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отделенный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако из всех мест, по которым они прошли, разыскивая обход, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: она было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.

Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолеть трещину — значило сократить путь не меньше, как дней на пять. Между тем обычный путь с возвращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское «S», которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.

— Будь дерево,— сказал Род,— но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.

Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.

— Надо думать, что перед тобой натянуто черное полотно,— сказал Род,— только и всего. Представь, что пропасти нет.

— Разумеется,— сказал Кист рассеянно.— Немного холодно... Точно купаться.

Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.

— Итак...— начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку.

— Сначала я, а потом ты,— сказал он.— Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.

Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род

сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему всем своим существом.

Кист встал. Он был немного бледен.

— Готово,— сказал Кист.— Жду тебя с первой почтой.

Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки и, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванется с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист, неожиданно для себя, представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль — одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста — и это сбило его.

Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного — рука Рода скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдавленную руку Рода.

Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз.

— Отпусти! — сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому.— Ты свалишься, говорю тебе! — продолжал Род.— Отпусти меня и не забывай, что именно на тебя посмотрела она особенно.

Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль — мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.

Рука разжалась...

Кист взглянул вниз; затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.

Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверьми, к нему,

распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.

— А где Род? — поспешно спросила она, едва подала руку.— Или вы одни, Кист?!

«Если ты сделала выбор, то не ошиблась»,— подумал вошедший.

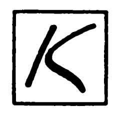
— Род...— повторила Кэт.— Ведь вы были всегда вместе...

Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.

ЗОЛОТО И ШАХТЕРЫ

(Из воспоминаний)

I



огда еще юношей я попал в Александрию (египетскую), служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Додэ, представилось, что Сахара и львы совсем близко — стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица-арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала «селям алейкюм».

Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам — я не знаю до сих пор. Но я знаю:

1) Пустыни не было. 2) Была канава. 3) Розу я купил за две пар... (4 коп.) 4) Не чувствовал ни капли стыда.

Равным образом, когда, по возвращении с Урала, отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему «творимую легенду» приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам, с ними ограбил контору прииска, затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, взглядывая на меня, он внушительно повторял: «Д-да. Не знаю, что из тебя выйдет».

II

Я и сам не знал «что из меня выйдет» или, вернее, что случится со мной, когда, в лаптях и трепаном пиджаке, подбитом куделью, выехал из Перми «зайцем» на Пашийские рудники. В этих краях я был впервые. Поэтому я рассуждал так: раз Урал золотоносен, то золотоносен сплошь, и копайся.... в огороде, золота будет много. На этом основании, как пошел лесной дорогой на прииски, я в нескольких местах проковырял землю палкой, но там был самый обыкновенный «прах». Где же самородки?

Я шел среди зеленых и синих гор. Ночевать мне пришлось в оригинальной казарме рабочих железного рудника. Все было здесь желто, даже красновато-желто, от рудной пыли. Стены желты, руки, рубахи и столы и тулупы. Я провел ночь в мире, выкрашенном в железную краску. Наутро (была весна) я по подмерзшей дороге явился на Пашийские или Шуваловские прииски (графа Шувалова).

Темное, старое село разбросано было в лесу, по берегам извилистой речки. Я зашел в контору, где отдал свой паспорт, и получил право определиться на какую хочу работу. Кроме того, мне выдали рубль задатка.

Конторой был кряжистый, большой дом из огромных бревен. За окошечком сидел кассир. В окне сиял лес. Вот пришел старик в тулупе и валенках с красными крапинками — старатель — получать деньги за сданное вчера золото. Он вынул из платка тарелку; на эту тарелку была ему высыпана груда блестящих пятирублевок — тысячи три. Я обомлел. «Значит, здесь много золота»,— подумал я. Почти вслед за первым старателем явился другой,— черный, молодой, с резким

и угрюмым лицом; он принес в холщовом мешочке платину. Ее свешали на весах и выдали квитанцию. Платина разочаровала меня, она выглядела как свинцовые опилки. Но я уже был уверен, что скоро буду миллионером.

Так, воодушевляясь, вышел я из конторы и поселился в одной избе, за рубль в месяц. Спать пришлось на полу. Кроме меня, было здесь еще двое рабочих, хозяин, тоже рабочий, и его беременная жена, болезненная, испитая женщина. Один рабочий был рыж и веснушчат, лет сорока, звали его Кондрат. Каждый вечер он и хозяин, вернувшись с работы, ставили перед собой бутылку водки и чашку кислой капусты. Кондрат, подперев щеку рукой, пил и громко, жалостно пел:

Скажи мне, звездочка златая,
Зачем печально так горишь.
Кор-роль, кор-роль, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?..

Хозяин молча вздыхал, но вдруг, рванувшись и покраснев, орал что есть мочи:

Ска-ж-ж-и мы-ы-не-е...

В это время хозяйка молча двигалась, прибирая что-то, или стояла у печки, сложив руки, пока ее снова не посылали за водкой. Это случалось почти каждую ночь. Вначале я ворочался на полу без сна, но потом привык и просыпался, лишь когда шум стихал.

С этими-то сожителями я и вышел на другой день к продовольственной лавке, куда собирались, так сказать, нештатные рабочие. Было холодно, удивительно свежо пахло лесом. Красное солнце бросало из-за деревьев по грязному розовому снегу ясные, как свет костра, лучи. Десятник отметил меня, и мы толпой, с бабами и стариками, отправились к насосам, на разведку.

Минут двадцать дорога шла лесом, по талой тропе. Вскоре показалась долина, или увал, где по ее длине, на равном расстоянии друг от друга, чернели небольшие вертикальные шахты — шурфы. Когда-то на некоторой глубине здесь протекала река; шурфы били до подпочвенного слоя песка, который промывали в ковше, если находили достаточный про-

цент золота (1 зол. на 1 куб. саж.) — здесь закладывалась настоящая шахта. Вокруг шурфов деревья были срублены, пылали костры и кипятились чайники.

Я встал к насосу. Насос опускался до дна шахты, имея вверху отводной желоб и коромысло с длинными ручками. Шесть человек качало, шесть сидело. А внизу, в шахте, бил землю киркой рабочий в так называемых приисковых сапогах из очень толстой кожи, подошвы которых были подбиты гвоздями с шляпками, величиной в боб. Когда он наполнял деревянную бадью песком, смешанным с галькой, ее втаскивали наверх, а штейгер, взяв немного песка в ковш, промывал пробу водой,— песок сливали, золото оставалось.

Так как я был ко всему этому любопытен, штейгер объяснил мне, что черная галька «шлихт» всегда сопутствует золоту. Раз все побросали качать и пошли смотреть в штейгеров ковш. Там, среди двух черных камешков и щепотки мокрого, серебристого песку, что-то блестело, но я не мог различить, блестит ли это солнце, внутренность луженого ковша или отражение морской гальки. Золотых песчинок я так и не увидел, хотя меня, что называется, тыкали носом. Штейгер только сказал, что его мало, и я от души согласился с ним.

На Урале говорят «робить» вместо «работать». Оттого, что я «робил», мне скоро становилось тепло, к полудню солнце грело уже изрядно, и, отобедав, т. е. напившись чаю с хлебом, я вновь «робил», пока не садилось солнце. Затемно мы возвращались домой.

Однажды в обеденный перерыв я прошел в невырубленный лес конца долины и увидел там маленький домик старателя. Ели вплотную примыкали к нему, и было тут таинственно и тенисто, как в сказке. У двери стояла рослая женщина с крупными чертами лица, с густыми черными бровями и суровым взглядом. Неподалеку сам старатель возился с вашгертом, подводя под него полено. Вашгерт, т. е. промывальный станок, напоминал собой продолговатый ящик с выдающимся внизу деревянным ложем для стока воды: он был закрыт, заперт и запечатан. Раз в неделю или раз в день, смотря как с кем, чиновник прииска снимал печать, золото извлекалось и взве-

шивалось на месте, чтобы не было продажи на сторону.

Я узнал от старателя, что его участок плохой, что он только кормится, а прибыли не имеет. Как на пример особой удачи, он указал на соседний лесной дом, его хозяин, тоже старатель, нашел как-то «карман», т. е. такое место, где золото особенно густо, и от этого *кармана* нажил тот человек тысяч пятнадцать.

III

Разведка скоро окончилась. Меня приставили тогда к настоящей шахте: холм щебня, извлеченного из недр, окружал ее. Над шахтой стоял ворот с канатом и железной бадьей. В этой бадье спускали вниз, в шахту, забойщика и плотника, делом которого было *крепить* шахту, ставить *крепь*. Эта же бадья выбрасывала наверх щебень подпочвенного золотоносного слоя. Щебень, перемешанный с песком, промывали в «бутаре». Бутара — род наглухо закрытой бочки, цилиндра, и хотя я забыл внутреннее ее устройство, однако помню, что песок вместе с водой и небольшим количеством ртути дает при вращении бутары амальгамированный ртутью осадок золота. Золото растворяется в ртути. Затем ее извлекают и выпаривают на огне, а золото остается.

Несколько ночей стоял я в ночной смене у ворота, вместе с другими рабочими мы крутили ворот и освобождали бадью. Не легкое дело. Изломанным и разбитым чувствовал я себя, возвращаясь домой. Однажды я спустился в шахту днем. Действительно, я увидел вверху — в ничтожном четырехугольнике голубой пустоты — несколько бледных звезд. Я прошел, согнувшись, в тупик горизонтальной ветви шахты, везде поддерживаемой *крепью*, чтобы не ссыпался грунт. *Крепь* — это деревянное П, которое ставят плотники на расстоянии полуаршина одно от другого, из коротких балок, по мере того как *забойщик* постепенно выбивает впереди себя киркой продолжение шахты. Здесь низко и сыро, красноватый свет шахтерской лампочки в проволочной сетке пятном озаряет низкий, как в сундуке, свод; вода непрерывно льется сверху крупным дождем. Забойщик полулежал на боку, одной рукой дейст-

вуя киркой; он выбивал и сгребал назад, за себя, кучи мокрого щебня. Щебень выносил рабочий в ведре и шахтовой бадье.

IV

Было воскресенье, когда я увидел наконец «хищника». Такое имя носят люди, добывающие золото на свой риск и страх в частных и казенных владениях. Их ловят, а иногда убивают на месте; о битвах и перестрелках хищников с стражниками я наслышался всласть.

В воскресенье я зашел в общую казарму рабочих и там увидел сидящего на краю нар, в беседе с кем-то, молодого человека с приятным, открытым лицом, серыми глазами и серьгой в ухе. Он был в отличных новых сапогах, красной бумазейной блузе с стоячим воротником, плисовых шароварах и плисовой шапке с лисьей опушкой. Богато вышитый шелком бархатный пояс стягивал его талию. Тут же я узнал, что этот человек — хищник, но такой ловкий и удачливый, что до сих пор не попался. Ходит он открыто, стражники и администрация знают, кто эта красивая птица, но улик прямых нет.

Тотчас я подсел к нему с тем, что называется «интервью», а по существу есть нестерпимое любопытство.

Вот что он рассказал. Я, конечно, передаю не речь его, а суть дела.

«Хищничают» партиями, в три и пять человек, редко более. Хищник вооружен, снабжен заступом, киркой, провизией и компасом; промывка происходит в самых диких, нетронутых местах лесов. Золото ищут по л о г а м, п а д я м, т. е. преимущественно в ложбинах. Так же как и на приисках бьют шурфы — шахты, для пробы. Но у хищника нет промывального станка — «вашгерта», и, во всяком случае, его работа носит поспешный, случайный характер. Промывают в большом ковше или тазу; некоторые промывают на разложенных уступами кусках дерна: вода уносит промываемую землю, а тяжелое золото застревает в траве. Есть еще способ — амальгамирование, т. е. взбалтывание золотоносной земли в корчагах, куда впущено немного ртути

(она растворяет, вбирает в себя металл), но, за трудностью для хищника достать ртуть, она употребляется редко. К тому же хищники разыскивают и знают такие места, где золото идет не по $1^1/_2$—2 золотника на куб, а лежит россыпями, так что, теряя при грубой промывке, они все же добывают довольно. Таково, например, верховое золото. Если верить моему рассказчику, довольно в таких местах содрать дерн и тряхнуть его, и с корней травы посыплются крупные блестки.

Тайное золото берут скупщики по 2—$2^1/_2$ рубля золотник, платину — по той же цене. Рассказчик сообщил мне, что пришел на прииски звать товарища — идти к Черной Березе, за двести верст, где будто бы зарыто два голенища с золотым песком. Но... он заметно прихвастывал в своих удачах, и я не особенно поверил Черной Березе.

Вечером Кондрат и хозяин мой, где я жил, снова начали пить — был день получки. Устав, я крепко спал, рано проснулся. По еще темному окну шла розовая полоса рассвета. Хозяйка, с трудом передвигая ноги и охая, растопляла печь. Новый — тонкий и жалобный — звук раздался за ситцевой занавеской. Страшно похудевшая женщина бросилась к кровати; спеленатый тряпками, там лежал только что, этой ночью родившийся мальчик.

Это был единственный случай, что я был свидетелем столь мужественных и горьких родов — без акушерки, врача, без криков и жалоб. Пьяный хозяин храпел на полу. Кондрат спал, уронив на стол руки и голову.

При свете керосиновой лампы я увидел тогда пятирублевую золотую монету, блестевшую на залитой щами и водкой домотканой скатерти.

И это было единственное золото, которое я видел на приисках, если не считать того, что в конторе было взято «старателем».

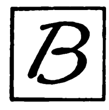
Муж храпел. Но хозяйка, вся полная, сквозь страдание, светлой материнской тишиной, ласково приговаривала:

— Ш-ш-ш-ш...

Скоро я покинул прииск.

ШЕСТЬ СПИЧЕК

I

ечерело; шторм снизил давление, но волны еще не вернули тот свой живописный вид, какой настраивает нас покровительственно в отношении к морской стихии, когда, лежа на берегу, смотрим в их зеленую глубину.

Меж этими страшными и крутыми массами черного цвета стеклянно блестел выем, в тот же миг, как вы заметили его, взлетающий выпукло и черно на высоту трехэтажного дома.

В толчее масс кружилась шлюпка, которой управляло двое.

На веслах сидел человек без шапки, с диким, заостренным лицом, босой и в лохмотьях. Его красные глаза слезились от ветра, шея и лицо, почерневшие от испытаний, поросли грязной шерстью. Голова с отросшими, как у женщины, волосами была перетянута платком, черным у виска от засохшей крови. Он греб, откидываясь назад всем телом и каждый раз закрывая глаза. Подаваясь вперед занести весла, он снова открывал их. Следя за направлением его неподвижного взгляда, можно было догадаться, что этот человек смотрит на бортовый ящик.

Второй человек сидел у руля, управляя движением шлюпки с всепоглощающей заботой не дать бешеному движению воды выбить из рук румпель, трясшийся беспрерывно, как тряслись от крайнего напряжения руки рулевого. Этот человек был одет или, вернее, раздет в той же степени, как и первый, с той разницей, что на нем, кроме белья, разорванного, хлопающего на руках и спине, были просмоленные брюки, застегнутые скрюченными кусками проволоки. Отросшие черные волосы хлестали по глазам, взгляд которых был более разумен, чем взгляд его товарища по несчастью. Лицо опухло, сквозь сильный загар светилось истощение. Усы и борода вокруг искусанных запекшихся губ сбились мохнатым кольцом. Он был мускулист, тяжел, двигался медленно и основательно даже теперь, когда первый дергался при каждом толчке волны и производил впечатление потерявшегося.

Дно шлюпки было залито водой, где плавали, сту-

каясь о борта, консервные жестянки, обломки скамеек, служивших некогда факелом; там же мокли, болтаясь при перевалах через гребни, тряпки, куски кожи, обрывки бумаги. Сами того не замечая, оба пловца мелко, беспрерывно дрожали, сутулясь от холодного ветра.

Наконец один из пловцов проговорил медленно и упорно:

— Метлаэн!

— Понатужься, Босс, молодчина, хорошая старая собака! — крикнул рулевой.— Слышишь, что я говорю? Ветер упал.

Босс поднял голову, двинул весла, как бы нехотя, и стал смотреть на бортовый ящик.

Некоторое время они молчали. Небо слегка очистилось впереди и темнело, пена перестала летать, срываясь, через головы пловцов, и разбег валов принял более равномерный темп. Не выпуская руля, привязанного к талии толстым концом, Метлаэн потянулся левой рукой и достал из бортового ящика карманные золотые часы, которые не забывал заводить при всяких условиях сорокадвухдневного скитания по волнам. Приблизив часы к глазам, Метлаэн увидел, что время — без двадцати минут шесть.

Некоторое время он держал часы в руках, как бы не решаясь выпустить это осязательное доказательство стойко существующей за горизонтом спокойной и безопасной жизни. Затем вложил часы в ящик. Подымая голову, Метлаэн заметил взгляд Босса, легший на его руку тяжело, как упрек.

Тем временем валы снизились, и неожиданно удары воды сменились отлогими перевалами. Стоял шум тысячи водяных мельниц.

Босс сказал:

— На западе ничего нет. Зачем плыть на запад?

— Куда мы не бросались?! — возразил Метлаэн.— Надо плыть в каком-нибудь одном направлении. И разрази меня бог, если я знаю, где мы находимся!

Его тревога была так сильна, что он различил острое посвистывающее дыхание Босса. Оно звучало как стон. Подняв голову, Босс дико и неуверенно произнес:

— Я хочу закурить.

II

Метлаэну нужно было некоторое время, чтобы, услышав это, такое простое заявление, примириться с неизбежным, понять, что оно наступило. Он дернулся на своем месте и с отчаянием посмотрел во тьму. Страх выбил из его души все мысли и чувства, кроме нелепого гнева на Босса. Он сам держался если не из последних, то из таких сил страдания, которые, останься он один, могли мгновенно изменить ему, бросив его и шлюпку на произвол случая. Смерть одного подчеркивала близкий конец другого.

— Эй, Босс,— сказал, удерживая ругательства, Метлаэн,— если ты собрался околевать, то лучше это тебе сделать во сне. Вались и спи.

Босс не обратил внимания на его слова. Поддерживая голову рукой, он устойчивее расставил ноги и проговорил, разделяя слова хрипом останавливающегося дыхания:

— Я это знал, когда мы еще садились в шлюпку. У меня екнуло так, будто махнули перед глазами пальцем. Дома не быть — я знаю это. Ни есть, ни пить, Метлаэн, этого больше нет,— только курить. Ты не можешь сказать, что я был плохим товарищем. Я ослаб и умер — только всего. Ну же, давай е е!

Он говорил о половине сигары, спрятанной на самом дне бортового ящика вместе с шестью спичками. Спички и окурок были обмотаны куском просмоленного брезента, а брезент завернут в рукав старой куртки. Согласно уговору, выкурить этот окурок мог только умирающий. Дней десять назад, перекладывая содержимое ящика, Метлаэн нашел этот замусоленный и распухший кусок сигары на дне коробки из-под овощей. Сигара принадлежала Бутлеру, последняя сигара на трех людей, сходящих с ума при мысли о табаке. Ее курили несколько раз по очереди. Бутлер сказал, что уронил окурок в воду, между тем как, продержав его в рукаве, спрятал ночью в жестянку. Когда Метлаэн нашел окурок, Бутлер был в беспамятстве и умер, не приходя в сознание.

— Скорее, Метлаэн,— сказал Босс,— у меня голова кружится, мне худо.

Чувствуя томление, во время которого его тело иногда как бы исчезало, он стал беспокойно двигаться. На перевале через волну, когда рухнувшая вниз шлюп-

ка сильно встряхнулась, Босс соскользнул на колени, затем привалился правым плечом и щекой к борту, сидя на подогнутых под себя ногах.

В положении Метлаэна не было никаких средств оживить умирающего. Страх остаться одному перешел в дикую нервную тоску и тщательное внимание, с каким следовало исполнить теперь последнее желание Босса. Но он сказал все-таки:

— Вгрызись зубами в судьбу, Босс, вставай!

— Долго ты будешь рассуждать? — с ненавистью прохрипел Босс.

Метлаэн привязал руль так, чтобы он не изменил положения, то есть обмотал конец румпеля веревкой с двумя концами, прикрепив к бортам: левому — один конец, правому — другой. Устроив это, он с сомнением посмотрел на шлюпку, которая, лишенная живой силы, правившей ею до сего момента, стала повертываться, но решил, что возня с окурком — дело одной минуты, в течение которой мало риска перевернуться. Тогда он открыл бортовый ящик и развязал сверток, держа его на коленях, чтобы не уронить за борт.

Было темно, но он чувствовал, что Босс живет теперь глазами в каждом его движении. Нащупав окурок, Метлаэн не удержался от искушения сжать в зубах его конец, отдававший в слюну крепким и горьким вкусом, потом, вдохнув еще раз табачный запах, передал окурок Боссу. Руки их встретились, разыскивая одна другую, и Метлаэн удивился про себя, как цепко, с силой схватил Босс свое последнее угощение.

— О-го-го! — жадно сказал Босс.— Огня!

— Дай сигару назад.— Метлаэн протянул руку.

Наступило молчание. Затем Босс протянул руку, и Метлаэн ощутил на своем колене холодную, костлявую тяжесть. Это была рука Босса, которой пытался он иронически похлопать товарища.

— Если ты раздумал...— тихо произнес Босс,— и если ты...

У него не было силы договорить, его мотало, то приваливая к борту, то неудержимо клоня в сторону, и он схватывался тогда за край борта. Метлаэн знал, что он думает. Стараясь быть кратким, чтобы выиграть время у волн и смерти, Метлаэн нагнулся к уху Босса, с силой вбивая слова в голову полуонемевшего человека.

— У нас шесть спичек, которые ты испортишь и не закуришь. Закурить могу только я. Это надо сделать

скорей, потому что шлюпку сбивает и может залить. Неужели ты думаешь, что я буду лукавить в эту минуту?

Мгновение Босс колебался, затем, прямо устремив взгляд и так же прямо, резко протянув сжатую руку, дал Метлаэну высвободить из распухших пальцев спорную вещь. Тогда, держа во рту окурок, Метлаэн пристроился к ящику, откуда предусмотрительно еще не вынимал спичек, чтобы не отсырели. Коробка с шестью спичками лежала, завернутая отдельно в длинную полоску газетной бумаги, облепленную сверху варом, который Метлаэн наколупал в пазах шлюпки. Содрав вар и осторожно вывалив в руку спички, Метлаэн немедля приступил к операции закуривания.

Это дело приходилось выполнять в гимнастических условиях качки и неожиданных толчков, делавших задачу не менее трудной, чем писание при езде в тряском экипаже.

Опустив над ящиком лицо, Метлаэн взял в одну руку коробку и, достав спичку, решительно провел ею по зажигательному месту. Хотя ветер и улегся, но колебания воздуха было довольно для маленького огня, чтобы погасить его. Огонь вспыхнул, потрепетал и угас, прежде чем Метлаэн поднес его к очищенному от пепла концу сигары.

Со второй спичкой дело произошло еще хуже: она обсыпалась, не загоревшись.

Метлаэн выпрямился и передохнул. Он подумал, что, держа сигару в губах, едва ли зажжет ее как из боязни опалить бороду, что мешало действовать увереннее, так и потому, что силой мыканья шлюпки среди перехватов волн ему приходилось бороться с собственными усилиями головы и руки, стремясь привести их к согласию. Он скрутил бумажную полоску шнуром и, чиркнув третьей спичкой, соединил бумагу с огнем. Бумага, не опалившись достаточно, погасла, едва он сделал ею движение к сигаре, но продолжала тлеть, и Метлаэн некоторое время пытался прососать в сигару часть красной, уменьшающейся искры. Когда это не удалось, на него напал страх, неуверенность в успехе, тем более что спичек осталось всего три. Это был страх, сродный страху ребенка, несущего полный кувшин молока и вдруг возомнившего, что оно расплещется: ребенок остановился и заплакал.

Метлаэн не заплакал, но, с пересохшим от волнения

горлом, поднес к коробке четвертую, чиркнув ею так осторожно, словно боясь произвести взрыв. Светлая черта указала меру его усилия, и, ощупав головку спички, Метлаэн нашел, что она хотя не загорелась, но должна загореться, не осыпавшись, как вторая. Он нервно провел ею, раздался легкий треск, огонь вспыхнул и удержался при значительном колебании воздуха. Древесина спички занялась пламенем до половины. Медленно поднимая ее, Метлаэн выждал относительно спокойный момент, поднес огонь к сигаре и, потеряв равновесие, стукнулся подбородком о край ящика. Пламя в дернувшейся схватиться руке задело борт и погасло.

— Четвертая,— сказал Босс ревнивым, сдержанным голосом.

Все самолюбие и самообладание Метлаэна восстали при этом слове безропотно ожидающего человека, как свеча в твердой, поднятой высоко руке. Почти небрежно испортил он пятую спичку, стараясь быть беспечным, как в гамаке, и испортил потому, что долго водил слепым концом по коробке, в то время как серный конец отпотел в просыревших пальцах. Так же небрежно, с презрением, с вызовом к собственным, делающимся мучительными движениям зажег он шестую, осветив ею на мгновение внутренность ящика, и она погасла так же безразлично к судьбе Босса, как и прочие спички. Когда это произошло, Метлаэн стал ощупывать дрожащими пальцами дно коробки, ища,— по обязанности искать, бессмысленно ожидая, что скажет Босс. Он деловито потянул воздух сквозь сигару и даже звучно пососал ее, не зная, что теперь будет.

— Все? — спокойно спросил Босс.

— Да... но, кажется, есть еще,— сказал Метлаэн. Горло его сжалось, и он глубоко вздохнул, захлебнувшись едкой струей дыма, поползшего в носоглотку из бессознательно раскуренного окурка. Сигара загорелась. Ничтожная искра, попавшая с тлеющей бумаги на табак и не замеченная впопыхах, дала постепенно огонь.

Светлое и соленое ударило в голову Метлаэна. Он судорожно протянул окурок поднявшему руку Боссу и торопливо сказал:

— Держи, держи крепко, не урони. Я зажег ее.

У него не было больше времени ни рассуждать, ни следить, что делает Босс: шлюпка легла краем борта

к самой воде. Метлаэн рванул за веревку слева, круто повернул руль так, чтобы нос шлюпки следовал в направлении движения волн, и, сев, как сидел раньше, стал смотреть на медленно разгорающийся золотой кружок, озаряющий тусклое и синее лицо с повязкой на лбу.

III

Босс глубоко втянул дым, закашлялся, изогнулся всем телом, и слезы удовольствия выступили на его воспаленных глазах. «Да, это — утешение»,— пробормотал он, дымя все гуще ртом и ноздрями, как будто хотел накуриться до отвращения. Отвыкнув курить, он боролся с головокружением, вызванным никотином, но его мысли вздохнули. Он ловил их, они растекались и уходили с дымом, с жизнью, куда-то вниз, под лодку.

— Ужасно,— проговорил он,— умирать так... Готово!

Это относилось к окурку, выскользнувшему из его пальцев. Огонь зашипел в воде. Босс сидел, низко склонясь, потом перевалился к скамье и лег на нее головой, с подложенными под нее руками. Он был бесчувствен к качке, к холодной воде, в которой сидел. Ему казалось, что он громко говорит Метлаэну, что́ написать семье, если тот спасется; на самом же деле он молчал и не двигался.

— Босс! — крикнул Метлаэн. Умирающий вернулся к миру реальных звуков и проговорил, заканчивая мысленную речь вслух:

— Так ты запомнишь?

Больше он не сказал ничего. Метлаэн сидел, ворочая руль, прислушиваясь и соображая, умер ли уже Босс. Босс был жив, и Метлаэн знал это.

— Нас еще двое,— сказал он, всматриваясь в лежащего и ощущая его жизнь как бы в себе. Босс был совершенно неподвижен, если не считать легких движений тела, вызываемых размахом волнения. Его поверженная фигура виднелась смутной, покорной кучей.

— Босс,— тихо сказал Метлаэн. Ответа не было и не могло быть, но еще не было и смерти, и Метлаэн снова подумал, без слов: «Нас двое». Следя за шлюпкой и Боссом, он неоднократно возвращался к этому ощущению быть вдвоем, но иногда оно исчезало, и он нетерпеливо повертывался на своем месте, как будто

движение это помогло бы явственнее услышать счет: «Два».

Вдруг — и это произошло как неожиданное воспоминание, открывшееся внезапно,— по телу Метлаэна, его мыслям и по тому месту каната, которое он держал рукой, прошла некая значительность, непохожая ни на что из ощущаемых чувствами или воображением вещей, но вполне явственная. Что-то произошло. С неясным и жутким побуждением Метлаэн громко сказал:

— Босс! Очнись!

В то же время ощущение двоих исчезло. «Нас двое»,— с силой подумал Метлаэн, ожидая живого указания внутри, но слова «нас двое» отскочили от некоего глухого препятствия и тупо возвратились назад.

Тогда Метлаэн узнал, что он один в лодке с коченеющими надеждами плывет долгой, неверной ночью искать спасения.

Наутро он был замечен бригом «Сатурн» и принят на борт.

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

I

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

— Что с вами? Вы так рассеянны.

Я ответил:

— Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

— Когда окончите вы ваше изобретение?

— Это тайна,— сказал я.— Я вам доверяю более чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

— Что это значит?

— Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

— Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея,— заметила Коррида.— Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

— Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложчые явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец она сказала:

— Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

— Нет,— сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил: — Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта.— Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

— Но почему?

— Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии,— сказал я,— я вызвал веселый,

слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

— Решительно вы озадачиваете меня.— Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом.— Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к... к... экипажу.— Она рассмеялась.— Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве — она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово н е л г а т ь, так как очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струей ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек,— заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько д е т а л е й моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много — тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии,— беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления — все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление,— так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие

при всем том было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль — ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить — видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающей поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо,— и, однако, я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний — никаких примерно индивидуальных черт мотора,— но его цифра С.С.— 77—7,— некогда — я остро чувствовал это — имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущения его минувшей значительности.

Однако этого *не могло быть*. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, *этот* автомобиль с *этим* шофером *я видел*.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало- или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья,— каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни — всего, что так или иначе угрожает Самые разумные усилия приводят

здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой... Но автомобиль С.С.—77—7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень — воображенное продолжение движения — рыскнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть — верное указание, одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу — если понадобится — действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку — словно на меня пристально обернулся кто-то,— я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Мировая драма в 6.000 метров!
Лучший боевик сезона!
Масса трюков!

II

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, ста-

раясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова *«серый автомобиль»*. Хотя как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла — их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина.

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и отставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определя-

емый скоростью биения сердца, может быть — пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77—7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем — состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности,— я говорю это смело, так как имею для того веские основания,— была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение — или вернее, то, о чем она думает, как об изобретении,— встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости,— оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки,— ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «Лаборатории», в ущелье Калло́, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука; не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

— Отличное место для свидания,— прибавил он,— или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день.

как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.

III

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдали. Каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа, пролетающего с холодной душой огромные пространства ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей,— но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я никогда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться

или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне искалечением или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск...

— Прочь из четвертого измерения! — сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре.— Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь,— правильный расчет на бессознательное,— иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой — дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль.

IV

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол и лица играющих,— их было семь человек, считая мулата. У стола волновалась прикидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными рукавами сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз — две пары семерок, второй — трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул

об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты; мои были лишены масти и далеки от «последовательности», короче говоря, они не представляли никакой силы; однако я не сказал «пас», но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря «джокеру», пришедшему при покупке. Как известно, «джокер» есть карта с изображением дьявола — пятьдесят третья в колоде; она имеет условное значение — получивший «джокер» может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и «джокер»; считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, т. е. «каре».

— Тысяча,— сказал я,— когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал: «Две».— «Пять»,— сказал Гриньо. При втором круге — как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо.

— Десять,— сказал я, с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «сто».

Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих ста тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер; двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще больше, если карта противника окажется сильнее его карт; или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты,— чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков.

Естественно, я не знал, что на руках у мулата. У не-

го сильнее моего «каре» могло быть: «каре» из более крупных карт, чем семерка; затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации: например,— от шестерки к десятке или от десятки к тузу. В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного,— прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться, и когда, таким образом, мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить.

Равным образом его карты могли быть слабее моих, они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупке (он сбросил и прикупил четыре) у него не образовалось даже минимального шанса — одной пары одинаковых карт,— комбинация, на которой, при смелости, вернее, отчаянности, выигрывают иногда большие суммы, если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает, быть может, фульгент.

Итак, мы ничего не знали взаимно о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения: открыть карты, быть может проиграв, если он сильнее меня; назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного, или бросить игру, уплатив десять тысяч.

Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок,— их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой,— почему — этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой «джокер»,— моя пятая карта, которую я мог обозначить, как любую карту, естественно, была пятой семеркой,— предел могущества в покере,— пять одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко. Имея на руках четыре одинаковых карты с «джокером» в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту.

Так я и намеревался поступить. Не следовало ничем выдать себя, нужно было внушить Гриньо, что у ме-

ня самое большое — крупный «фульгент» [1]. Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой не слабее фульгента. Приложив ко лбу указательный палец, я задумался — притворно, конечно,— над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но неискусно; что у меня — пусть он так думает — карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное — что карта сильна, это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньо заключение, обратное действительности. И я начал с долгого колебания.

Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать иное — притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал:

— Триста тысяч.

Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние. Но я играл наверняка, я мог назначать миллионы, ничем решительно не рискуя.

Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей, черты их лиц стали л е с о м, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром.

— Чек,— хрипло сказал мулат, тяжело и остро взглядывая на меня.

Как ни всматривался, я не мог понять его состояния. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы, ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул: Эбенезер Сидней.

Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его

---

[1] Две и три одинаковых: две дамы, три шестерки, примерно.

левой руки предательски дрогнулся. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы — мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, «дьявольски владеющего собой».

Написав чек, я подал его крупье.

— Чек на триста тысяч долларов, королевскому банку в Энтвей,— громко сказал крупье.

Гриньо, видимо, повеселел.

— Пятьсот тысяч,— небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним.

— Принимаю,— холодно сказал я.

Рокот восхищения обошел стол. Удар на полмиллиона долларов! Ронкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать.

— Ну,— сказал я смеясь,— Гриньо, выкладывайте ваше каре!

Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три — каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших за Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное, большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:

— Вам сколько, Сидней?

— Вы ошиблись,— сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной.— Гриньо, нравится вам этот джентльмен?

Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.

— Ваша...— сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились... Он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добро-

вольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли.

Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра,— писал он,— но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С.С. 77—7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».

— Что с вами? — спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.

— Ну, что же? — сказал он.— Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения,— сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.

— Как вы думаете, почему он написал номер?

— Машинально,— сказал Ронкур.

— В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?

— Но почему?

— Мне кажется, что так нужно,— сказал я, овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы — мысли и желания сливались неразделимо.

— Смотрите, что это? Все повалили, бегут.— Ронкур взял меня под руку.— Посмотрим, где происшествие.

Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу:

— Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!

— Как?! — сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии,— оно холодно повернулось во мне, оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой — такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном,— я с ужасом заметил, что

болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем трагическая гримаса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.

V

Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за баккара.

В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской мулата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения,— как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Корриде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были: туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименования множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто, отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего — вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением.

При всем том я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно; вначале приехал ее брат, открывший деловую контору; затем приехала она, и я познакомился

с ней благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим под стеклом.

Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы безусловно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат прежде самых попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в смысле циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова, а на действия ее собственных чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного, о, совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучительницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни, который, как красота, сам по себе благо, так как заражает других.

Именно так я думал, так и передаю, не пытаясь в этом — в священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать прием — вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с теплым чувством, а я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Корриду Эль-Бассо. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть.

У меня было время думать обо всем этом, когда быстро и с облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать «да», то есть согласиться принять машину, из противоречия и вызова самому себе; нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нем, ненуж-

ная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра, опахивая лицо, несколько уравновесила настроение; уже готовый улыбнуться, я переходил улицу, почти пустую в тот час ночи, неторопливо и эластично. Меня заставил обернуться ровный звук сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, и меня это спасло, так как мое тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как с пронзительным, взвизгивающим лаем огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены, он был пуст. Шофера я не успел рассмотреть. Я не успел также заметить его номер.

При всем очень тщательном внимании к себе после этого происшествия я заметил, что мое сердце бьется лишь немного сильнее, что я почти не испугался. Я даже был чему-то отчасти рад, так как получил некоторое предупреждение. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог отыскать в отчетливой форме; все они, крайне живые и многочисленные, напоминали перебор струн, намекающий уже на мелодию, но звучащий понятно лишь знающему мотив уху,— я же не знал мелодии. Вам знакома попытка оживить сон немедленно по пробуждении, когда его сцены ясно видимы еще вами, и вы понимаете их, но не можете тотчас перевести понимание в мысль, меж тем смысл ускользает с быстротой взятой горстью воды, и улетучивается совершенно, как только полностью прояснится сознание? Подобного или почти подобного рода ощущения повернулись во мне. Я нанял фиакр, приказал ехать к себе, и прибыл в четыре ночи к подъезду, узнав, что еще не спят.

Здесь я жил гостем у семейства Кольмонс. Наши отцы вместе начинали делать богатство. Теперь дети их сошлись вместе, в одних стенах, жить для удовольствия и неопределенного приятного будущего. Я вошел, зная, что застану спор, танцы или концерт.

VI

Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь.

— В таком случае,— услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса — Гопкинс был адвокат,— его раздавило автомобилем. Вы знаете, как Сидней осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются.

— Вы почти правы,— сказал я, входя.— Случайно не произошло именно так.

Дам не было. Моя сестра и жена старшего моего двоюродного брата, Ютеция, ушли давно спать. Старший кузен, Кишлей, и младший, Томас, сидели в обществе гостей, Гопкинса, Стерса и «Николая». Так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры: его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее.

Они пили. Окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откидываться назад, если набегает автомобиль, ответил «да» и умолк. Разговор, не задержавшись на мне, вернулся к своему руслу — то был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гопкинсом; Николай смеялся над ним. Им противился Томас и, как это ни было странно, Кишлей, чье полное, добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых, азбучных истин.

— Всегда преследовали и осмеивали новаторов! — сказал Томас.

— Небольшая часть этих людей, конечно, талантлива,— возразил Гопкинс,— зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно, пойдут особой дорогой. Остальное — сплошная эпилепсия рисунка и вкуса.

— Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком,— сказал Николай,— подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это — здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего.

— Но,— возразил Кишлей,— должна же быть причина, что это явление стало распространенно? Причины должны корениться в жизни. Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилю: он ни за что не поедет в нем,

хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день.

— Кишлей прав,— сказал я,— футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это — явления одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве — с нашей, с человеческой точки зрения — здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, О н должен видеть, проносясь по улише с ее бесчисленными, сливающимися в сплошное мелькание отвесными линиями карнизов, водосточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома, по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом рисунок той стороны, на какой вы находитесь. Он будет пестрым смешением линий. Но, предположив зрение, неизбежно предположить эстетику — то есть предпочтение, выбор. В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно — человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.

— Черт возьми! — вскричал Гопкинс.— Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!

— Да, обладает,— сказал я.— В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа.

— Поясните,— сказал Кишлей.

— Охотно,— сказал я.— Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно тем самым соглашаемся с его природой: внешней, внутренней и потенциальной. Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической; даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть сознания нашего составляет его сознание.

— Доказательства! — вскричал Николай.

— Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательств, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем ни я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны иметь иные и, может быть, совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например,— стрекоза с ее десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущения света при таком устройстве органа должны быть иными, чем наши.

— Неодушевленная материя,— сказал Кишлей.— Железо и сталь мертвы.

Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном.

— Вы слышите? — сказал я.— Вот его голос — вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может — память. У него есть дом. На улице Бок-Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты — фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка — некоторые новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть, наконец, граммофон, кинематограф, есть доктора, панегиристы, поэты,— те самые, о которых вы говорили полчаса назад, люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть также любовницы, эти леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц. И это — не жизнь? Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне.

— Выходит,— сказал Николай,— что... Впрочем, я скажу короче: некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша «За славой и торжеством» и приказал завести кинематографический аппарат с картиной «Автомобильные гонки меж Лиссом и Зурбаганом». От восторга у него лопнула шина.

— Ваш шарж показывает, что вы поняли меня,— продолжал я.— Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы, как — мы этого не знаем. Но когда эти взаимоотношения наносят определенный рисунок на рисунок моей жизни, кладут нужные или вредные черты, там необходимо проследить связь явлений, чтобы знать, с какого рода опасностью имеешь дело. Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно порабощают нас.

— Какие же это вредные черты? — спросил Томас.— Жизнь делается сложнее, быстрее, ее интенсивность возрастает беспрерывно. Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние?

VII

С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения. Я выслушал их и ушел посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема — опьянения. Все впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого, но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может, все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной и неотступной мыслью — о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном. Но я никак не мог бы выразить, даже на всех языках мира, что такое это одно, грызущее и уничтожающее

меня. Я вдумывался и понимал его, лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя. Но определить его я не мог.

Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее, наступивший день следовало начать действием. Я приказал разбудить себя в три часа. Мое изобретение — оно ждало — звало меня и ее. После долгого колебания я решился. Я поставлю ее лицом к лицу с Живой Смертью, ее — Мертвую Жизнь.

VIII

Мое знакомство с Корридой Эль-Бассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел ее, я, при всей любви к этой девушке, мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно; я мог даже непринужденно вести не обременяющий ее разговор. Но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от ее красивой и легкой внешности, овладевавшей мной повелительным впечатлением, сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с ее темпом души; ее темп был полон перебоев и дисгармонии, в то время как мой медленно, ровными и острыми колебаниями звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу, легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотел видеть ее лишь в том полном, сосредоточенном, исключительном настроении любви, в каком находился сам и которое перебить пустой болтовней казалось мне противоестественным, почти преступным. Поэтому, вероятно, я заставлял ее часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось тотчас же фальшью и ответной притворностью. Бессознательно я хотел, чтобы она ни на мгновение не забывала мою любовь, чувствуя, что я связан, рассеян и неловок единственно от любви к ней.

По всему этому я сам тяготился долго оставаться в ее присутствии, если у нее был еще кто-нибудь, кроме меня. Мое напряжение в таких случаях часто разражалось сильной глубокой тоской, после чего немыслимо

было уже оставаться; мрачное лицо, в конце концов, может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось ее сопротивление, если бы она сказала мне «ты».

В половине пятого я взял трубку телефона; мне было невесело, меж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника. Но я выдержал роль.

Услышав ее голос, я увидел — в себе — и ее лицо, с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб — в другом конце города — внушал желание погладить его.

— Так это вы,— сказала она, и я вздрогнул — так приветливо прозвучал голос,—о, я очень рада,—я должна вас поздравить.

— С чем? — Но я уже знал, что она хочет сказать.

— Говорят, вы выиграли миллион долларов.

— Нет,— только половину названной суммы.

— Недурно и это. Теперь вы, надо думать, поедете путешествовать?

— Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам — клянусь — редкое удовольствие. Я окончил свое и з о б р е т е н и е. Если вы ничего не имеете против, я покажу вам его первой; никто ничего не знает об этом.

— О! Я хочу! Хочу! — вскричала она.— И как можно скорее!

— В таком случае,— сказал я,— если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Калло. Это не далее пяти миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишлей.

— Отлично,— сказала она после небольшой паузы.— Я согласна. Вы, право, очень добры.

— Через полчаса я буду у вас.

— Я жду.

На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал,— что может произойти из всего этого? Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении, ибо, может быть, всю жизнь сожалел бы о своей слабости. Хуже не могло быть,— лучшему я верил.

В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку.

Кто это говорил со мной? Вкрадчивый, напряженный

голос, как просьба о пощаде, и такой тихий, такой отчетливый, что, казалось, можно отложить трубку, продолжая слышать его! В тот день я проснулся с ощущением тумана,— день был торжествующе ярок, но, казалось, невидимый, спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось.

То, что я услышал, напоминало окончание разговора; так бывает, если говорящий вам предварительно докончит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал: «...пройдет очень немного времени». Затем послышалось обращение ко мне: «Квартира Эбенезера Сиднея?»

— Это я,— невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи,— так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей, ковырялся этот металлический голос. Я повторил: — С вами говорит Сидней, кто вы и что желаете от меня?

— Мое имя вам неизвестно, я говорю с вами по поручению скончавшегося вчера Эммануила Гриньо, мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им не выполненными, он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный четырехместный автомобиль системы Леванда. Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение.

Я закричал, я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному и, если бы мог, с наслаждением избил бы его.

— Подите прочь! — загремел я.— Идите, я вам говорю, к черту! Мне не нужен автомобиль! Гриньо мне ничего не должен! Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб! Мерзкий негодяй, я вижу насквозь ваши намерения!

Но сквозь мой крик, когда я задыхался и умолкал, одновременно с моими бешеными словами, лилась речь человека, очевидно, нимало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости: «примите в соображение» — «из чувства деликатности» — «сама природа случая» — и другое подобное; так методически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека. Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы.

Прекрасный день! Даже т у м а н, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вздохнуть, однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Коррида, я заметил ее улыбающееся лицо: она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хороши потому, что он может быть полезен, что он — б о г а т. Я не обманывал себя. Еще никогда Коррида Эль-Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом; моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша.

Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом. Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность,— ощущение п р о к л я т и я чувства, тяготеющего над нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. Мной стала овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех, смысл.

Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась.

— У вас довольный вид,— сказала Коррида,— не мудрено — два успеха,— что более важным считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?

— Нет, оно мне не принесет ни копейки,— возразил я,— напротив, оно может меня разорить.

— Как же это?

— Если не оправдает моих надежд; оно еще не было в деле; не было опыта.

— Что же представляет оно? И какой цели должно служить?

— Но через час вы сами увидите его. Не стоит ли подождать?

— Правда,— сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. Она была в амазонке.— Оно красиво?

— На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно.

— О! — сказала она, что-то почувствовав в тоне моем.— Итак, мы отправляемся в мастерскую?

— Ну да,— и я не удержался, чтобы не подзадорить.— В мастерскую природы.

— Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы не галантны. Но едем.

Мы вышли, сели, и я помог ей.

— У меня отличное настроение,— заявила она,— и ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?

— Перемена.

— Имя странное, как вы сами.

— Я очень прост,— сказал я,— во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное.

IX

Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Калло́. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами,— хотя бы вызвать сочувственное мне настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила: «О, да!» или — «В самом деле?» — с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже все главное об этой схватке с Гриньо. «О, я его понимаю!» — сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое, презрительное удивление,— она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное.

— Это все та ваша мания,— сказала она, подумав.— Я столько уже слышала о ней! Но я — люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздухом легкие. Вот жизнь!

— Быстрота падения,— возразил я.— Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атавизм. Все развлечения этого рода — спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки,— все есть разрастающееся увлечение головокружительными

ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении. И цель людей, рассуждающих как вы,— это уподобить движение падению. Что может быть более примитивно? И, так сказать,— бесцельно примитивно?

— Но,— сказала она,— весь темп нынешней жизни... Пестрота стала нашей природой.

— Совершенно верно, и очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения,— именно это наиболее ценно. Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке коленкора, но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб, простой дуб. Деревцо это растет столетиями. Корова вырастает в два года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в тридцать. Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорóгой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят иногда начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру?! Оно сталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться.

— Не знаю,— возразила Коррида,— может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли?

— Если бы вы умерли,— спросил я,— а затем вновь родились, помня, как жили,— вы продолжали бы жить так, как теперь?

— Ваш вопрос мне не нравится,— холодно ответила она.— Я живу плохо? Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня?

— Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину. Через...

— Нет, вы не увильнете! — крикнула она, остановив лошадь.— Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов?

— Коррида,— сказал я мягко,— если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне,— даю

вам слово, я так же искренно отвечу вашему раздражению.

Мы уже приближались к ущелью, из развернутой трещины которого разливался призрачный лиловый свет, полный далекой зелени. Смотря туда и припоминая, что хотел сделать, я сразу сообразил, что мой вопрос преждевременен, однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался (я говорю о внутреннем тумане, мешавшем мне ясно соображать), и я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса, вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался.

— Я жду,— сказала Коррида.

— Скажите мне,— начал я,— (и это останется между нами),— почему, с какой целью ушли вы из... магазина?

Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт, отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку — придать им рассеянный, любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее.

— Из-ма-га-зи-на?! — медленно сказала Коррида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же цвет ее лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся, я не хотел более тревожить ее.

— Более у меня нет вопросов,— сказал я,— я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам.

— Да... но это очень просто,— ответила она, стараясь что-то сообразить.— Я не застала модистку. Но вы хотели сказать не это.

— Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль.

Затем, не давая ей оставаться при подозрении, если оно было, я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью. Слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой я остановил лошадь.

— Это здесь,— сказал я.

Коррида оставила седло, и я привязал лошадей.

— Меня несколько тревожит эта таинственность,— сказала она, оглядываясь,— далеко ли тут идти?

— Шагов сто.— Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом; гладкое дно трещины не замедляло шагов, и скоро сумерки щели рассеялись,— мы подошли к ее концу,— к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной, где далеко внизу крылись, подобно стаям птиц, фермы и деревни. Огромное, голубое пространство било в лицо ветром. Здесь я остановился и показал рукой вниз.

— Вы видите? — сказал я, вглядываясь в прекрасное прищуренное лицо.

— Вид недурен,— нетерпеливо ответила она,— но, может быть, мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?!

Безумный восторг овладевал мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок; бессознательно оглянулся я на трещину позади нас, скрыться в которой было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине,— по крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглы и огромны. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умоляя:

— Это один момент! Один! И новая жизнь! Там твое спасение!

Но было поздно — увы — слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке, и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная, не желая этого, судорожно противясь падению, я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие, лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул.

Она упала рядом со мной; при падении револьвер выскочил из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался

револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку у кисти, отводя пальцы. Наконец удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба, Коррида овладела револьвером,— здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть.

Когда она поднялась, вскочила, револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание — и дыхание, общее наше дыхание, слышное как крик.

— Что же это?! — сказала она.— Теперь говорите, слышите?!

X

Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается.

— Да,— сказал я,— это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих. Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа! Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно! Нам следовало умереть и родиться!

— Куда вы ранены? — сурово спросила она.

— В голову возле уха,— сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые и липкие волосы.— Ступайте! Что вам теперь я; ваше место не занято.

Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается усилием маленькой, холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично приняв эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели.

— Можете вы пройти к лошади? — спросила Коррида.— Если можете, я вам помогу встать. Если же нет — лежите и постарайтесь быть терпеливым; я скажу, чтобы за вами приехали.

— Как хотите,— сказал я.— Как хотите. Я не могу идти к лошади. Теперь мне все равно — жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть,

я умру здесь. Поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить не по Аламбо — нет; в Глен-Арроле состоялась она. Вы помните Глен-Арроль? Старик открывал кисею, показывая вас в ящике, это был воск с механизмом внутри,— это были в ы,— вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход десять центов, но я заплатил бы даже всей жизнью. Как вы ушли из Глен-Арроля, почему очутились здесь — я не знаю, но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня; его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо? Оно красиво, и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза? Блеск волос? Характер улыбки? Увлекающая энергия, и она сказалась бы в жизненном плане вашем. Ваш голос? Он звучит зовом и нежностью,— и так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо вам умереть!..

Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятье! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному, лесистому пульсу,— к слезам и радости, восторгу и потрясению,— наконец оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся как ребенок — и оно ушло!.. Уверен, что она не хотела вспоминать Глен-Арроль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подобия людей, но все-таки...

Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом... Наконец, я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии

более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.

Пока я шел, сумерки (уже стемнело), распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе дневного света к магическому, призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца; дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли: Восковая взяла мою, думая, без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной, скорее мне могли подослать убийц.

Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты:

ꓭ Є ꓘ

— и понял, что никогда не смогу узнать, какова природа существа, употребляющего подобные начертания.

— Коррида! — закричал я.— Коррида! Коррида Эль-Бассо! Я люблю, люблю, люблю тебя, безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не живая,— нет, тысячу раз нет! Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня — в жизнь; ей ты нанесла рану! Вернись!

И эхо, наметив «рри» из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней: звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Глен-Арроле, где я в первый раз увидел ее. Да, там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом, среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались; легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, вот откроются эти разливающие улыбку глаза; стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попущения некоторых, она —

среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно.

Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это, только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп; одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь, несколько в стороне, стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грюида: «Он был беден и спал». Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я наутро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы; малый след скоро зарастет травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление, трясущиеся поджилки, вопли, может быть, заболевание от восторга,— что до того? — это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка,— всякая жизнь хороша.

Луна взошла выше; ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским V — столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка; она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно; пятно сползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся — серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилии. Свернув к кустам, я притаился в их сырости; теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей,— мог сосчитать их, их было четверо и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались; один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.

Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть, может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные, стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости, и эти буквы были «С.С.», цифры те были «77—7». Воистину, я был близок к безу-

мию. Трясясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой; я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шел, все время словно проваливаясь среди груд хвороста; сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони: иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле.

Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума; поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее возможно большее расстояние.

Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь — дорога правильными толчками мчалась подо мной взад; быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя.

Из этого состояния меня вывела выбоина,— небольшая черная яма, приметив которую впереди я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял мой бег. Будучи невдалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги; довольно было этого обратного толчка — я сел, но не мог даже сидеть; склонясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло двух минут, как серый автомобиль начал налетать издали, ко мне, готовому принять последний удар.

Я чувствовал, что бессилен пошевелиться. Я был так исступленно, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть — вместо солнечной, живой пропасти ликующего бессмертия — уже тронула мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем,— как вдруг эта

железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застукала глухим громом, свернула и остановилась. Из нее выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать,— казалось мне, что глубоко под землей рвут толстый брезент.

XI

Я очнулся в высокой небольшой комнате, с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы — чрезвычайно искусная подделка: их лепестки (я их нюхал и трогал) обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие,— они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку.

Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным, квадратным лицом и неприятно ясным взглядом, через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны.

— Кто бы вы ни были,— сказал я,— ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь.

— Вы в квартире доктора Эмерсона,— сказал он,— я — Эмерсон. Лучше ли вам теперь?

— Меня похитили,— ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства.— Кто вы — друг или враг? Зачем я приведен сюда?

— Я вас прошу,— сказал он с удивительной невозмутимостью,— быть совершенно спокойным. Я друг ваш; мое единственное желание — как можно скорее помочь вам выздороветь.

— В таком случае,— и я встал, свесив с кровати ноги,— я немедленно ухожу отсюда. Я достаточно

здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору.

Он тоже встал и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление трех рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе — сопротивление четверым было немыслимо.

Лежа я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием.

— Итак, вы в заговоре со всеми другими,— сказал я,— хорошо,— я бессилен. Уйдите, прошу вас.

— О каком заговоре говорите вы? — спросил он, делая знак людям выйти.— Здесь нет никакого заговора; вам предстоят лечение и отдых.

— Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем,— и я описал рукой в воздухе к р у г,— дело идет о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости — диска, все точки которого заполнены мыслящими, живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками, происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение: Диск — это время, Движение — это жизнь и Центр — это есть истина, а мыслящие существа — люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно во времени движению точек окружности — следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке.

По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру, существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги л о ж н а я ж и з н ь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины. Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть, по существу, страдание исступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко — всегда далеко — от них. И слабые,— подобные мне,— как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых — пустота.

Меж тем одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей

неторопливых, как точки, ближайшие к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга,— неподвижные, ибо они есть цель,— и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена: Любовь, Свобода, Природа, Правда и Красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен,— о! если так, то лишь этой великой любовью. Или...

Взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она приоткрылась. Усатое, хихикающее лицо выглядывало одним глазом. И я замолчал.

Эту рукопись, с вложенным в нее предписанием к начальнику Центавров немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Корридой Эль-Бассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений.

28.VIII—1923 г.

БРАК АВГУСТА ЭСБОРНА

Посвящаю Нине Н. Грин

I

В 1903-м году, в Лондоне, женился Август Эсборн, человек двадцати девяти лет, красивый и состоятельный (он был пайщик судостроительной верфи), на молодой девушке, Алисе Безант, сироте, бывшей моложе его на девять лет. Эсборн недолго ухаживал за Алисой: ее зависимое положение в качестве гувернантки и способность Эсборна нравиться скоро определили желанный ответ.

Когда молодые приехали из церкви и вошли в квартиру Эсборна, всем было ясно, что гости и родственники Эсборна присутствуют при начале одного из самых счастливых совместных путей, начинаемых мужчиной и

женщиной. Богатая квартира Эсборна утопала в цветах и огнях, стол сверкал пышной сервировкой, и музыканты встретили мужа и жену оглушительным тушем. Повеяло той наивной и эгоистической сердечностью, какая присуща счастливцам. Выражение лица Алисы Эсборн и ее мужа определило настроение всех — это были две пары блаженных глаз с неудержимой улыбкой своего внутреннего мира.

Все между тем обратили внимание на то, что после первого тоста, сказанного полковником Рипсом, Эсборн, склонив лицо к руке, которой вертел цветок, о чем-то задумался. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнула упорная рассеянность, но это скоро прошло, и он стал шутить по-прежнему.

Когда ужин кончился и гости разъехались, Эсборн подошел к жене, посмотрел ей в глаза и, поцеловав руку, сказал, что выйдет из дома минут на десять для того, чтобы свежий воздух прогнал легкую головную боль. Закруженная всем этим днем, полным волнения и усталости счастья, Алиса неумело поцеловала Эсборна в склоненную голову и пошла к себе ожидать возвращения своего мужа.

Задумавшись, она сидела перед зеркалом, перебирая распущенные волосы и смотря в глубину стекла, где отражались ее широко раскрытые глаза. Здесь с ней произошла та ясная игра представлений, какая при воспоминании о ней подобна самой действительности. Алисе казалось, что ее жених-муж стоит сзади за стулом, но не отражается почему-то в зеркале. Такое чувство обеспокоило наконец молодую женщину; она встряхнула блестящими черными волосами и обернулась, хотя знала, что никого не увидит; и в тот момент часы на камине пробили полночь. Это значило, что прошел час, как вышел Эсборн,— час, исчезнувший в смуте и быстроте сменяющих одним другое напряженных чувств перемены судьбы.

Не зная, что думать, обеспокоенная женщина позвала слугу, попросила его обойти квартал и ближайший сквер, и когда слуга вернулся ни с чем, прошло еще полчаса. Между тем Алиса не могла найти места от тревоги. У нее было чувство, как если бы зимой открыли настежь все двери и окна в уютной квартире, впустив холод и тлен. Она позвонила в полицию уже около пяти часов утра, когда еле держалась на ногах. В полиции записали приметы исчезнувшего Эсборна и в быстром деловом темпе обещали принять «все меры».

В эту ужасную ночь Алиса похоронила свои мечты, мужа и свежесть ожидания счастливой душевной теплоты. Ее мозг получил сильное сотрясение. Еще два дня она ждала Эсборна, но утром третьего дня в ней как бы оборвался с страшной высоты последний камень, держась за который и изнемогая висела она над внезапной пустотой всего и во всем.

Она заболела, и ее, согласно ее желанию, перевезли в ее прежнюю комнату, в тот дом, где она служила гувернанткой. Хозяева приняли в ее судьбе исключительное участие. Когда она выздоровела, от брачной ночи у ослабевшей девушки остался испуг — боязнь звонка и стука в дверь. Ей казалось, что войдет он, уже немыслимый и отвергнутый... Что бы с ним ни случилось, Алиса не могла бы теперь простить Эсборну, что он покинул ее среди ее первых доверчивых минут, пусть это было предположено им даже на одну минуту.

Прошел год, другой. С ней встретился человек, которого тронула ее история, полюбил ее и стал ее мужем.

II

Когда Август Эсборн вышел на улицу, то он вышел по подмигивающему веселому приказанию беса невинной мистификации. Он был охвачен счастьем и жадно дышал воздухом счастья. Его голова на самом деле не болела, и он вышел лишь оттого, что во время речи полковника, пожелавшего новобрачным «провести всю жизнь рука об руку, не расставаясь никогда», представил со свойственной ему остротой воображения сильную радость встречи после разлуки. Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но случалось, что им овладевала сила, которой он не мог противиться, отчего объяснял ее как причуду. Это была несознанная жажда страдания и раскаяния. Эсборн вспомнил, как еще мальчиком любил прятаться в темный шкап и выскакивал оттуда, лишь когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. Сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери весь в слезах, как бы в предчувствии горя, какое было ему суждено пережить гораздо позднее.

Отойдя к скверу, Эсборн подумал, как обрадуется после короткого испуга Алиса, когда он вернется. Он намеревался побродить час, но, думая быстро обо всем

этом, а потому и быстро идя, он с удивлением услышал, что пробило уже час ночи и на улицах становится все меньше народа. Он повернул и тотчас хотел вернуться, когда встретил это невидимое и неясное противодействие. Оно было в его душе. Это было то самое, на что, делая сами себе явный вред, женщины, не уступая доводам рассудка, говорят с тоской: «Ах, я ничего, ничего не знаю!» — а мужчины испытывают приближение рока, заключенного в их противоречивых поступках. Он был испуган, расстроен своим состоянием, и ему пришло на мысль, что лучше явиться домой утром, чтобы избежать расстройства и тяготы всей остальной ночи, тем более что утром он надеялся представить жене все как нелепую, случайно затянувшуюся выходку. Вначале принять такое решение было дико и нестерпимо, но выхода не было. Эсборн завернул в гостиницу, взял номер и, сказав вымышленную фамилию, вошел как был — во фраке, белом галстуке, с цветком — в холодный мрачный номер.

Слуги подумали, что это гость из ресторана. Разрываемый мыслями о доме и своем положении, Эсборн оглушил себя бутылкой чистого виски и уснул среди кошмаров. Все время было при нем, с ним это тоскливое, мучительное противодействие — непокорная черная игла, направленная к его рвущемуся домой сердцу. Он забылся наконец сном и проснулся в одиннадцать. Тогда перед ним встал вопрос: «Что теперь делать?»

III

Он видел, что все погибло, погибает и что если принять меры, то надо сделать это немедленно. Вчерашнее решение прийти сейчас, утром, оказывалось едва ли возможным. Девушка, проведшая ночь в слезах, страхе и стыде, если бы и поняла его крайним, самоотверженным усилием, то все же не совместила бы такого поступка с любовью и уважением к ней. Сбитый в мыслях, он возмутился против себя и против нее, все время повинуясь этой достигшей теперь болезненной остроты тайной центробежной силе, отдалявшей какое-либо нормальное решение. Он захотел написать письмо, но слова не повиновались так, как он хотел, и великое утомление напало на него при первом серьезном усилии. Эсборн был теперь как перегоревший шлак — так много он пережил за эти часы.

Эсборн провел рукой по глазам. Внезапно вспомнив, что должны думать о нем, он послал за газетой и, развернув ее, отыскал с злым изумлением заметку о загадочном исчезновении А. Эсборна при обстоятельствах, которые знал сам, но, читая, готов был усумниться, что Эсборн — это и есть он, читающий о себе.

Зло было сделано, непоправимое зло, и его любящей рукой был нанесен тяжкий удар невесте-жене. Он не мог бы теперь вернуться уже потому, что в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой и сам он знал очень немного. И он не чувствовал себя способным солгать так, чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни.

Но, как это ни странно, мысли о невозможности возвращения несколько облегчили его. Он страдал больше, чем это можно представить, но имел мужество взглянуть в лицо новой своей судьбе. Постепенно его мысли пришли в порядок, в равновесие избитого тела, полубесчувственно распростертого среди темной ночной дороги.

Он переменил имя, открыл, что произошло, своему другу, взяв с него клятву молчать, и получил свои деньги из банка по векселям, выданным этому другу на его имя задним числом. Затем переехал в отдаленную часть города и занялся другим делом, пошедшим успешно. Эсборн стал «пропавшим без вести». Джон Тернер, заменивший его, вошел в жизнь и жил как все. На память о происшествии ему остались рано поседевшие волосы и одна неизменная, причудливая мысль, связанная с Алисой — теперь Алисой Ренгольд.

IV

Он не мог думать о ней как о чужой и время от времени наводил справки о ее жизни, узнавая через частный сыск все главное. Он узнал о ее болезни, о потрясении, о выходе замуж. Причудливой мыслью Эсборна-Тернера являлось неотгоняемое представление, что он всегда с ней, в лице этого Ренгольда, служащего торговой конторы. Он был, про себя, ее настоящим мужем на расстоянии, невидимый и даже несуществующий для нее. По грубой канве сведений, доставляемых сыском, Эсборн создал картину ежедневного семейного быта Алисы, ее забот, чаяний. Он узнавал о рождении ее детей, волновался и радовался, когда жизнь текла спокойно в доме

Ренгольдов, огорчался и беспокоился, если болели дети или наступали материальные затруднения. Это были не то мечты о доме, что могло и должно было совершиться в собственной его жизни, не то беспрерывное мысленное присутствие. Иногда он воображал, что получится, если он придет и скажет: «Вот я», но сделать это, казалось, было так же невозможно, как стать действительно Джоном Тернером.

Так шло и прошло одиннадцать лет. На двенадцатом году безвестия Эсборн узнал, что Ренгольд уехал на шесть месяцев в Индию, и у него противу всех душевных запретов стало нарастать желание увидеть Алису. И в один день, в жаркий, изнемогающий от жары и неподвижности воздуха день, он поехал, как на казнь, к дому, где жила Алиса Ренгольд.

По мере того как автомобиль мчал несчастного человека к невозможному, останавливающему мысли свиданию, ему казалось, что он мчится в глубь прошедших годов и что время — не более как мучение. Жизнь перевертывалась обратным концом. Его душа трепетала в возвращающейся новизне прошлого. Тяжелый автоматизм чувств мешал думать. Весь вдруг ослабев, он поднялся по ступеням к двери и нажал кнопку звонка.

Он переходил от сна к сну, весь содрогаясь и горя, мучаясь и не сознавая, как, кто проводит его к раскрытой двери гостиной. И он перешагнул на ковер, в свет комнаты, где увидал подходившую к нему постаревшую, красивую женщину в серо-голубом платье. Сначала он не узнал ее, затем узнал так, как будто видел вчера.

Она побледнела и вскрикнула таким криком, в котором сказано все. Шатаясь, Эсборн упал на колени и, протянув руки, схватил похолодевшую руку женщины.

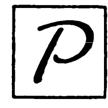
— Прости! — сказал он, сам ужасаясь этому слову.

— Я рада, что вы живы, Эсборн,— сказала наконец Алиса Ренгольд издалека, голосом, который был мучительно знаком Эсборну.— Благодарю вас, что вы пришли. Все эти годы...— упав в кресло, она быстро, навзрыд заплакала и договорила: — Все годы я думала о самом ужасном. Но не сейчас. Уйдите и напишите,— о! мне так тяжело, Август!

— Я уйду,— сказал Эсборн.—Там, в моем дневнике... Я писал каждый день... Может быть, вы поймете...

Его сердце не выдержало этой страшной минуты. Он с воплем охватил ноги невесты-жены и умер, потому что умер уже давно.

НЯНЬКА ГЛЕНАУ



улевой Спринг заканчивал свою береговую отлучку в Коломахе, куда приехал из Покета по железной дороге. Там стояла его «Морская карета» — парусное судно в семьсот тонн, пришедшее с Филиппинских островов.

Спринг был родом из Коломахи. Здесь он провел свои молодые годы. Теперь ему было пятьдесят лет. Как большинство моряков, он остался холостяком.

Спринг пропил или проиграл жалованье за два месяца, посетил некоторых и теперь, накануне отъезда в Покет, размышлял: зачем ему понадобилась Коломаха?

Кабаки Коломахи ничем не уступали таким же заведениям Покета, а знакомств в Покете у него было даже больше, чем здесь.

Обратясь к честной стороне памяти, он неохотно признал, что ему хотелось повидаться с конопатчиком Дезлем Гленау, от которого он года два назад получил письмо, извещающее о рождении у Гленау девочки.

«Надо было зайти, поздравить»,— думал Спринг каждый день, но за множеством приглашений и угощений откладывал это дело на завтра, а «завтра» тоже было некогда.

Однажды выдалась свободная половина дня, то есть Спринг оказался трезвым случайно; но, сообразив положение, пошел и хватил бутылку.

«Нехорошо явиться нетрезвым,— думал он,— а завтра я воздержусь и непременно пойду».

Наконец он набрался решимости и отправился к конопатчику.

Это был дом в две комнаты с кухней; все помещения вытянулись по прямой линии, так что пройти в последнюю комнату надо было через кухню и первую комнату.

Спринг зашел в кухню. Ставни были закрыты по случаю палящего зноя. Двигаясь в полутьме, едва рассеиваемой тонким лучом в щель ставни, Спринг кашлянул и сказал:

— Встречайте Спринга. Кто дома? Я хочу видеть Гленау или его жену. Вы что, спите, что ли?

Постояв и передохнув, он прошел в первую комнату,

где повторил свои возгласы с тем же успехом, как первый раз.

Ему стало неловко и скучно. Однако желая убедиться окончательно, Спринг прошел в последнюю комнату.

Здесь была такая же дневная тьма, как в остальных помещениях. Среди душной тишины тикал невидимый будильник, гудели потревоженные мухи.

Спринг подошел к смутно белевшему возвышению и с достоинством вгляделся в него, но не рассмотрел подробностей. Однако перед ним был действительно кисейный полог детской кровати; он свешивался с потолка и охватывал, как палатка, маленькое ложе с бортами, подвешенное между двух стоек. Кровать нервно качнулась.

«Отец и мать ушли,— подумал Спринг,— они ненадолго вышли, потому что здесь ребенок».

Он подвинул табурет и сел ждать.

За пологом не было ничего видно, но Спрингу казалось, что он различает рыжие волосы на маленькой голове.

— Ты спи, а я посижу,— сказал Спринг, опасливо косясь на таинственное сооружение.— Ссориться не будем, нет; драться тоже.

Внезапно кровать качнулась сильнее и заходила, как под раздраженной материнской рукой. Раздался ноющий звук, от которого у рулевого выступил пот.

— Спи, спи,— поспешно сказал гость,— акула далеко, в море, она не придет. Она ест тюленя. Ам, ам! вот и слопала. Так что не надо кричать.

Кровать перестала было качаться, но при последних словах Спринга понеслась быстрыми размахами взад и вперед, и плаксивый, безутешный писк послышался из-за полога. Струсив, что младенец разбушуется и тем поставит его в замысловатое положение, так как у него не было опыта в деле образумления разогорченных детей, Спринг протянул руку под полог и начал тихо качать девочку, говоря:

— Ты не будешь есть тюленей. Нет. А только один шоколад. Го-го! Мы уж поедим шоколаду! Вот идет большой пароход,— двадцать тысяч тонн шоколаду. И все — тебе!

Так как он не мог представить ничего ослепительнее флотилии с шоколадом, то начал развивать эту тему, прислушиваясь к слезливым звукам, грозящим перейти в рев.

— И еще идет маленький пароход с шоколадом,— говорил Спринг,— а за ним большая шхуна. Вот там самый лучший шоколад. Мы все съедим. Давай нам еще! Все съели, больше нет. Везите нам из Бразилии, из Мексики. Шоколаду, черти такие-сякие! Да побольше! Этот нехорош — давай другого. Вот этот хорош. А акуле не дадим, пошла прочь!

Кровать сильно закачалась, и из-под нее вылез Дезль Гленау, заливаясь хохотом, от которого Спринг почувствовал себя так, как будто упал с табурета.

— Ну, здорово же ты меня кормил своим шоколадом! — вскричал Гленау, открывая ставни и хлопая затем Спринга по широким плечам.— Здоро́во! Слышал, что ты в Коломахе. А я лег, видишь, поспать, залез под полог, чтоб мухи не ели. Мать ушла с Полли к соседям. Я лежу там, пищу нарочно, а ты стараешься! У меня даже бока смокли, так я удерживался от смеха. Отчего ты не женился? Хорошая вышла бы из тебя нянька!

— Я однажды чуть не женился,— сказал Спринг,— и женился бы, только я знаю, что это дело сложное.

— Врешь! — сказал Гленау.

Это был рыжий человек с веселым лицом, худощавый и гибкий.

Разговор шел уже за столом в кухне перед бутылкой. Приятели сидели и выпивали.

— Лучше бы я соврал,— сказал Спринг, задумчиво смотря на Гленау,—...только я говорю правду. Здесь, в Коломахе, жила девушка; очень нуждалась. Лет пять назад. Я посватался. Она согласилась, и я пошел в море — скопить на хозяйство. На Борнео вышел скандал с малайцами, и один задел мне крисом [1] по глазу, и он вытек. Пропал глаз. Я вернулся и говорю ей: «Хочешь меня такого, как я есть?» Она была деликатна. Я спорил. Тогда она призналась, что ей по душе один человек. Я, конечно, мешать не стал, так как это дело на всю жизнь, ну и... я, правду говоря, для нее стар.

— Экий ты дурак, Спринг,— заметил Гленау.

— Я и говорю, что дурак,— ответил рулевой очень серьезно.— Мне уж многие это же говорили.

Вошла жена Гленау, ведя девочку. Молодая женщи-

---

[1] Малайский изогнутый нож.

на сделала большие глаза, потом весело улыбнулась и подала гостю руку.

— Вот дядя Спринг, Полли,— сказал Гленау дочери, которая уставилась на нового человека голубыми глазами отца,— он шоколадный король. У него целый склад шоколада!

В глазах Полли явно наметилось ожидание.

— Даже и купить забыл,— смущенно сказал Спринг, вспотев от досады на свою рассеянность.— Ты не подумай, Гленау...

— Ну что там! — сказал муж.

— Разве это так важно? — подхватила жена.

— Важно,— настаивал Спринг.— Потом я пришлю, не забуду.

Он погладил девочку по голове и стал прощаться. Гленау долго пытался удержать приятеля, но Спринг не остался, сославшись на то, что может опоздать к поезду. Жена Гленау, утомленная жарой, молчала, сдерживая зевоту.

— Хорошо, что зашел, не забыл,— сказал Гленау.— Увидимся еще в другой раз.

Он уже рассказал жене, как Спринг укачивал пустую кровать, и это вызвало общий смех, после которого наступило молчание.

— Прощайте,— сказал Спринг.

— Женись, непременно женись! — говорил Гленау, провожая товарища.— Он мне рассказал, Бетси, как...

Тут жена Гленау вспомнила, что со двора могут украсть пеленки, и вышла взглянуть на них, поэтому Гленау обратился к Спрингу.

— Кто же она? Я ведь знаю здесь всех. Или — секрет?

У Спринга чуть не сорвалось с языка: «Она пошла за пеленками»,— но, смолчав об этом, он сказал:

— Ее теперь нет в Коломахе,— она куда-то уехала.

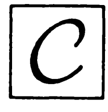
Потом он еще раз попрощался с хозяевами, поцеловал девочку и ушел.

«Зачем же я заходил? — подумал Спринг.— А ведь как тянуло пойти!»

Все же он был доволен, что зашел трезвый.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

I

тарик умирал. Он был почти слеп; к своему положению он относился с несколько смешной гордостью человека, долго и досыта дышавшего жарким огнем жизни. Поэтому Маурей уважал его.

Дом, где они жили, стоял на границе двух пустынь — степи и леса. До ближайшего поселения вниз по реке было два дня пути. В этом поселении находился второй, еще более важный, чем свой — для Маурея,— дом с белыми занавесками. Там жила особа в заплатанных платьях, но, по мнению Маурея, достойная носить костюм из звездных лучей,— Катерина Логар.

Маурей кормился ружьем. Но этого было недостаточно, чтобы с рук его невесты сошли грубые, болезненные трещины и чтобы напряженное, заботливое выражение ее глаз стало спокойным. Поэтому он сделал вдвое больше ловушек для куниц и бобров, чем в прошлом году. Шкуры, добытые им, висели в кладовой, устроенной на высоком дереве. Месяц назад неизвестный вор, проходя этими местами в отсутствие Маурея, залез на дерево, взял шкуры и исчез, а Маурей после того просидел целый день, опустив в руки лицо.

Кто был старик, умиравший в его хижине, охотник не знал. Его свезли на берег плотовщики; он выпросился плыть с ними, но заболел по дороге, введя тем веселых парней в мрачное настроение. Рассудив, что дела старика все равно плохи, они попросили его сесть в лодку и дождаться смерти на твердой земле.

— Я плыл в Аламбо, к родственникам,— сказал он Маурею утром,— у всякого человека должны быть родственники. Кое-кого я надеялся разыскать там.

Вечером он сказал:

— Подойдите и слушайте.

Маурей набил две трубки, но умирающий отказался курить.

— Сегодня я стану неподвижен,— продолжал старик,— не огорчайтесь этим, так как в свое время вы тоже станете неподвижным. Вы давали мне пить и есть в тяжелую для себя минуту. Я хочу вас поблагодарить.

— Напрасно,— возразил Маурей.

— Исполнение последней воли обязательно, поэтому спорить вам не приходится. В Аламбо живет известный миллионер Гордон.

— Я слышал о нем.

— Да. Когда он был беден, я дал ему взаймы, без векселя, тысячу золотых.

— Это хорошо.

— Затем он разбогател.

— На ваши деньги?

— Конечно. Это плут и делец. Затем я стал беден.

— Это плохо,— сказал Маурей.

— Пожалуй,— согласился старик.— И я потребовал вернуть мне деньги. С того дня, как я потребовал их, до сего дня прошло десять лет. Он не дал мне ни копейки.

— Почему?

— Этого я тоже не понимаю. Это какой-то психологический заскок, свойственный богатым, даже очень богатым.

— Что же теперь делать?

Старик вытащил карандаш, клочок бумаги и написал: «Тысячу золотых, взятых тобою, Гордон, когда тебе нечего было есть, отдай Маурею. Когда-то «твой» Робертсон».

— Вот, получите,— сказал он,— деньги ваши. Он должен отдать.

— Но у вас, вероятно, есть наследники? — спросил Маурей.

— О нет! — Старик сделал попытку рассмеяться.— Нет, никого нет.

Маурей протестовал. Старик стоял на своем. Согласие было обеспечено сущностью положения.

— Хорошо,— сказал наконец охотник.— Что же передать еще Гордону?

— Что он подлец,— сказал умирающий, поворачиваясь к стене лицом; он заснул и более не просыпался.

II

Утром Маурей опустил его в землю, прикрыл могилу травой и, посидев несколько минут с клочком бумаги в руках, нашел, что ради Катерины Логар стоит проехать в Аламбо. Так как дело не расходилось у

него с мыслью, он, взяв в мешок все ценное, то есть остаток шкур, нож и белье, сел вечером того же дня в лодку, а через четыре дня видел уже вертикальную сеть мачт, реявших вокруг белых с зеленым уступов города, спускавшегося к воде ясным амфитеатром.

Маурей привязал лодку к купальне, заплатил сторожу и поднялся в сверкающие асфальтовые ущелья города. По улицам переливалось экипажное и человеческое движение с той ошеломляющей, бархатистой напряженностью делового дня, какая мгновенно делает одиноким пришельца, доселе ждавшего, быть может, немедленного, приятного общения. Спросив раз десять, как пройти к Гордону, Маурей получил несколько противоположных указаний, следуя которым каждый раз попадал к затейливым огромным домам,— и все это были дома Гордона, но во всех этих домах его не было. Он был в каком-то еще одном, своем доме.

Наконец, исколесив половину города, Маурей нашел дом и в нем — Гордона. Он прошел железные кружевные ворота, аллею с огненными цветами и попал к раскинутому мостом подъезду, середина которого сверкала ярким небом зеркальных стекол.

Не видя никого, в то время как около дома вились эхом женские и мужские голоса, Маурей громко сказал:

— Эй! Есть ли кто живой здесь?

Молчание. Мимо его лица пролетела бабочка; деревья зеленели, цвели цветы, и не было никого. Маурей три раз повторил окрик, затем выстрелил в щебень дорожки. Камешки брызнули как вода.

Тогда он увидел, что в глубине зеркальных выпуклостей подъезда мелькает, пропадая и торопясь, человеческая фигура.

Испуганный швейцар выбежал, хлопнул дверью и подступил к Маурею.

— Это вы выстрелили? — вскричал он, косясь и оглядывая с ног до головы смельчака.— Кто выстрелил? Что произошло здесь?

— Случайно зацепился курок,— сказал Маурей, кладя револьвер обратно.— Это вы — Гордон?

— Что?! Я Гордон?! Эй, любезный!..

— Простое, очень простое дело,— остановил его Маурей.— Нам нет причин ссориться. Если вы не Гордон, то проводите меня к Гордону.

— А вам зачем? Что у вас за дела с ним? Ступайте!

— Если у меня и есть дела,— сказал, начиная сердиться, Маурей,— то я скажу ему о том сам. А, вижу, вы — слуга. Только так бесится слуга, когда ему нечего сказать против законного желания. Я желаю видеть вашего господина.

— Милейший,— возразил швейцар, засовывая руки в карманы и показывая на лице глубочайшее оскорбление,— видеть Гордона — не совсем то, что поздороваться с пастухом. Гордон занят. Гордон никого не принимает. Гордон не примет даже второго Гордона, если такой объявится. Но если вы желаете увидеть Гордона — только увидеть,— то вы можете подежурить несколько у ворот. Через несколько минут Гордон выедет в свое загородное имение. Что же касается помощи, если о том речь,— то по это...

Единый удар массивной руки Маурея придал окончанию этого слова характер второго выстрела. Без звука, без сотрясения оглушенный швейцар пал. Маурей, вытирая о штаны руки, огляделся и, не видя никого, прошел в кусты. Здесь было так тревожно, прекрасно и тихо, как это бывает при сердцебиении ранним утром. Мгновенно оценив план, вызванный очевидностью положения и возникший непосредственно за ударом по швейцарской щеке, Маурей снова вышел, перенес бесчувственное тело заслуженно пострадавшего в свое цветущее убежище и заткнул ему платком рот, руки же и ноги перевязал обрывком ремня.

Эти приемы, свидетельствовавшие об опытности и хладнокровии человека, применившего их, казались сущими пустяками для Маурея, так как жизнь в лесах развивает предприимчивость и точность движений. Затем он стал ожидать так неподвижно, как если бы охотился на бобра. Немного погодя, из глубины заднего плана, эластически шелестя, скользнул к подъезду кабриолет; черная лошадь стала, картинно опустив морду к груди, а кучер в цилиндре с плюмажем увидел неизвестного человека, дружески кладущего ему на колено руку.

— С швейцаром плохо,— сказал Маурей,— помогите поднять.

— Тропке!..— вскричал кучер.— А что? Где?

— Он здесь за деревьями. Его хватил солнечный удар,— взволнованно проговорил Маурей.

Кучер слез и пробежал в тень лучистой листвы; Маурей бежал рядом. Едва блеснул затылок лежащего ничком швейцара, как кучеру показалось, что он видит сон, где все качается и исчезает из глаз: сбив кучера с ног, Маурей быстро завязал ему рот шарфом и опутал тело лианой. Плотнее забив рот, чтобы не проскочило ни одного звука, он выдрал сквозь петли лиан весь выездной костюм, приговаривая, где надо, чтобы дело шло быстрее, мертвящие мозг слова. Как бы то ни было, когда он вышел и сел с хлыстом в руке, обтянутой лопнувшей перчаткой, на передок кабриолета, ничто не могло обнаружить какой-либо перемены.

Беглый взгляд Гордона, вышедшего к великому своему изумлению без швейцара, заметил, как всегда, только плюмаж и хлыст. Лиц слуг он не помнил. Но он стал замечать после некоторых сосредоточенных размышлений делового характера, что экипаж мчится уже в парке, далеко оставив за собой некстати и в стороне единственное шоссе Аламбо, по которому лежит недавно купленное имение.

— Кой черт! — сказал Гордон, притоптывая в кабриолете маленькой жирной ногой.— Почему вы сюда заехали?

Он оглянулся. Маурей стремительно искал глухого угла. Наконец, свернув с аллеи в поросший густой травой просвет, он разом остановил лошадь и обернулся к полуобморочному Гордону.

— Вот записка,— сказал он, тыча в осоловевшее багровое лицо клочок бумаги.— От Робертсона. Уплатить! Живо!

— Я...— начал Гордон.

Черный револьвер и белая бумага ставили ему выбор. Совсем близко от дула он нагнулся и прочел резкое завещание.

— Чек или деньги! — сказал Маурей.— Начало всему положил ваш швейцар. Он думал, что я нищий. Потом перестал спорить. Затем наступила моя очередь думать. Уже запахло вами, а я — охотник.

Наступила очередь третьего человека как бы видеть сон в залитой солнцем листве: что он, лижа сухим, горячим языком чернильный карандаш, выписывает чек; затем, вспомнив, что деньги в кармане, комкает, отсчитывает билеты.

— Что-нибудь... что-нибудь... этот славный... этот

великолепный, чудеснейший... передать мне?! — пролепетал Гордон.

— Да,— спокойно сказал Маурей.— Что вы — подлец.

Затем стало тихо вокруг Гордона. Как бы проснувшись, он никого не увидел. Далеко, в дальних просветах аллеи, двигались малые фигуры людей, а лошадь как лошадь — спокойно общипывала листву.

ЧУЖАЯ ВИНА

I

Лесная дорога, соединяющая берег реки Руанты с группой озер между Конкаибом и Ахуан-Скапом, проложенная усилиями одного поколения, была, как все такие дороги, скупа на прямые перспективы и удобна более для птиц, чем для людей, однако по ней ездили, хоть и не так часто. Еще утром этой дорогой скакал почтальон, крепко сложенный, женатый человек тридцати пяти лет, но встретил неожиданное препятствие.

Его оседланная лошадь спокойно бродила по озаренной солнцем дороге, обрывая губами листья дикой акации. Хвост животного мерно перелетал с бедра на бедро, гоняя мух, которые, прекрасно изучив ритм этих конвульсий, взлетали и садились, не рискуя ничем.

В чаще залегло солнце. Стояла знойная тишина опущенной в дневной зной неподвижной листвы.

На дороге, лицом вниз, словно рассматривая из-под локтя лесную жизнь, лежал труп человека с едва заметно разорванным на спине сукном куртки. Из разжатых пальцев правой руки вывалился револьвер. Плоская фуражка с прямым клеенчатым козырьком лежала впереди головы, пустотой вверх, и через нее переползал жук.

Над трупом кружилось облако мух, привлеченных запахом сырого мяса, шедшим из-под этого плотного, тяжелого тела, где земля была еще липко влажная.

У седла лошади при каждом шаге вздрагивала откинутая крышка сумки, откуда, скользя друг по дру-

гу и перевертываясь на краю кожаного борта, сваливались запечатанные конверты. Копыта время от времени наступали на них, превращая в уродливые розетки.

Обрывая ветки, лошадь подвигалась к трупу все ближе и ближе. Заметив лежащего, она, казалось, припомнила недавнюю суматоху и коротко проржала; затем попятилась, неуверенно ставя задние ноги и взмахивая головой, как будто перед ее глазами стоял кулак. Сильный грудной храп вылетел из ноздрей. Она скакнула на месте, потом замерла, настороженно опустив голову; левый глаз дико косил.

В это время из леса, раздвинув ветви прямым, сильным движением обеих рук, вышел и ступил на дорогу человек в меховой бараньей жилетке, надетой кожей вверх на пеструю сатиновую рубашку, в серой шляпе, высоких горных сапогах. Он был небрит, с быстрым взглядом и худощавым, равнодушным лицом. Увидев, что находится перед ним, он повернулся и исчез, как пружинный, с быстротой появления.

Некоторое время его неподвижно белеющее лицо смотрело из сумерек чащи. Он всматривался и ждал.

Затем снова протянулась рука, расталкивая зеленый плетень, и человек вышел вторично, бросая вокруг внимательные взгляды. Ничто не угрожало ему. Лошадь, отойдя, продолжала обрывать листья.

Еще два письма выпали из седельной сумки.

На затылке трупа стояло солнечное пятно.

II

Неизвестный подошел к мертвому и, присев на корточки, уперся тылом ладони в его лоб, осматривая лицо.

— Вот почему стреляли в этой стороне,— сказал он, вставая.— Гениссер больше не будет возить почту. Стало быть, вез деньги и не давался живой. Несчастная твоя жена, Гениссер!

Он покачал головой, вздохнул и навел беглое следствие, как сделал бы это всякий случайный прохожий: обошел труп, поднял револьвер и удостоверился, что в одном гнезде нет пули. Всего один раз успел выстрелить почтальон.

Уважение к смерти вызвало в неизвестном минуту

задумчивости. Он потускнел, щелкнул пальцами, затем стал подбирать письма, набрав их полную руку.

Время от времени он вертел какой-нибудь конверт, прочитывая незнакомые и знакомые имена с интересом человека, имеющего свободное время.

Он поднял еще одно письмо, внезапно отступил, продолжая держать его перед глазами, затем бросил все собранные письма, кроме последнего, и, поискав взглядом в воздухе решительного указания, как поступить в этом непредвиденном случае, стал очень нервен. Тяжелая, пристальная озабоченность не сходила с его лица. Тонкое лезвие стыда болезненно рвалось в нем навстречу другому чувству, бывшему сильнее всех, какие когда-либо посещали его.

Обстоятельства этого случая могли ввести в грех даже менее импульсивную натуру. Инстинкт требовал вскрыть письмо. Неизвестный был человек инстинкта. После короткой борьбы он уступил неимоверному искушению и разорвал конверт неверным движением первого воровства.

Прочтя лист, исписанный торопливым мужским почерком, он аккуратно вложил письмо в конверт, сунул в карман и хлопнул по карману рукой, как бы утверждая и замыкая этим движением факт во всей его железной отчетливости. Очнувшись, он приметил камень и сел на него.

— Так,— шумно сказал он,— начиная обдумывать.

Опустив голову, он сцепил пальцами руки, локти положил на расставленные колени. В таком положении просидел он некоторое время, иногда встряхивая сжатые руки и повторяя свое «так...» все тише, задумчивее, пока весь ход мыслей и представлений не выразился отчетливой потребностью в действии.

Еще раз тряхнув руками, слегка потянувшись, человек поднял лицо и встал. Казалось, он пережил что-то приятное, так как вышел на дорогу с улыбкой. Это была улыбка бессознательная и странная. Продолжая хранить ее, он стал ловить лошадь, бросая ей на голову свою просторную меховую жилетку. После некоторых неудачных попыток он схватил наконец повод, взлетел на седло и обратил голову артачившегося животного в сторону Конкаиба.

Лошадь попятилась, потом подалась вперед. Удар в бок окончательно вывел ее из равновесия, и, яростно мотнув гривой, она стала выделывать стремитель-

ное «та-ра-па-та», «та-ра-па-та» вдоль летящих в глаза ветвей.

Всадник не нашел удовлетворения даже в таком карьере, хотя дышал острым ветром хлещущего пространства. Он оскорбил лошадь резкими замечаниями и стал выжимать всю быстроту, на какую способна здоровая трехлетка хорошей крови.

III

Так он скакал час и два, иногда приходя в ярость, отчего лошадь, начинавшая уже тяжело одолевать подъемы, с хрипом взлетала на них, из последних сил натягиваясь в струну. При спусках всадник и лошадь составляли одно сумасшедшее живое существо, несшееся с быстротой падения. Худые мостики, перекинутые кое-где над трещинами и потоками, подскакивали и изгибались, как будто копыта били в живое тело. Иногда, отразив подкову, камень отлетал сам. Когда кончился лесной склон, начались луга с более мягким грунтом; лошадь пошла тяжелее, но ударами ног и страстным напряжением всех человеческих сил ей приказано было от исступления перейти к подвигу. Она сделала это. В ее глазах отражался пар сгорающих легких. Шея была вытянута безумным усилием. Вид старой крыши среди тростников поманил ее ложной целью, она пробежала шагов сто и перешла в рысь, потом, затрепетав, как от пулевой раны, грохнулась, вся в мыле, издыхая и колотя копытами воздух.

Ездок даже на мгновение не склонился над ней.

Он соскочил с нее, как с пошатнувшегося бревна, и так уверенно быстро, как будто все было предусмотрено, а потому не могло вызвать задержек и колебания, побежал к впадине берега, над линией которого двигалась, скрываясь и появляясь, рыжая меховая шапка. Там, стоя в лодке, загорелый старик вбивал кол в речное дно; он, подняв голову, увидел человека, стоящего на обрыве с поднесенным к виску револьвером.

Эта сцена произошла как видение.

Рука с револьвером дрогнула коротким толчком, звук выстрела осадил фигуру стреляющего, он склонил голову и упал навзничь.

Заостренно прищурясь, старик бросил деревянный

молот и с криком, означающим внезапный перерыв мыслей, тремя взмахами достиг берега.

Хватаясь руками за земляные глыбы обрыва, взобрался он наверх быстро, как белка, и был уже близко от трупа, как самоубийца, воспряв, неожиданно кинулся вниз, завладел лодкой и отплыл в тот момент, когда пальцы старика, менее проворного, чем судорожная работа веслом, на дюйм лишь не достигнув борта, остались протянутыми к убегающей лодке.

— Орт Ганувер! — сказал старик, стоя по колени в воде.— Я тебя узнал. Тебя все равно поймают. Поймают! — повторил он и, неторопливо выйдя на берег, услышал хмурый ответ.

— Лодка была нужна.

IV

Старик ничего не ответил и, топнув ногой, побежал к дому. Решась наказать похитителя, он взял ружье и поднялся на крышу дома по приставной лестнице.

Ганувер плыл с гоночной быстротой вниз по течению. Лодка, раскачиваясь, как скорлупа, отскакивала при гибком упоре весел мерными размашистыми движениями, и, когда гребец обогнул поворот, его кивающая фигура выказалась на блестящей воде.

Рядом со стариком стоял мальчик лет восьми, хмурый, белоголовый, деловито выглядывая из-под руки. Он вскарабкался на крышу с куском хлеба в зубах.

— Клади его на месте! — посоветовало отцу дитя ртом, полным пищи.

На линии выстрела гребец поднял весло, прикрыв его лопастью голову, и невольно нагнулся, когда, дернув весло, пуля унеслась в тростник. Тотчас стал он грести еще поспешнее, почти выйдя уже из угрожающего пространства к защите левого берега, но стукнул второй выстрел; лязгнув по уключине, пуля снесла мизинец.

Не чувствуя сгоряча боли, гребец тупо смотрел на искалеченную левую руку, от которой стекала по веслу тонкая струя крови, капая в воду. На отдалении, миновав другой поворот, он наспех перевязал руку платком и посмотрел на солнце.

Солнце показывало пятый час на исходе.

— Еще миля,— сказал он, снова начав грести с прежней неутомимостью и тряся головой, чтобы удалить

заливающий глаза пот. Платок на его руке покрылся черными пятнами; там билась острая боль, властная, как ожог.

— Стоит ли возвращать лодку,— пробормотал он, все чаще посматривая на солнце,— мизинец мне не купить даже и за сто таких лодок.

Наконец показались темные сараи, сады, лесопильная, мельница, площадь и вывески. Орт Ганувер выехал под сваи мостков, выбросился из лодки на песчаный откос и, более не заботясь о лодке, поспешил к противоположной стороне города.

V

Все эти две сотни крыш можно было оглянуть с высоты барочной мачты одним взмахом ресниц; не хуже любого жителя края Ганувер мог вперед сказать, какое зрелище представится ему за любым углом любой улицы. Но он был в том особом положении, когда знакомое населенное место измеряется лишь масштабом стиснутого опасностью пульса, когда вся внешняя известность этого места ничто пред неизвестностью — какой характер примет первая случайная встреча. Тем не менее Орт Ганувер взялся за дело, требующее забыть о себе. Увидя распахнутые двери гостиницы, он не стал выискивать окольных путей, так как дорожил каждой минутой. Пробегая мимо гостиницы, он заметил несколько человек, стоявших тут, и по тому выражению внезапной мысли, с каким кое-кто из людей этих передвинул сигару в другой угол рта, рассматривая его открыто, в упор, он понял, что его узнали. Если бы Ганувер обернулся, он увидел бы сквозь пыль и лучи, как все взгляды направились ему вслед; впрочем, он знал это не оборачиваясь.

Он был разгорячен, заверчен своим бешеным путешествием, а потому думал о неизбежном преследовании лишь сквозь видение дома, дверь которого торопился открыть еще больше, чем полчаса назад, так как услышал первый гудок парохода. Когда он наконец открыл дверь, навстречу ему вышла суровая старуха и, наклонив голову, взглянула поверх стекол.

Она узнала его. Всякое ненавистное явление наполняло ее строгим молчанием. Ее лицо приняло категорическое выражение висячего замка, а желтая рука нервно

указала дверь комнаты, где женский голос напевал песенку о весенних цветах.

Собравшись с духом, пряча за спину раненую руку, Ганувер предстал перед молодой девушкой, посмотревшей на него взглядом великого изумления. В ее лице проступил внезапный румянец, но без улыбки, без живости: сухой румянец досады.

По-видимому, она укладывалась, только что кончив собирать мелочи. Раскрытый большой чемодан стоял на полу.

Ганувер сказал только:

— Не бойтесь, Фен, это я.

Его глаза искали в ее лице мнение о себе, но не нашли. Молча он протянул письмо.

Наградой за это был долгий взгляд, пытливый и немилостивый. Она резко взяла письмо, прочла и вышла из равновесия. Вся, всем существом восстала она против удара, еще не зная, что сказать, как и куда двинуться, но Орт, видя теперь ее лицо, сам взволновался и отступил, готовя множество слов, которым в смятении не суждено было быть сказанными.

Девушка села, прикрыв глаза маленькой, крепкой рукой, но, вздохнув, тотчас увела слезы обратно.

— Лучше бы вы убили меня, Орт! — сказала она. — И вы еще читали это письмо... Как назвать вас?!

— Но иначе я не был бы здесь,— поспешно возразил Ганувер.— Выслушайте меня, Фен. Я не знал, клянусь вам, какое место в вашей жизни занимает этот Фицрой. Знай я — я, может быть, простил бы ему добрую половину того, что он наговорил мне. Дело прошлое: оба мы были пьяны, и вся эта история произошла под вывеской «Трех медведей». Слово за слово. Последним его словом было, что я негодяй, последним движением — бросить в меня стакан. И тут я спустил курок, что сделали бы и вы на моем месте. Правда, из-за таких же историй я должен был отсюда бежать, но разве помнишь это, когда кипит кровь? Как видите, Фицрой ранен, и жив, и зовет вас. Надо было торопиться, пока вы не сели на пароход. Что вы *сегодня* должны поехать, узнал я из этого же письма. Я не терял времени. Пусть весь стыд останется мне, но я рад, что вы узнали обо всем вовремя.

— Скажете ли вы наконец, как попало к вам это письмо?

— Скажу. Я поднял его на дороге. Я переходил до-

рогу. Я не знаю, кто отделал Гениссера, но вся его контора была рассыпана на пространстве двадцати — тридцати шагов. Гениссер был мертв. Грязное дело, и я не знаю, кто ограбил его. Когда я собирал письма, то увидел ваше имя... При других обстоятельствах я не... не читал бы письмо. Но тогда...

Он хотел сказать, что поддался внушению совпадений,— странности случая, вырезанного ужасным ударом,— но не нашел для этого слов, умолк и прислонился к стене, смотря на девушку с раскаянием и тревогой.

— Вскрыть письмо?! — сказала она, ударяя ладонью по столу.— О, черт возьми! Я еще не знала вас хорошо, Орт!

— Палка о двух концах,— возразил он, слегка обозлясь.— В противном случае вы бы не знали о положении дел.

— Да, но это сделали вы!

— Увы, я! И вот сплелся круг; как хотите, так и судите.

— Однако вам попадет за Гениссера,— сказала, помолчав, Фен.— И за все вообще.

— Не я убил Гениссера,— отвечал Ганувер,— я уже сказал вам.

Он нахмурился и прислонился к стене, толкнув нечаянно спрятанную за спиной руку. Он побледнел, согнулся от боли.

— А это что? — подозрительно сказала она, указывая на бинт.

— Ничего,— ответил Ганувер, стягивая зубами и правой рукой размотавшуюся повязку.— Прощайте, Фен. Скажите... Скажите Фицрою, что я очень жалею... Я...

Он застенчиво посмотрел на нее и, махая шляпой, направился к выходу.

— Зачем вы сделали это? — услышал он на пороге. Голос прозвучал как мог сухо.

— Я уже объяснил,— сказал Ганувер, оборачиваясь с болезненным чувством,— что эти оскорбления...

— Не валяйте дурака, Орт. Я спрашиваю о другом.

— Н-ну,— сказал он, пожимая плечами и запинаясь,— потому, что я вас люблю, Фен, о чем вы хорошо знаете. Не стоило спрашивать.

— Не стоило...— повторила она в раздумье.— Видел вас кто-нибудь?

— Должно быть.

— На всякий случай я выпущу вас другим ходом, а там — что будет.

Он прошел за ней по короткому коридору к раме раскрытых дверей с вставленной в нее картиной цветника и собаки, смотревшей, натянув цепь, кровавыми загорающимися глазами на человека в меховом жилете. Он знал, что за дверью открылась не жизнь, а картина жизни, которую он может вызвать в памяти перед тем, как его повесят. Чувство опасности остро разлилось в нем.

Выходя, он обернулся и увидел, как женская рука плотно прикрыла дверь.

Орт Ганувер направился было к воротам, но, раздумав, повернул в противоположную сторону, перескочил невысокую каменную ограду и прошел углом соседнего огорода к выходу на другую улицу. Он был теперь ненормально спокоен и вял, хотя еще полчаса назад рвался повернуть и отстранить все, мешающее вручить письмо. Реакция была так же сильна, как было строго и беспощадно напряжение встречи. Он чувствовал, что теряет способность соображать.

Постояв в нерешительности, хотя сознавал, что медлить опасно, он наконец тронулся с места, перешел улицу и стал пробираться к реке.

VI

Вечером следующего дня редактор «Южного Курьера» взял у метранпажа стопу гранок и перебрал их, бормоча сам с собой. «Землетрясение в Зурбагане», «Спектакли цирковой труппы Вакельберга», «Очередной биржевой коктейль», «Арест Ганувера»...

Отложив эту заметку, он взял карандаш и прочел:

«Сегодня вечером арестован на улице города Кнай Орт Ганувер, дела которого, надо сказать прямо, не блестящи. Он обвиняется в убийстве и ограблении почтальона. Кроме того, старые грехи этого молодца, обладающего горячим характером, образуют величественную картину разнузданности и дикости, а потому...»

Остальное было в этом роде, и, молча прочтя конец, редактор подписал вверху гранки:

«Арест Ганувера».

«Грабитель почты понесет заслуженное наказание».

«Мрачный, но необходимый пример получат все, ставшие врагами общества и порядка».

— Вот так,— сказал он, передавая корректуру сотруднику.— Остальное тоже пустить в машину.

Сотрудник, разобрав материал, подошел к редакторскому столу.

— Которая заметка пойдет? — сказал он.— У меня две заметки о Ганувере.

— Например?..

— Вот та; а вот вторая, о которой я говорю.

Эта вторая заметка была составлена так:

«Арест О. Ганувера вызвал в нашем городе много толков и пересудов. Его обвиняют в убийстве и ограблении почтальона. Между тем установлено путем предъявления следствию бесспорных доказательств, что О. Ганувер явился в Кнай передать одному лицу найденное на дороге письмо. Мы не знаем, как отзовется это обстоятельство на приговоре суда, но считаем делом справедливости печатно установить непричастность Ганувера к ужасному и печальному делу».

— Кто отдал это в набор? — спросил редактор.— Должно быть, вы, Цикус?

— Да. Потому что вас не было.

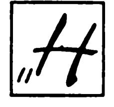
— Кем подписан оригинал?

— Он подписан...

Говоря это, молодой, рыжий, как морковь, человек разыскал на столе и подал листочек, подписанный: «Ф. О'Терон».

— Звучит несколько интимно, несколько легкомысленно,— сказал редактор, ни к кому не обращаясь и взглядывая поочередно на обе заметки.— Суд есть суд. Газета есть газета. И я думаю, что первая заметка выигрышнее. Поэтому пустите ее, а что касается письма Ф. О'Терон, редакция ответит ей в частном порядке.

ЗМЕЯ



«Наследники Неда Гарлана», как прозвали их в шутку знакомые, были семеро молодых людей, студентов и студенток, владевшие сообща моторной лодкой, которой наградил их Гарлан, скончавшийся от чахотки в Швейцарии.

В середине июля состоялась первая поездка «на-

следников». Они направились на берег озера Снарка «вести дикую жизнь».

Восьмым был приглашен Кольбер, несчастная любовь которого к одной из трех пустившихся в путешествие — Джой Тевис — стала очень популярной в университете еще год назад и часто служила материалом для комментариев.

Джой Тевис с шестнадцати лет по сей день наносила рану за раной, и, так как она не умела или не хотела их лечить, они без врача заживали довольно быстро. Кольбер был ранен серьезнее других и не скрывал этого.

Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом желание «остаться друзьями» и наконец нескрываемую досаду. Он ей не нравился. Она боялась серьзных длинных людей, смотрящих в упор и делающихся печальными от любви. При одной мысли, что такой подчеркнуто сдержанный человек сделается ее мужем, ею овладевали запальчивость, мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию.

Однако Кольбер не был навязчив, и она не избегала его, предварительно взяв с него слово, что он не будет более делать ей предложений. Он послушался и стал держать себя так, как будто никогда не волновал ее этими простыми словами: «Будьте моей женой, Джой!»

На третий день «дикой жизни» Джой захотелось пойти в лес, и она пригласила Кольбера ее провожать, смутно надеясь, что его каменное обещание «не делать более предложений» встретит повод растаять. Уже три месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела какой-нибудь небольшой сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение, напоминающее любовь. Когда Кольбер шел сзади, она испытывала чувство, словно за ней движется боязливо жаждущая упасть стена. Надо было угадать момент — отойти в сторону, чтобы стена хлопнулась на пустое место.

Прогулка в лесу изображала следующее: впереди шла девушка-брюнетка небольшого роста, с красивым, немного ленивым лицом, напоминающим улыбку сквозь пальцы; а за ней, неуклюже поводя плечами и сдвинув брови, шел рослый детина, тщательно рассматривая дорогу и заботливо предупреждая о всех препятствиях. Со стороны каждый подумал бы, что Кольбер невозмутимо скучает, но он шел в счастливом, приподнятом настроении и мог бы идти так несколько тысяч лет.

Он видел Джой, она была с ним; этого Кольберу было совершенно достаточно.

Они вышли на поляну с высокой травой, усеянную камнями, и сели на камни, думая каждый о своем.

Кольбер заметил, что, отдохнув, следует возвратиться.

— Вы рады, что наши отношения стали простыми? — сказала, помолчав, Джой.

— Этот вопрос исчерпан, я полагаю,— осторожно ответил Кольбер, не без основания предполагая ловушку.— Я дал слово. Впрочем, если...

— Нет,— перебила Джой,— я уже запретила вам, а вы дали слово. Неужели вы хотите нарушить обещание?

— Скорее я умру,— серьезно возразил Кольбер,— чем нарушу обещание, которое я дал вам. Вы можете быть спокойны.

Джой с досадой взглянула на него; он сидел, улыбаясь так покорно и печально, что ее досада перешла в возмущение. Ее затея не удалась.

Идти дальше — значило самой попасть в глупое положение. Некоторое время она еще надеялась, что Кольбер не выдержит и заговорит, но тот лишь задумчиво катал меж ладоней стебель травы. Джой вдруг почувствовала, что этот человек всем своим видом, преданностью и твердостью дает ей урок, и ее охватила такая сильная неприязнь к нему, что она не удержалась от колкости:

— Вы дали слово из трусости. Безопаснее сидеть молча, не так ли?

— Джой,— сказал встревоженный Кольбер,— на вас действует жара. Идемте обратно, там вы будете в тени!

Джой встала. Ей захотелось вцепиться в густые рыжеватые волосы и долго трясти эту тяжелую голову, не понимающую смысла игры. Он не захотел ответить ее прихотливому настроению. Обидчиво и тяжело взволнованная девушка пристально смотрела себе под ноги, покусывая губу. Ее внимание привлекло нечто, блеснувшее в зашуршавшей траве.

— Смотрите, ящерица!

Толчок Кольбера едва не опрокинул ее. Она закачалась и с трудом устояла на ногах. Кольбер, махая руками, топтал что-то в траве, затем присел на корточки и осторожно поднял за середину туловища ма-

ленькую змею, повисшую двумя концами: головой и хвостом.

— Видали вы это? — возбужденно заговорил он, смотря в гневное лицо Джой.— Простите, если я вас сильно толкнул. Бронзовая змея! Одна из самых опасных! Женщины почти всегда принимают змей за ящериц. Укушенный бронзовой змеей умирает в течение трех минут.

Джой подошла ближе.

— Она мертва?

— Мертва,— ответил Кольбер, сбрасывая змею и снова поднимая ее.

По мнению Джой, было храбро брать мертвую змею в руки, и она не захотела дать в этом перевес Кольберу. Взяв у него змею, она обвила ею свою левую руку, отчего получилось подобие браслета. Змейка, смятая в нескольких местах каблуком Кольбера, отливала по смуглой коже Джой цветом старого золота.

— Бросьте, бросьте! — вдруг закричал Кольбер.

Он не успел сказать, что по безжизненному телу прошла едва заметная спазма. Змея ожила на мгновение, только затем, чтобы, почувствовав враждебное тепло человеческой руки, открыть рот и ущемить руку Джой. Это усилие совершенно умертвило ее. Кольбер схватил змею у головы и так сдавил, что она порвалась, потом сбросил с руки Джой остаток туловища и увидел две капли крови, смысл которых был ему понятен как крик.

— Не теряться! — сказал он.— Помните, что смерть — здесь!

Его тело разрывалось от дрожи, которую он сдерживал. Джой беспомощно смотрела на свою укушенную руку. Она испытала гадливую боль, но ее воображение не действовало так быстро, как у Кольбера, и сознание конца не оглушило еще ее. Но резкость и приказания Кольбера вооружили всю ее самостоятельность, очутившуюся в опасности от той крупной услуги, которую собрался оказать Кольбер.

— Пустите,— сказала она, бурно дыша.— Я сама. Дайте мне нож.

В такой момент время дороже жизни. Раскрыв нож, Кольбер старался повалить девушку, чтобы совершить операцию. В то же время он быстро обвел языком десны и нёбо, чтобы установить, нет ли у него царапин во рту.

— Высосать яд! — кричал он.— Больше ничего не поможет! Джой, не спорьте!

Молча, стиснув зубы, она боролась с ним, в странной запальчивости своей предпочитая умереть, чем принять жизнь из его рук. Она отлично знала, чем это должно кончиться. У Кольбера был теперь шанс стать ее мужем — и, без слов, без мыслей, заключив все это в одном инстинкте своем, она отчаянно билась в его руках. Вне себя Кольбер подтащил ее к дереву с раздвоенным стволом и, протиснув в это раздвоение ее руку, причем ободрал кожу, зашел сам с другой стороны. Здесь он схватил Джой за кисть. Теперь ее рука была как в тисках.

Крепко сдавив эту ненавидящую его руку у локтя, причем его огромная сила заставила посинеть ногти Джой, Кольбер глубоко просек тело в месте укуса и, припав к ране, наполнил рот кровью. Сплюнув ее, он сделал это еще раз и, отдышавшись, в третий раз отсосал кровь любимой девушки, которая, дернув руку раза два, наконец затихла. Она стояла с другой стороны, прислонясь к дереву. Страх, унижение и гнев покрыли ее лицо злыми слезами. Она твердила:

— Кольбер, я все равно никогда не буду вашей женой. Пустите меня!

Кольбер молчал. Отпустив наконец ее руку, он понял, что она говорила, и ответил:

— Вы будете чьей-нибудь женой, а это главное. Чтоб быть женой, надо жить.

Его усы и подбородок были в крови, и он вытер их такой же красной от крови рукой.

Джой, мрачно протянув ободранную и израненную руку, прижимала к ране платок. Оба дышали, как после долгого бега. Наконец, разорвав платок, Джой перевязала руку. Кольбер смотрел на часы.

— Кажется, прошло пять минут. Теперь я спокоен.

Джой не ответила, стоя к нему спиной. Когда она обернулась, его не было на поляне.

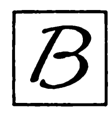
Удивленная девушка позвала: «Кольбер!» Ничего не прощая ему, все еще во власти внутреннего насилия, которым Кольбер окончательно одержал верх, девушка направилась по следу смятой травы и, заглянув в кусты, остановилась.

Кольбер лежал навзничь с черным и распухшим лицом. Это был совсем другой человек. Глаза его заплыли, усы и рот, вымазанные спасительной кровью, откры-

ли весь ужас, от которого он избавил свою возлюбленную. Это отвратительное, отравленное лицо заставило наконец Джой испугаться, так как она увидела свой предотвращенный конец во всем его незабываемом ужасе, и она бросилась бежать, крича: «Спасите, я умираю!»

Но было уже поздно, так как она была спасена.

ЧЕТЫРЕ ГИНЕИ



американский город Сан-Франциско прибыл корабль «Юг» из Англии. На том корабле служил матрос Гарт, пьяница и игрок. Все свое жалованье он тратил на попойки и игру в карты.

За несколько дней до отправления корабля обратно в Англию Гарт тяжело заболел. Его положили в больницу, и доктор объявил матросу, что жить тому осталось не более трех дней.

Тогда Гарт послал за своим приятелем Смитом, который тоже был матросом «Юга», и сказал ему:

— Я жил как свинья и часто ссорился с тобой из-за пустяков. Надеюсь, ты меня простишь и окажешь мне большую услугу?

— Ты был добрый парень,— сказал Смит, утирая огромным кулаком слезу, катившуюся по его небритой щеке,— это я должен просить у тебя прощения за то, что не всегда ценил такого джентльмена, как твоя милость, хотя мы и дрались с тобой раз восемь...

— Я думаю, раз двадцать, дорогой Смит...

— Я считаю только те разы, когда ты меня бивал.

— Твое счастье, что я не могу встать,— ответил, подумав, Гарт.— За такую дерзость я наложил бы тебе еще разика два. Однако не будем ссориться. Мы плавали с тобой вместе шесть лет, видели много хорошего и плохого, а потому, будь добр, передай моей жене Марте мой сундук с вещами и мое последнее жалованье, четыре гинеи. Стыдно сказать, но за четыре года отсутствия я не послал ей ни одного фартинга. Как знаешь, я писать не умею. У меня есть еще сын семи лет, так ты ему скажи, что его отец всегда помнил о нем. А Марте скажи, что, если бы не простуда, от которой я теперь умираю, я наверняка бросил бы пить и играть.

Смит обещал сделать все, как хотел Гарт; взял деньги, сундук, сердечно распрощался с умирающим и ушел, а Гарт умер на другой день, и его похоронили.

Между тем капитан корабля «Юг» получил приказ от хозяина судна грузить хинную кору и плыть в Китай. Смиту это было очень досадно. Он давно не был дома, в Англии. Узнав, что другой корабль — «Жемчуг» — отплывает в английский город Ливерпуль, где жила вдова Гарта, Смит взял расчет и нанялся на «Жемчуг».

Все время он бережно хранил деньги Гарта и даже держал их отдельно от своих денег.

Дорогой матросы заметили, что у Смита два сундука и что один сундук он никогда не отпирает. Они стали его расспрашивать. Смит рассказал им историю сундука, а через три дня после этого поднялась ужасная буря. Вся команда была на ногах и работала днем и ночью; никто не успевал ни поспать, ни поесть; сломалась стеньга грот-мачты, в расшатанном волнами корабле появилась течь, и «Жумчугу» грозила гибель. Стали помпами откачивать воду из трюмов. Буря все усиливалась; тогда повар сказал матросам: «Смит везет сундук мертвеца. Если мы не заставим его бросить сундук в море, мы все погибнем».

Матросы поверили повару, притащили Смита к грот-мачте и стали требовать, чтобы он немедленно расстался с сундуком мертвеца. Смит рассердился и отказался, но капитан, видя что команда готова взбунтоваться, приказал ему выбросить сундук.

— Нет,— возразил Смит,— этому не бывать. Я дал Гарту слово, что передам сундук Марте. Если хотите, выбросьте меня вместе с сундуком, но, пока я жив, я своему слову не изменю.

Видя, что Смит не сдается, а матросы так обозлились, что готовы его убить, капитан решил пожертвовать шлюпкой, чтобы только избавиться от упрямого Смита.

Ему дали мешок сухарей, бочонок пресной воды и спустили на шлюпке в открытое море, но от этого буря, конечно, не прекратилась, а продолжалась еще пять дней, после чего наполовину разбитый, с оборванными снастями «Жемчуг» выбросило на рифы вблизи острова Мейч. Проходивший мимо пароход «Кратер» заметил аварию и спас всех потерпевших крушение.

Между тем Смит носился в шлюпке среди пустынного океана; волнение было так сильно, что он не мог

грести; весла служили ему только для того, чтобы держать нос шлюпки в разрез волны, иначе шлюпка могла перевернуться.

Сухари и вода были ему единственной пищей; пять ночей он не спал — иногда только дремал, сидя на скамейке, и так измучился, что впал в отчаяние. Со злобой посматривал он на сундук Гарта и думал: «Из-за этого дурацкого сундука я должен погибнуть! Надо было бросить его в море, и я остался бы на корабле. Все равно сундук пропадет вместе со мной».

Однажды напала на него такая ненависть к сундуку, что Смит уже поднял его швырнуть в воду, как вдруг в сундуке что-то прокатилось и зазвенело.

«Неужели Гарт накопил денег?» — подумал Смит.

Он вынул ключ, открыл сундук и увидел, что в сундуке катались не деньги, а старые медные пуговицы. Все имущество Гарта состояло из горсти пуговиц, двух пар штанов, узелка с грязным бельем, колоды карт, сапогов да чашки, вырезанной из кокосовой скорлупы.

Смит повертел эти вещи в руках и заплакал. Вся трудная жизнь матроса припомнилась ему, когда он смотрел на жалкое имущество своего умершего приятеля. «Если даже Марте такая дрянь не понадобится, то хоть будет у нее о тебе память»,— сказал Смит; снова уложил вещи, запер сундук и прожил среди открытого моря еще два дня. К тому времени буря стихла; рано утром военное испанское судно увидело шлюпку Смита. Испанцы спустили катер и взяли моряка к себе.

Когда он рассказал свою историю, команда пожалела его, ему дали новую одежду, собрали немного денег, и Смит, наевшись до отвала, проспал двое суток. Скоро военное судно пришло в Каракас; там Смит распрощался с испанцами и поступил на пароход «Робинзон», отправляющийся в Англию. Через две недели высадился он в родном городе Ливерпуле, где жила также жена Гарта, и пошел ее искать, но по дороге увидел кабачок и решил, что по случаю благополучного прибытия не грех выпить один-единственный стакан водки. Он сел за стол, позвал слугу и получил стакан водки. День был жаркий. Смит сильно устал и охмелел; стало ему весело. Затолкав сундук Гарта дальше под стол, Смит важно развалился на стуле и, увидев бродячих музыкантов, приказал им играть, а сам потребовал вина, пива, пирогов, разной закуски; равеселясь окончательно, начал он угощать всех, кто был в кабаке.

Составилась большая компания, все перепились, а Смит даже ничего не помнил; он пришел в чувство уже поздно ночью, и потому, что его растолкал хозяин заведения.

— Забирай свой сундук и уходи! — сказал хозяин.— Я запираю трактир. Все твои приятели давно ушли.

Смит выругался, сел, почесал голову, поднял сундук, вышел на улицу и стал шарить в карманах. Оказалось, что он прогулял свои деньги и деньги Гарта, только одна гинея уцелела. Стало ему так стыдно, что он долго стонал и вздыхал, однако усталость одолела его. Он переночевал на пристани в будке сторожа, умылся, побрился и пришел на окраину города, где жила Марта.

Марта была молодая женщина, рассудительная и спокойная. Так как Гарт ничего ей не посылал, она жила поденной работой.

Узнав от Смита, что Гарт умер, Марта заплакала, затем вытерла слезы и стала расспрашивать матроса о покойном муже. Смит передал прощальные слова Гарта и спросил:

— Где же его сын?

— Он ушел в школу. Не прислал ли ему отец хоть какой-нибудь подарок?

Смит покраснел, вынул и положил гинею на стол.

— Только всего,— сказал Смит,— одна гинея да вот этот сундук.

Марта задумчиво посмотрела на матроса, взяла гинею и сказала:

— И то хорошо; можно теперь будет уплатить долг хозяйке за комнату да купить моему Джеку чернил и тетради.

Потом она, вздохнув, открыла сундук, выложила вещи Гарта и, стараясь улыбаться, сказала:

— Из отцовских сапог я сошью сапоги Джеку, да еще мне выйдут из них туфли — ходить на работу. Кокосовая чашка? — вещь нужная в хозяйстве. Сам сундук еще крепок, его можно продать; дадут два-три шиллинга. Прямо мы разбогатели!

Марта засмеялась сквозь слезы. И так она понравилась Смиту, что он снова покраснел и затосковал, вспомнив свою растрату.

Смит умел работать по парусному делу. Распрощавшись с Мартой, он отправился в док и нанялся

в мастерскую, где стал чинить и шить паруса. Он твердо решил заработать три гинеи, чтобы отдать вдове.

«Хорошо, если бы она вышла за меня замуж!» — мечтал Смит.

Однажды он соскучился, пришел к ней, сел и начал рассказывать маленькому Джеку разные морские истории. Незаметно для себя Смит дошел в своих рассказах до истории с сундуком. Выслушав, как он несколько дней носился в шлюпке среди волн, Марта, которая до сих пор еще ничего не знала об этом, очень удивилась; ей стало приятно это, но она не выдала себя и сказала:

— Все эти хлопоты твои ничего не стоят.

— Почему? — спросил огорченный Смит.

— Догадайся сам.

Смит задумался, посидел еще немного и ушел. Через неделю он пришел к вдове и сказал ей:

— Марта, я тебя полюбил. Будь моей женой.

— Я буду твоей женой,— ответила Марта,— если ты сделаешь то, что должен.

Снова Смит ушел с горьким стыдом в душе. «Да, она знает, что было четыре гинеи, а не одна»,— размышлял он и, как только накопил эти деньги, явился к Марте и положил на стол три золотые монеты.

— Прости меня,— сказал Смит,— Гарт послал тебе четыре гинеи, а не одну. Я три гинеи случайно прогулял здесь в день приезда.

— Отчего же ты не сказал это сразу?

— Мне было стыдно. Я хотел сначала вернуть тебе деньги, а потом признаться.

— Сознаться никогда не стыдно,— заметила Марта,— надо было сказать немедленно. Ведь я все равно поняла, что ты деньги растратил.

— Да как же ты догадалась?

— Ничего нет проще: во-первых, ты покраснел, когда дал мне гинею, а во-вторых, ты пришел ко мне в восемь часов утра; приехал же ты — ты сам сказал — накануне вечером. Значит, ты целую ночь где-то путался; глаза у тебя были красные, руки дрожали. Уж если ты из-за сундука позволил высадить себя с корабля, то, приехав, наверное, поспешил бы отдать деньги и сундук мне. Что же этому помешало? А то, что зашел ты в трактир.

— Верно. Я виноват,— сказал Смит, опустив голову.

— И я виновата,— засмеялась Марта, беря его за руку,— пока тебя мучила совесть, я вышила тебе мешочек для трубки.

И она подала Смиту прехорошенький мешочек из зеленого шелка, на котором были вышиты желтыми нитками слова:

«Четыре гинеи».

ЛЕГЕНДА О ФЕРГЮСОНЕ

Настоящий рассказ есть суровое изложение того, как Эбергард Фергюсон потерял в мнении людей благодаря свидетельскому показанию человека, которому он, когда тот был ребенком, дал пряник. Из дальнейшего читатель убедится, что пряник был дан неблагодарному существу и что репутация Фергюсона нашла неожиданную защиту в лице девушки, до тех пор не обнаруживавшей себя ровно ничем.

Мы все, по крайней мере те из нас, кто побывал в долине Поющих Деревьев, слышали, что Фергюсон отличался необычайной силой и один победил шайку в сорок восемь бандитов, опрокинув на их гнездо с отвеса Таулокской горы огромную качающуюся скалу весом в двадцать тысяч пудов.

Эту скалу можно видеть и теперь: раздробив барак Утлемана, предводителя шайки, она скатилась по склону в лес и там, никогда более не качаясь, обросла кустами.

Лет пять назад низменный берег моря между Покетом и Болотистым Бродом был затоплен долгими ливнями. Прилив более сильный, чем обыкновенно, благодаря урагану, помог делу разрушения насыпи. Поезд, шедший из Гель-Гью в Доччер, высадил пассажиров на станции Лим, и все стали ждать прибытия рабочих команд.

Часть пассажиров вернулась в Гель-Гью, а часть осталась.

В деревянной гостинице «Зимородок» поселились Джон и Сесиль Мастакары, братья-агенты целлулоидной фирмы; доктор Фаурфдоль, получивший

службу в Доччере и не торопившийся никуда; пьяный джентльмен с испуганными глазами и нервным лицом; самостоятельная девица плоских форм, смотревшая на все твердо и свысока; и инженер Маненгейм с дочерью шестнадцати лет, молчаливой и большеглазой. Ее звали Рой.

Лим — место, где из центра во все стороны можно видеть за домами бурое поле и лес на горизонте, а за ним — горные голубые намеки, почти растворенные атмосферой, а потому на третий день вынужденного покоя начался сплин.

Было слышно, как вверху ходит по своему номеру пьяный джентльмен, напевая: «Я люблю безумно танцы...» Доктор сидел на террасе, рассматривая местных пиявок. Братья Мастакары играли в шестьдесят шесть, сидя в тени пробкового дерева, у входа в гостиницу. Инженер забрался на кухню, где начал терпеливо учить кота подавать лапку, а его дочь стояла, прислонясь к садовой стене, и грызла орехи, которыми были всегда набиты карманы ее платья. Она думала: «Что будет, если я закрою глаза и вдруг открою? Может быть, я окажусь в Африке?!»

Никто не подозревал, что к гостинице приближается алчная и беспокойная личность, заранее рассматривающая пленников Лима как отпетых дураков. Это был Горький Сироп, имя и фамилия которого бесследно пропали.

Сварливый взгляд и длинный, угреватый нос Горького Сиропа увидели первыми братья Мастакары. Горький Сироп дернул за козырек кепи и сказал:

— Джентльмены желают развлечься. Они могут посмотреть местные достопримечательности.

Джон Мастакар сосчитал: «пятьдесят один» и прибавил: «уйдите». Но Горький Сироп подошел ближе.

— Во-первых,— сказал он,— столб, на котором линчевали трех негров в тысяча девятьсот девятом году.

У окна показался пьяный джентльмен. Он был-таки пьян и смеялся.

— Во-вторых,— продолжал бродяга,— вывеска, написанная масляными красками над булочной О'Коннэля. Если всмотреться, явственно различаешь среди булок и кренделей фигуру знаменитого полководца Наполеона.

— Ха-ха! — сказал пьяный джентльмен.— Выпей на доллар и увидишь зеленых слонов.

Вышел инженер с дочерью. Рой молчаливо грызла орехи.

Увидев ее, Горький Сироп преобразился.

— В-третьих,— сказал он совсем громко,— на дереве близ мастерских ласточка свила гнездо в туфле приезжей артистки Молли Фленаган, которая бросила ее туда после того, как выпила из этой туфли целую бутылку шампанского.

Раскрылось второе окно, и показался раздраженный бюст самостоятельной девицы средних лет; она твердо сказала:

— Вы должны найти работу, Дачежин! Все должны работать, а не попрошайничать!

С террасы приплелся доктор.

— Нет ли еще чего-нибудь? — спросил он, зевая.

— Едва ли вы назовете «чем-нибудь» скалу в двадцать тысяч пудов, сброшенную Фергюсоном,— с достоинством произнес Горький Сироп,— редкую качающуюся скалу, которую он обрушил на притон бандитов Утлемана! Она в двух милях отсюда. След могучих рук Фергюсона навеки врезался в камень. Можно различить снимок его пальцев.

— Папа, я хочу видеть скалу,— заявила Рой.

— Вы выразили разумное желание, мисс,— сказал Горький Сироп,— внушительное, незабываемое зрелище!

Инженер не противоречил девушке. Достаточно, что она хотела видеть скалу.

Погода стояла отличная. Уговорили ехать Мастакаров, доктора; пьяный джентльмен пришел сам. Самостоятельная девица резко отошла от окна и больше не показывалась. Хозяин гостиницы доставил поместительный старый автомобиль, куда все и уселись. Горький Сироп, сдвинув колени, чтобы не задеть кого-нибудь и тем не уменьшить свой гонорар, рассказывал, прикладывая руку к груди:

— Фергюсон был таинственная и благородная личность. Ростом семь футов, красивый, как Юпитер, с глазами, обжигавшими каждого, кто приближался к нему. Его голос звучал как корнет-а-пистон. Его черные усы и такая же борода вились как шелк. Его лицо было бело как мрамор. Он жил в лесу, за Таулокской горой. Никто не знал, что он делает. Гово-

рили, что он был несчастен в своей великой любви к дочери одного... гм... инженера. Каждый день он ходил на Таулокскую гору и слегка поддавал скалу, утоляя свое неутешное сердце ее неистовыми раскачиваниями. И вот он узнал, что Утлеман собирается ограбить и убить переселенцев. Тогда герой взошел на гору и ночью, когда бандиты спали в своем лесном доме, послал им вечную печать молчания. Сто двадцать человек было убито, а пятеро сошли с ума, и их поймали.

Доктор лениво улыбался, инженер хохотал, братья Мастакары слушали и соображали, не предложить ли целлулоидной фирме изобразить на гребенках Фергюсона, толкающего скалу.

Наконец приехали к месту, где лежала скала, и вылезли из автомобиля. Пройдя немного пешком, путешественники увидели огромный камень неправильной ромбической формы, лежавший среди деревьев, как серый дом без окон и дверей.

— Не поздоровится от такой штуки,— сказал Джон Мастакар.

— Покажите отпечатки пальцев! — потребовала Рой у Горького Сиропа.

— Они с нижней стороны, так что их не видать,— заявил прохвост.

Доктор лениво созерцал скалу, соображая, сколько ампутаций мог бы он произвести у ста двадцати человек. В это время подошел маленький спокойный старик, очень дряхлый, но с проницательными живыми глазами.

— Толкуете о Фергюсоне? — обратился он к компании.— Что-то вам Сироп врет. Дело в том, что я знал этого Фергюсона, но, хоть убей, это делу не помогает. Даже обидно. Я его знал, когда мне было одиннадцать лет. Впрочем, если...

— Отчего же, скажите...— протянул пьяный джентльмен.

— Я стоял у лавки,— продолжал старик,— а он вышел оттуда и сказал: «Хочешь пряник?» Я сказал: «Да». Взял пряник и съел. Ну, он жил около болота, этот ваш Фергюсон, и промышлял тем, что хлопотал в суде о земельных участках. Разбойники действительно были, только дальше отсюда, у Котомахи. Фергюсон был заика, болезненный человек, малого роста. Я ему полюбился, и он брал меня с собой

на прогулки: бывало, мы с ним качали эту скалу. Но ее качнуть не труднее было, чем большую лодку. Вот он мне и говорит как-то: «Надоела дурацкая скала!» В ту же ночь ее штормом ударило об откос — верхним краем, должно быть,— основание сползло, и устойчивое равновесие нарушилось. Она, конечно, упала и раздавила двух коров, которые там внизу задумались,— знаете, эти, которые... стоят и жуют. Теперь мне даже смешно, как все это переиначили.

Через два дня Рой Маненгейм приехала в Доччер и стала рассказывать своей тете о путешествии, грызя, как всегда, орехи. Ее задумчивые большие глаза рассматривали белое ядро ореха, когда она вдруг прибавила ко всему прочему:

— Еще видели мы с отцом скалу, весом тридцать тысяч пудов, которую Фергюсон бросил на гнездо бандитов. С ужасной высоты!

Подумав, она вытащила из кармана новую горсть орехов и, трудясь над ними, докончила:

— Он был красивый, с черной бородой, сильный и храбрый. Так нам сказал какой-то старик. Он говорил — как пел. Все боялись его, а он — никого. И когда он сбросил на разбойников эту большую скалу, он дал какому-то мальчику пряник, потому что был очень прост и доступен... Он любил одну девушку, и они женились.

Еще подумав, Рой прибавила:

— Они женились раньше, чем он сбросил скалу.

СЛАБОСТЬ ДАНИЭЛЯ ХОРТОНА

I

Судьба оригинально улыбнулась одному погибшему человеку, известному под именем «Георг Избалованный».

Его настоящее имя было Георг Истлей. Он сумел убедить равнодушного прохожего человека с золотыми зубами, что всего три фунта поставят его на ноги, при этом был он так остроумен и красноречив,

что прохожий увлеченно пожелал Истлею «полной удачи, твердости и энергии».

Оба расстались взволнованные. В тот же вечер Истлей Избалованный засел в пустом складе доков и проиграл свои три фунта одной теплой компании, вплоть до последнего шиллинга. К утру явился лодочник Сайлас Гарт, у которого не было денег, но была охота играть. Он заложил в банк свою лодку; к полудню следующего дня, начав действовать последним шиллингом, Истлей выиграл у него лодку, весла и пустился вниз по реке, сам не зная зачем.

Это было не совсем то, на что рассчитывал прохожий с золотыми зубами, тронутый, может быть, первый и единственный раз в жизни жаром, какой вложил в исповедь свою Истлей Избалованный, но после кабаков, притонов, панели светлая вода реки так воодушевила Истлея, что еще хмельной, ничего не теряя и ни о чем не жалея, он решил плыть вниз по течению до Сан-Риоля. Надо сказать, что в мечтах начать «новую» жизнь человек этот провел сорок два года и так привык начинать, что кончить уже не мог. Все-таки он хотел воспользоваться счастливым толчком мысли, переменить если не жизнь, то ее сорт.

На дорогу он купил большой хлеб, табаку и питался одним хлебом, к чему, впрочем, привык.

Наступил вечер, и опустился холодный туман. Мечтая о теплом ночлеге, Истлей пристал к берегу на огонек одинокого окна. Он привязал лодку и взобрался на холм. Запинаясь в тьме о валявшиеся бревна и пни, он пришел к бревенчатому дому, толкнул огромную дверь и очутился перед человеком, сидевшим на кожаном табурете. Уставив приклад ружья в край стола, а дуло держа направленным против сердца, человек этот пытался дотянуться правой рукой до спуска.

— Не надо! — вскричал Истлей, с ужасом бросаясь к нему.— Не надо! Она придет!

От неожиданности самоубийца уронил карабин и обратил бородатое лицо к Истлею; с этого лица медленно сходила смертная тень.

Он глубоко вздохнул, отшвырнул карабин ногой, встал, засунул руки в карманы и подошел к гостю.

— Она придет? — сказал человек, всматриваясь в Истлея.

— Вы можете быть совершенно уверены в этом,—

ответил Истлей.— Я приехал в лодке, чтобы сообщить вам эту радостную весть. Так что — стреляться глупо. Все будет очень хорошо, поверьте мне, и не хватайтесь за орудие смерти.

Человек схватил Истлея за ворот, поднял его, как кошку, потряс и бросил на кучу шкур.

— А теперь,— сказал он,— ты мне объяснишь, кто это «она» и что значит твое вторжение!

Истлей задумчиво потер шею и взглянул на спасенного. Его сильное, страстное лицо с по-детски нахмуренными бровями ему нравилось. Он не был испуган и без запинки ответил:

— Это объяснить трудно. Я крикнул первое, что мне пришло в голову: «Она». Позвольте подумать. «Она» — это может быть прежде всего, конечно, та женщина, которой вы пленились так давно, что у вас успела вырасти борода. Быть может также, «она» — бутылка виски или сбежавшая лошадь. Если же вы лишились уверенности, то знайте, что это и есть самая главная «она». Обычно с ней приходят все другие «они». Уверяю вас, «она» отлучилась на минуту, вероятно, чтобы принести вам что-нибудь закусить, а вы сгоряча обиделись.

Самоубийца расхохотался и пожал руку Истлея.

— Благодарю,— сердечно сказал он,— ты меня спас. Это была минутная слабость. Садись, поужинаем, и я тебе расскажу.

Спустя час, после солонины и выпивки, Истлей знал всю историю Даниэля Хортона. Рассказана она была нескладно и иначе, чем здесь, но суть такова: Хортон преследовал идею победы над одиночеством. Он был голяк, сирота, без единой близкой души и без всякого имущества, кроме своих мощных рук. Скопив немного денег работой по сплавке леса, Хортон сел на дикий участок и задался целью обратить его в цветущую ферму. Разговорившись, изложил он все свои мечты: он видел в будущем целый поселок; себя, вспоминающего, с трубкой в зубах, то время, когда еще он корчевал пни и пугал бродячих медведей; с ним будут жена, дети... «Короче говоря — сделаю жизнь!» Так он выразился, стукнув кулаком по столу, и Истлей понял, что перед ним истинный пионер.

Как сильно он переживал эти пламенные видения, так же сильно поразила его сегодня внезапная, никогда не посещавшая мысль: «А что, если ничего не выйдет?»

Как известно, в таких случаях вариации бесконечны. Ночь показалась безотрадной, ветер — ужасным, молчание и тишина леса — зловещими. Вероятно, он переутомился. Он впал в отчаяние, поверил, что «ничего», и, не желая более в мучениях коротать дикую ночь, схватил ружье.

— Это была реакция,— заметил Истлей.— Я появился совершенно своевременно, в конце четвертого акта.

— Живи со мной,— сказал Хортон, прямо не говоря, что рассчитывает на кое-какую помощь Истлея, но уверенный, что тот сам станет работать.— Здесь пока грязно и дико, но ты увидишь, как я все переверну.

— По-моему,— проговорил Истлей, взбираясь с ногами на скамью и сибаритствуя с трубкой в зубах,— это помещение очаровательно. Обратите внимание на эффект света очага среди свежесрубленных стен. Это грандиозно! Свежий, наивный романтизм Купера и Фанкенгорста! Запах шкур! Слушай, друг Хортон, ты счастливый человек, и, будь я художником, я немедленно нарисовал бы тебя во всем очаровании твоей обстановки. Она напоминает рисунок углем на штукатурке старой стены, среди роз и пчел. Хочешь, я расскажу тебе историю Нетти Бемпо, знаменитого «Зверобоя»?

В четвертом часу ночи приятели мирно храпели на куче сухой травы. Хортон вдруг проснулся, схватил лежащее возле него ружье и закричал:

— Берегись, гуроны заходят в тыл! Болтун! — сказал он, опомнясь и посмотрев на спящего Истлея.— Занятный болтун.

II

Совместное жительство двух столь разных натур скоро обнаружило их вкусы и методы. Едва светало, Хортон уходил пахать расчищенный участок земли, готовил для продажи плоты, рубил дрова, пек лепешки, варил, мыл, стирал. Он был самолюбив и ничего прямо не говорил Истлею, но часто раздражение охватывало его, когда, войдя домой поесть, он заставал Избалованного, который, прикидывая глазом, ставил в разбитый горшок прекрасные лесные цветы, приговари-

вая: «Они лучше всего на фоне медвежьей шкуры, которую ты растянул на стене»,— или возился с пойманным молодым дроздом, кормя его с пальца кашей.

Истлей старался днем не попадаться на глаза своему суровому и усталому хозяину; он обыкновенно мечтал, лежа в лесной тени, или удил рыбу, но к вечеру он появлялся с уверенным и развязным видом, отлично зная, что Хортон ценит его общество и скучает без него вечером. Действительно, злобствуя на лентяя днем, к вечеру Хортон начинал ощущать странный голод; он ждал рассказов Истлея, его метких замечаний, его анекдотов, воспоминаний; не было такой вещи или явления, о которых Истлей не знал чего-то особенного. Он рассказывал, из чего состоит порох, как лепят посуду, штампуют пуговицы, печатают ассигнации; залпом читал стихи; запас его историй о подвигах, похищениях и кладах был бесконечен. Не раз, сидя перед освещенной дверью, он говорил Хортону о действии *тишины*, отражениях в воде, привычках зверей и уме пчел и все это знал так, как будто сам был всем живым и неживым, что видят глаза.

Днем Хортон сердился на Истлея, а вечером с нетерпением ожидал, какое настроение будет у Избалованного — разговорчивое или замкнутое. В последнем случае он приносил из своего скудного запаса кружку водки; тогда, поставив локти на стол, дымя трубками и блестя глазами, оба погружались в рассуждения и фантазии.

Однажды случилось, что Хортон свихнул ногу и угрюмо сидел дома три дня. С бесконечным раздражением смотрел он, как, мучаясь, полный отвращения и тоски, Истлей рубит дрова, носит воду, стараясь не утруждать себя никаким лишним движением; как крепко он скребет в затылке прежде, чем оторваться от трубки и посолить варево, и раз, выведенный из себя отказом Истлея пойти подпереть изгородь (Истлей сказал: «Я вышел из темпа, погоди, я поймаю внутренний такт»), заявил ему:

— Экий ты бесстыжий, бродяга!

Ничего не сказал на это Истлей, только пристально посмотрел на Хортона. И тот увидел в его глазах отброшенное ружье. Устыдясь, Хортон проворчал:

— Ноге, кажется, лучше; через день буду ходить.

Когда он выздоровел, Истлей принес ему десять корзин, искусно сплетенных из белого лозняка. Они были с крышками, выплетены затейливо и узорно.

— Вот,— сказал он,— за эту неделю я сделал десяток, следовательно, через месяц будет их пятьдесят штук. На рынке в Покете ты продашь их по доллару штука. Я выучился этому давно, в приюте для безработных... Не расстраивайся, Хортон.

Сдавленным, совершенно ненатуральным голосом Хортон поинтересовался, почему Истлей облюбовал такое занятие.

— Случайно,— сказал Истлей.— Я увидел старика с прутьями на коленях, на фоне груды корзин, среди других живописных вещей, куч свеклы, корзин с рыбой, цветов и фруктов на рынке; это было прекрасно, как тонкая акварель. Пальцы старика двигались с быстротой пианиста. Ну-с... что еще? Я бросил переплетать книги и выучился плести корзины...

Несколько дней спустя, утром, приятели сидели на берегу реки. Близко от них прошел пароход; на палубе стояли мужчины и женщины, любуясь зелеными берегами. Ясно можно было разглядеть лица. Высокая, здоровая девушка взглянула на двух сильных, загорелых людей, взиравших, оскалясь, на пароход, вернее — на нее, и безотчетно улыбнулась.

Пароход скрылся за поворотом.

— Быть может, это *она* и была,— заметил Истлей,— так как все бывает на свете...

— Что ты хочешь сказать?

— Я говорю, что, может быть, *она* придет... Эта самая... Помнишь, что я сказал, когда ты... С ружьем?!

— Кто знает! — сказал Хортон и расхохотался.

— Никто не знает,— подтвердил Истлей.

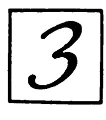
Хортон, в значительной мере усвоивший от Истлея манеру *видеть* и выражаться, глубокомысленно произнес:

— Обрати внимание, как прозрачны тени! Как будто по зеленому бархату раскинуты голубые платки. И — это живописное дряхлое дерево! Красивые места, черт возьми!

— Согласен,— сказал Истлей.

ФАНДАНГО

I



имой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, хорошо думать о лете, потому что летом тепло.

Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это — июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.

Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед — эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого — мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами — лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.

С. Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С. Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С. Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».

В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С. Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.

С. Т.— грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так...» — и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с мас-

лом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.

С. Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:

— Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот — ваше.

Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.

В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек — это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба — полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.

Я получил толчок к действию, заглянув в шкапчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном.) Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.

Я боюсь голода, ненавижу его и боюсь. Он — искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью,— ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным,— говорит человек, голодающий жестоко и долго,— потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость — все служит пищеварению. Дети съедят вполовину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадет, больница — скрадет, склад — скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пир нищей, героически добытой трапезы.

Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его...), нагло вытесняет душу из осла-

бевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я»,— подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение.

— Очевидно,— говорил я,— так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку...

Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощечину. Это — неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, он означает неуважение и к себе и к другим.

II

Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.

Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что...» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоеда-

ло, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:

— Фанданго!

При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке — рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошалей ты мена, торокая», но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено.

«Фанданго» — ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он — транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.

Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.

По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта — даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.

Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная как известняк — до дыр на игривых щеках,— бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все,— заявлял четвертый,— иду и я».

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш,

производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца — черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.

Старик нес цимбалы.

Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.

Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.

Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.

Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы,— так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, ви-

села шаль с бахромой; поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.

Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.

Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были *вразрез* всякому настроению, прямо *пересекали* его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане — сами в себе — те же, как и вчера,— гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.

Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся как мог скоро, пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: «Звон. не действ. Прошу громко стуч.»

III

Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими,— эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.

— Я к вам,— сказал я (в квартире были и другие жильцы).— Позвольте, однако, прежде всего согреться.

— Что, мороз?

— Да, сильный мороз...

На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддернул повыше брюки.

Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.

— Я вас слушаю,— сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.

Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.

С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, в чем предполагался, однако, п о р ы в.

— «Сумерки»,— сказал Брок, видя, куда я смотрю.— Величайшая вещь!

— О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?

— Что это? Купить?

— Ну-те!

Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.

— Э...— сказал Брок, косясь на меня через плечо.— У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!

— Найду,— сказал я.— Я потому и пришел, чтобы поторговаться.

Вдали, на парадной, застучали.

— Ну, это ко мне!

Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:

— Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.

Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.

Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.

На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву — «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я тем не менее пристально приближал эту мысль, и чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока — знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.

Чтобы понять последовавший затем странный мо-

мент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.

В то время, как я сидел, я испытал,— может быть, миллионной дробью мгновения,— что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра,— так, задумавшись, я наконец определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.

Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.

— Вы заждались? — сказал Брок.— Ничего, грейтесь, курите.

Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкап, говоря:

— Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.

— А что за картина?

— А, чепуха! Мазня, дурной вкус! — сказал Брок.— Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.

Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот, что было в его душе!.. Одна — пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму «изделию». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос; серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.

Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.

— Вы быстро пишете,— заметил я, чтоб не затянуть молчания.— Ну, что же Горшков?

— Да как сказал — двести.

— Это за Горшкова-то двести? — сорвалось у меня.— Дорого, Брок!

— Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков... Да вы как на него смотрите?

— Это — картина,— сказал я.— Я намерен ее купить; о том речь.

— Нет,— возразил Брок, уже раздраженный и моими словами и безразличием к картинам своим.— За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!

Как часто бывает с нервными людьми, я, вспылив, не мог удержаться от острого вопроса:

— Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?

Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрогнувшей ненависти.

— Хорошо же вы понимаете... Циник!

— Зачем браниться,— сказал я.— Что плохо, то плохо.

— Ну, все равно,— заявил он, хмурясь и смотря в пол.— Двести, как было, пусть так и будет: двести.

— Не будет двести — сто будет.

— Вот теперь начинаете вы...

— Хорошо! Сто двадцать пять?!

Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принес.

— Эту я отдам даром,— сказал он, потрясая картиной,— на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.

И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.

IV

Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Бли-

же к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова «нечто ошеломительное» могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! — И тем не менее эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина — эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни,— была передана неощутимой экспрессией; солнце горело на моей руке,. когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки — ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявил о себе. Эффект этот был — неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.

— Вот именно,— сказал Брок, видя, что я молчу.— Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите...

Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.

— Что же,— сказал я, отставляя картину,— двадцать рублей я достану и, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?

— Не знаю, кто рисовал,— сказал Брок с досадой.— Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшков... Поговоримте об этом деле.

Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из

моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен; я стал рассеян и терпелив.

— Да, я куплю Горшкова,— сказал я.— Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?

— Если наверное, то в семь часов буду вас ждать,— сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потер руки.— Вот так люблю: раз, два — и готово — по-американски.

Если бы С. Т. был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в «Дом ученых», или КУБУ, как сокращенно называли его. узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.

V

Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле,— все окоченело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков — вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавший на месте, потому что испортился механизм, и тот, казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Возы скрипели, как скрипит снег в мороз: пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит «прикурить» басом. Между прочим, среди

промыслов, каких еще не видел город, за исключением «пастушества на дому» (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и «новое-старое» (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке «обуви»), о чем говорит А. Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию «продавцов щепок». Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки — кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров — детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались сломя голову прохожие, но добычу получал, большей частью, какой-нибудь усач-проходимец — того типа, что в солдатстве варят из топора суп.

Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламливали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился,— был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: «Валяй, ребята!..» Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно наскакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке:

— Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

— Что такое? — сказал тот после долгого натянутого молчания.— Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут, и не настаивая удалился.

«Как?! Едва встретились и уже расстаемся»,— подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: «Встречаемся без радости, расстаемся без печали»...

Меж тем временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С. Т. Добыча была

заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока,— лишь потер лоб.

У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...

Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор, тихий, как перебор струн.

— Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!

— Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки.

— Немедленно будет исполнено.

VI

Уличные зеваки, глашатаи «непререкаемого» и «достоверного», а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха,

которым они дышат в тесном проходе ворот, под красной вывеской «Дома ученых». Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться.

Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии, и, так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. «Дом ученых» время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось.

— Видели испанцев? — сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который, в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу.— Говорят, привезено много всего и на следующей неделе будут раздавать нам.

— А что будут давать?

— Шоколад, консервы, сахар и макароны.

Большой двор КУБУ был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где время от времени выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену КУБУ, в раз навсегда определенный для него день недели и в известный час, вручался основной недельный паек: порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация еще ждет своего историка, а потому мы не будем скупо изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.

Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа. Народ этот если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я приметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из ра-

зорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой, немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.

— Постой, Люси,— говорил он с начинающимся раздражением,— посмотрим еще. Гм... гм... розовая — банная карточка, белая — кооперативная, желтая — по основному пайку, коричневая — по семейному, это — талон на сахар, это — на недополученный хлеб, а тут что? — свидетельства домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон... Матушки! — вскричал он.— Я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!

Так воскликнув, воскликнув горько, потому что, уже в пятый раз листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:

— Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги!.. Я успею! Я вернусь! Я побегу и буду через час, а ты подожди меня!

Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменил, таща санки, к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал:

— Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!

Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о своем заявлении.

Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и особая разновидность — пайковые авантюристы), взрыл наконец груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.

— Еще дело ваше не решено,— сказал он.— Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница.

Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою т ы с я ч у выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверху и внизу. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подарки; о том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.

— Вы слышали о делегации из Аргентины?

— Не из Аргентины, а из Испании.

— Из Испании, да.

— Ах, все равно, но скажите — что? что? жиры? А есть ли материя?

— Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе.

— А что именно?

Некто авторитетный, громкий, с снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.

— А не из Саламанки?

— Нет, с Кубы, с Кубы,— говорили, проходя, всеведущие актрисы.

— Как, с Кубы?

Уже родился каламбур, и я слышал его дважды: «Кубу от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув:

— Шоколад! Да-с!

Оживились даже старухи и те сутуловатые, близорукие люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и которым всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица, с напряженной заботой о еде в усталых глазах, спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем.

Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой,— ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая,

отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица; тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков.

На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот шутя дергал за хвост моего леща.

— С припасцем! — сказал Терпугов.— А я думал сначала сечка, боялся порезаться, хе-хе-хе!

— А, здравствуйте, Терпугов,— ответил я.— Вы что здесь делаете?

— Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь.

— Куда же вы поступили?

— Как куда? — сказал Терпугов.— Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу — приходите завтра в «Мадрид». Я снял ресторан и открываю его. Кухня — мое почтение! Ну, да вы знаете, вы мои расстегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили: «К стенке приколочу, в рамку вставлю». Хе-хе! Бывало! Вот еще польские колдуны с маслом... Ну, ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее — оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть, для открытия, сыграем вам испанские танцы.

— Однако, Терпугов,— сказал я, поперхнувшись от изумления,— вы соображаете, что говорите?! Что́, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как «Мадрид»? Это в двадцать-то первом году?

Здесь произошло со мной нечто, подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее, и, хотя стоял он рядом со мной, против окна, я видел его на фоне окна, как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону:

— Так как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу — да обрабо-

таю под кашу и хрен со сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет.

Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением.

— Хотя говорите вы чепуху,— сказал я с досадой,— леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите! — повторил я, вручая рыбу.

Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот.

— Рыба хороша, жирна,— сказал он, пряча леща за пазуху.— Будьте покойны. Терпугов знает свое дело— все косточки удалю. Пока до свидания! Так не забудьте, завтра в «Мадриде» в восемь часов открытие!

Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью.

— Бедняга рехнулся! — сказал я, выходя на лестницу к резным дверям Розового Зала. Я отогрелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: «Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!»

VII

Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации, с портфелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних,— так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами в знак равенства, степенно вошел и я и, так как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.

Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому концу стола восседал президиум КУБУ, а по левому — тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе,

сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров.

Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами — делегатами.

Основное качество «слуха» есть тончайшая эманация факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму ни придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга — язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:

— Этот испанский профессор — странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!

— Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает!

— Вот те на!

— А что прикажете думать?!

Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их, старуха, и приняла немедленно участие в обсуждении дела.

— Что же это такое и как же понять? — прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:

— А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет...

Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.

Испанец, встав, кратко повел рукой.

— Мы просим,— сказал он сильным и звучным голосом,— разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки.

Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: «мы должны

быть», неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал.

— Сеньор кабалерро знает испанский язык? — обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна, неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.

— Знаете испанский язык? — повторил иностранец.— Хотите быть переводчиком?

— Сеньор,— возразил я,— я знаю испанский язык как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!

Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:

— Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран,— на что ответил я так, как следовало, то есть:

— Александр Каур (мое имя),— после чего заседание вновь приняло официальный характер.

Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых, поочередно, комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч — маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать — апельсинового варенья, десять — хереса и сто ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали в е щ и, о чем Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он «будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках».

Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул

одобрения: предстояло зрелище, вернее дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного ж е с т а, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны.

Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.

— Все взрослые — дети,— сказал ему Бам-Гран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв по моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:

«На севере диком, над морем,
Стоит одиноко сосна.
И дремлет,
И снегом сыпучим
Засыпана, стонет она.

Ей снится: в равнине,
В стране вечной весны,
Зеленая пальма... Отныне
Нет снов иных у сосны...»

VIII

Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне,— смысл которого безграничен,— я нашелся лишь сказать:

— Правда? Что хотели вы выразить?

— Мы знаем кое-что,— сказал он обычным своим тоном.— Итак, приступите, кабалерро!

Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слушая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг,

ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.

К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными, короткими свечками.

— Вот! — сказал Бам-Гран, беря одну свечку и ловко зажигая ее.— Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!

Сухой, бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:

— А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло!

Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.

— Если все подарки таковы...— сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки,— то что же это такое?

Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:

— Н-да...

Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, развертывали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав, веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.

Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна,— они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством, что еще больше заставило блестеть груды подарков.

— Это — очень редкие раковины,— сказал Бам-Гран,— и нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!..

Он обратился к помощникам, жестом торопя их:

— Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.

Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами — золотой тонкой резьбой.

Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.

Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, непроизвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние.

В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, караваи хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь

хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии «общественного снабжения». Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду — из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в о т д е л ы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избегнуть грядущих очередей.

Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк — самый длинный, тщательнее всех иных заштукованный, остался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы — перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.

Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, вышел из саженного кокона огромный сверток шелка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других на вытягивающихся все выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли — драгоценными

перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блестки, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.

Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия — истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиасток, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.

Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнес:

— Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным восхищением. Прочтите имена рукодельниц!

Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой венок, вышитый латинскими литерами, и я перевел вышитое: «Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара».

— Вот что они просили передать вам,— громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: «Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых — все мы! Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!»

Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она...

«Далекие сестры...» Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы

в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издалека над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнущая розой и ванильным стручком,— легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон Томпсон: арабеск из лепестков и лучей.

IX

На острие этого впечатления послышался у дверей шум,— настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.

— Позвольте пройти! — говорил человек этот сумрачно и многозначительно.

Я еще не видел его. Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали:

— Я говорю вам — пропустите! Гражданин! Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти! Позво...— но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое о себе мнение.

Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу, профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста, с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут — очень прямо держал он короткий свой стан; одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели; под локтем торчал портфель.

Казалось, в лице этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому, обыкновенно, сопутствует истерика. Его нос напоминал трефовый туз, выраженный тремя измерениями, дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно.

— Так вот,— сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь,— вы должны знать, кто я. Я — статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то

обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не... верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! — прокричал он.— Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Все равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить,— я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!

Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза.

— В чем дело? Что с ним? Кто это?! — послышались восклицания.

Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.

— Вы с ума сошли! — сказал он.— Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!

— Он значит, что я более не могу! — закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами.— Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я — испанец в таком случае!

Я переводил как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.

— Да, этот человек — не дитя,— насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы.— Я спрашиваю кабалерро Ершова, что имеет он против меня?

— Что я имею? — вскричал Ершов.— А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкап, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет,— вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску

сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я... эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпься!

Он разошелся, загремел, стал топать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.

— Безумный! — сказал он.— Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более — ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!

Так сказав, причем едва ли успел я произнести десять слов перевода, он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн... Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело «Фанданго». Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.

X

Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зеленым абажуром электрическая лампа.

В голове, около правого виска, стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль.

Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеенкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкап

с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол.

Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашел, что она забинтована, следовательно, я рассек кожу об угол стола или о другой твердый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный, постреливающий ушиб.

На круглых стенных часах стрелки указывали полчаса пятого. Итак, я провел в этой комнате минут десять — пятнадцать.

Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не сетовал на нее, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив все, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был еще слаб, в чем убедился, привстав и застегивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкафа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив ее с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью.

Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери Розовой Залы, я потянул ее, но дверь была заперта.

Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шел к выходной двери; лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерегся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож дал сам повод для разговора.

— Которые выходят в дверь,— сказал он,— это правильно. Не как духи или нечистая сила!

— В дверь или в окно,— ответил я,— какая разница?!

— В окно...— сказал сторож, задумавшись.— В окно, скажу вам, особь статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперек стены. Так, говорят, прямо на Неву, и в том месте, слышь, где опустились, будто лед лопнул. Побежали смотреть.

— Как же это понять? — сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.

— Там разберут! — Сторож поплевал на ладони и стал мести.— Чудасия!

Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот, в огромной шубе, не торопясь, поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку.

— Чего смотришь? — крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.

— Такая моя должность,— заявил он,— смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь?!

— Да,— сказал я, и калитка с треском захлопнулась.

Я остановился, соображая, как и где разыскать цыган. Я хотел видеть Бам-Грана. Это было страстное и безысходное чувство, понятие о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой.

О моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлебывая столетнее вино вишневого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шел, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще, с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шепота особый смысл? Наконец, «Фанданго», разыгранное ученой депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесенный на койку амбулатории,— какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрассудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает беззаконно и абсолютно,— удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшую муку каждого Ершова, и, как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цыкнутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо.

Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого

твердого предмета, вытащив который разглядел при свете одного из немногих озаренных окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как два фунта, и лишь горячечностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу ребра монет. «Теряясь в догадках...» — говорили ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что мое настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замерзшие нечистоты; просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав желтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил все количество в двести штук, ни больше, ни меньше, и, несколько ослабев, задумался.

Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчетливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моем беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Еще я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишен нетерпения и усилия, когда он, спокойно соединясь с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего.

Я так углубился в свое занятие,— смотреть и перебирать золотые монеты,— что очень не скоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило

легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение? Слева направо я медленным взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шорохом щебня, я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмутился против себя. Я обернулся вдруг. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень...

Шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный, худой человек, без шапки, с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что сказать в затруднительном положении. Из-за его затылка шла вверх черная прямая черта, конец ее был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувшей к сердцу, возобновил дыхание, и я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это — самоубийство или убийство. Умерший был одет в черную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалеку валялась кожаная фуражка. Ему было лет тридцать. Ноги не достигли земли на фут, а веревка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении веревки к балке и — особенно — мелкие бесхарактерные черты лица, обведенного по провалам щек русой бородкой, склоняло определить самоубийство.

Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака; затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъяснимым? Укололся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это — отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане?! Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель «перпетуум-мобиле», случайно взглянувший

в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм?! Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!» — а он не снес и уничтожил себя?

И это и все другое могло быть, но мне было уже нестерпимо сидеть здесь, и я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал,— уединенную чайную.

На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра, а свет шел от потускневших электрических ламп; они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая под мышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было, лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек пять плохо одетых людей дорожного вида; у ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдечек с горячим цикорием. Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету.

— Садитесь, подадут,— сказал он, вновь увлекаясь чтением.

Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком.

— Что вы читаете? — спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова: «принцессу мою светлоокую...»

— Хе-хе! — сказал он.— Так себе, театральная пьеса. «Принцесса Греза». Сочинение Ростанова. Хотите посмотреть?

— Нет, не хочу. Я читал. Вы довольны?

— Да,— сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления,— так, фантазия... О любви. Садитесь,— прибавил он,— сейчас подадут.

Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом.

— Ходят ли к вам цыгане? — спросил я.

— Цыгане? — переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги.— Ходят.— Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:

— Это погадать, что ли? Или зачем?

— Хочу сделать рисунок для журнала.

— Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин, художник? Очень приятно!

Но я все же мешал ему, и он, улыбнувшись, как мог широко, прибавил:

— Ходят их тут две шайки, одна почему-то еще не была этот день, должно быть, скоро придет... Вам подано! — и он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду.

Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь.

— Гражданин,— сказал я таинственно, как требовали обстоятельства,— я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей.

Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом.

— Хм...— сказал он.— Чего захотели!.. А что, это какая монета?

— Эта монета испанская, золотой пиастр,— объяснил я.— Ее привез мой дед (здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой, по матери, жил и умер в Толедо), но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками.

— Вот это правильно,— согласился буфетчик.— Обождите, я схожу в одно место.

Он ушел и вернулся через две-три минуты с прояснившим лицом.

— Пожалуйте сюда,— объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения,— вот сидите здесь, сейчас все будет.

Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня

привел,— узкую комнату с желто-розовыми обоями, табуретами и столом со скатертью в жирных пятнах,— буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил.

— Сдачи не будет,— сказал буфетчик,— и, пожалуйста, чтоб тихо и благородно.

— Тихо, благородно,— подтвердил я, наливая вторую порцию.

В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь, и низкий, гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, отряхивая снег; несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.

— Явилось, фараоново племя,— сказал буфетчик,— хотите, посмотрите, какие они, может, и не годятся!

Я вышел. Посреди залы, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро пошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах.

— Дай погадаю,— сказала она низким, твердым голосом,— счастье тебе будет, что хочешь скажу, мысли узнаешь, хорошо жить будешь!

Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую «джеттатуру» — условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем,— настолько же теперь, поспешно и охотно, ответил:

— Гадать? Ты хочешь гадать? — сказал я.— Но сколько тебе нужно заплатить за это?

В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошел буфетчик и старуха цыганка.

— Заплатить,— сказала старуха,— заплатить, гражданин, можешь, сколько твое сердце захочет. Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу!

— Что же, погадай,— сказал я,— впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда!

Я взял молодую цыганку за — о боги! — маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо, чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их.

— Дай корочку хлеба,— тотчас заговорила моя смуглая пифия и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца; затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной натуры. Она жевала, а старуха равномерно твердила:

— Положи на ручку, тебе счастье будет! — и, вытащив колоду черных от грязи карт, обслюнила большой палец.

Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез.

— Цыганки! — сказал я.— Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я.

Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.

— Вот что скажу тебе: ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время.

— Ну, скажи, будешь цыган! — захохотала она.

Я продолжал:

— Ты скажешь мне...— и тихо прибавил: — Как найти человека, которого зовут Бам-Гран.

Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыла лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и, уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом:

— Молчи! Все скажу, ожидай здесь; тебя не знаем, толковать будем!

Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои «захолонуло», как будто в ночи над ухом,

чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку специи, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный, резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот; его капли блестели на лбу старика и висках цыганок, и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет мое лицо.

— Зачем такое слово имеешь? — произнес он.— Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем; не расскажешь, верить не можем!

Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами.

— Все верно говоришь,— сказала мне старуха,— истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, е г о знаем, только идти не можем. Сам ступай, как — скоро скажу. По картам тебе будет и что надо делать — увидишь. Говорить по-русски плохо умею; не все сказать можно; дочка моя тебе объяснять будет!

Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза; затем положила четыре ряда карт, один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине.

Та, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха.

— Вот,— сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений,— одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к н е м у пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронуто. Сердце разгорелось твое,— повторила она,— что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю? Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел.

Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул.

— Это правда,— сказал я,— сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше.

— Туда придешь...— она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой.— Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся, что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь — огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что сделается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалей, брат, тебе счастье будет.

Старуха тоже начала попрошайничать.

— Сколько же тебе дать? — сказал я, не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.

— Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо скажу! — повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.

Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу.

— Ну, держи,— сказал я красавице.

Взглянув подобострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик; старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.

— Положи, положи на ручку, не жалей бедной цыганке! — завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.

— Больше не дам,— сказал я, однако прибавил к даянию своему еще пять штук.— Замолчите или я скажу Бам-Грану!

Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк; лишь старуха вздохнула тяжко, как будто у нее умер ребенок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.

— Не раскрывай на воздухе,— сказал цыган,— раскрой как придешь, положи на стол, будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Все равно у меня будет, место себе найдет. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали — не сердись.

Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.

— Скажи мне еще, кто такой Бам-Гран? — спросил я, но он только махнул рукой.

— У него спроси,— сказала старуха,— больше мы ничего не скажем.

Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Их поразил я. Я видел, что их изумление огромно, ошеломленность и поспешность угодить смешаны со страхом, что в их жизни произошло с о б ы т и е. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание, поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддался я соблазну узнать будущее.

— Убежали, фараоново племя! — сказал он, смотря на меня с мрачным интересом.— Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?

Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы строем теней. Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.

Я отошел подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нем прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на место, то есть к Броку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говоря «должен», я подразумеваю долю скептицизма, которая еще осталась во мне вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твердо. Но я не знал, что произойдет, иначе потерпел бы еще не один час.

Остановясь на углу, я развернул платок и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света — точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы как при свете зеленого угля. Конус был довольно тяжел, высотой дюйма четыре и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался темно-лиловым.

Увлеченный и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частей и теней, подобных черному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зеленым огнем. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны; он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперед, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросши, пропал за пределами конуса; резко, прямо мне в глаза сверкнул дивный зеленый луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском, и не прошло секунды, как ужасное, зеленое зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха,— возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени.

Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И однако, это мгновение было чревато событиями.

Еще дрожал в моих пораженных глазах всеразрывающий блеск, полный слепых пятен, но как гигантская стена рухнул наконец мрак, такой мрак, благодаря мгновенному переходу от пределов сияния к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясясь, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое «а-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов. Лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь; грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересек пожарный обоз, мчась, видимо, наудачу, куда придется. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и все проскакало, исчезнув, как стремительная атака.

Что произошло еще в этот вечер с перепуганным населением — я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошел, но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире.

— Вам Брока? — сказал он.— Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас.

Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне: приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать.

— Ах, эта зубная боль! — сказал жилец.— Я сам

хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?

Я кивнул, разрешив, таким образом, затруднение, которое, хотя было пустячным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирал комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне, но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему ни слова не говоря золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.

Схватясь за щеку, я вошел в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помраченному болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилье Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу, между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение.

Подступив к картине, я всмотрелся в нее, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бам-Грана. Как ни был силен толчок мыслям, произведенный ужасным опытом на улице, даже втрое более раскаленный мозг не привел бы сколько-нибудь сносной догадки. Еще раз подивился я великой и легкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей, ее мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так, на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка,— не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы; сквозь стекло я видел ее, снятую, маленькую, существующую о с о б о, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, я приметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своем месте, и шляпки винтов шарнира, причем было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчетливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчетливости и подозревать, не расстроено ли собственное мое зре-

ние, но, спохватясь, извлек из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность.

Зеленая черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зеленый фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании.

Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая с силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зеленого фонаря. Все, за исключением электрической лампы, казалось зеленым. В окнах до отдаленнейших крыш протянулись яркие зеленые коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело! Вокруг электрической лампы начала сгущаться желтая масса, дымящаяся золотым паром; она, казалось, проникает в стекло, крутясь там как кипящее масло. Уже не было видно проволочной раскаленной петли, вся лампочка было подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня как потоп.

Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдаленно напоминали обычное человеческое сознание. Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего — по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но, может быть, вы оцените мое напряженное, все отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения так, как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной д у ш е в н о, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою: о с е б е не помнят, действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе.

То, что произошло затем, я приведу в м о е й последовательности, не ручаясь за достоверность.

— Откройте! — кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека.

Но это ломились в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки; из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол, вниз, за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур; из рам вывалились подобия кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цибика, и убедился, что ели картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую «пару ворон». В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.

Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным.

Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пень, обросший травой. Все колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тропе мимо меня пробежал осел, нагруженный мехами с вином; его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной

бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе, под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа; все это было отчетливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука: движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за целость рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал, лишь пропал разом зеленый блеск и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из нее шел ясный дневной свет, в то время как окна броковского жилища были по-ночному черны.

Я говорю: «Свет шел из нее», потому что он действительно шел с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал свое ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил ее в задний план того, что продолжал называть картиной; и я видел, как монета покатилась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы; затем все стало как по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской, и на ней, в черной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая, бессознательно для меня, отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моем положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно: вид плохой, плохо обставленной комнаты, погруженной в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки; и это была железная печь в той камнате, из которой я перешел сюда.

Я принадлежу к числу людей, которых загадочное

не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза, но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отраженной изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок: спокойно я подошел к окну и твердой рукой отвел раму, чтобы разглядеть город. Каково было мое спокойствие, если теперь, только вспоминая о нем, я волнуюсь неимоверно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие — состояние, в каком я мог двигаться и смотреть.

Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.

Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной.

Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.

Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора.

Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет.

Я был снова в границе обычных чувств. Они верну-

лись из огненной сферы опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.

Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бам-Грана, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке; он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач и от ожидания.

Бам-Гран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе.

— Я знал, что увижу вас,— сказал он,— и хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это — Зурбаган, Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший Зурбаган шутников, подобных мне!

Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку.

— Вы смелы, дон Каур,— воскликнул он,— и это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?

— Жажду,— сказал я.— Воздушное давление изменилось, а волнение было велико!

— Я понимаю.

Он сжал мордочку фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал:

— Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду.

Собака, тявкнув, унеслась прочь.

— Нет, нет,— сказал Бам-Гран, заметив мое невольное движение,— это лишь отличная дрессировка. Слово «Ремм» значит — бежать к Ремму, а Ремм знает сам, что сделать, завидев Пли-Пли. Между тем дорожите временем, сеньор Каур,— вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Ремм, как умилительна твоя быстрота!

Вошел слуга. Он был в белой пижаме, с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цвет-

ного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания.

— Лед весь вышел, сеньор!

— Возьми в Норвежском фиорде или у Сибирской реки!

— Я взял Ремма с Тристан д'Акунья,— сказал Бам-Гран, когда тот ушел,— я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в о с о б у ю для себя минуту. Выпьем!

Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее, но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.

— Итак,— сказал он,— «Фанданго!» Это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван-Герда.

Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бам-Гран. И я мысленно напевал его.

— Барселона не Зурбаган,— сказал я,— а потому не знаю, каким р а д и о вы дадите этот оркестр!

— О простота! — заметил Бам-Гран, вставая с несколько заносчивым видом.— Ван-Герд, сыграйте нам «Фанданго» в переложении Вальтера.

Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты:

— Очень хорошо! Сейчас.

Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бам-Гран, закусив губу, прислушался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать.

Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынуло наконец полной мерой единственное «Фанданго», о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств, и тем не менее оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал как зазвеневшее от грома стекло. С трудом понимал я, что говорит рядом Бам-Гран, и бессмысленно посмотрел на него, кружась в стремительных кругообразных наплывах блестящего ритма. «Все уносит,— сказал тот, кто вел меня в этот

час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию,— уносит, разбрасывает и разрывает,— говорил он,— гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное «Фанданго»!»

Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции; тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес.

Я очнулся как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.

— Вы видите,— сказал Бам-Гран,— что у Ван-Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще д е с я т ь минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бам-Грана!

Он встал, я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный быстрым как полет ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.

— Теперь м н е не следует оставаться здесь,— сказал Бам-Гран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене известки, рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство с его острой фигурой.— Прощайте!

Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один...

Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом.

В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор — двор дома, в котором я жил.

Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под № 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки: «Марья Степановна Кузнецова».

Под этой доской висела моя визитная карточка, ко-

торую я прикрепил кнопками. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась.

Я прочел: «Александр Каур» и «и», выведенное чернилами «и». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила: «и Елизавета Антоновна Каур». Так! Я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое, закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня; между тем два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни.

Я вскочил внутрь и обнял жену.

— Это ты? — сказал я.— Это ты, это ты?

Я сжимал ее, повторяя:

— Ты, ты, ты?..

— Что с тобой? — сказала она, освобождаясь, с пораженным, бледным лицом.— Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?

— Скоро?!

— Пойдем.— Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.

В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть; я прошел в комнату и сел на кровать.

Я сидел не двигаясь, Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках.

— Слушай, что произошло? — сказала она глухо, в разрастающемся испуге.— На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?

— Лиза, скажи мне,— заговорил я, взяв ее за руку,— и не пугайся вопросов: когда я вышел из дома?

Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был

неестественно звонок; не отрываясь она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры.

— Ты вышел в почтовое отделение минут двадцать назад, может быть, полчаса.

— Я сказал что-нибудь, уходя?

— Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь «Фанданго».

Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо.

— Какой теперь год?

— Двадцать третий год,— сказала она, заплакав, но не утирая слез и, вероятно, не замечая, что плачет.

Необычным было напряжение ее взгляда.

— Месяц?

— Май.

— Число?

— Двадцать третье мая тысяча девятьсот двадцать третьего года. Я схожу в аптеку.

Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери.

Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было *мое* прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако *мне* предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же два фунта, как и *какое-то* время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших двух лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы небывшее.

— Саша! — Лиза стояла передо мной, протягивая пузырек.— Это капли, прими двадцать пять капель. Прими...

Но следовало наконец дать движение и выход всему. Я посадил ее рядом с собой, сказав:

— Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из *этой* комнаты. Я вышел из *той* комнаты, в которой жил до встречи с тобой в *январе тысяча девятьсот двадцать первого года*.

Сказав так, я взял желтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры.

Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины может только повторение этого разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала:

— Ты бредишь! Ты пугаешь меня! И ты хочешь, чтобы я поверила?

Тогда я указывал ей на золотые монеты.

— Да, правда,— говорила она, закруженная безвыходным положением рассудка так, что могла только сказать: — Фу! Если я ничего не пойму, я умру!

Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Мое спокойствие постепенно передалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озаренным улыбкой.

— Ну, я просто дура! — сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы — признак конца душевной бури.— Очень понятно! Все перевернулось и в перевернутии оказалось на своем месте!

Я подивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего.

После этого она снова заплакала, и я спросил — почему?

— Но ведь тебя не было два года! — проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего жилета.

— Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут.

— А все-таки...

С этим я согласился, и, еще немного поговорив, Лиза как сраженная уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо, стремясь по следам жизни или видения? На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.

Я достиг «Мадрида» почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов; увидев меня, он бросился ко мне, тряся мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.

— Вот и вы,— сказал он.— Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?

Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обыкновенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру.

— Итак,— сказал я, не утерпев,— вы сдержали, Терпугов, свое слово, которое дали мне два года назад!

Он хитро посмотрел на меня.

— Хе-хе! — сказал бывший повар.— О чем вспомнили! Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивши и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить!

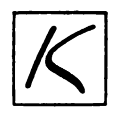
Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я был тоже прав и о правоте своей, склоняясь к уху Терпугова, шепнул:

В равнине над морем зыбучим,
Снегом и зноем полна,
Во сне и в движенье текучем
Склоняется пальма-сосна.

— Хе-хе! — сказал он, наливая в стакан мадеру.— Шутить изволите!

Был вечер. Моросил дождь.

АКВАРЕЛЬ



лиссон проснулся не в духе.

Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход «Деннем».

Должность кочегара предназначалась Клиссону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы «Деннем» ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клиссон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у нее всегда было много работы.

Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, Клиссон курил папироску и размышлял: каким образом получить крону? День был праздничный;

вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса.

Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клиссон, смотря на желтые и белые цветы, представлял, что это — серебряные и золотые монеты. Он насчитал сорок штук и вздохнул.

Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол.

В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух кроватей и старого плетеного кресла. За дверью, в углу, целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки; пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины с грязным бельем распространяли запах тлена и сырости.

Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку, она выразительно откатилась, напомнив Клиссону, что надо опохмелиться.

Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у нее денег, Клиссон понуро оделся; опасаясь повторения вчерашних нападок, он не торопился вступать в разговор.

Они стали молча пить чай. По тому, как Бетси вырвала из руки кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клиссон мрачно убедился, что прачка не забыла «Деннем». Терять было нечего. Клиссон сказал:

— Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг?

— А будь я проклята, если дам,— спокойно ответила Бетси.— Я пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать; начну пить, как ты.

Они поругались, потом затихли. Клиссон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал:

— Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь. Надела рубашку чужую, с кружевами, и хвасталась!

— Так ты мне не давал бы пить. Я столько не пила прежде. Теперь пью и буду пить, а денег не дам.

Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. Едва жена скрылась, Клиссон подскочил к корзине и разрыл белье в том месте,

куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клиссон взял крону и быстро привел белье в порядок, сев затем снова к столу.

Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на Клиссона, но не догадалась о краже. Вздохнув, она стала вытряхивать за окно одеяло, а Клиссон спрятал кепи во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну; он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая.

В переполненном вагоне Клиссон окончательно успокоился.

Приехав через полчаса в город, Клиссон полюбовался своей кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрогнул: Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, невольно остановясь, втянул голову в плечи.

Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клиссону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и клетчатого платка, приближающихся с неумолимой быстротой, расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству, и Клиссон устремился прочь, разглядывая все двери и входы с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик: «Не уйдешь, подлец!» — Клиссон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой соображения, вызванной ужасом, Клиссон прочел надпись овального щита: «Весенняя выставка акварелистов» — и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена и что Бетси потеряла из вида его убегающую спину.

Клиссон прошел в зал, где с высоких стен глянуло на него множество лиц. В его планы не входило критиковать Смайльса и Дежруа; он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем... явственно признал Бетси: она, холодно улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были прищурены, и она не видела

ничего и никого, кроме Клиссона, взявшего ее крону.

— Не ушел? — сказала Бетси ледяным тоном.— Пойдем-ка поговорим.

— Только не здесь,— взмолился Клиссон, устремляясь вперед.— Здесь выставка... Я поехал на выставку... Где же ты была? Не видел тебя в трамвае...

— В следующем вагоне. Ответь: долго будет так? Подлец!

— Я не на привязи у тебя,— огрызнулся Клиссон, шагая все быстрее среди толпы.

Стараясь говорить тихо, они бранились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала. Вороватая душевная тяжесть Клиссона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку, подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клиссон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним как проникающее в дерево сверло, и Клиссон начал останавливаться возле картин,— хотя ему было не до картин,— выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный шепот: «Бездельник! Лицемер! Пьяница!» — или: «Немедленно уходи отсюда! Отдай деньги!»

— Замолчи! — сказал Клиссон так громко, что, побоясь скандала, женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую Клиссон уставился исподлобья, как на улыбающегося врага. Человек десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникающего сквозь листву и падающего на заросшую плющом стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клиссону знакомой.

— Похоже, что это наш дом,— произнес он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь.

— Сбрендил ты, что ли?

Но чем больше прачка всматривалась в картину, тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная крона. Она узнала окна, скамейку; узнала ветви клена и дуба, между которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов — все это не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и Клиссон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, пере-

бивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет.

— За крыльцом помойное ведро; его не видно! — радостно заявила Бетси.

— Да-а... а внутри-то?! Хоть бы ты подмела,— с горечью отозвался Клиссон.

Они отошли в угол; там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и складным стулом.

— Я тогда же подумала,— сказала она,— идет и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить,— ни на кого не похож! А ты пропадал три дня. Два дня я тебя искала.

Они наговорились и вернулись к картине, так необычно уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось Клиссону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала:

— Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет! Посмотрите на плющ!

Услышав это, Клиссон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала действовать, они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом.

Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем второй год»,— мелькнуло у них. Клиссон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок.

— А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Ребен,— сказала Бетси,— потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук не жалею. Ну... раз уж украл, так поди выпей... только не на все.

Клиссон помолчал, затем шепнул:

— Пойдем. Я выпью. Уж раз я сказал, я слово свое держу. Завтра надо поговорить с Гобсоном — Гобсон обещал мне место, если Снэк откажется.

— Будь уверен, что тебя водят за нос.

— Ну, ничего, выпьем, с Гобсоном поговорим.

Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо.

ЭЛДА И АНГОТЭЯ

I

Готорн пришел за кулисы театра Бишома. Это произошло в конце репетиции. Она кончилась. Стоя в проходе среди ламп и блоков, Готорн вручил свою визитную карточку капельдинеру с тем, чтобы он понес ее Элде Сильван.

После того, входя в ее уборную, он снова был поражен ее сходством с фотографией Фергюсона.

Элда была в черном платье, устремляющем все внимание на лицо этой маленькой, способной актрисы, которая еще не выдвинулась, благодаря отсутствию влиятельного любовника.

Она была среднего роста, с нервным и неровным лицом. Ее черные волосы, черные большие глаза, которым длинные ресницы придавали выражение серьезно-лукавой нежности, чистота лба и линии шеи были очень красивы. Лишь всматриваясь, наблюдатель замечал твердую остроту зрачков, деловито и осторожно внимающих тому, что они видят.

Ее свободная поза — она сидела согнувшись, положив ногу на ногу — и мужская манера резко выдыхать дым папиросы освободили Готорна от стеснения, сопровождающего всякое щекотливое дело.

— Душечка,— сказал он,— вам, вероятно, приходилось встречать всяких чудаков, а потому я заранее становлюсь в их ряды. Я пришел предложить вам выступление, но только не на сцене, а в жизни.

— Это немного смело с вашей стороны,— ответила Элда с равнодушным радушием,— смело для первого знакомства, но я не прочь ближе познакомиться с вами. Единственное условие: не тащите меня за город. Я обожаю ресторан «Альфа».

— К сожалению, малютка, дело гораздо серьезнее,— ответил Говард.— Сейчас вы увидите, что выбор

мой остановился на вас совершенно исключительным образом.

Актриса, изумясь и в то же время подчеркивая изумление игрой лица, как на сцене, заявила, что готова слушать.

— Во время своих прогулок я познакомился с неким Фергюсом Фергюсоном: зашел в его дом напиться воды. Дом выстроен на Тэринкурских холмах. Фергюсон существует на пенсию, оставленную ему мужем сестры. Фергюсону — лет сорок пять; его прислуга ушла, тяготясь жить с больным. Он помешанный и в настоящее время умирает. Основным пунктом его помешательства является исчезновение жены, которой у него никогда не было; это подтверждено справками. Возможно, что, будучи нестерпимо одинок, он, выдумав жену, сам поверил в свою фантазию. Так или иначе, но фотография Анготэи — так он называет жену — изумительно похожа на вас, а вас я видел на сцене и в магазине Эстрема. Это необыкновенное сходство дало мне мысль помочь Фергюсону обрести потерянную жену. Откуда у него фотография — неизвестно. Я думаю, что он когда-то ее купил.

— Вот как! — сказала возмущенная Элда.— Вы сватаете меня без спроса, да еще за безумного?!

— Имейте терпение,— перебил Готорн.— Фергюсон умирает, я уже вам сказал это. У меня мало времени, но я должен кончить мой рассказ. В день свадьбы Анготэя отправилась одна по тропе, на которой находится отверстие. Оно — в тонкой стене скалы, перегородившей тропу. Часть тропы, позади овала, так похожа на ту дорожку, которая подводит к нему, что в воображении Фергюсона овальное отверстие превратилось в таинственное зеркало. Он убежден, что Анготэя ушла в зеркало и заблудилась там. По расчету врача, ему осталось жить не более двенадцати часов. Мне хочется, чтобы он умер не тоскуя. И увидел ее.

— Ну, ну!..— сказала Элда, немного помолчав из приличия.— Забавно. Странный сентиментальный дурак. Извините, не нравятся мне такие типы. Но скажите, к чему вся эта история?

— Она вот к чему,— строго ответил Говард,— не согласитесь ли вы быть полчаса Анготэей? Потому что он призывает ее. Это человек прекрасной души,

заслуживающий иной судьбы. В случае вашего согласия назначайте сколько хотите.

При последних словах Готорна лицо Элды стало неподвижно, как бездыханное; зрачки хранили расчет.

— Что же я должна говорить? — быстро спросила она.

— Примерно я набросал.— Готорн подал листок бумаги.

Шевеля губами, Элда стала читать.

— Нет, все это изумительно,— сказала она, опуская бумагу.— У меня смятка в голове. Скажите: вы сами — не психиатр?

— Нет,— спокойно пожаловался Готорн.— Я — патолог.

— А! — протянула она с доверием.— Обождите: я попробую. Выйдите пока.

Готорн вышел и стал ходить около двери. Она скоро открылась, и Элда кивнула ему, приглашая войти.

— Я думаю, что мы это обстряпаем,— сказала актриса, усиленно куря и отгоняя рукой дым от глаз, холодно и ревниво изучавших Готорна.— Прежде всего — деньги. Сколько вы намерены заплатить?

— Десять тысяч,— сказал Готорн, чтобы ошеломить ее.

— Что-о-о?

— Я сказал: десять тысяч.

— Преклоняюсь,— сказала Элда, низко склоняясь в шутливом поклоне, который неприятно подействовал на Готорна, так как вышел подобострастным.— На меньшее я бы и не согласилась,— жалко и жадно добавила она, хотя думала лишь о десятой части этого гонорара.— Еще одно условие: если этот ваш Фергюсон выздоровеет — я не обязана продолжать игру.

— Конечно,— согласился Готорн.— Итак — в автомобиль. Он здесь, собирайтесь, и едем.

II

Окончательно сговорясь, они вышли, уселись в автомобиль и поехали к Тэринкурским холмам.

Во время этого путешествия, занявшего всего полтора часа, Элда почти молчала; ее ничто не интере-

совало за пределами, отчеркнутыми Готорном, которые она находила вполне достаточными технически. Она смотрела перед собой, что-то упорно обдумывая. Вдруг, когда автомобиль выехал на дорогу, вившуюся над пропастью, с лесом внизу и с медленно слетающими ручьями, а Готорн хотел обратить ее внимание на резкую прелесть этой картины, она сказала:

— Я должна говорить только так, как у вас написано? Ваше не совсем подходит. Надо проще: хотя он и видел ее только в бреду, но тут ведь будет уже не совсем бред.

— Пожалуй,— сказал Готорн, для которого случай этот был и экспериментом, и делом сострадания.— Довольно вашего лица. Вашего сходства с несуществующей Анготэей.

— Нет, этого мало.

— Делайте как хотите, лишь с сознанием великой ответственности.— И затем Готорн, указывая рукой, добавил: — Вот еще пропасть; видите там тени в тумане? Красивый хоровод пустоты.

— Да,— ответила рассеянно Элда.— Я хочу спросить: деньги будут уплачены немедленно?

— Без сомнения.

— Благодарю вас.

Она опять погрузилась в раздумье, и ее вывел из задумчивости Готорн, указавший Элде на тропу, вьющуюся среди кустов.

— Мне кажется,— сказал он,— что вам следовало бы взглянуть на воображаемое «зеркало», на тот просвет в скале, в который, по утверждению Фергюсона, ушла Анготэя.

— Да, чтобы настроиться,— согласилась Элда.— Доброму вору все в пору. Это не далеко?

Успокоив ее, Готорн велел остановить автомобиль, и они пошли по тропе. Тропа шла над отсеченным обрывом, и вот — показалось то, очень правильной формы, высокое овальное отверстие в поперечном слое скалы, о котором он говорил. Действительно,— и позади, и впереди этого отверстия,— все было очень похоже; симметрия кустов и камней, света и теней,— там и здесь,— не касаясь, конечно, частностей, были повторены на удивление точно.

Рассмотрев отверстие, Элда переступила овал, прошла вперед шагов десять и бегом вернулась обратно.

— Это, собственно говоря, ничего не дает,— заявила она Готорну.— Так мы поедем теперь?

Ехать оставалось немного. Они вернулись в автомобиль и, обогнув большую скалу, остановились. Стоявший в лесу небольшой каменный дом был виден крышей и отвесом стены. Показав Элде тропинку, ведущую к нему, Готорн, условившись, что придет за ней через полчаса, удалился в сомнениях, что привез женщину, сущность которой могла сказаться невольно, обратив все это запутанное и рискованное милосердие в смешное и тяжелое замешательство.

Когда он ушел, Элда отправилась переодеваться в кусты, гоня назойливых мух и проклиная траву, коловшую подошвы ее босых ног. Но деньги — такие деньги! — воодушевляли ее. И тем не менее в этой дурной и черствой душе уже шла, где-то по каменистой тропе, легкая и милая Анготэя, и Элда наспех изучала ее.

III

Не заходя в комнату Фергюсона, Готорн попросил сиделку позвать доктора, огромного, всклокоченного человека, а когда тот пришел, ввел его в отдаленное от больного помещение и стал расспрашивать.

— Он лежит очень спокойно,— сказал доктор,— молчит; иногда берет фотографию и рассматривает ее; силы оставляют его так быстро, как сохнет на солнце мокрое полотенце. Изредка забывается, а очнувшись, спрашивает, где вы.

— Я ее привез,— сказал Готорн.— Что же, можно ввести?

— Мое положение затруднительно,— ответил доктор, подходя с Готорном к окну и рассматривая вершины скал.— Я знаю, что он умрет не позже вечера. Однако возможно ли рисковать на случай прозрения, наступающего иногда внезапно, при маниакальном безумии, в случае потрясения нервной системы. Я хочу сказать, что возможен результат, противный желаемому.

— Как же быть?

— Я не знаю.

— Я тоже не знаю,— сказал Готорн.

Наступило насупленное молчание. Готорн искал

ответа в себе. Тени скал уверенно покрывали провалы. Он оставил доктора и пошел было к Фергюсону, но вернулся, говоря:

— Я не знал, но теперь знаю. Ко мне вернулась уверенность. Но, доктор, мы с вами к нему не выйдем. Мы будем в соседней комнате смотреть в дверь.

Выйдя через веранду, Готорн поспешил к тому месту, где его ждала Элда, и застал ее сидящей на камне.

Уверенность его возросла, когда он посмотрел на нее, готовую играть роль. Резкая прическа исчезла, сменясь тяжелым узлом волос, открывавшим лоб. Лицо Элды, очищенное от грима и пудры, с побледневшими губами, выглядело обветренным и похудевшим. Босая, в рваной, короткой юбке, в распахнутой у шеи блузе, с висящим в сгибе локтя темным платком, она внезапно так ответила его тайному впечатлению о вымышленной женщине, что он сказал:

— Я доволен, Элда. Я вижу — вы угадали.

— Угадала? Бросьте,— ответила Элда, протирая зубы раствором яблочного железа, чтобы уничтожить табачный запах.— Все-таки я шесть лет на сцене. Что же, пора идти?

— Да, пора. Ну, Элда,— Готорн крепко сжал ее руки,— смотрите. Вы должны понимать. Вы — женщина.

Она пожала плечами и отвела взгляд. Ей хотелось как можно скорее развязаться с этой мрачной историей и вернуться домой. Они молча достигли дома и, пройдя три заброшенные, неопрятные комнаты, остановились перед полуоткрытой дверью, в свете которой видна была кровать с исхудавшим, на подушках, лицом Фергюсона, обросшим полуседой бородой.

Готорн заметил доктора, который уже сидел, согнувшись на стуле, поставленном так, что из полутьмы закрытых ставен этого помещения была ясно видна картина раскрытой двери.

Элда глубоко вздохнула.

— Я боюсь,— прошептала она, но тотчас же, начиная неуловимо изменяться, стала так близко на свете дверей, что ее лицо осветилось. Ее нога три раза шевельнула пальцами, и она мысленно сосчитала: раз, два, три. Затем, в слезах, ликуя и плача, Элда быстро подбежала к постели.

Доктор невольно встал, похолодев, как и Готорн,

которого искусно сделанное Элдой преображение освободило от напряжения и ожидания. Тяжесть свалилась с него. Он передал Фергюсона в опытные и ловкие руки.

— Наконец я здесь! — услышал он с восхищением верные и живые звуки голоса Элды, полного страстного облегчения.— Как будто вечность прошла! Встречай бродягу свою, друг мой. Ты меня не забыл? Если не забыл, то прости!

Фергюсон сел и, прислонившись затылком к стене, протянул руки. Он смотрел исступленно, как сталкиваемый в пустоту. Но вокруг влажных его зубов, обведенных исхудавшими губами, широкая и острая сверкала улыбка. Ни сказать, ни крикнуть он не мог, лишь задыхался, все сильнее выгибая вперед грудь и закидывая лицо. Наконец он мучительно закричал, и этот его крик — «Анготэя!» — был так ужасен, что доктор и Готорн бросились в комнату. Больной бился и хохотал, заливаясь слезами. Придерживая его руки, Готорн заметил, что Фергюсон никого не видит, кроме Элды; изо всех своих последних сил он смотрел на нее.

— Анготэя,— прошептал он,— ты теперь не будешь ходить одна?

— Никогда,— сказала Элда.— Я была далеко, но всегда помнила о тебе. Я изголодалась и напугалась; ноги мои устали и изранены. О, как там было все немило и чуждо! Стены стояли кругом, внизу слышался рокот. Никак нельзя было выйти из скал. Но зеркало-то — разбито...

Готорн с удивлением слушал, как она легко и естественно перевирает его бумажный набросок.

— Разбейте его,— сказал Фергюсон,— прочь дрянное стекло!

— Я разбила его камнем,— подтвердила Элда. Она закрыла одеялом ноги Фергюсона, уставила подушку между стеной и затылком, потом встала на колени перед кроватью и взяла руку больного. Потеревшись лицом о его колено, она вытерла слезы. Другая рука Фергюсона, вырвавшись из руки доктора, протянулась и коснулась ее лба концами дрожащих пальцев.

— Дурочка...— сказал Фергюсон, потом закрыл глаза и стал умирать. Его голова тряслась вначале резко, потом все тише, и он медленно упал на подуш-

ку с уже умолкшим лицом,— лишь в его вздувшихся ребрах еще не прекращалась мелкая дрожь.

Доктор открыл веки Фергюсона и пощупал пульс.

— Агония,— сказал он очень тихо.

Элда поднялась с пола. Испуганно взглянув на умирающего, она потерла занывшее колено и выбежала переодеться.

Когда она возвратилась, умерший был уже закрыт простыней. Доктор и Готорн сидели у стола в другой комнате и рассматривали его бумаги.

При входе Элды они встали, и Готорн поблагодарил ее, прибавив, что лишь характер случая мешает ему воздать должное ее таланту, который она употребила на, может быть, странное, но истинно человеческое дело.

— А вы — как?! — спросила она доктора.

— Превосходно,— ответил доктор.— Но мне трудно говорить об этом теперь.

Элда подошла к Готорну, чертя на полу концом зонтика запутанную фигуру.

— Вот что,— сказала она с детским выражением больших прямых глаз.— Вы заплатите чеком или наличными? Согласитесь, что завтра банки закрыты.

— Наличными,— сказал Готорн, передавая ей приготовленный пакет с пятьюдесятью ассигнациями.

Вспыхнув от удовольствия, Элда понесла пакет на свободный угол стола. Там она присела считать. Доктор долго смотрел, как она считает ассигнации, затем нахмурился и закрыл глаза.

Досчитав, Элда шевельнула губами, с сомнением посмотрев на Готорна.

— Не хватает семидесяти пяти,— сказала она.— Я считала два раза. Сосчитайте сами, если не верите.

— Я верю и прошу извинить мою рассеянность,— сказал Готорн, добавляя нехватающую сумму.— Теперь идите к автомобилю. Я уже приказал отвезти вас обратно.

— Благодарю,— сказала она, счастливая, усталая и закруженная своей удачей.— Ну, всего хорошего... От меня немного цветов вашему чудаку. Но только две буквы «Э.» и «С.».

Проводив ее и посмотрев на ее затылок в круто завернувшем автомобиле, Готорн вернулся к доктору, который сказал:

— Она слаба в арифметике.

— Я сделал это нарочно, так как понял ее и знал, что она будет считать. Я сделал так затем, чтобы окончательно отделить Элду от Анготэи...

ИЗМЕНА

I

Годвин уехал так весело, что покачивался даже в окне вагона, а провожавшие его Бутс, Томас, Лей и Брентган, обнявшись, пустили по ветру свои платки, которыми махали счастливцу, прощенному отцом за беспутство и едущему загладить прошлое среди богобоязненных теток.

Кстати — отцу Годвина оставалось недолго жить.

— Летела муха на патоку! — закричал Годвин из окна.

— Летела муха на па-а-току! — грянул хор друзей, и, содрогаясь от скуки, поезд ушел из города в синюю степь.

Кая Брентгана ждала домой его жена, Джесси, но, растворясь в цветных жидкостях, он был далек от процесса кристаллизации и уехал в страну оркестров, где почему-то раздавался звон битой посуды.

Утром Брентган проснулся у Лея. Ему казалось, что он покинул мир качалок, поставленных на аэроплан. Белокурый, стройный Лей сидел против него и, растирая розовую шею, прихлебывал красное вино. На его нежном лице было удрученное выражение кряхтящего старика.

— Что произошло? — сказал Брентган, поднимаясь с кушетки и стараясь отыскать просвет в своей памяти, сплавленной в безобразный шлак.— Я ничего не помню. Дай мне стакан вина.

Лей налил ему; Брентган жадно выпил, и его покинуло противное ощущение спрятанной во рту толстой рыбы. Но ничуть не яснее было в оглушенном мозгу.

— Мы хотели отправить тебя домой, но ты поехал ко мне. Ты не хотел, чтобы Джесси видела твое состояние.

— А Бутс? Томас?

— Не знаю. Они задержались у наших маленьких гейш: Греты и Сандрильоны. Ты был очень мил с девушками.

— Послушай,— сказал Брентган,— я ничего не помню с момента, когда начал пить на пари в «Китайском принце». Подними занавес!

— Лучше я его опущу! — расхохотался Лей.— То, что ты называешь «занавесом», есть лишь полог кровати одной пикантной детки.

— Но это ты выдумал! — вскричал Брентган, помертвев и вскакивая.

— Неужели тебя могут расстроить такие пустяки?

— Не может быть! С кем?

— Я перепутал их имена, Кай. Тебя увела черненькая.

— Лей, ты солгал!

Лей побледнел, потом покраснел. Некоторое время он чувствовал себя отвратительно, но вкоренившееся презрение к верности и любви помогло ему заключить свой низкий поступок грязным намеком:

— Во всяком случае... риска не было. Уверяю тебя.

Брентган пристально вгляделся в равнодушное лицо Лея и, осунувшись от неожиданного удара, подошел к зеркалу.

Он спал одетый. Зеркало, когда он приводил одежду в порядок, видом покрасневших глаз и состоянием воротничка было на стороне Лея. Брентган отвернулся и подошел к телефону.

Лей, коварно смеясь, наблюдал приятеля, взявшего дрожащей рукой трубку.

— Алло, Бутс? Томас? Да, это Брентган. Нет, некогда. Скажи мне: действительно ли со мной это произошло?

Звучный, толкающий ухо голос Томаса произнес:

— Кай, старина, я догадался по слову «это». Не сомневайся. Думай, что у тебя прорезался зуб. Все в порядке.

— Будь проклят! — сказал Брентган.

— Не ругайся. Брось, милый Брентган. В каком столетии ты живешь? Нельзя же быть вечно смешным.

— Пожалуй, ты прав. Я смешон. Но где же эта квартира?

— Ты молодец; утренние визиты весьма приятны.

Томас сообщил адрес и прибавил:

— Бутс здесь. Он хочет с тобой.

— Хорошо,— солгал Брентган, чтобы отвязаться.— Скажи ему, что я заеду за ним.

Кончив этот разговор, Брентган с содроганием позвонил домой. Лей протяжно зевнул и пробормотал:

— Напрасно ты придаешь этому... придаешь... А-а-а-ах! О-о-о-а-х!

По-видимому, Джесси ждала звонка мужа, так как Брентган сразу услышал ее голос:

— Это кто? — И, как задевший по лицу конец бича, ее тревога передалась ему.— Надеюсь, ты приедешь немедленно.

— Я скоро приеду,— нервно сказал Брентган.— Вот случай! Проводы затянулись.

— Воображаю. Бутс уже сказал мне.

— Что он сказал? — оцепенев, крикнул Брентган.

— Что ты отправился к Лею. Где ты теперь?

— Я у Лея. Все ли благополучно?

— Да. Но... что с тобой?

— Так я приеду,— сказал Брентган, избегая ответа.

— Ну да... Я так жду...

Вдруг он почувствовал, что не в состоянии продолжать разговор, и, медленно опустив трубку, с болью внимал быстрым словам, мелко и неразборчиво отдающимся в сжатой руке. Что-то живое и бесконечно преданное трепетало внутри мембраны, только что перенесшей к нему сдержанное огорчение Джесси.

Догадавшись, с какой целью Брентган хочет ехать в квартиру девиц, Лей, несколько струсив, пытался его отговорить, ссылаясь на более интересное место, но Брентган почти не сознавал, что говорит Лей. Два раза Брентган сказал: «Да... Конечно... Ты прав»,— и вышел от него в дикой тоске, стремясь иметь точные доказательства. Приятели ужаснули его.

II

«Если произошло то, что я считал немыслимым в моей жизни с Джесси,— думал Брентган, когда такси везло его по мрачному адресу,— я должен буду ей об этом сказать. Иначе как бы я смог переносить ее взгляд? Я не виноват, я стал только внезап-

но и тяжко болен стыдом. Я стал болен тем, что стряслось».

Он вспомнил свою жизнь с Джесси, их любовь, понимание, близость и доверие. Над всем этим раздался злой смех. Брентган и Джесси были теперь такие же, как и все, с своей маленькой грязноватой драмой, до которой нет никому дела.

Брентган обратился к философии, именуемой парадно и гордо: «сеть предрассудков». Философия эта напоминала отлично вентилируемый пассаж, с множеством входов и выходов. На одном входе было написано: «Особенности мужской жизни», на другом: «Потребности в разнообразии», на третьем: «Наследственность», на четвертом: «Темперамент» и так далее; каждый вход помечен был хитрой и утешительной надписью.

— Все это хорошо,— сказал Брентган,— но все это не приложимо к т о й правде, какая соединяет меня и Джесси. В области желаний все может стать «предрассудком». Я могу выйти из такси и почесать спину об угол дома. Я могу не заплатить своих долгов. Могу сказать незнакомой женщине в присутствии ее мужа, что я ее хочу; если же муж вознегодует — сошлюсь на искренность и е с т е с т в е н н о с т ь своего желания. Так же всякий другой может подойти к Джесси, а я выслушаю его желания и буду продолжать разговор о красивых ногах Эммы Тейлор.

Чувство глубокого одиночества, совершенной, беззубой пустоты охватило его при этих образных заключениях.

— Но такая жизнь — только в танцах,— сказал Брентган.— Человечество изобрело танцы, как рисунок своих вождений.

Между тем решение вопроса лежало не в логике, а в прекрасном и редком чувстве Джесси к нему. Это чувство нельзя было трогать ни грубой, ни жестокой рукой.

Такси остановилось у недурного подъезда, и Брентган взошел на второй этаж, к двери с номером 3. Впервые он задумался над тем, что он скажет? Это естественное колебание было подавлено тревогой обокраденного, разыскивающего пропавшую вещь. Он вздохнул, выпрямился и позвонил.

III

Ему открыла женщина, которую Брентган не успел разглядеть, так как она тотчас убежала, кутая голые плечи в меховую накидку. Он прошел к раскрытой двери гостиной и остановился. Никто не появлялся, лишь в соседней комнате слышался шепот. Затем раздался смех и появилась девушка лет двадцати трех, в цветной пижаме и желтой юбке. Эта пижама и гладко остриженные черные волосы придавали ей больной вид. По равнодушию ее взгляда Брентган видел, что она знает его, но сам ничего не помнил. Зевнув, она протянула руку.

— Ах, это вы,— сказала девушка, рассматривая посетителя в тоне раздумья.— Других нет? Вы один?

— Один и ненадолго,— ответил Брентган с волнением чрезвычайным.

— Дело в том, что я адски хочу спать,— заявила она, идя за ним в гостиную и поигрывая пальцами в карманах пижамы.— Вы нас разбудили, молодой человек... а ваше имя? Ах, да... вы... этот... этот... Ренган? Если хотите, сидите и дожидайтесь, пока я прополощусь в ванной.

— Послушайте, Грета...

— Грета еще не встала. Вы перепутали.

Никакие усилия не помогли Брентгану вспомнить ни девушку, ни маленькую гостиную ярких тонов с роскошным трюмо и с концертино на низком столике рядом с конфетной коробкой, полной окурков. Запах вина и духов угнетал Брентгана.

— Послушайте,— сказал он,— со мной произошла дикая вещь. Я ничего не помню: ни вас, ни эту квартиру. Но мне сказали, что я был здесь...

— Да.— Девушка мрачно смотрела на посетителя; она испугалась.— Но вы не были со мной. Также и с Гретой. У вас что-нибудь пропало?

— Не был?! — вскричал Брентган, схватив ее руки.— Не был? Говорите, говорите! Я хочу знать правду. Правду о себе. Только это! Повторите еще!

— Прочь! — Она вырвала свои руки и отскочила.— Что вы хотите?

Он молчал, и она поняла его.

Ее крашеный рот двинулся неопределенным, жалким движением. Деланно рассмеявшись, она указала на кресло:

— Тут вы спали, и вас ничто не могло разбудить. Эти ваши приятели — дураки. Еще больший дурак — вы. Это они сговорились — понимаете? — сговорились водить вас за нос. Я слышала.

— Я так и думал,— сказал Брентган, сердце которого одним сильным ударом вышло из угнетения.

— Думал? Тогда вы не приехали бы сюда.

— Сюда? О, это не то... Простите меня. Я не мог представить, что... Но вы понимаете.

— Конечно, я понимаю,— сказала она, вся потускнев и смотря взглядом побитой.— Теперь идите к вашей жене и не беспокойтесь... Ваши приятели... о, они не любят вашу жену. Они говорят, что вы «пресноводное».

— «Пресноводное»? — Брентган весело рассмеялся.— Ну, пусть их...

Его охватила теплая, искренняя признательность к этой девушке с зачеркнутым будущим, которая поняла его состояние и не поддержала глупую травлю.

— От всего сердца благодарю вас! — сказал Брентган, снова беря ее руку и крепко сжимая узкие холодные пальцы.— Вы — благородное существо.

Ответом ему был неожиданный щелчок в нос, нанесенный так метко и зло, что Брентган вскрикнул.

— Зачем вы это сделали? — спросил он, потерявшись и задыхаясь от унижения.

— Уходите! — Она стояла в слезах, обозленная и растерявшаяся до того, что едва не кинулась на него.— Ступайте вон!

Не помня себя от стыда, Брентган вышел, вздрогнул от грома хлопнувшей двери и подозвал такси.

Стыд долго не покидал его. Лишь входя в свою квартиру, Брентгану удалось вернуть чувство веселья и счастья быть невиновным, говоря с Джесси.

IV

Он застал ее в кабинете, на самом верху лестницы, у книжного шкапа. Взяв нужную книгу, Джесси спустилась, опираясь рукой о плечо мужа, и сказала:

— Вот ты вернулся, и я спокойна теперь. Я знаю — что-то произошло.

— Да, произошло. Я расскажу, пока еще взволнован, чтобы ты видела, в каком я был состоянии. Оно

окончилось. Я был очень... очень пьян. Как животное.

— Да? Печально.— Джесси шутливо покачала головой и, видя, что Брентган затрудняется говорить, положила на его рукав свою руку.— Мне все можно сказать, дорогой Кай. Мой дорогой!

— Да? Конечно. О-о! Ну... Мы были у женщин, знакомых Бутса или Томаса, я не знаю наверное,— быстро говорил Брентган, желая скорее передать сущность, чтобы успокоить Джесси.— Я ничего не помнил. Утром мне сказал Лей. Он и остальные выдумали, что я... не помня себя... тоже. Все перемешалось во мне. Я раздобыл адрес, отправился в то место и узнал от... одной из двух, что все ложь. Оказывается, я проспал ночь, сидя в кресле, и был увезен к Лею бесчувственный.

— Ты боялся, что?..— тихо спросила Джесси.

— Да, я боялся, что... в таком состоянии мог.

— Разве ты не знаешь себя?

— Знаю.

— Как же ты мог бояться?

Брентган молчал. Приветливая улыбка Джесси ввела его в заблуждение: он мало всмотрелся в ее замкнувшиеся глаза.

— Я тебя не узнаю. Ты ли это, Кай?

— Это я, Джесси. Я сам.

— Но даже я сообразила, что *то* не могло быть. Бутс сказал, что ты стыдишься ехать домой. Разве то, чего ты боялся, меньше появления в пьяном виде?

— Сама мысль ужаснула меня. Внутренний голос молчал. Я не мог прийти к тебе с *такими* сомнениями. Теперь ты видишь, что все это — пустяк, пусть даже все было связано с попойкой.

— Пустяк? Допустим. Да, ты прав, конечно... Пустяк. Но в этом пустяке ты не был мужчиной.

Брентган так изумился, что выронил папиросу, которую собирался закурить дрожащей рукой. Настойчивость и прямота действий, совершенных им, вполне удовлетворяли его. Он затосковал, взял неподатливую руку Джесси и склонился к ее чистой прохладе горячим лбом.

— Так что же, что же? — простонал он, зная, что ни за что не сможет признаться, теперь и никогда, в унизительных подробностях сцены у спасшей его женщины.

— Надо было рассмеяться и дернуть, даже больно, Лея за ухо. Тогда он и все узнали бы, что ты, мой муж, знаешь себя во всем и всегда.

— Джесси, я думал о своем страхе!

— Конечно, но не думал обо мне. О, успокойся! Ты невинен, бедный мой Кай!

Она нервно расхохоталась, отчего Брентган колко спросил:

— Джесси, ты недовольна?

— Знаешь, мне легче было бы,— взволнованно ответила Джесси,— легче было бы мне снести ту правду, которой ты так боялся, чем эту. Ты и я теперь всю жизнь обязаны девушке, к которой ты явился допрашивать и тем, конечно, страшно обидел ее.

— Ты меня больше не любишь? — спросил Брентган после продолжительного молчания.

— Я любила и буду любить тебя, но сегодня я тебя не люблю. Прощай; мне надо съездить к Доротее Сноу.

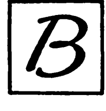
В дверях мелькнули перед ним ее полные слез глаза, и, тяжко вздыхая, Брентган подошел к окну.

Кусая губы, он смотрел в переулок, залитый дождевой грязью. Проехал огромный фургон, расхлестывая брызги, попавшие на отшатнувшихся прохожих. Один из них выругался, погрозил кулаком и начал с остервенением счищать коричневые шлепки, размазывая их по материи. Другой прохожий, взглянув на свой рукав и, видимо, решив дать пятну отсохнуть, продолжал путь, читая заголовки в газете.

Брентган бессознательно провел пальцами по своему рукаву, но темная ассоциация угасла, едва наметясь.

Он сел и задумался.

ОТКРЫВАТЕЛЬ ЗАМКОВ


ноябре 1797 года механик Генри Модлей поссорился со своим хозяином Джозефом Брамахом [1] и начал самостоятельное дело, сняв полуразрушенную кузницу. Два дня Модлей и его хорошенькая жена, Сарра Тиндэль —

[1] Д. Брамах родился в 1748 г. Г. Модлей родился в конце XVIII столетия в 1771 г.

теперь мистрисс Модлей,— работали не покладая рук, чтобы привести заброшенное помещение в годное для работы состояние; так как Модлей, очень любивший свое дело, хотел непременно начать работать с понедельника, то два дня — пятница и суббота — прошли в починке верстаков, горна и свинцовых оконных рам. Часть инструментов, сделанных для себя за время работы у Брамаха, Модлей перенес в кузницу; остальной необходимый инвентарь — молоты, клещи и т. п.— ему пришлось купить из последних денег, но он не жалел о расходах, так как знал, что недостатка в заказах не будет.

Действительно, не успел Модлей выпить кружку эля и съесть кусок холодного пирога с мясом, которые Сарра принесла из ближайшей таверны, как дверь открылась и в кузницу вошел пожилой человек в темном плаще — художник Лингрев, живший на Пикадилли, по соседству с мастерскими Брамаха. Не даровитый, однако имеющий много заказов, благодаря спасительному инстинкту посредственности — уметь угождать клиентам,— Лингрев рисовал портреты. У него была слабость желать усилить свое значение разного рода выдумками; так, он заказал Брамаху для входной двери висячий фонарь в виде полушария, а теперь, прослышав, что главный мастер Брамаха ушел от хозяина, явился заказать Модлею железный мольберт, чертеж которого нарисовал сам.

— Мистер Лингрев! — воскликнул Модлей, в то время как просиявшая Сарра торопливо вытирала скамейку для посетителя.— Мы еще ничего не начали! Только что привели в порядок эту лачугу. Не были ли вы у Брамаха?

— Вот именно,— ответил, усаживаясь, Лингрев,— я вынес впечатление, что дядя Джозеф едва ли сам очень доволен своим поступком по отношению к Модлею. Разумеется, мне нужен мастер Модлей. Я люблю тщательно отделанные вещи, и едва ли кто-нибудь может работать так тщательно, как ваш муж, милая Сарра.

— Я совершенно уверена в этом,— ответила молодая женщина, принимая важный вид, но отворачиваясь, чтобы не рассмеяться. Схватив веревку кузнечных мехов, она стала раздувать горн; треща, полетели искры.

— Сядь, Сарра,— сказал Модлей,— ты мешаешь мистеру Лингреву говорить о своем деле.

— Старый ватерклозетчик! [1] — воскликнула мистрисс Модлей, бывшая ранее служанкой Брамаха.— Если бы еще он был скуп! Не перебивайте, у меня накипело на старика. Он не скуп, но он считает Генри мальчиком. И это в то время, как Генри придумал ему столько разных усовершенствований для станков и замков!

Восклицание Сарры Модлей — «старый ватерклозетчик» — относилось к началу деятельности Брамаха.

Лингрев и Модлей рассмеялись.

— Сарра права,— сказал Модлей.— Один мой самозадерживающий клапан для гидравлических прессов дал дяде Джозефу несколько тысяч фунтов.

— Все любили Генри,— продолжала взволнованная Сарра.— А вы знаете, что его нельзя не любить. Он честен и прямодушен. Если он талантливее Брамаха, то...

— Довольно, Сарра,— мягко сказал Модлей.

— Я только доскажу: ты, главный мастер, получал тридцать шиллингов в неделю. Что же, он не мог прибавить пятнадцать?

— Боюсь, не начал ли мистер Брамах завидовать вам? — заметил Лингрев.

Модлей нахмурился и допил свой эль; понимая его молчание, Лингрев достал чертежи мольберта, и они принялись толковать о заказе, а Сарра удалилась в жилое помещение над мастерской, чтобы устроить постели.

Когда Модлей, очень довольный первым самостоятельным заказом, проводил художника и закрыл дверь, им овладело раздумье. Он был один в полутемной кузнице, с полной уверенностью в своих силах и с недоумением по отношению к Брамаху. Действительно, не завидовал ли старый механик-изобретатель молодому человеку с ясным умом и точной рукой? Придуманный Модлеем самозадерживающий клапан гидравлического пресса превратил это изобретение в практически полезную машину, тогда как без Модлея прессу суждено было остаться лишь интересной игрушкой. Но Брамах неохотно говорил о клапане Модлея; даже не упомянул о нем вовсе, когда составлял подробное

---

[1] «Мастер, устраивающий ватерклозеты» — первоначальная вывеска мастерской Брамаха.

описание гидравлического пресса. Модлей вспомнил массу труда, терпения и изобретательности, какие употреблены были им ради усовершенствования орудий и машин для выделки знаменитых замков Брамаха; вспомнил он также, что Брамах признавался в семейном кругу,— о чем знала Сарра,— как нужен ему Модлей ради усовершенствования обработки замков. Модлей работал у Брамаха несколько лет, но, добившись звания главного мастера, не добился пустяковой прибавки к жалованью.

«Да, Сарра права,— сказал Модлей,— старик хочет взять все и не дать ничего. Он ревнует меня к тому, что я изобретаю. Однако надо работать».

Сказав так, Модлей подошел только к токарному станку с лично им придуманным самодействующим суппортом, чтобы еще раз проверить это усовершенствование, сыгравшее впоследствии такую огромную роль для токарей по дереву и металлу, как вынужден был обернуться.

Перед ним стоял человек малого роста, в нахлобученной до самых глаз кожаной шляпе, шерстяных чулках и наглухо застегнутом дорожном камзоле, поверх воротника которого был обмотан дорогой шелковый шарф. Быстрые напряженные глаза посетителя остановились на серьезном красивом лице Модлея, который хотя не испугался, однако нахмурился и, быстро подойдя к неизвестному, резко спросил,— что значит его неслышное, загадочное присутствие?

— Мистер Модлей,— сказал незнакомец, торопливо разматывая шарф, чтобы освободить затекшую шею, и не сводя с мастера нагло-серьезных глаз,— время позднее, но я сильно стучал. Должно быть, вы крепко задумались. У меня есть дело, прямо касающееся вас, а так как я привык говорить все сразу — то имейте терпение выслушать. Может быть, мое посещение пригодится как вам, так и мне.

Хриплый, самоуверенный голос незнакомца, его лицо и темная, отталкивающая хитрость рыскающих по собеседнику глаз — внушали Модлею мало доверия к посетителю, но вежливый по природе механик не мог отказать в беседе кому бы то ни было, если еще не спал. Жестом пригласив гостя сесть на деревянную скамью, ближе к горну, потому что холодная зима студила ноги и руки, Модлей встал у стены и, заложив руки за спину, приготовился слушать.

— Хотите знать, кто говорит с вами? — сказал незнакомец.

— Вероятно, изобретатель,— шутливо ответил Модлей.

— Меня зовут Джек Алевар, из Филадельфии,— сказал посетитель, начав еще внимательнее изучать выражение лица механика, скрытого тенью кузнечного меха. Пять часов назад я оставил палубу корабля «Кентукки» и уже побывал у Брамаха. Его я не видел. Я узнал все, нужное мне, окольным путем. Хотите ли вы заработать двести фунтов?

— Надо послушать, как это вы расскажете все до конца,— возразил Модлей,— потом будем судить, очень ли хочется мне заработать так любезно предложенные вами двести фунтов.

— «Иди прямо к делу»,— говорил покойный Том — Рваная Голова,— сказал Джек Алевар.— Вы, черт возьми, сбили меня своим дьявольски рассудительным замечанием. Мистер Модлей, я плыл четыре недели совсем не ради того, чтобы греть свои ноги около ушей вашего горна. Я тоже изобретатель, однако из скромности умолчу о своих открытиях. Они... гм... довольно многочисленны. Но я хочу сделать еще одно открытие, и вы можете мне помочь.

— Какого рода открытие?

— Я говорю о патентованном висячем замке Брамаха,— сказал Джек Алевар, подсаживаясь ближе к Модлею и понижая голос.— Имейте терпение выслушать. Как вам известно, мистер Модлей, в окне мастерской Брамаха, на Пикадилли, девятый год висит объявление, обещающее двести фунтов стерлингов тому, кто откроет без помощи ключа, отмычкой или другим инструментом, знаменитый патентованный замок вашего бывшего хозяина. Сотни лиц брались за такое дело, однако еще никто не открыл замка. Надо сказать вам, что в Америке на эти замки большой спрос, и так как устройство механизма не позволяет подделать ключ, то естественно, что у людей, склонных к разрешению умственно-приятных задач, начали чесаться мозги и руки. Три месяца тому назад я заключил пари с мистером Фергюсом Дезантом, арматором, на десять тысяч долларов в том, что открою замок Брамаха без ключа к пятнадцатому декабря тысяча семьсот девяносто седьмого года. Мистер Модлей, я ошибся в своих силах и переоценил свои способности, кото-

рые, смею сказать... Сегодня четырнадцатое ноября. Итак, я слушаю вас.

— В чем же дело? — спросил Модлей.— Если я вас правильно понимаю, вы не прочь подкупить меня? Так, что ли?

— Ну, нет,— воскликнул Джек Алевар.— Это вы подкупили меня, подкупили вашим талантом, вашей любезностью, наконец вашей энергией. Я хотел только просить вас сообщить мне способ открыть замок, так как мое безвыходное положение очевидно. Простая, я скажу даже — пустяковая услуга, тем более что, совершенствуя Брамаху эти замки, вы, конечно, знаете о них все. Я же, со своей стороны, охотно передал бы вам премию; и даже очень прошу вас принять ее — раз вы находитесь в затруднительных обстоятельствах.

— Как это вы успели так скоро узнать о моих обстоятельствах,— рассмеялся Модлей.

— Вы шутите! Почему — скоро?! Иногда в течение пятнадцати минут мне удавалось... гм... да... делать серьезные открытия. Гм... я — американец, мистер Модлей. «Да» или «нет»?

— Генри! — крикнула сверху Сарра.— С кем ты там говоришь?

— Останься наверху,— громко ответил Модлей.— Я скоро приду.— Обратясь к Алевару, Модлей продолжал: — Не выйдет, мистер Алевар; говорю это прямо и окончательно. Так что не пытайтесь настаивать.

Американец некоторое время пристально смотрел на изобретателя и получил второй ответ взглядом Модлея, выразившим довольно красноречиво желание избавиться от предприимчивого собеседника.

— Брамах вас обидел,— заметил Джек как бы про себя.

— Что бы ни было между нами, я не хочу расплачиваться фальшивой монетой. Довольно об этом.

Джек Алевар встал, вздохнув так тяжко и скорбно, как если бы у него пропала охота жить.

— Еще раз,— нерешительно сказал Алевар.— Вам деньги нужны...

Модлей положил руку на плечо собеседника и зевнул.

— Проваливайте, парень,— сказал он.— Я вижу, вы приехали не из Америки, а с Гай-стрит.

Удивленный Алевар хотел было обидеться, но поперхнулся и рассмеялся.

— Вы, Генри Модлей, честный человек,— сказал он довольно кисло,— но я тоже честный человек и не хочу вас больше обманывать. Я — вор. Только я живу не на Гай-стрит, а на Пикадилли. Хотите — верьте, хотите — нет, однако эти проклятые замки у меня вот где сидят!

Алевар хлопнул себя по затылку, плюнул и спросил:

— Но в чем же дело?

— Если хотите знать — тщательная отделка и пригонка частей,— сказал Модлей.— Вот главное.

— Главное... главное...— пробормотал, уходя, Джек Алевар.

Он был на улице и не слышал хохот Модлея, отметившего несмотря на утомление весь каторжный юмор этой заключительной реплики. Услышав смех мужа, Сарра сбежала вниз и, узнав, что произошло, крепко поцеловала своего Генри.

— Вот! Ты всегда был такой,— сказала она.— Дядя Джозеф!

С великим изумлением муж и жена смотрели на тучную фигуру и мрачное лицо «старого ватерклозетчика» Джозефа Брамаха, явившегося, в порыве раскаяния мириться с бывшим своим главным мастером. Брамах вошел, тяжело опираясь на трость; сжав зубами черенок трубки, старик нервно процедил:

— Ну, Генри, довольно. Пятнадцать шиллингов я прибавлю. Сарра, уговорите вашего мужа! Все дело в проклятой печени!

— Нет, нет! — живо воскликнул Модлей.— Мы слишком долго работали вместе, дядя Джозеф, над вашими и моими изобретениями, чтобы печень принять в расчет. Мы были товарищами. Вы захотели показать, что вы хозяин. Оставайтесь хозяином. Надеюсь, что я не умру от голода.

Брамах начал просить, убеждать, но Модлей не согласился вернуться. Рассерженный Брамах сказал:

— Бросим. К тебе не заходил этакий потасканный джентльмен, лет сорока? Этот человек вертелся сегодня утром в трактире около Ландау и Проктора; он их выспрашивал, где ты снял кузницу и... будешь ли делать замки. Проктор сознался, что наболтал.

— Никто не был,— ответил Модлей.— Идите

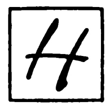
спать, дядя Джозеф. У меня против вас нет зла в сердце моем, только вознаграждение за мой адский труд должно было бы быть справедливее.

— Генри не пойдет к вам,— заявила Сарра.— Ведь он не мальчик теперь. Генри прост, но он тверд, как...

— Как что, дерзкая девчонка? — закричал Брамах.

— Как солдатский кожаный галстук, который спас мне жизнь в Вест-Индии,— сказал Модлей, улыбаясь и показывая шрам на шее под скулой, оставленный пулей, скользнувшей по галстуку.— Не будь этой кожи, не было бы на свете Модлея. Что толковать? Дядя Джозеф, ступайте домой. Спокойной ночи! [1]

ГНЕВ ОТЦА



акануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например, дырка на желтой портьере, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа,— но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия — стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников: сделаться преступником или бродягой — и, окончив выговор, сказала:

— Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:

— Его гнев будет ужасен!

Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл

---

[1] Замок Брамаха был открыт лишь в 1851 г. американцем Гоббсом, потратившим на это дело 16 дней.

и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев,— значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.

Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:

— Хуг!

Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.

— Все спокойно на Ориноко,— сказал он.— Гуроны преступили в прерию.

Но Том опечалился и не поддался игре.

— Не знаете ли вы, кто такой гнев? — мрачно спросил он.— Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе.

— Гнев?

— Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.

— Ах, так! — сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага.— Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать когolибо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.

Движимый чувством привязанности и благоговения

к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой.

Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кидд (из книги «Береговые пираты») должен был пить ром на необитаемом острове, в совершенном и отвратительном одиночестве.

Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:

— За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.

Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добросовестно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки.

Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.

О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил.

Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.

По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и крадучись проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.

Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено.

Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.

— Скажи, Том,— начал дядя,— достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?

— Я думал,— сказал Том.— Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.

Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.

— Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака,— сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета.— Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.

С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.

Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цинний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.

Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже рядом с пожилым черноусым человеком сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами.

Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.

Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» — думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, с жаждой утешения и пощады.

С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга — все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы.

— Да, я выехал днем раньше,— говорил Беринг,— чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.

— Я приведу его,— сказал Карл.

— Я пришел сам,— сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.

Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку.

Дядя Карл вытаращил глаза.

— Но ведь ты был наказан! Был заперт!

— Сегодня он амнистирован,— заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.

«Не это ли его гнев? — подумал Том.— Едва ли. Не похоже».

— Она будет твоя мать,— сказал Беринг.— Будьте матерью этому дурачку, Кэт.

— Мы будем с тобой играть,— шепнул на ухо Тома теплый щекочущий голос.

Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.

Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.

Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят.

Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков — среди них два с откинутыми к стене крышками — непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.

Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг и, держа его в вытянутой руке, осмелясь, подступил к раскрытому сундуку.

Тогда он увидел гнев.

Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза.

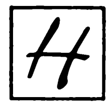
Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.

Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.

— Я убил твой гнев! — кричал он в восторге и потрясении.— Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!

— Успокойся, Том,— сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына.— Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!

ВОР В ЛЕСУ



а окраине Гертона жили два вора: Мард и Кароль — с наружностью своей профессии. Мард имел мрачный кривой рот, нос клювом и стриженые рыжие волосы, а Кароль был толстогуб, низколоб и жирен.

Недавно оба приятеля вышли из тюрьмы и еще не принимались ни за какие дела. Кароль пользовался милостями одной базарной торговки, а Мард подрабатывал у вокзалов и театров, всучивая программы представлений или перетаскивая чемоданы. Они нуждались и зверски голодали подчас, но память о плетках надзирателей была еще свежа у них, так что воры боялись пуститься на новое преступление.

Они выжидали выгодный, безопасный случай, но такой случай не представлялся.

Иногда Мард по целым дням валялся на койке, заложив руки под голову и размышляя о жизни. Ему было сорок лет: шестнадцать лет он провел в тюрьмах, а остальное время пил, дрался и воровал. Ему предстояло умереть в больнице или тюрьме.

Скоро овладела им безысходная грусть, и Кароль вынужден был кормить своего приятеля, ругая его при

том собакой и дармоедом, на что Мард после страшных проклятий заявлял:

— Не беспокойся. Рано или поздно я заплачу тебе.

Прошла зима, в течение которой Кароль совершил — один — две удачные кражи, но все пропил сам, сам все проиграл в карты и к весне очутился не в лучшем положении, чем Мард. Оба питались теперь гнилыми овощами, что выбрасываются рыночными торговцами, и мечтали о мясе, булках, водке. Все распродав, воры остались босые, в лохмотьях.

От голода и нервности мысли Марда приняли странное направление. У него появилась идея придумать что-нибудь такое заманчивое, хотя бы неосуществимое, вокруг чего можно было бы собрать несколько человек с деньгами,— хорошо поесть, поправиться, отдохнуть.

Однажды, бродя по улицам, Мард нашел четырехугольный листок пожелтевшего пергамента, выпавший, вероятно, из старой книги. Ничего не говоря Каролю, Мард выпросил у прохожих немного денег, купил чернил, перо и забрался в дальний угол грязного трактира за пустой стол. Ему предстояло сочинить план мнимого клада.

Мард развел чернила водой, сделав их совсем бледными, и написал на пергаменте:

«Вверх по реке Ам от Гертона, шестьсот миль от Покета. По устью четыре мили. За скалой озеро; третий песчаный мыс. Два камня возле воды; первый камень в полдень даст тень. Между концом тени и вторым камнем по середине линии вниз пять футов 180 тысяч долларов золотом завязаны в брезент Г. Т. К. и, то же, Д. Ц. Они не знают».

Первый раз за долгое время на мрачном лице Марда растрескалось подобие улыбки, когда он перечитал свое сочинение.

Сложив пергамент несколько раз, вор сунул эту записку в подошву своего стоптанного башмака, надел башмак и ходил так, не разуваясь, неделю, отчего документ сильно слежался, даже протерся по сгибам.

Тогда Мард разбудил рано утром Кароля и сел к нему на кровать.

— Слушай, Кароль,— сказал Мард в ответ на сонную брань сожителя,— я решил поделиться с тобой своим секретом. В тюрьме два года назад умер один человек, с которым я был дружен, и вот этот человек —

Валь Гаучас звали его — передал мне документ на разыскание клада. Смотри сам. Сто восемьдесят тысяч долларов.

Кароль ожесточенно сплюнул, но, прочтя записку, поддался внушению искусной затеи, начав, как водится, задавать множество вопросов. Однако Мард хорошо приготовился к испытанию и, только ответив на все вопросы, окончательно убедил Кароля, что лет десять назад на реке Ам был ограблен пароход, везший большие суммы денег для банка в Гель-Гью; нападающие подверглись преследованию, но успели зарыть добычу, а сами после того были все перебиты, кроме одного Валь Гаучаса. Валь Гаучас вскоре попал в тюрьму, где и умер.

Кароль был недоверчив, но по роковому свойству людей недоверчивых, раз поверив во что-нибудь, готов был защищать свою уверенность с пеной у рта. Охотнее всего люди верят в неожиданную удачу. Воображение Кароля распалилось: Мард поддакивал, горячился, и воровским мечтам не было конца.

— Один я не мог бы ничего сделать,— признался Мард,— так как я не умею доказывать, увлекать; и нет у меня знакомств на реке. А у тебя есть. Так вот — достань катер или большую лодку; придется владельца судна взять в долю.

Кароль побежал в веселый дом, сгоряча уговорил теток-хозяек дать в долг пять долларов, купил водки, сигар, еды и досыта угостил приятеля, завалившегося после того спать; затем Кароль ушел.

Три дня он не появлялся. На четвертый день Кароль пришел с высоким веселым человеком в тяжелых сапогах — хозяином парового катера, Самуэлем Турнай, согласившимся дать судно для разыскания клада. У Турная водились деньги. Он был человек положительный и рассуждал резонно, что ради воздушной пустоты два опытных вора не устремятся к глухим верховьям реки.

Видя, как быстро, уже без его участия, двигается развитие замысла, Мард немного опешил. Однако, представив всю прелесть спокойной, сытой жизни на катере в течение трех-четырех недель, окончательно положился на свою изворотливость и столько наговорил Турнаю, что тот выкурил подряд четыре сигары.

Поздно ночью три человека решили дело: Турнай давал катер, ехал сам, давал продовольствие, табак,

виски и приобретал для воров хорошую одежду, а также оружие: револьверы и винтовки.

На другой же день в пять утра катер «Струя» направился из Гертона вверх по реке Ам. Некоторая путанность записки, составленной Мардом, не обескураживала Турная: он знал хорошо реку, и, по его твердому убеждению, фраза «по устью четыре мили» означала приток Ама, Декульт,— узкую быструю речку со скалистыми берегами.

— Декульт именно в шестистах милях от Гертона,— говорил Турнай,— но не от Покета; зачем упомянут Покет, неизвестно; должно быть, чтобы сбить с толку непосвященных. Меня не проведешь. Если не Декульт, то Мейран, впрочем, мы обследуем, если понадобится, все речки. Карта со мной.

За время путешествия среди живописных берегов реки Мард отдохнул, поправился; он много ел, вдоволь пил водку и спал, как младенец в утробе матери. В разговорах о кладе он приводил тысячи азартных, тонких предположений, рассуждал о предстоящих покупках и удовольствиях. Однако чем дальше подвигался катер к Декульту, по берегам которого действительно были озера, тем чаще Мард задумывался.

«В коне концов, на что я надеюсь? — спрашивал себя Мард.— Пройдет еще месяц, золота нигде не окажется, и меня изобьют до полусмерти, а может быть, убьют, думая, что я хотел воспользоваться судном лишь для того, чтобы проехать к месту клада, которое скрыл от них».

Итак, ничего не произошло; затея не повернулась как-нибудь неожиданно выгодно; катер плыл; Кароль и Турнай стремились отыскать несуществующее богатство.

«На что я надеялся?» — повторял Мард, сидя ночами у борта и рассматривая дикие темные берега.

За два дня до прибытия в устье Декульта Мард заболел. Ночью он метался, стонал; его рвало и трясло. Чрезвычайно обрадованные случаем избавиться от третьего дольщика, приятели стали уговаривать Марда слезть на берег.

— Так, как,— говорил Кароль,— наверное, у тебя тиф или воспаление мозга. Дадим палатку, ружье; все дадим. Ты поправляйся и жди нас. Твоя доля будет тебе вручена, когда вернемся с золотом.

Для приличия Мард впал в угрюмость, заставил

компаньонов поклясться, что его не бросят и не обманут, и остался на берегу в лесу, снабженный палаткой, ружьем, одеялом, припасами и топором.

Когда катер удалился, Мард встал, оглянулся и улыбнулся.

— Опять можно жить спокойно,— сказал он, закуривая трубку и выпивая стаканчик рома,— а хину я принимать не буду.

Сняв палатку, Мард перенес свое имущество мили на полторы дальше, к отлогому песчаному берегу, и начал жить как дачник Робинзоновой складки. Он убивал лосей, коз, уток, ловил рыбу и месяца через полтора стал так здоров, силен, что начал подумывать о возвращении.

Казалось, катер пропал без вести,— Мард более не видел его.

— Наткнулись на камень где-нибудь,— объяснял его исчезновение Мард,— или проплыли обратно ночью, когда я спал.

Лес на берегу состоял из огромных, высоких и прямых деревьев. Мард срубил несколько штук, очистил их от ветвей и скатил рычагами на воду, где увязал стволы вместе отмоченной корой кустарника. Эта работа понравилась ему; медленное падение деревьев, самый звук топора — звонкое, сочное щелканье — и отчетливые линии пристраивающихся один к одному на веселой воде свежих стволов,— вся новизна занятия пленила Марда. Начал он подумывать, что неплохо было бы сбить большой плот, чтобы продать его по дороге долларов хотя бы за двадцать. Назначив себе сто штук, Мард, однако, увлекся и навалил двести, но когда они вытянулись плотом на песке, не стерпел и прибавил еще пятьдесят.

Никто ему не мешал, не лез с советами, не подгонял, не останавливал. Изредка на речной равнине чернел дым случайного парохода или скользил парус неизвестных промышленников, но большей частью было пусто кругом.

Между тем началась дождливая пора. Ам разлился и снял плот Марда с песчаной отмели. Мард сделал из тонкого бревна руль, поставил свою палатку и, отрубив причал, двинулся вниз по течению. Почти беспрерывно лил дождь, ветер волновал реку, течение которой усилилось благодаря прибыли воды, так что Мард три дня не спал, все время работая рулем, чтобы плот

несся посередине реки. Питался Мард сушеной рыбой, заготовленной им еще летом, и желудевым кофе.

К вечеру четвертого дня плавания Мард завидел селение и начал подбивать плот к берегу. Вокруг села заметил он другие плоты, готовые для отправки. Едва его плот поравнялся с домами села, как с берега выехала лодка, управляемая тремя бородатыми великанами; они причалили к плоту и взошли на него, тотчас предложив Марду продать плот. Не зная, что его плот состоит из ценных пород, Мард весело подумал, что хорошо бы взять долларов пятьдесят, и, убоясь, не покажется ли цифра очень большой, начал мяться, но один бородач, хлопнув его по плечу, вскричал:

— Что думать! Берите триста, и дело кончено!

Мард согласился, между тем плот стоил вдвое дороже. Плотовщики сосчитали бревна, уплатили деньги и пошли с Мардом в местную лавку, где вор купил приличное платье взамен изношенного и выпил с торговцами. Ему сообщили, что на другой день отплывает в Гертон парусное судно; Мард пошел к хозяину, уговорился с ним и за небольшую плату стал пассажиром.

«Теперь я уплачу Каролю и Турнаю все их расходы на меня,— размышлял Мард, помогая матросам чистить трюм, нагруженный свиньями,— конечно, они меня выругают, но мы попьянствуем, и дело с кладом забудется».

Судно плыло в Гертон двадцать шесть дней. Приехав, Мард снял номер в гостинице, побрился, выпил и отправился гулять по улицам гавани. Задумчиво шел он, не зная, сейчас ли искать Кароля или отложить на завтра, как вдруг быстрая рука схватила его плечо.

— Мард!

— А! Кароль!

Кароль задохнулся, догоняя Марда. Они стояли улыбаясь; Мард несколько смущенно и весело, а Кароль — колюче и хитро.

— Так вы бросили меня?!

— Едва живые вернулись. Ты нашел золото?

— Дурак ты, Кароль,— сказал Мард,— я нарубил плот и продал его. О, были приключения. Двести пятьдесят бревен!

— Что же мы стоим? Идем в «Чертов глаз»! Угощай.

— Есть,— согласился Мард.— А где Турнай?

— Турнай нас ждет.

Оживленно рассказывая о своих похождениях, Мард с Каролем пришли в грязный притон и заняли, по совету приятеля, маленькую комнату во дворе трактира. Едва они сели, как вошли трое парней. Чувствуя недоброе по их лицам, Мард встал из-за стола, но Кароль ударом в глаз сбил его с ног. Мард упал; четверо сели ему на руки и ноги.

— Сволочи! — сказал Мард.

— Где золото? — начал Кароль допрос.— Ты все подстроил. Высадился, где тебе было надо, под видом, что болен.

— Опять ты дурак! — закричал Мард.— Я хотел сам дать тебе денег — сто долларов. Клада не было! Я выдумал это! Я изголодался, понимаешь? Я чудил от голода! Говорят тебе, что я сбил плот и продал его!

Марда начали бить. Его лицо превратилось в кровавое мясо, сердце хрипело, глаза ничего не видели, сломаны были два ребра, но в передышках, обливаемый водкой, не попадавшей в его рот, для оживления, Мард упорно твердил:

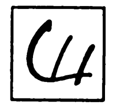
— Клада не было. Вот клад: мозоли мои!

Допрос и истязания длились три часа. Мард обеспамятел, стонал и, наконец, собравшись с силами, плюнул Каролю в лицо.

Его повесили в чулане за комнаткой, продев веревку за потолочную балку. Когда Кароль схватил за ящик, на котором стоял шатаясь Мард, умирающий прохрипел:

— Не вовремя убиваешь ты меня, Кароль. Я хотел... делать плоты... хотел... и тебя взять.

БОЧКА ПРЕСНОЙ ВОДЫ



люпка подошла к берегу. Измученные четырнадцатичасовой греблей Риттер и Клаусон с трудом вытащили суденышко передней частью киля на песок между камней и накрепко привязали к камню, чтобы шлюпку не отнесло отливом.

Перед ними, за барьером скал и огромных, нава-

ленных землетрясением глыб кварца, лежал покрытый вечным снегом горный массив. Позади до горизонта, под ослепительно синим, совершенно чистым небом, развертывался уснувший океан — гладкая, как голубое стекло, вода.

Опухшие, небритые лица матросов подергивались, мутные глаза лихорадочно блестели. Губы растрескались, из трещин в углах рта проступала кровь.

Бутылка воды, выданная из особого запаса шкипером Гетчинсоном, была выпита еще ночью.

Шхуна «Бельфор», шедшая из Кальдеро в Вальпарайзо с грузом шерсти, была застигнута штилем на расстоянии пятидесяти морских миль[1] от берега. Запас воды был достаточен для нескольких дней рейса с попутным ветром, но очень мал при затянувшемся штиле.

Судно стояло на тихой, как поверхность пруда, воде уже одиннадцать дней; как Гетчинсон ни уменьшал порции воды, ее хватило всего на неделю, тем более что пищу прекратили варить. Сухие галеты, копченая свинина и сухой шоколад лишь усиливали мучения; хоть бочка, в которой еще осталось литров двадцать воды, была заперта Гетчинсоном на замок, повар, просверлив бочку, сосал ночью воду через медную трубку, а затем, наполнив изо рта литровую бутылку, прятал этот запас в свой сундук.

Ночью было немного легче, но с восходом солнца все шесть матросов шхуны, Гетчинсон и его помощник Ревлей почти не вылезали из воды, держась за канаты, переброшенные через борт, на случай появления акул. Жажда была так мучительна, что все перестали есть и тряслись в лихорадке, так как множество раз в день переходили от прохлады изнуряюще долгого купанья к палящему кожу зною.

Все это произошло по вине Гетчинсона, который со дня на день ждал ветра. Если бы своевременно была послана шлюпка на берег, чтобы привезти двухсотлитровую бочку пресной воды, команда не бродила бы теперь, подобно теням, в унынии и бессилии. Наиболее твердо держались Риттер и Клаусон. Свои ежедневные четверть литра воды они пили на ночь, после захода солнца, так что, промучавшись день, в течение которого облегчали свои страдания купаньем, вечером

---

[1] Английская миля равна 1,85 км.

хоть наполовину, но утоляли жажду. Прохладная ночь содействовала облегчению. Матросы, выпивавшие порцию воды днем, как только ее получали, сразу, скоро теряли эту влагу, потому что от жары и слабости сердца потели, а Риттер и Клаусон все же могли ночью спать, тогда как других мучила бессонница или тяжелая дремота, отравляемая видениями рек и озер.

К вечеру десятого дня командой овладело отчаяние. Старик Гетчинсон еле двигался. Умирающий от дизентерии повар валялся среди нечистот, редко приходя в сознание и умоляя всех прикончить его. Два матроса бессильно лежали на своих койках в мокрой одежде, чтобы хоть через кожу всасывалось немного влаги. Один матрос, тайно от Гетчинсона, пил время от времени морскую воду, смешанную с уксусом; теперь, полуобезумев от невероятных мучений, он бродил у борта, желая и не решаясь покончить с собой. Четвертый матрос с утра до вечера сосал кусок кожи, чтобы вызвать слюну. Этот матрос неоднократно приставал уже к помощнику шкипера Вольту, чтобы тот объявил жребий на смерть одного из команды ради нескольких литров крови.

Только два человека могли еще двигаться и делать что-нибудь — это были Риттер и Клаусон. Гетчинсон уговорил их ехать на берег за водой. Из последнего запаса была выдана им бутылка мутной воды, драгоценная коробочка с лимонной кислотой, разысканная Вольтом, и несколько апельсинов. Они заслуживали такой поддержки, так как должны были спасти всех остальных.

Вечером Риттер и Клаусон выехали, имея двухсотлитровую бочку, два ружья, пачку табаку и три кило галет.

Утром они высадились на берег с замирающими от бешеной жажды сердцами. Купанье слегка освежило их. Как они плыли и долго ли, они не помнили. Все ямы, впадины берега, пустоты среди скал казались им наполненными свежей, холодной водой.

Шатаясь, падая от изнурения, матросы перебрались через барьер огромных камней и вступили в глубокую расселину среди скал, где среди тени и сырости томительно пахло водой. Вскоре заслышали они ровный звук бегущей воды и, почти ослепнув от желания пить, начали метаться из стороны в сторону, не замечая ручья, который в десяти шагах перед ними обмывал

выпуклый низ скалы. Наконец Клаусон увидел воду. Он подбежал к скале и, растянувшись ничком, погрузил лицо в холодный ручей. Более терпеливый Риттер наполнил ведро и сел с ним на камни, поставив ведро между колен. Когда он наклонил голову к ведру, она тряслась от мучительного нетерпения скорее напиться.

Клаусон, захлебываясь, глотал воду, не замечая, что плачет от облегчения, соединенного с тошнотой, потому что желудок, отвыкнув от большого количества холодной жидкости, противился вначале непомерному количеству воды. Клаусона стошнило дважды, пока он окончательно наполнил желудок водой. Ему казалось несмотря на это, что жажда еще не утолена. Переводя дыхание, матрос, приподнимаясь над водой на руках, тупо смотрел на нее, а затем, блаженно вздыхая, снова припадал к спасительному источнику.

С такими же конвульсиями, мучаясь и блаженствуя, напился Риттер. Он выпил больше половины ведра. Его крепкий желудок не возвратил ручью ничего.

Вода подействовала на страдальцев как вино. Их чувства были до крайности обострены, сердце билось звонко и быстро, голова горела.

Сев друг против друга, они начали смеяться. Отрывисто, отрыгивая, тяжело дыша, хохотал Клаусон. Ему вторил Риттер, оглашая ущелье неудержимым, щекочущим тело смехом. Веселое, бегущее как тысячи ручейков чувство насыщения водой струилось по обессилевшим мускулам матросов. Все еще вздрагивая, они снова начали пить — теперь не так бурно, стараясь вбирать воду небольшими глотками, смакуя ее вкус и наслаждаясь ее освежающим движением по распухшему пищеводу.

— Вот так штука! — кричал Клаусон.— Никогда не думал, что выживу! Я с ума начал сходить.

— Го-го,— кричал Риттер.— Ух, хорошо! Вода настоящая! Жрите, братцы. Будет вам бочка воды! К вечеру примчим, только надо поспать.

Не так скоро окончательно была утолена ими жажда, как это можно подумать, если не испытал такой жажды сам. Дело не в том только, чтобы налить желудок водой. Должно пройти время, пока влага внутренними путями организма проникнет в кровеносные сосуды и там разжижит кровь, сгустившуюся от долгого безводья. Когда это произойдет, затрудненно работающее сердце начинает биться полным, отмеченным

ударом, и нарушенная правильная жизнь человека делается опять нормальной. Клаусон еще несколько раз порывался пить, но Риттер удержал его.

— Ты можешь умереть,— сказал он.— Недолго и опиться. Я слышал об этом. Ты весь распухнешь и почернеешь. Воздержись. Ляжем лучше, уснем.

Они забрались между двух глыб, каких было много раскидано по ущелью, и уснули, но долго спать не могли: их разбудил голод.

Пока они спали, солнце перешло на другой край ущелья и осветило вкрапленный высоко в отвесную поверхность скалы золотой самородок, напоминающий узел золотых корней, выступивший из кварца.

Казалось, золото вспыхнуло под жгучим лучом солнца. На главной выпуклости золотого видения горело белое пятно. Самородок, тысячу лет дремавший над безвестным ручьем, сеял свой мягкий свет подобно кружению тонкой, золотой пыли.

II

Проснувшись, матросы были теперь сильны и живы, как много дней назад. Они наелись, снова попили и довольно скоро наполнили бочку в шлюпке водой ручья.

Придя к ручью последний раз, чтобы захватить, кроме бочки, еще два полных ведра воды, матросы присели на камни. Оба были мокры от пота. Вытирая рукой лоб, разгоряченный Клаусон поднял голову и осмотрел высоты отвесных скал.

Увидев самородок, он вначале не поверил своим глазам. Клаусон встал, шагнул к скале, тревожно оглянулся кругом. Через минуту он спросил Риттера:

— Ты видишь что-нибудь на скале?

— Да, вижу,— сказал Риттер,— но я вижу, к ужасу своему, золото, которое не поможет спастись нашей команде. И если ты вспомнишь свои мучения, то не будешь больше думать об этом. Мы должны привезти им воду, привезти жизнь.

Клаусон только вздохнул. Он вспомнил свои мучения, и он не противоречил.

Шлюпка направилась к кораблю.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

I

В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.

Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.

— Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего.— Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.

— Я голоден... и я жив,— пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался.— Это был обморок.

— Реймер! — сказал Стильтон.— Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.

Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.

Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился с Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кеб.

Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита.

Бродягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали — кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы,

решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.

Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.

Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:

— Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу.

Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дома, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.

— Если вы не шутите,— отвечал Ив, страшно изумленный предложением,— то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, как долго будет длиться такое мое благоденствие?

— Это неизвестно. Может быть год, может быть — всю жизнь.

— Еще лучше. Но — смею спросить — для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?

— Тайна! — ответил Стильтон.— Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.

— Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!

Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.

Прощаясь, Стильтон сказал:

— Напишите до востребования так: «3-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год,— словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как — я объяснить не имею права. Но это случится...

— Черт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кебу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет.— Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный! Наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день поллитра керосина!

Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме.

Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:

— Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума... но будет ждать сам не зная чего. Да вот и он!

Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»

— Однако вы тоже дурак, милейший,— сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю.— Что веселого в этой шутке?

— Игрушка... игрушка из живого человека,— сказал Стильтон,— самое сладкое кушанье!

II

В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона.

Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезным, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.

По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.

— Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом.— Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.

— Тысяча чертей! — пробормотал, вглядываясь, Стильтон.— Что произошло? Возможно ли это?

— Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?

— Я разорился... несколько крупных проигрышей... паника на бирже... Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?

— Я несколько лет зажигал лампу,— улыбнулся Ив,— и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.». Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.

К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением.

«Ив — классический дурак! — пробормотал тот человек, не замечая меня.— Он ждет обещанных чудесных вещей... да, он хоть имеет надежды, а я... я почти разорен!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».

У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться несмотря ни на что. Я едва не

ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком...

— А дальше? — тихо спросил Стильтон.

— Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком...

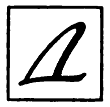
Наступило молчание.

— Я давно не подходил к вашему окну,— произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон,— давно... очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа... лампа, озаряющая темноту ночи... Простите меня.

Ив вынул часы.

— Десять часов. Вам пора спать,— сказал он.— Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне,— быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по лестнице, зажигайте... хотя бы спичку.

МОЛЧАНИЕ



орога из Престидзэ в Нум раздваивалась наподобие змеиного языка около морского залива. Налево она вела в Нум, направо — в Лемпшир.

На раздвоении дороги плохо одетый человек с истощенным лицом замедлил шаги и, слегка раскачивая ручным саквояжем, начал оглядываться, ища прохожих, которые могли бы рассеять его сомнения. Вскоре он увидел человека могучего сложения, мрачного, в бакенбардах, который неторопливо шел в Престидзэй, и обратился к нему с вопросом:

— Налево или направо надо идти, чтобы попасть в Нум?

— Конечно, налево. За теми холмами Нум. Четыре километра, и вы на месте. Увидев вас, я сразу сказал себе: «Он не здешний». И я, кажется, угадал?!

При этом проявлении общительности внушительная

мрачность болтуна утратила нечто неуловимое, делавшее ее солидной; глаза блеснули, выдав сплетника; несвойственное возрасту любопытство смягчило мрачные черты и, нервно опершись о палку, человек умильно захлопал веками.

— О, да, вы угадали,— ответил путник.— Следовательно, я должен идти налево?

— Я знаю всех в Нуме,— продолжал любопытный бакенбардист, пропуская уклончивый вопрос мимо ушей.— И если вы сообщите, кого именно желаете там видеть, то я подробно объясню, как найти дом. Нум разбросан, очень разбросан. Мое имя Вильям Угестон, из Престидэя,— домовладелец, а также управляющий конторой погребальных шествий.

Молодой человек без особой охоты наименовал себя:

— Том Дарль, из Гертона,— и сообщил, что ему нужен Тристан Бурль, бывший нотариус.

— Бурль?! — воскликнул Угестон.— Хорошо, ваше счастье, что вы, как мне кажется, опоздали! Ведь объявление напечатано уже дней десять назад! Впрочем, оно со мной.

Пока Дарль молча смотрел на него, Угестон в приливе общительности расстегнул пиджак и извлек объемистый бумажник, набитый газетными вырезками. Поспешно разыскав одну вырезку, Вильям Угестон показал ее Дарлю.

— Мы с вами говорим об этой штуке, не так ли? — спросил Угестон, давая Дарлю прочесть текст.

— Да,— ответил, помолчав, Дарль. Еще помолчав, он прибавил: — Действительно, это самое объявление я имел в виду, направляясь к Бурлю.

— Каков изверг?! — воскликнул Угестон и пристукнул палкой.— Это негодяй, тиран! Его дочь стала женой бедного секретаря, служившего у директора консерватории в Гертоне, и Бурль, представьте, отказался ее видеть, восстановил директора против мужа дочери, лишил беднягу места, а сам, старый печеночник, мстительный ипохондрик, выдумал для себя вот это самое развлечение. Он стал нанимать секретарей для того, чтобы их мучить. Его ненависть к секретарям вообще — достигла силы... я бы сказал: внушительности похоронной процессии в пятьсот долларов.

Объявление, тщательно спрятанное Угестоном в бумажник, было напечатано неделю назад «Биржей Престидэя» и гласило следующее:

«Тристану Бурлю нужен секретарь, образованный человек, шатен сухого типа, с серыми глазами, умеющий быстро писать под диктовку и точно исполнять поручения, одинокий, опрятный, скромно одевающийся. Жалованье 225 долларов ежемесячно, стол и комната, ежемесячная прибавка 25 долларов. Непременное условие: в присутствии Тристана Бурля — молчать. Молчать безусловно, категорически, не произнося ни единого слова, ни даже восклицания. В противном случае, если бы даже нарушившее это условие лицо и прослужило шесть месяцев, оно лишается всех заработанных денег, которые уплачиваются по истечении полугодия.

— Надеюсь, я не опоздал,— сказал Дарль,— так как найдется мало охотников служить такому сумасброду. Мало найдется также шатенов сухого типа с серыми глазами вроде меня. Молчать я умею. Я скажу прямо — люблю молчать. Итак, дорога налево?

Подтвердив свое указание, Угестон хотел взять Дарля за пуговицу жилета, чтобы набросать ему огненными чертами портрет злодея Бурля, но будущий секретарь, приподняв шляпу, ударился шагать так широко и быстро, что Угестон, рассеянно осмотрев небо и землю, подобно кошке, у которой из-под носа улетел воробей, гордо закинул голову и направился к Престидэю, острые крыши которого виднелись из-за холмов.

В тот день Тристан Бурль, человек пятидесяти девяти лет, страдающий одышкой, печенью и подагрой, был особенно мрачен, даже свиреп, так как видел во сне дочь, Леону, и безумно ревновал ее к ее мужу, ненавистному нищему секретарю Сивилю Брентгаму. Его утешало лишь то, что директор консерватории Льюис Терн уволил Брентгама, одновременно делая уступку свирепому клянчанью Бурля и своему личному чувству, потому что был сам неравнодушен к Леоне Бурль, девушке красивой и милой. Бурль любил дочь сильно, но примириться с ней не мог. Слово «секретарь» бесило его. Бурль прочел восторженное письмо Леоны, разорвал его, прекратил высылать деньги и написал дочери, чтобы она забыла о нем навсегда. Через неделю начал он стороной наводить справки о ее жизни в Гертоне, но узнал, что Брентгамы куда-то выехали и адрес их затерялся.

Страшно разозлясь, что дочь не написала ему второго письма, противоречивый старик «уткнул подбородок в галстук ненависти» и засел как паук в своем доме, поджидая секретарей-мух, чтобы мучить их, со-

гласно обещанным в объявлении пыткам. Его врагами стали все секретари мира, но — в особенности — секретари тридцати лет, сероглазые «шатены, сухого типа», как описывала ему Леона Бурль Брентгама.

По всем статьям Дарль отвечал требованиям сумасбродного объявления. Не очень печалясь о предстоящей тирании, Дарль разыскал в Нуме дом Бурля и сообщил экономке нотариуса, что явился по объявлению. Не прошло и десяти минут, как его провели к Бурлю.

Перед Дарлем, в старом кожаном кресле, подоткнутый подушками, с тростью в руках, сидел, прищурясь одним глазом, толстый, широкоплечий старик. Из-под насупленных бровей выглядывали желто-коричневые глаза; левый — угрюмо приоткрытой щелью, полной ядовитого блеска, и правый — раскрытый как на врага, в упор, под бровью, приподнятой насмешливо и неодобрительно. Круглое лицо старика было обведено ресничатой бородой, клочки которой торчали подобно лучам. Домашний костюм из грубого серого шелка и мягкие туфли Бурля указывали на любовь к простору и удобству. Его кабинет состоял из огромного окна, стола, напоминающего небольшую площадь, книжных шкапов, дорогого ковра и кожаных кресел. На зеленых стенах не было никаких картин. Портрет дочери Бурль убрал со стола в шкап.

— Вы читали объявление? — спросил Бурль голосом столь резким, что Дарль вздрогнул.

— Да, я прочел его.

— Нравится оно вам?

— Нет.

— Нет. Зачем же вы явились?

— Я должен зарабатывать. В настоящее время очень трудно найти место,— сказал Дарль, внимательно присматриваясь к старику, который, сопя и кашляя, очевидно, приготовился забавляться, так как, закрыв глаза, улыбнулся почти оскорбительно.— Я человек без средств, а на моих руках несколько братьев и сестер, которые должны получить образование. Объявление мне не нравится, но на ваши условия я согласен.

Бурль передвинулся в кресле и покачал головой.

— Что же, вы надеетесь, что будете всегда молчать?

— Безусловно.

— Как хотите. Секретарь мне нужен. Ваше имя? Вы можете говорить в течение десяти минут. Затем

вы умолкнете. Пользуйтесь этим сроком, когда он пройдет, вам придется только выслушивать.

Хотя Бурль явно издевался, Дарль остался спокоен.

— Действительно,— начал Дарль,— я найду кое-что сказать. Ваше объявление недостойно вас. Я не касаюсь причин, которыми оно вызвано,— если только есть иные причины, кроме желания показать свою власть над зависимым и неимущим лицом. Я уверен, что когда-нибудь впоследствии вам это станет понятно. Как видите, у меня нет нужды употребить все десять минут на разговор с вами. Я говорил не более двух минут. Остальные восемь я уступаю вам и остаюсь в вашем распоряжении.

Левая щека Бурля дергалась. Он вытаращил глаза.

— Я думаю, что вы уберетесь вон! — закричал Бурль.

— Нет. Я должен служить.

— В таком случае...— Бурль тяжело вылез из кресла, подвалился, хромая, к столу, стукнул тростью и повторил:— В таком случае... с этого мгновения... беспрекословно... мол-чать!

Дарль покорно кивнул.

— Вы сказали свое,— начал, брызгая слюной, Бурль,— а я выложу вам свое. Есть порода,— к сожалению, порода людей низких, гнусных, льстивых к высшим, нахальных и грубых с низшими, наушников, сплетников, шпионов и предателей, называемая... секре-та-ри. Секретарь мнит себя выше патрона; крадет почтовые марки, пишет доносы начальству своего хозяина, втирается в доверие к его родственникам и втайне смеется над деятельностью того, кому служит. Он считает себя умнее всех, тиранит просителей, лжет, берет подачки и мечтает жениться на... на молодой девушке, родственнице хозяина, на его дочери, если она есть, черт возьми! Я не говорю, что это вы именно такой секретарь; я вас не знаю и говорю вообще. Я презираю секретарей, а потому они должны молчать как собаки. За ваши дерзости сбавляю вам жалованье на двадцать пять долларов. Принимаете?

Дарль кивнул.

— Предупреждаю вас,— продолжал Бурль, начиная уставать,— что я буду всячески пытаться вызвать вас на говорение, особенно к концу полугодия. Я стану провокатором, хитрецом, соблазнителем. Я вас поймаю. Кстати: у меня... нет ни дочери, ни даже племянницы.

Ну-с, вы будете писать под диктовку, а кроме того, вам предстоит снять множество копий в моем архиве. Еще вы перепишете мой дневник. Все.

Дарль кивнул несколько раз, после чего задумавшийся, нахмурившийся Бурль позвонил экономке.

— Шатену сухого типа, Томасу Дарлю, дайте комнату внизу, угловую, и чтобы я ничего не слышал о том, как и что он у вас ест. Сегодня вы свободны,— обратился Бурль к Дарлю,— но завтра в семь утра приходите сюда.

Совершенно усталый, Бурль захромал к спальне, боком провалился в дверь, волоча ногу и трость, и хлопнул дверью так громко, что загудел дом.

Прошло двадцать дней.

Каждый день, в семь часов утра, Дарль приходил к старику в его кабинет и работал со всей тщательностью добросовестного труженика, подшивая бумаги, снимая копии, разыскивая в архиве Бурля справки и документы, необходимые тому для удовлетворения запросов бывших клиентов и составления книги под названием «Нотариальная практика Лисского округа с 1900-го по 1920-й год». Кроме того, он вел приходо-расходные тетради Бурля, ходил покупать сигары, виски и играл с Бурлем в шахматы. Весь день Дарль был занят, его отпускали не ранее восьми вечера, когда, измученный, он приходил в свою комнату — ужинать и пить чай.

Выражения: «сероглазый», «черствого типа» без употребления собственного имени Дарля, затем: «ну-ка, поворачивайтесь живее!», «долговязый кисляй!», «живо в лавочку!» — и другие еще более живописные, слетали с языка Бурля так часто, что иногда он сам в страхе замирал, ожидая пощечины. Но секретарь был выдержан на редкость. Кроме того, он оказался дельным, образованным работником. Дарль только сжимал губы и кивал, слыша брань, или отрицательно качал головой.

Однажды старик упал на пол, начал барахтаться как черепаха и дико вращать глазами. Дарль с трудом поднял его, усадил в кресло и поправил подушку. Бурль, отдышавшись, сказал:

— Ожидаете признательности?

Дарль погрозил пальцем, улыбнулся и указал на свой рот.

— Все равно поймаю! — заявил Бурль.

Дарль, пожав плечом, занялся работой. Бурль стукнул палкой и убежал в спальню.

Утром на двадцатый день этой, с позволения сказать, «службы» к секретарю вошла экономка Дора Форсет. У нее было встревоженное лицо.

— Он тоскует о дочери,— сказала экономка.— Я должна посвятить вас в эту историю, так как, может быть, вы сумеете разыскать адрес. Леона вышла замуж, отцу не понравился ее брак, и он запретил ей писать. Впоследствии Бурль сделал шаг к возобновлению отношений, но было уже поздно: она выехала из Гертона неизвестно куда. Вы видите, я волнуюсь, но что делать, скажите? Всю ночь ему было плохо, а старики мнительны. У него бывает удушье. Под утро он плакал. Жаль его. Ведь он не столько зол, сколько болен, и болен давно.

— Сущие пустяки,— сказал Дарль.— Я знаю, где живет дочь Бурля. Так ему и скажите. Хоть сейчас. Я знаю их обоих: ее и ее мужа, Брентгама. Не беспокойтесь.

Сказав так, Дарль увидел, с какой легкостью может исчезать толстая женщина, если известие чрезвычайно. Она побежала к Бурлю, оставляя по дороге открытыми все двери и голося «мистер-рль» — «р-ль» — все глуше, пока с лестницы не донесся последний ее возглас: «Нашли!»

В комнате Дарля раздался отрывистый звонок.

Когда Дарль пришел в кабинет, он увидел Бурля, стоявшего в дверях спальни. Его лицо опухло, руки тряслись.

— Знаете адрес? — прохрипел Бурль.— Как вы его знаете? Почему вы его знаете? Говорите!

Дарль подал заранее приготовленную бумажку. На ней было написано: «Провокация. Снимите молчание».

— Молчание и шкуру, если хотите! — заорал Бурль.— Я сдохну, пока вы трясетесь над своим жалованьем! Почему, почему, черт возьми, вы знаете адрес?!

— Потому что я муж Леоны,— сказал Дарль, невольно посматривая на палку Бурля.— Я Брентгам.

Бурль ухватился за дверь и начал сползать на пол. Дарль усадил его в кресло.

— Мы живем в Текле, деревня неподалеку от Лисса,— продолжал Дарль,— потому что продали почти все вещи и могли снять лишь что-то вроде птичьей клетки. Я кое-как занял денег и направился к вам,

чтобы попытаться смягчить вас. Леона слаба здоровьем, и разрыв с вами сильно изнурил ее. По дороге я узнал о вашем объявлении и решил сколько могу расположить вас к себе, работая по объявлению.

Бурль полулежал с закрытыми глазами, слушая внимательно и ехидно. Вдруг он приоткрыл правый глаз.

— Вы были хорошим секретарем,— неожиданно сказал Бурль.— Но до чего я прав! Только секретарь может выкинуть такую штуку! Теперь будете ждать моей смерти! Вздыхать о наследстве?

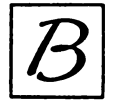
— Вот именно. Ведро цианкали и пулемет приготовлены. «Настала ночь. Шипя как змея, вполз злодей...»

— Ну, довольно,— перебил Бурль.— Я устал. Место я вам устрою. Ваш поступок в моем вкусе: хорошо сыграно. Привыкну. Но, пожалуйста, ни слова Леоне о том, как я вас посылал за водкой, потому что мне это было запрещено.

— Хорошо,— ответил Брентгам.— Вы уже знаете, что секретари умеют молчать.

ДВА ОБЕЩАНИЯ

I



сю ночь берега Покета рвал шторм. Ветер ударял с моря. Были сломаны кукурузные посевы, изгороди; толевые и железные крыши местами отвернулись, как поля шляп.

В саду Гаррисона, начальника каторжной тюрьмы, стоявшей в полумиле от Покета, повалились два дерева. Они загромоздили аллею. Гаррисон приказал убрать их; к десяти часам партия арестантов отправилась из тюрьмы в сад. Они обрубили сучья и стали распиливать стволы.

Отправляясь в канцелярию, Гаррисон задержался около работающих и стал смотреть. Работа пошла так быстро, как движение на экране при ускоренном пропуске ленты.

Его дочь, одиннадцатилетняя Джесси, росшая сво-

бодно, как мальчик, и ни в чем не знающая запретов, была с ним. Оставив отца, она заметила, что нижняя ветка одного из свалившихся стволов прилегает к стволу старого дуба так удобно, как лестница.

Джесси умела лазать по деревьям с наглостью и хладнскровием существа, уверенного в своей безнаказанности. Ей пришло в голову закричать с вершины: «Папа, тебя требуют к телефону».

Обдумав это, она стала влезать, переходить с сука на сук, как по вертикальной винтовой лестнице, и скоро была на высоте двух третей ствола, волнуясь при мысли, что отец заметит ее отсутствие раньше, чем она сообщит ему о своей проделке.

Вскоре расположение ветвей заставило девочку искать такую ветку, ухватясь за которую она могла бы ступить на ту сторону ствола, с какой виден Гаррисон.

Она вытянулась, схватилась за тонкий сук левой рукой и, передав ему свою тяжесть, отпустила правую руку. Сук, росший из более толстого ответвления ствола, треснул в месте сращения. Вцепясь в него обеими руками, Джесси потеряла точку опоры и повисла. Обида, испуг и самолюбие заставили ее крикнуть те самые слова, которые она повторяла себе, взбираясь на дерево:

— Папа, тебя требуют...

Затем она закричала и заплакала.

Гаррисон взглянул вверх и помертвел. Джесси висела высоко над ним, подобрав ноги и стиснув коленками вертикально натянутую ветку, основание которой медленно, но неуклонно отдиралось под ее тяжестью.

Гаррисон растерялся, потом поднял вверх руки. Его резко оттолкнул арестант № 332; он, расставив ноги и протянув руки, как Гаррисон, но не вверх, а на уровне лица, принял на себя удар тела с воплем мелькнувшей вниз девочки.

В момент толчка он присел. Руки его временно отнялись. Он опустил сильно встряхнутую, потерявшую сознание Джесси на траву и, вытирая пошедшую носом кровь, сел с закружившейся головой.

Повелительное и тяжелое лицо начальника каторжной тюрьмы исчезло. Вышло его настоящее лицо, по которому текли слезы. Он поднял Джесси и унес в дом.

Послышался шум. Некоторые арестанты, а также конвойные хлопнули № 332 по плечу, принесли воды, и он выпил полную кружку, стуча зубами о край.

— Полсрока отработал, Эдвей,— сказал один из конвойных.

Эдвей встал, помахал руками, потряс головой. Она все еще туманилась и гудела. В это время прибежал помощник Гаррисона и приказал Эдвею немедленно идти к начальнику.

II

Эдвей никогда не был в квартире начальника тюрьмы. Он прошел ряд светлых, красивых комнат с иллюзией возвращения в мир, покинутый пять лет назад.

Гаррисон отослал конвойного, который сопровождал Эдвея, и сам ввел арестанта в свой кабинет; его окна, выходя на тюремный двор, были заделаны решеткой.

— Ваш номер? — спросил он, давая знак, что Эдвей может сесть.

— Триста тридцать два.

— Ваше имя?

— Томас Эдвей.

Официальный тон не помог Гаррисону овладеть волнением, и он оставил его.

— Послушайте, Эдвей,— сказал начальник после короткого молчания,— вы можете требовать что хотите, за то, что вы сделали. Кроме невозможного. Я обязан вам больше, чем жизнью, и вы это понимаете.

— Конечно, я понимаю.— Эдвей задумался.— Мне не хочется огорчать вас, но я думаю, что, если вы не сделаете, о чем я буду просить, все же кричать на меня не будете.

Гаррисон посмотрел на Эдвея с беспокойством.

— Говорите, что там у вас? Неделя отдыха? Похлопотать о сокращении срока? Или что?

— И больше и меньше,— сказал Эдвей.— Как взглянуть. Я прошу вас снабдить меня городским платьем, выдать мне заработанные деньги за полгода — это составит приблизительно полтора фунта — и отпустить меня на свободу до половины шестого следующего

утра. В шесть происходит поверка. К назначенному сроку я буду здесь.

Гаррисон засопел, взял сигару резким движением и нервно захлопнул ящик.

— В другое время,— сказал он со вздохом,— выслушав такую просьбу, я, конечно, приказал бы дать вам дюжину-другую плетей. Теперь дело иное. О том, что вы говорите, я читал в романах. Не знаю, чем это кончалось в действительности. Ну, что даст вам один день? Зачем это?

— Будь вы на моем месте, вы прекрасно понимали бы, что такое свободный день.

— Каждый из нас на своем месте,— сказал Гаррисон.— Что привело вас сюда?

— Мои страсти.

— В образе?..

— Трех векселей. Я отбыл пять лет, осталось три года.

— Сдержите ли вы слово? Или я заранее должен приготовить прошение об отставке?

— Я совершил подлог, но не потерял чести,— возразил Эдвей.— Разговор становится тяжел для меня. Решите — «да» или «нет».

— Ужасный день! — сказал Гаррисон.— Что я могу? Останьтесь здесь и ждите.

Он вышел и возвратился через несколько минут, хмурый, утомленный собственным решением, которое, подобно трещине, зияло на эмали его характера нервной, острой чертой. В его руках были башмаки, шляпа, костюм, и он подал это Эдвею. Оба они смутились. Заметив, что арестант смотрит на него с изумлением и восторгом, Гаррисон нахмурился, махнул рукой и вышел опять, плотно прикрыв дверь.

III

«Невозможно, ослепительно!» — думал Эдвей. Он хватался за одну вещь, за другую, оставлял их и снова хватал. Сознание совершившегося, причем так неожиданно, и забегающая вперед мечта о свободной городской улице мешали ему сообразить, что должен он сделать с брюками или жилетом. Когда он снимал арестантское платье, его руки тряслись. Чтобы вызвать

сосредоточенность, Эдвей стиснул зубы. Вещи плясали в его руках. Порыв, падение девочки, адская боль в плечах, взволнованный Гаррисон, просьба о невозможном, чего хотел он, как сдавленная грудь хочет полного воздуха, неловкое и высокое решение Гаррисона — он обо всем думал зараз, с трудом находя среди неожиданностей дня место своему нетерпению. Он отвык застегивать воротник, завязывать галстук. Он одевался со стыдом, непонятным, но важным и неизбежным, как всякий хороший стыд.

Покончив с переодеванием, Эдвей подошел к стеклу книжного шкапа. Там, сливаясь с переплетами книг, стоял в темной воде высокий мускулистый человек статной осанки — тот самый, каким был Эдвей несколько лет назад.

— Это сон о свободе,— сказал он.— И я, конечно, вернусь.

— Покончим с этим неприятным делом,— сказал, входя, Гаррисон.— Идите за мной.

Говоря так, он протянул ему два фунта и пошел впереди Эдвея по глаголю коридора. Все двери были закрыты. В конце прохода был выход на шоссе, ведущее к городу.

Гаррисон выпустил арестанта и крепко повернул ключ. Ну душе у него было неверно и смутно. Он отлично сознавал значение своего поступка. С этого дня меж ним и № 332 образовалась неестественная связь, полная благодарности, о которой хотелось не думать. Однако он не мог быть так крупно обязан Эдвею и кому бы то ни было, не заплатив полной мерой. Уже готов был он пожелать никогда не видеть его более, но сообразил, что это — дрянная трусость.

Он вернулся в кабинет и увидел свою жену. Она, сохраняя в лице спасительное насмешливое выражение, свертывала арестантскую одежду Эдвея.

— Оставь это здесь, Эми,— сказал Гаррисон.— Как ты узнала?

— Но... я видела в окно, как он ушел.

— Меня всегда удивляло, что женщины всегда все узнают,— сказал Гаррисон, очень недовольный собой. Наконец он решил, что пора улыбнуться.— Ну, он меня поддел! Это произошло врасплох. Я не мог быть меньше его, но я надеюсь, что он не явится. До половины шестого утра завтра. Как он обещал.

— Он явится,— сказала Эми, засовывая сверток за шкап.— Можешь быть в этом уверен.

— Что ты говоришь?

— Но ты и сам отлично это знаешь.

— Я?

— Ты и я,— мы оба это знаем.

— Эми, он не придет.

— Зачем ты говоришь против себя?

Помолчав, Гаррисон позвонил в канцелярию:

— Латрап? Номер триста тридцать два, который спас Джесси, разбит. Этот день он проведет в постели, в моей квартире. Что? Да, я рад, что вы понимаете. Поместите его в больничный список, утром переведем в лазарет. Что? Да, пусть отдохнет. Более ничего.

IV

Весь день Гаррисон думал о происшедшем и заснул поздно, одетый, у себя в кабинете. Когда рассвело, он проснулся, положил на стол часы и стал ходить, взглядывая на циферблат. Чем ближе стрелка подвигалась к половине шестого, тем быстрее менялись его желания. Сложным, непривычным для него путем он наконец пришел к заключению, что желать обмана — невеликодушно, и приготовился услышать звонок.

Когда он прозвучал,— и это было идеально точно, как раз на половине шестого,— Гаррисон от этой драматической точности испытал большее удовольствие, чем при мысли, что не надо теперь придумывать для округа историю несуществующего побега. Он пошел к выходу и открыл дверь. В сумерках рассвета стоял перед ним Эдвей, с слегка вольно надетой шляпой. От него пахло вином; он был сдержан и утомлен.

— Молчите,— сказал Гаррисон, заметив в его лице искреннее движение.— Я не хочу говорить более обо всем этом. Ступайте, переоденьтесь и отправляйтесь в лазарет к дежурному. Вот записка.

Раскаиваясь в своей мрачности, он прибавил:

— Благодарю вас.

Снова стесняясь и избегая смотреть в глаза, они прошли тихо, как воры или дети, в кабинет Гаррисона,

где Эдвей принял свой прежний вид. Затем Гаррисон вывел его другим ходом в дверь тюрьмы, запер дверь и облегченно вздохнул. Его кошмар кончился, а трещина осталась и расцвела.

Через день после этой истории, рано утром, помощник Гаррисона Латрап быстро вошел в кабинет начальника, протянув письмо.

— Вот все, что осталось от номера триста тридцать два,— сказал он.— Эдвей бежал ночью, распилив решетку. Он оставил под подушкой это письмо, которое адресовано вам.

Гаррисон закаменел и прочел:

«Я видел сон, что я на свободе, что шторм, опрокинувший деревья в саду, загнал в бухту Покета яхту моего старого приятеля. Приснилось мне, что я встретился с ним, рассказал ему свою горькую, но поправимую весть и дал ему честное слово, что буду на палубе его судна не позднее трех часов этой ночи. И я должен был сдержать обещание».

— Тонкой стальной пилой,— сказал Латрап.

Гаррисон стоял неподвижно. В нем возникло несколько одновременных бессмысленных движений, но ни одно не родилось. Он был связан извне и внутри.

— Дайте знать в город, по округу,— сказал Гаррисон.

— Немедленно? — спросил, обгрызывая ноготь, Латрап.

— Немедленно! Что вы хотите сказать?

— Ваше распоряжение...

— Ну?

— Ясно оно или нет?

— Никто не знает, что ясно, а что неясно! — ответил с сердцем Гаррисон, выходя и оставляя Латрапа в психологическом затруднении. Здесь он увидел Джесси и рассердился.

— Ты довольна? Твой спаситель удрал.

— Куда? — осведомилась Джесси, подбегая к нему.

— Как я могу знать куда?

— Но ты сам сказал... Ты начал первый.

— Я думаю, что первая начала ты,— ответил Гаррисон.— Впрочем, извини меня, я устал.

КОМЕНДАНТ ПОРТА

I

Когда стемнело, на ярко освещенный трап грузового парохода «Рекорд» взошел Комендант. Это был очень популярный в гавани человек семидесяти двух лет, прямой, слабого сложения старичок. Его сморщенное, как сухая груша, личико было тщательно выбрито. Седые бачки торчали, подобно плавникам рыбы; из-под седых козырьков бровей приятной улыбкой блестели маленькие голубые глаза. Морская фуражка, коричневый пиджачок, белые брюки, голубой галстук и дешевая тросточка Коменданта на ярком свете электрического фонаря предстали в своем убожестве, из которого эти вещи не могла вывести никакая старательная починка. Лопнувшие двадцать два раза желтые ботинки Коменданта были столько же раз зашиты нитками или скрепляемы кусочками проволоки. Из грудного кармана пиджака выглядывал кусочек пришитого накрепко цветного шелка.

Заботливо потрогав воротничок, а затем ерзнув плечами, чтобы уладить какое-то упрямство подтяжек, старичок остановился против вахтенного и резко растопырил руки, склонив голову набок.

— Том Ластон! — воскликнул Комендант веселым, дрожашим голосом.— Я так и знал, что опять увижу вас на этом прекрасном пароходе, мечтающего о своей милой Бетси, которая там... далеко. Гром и молния! Надеюсь, рейс идет хорошо?

— Кутгей! — крикнул Ластон в пространство.— Пришел Комендант. Что?

— Гони в шею! — прилетел твердый ответ.

Старичок взглядом выразил просьбу, недоумение, игривость. Его тросточка приподнялась и опустилась, как собачий хвост в момент усилий постигнуть хозяйское настроение.

— Ну вот, сразу в шею! — отозвался Ластон, добродушно хлопая старика по плечу, отчего Комендант присел как складной.— Я думаю, Кутгей, что ты захочешь поздороваться с ним. Не бойся, Комендант, Кутгей шутит.

— Чего шутить! — сказал, подходя к нему, Кутгей, старший кочегар, человек костлявый и широкоплечий.—

Когда ни явись в Гертон, обязательно придет Комендант. Даже надоело. Шел бы, старик, спать.

— Я только что с «Абрагами Репп»,— залепетал Комендант, стараясь не слышать неприятных слов кочегара.— Там все в порядке. Шли хорошо, на рассвете «Репп» уходит. Пил кофе, играл в шашки с боцманом Толби. Замечательный человек! Как поживаете, Кутгей? Надеюсь, все в порядке? Ваше уважаемое семейство?

— Кури,— сказал Кутгей, суя старику черную сигарету.— Держи крепче своей лапкой — уронишь.

— Ах, вот и господин капитан! — вскричал Комендант, живо обдергивая пиджачок и суетливо подбегая к капитану, который шел с женой в городской театр.— Добрый вечер, господин капитан! Добрый вечер, бесконечно уважаемая и... гм... Вечер так хорош, что хочется пройтись по эспланаде, слушая чудную музыку. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке? Не штормовали? Здоровье... в наилучшем состоянии?

— А... это вы, Тильс! — сказал, останавливаясь, капитан Генри Гальтон, высокий человек лет тридцати пяти, с крупным обветренным лицом.— Еще держитесь... Очень хорошо! Рад видеть вас! Однако мы торопимся, а потому берите этот доллар и проваливайте на кухню, к Бутлеру, там побеседуете. Всего наилучшего. Мери, вот Комендант.

— Так это вы и есть? — улыбнулась молодая женщина.— «Комендант порта»? Я о вас слышала.

— Меня все узнают! — старчески захохотал Тильс, держа в одной руке сигарету, в другой — доллар и тросточку.— Моряки великий народ, и наши симпатии, надеюсь, взаимны. Я, надо вам сказать, обожаю моряков. Меня влечет на палубу... как... как... как...

Не дослушав, капитан увлек жену к берегу, а Тильс, вежливо приподняв им вслед фуражку, докончил, обращаясь к Ластону:

— Молодчина ваш капитан! Настоящий штормовой парень. С головы до ног.

Тут следует пояснить, что Коменданта (это было его прозвище) в гавани знали решительно все, от последнего трактира до канцелярии таможни. Тильс всю жизнь прослужил клерком конторы склада большой частной компании, но был наконец уволен по причинам, вытекающим из его почтенного возраста. С тех пор его содержала вдовая сестра, у которой он жил, бездетная пятидесятилетняя Ревекка Бартельс.

Тильсу помешала сделаться моряком падучая болезнь, припадки которой к старости хотя исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджачка большой бутерброд, давала десять центов на самочинные мужские расходы, и, помахивая тросточкой, Комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов.

Закурив дрожащей, ссохшейся рукой сигарету, Комендант правильными мелкими шагами направлялся к кухне, где, увидев его брови и баки, повар залился хохотом.

— Я чувствовал, что ты явишься, Тильс! — сказал он наконец, подвигая ему табурет и наливая из кофейника кружку кофе.— Где был? «Стеллу» ты, надо думать, не заметил, она стала за нефтяной пристанью, напротив завода. Там теперь как раз играют в карты и пьют.

— Не сразу, не сразу, уважаемый Питер Бутлер,— ответил, вздохнув, Тильс и, придвинув табурет к столу, сел, держа руки сложенными на крючке трости.— Как ваше уважаемое здоровье? Хорош ли был рейс? Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения? Гм... Я уже был на «Стелле». Тогда там еще не начинали играть, а только послали суперкарга купить карты. Так! Но я, знаете ли, я скоро ушел, потому что там есть две личности, которые относятся ко мне... ну да... недружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона и что... Естественно, я расстроился и не мог высказать им свою любовь ко всему... к бравым морякам... к палубе... Но это у меня всегда, и вы знаете...

Тильс, загрустив, всхлипнул. Бутлер полез в шкафчик и стукнул о стол бутылочкой ананасного ликера.

— Такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик,— сказал Бутлер.— Верно? Выпьем и забудем этих прохвостов. Твое здоровье! Мое здоровье! Алло! Гоп!

Опрокинув полчашки напитка в мясистый рот, Бутлер утер нижнюю губу большим пальцем и сосредоточенно воззрился на Тильса, который, медленно проце-

див свой стаканчик, сделал губами такое движение, как будто хотел сказать «ам». Прослезясь и высморкавшись, Тильс начал сосать потухшую сигаретку.

— Еще?

— Благодарю вас. Быть может, потом. Гром и молния! «Стелла» — хороший пароход, очень хороший,— говорил Тильс, и при каждом слове его голова слабо тряслась.— Ее спустили со стапеля в тысяча девятьсот первом году. Черлей больше не служит на «Ревуне», я видел его вчера в гостинице Марлея. «Отдохну, говорит. Вот что,— говорит Черлей,— у меня счеты неладные с компанией, не выплатили полностью премии». Был сегодня в «Черном быке», заходил справляться, как и что. Все благополучно. Румпер перенес пивную на другой угол, потому что тот дом продан под магазин. Ватсон никак не может добиться пенсии, такая беда! Пьет, разрази меня гром, пьет здорово, как верблюд или морской змей. Приятно смотреть. Возьмет он кружку, посмотрит на нее. «В Филиппинах,— говорит Ватсон,— да, говорит, бывали дела. В Ямайке, говорит, хорошо». «Рояль Стар» потонул. Говорят здесь, попал в циклон. Пушки и ядра! Вы знали Симона Лакрея? Пирата? Симон Лакрей был пират, и он как-то угощал меня после... одного дела. Так вот, он сказал: «Зазубрину» не потопили бы, говорит, если бы, говорит, им не помог сам дьявол». Тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина Лакрей, прямо скажу! Гром и молния! Я тогда говорил ему: «Знаете что, Лакрей, берите меня. На абордаж! Гип, гип, ура! На жизнь и смерть!» Но он чем-то был занят, он не послушался. Тогда и «Зазубрина» была бы цела. Я это знаю. При мне даже дьявол...

— Конечно, Комендант,— сказал Ластон, появляясь в дверях кухни,— ты навел бы у них порядок.

— Естественно,— подтвердил Тильс.— Даже очень. Естественно.

Выпив еще стаканчик, Тильс воодушевился, видимо, не собираясь скоро уйти, и начал перечислять все встречи, путая свои собственные мысли с тем, что слышал и видел за такую долгую жизнь. Он не был пьян, а только болтлив и чувствовал себя здоровым молодым человеком, готовым плыть на край света, Однако уже он два раза назвал повара «сеньор Рибейра», принимая его за старшего механика парохода «Гренель», а Ластона — «герр Бауман», тоже путая с боцманом шхуны

«Боливия», и тогда повар нашел, что пора выставить Коменданта. Для этого было только одно средство, но Комендант безусловно подчинялся ему. Подмигнув повару, Ластон сказал:

— Ну, Комендант, иди-ка помоги нашим ребятам швартоваться на «Пилигрима». Сейчас будем перешвартовываться.

Тильс съежился и исподлобья, медленно взглянул на Ластона, затем нервно поправил воротничок.

— «Пилигрима» я знаю,— залепетал Тильс жалким голосом.— Это очень хороший пароход. В тысяча девятьсот четырнадцатом году две пробоины на рифах около Голодного мыса... ход двенадцать узлов... Естественно.

— Ступай, Тильс, помоги нашим ребятам,— притворно серьезно сказал повар.

Комендант медленно натянул покрепче козырек фуражки и, с трудом отдираясь от табурета, встал. Толщина массивных канатов, ясно представленная, выгнала из его головы дребезжащий старческий хмель; он остыл и устал.

— Я лучше пойду домой,— сказал Тильс, стремительно улыбаясь Бутлеру и Ластону, которые, скрестив руки на груди, важно сидели перед ним, полузакрыв глаза.— Да, я должен, как я и обещал, не засиживаться позже восьми. Швартуйтесь, ребята, качайте свое корыто на «Пилигрима». Ха-ха! Счастливой игры! Я пошел...

— Вот история! — воскликнул Бутлер.— Уже и пошел. Ей-богу, Комендант, сейчас вернутся ребята и боцман, ты уж нам помоги!

— Нет, нет, нет! Я должен, должен идти,— торопился Тильс,— потому что, вы понимаете, я обещался прийти раньше.

— А отсюда вы куда? — сказал, входя, молодой матрос Шенк.

— Здравствуйте, молодой человек! Хорош ли был рейс? Здоровье вашей многоуважаемой...

— Матушки, чтобы вы не сбились,— отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в Морской клуб. Там за буфетом служит одна девица — Пегги Скоттер.

— Пегги Скоттер? — шамкнул Тильс, несколько оживясь и даже не труся больше перед толстыми канатами «Рекорда».— Как же не знать? Я ее знаю. Отлич-

ная девица, клянусь выстрелом в сердце! Я вам говорю, что знаю ее.

— Тогда скажите ей, что ее дружок Вилли Брант помер от чумы в Эно месяц тому назад. Только что пришел «Петушиный гребень», с него был матрос в «Эврике», где сидят наши, и сообщил. Кому идти? Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревет. А вы, Тильс, сможете; вы человек твердый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда?

— Правда,— решительно сказал Ластон, двинув ногой.

— Правда,— согласился, помолчав, Бутлер.

— Только, смотрите, сразу. Не мучайте ее. Не поджимайте хвост,— учил Шенк.

— Да, тянуть хуже,— поддакнул Бутлер.— Отрезал и в сторону.

Сжав губы, старичок опустил голову. Слышалось мерное, тяжелое, как на работе, дыхание моряков.

— Дело в том,— снова заговорил Шенк,— что от вас это будет все равно как шепот дерева, что ли, или будто это часы протикают: «Брант по-мер от чумы в Эно». Так-то легче. А если я войду, то будет, знаете, неприлично. Я для такого случая должен напиться.

— Да. Сразу! — хрипло крикнул Тильс и топнул ножкой.— Смело и мужественно. Сердце чертовой девки — сталь. Настоящее морское копыто! Обещаю вам, Шенк, и вам, Бутлер, и вам, Ластон. Я это сделаю немедленно.

II

Пегги Скоттер хозяйничала в чайном буфете нижней залы клуба, направо от вестибюля. Это была стройная, плотного сложения девушка, веснушчатая, курносая; ее серые глаза смотрели серьезно и вопросительно, а темно-рыжие волосы, пристегнутые на затылке дюжиной крепких шпилек, блестели, как хорошо вычищенная бронза.

Когда ее помощница в десятый раз принялась изучать покрой обшитого кружевами рукава своей начальницы, Пегги увидела Тильса. Он подходил к буфету по линии полукруга, часто останавливаясь и вежливо кланяясь посетителям, которых знал.

— Смотрите, Мели, пришел Комендант,— сказала Пегги, сортируя печенье на огромном фаянсовом блюде.— Он метит сюда. Ну, ну, трудись ножками, старый болтун!

Еще издали кланяясь буфетчице, Тильс вплотную подступил к стойке буфета. Пегги спросила его взглядом о старости, о трудах дня и улыбнулась его торжественно таинственному лицу.

— Здравствуйте, многоуважаемая, цветущая как всегда...— начал Тильс, но замигал и тихо докончил: — Надеюсь, рейс был хорош... Извините, я не о том. Чудный вечер, я полагаю. Как поживаете?

— Хотите, Комендант? — сказала Пегги, протягивая ему бисквит.— Скушайте за здоровье Вильяма Бранта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро вернется. Так он писал еще две недели назад. Когда он приедет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома... без чая, и сама присяду, а теперь, знаете, отойдите, потому что как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают.

— Благодарю вас,— сказал Тильс, медленно засовывая бисквит в карман.— Да... Когда приедет Брант. Пегги! Пегги! — вдруг вырвалось у него.

Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и бестолков.

Пегги удивилась, потому что Комендант никогда не позволял себе такой фамильярности. Она пристально смотрела на него, даже нагнулась.

Тильс не мог решиться договорить,— за этим веселым буфетом с веселыми цветами и красивой посудой не мог тут же на весь зал раздаться безумный крик женщины. Он нервно проглотил ту частицу воздуха, выдохнув которую мог бы сразить Пегги словами истины о ее Бранте, и трусливо засеменил прочь, кланяясь с изворотом, спереди назад, как шатающийся волчок.

Пегги больше не разговаривала с Мели о покрое рукава. Что-то странное стояло в ее мозгу от слов Тильса: «Пегги! Пегги!» Она думала о Бранте целый час, стала мрачна как потухшая лампа и наконец ударила рукой о мраморную доску буфета.

— Дура я, что не остановила его! — проворчала Пегги.— Он чем-то меня встревожил.

— Разве вы не поняли, что Комендант пьяненький? — сказала Мели.— От него пахло, я слышала.

Тогда Пегги повеселела, но с этого момента в ее мыслях села черная точка, и, когда несколько дней спустя девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта черная точка послужила рессорой, смягчившей тяжкий толчок.

— Вот и я, девочка,— сказал Тильс, появляясь наконец дома, старой женщине, сидевшей в углу комнаты за швейной машиной.— Очень устал. Все, кажется, благополучно, все здоровы. Рейс был хорош. Побыл на «Травиате», на «Стелле», на «Абрагаме Репп», на «Рекорде». Встретил капитана Гальтона. «Здравствуйте,— говорит мне капитан.— Здорово, говорит, Тильс, молодчина! Вы еще можете держать паруса к ветру». Приглашал в театр. Однако при шумном обществе я стесняюсь. Выпили. Капитан подарил мне бисквит, доллар и это... Нет, я ошибся, бисквит дала Пегги Скоттер. Умер ее жених. Неприятное поручение, но я мужественно исполнил его. Какие начались... слезы, крик... Я ушел.

— Вы ничего не сказали Пегги, братец,— отозвалась Ревекка.— Я знаю вас хорошо. Ложитесь. Если хотите кушать, возьмите на полке миску с котлетами.

Прошел год. Снова пришел «Рекорд». Но Комендант не пришел,— он умер оттого, что закашлялся так долго, что в его слабом горле лопнул кровеносный сосуд; старик ослабел, лег и через два дня не встал.

— Чего-то не хватает,— сказал Ластон Бутлеру с наступлением вечера.— Кто теперь расскажет нам разные новости?

Едва умолкли эти слова, как на палубу, а затем в кубрик торопливо вошел дикого вида босой парень, высокий, бесстыжий и краснорожий.

— Здорово! — загремел он, махая дикого вида шляпой.— Как плавали, морячки? Рейс был хорош? Семейство еще живое? Ну-ну! Угостите стаканчиком!

— Кто ты есть? — спросил Бутлер.

— Комендант порта! Тильс сдох, ну... я за него.

Ластон усмехнулся, молча встал и молча утащил парня под локоть на мостовую набережной.

— Прощай! — сказал матрос.— Больше не приходи.

— Странное дело! — возопил парень, когда отошел на безопасное расстояние.— Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые? А вам же я хотел услужить,— воры, мошенники, пройдохи, жратва акулья!

— Нет, нет,— ответил с палубы, не обижаясь на дурака, Ластон.— Подделка налицо. Никогда твоя пасть не спросит как надо о том, «был ли хорош рейс».

БАРХАТНАЯ ПОРТЬЕРА

I

Пароход «Гедда Эльстон» пришел в Покет после заката солнца.

Кроме старого матроса Баррилена, никто из команды «Гедды» не бывал в этом порту. Сама «Гедда» попала туда первый раз,— новый пароход, делающий всего второй рейс.

Вечером, после третьей склянки, часть команды направилась изучать нравы, кабаки и местных прелестниц.

Эгмонт Чаттер тоже мог бы идти, но сидел на своей койке, наблюдая, как перед общим, хотя принадлежащим боцману Готеру, небольшим зеркалом сгрудились пять голов: матросы брились, завязывали галстуки и, в подражание буфетчику, обмахивали начищенные сапоги носовыми платками.

Баррилен, сидя у конца стола, пил кофе.

Чаттер не знал, что Баррилен жестоко ненавидит его за примирение двух матросов. Эти матросы обыграли Баррилена, и он искусно стравливал их, тонко клевеща Смиту на Бутса, а Бутсу на Смита. Дело вертелось на пустяках: на украденной фотографии, на соли, подсыпанной в чай, на сплетне о жене, на доносе о просверленной бочке с вином. Однако, посчитавшись взаимно, Бутс и Смит схватили ножи, а Чаттер помирил их, растрогав напоминанием о прежней их дружбе.

Человек злой и хитрый, Баррилен умел быть на хорошем счету. Он пользовался прочным, заслуженным авторитетом. В каждом порту он всегда верно указывал — тем, кто не знал этого,— лавки, трактиры, публичные дома, цены и направления.

— Чаттер! — сказал Баррилен, подсаживаясь к нему.— Разве ты не пойдешь танцевать в «Долину?» — так назывался квартал известного назначения.

Чаттер подумал и сказал:

— Нет.

— Что же так?

— Сам не знаю. Я, видишь, еще утром припас две банки персиковой настойки. Сегодня было уж очень душно, должно быть, от этого я и мрачен.

— Ты купил чашку в Сайгоне? — спросил Баррилен помолчав.

— Купил.

— Покажи!

— Не стоит, Баррилен. Просто фарфоровая чашка с Фузи-Ямой и вишнями.

Матросы, хлопая друг друга по спине и гогоча, как гуси на ярмарке, вышли по трапу вверх, саркастически пожелав Чаттеру хорошенько перестирать свои подштанники. Тогда Баррилен приступил к цели.

— Тебе это дело понравится,— сказал он, тщательно обдумав картину, которую собирался нарисовать простодушному человеку.— Я знаю Покет, Лисс и все порты этого берега: я бывал два раза в Покете. Я сам не пойду в «Долину», хоть веди меня туда даром. Двадцать лет одно и то же... везде. Тут есть одна порченая семья, богатые люди. Болтливому я не скажу ничего, а ты слушай. Их семь душ: четыре сестры и три их приятельницы,— хорошей масти, одна другой лучше. Денег они не берут. Напротив того: ешь и пей, что хочешь, как в нашем салоне. Но они, понимаешь, заводят знакомство только с моряками. Следующее: они сами не пьют, но любят, чтобы матрос ввалился пьяный, завязав ногами двадцать морских узлов. Без этого лучше не приходить. Негритянка проводит тебя через раззолоченную залу к бархатной портьере из черного бархата с золотыми кистями. Тут должен ты ожидать. Она уйдет. Потом занавески эти вскроются, и там ты увидишь... у них это шикарно поставлено! Фортепьяно, арфы, песни поют; можешь также нюхать цветы. Виски, рому, вина — как морской воды! Все образованны, везде тон:

«прошу вас», «будьте добры», «передайте горчицу», и что ты захочешь, все будет деликатно исполнено. Там смотри сам, как лучше устроиться. Хочешь сходить?

Истории такого рода весьма распространены среди моряков. Расскажи приведенную нами выдумку кто-нибудь другой, Чаттер ответил бы смеясь полдюжиной аналогичных легенд; но он безусловно верил Баррилену, и его потянуло к духáм, иллюзиям, музыке. Поверив, он решился и приступил к действию.

— Пусть будет у меня внутри рыбий пузырь вместо честной морской брюшины,— вскричал Чаттер,— если я пропущу такой случай! Это где?

— Это вот где: от набережной ты пойдешь через площадь, мимо складов, и выйдешь на Приморскую улицу. У сквера стоит дом, номер девятнадцать. Стучи в двери, как к себе домой после двух часов ночи. Будь весел и пьян!

— Пьян... Это хорошо! — заметил Чаттер.— Потому что мы непривычны... Значит, ты там был?

— Да, в прошлом году. Меня просили посылать только надежных ребят.

Зная настойчивый характер Чаттера в нетрезвом виде, Баррилен посылал его по вымышленному адресу. Этот или другой — все равно: адрес превратится в поле сражения.

Чаттер был молод — тридцать три года! Он переоделся в новый костюм и выпил бутылку настойки. Но обстановка кубрика была еще трезвой. Чаттер выпил вторую бутылку. Теперь кубрик напился. Койка поползла вверх, вместо одного трапа стало четыре. По одному из них Чаттер вышел, как ему казалось, прямо на улицу, в тень огромных деревьев, заливаемых электрическим светом. Память изменяла на каждом шагу, кроме сброшенной в нее якорем цифры «19» и названия улицы. Чаттер прошел сквозь толпы и бег экипажей, сквозь свет, мрак, грохот, песни, смех, собачий лай, запах чесноку, цветов, апельсинных корок и саданул по большой желтой двери, согласно всем правилам церемониала, внушенного Барриленом.

Едва успела отскочить от него мулатка, открывшая дверь, как появился высокий бородач внушительного сложения.

Человек с окладистой золотой бородкой стоял, загораживая путь, и Чаттер произнес деликатную речь.

— Если вы попали сюда раньше меня,— сказал он,— это еще не причина наводить на меня боковые огни прямо в глаза. Мест хватит. Я матрос — матрос «Гедды Эльстон». Я верю товарищу. Дом...— номер тот самый. «Прошу вас...», «будьте добры...», «передайте горчицу...» Куда мне идти? Семь лет брожу я от девок к девкам, из трактира в трактир, когда здесь есть музыка и человеческое лицо. Мы очень устаем, капитан. Верно, мы устаем. Баррилен сказал: «Раздвинется, говорит, бархатная портьера». Это про ваш дом. «И там, говорит,— да! — там... как любовь». То есть настоящее обращение с образованными людьми. Я говорю,— продолжал он, идя за хмуро кивающим бородачом,— что Баррилен никогда не лжет. И если вы... куда это вы хотите меня?

— Вот вход! — раздался громовой голос, и Чаттер очутился в маленькой комнате — без мебели, с цинковым полом. Дверь закрылась, сверкнув треском ключа.

«Он силен, чертова борода! — размышлял Чаттер, прислонясь к стене.— Должно быть, сломал плечо».

Настала тьма, и пошел теплый проливной дождь. «Лей, дождь! — говорил Чаттер.— Я, верно, задремал, когда шел по улице. Я не боюсь воды, нет. Однако, был ли я в девятнадцатом номере?»

Через несколько минут безжалостный поток теплой воды сделал свое дело, и Чаттер, глубоко вздохнув, угрюмо закричал:

— Стоп! Вы начинаете с того, чем надо кончать, а я не губка, чтоб стерпеть этакую водицу!

Дверь открылась, показав золотую бороду, подвешенную к нахмуренному лицу с черными глазами.

— Выходи! — сказал великан, таща Чаттера за руку.— Посмотри-ка в глаза! Теперь — переоденься. На стуле лежит сухая одежда, а свою ты заберешь завтра.

Дрожа от сырости, Чаттер скинул мокрое платье и белье, надев взамен чистый полотняный костюм и рубашку. Затем появился стакан водки. Он выпил, сказал «тьфу» и огляделся. Вокруг него блестел белый кафель ванного помещения.

— Теперь,— приказал мучитель Чаттеру, стоявшему с тихим и злым видом,— читай вот это место по книге.

Он схватил матроса за ноющее плечо, сунув ему толстую книгу, и ткнул пальцем в начало страницы.

Попятясь к столу, Чаттер сел и прочел:

...Руки моей поэтому. Вот здесь
Цветы для вас: лаванда, рута
И левкой я вам даю,
Цветы средины лета, как всего
Приличнейшие вашим средним летам...
Приветствую я всех!

К а м и л л

Будь я овцой...[1]

— Довольно! — сказал бородач.— Попробуй повторить!

— Я понимаю,— ответил, сдерживая ярость, Чаттер.— Вы, так сказать, осматриваете мои мозги. Не хочу!

Бородач молча встал, указывая на душевую кабину.

— Не надо! — буркнул Чаттер, морщась от боли в плече.— «Руки моей поэтому...» Ну, одним словом, как вы старик, то возмите что похуже — например: мяту, лаванду, а розы я подарю кому-нибудь моложе тебя. Тут Камилл говорит: «Будь я овцой, если возьму ваше дрянное сено!» Теперь пустите.

— Пожалуй! — ответил бородач, подходя к Чаттеру.— Не сердись. Завтра заберешь свое платье сухим.

— Хорошо. Кто же вы такой?

— Ты был в квартире командира крейсера. Должно быть, ты теперь знаешь его, матрос! — сказал капитан, тронутый видом гуляки.— В о т она, бархатная портьера, которую ты пошел искать! — Он дернул его за ворот рубашки.— Она раскроется, когда ты захочешь этого. А теперь марш по коридору, там тебя выпустят.

— Ладно, ладно! — буркнул Чаттер, направляясь к выходу.— У вас все — загадки, а я еще хмелен понимать их. Большая неприятность произошла. Эх!

Он махнул рукой и вышел на улицу.

---

[1] Из «Зимней сказки» Шекспира.

II

Коварная выходка Баррилена теперь была вполне ясна Чаттеру, но он думал об этом без возмущения. Сосредоточенное спокойствие, полное как бы отдаленного гула, охватило матроса: чувство старшего в отношении к жизни. Он шел, глубоко-глубоко задумавшись, опустив голову, как будто видел свое тайное под ногами. Поднимая голову, он удивленно замечал прохожих, несущиеся, колыхаясь, лица с особым взглядом ходьбы. Наконец Чаттер очнулся, вошел в магазин и купил жестянку чая — испытанное средство от опьянения. Но ему негде было его сварить. Продолжая идти в надежде разыскать чайную лавку, каких в этой части города не было, он попал в переулок и увидел раскрытую, освещенную дверь нижнего этажа. Там сидела за столом бледная женщина, молодая, с робким лицом — она шила.

Теперь Чаттер мог бы заговорить с кем угодно, по какому угодно поводу — так же просто, как заговаривают с детьми.

— Сварите мне, пожалуйста, чаю,— сказал матрос, переступив две ступени крыльца и протягивая жестянку насторожившейся женщине.— Я выпил много. С виду я трезв, но внутри пьян. Большая кружка крепкого, как яд, чая сделает меня опять трезвым. Я посижу минут десять и вывалюсь.

Простота обращения передалась женщине, и, слегка улыбчувшись, она сказала:

— Присядьте. Вы, верно, моряк?

— Да, я матрос,— ответил, опускаясь на стул, Чаттер как ей, так и вошедшему невысокому мужчине с маленьким, темным от оспы лицом.— Верно, ваш муж? Я заплачу,— продолжал Чаттер.

Вынув из кармана горсть серебра и золота, жалованье за три месяца, он бросил деньги на стол.

Три покатившиеся монеты, затрепетав, легли посреди клеенки. Мужчина, юмористически сдвинув брови, взглянул на деньги, потом на жену.

— Кэрри,— сказал он женщине,— что тут у вас?

— Ты видишь? Зашел... принес чай и просит сварить,— тихо ответила Кэрри, нервно дыша в ожидании брани.

— Приятно! Джемс Стиггинс,— сказал муж, протягивая руку Чаттеру.— Я шорник. Кэрри все сделает. Си-

дите спокойно. Деньги ваши возьмите, не то, если потом растратите, будете думать на нас.

Он беспокойно оглянулся и вышел вслед за женой в кухню.

— Много не сыпь,— сказал он ей,— нам больше останется. Задержи его. Он дурак. Подлей в чай чуть-чуть рому.

Когда он ушел. Кэрри понюхала чай. Хороший чай, с чудным запахом, совсем не тот, какой покупала Гертруда, сестра Стиггинса. Кэрри не разрешалось покупать ничего. А она очень любила чай. Он веселил ее, заглушал желание есть. Теперь ей очень хотелось есть, но она не смела взять кусок пирога с луком, отложенного Гертрудой на завтра.

Подумав, Кэрри высыпала в чайник полжестянки чая.

Между тем перед задумавшимся Чаттером предстала Гертруда. Стиггинс прервал беседу, состоявшую из вопросов о плаваниях, и сделал сестре знак.

Забрав со стола деньги, Чаттер дал ему гинею, а остальное сунул в карман. Перед ним очутилась теперь рослая женщина лет сорока, с диким и быстрым взглядом. Она старалась сейчас подчинить свое жестокое лицо радушной улыбке.

— Вот зашел к нам дорогой гость, бравый моряк,— говорил Стиггинс.— Он выпьет чаю как у себя дома, в семье, не правда ли, Труда? Он дал мне гинею,— видишь? — купить к чаю кекс и орехов. Ты сходишь. На! А сдачу храни, в следующий раз ему снова дадим чаю и кекс.

Гертруда, взяв деньги, степенно прошла на кухню.

Едва слышно напевая, Кэрри варила чай.

— Как он попал? — спросила Гертруда, показывая монету.— Говоришь — увидел тебя? Так иди же, пусть он видит тебя. Матросы, попав на берег, часто тратят все до копейки. Я заварю чай, а за покупками сходит Джемс. Он много истратился на комод, а теперь еще надо покупать коврик и занавески.

Не смея ослушаться, Кэрри, не поднимая глаз на Чаттера, передала мужу взятую у Гертруды гинею.

— Ты сам...

Стиггинс вышел, а Гертруда принесла чайник.

— Сейчас, сейчас,— говорила она, расставляя посуду.— Наш гость мучается, но он будет пить чай.

Кэрри взглянула на Чаттера, потом на комод. Боль-

шой новый комод стоял у стены как идол. Комод отнял у Кэрри много завтраков, чая, лепешек и мяса, и она ненавидела его. Кэрри хотела бы жить в тесной комнате, но чтобы быть всегда сытой. Вот этот матрос был сыт,— она ясно видела, что он силен, сыт и бодр.

Чаттер сказал:

— Я вам наделал хлопот?

— О нет, нисколько,— ответила Кэрри.

— Да, наделал! — повторил Чаттер.

Некоторое время он пил не отрываясь свой чай из большой глиняной кружки и, передохнув, увидел Стиггинса, пришедшего с кексом, сахаром, пакетом орехов.

— Дай же мне чаю! — сказал Стиггинс сестре.— Кэрри, нарежь кекс. Наш славный моряк начал отходить. Домашняя обстановка лучше всего.

— Кэрри, ты не объешься? — сказала Гертруда, взглядом отнимая у несчастной кусок кекса.— Ишь! Взяла лучший кусок.

Кэрри положила кекс: глаза ее закрылись, удерживая, но не удержав слезы.

— Пусть она ест! — сказал Чаттер, подвигая поднос к Кэрри.— «Руки моей поэтому...» Кэрри, это стихи! «Будь я овцой! Я вам дарю цветы средины лета!»

— Интересно! — заявила Гертруда, жуя полным ртом.

Вошла сгорбленная маленькая старуха с подлым лицом и тихой улыбкой. Взгляд ее загорелся; она шмыгнула носом и села, не ожидая приглашения.

— Чаю, тетушка Риден! — предложила Гертруда.— Вот вам чашка, вот чай. Кушайте кекс!

— Я думала, чай такой жидкий, как был на вашей свадьбе, милочка Кэрри,— монотонно пробормотала старушка, оглядываясь с лукавством и хитростью.— Но нет, он крепок, он очень хорош, ваш чай. Кто же этот ваш гость? Не родственник?

— Родственник! — вдруг сказала Кэрри, у которой странно переменилось лицо. Оно стало ярким, глаза блестели.— Мой двоюродный брат. Мы пойдем с ним в сад. Там есть пиво, там танцуют и есть театр. Не правда ли?

Она смотрела прямо в глаза Чаттеру, и он так же прямо, но глухо, чуть прищурясь, посмотрел на нее. Чаттер уже выпил свой чай. Пока он, встав, искал, а за-

тем нашел кепи, Стиггинс переглянулся с женой и больно придавил ей ногой ногу.

— Только смотри! — мрачно шепнул он.

Общее молчание заставило Гертруду громко заговорить о домашних делах. Нарочно качнувшись, Чаттер взял под руку Кэрри, которая, прикрыв плечи голубым шарфом, поспешно рванулась вперед.

На улице она горько расплакалась.

— Четыре года! — говорила Кэрри, припав к хмуро обнявшей ее руке Чаттера.— Четыре года! Но больше я не вернусь. Возьмите меня и уведите, куда хотите, чтобы я только могла заработать! Можете ли вы это? Вы можете... можете!

— Бедняга! Не реви! — сказал Чаттер.— Ведь ты мне дала чаю, Кэрри, ты будешь пить его из чашки с Фузи-Ямой! Пойдем, то есть возьмем извозчика, а завтра «Гедда Эльстон» выйдет на рейд. Одна наша горничная взяла сегодня расчет. «Будь я овцой!..»

Буфетчик нерадостно выслушал Чаттера относительно Кэрри, так как хотел взять милочку повертлявее, но Чаттер обещал ему свое жалованье за два месяца, и дело устроилось. Кэрри не вернулась за вещами, так что матросы в складчину достали ей необходимые платье и белье.

За своими вещами Чаттер съездил в дом № 19 на другой день.

Вот все.

Еще надо сказать, как утром Чаттер доконал Баррилена, подтвердив портьеру, музыку и цветы. Он сильно озадачил его, особенно когда прочел стихи.

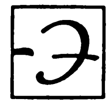
— Их пела одна красавица,— сказал Чаттер.— Ты слушай!

Руки моей поэтому...
Будь я овцой. Дарю я вам цветы.
Берите, когда дают, хотя вы есть старик.
Приличнейший левкой для ваших лет!
Цветы средины лета.

После этого, все с тем же, еще не оставившим его чувством старшего среди жизни, Чаттер запустил руку в свою «бархатную портьеру», почесал грудь и лег спать.

ПАРИ

I



то напоминает пробуждение в темноте после адской попойки,— сказал Тенброк,— с той разницей, что память в конце концов указывает, где ты лежишь после попойки.

Спангид поднял голову.

— Мы приехали?!

— Да. Но куда, интересно знать?!

Тенброк сел на кровати. Спангид осматривался. Комната заинтересовала его — просторное помещение без картин и украшений, зеленого цвета, кроме простынь и подушек. На зеленом ковре стояли два ночных столика, две кровати и два кресла. Было почти темно, так как опущенные зеленые шторы, достигая ковра, затеняли свет. Утренние или вечерние лучи пробивались по краям штор — трудно было сказать.

— Не отравился? — спросил Тенброк.

— Нет, как видишь. Идеальное сонное снадобье,— отозвался Спангид, все еще осматриваясь.— Который час?

— Часов нет,— угрюмо сообщил Тенброк обшарив ночной столик.— Их унесли, как и всю нашу одежду. Таулис честно выполняет условия пари.

— В таком случае я буду звонить.

Спангид нажал кнопку стенного звонка.

Тенброк, вскочив, подбежал к окну и отвел штору. Окно было из матового стекла.

— Даже это предусмотрено! — воскликнул Тенброк, бросаясь к второму окну, где убедился, что фирма «Мгновенное путешествие» имеет достаточный запас матовых стекол.— Слушай, Спангид, я нетерпелив, любопытен; пари непосильны для меня. Кажется, я с п р о ш у! Однако... пять тысяч?!

— Как хочешь, но я выдержу,— отозвался Спангид,— хотя мне так сильно хочется узнать, где я, что, если бы не возможность одним ударом преодолеть нужду, я тотчас с п р о с и л б ы.

Тенброк, закусив губу, подошел к двери. Она была заперта.

— Следовательно, еще нет шести часов утра,— ска-

зал он, с облегчением хватая свой оставленный Таулисом портсигар и закуривая.— Вероятно, Таулис еще спит.

— Пусть спит,— отозвался Спангид.— У нас есть сигары и зеленая комната. Мы везде и нигде. Равно можем мы сейчас лежать в одном из прирейнских городков, на мысе Доброй Надежды, среди сосен Иоллостонпарка или снегов Аляски. Кажется, Томпсон насчитал девяносто три пункта? Угадать немыслимо. Нет матерьяла для догадок. В шесть часов вечера, согласно условию пари, Таулис даст нам съесть по серой пилюле, и, спустя какое-то, небудущее для нас время, мы очнемся на восточных диванах Томпсонова кабинета, куда легли после ужина. Покорно, как овцы, как последние купленные твари, мы протрем свои проданные за пять тысяч глаза, устроим наши дела, и месяца через три добрая душа — Томпсон,— может быть, скажет нам: «Вы были на одном из самых чудесных островов Тихого океана, но предпочли счастью смотреть и быть ваш выигрыш. Не желаете ли повторить игру?..»

— Проклятие! Это так,— сказал Тенброк.— Я понимаю тебя: тебе свалилась на плечи куча сестриц и братцев, которых надо поставить на ноги, но зачем я... У меня солидное жалованье. Знаешь, Спангид, я спрошу. Тогда узнаешь и ты, где мы.

— Ты забыл, что в таком случае нас, по условию, разделят; тебя увезут, а я должен буду съесть серую пилюлю.

— Я забыл,— тихо сказал Тенброк.— Но я все равно не выдержу. Искушение слишком огромно.

— Всю жизнь буду себя презирать, однако стерплю,— вздохнул Спангид.— Ради одного себя.

— Не ругайся, Спангид. Предприятие, где я служу, не так прочно, как думают. Представился случай. Я уцепился. Ты же мне его и представил. Идея была твоя.

— Ну хорошо, что там... Вот и Таулис.

Повернув ключ, вошел Таулис, агент Томпсона, сопровождающий спящих путешественников на безукоризненных аэропланах фирмы. Одет он был так, как на «отъездном» ужине у Томпсона — в смокинг; климат страны не вошел с ним.

— В долю! в долю! — закричал Тенброк.— Две тысячи долларов за честное слово тайны! Где мы?

— Видите ли, Тенброк,— ответил Таулис,— среди моих многих скверных привычек есть одна, самая скверная: я привык служить честно. Вы в Мадриде, в Копенгагене, Каире, Москве, Сан-Франциско и Будапеште.

Таулис вынул часы.

— Шесть часов. Пари сделано, игра начинается. Чай, кофе или вино?

— Водка,— сказал Спангид.

— Кофе! — сказал Тенброк.— И газету!

— Ту, которую я привез из Лисса? — невинно осведомился Таулис.— Бросьте, джентльмены. Это очень детская хитрость.

II

5 сентября 1928 года фирма «Мгновенное путешествие» в лице ее директора Фабрициуса Томпсона заключила оригинальное пари с литератором Метлаэном Спангидом и его другом Корнуэлем Тенброком, служащим в конторе консервной фабрики.

Согласно условию, каждый из них получал пять тысяч долларов, если, переправленный за несколько тысяч миль в один из географических пунктов, охваченных сферой действия «Мгновенного путешествия», проведет там двенадцать часов, с шести утра до шести вечера, не узнав, где он находился. Доставку на место и обратно приятели должны были провести в бессознательном состоянии.

Если бы естественное любопытство превозмогло, проигрыш выражался бы в следующем.

Тенброк должен поступить на службу фирмы «Мгновенное путешествие» и служить первый год без жалованья.

Спангид обязывался написать рекламную статью о своих впечатлениях человека, очнувшегося «неизвестно где» и узнавшего — «где». С приложением фотографий, портрета автора и снимков зданий фирмы эта статья должна была появиться бесплатно в самом распространенном журнале «Эпоха», что брался сделать Томпсон.

Характер произведений Спангида, любившего описывать редкие психические состояния, давал уве-

ренность, что статья вполне удовлетворит цели фирмы.

В основу деятельности фирмы Томпсона было положено всем известное ощущение краткой потери памяти при пробуждении в темноте после сильного отравления алкоголем или чрезмерной усталости. Очнувшийся вначале не соображает, где он находится, причем люди подвижного воображения любят задерживать такое состояние, представляя, как при появлении света они окажутся в каком-то месте, где никогда не были или не думали быть. Эта краткая игра с самим собою в неизвестность оканчивается большей частью тем, что очнувшийся видит себя дома. Но не всегда.

Согласно расчетам Томпсона и его компаньонов, клиент фирмы, само собой все изведавший, объевшийся путешествиями богатый человек, которому захотелось новизны, уплатив десять тысяч долларов, принимал снотворное средство, действующее безвредно и быстро. Перед этим он нажимал хрустальный шарик аппарата, заключающего в себе номера девяносто трех пунктов земного шара, где находились заранее приготовленные помещения в гостиницах или нарочно построенных для такой цели зданиях. Выпадал номер, ничего не говорящий клиенту, но это был его выигрыш — самим себе назначенное неизвестное место. Он терял сознание, его вез — день, два, три и более — мощный аэроплан, после чего человек, купивший путешествие, попадал в условия пробуждения Спангида и Тенброка.

Проходило десять минут. Тогда являлся агент, сопровождающий бесчувственное тело клиента, и говорил:

— Доброе утро! Вы в...

За десять минут полной работы сознания очнувшийся пассажир, с законным на то правом, мог представлять себя находящимся в любой части света — в городе, деревне, пустыне, на берегу реки или моря, на острове или в лесу, потому что фирма не страдала однообразием. Клиент мог выиграть Париж и пещеру на мысе Огненной Земли, берег Танганайки и остров Южного Ледовитого океана. Конечный эффект напряженного состояния стоил дорого, но многие, испытавшие такую забаву, уверяли, что нет ничего восхитительнее, как ожидание разрешения.

Отказавшись от предложения написать для фирмы

статью-рекламу за деньги, Спангид охотно принял пари, будучи уверен, что устоит. Насколько противно было ему писать рекламу, хотя предлагалась сумма значительно более пяти тысяч, настолько выигрыш подобным путем был в его характере. Он не писал больших вещей, не находя значительной темы, а мелочами зарабатывал мало. После смерти отца на его руках осталось трое: девочка и два мальчика. Им надо было помочь войти в жизнь.

Идея пари увлекла Тенброка, и одним из условий Спангид поставил фирме: заключение пари одновременно с Тенброком, который должен был не разлучаться с ним до конца опыта. Они должны были разделиться, лишь если один проигрывал.

Итак, начался день. Где?

III

— Да, где? — сказал Тенброк, когда Таулис внес кофе, водку и сандвичи.— Кофе как кофе...

— Водка как водка,— подхватил Спангид,— и сандвичи тоже без географии. Я не Шерлок Холмс. Я ни о чем не могу догадаться по виду посуды.

Таулис сел.

— Я охотно застрелюсь, если вы догадаетесь, где мы теперь,— сказал он.— Напрасно будете стараться узнать.

Его гладко выбритое лицо старого жокея чем-то сказало Спангиду о перенесенном пути, о чувстве нахождения себя в далекой стране. Таулис з н а л: это передавалось нервам Спангида, всю жизнь мечтавшего о путешествиях и, наконец, совершившего путешествие, но так, что как бы не уезжал.

Неясный шум доносился из-за окна. Шаги, голоса... Там звучала жизнь неведомого города или села, которую нельзя было ни узнать, ни увидеть.

— Уйдите, Таулис,— сказал Спангид.— Вы богаты, я нищий. Я сам ограбил себя. Теперь, получив пять тысяч, я буду путешествовать целый год.

— Я не выдержу,— отозвался Тенброк.— Кровь закипает. Сдерживайте меня, Таулис, прошу вас. Я не человек железной решимости, как Спангид, я жаден.

— Крепитесь,— посоветовал Таулис, уходя.— Звонок под рукой. Платье, согласно условию, вы не получите до отъезда. Оно сдано... гм... тому, который контролирует вас и меня.

Пленные путешественники умылись в примыкающей к комнате уборной и снова легли. Выпив кофе, Тенброк начал курить сигару; Спангид выпил стакан водки и закрыл глаза.

«Не все ли равно? — подумал он на границе сна.— Узнать... это не по карману. Долли, Санди и Августу надо жить, а также учиться. Милые мои, я стерплю, хотя никому, как мне, не нужно так путешествие со всеми его чудесами. Я буду думать, что я дома».

Он проснулся.

— Дикая зеленая комната,— сказал Тенброк, сидевший на кровати с третьей сигарой в зубах.

— Где мы? — спросил Спангид.— О!..

— В дикой зеленой комнате,— повторил Тенброк.— Четыре часа.

Спангид вскочил.

— Низко, низко мы поступили,— продолжал Тенброк.— Я продал себя. Что ты чувствуешь?

— Не могу больше,— сказал Спангид, пытаясь сдержать волнение.— Я не рожден для железных касс. Я тряпка. Каждый мой нерв трепещет. Я узна́ю, узна́ю. Таулис, примите жертву и отправьте ее домой.

Тенброк бросился к нему, но Спангид уже позвонил.

Вошел Таулис.

— Обед через пять минут,— сказал Таулис и по лицу Спангида догадался о его состоянии.— Два часа пустяки, Спангид... молчите, молчите, ради себя!

— Проиграл! Плачу́! — крикнул Спангид, смеясь и выпрямляясь, как выпущенная дикая птица.— Одежду, дверь, мир! Томпсон не богаче меня! Где я, говорите скорей!

Спангид был симпатичен Таулису. Пытаясь уговорить его шуткой, Таулис сказал:

— Клянусь честью, тут нет ничего интересного! Вы жестоко раскаетесь!

— Пусть. Но я раскаюсь; *я* — за себя.

— А вы? — Таулис взглянул на Тенброка.

— Я никогда не отделаюсь от чувства, что я предал тебя, Спангид,— сказал Тенброк, пытаясь улыбнуться.— В самом деле... если место неинтересное...

Его замешательство Спангид почти не заметил. Таулис вышел за платьем, а Спангид, утешая Тенброка, советовал быть твердым и выдержать оставшиеся два часа ради будущего. Когда Таулис принес платье, Спангид быстро оделся.

— Прощай, Тенброк,— взволнованно сказал он.— Не сердись. Я в лихорадке.

Ничего больше не слыша и не видя, он вышел за Таулисом в коридор. Впереди сиял свет балкона. В свете балкона и яркого синего неба блестели горы.

Волнение перешло в восторг. Стоя на балконе, Спангид был глазами и сердцем там, где был.

На дне гнезда из отвесных базальтовых скал нисходили к морю белые дома чистого, небольшого города. Вход в бухту представлял арку с нависшей над ним дугой скалы, промытой тысячелетия назад волнами или, быть может, созданной в таком виде землетрясением. Склоны гор пестрели складками гигантского цветного ковра; там, в чаще, угадывались незабываемые места. Под аркой бухты скользили высокие паруса.

— Город Фельтон на острове Магескан, неподалеку от Мадагаскара,— сказал Таулис.— Славится удивительной прозрачностью и чистотой воздуха, но нет здесь ни порядочной гостиницы, ни театра. Этот дом, где мы, выстроен на склоне горы Тайден фирмой Томпсона. Аэроплан или пароход?

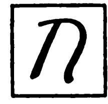
— Я останусь здесь,— сказал Спангид после глубокого молчания.— Я выиграл! Потому что я сам, своей рукой, вытащил из аппарата этот остров и город. Мы летели... Летели?! Два или три дня?

— Четыре,— ответил Таулис.— Но что будете вы здесь делать?

— У меня будут деньги. Я напишу книгу — целую книгу о «неизвестности разрешенной». Я выпишу моих малюток сюда. Еще немного нужды, потом — книга! Бедняга Тенброк!

— Теперь я еще более уважаю вас,— сказал Таулис,— а о Тенброке не беспокойтесь. Он был бы истинно разочарован тем, что он не в Париже, не в Вене!

ТЮРЕМНАЯ СТАРИНА



осле того как я вернулся с Урала, прошли осень и зима. Я опять не мог никуда устроиться, жил кое-где на деньги отца в тесной, дешевой комнате и плохо соображал о том, как же мне быть.

Один раз я заработал несколько рублей, взяв подряд сделать для Народного дома к рождеству гирлянды из еловых ветвей. Я работал со своим школьным приятелем Назарьевым, человеком тоже «без определенных занятий». Дня в два мы сделали свое дело и получили десять рублей, считая себя некоторое время богачами. Иногда удавалось переписать роли для театра или больничную смету, но в общем на свои заработки прожить я не мог. Как началась весна, лед реки Вятки пошел, я отправился в контору судовладельца Булычева и записался матросом на баржу, с жалованьем десять рублей на своих харчах, причем условие было такое: восемь рублей ежемесячно, а два рубля удерживались до конца навигации и не выдавались, если матрос уходил раньше отправки баржи на зиму в затон.

Я сдал паспорт, получил два рубля задатку и через несколько дней попал на этой барже, груженной овсом, в Нижний Новгород, где шли приготовления к ярмарке. Там нас всех четверых и водолива тоже заставили работать на берегу, таскать так называемый «подтоварник», т. е. толстые жерди. Они укладываются на земле рядами, а на них кладется товар — мешки, тюки, прикрываемые брезентом.

Мы, человек тридцать с разных барж, жили в деревянной казарме, спали на полу и питались единственно черным хлебом и супом из картофеля с луком. Между тем рыжий, злой приказчик будил нас в четыре часа утра, а ради пущей лютости этого безобразия посылал будить нас своего сына, мальчишку лет двенадцати, который нагло издевался,когда рабочие поднимались в такую рань очень неохотно. Мы же не смели его бранить, боясь отца этого зловредного мальчика.

Я не стерпел и устроил, при общем одобрении, следующее.

К нам, на второй этаж казармы, вела деревянная лестница, люк которой был огорожен вверху деревянными перилами. Я встал рано, поставил на перила

чайник с горячей водой (куб затапливался в три часа ночи), а от чайника провел нитку вниз, к протянутой горизонтально над ступенями другой нитке. Расчет оказался точен: как только стал подниматься по лестнице рыжий сын рыжего отца, чайник перевернулся, и кипяток хлестнул на голову нашего угнетателя.

Никто не спал в эту минуту. Все слушали, как кричит идиот, возомнивший, что он может командовать взрослыми и усталыми людьми.

Почти немедленно все сели пить чай в глубоком молчании, предшествующем скандалу. Тотчас же ворвался рыжий отец рыжего сына. На его крик: «Кто подстроил эту штуку?» — к чести остальных рабочих надо сказать, что все умолкли, лишь я один сказал: «Это я!» Рыжий отец рыжего сына вился вокруг меня с кулаками и матерной бранью, грозил участком, Сибирью, исходил пóтом и слюной, но тронуть меня не посмел. Я сказал: «Если ты меня тронешь, не быть тебе живому».

Гроза прошла. Меня, конечно, рассчитали, и на пустой барже, буксируемой пароходом, я вернулся в Вятку. Расчету я получил два рубля.

Прошло лето, а осенью отец спросил меня: «Саша, что же ты думаешь делать?»

Что мог сказать я ему? Мне было смертельно жаль старика отца, всю жизнь свою трудовую положившего на нас, детей, и в особенности на меня — первенца, от которого ждали, что он будет инженером, доктором, генералом...

— Я пойду в солдаты,— сказал я, хотя не подлежал воинской повинности.

Отец был искренне рад. Меня отдали в солдаты, причем, так как я не выходил в объеме груди на четверть вершка, отложили прием на март следующего года. Затем канцелярия воинского начальника всосала меня своими безукоризненными жабрами, и я поехал среди других, таких же отсрочников, в город Пензу, через Челябинск и так далее.

Я прослужил в солдатах около года, в следующем, 1902 году, я убежал.

Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина «сделает меня человеком», не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать — очень чистой), или не в очередь

дневалить я подымал такие скандалы, что не однажды ставился вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в околоток (врачебный пункт), и по моей жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор. На исповеди я сказал священнику, что «сомневаюсь в бытии бога», и мне назначили епитимию: ходить в церковь два раза в день, а священник, против таинства исповеди, сообщил о моих словах ротному командиру.

Командир был хороший человек,— пожилой, пьяница и жулик, кое-что брал из солдатского порциона, но он был хороший человек. Он скоро повесился на поясном ремне, когда его привлекли к суду.

Я был очень удивлен, когда взвод наш по приказанию ротного командира был выстроен в казарме и ротный произнес речь:

«Братцы, вы знаете, что есть враги отечества и престола. Среди вас есть такие же. Опасайтесь их»,— и так далее и грозно посматривал на меня. Но что в этом? Грустно мне было слушать эти слова.

Лагерные занятия прошли хорошо. Между прочим, я брал из городской библиотеки книги. Однажды к моей постели подошел взводный, развернул том Шиллера и, играя ногами, зевая, грозно щурясь, ушел. Я был стрелком первого разряда. «Хороший ты стрелок, Гриневский,— говорил мне ротный,— а плохой ты солдат».

На меня напала куриная слепота, особый вид малокровия, при котором после захода солнца человек ничего не видит. К тому времени я познакомился с вольноопределяющимся Студенцовым, социалистом-революционером. Он не раз водил меня на конспиративную квартиру, где шли семинары и студенты давали мне читать «Солдатскую памятку» Л. Толстого и еще кое-что. Я был поражен новизной понятий. Все, что я знал о жизни, повернулось разоблаченно — таинственной стороной; энтузиазм мой был беспределен, и по первому предложению Студенцова я взял тысячу прокламаций, разбросав их во дворе казармы...

Однако надо сказать, что это дело было уже зимой, а летом, не стерпев «дисциплины», я бежал со службы при помощи того же Студенцова, давшего мне три рубля, штатскую фуражку и розовую ситцевую рубашку.

Куриная слепота меня чуть не подвела. Когда я вышел из лагеря, то в темноте забрался в чей-то свинарник, и свиньи подняли такой гвалт, что лишь наудачу, вслепую выбрался я через забор к речке. По пояс в воде перешел я ее, бросил на берегу свою шинель, казенную фуражку, ощупью переоделся, лег и стал ждать рассвета.

Впоследствии, когда меня искали, решили, что я утопился, всю речку обшарили, а я был уже далеко,— отшагал и проехал...

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМА



ЭЛЕГИЯ

Когда волнуется краснеющая Дума
И потолок трещит при звуке ветерка,
И старцев звездный хор из лож глядит угрюмо
Под тенью фиговой зеленого листка;

Когда кровавою росою окропленный,
Румяным вечером иль в утра час златой,
Зловещим заревом погрома озаренный,
Мне Крушеван кивает головой;

Когда министр, почуявший отвагу
Перед своим восторженным райком,
Какую-то таинственную сагу
Лепечет мне суконным языком,—

Тогда смиряется души моей тревога,
И, затаив мечты о воле и земле
И истребив морщины на челе,
Сквозь потолок я вижу бога.

МОТЫКА

Я в школе учился читать и писать.
Но детские годы ушли.
И стал я железной мотыгой стучать
В холодное сердце земли.
Уныло идут за годами года,
Я медленно с ними бреду,
Сгибаясь под тяжестью жизни — туда,
Откуда назад не приду.
Я в книгах читал о прекрасной стране,
Где вечно шумит океан,
И дремлют деревья в лазурном огне,
В гирляндах зеленых лиан.
Туда улетая, тревожно кричат
Любимцы бродяг — журавли...
А руки мотыгой железной стучат
В холодное сердце земли.
Я в книгах читал о прекрасных очах
Красавиц и рыцарей их,
О нежных свиданьях и острых мечах,
О блеске одежд дорогих;
Но грязных морщин вековая печать
Растет и грубеет в пыли...
Я буду железной мотыгой стучать
В железное сердце земли.
Я в книгах о славе героев узнал,
О львиных, бесстрашных сердцах;
Их гордые души — прозрачный кристалл,
Их кудри — в блестящих венцах.
Устал я работать и думать устал,
Слабеют и слепнут глаза;

Туман застилает вечернюю даль,
Темнеет небес бирюза,
Поля затихают. Дороги молчат.
И тени ночные пришли...
А руки — мотыгой железной стучат
В холодное сердце земли.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДРУГ

Верочке

В дни боли и скорби, когда тяжело
И горек бесцельный досуг,—
Как солнечный зайчик, тепло и светло
Приходит единственный друг.

Так мало он хочет... так много дает
Сокровищем маленьких рук!
Так много приносит любви и забот,
Мой милый, единственный друг!

Как дождь, монотонны глухие часы,
Безволен и страшен их круг;
И все же я счастлив, покуда ко мне
Приходит единственный друг.

Быть может, уж скоро тень смерти падет
На мой отцветающий луг,
Но к этой постели, заплакав, придет
Все тот же единственный друг.

* * *

За рекой в румяном свете
Разгорается костер.
В красном бархатном колете
Рыцарь едет из-за гор.

Ржет пугливо конь багряный,
Алым заревом облит,
Тихо едет рыцарь рдяный,
Подымая красный щит.

И заря лицом блестящим
Спорит — алостью луча —
С молчаливым и изящным
Острием его меча.

Но плаща изгибом черным
Заметая белый день,
Стелет он крылом узорным
Набегающую тень.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над узким каменным двором
Царит немая тишь.
На высоте, перед окном,
Белеют скаты крыш.
Недолгий гость осенней мглы
Покрыл их, первый снег,
Гнездя на острые углы
Пушистый свой ночлег.

* * *

Он мчится в воздухе ночном
Как шаловливый дух,
Сверкает, вьется за окном
Его капризный пух.
И скользкий камень мостовой,
И оголенный сад
Он схоронил бесшумно в свой
Серебряный наряд.

* * *

Пусть завтра он исчезнет, пусть
Растает он чуть свет;
Мне сохранит немая грусть
Его мгновенный след;
Волненья девственных надежд
Я провожу, смеясь,
Как белизну его одежд,
Затоптанную в грязь.

ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК

Воздушный путь свободен мой;
Воздушный конь меня не сбросит,
Пока мотора слитен вой
И винт упорно воздух косит.
Над пропастью полуверсты
Слежу неутомимым взором
За неоглядным, с высоты
Географическим узором.
Стальные пилы дальних рек
Блестят в отрезах желтых пашен.
Я мимолетный свой набег
Стремлю к массивам вражьих башен.
На ясном зареве небес
Поет шрапнель, взрываясь бурно...
Как невелик отсюда лес!
Как цитадель миниатюрна!
Недвижны кажутся отсель
Полков щетинистые ромбы,
И в них — войны живую цель —
Я, метясь, сбрасываю бомбы.
Германских пуль унылый свист
Меня нащупывает жадно.
Но смерклось; резкий воздух мглист,
Я жив и ухожу обратно.
Лечу за флагом боевым
И на лугу ночном, на русском,
Домой, к огням сторожевым,
Сойду планирующим спуском.

ВОЕННЫЙ УЗОР

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Волнуя синие штыки,
Выходят стройные полки.
Повозки движутся за ними,
Гремя ободьями стальными.
В чехлах орудий длинный ряд,
Лафеты, конницы отряд,
Значки автомобильной роты,
И трубачи, и пулеметы,
Фургоны Красного Креста —
Походной жизни пестрота.

ДОРОГА

За перелеском лес угрюмый.
За лесом поле. Средь ракит
Река осенняя блестит,
И, полон боевою думой,
С солдатом шепчется солдат:
«Назавтра битва, говорят...»

ПРИВАЛ

Дымится луч; бросают тени
Уступы облачные гор;
Стрелок, в траву став на колени,
Разжечь торопится костер.
А там — стреноженные кони,
Походный залучив уют,
Траву росистую жуют.
У котелка гуторят: «Ноне
Чайку попил, поел — да спать...
Заутра немца донимать».

ПАЛАТКА

Офицера, услав секреты,
Сидят в палатке при огне,
И двигаются силуэты
На освещенном полотне.
«Вперед продвинулись отлично,
А флангом влево подались,
Австрийцы живо убрались».
«Ложитесь, юноша, ложитесь!
Кто знает — завтра...»
«Не дразнитесь,
Обстрелян, ко всему готов...
Позвольте спичку, Иванов...»

НОЧЬ

В ночной дозор идут пикеты.
Все спит. Загадочна луна.
Во сне все тот же сон: война.
Ночные тени... Полусветы.
Печальный крик лесной совы
Да храп усталой головы...

БОЙ

Орудие, в ударе грома,
Дымясь, отпрянуло назад.
Визжа, уносится снаряд
И брызгами стального лома
Крушит сверкающий окоп.
Пылает бой... Воздушных троп,
Гранат чужих не замечая,
Спеша, огонь огнем встречая,
Артиллеристы у орудий,
В пылу поймать успев едва
Команды резкие слова,
Как черти... Тяжко дышат груди,
Лафета скрип и стали звон,
Шипенье пуль, сраженных стон,
Земля и кровь, штыки и гривы,
Шрапнели яростные взрывы —
Слились в одно...
И стал слабей
Огонь германских батарей.

ОТРЫВОК ИЗ ФАУСТА

Ф а у с т

Мне скучно, бес.

М е ф и с т о ф е л ь

Невесело и мне.

Ф а у с т

К Ауэрбаху что ль?

М е ф и с т о ф е л ь

Сомнительно,— зане
Иссякли средства. Денег нет в мошне.
В аду не верят в долг, учли момент печальный.
Хотя я черт,— но черт национальный.

Ф а у с т

Ну, к Маргарите?

М е ф и с т о ф е л ь

В Ревеле она
Матчиш танцует коммерсантам
И, кажется, пьяна.
Ее вчера с немецким адьютантом
Я видел в Мюнхене, а давеча — в Нанси,
На крыше, с телеграфом;
Работает не за одно «мерси»
С каким-то — черт их унеси! —
Международным графом.

Ф а у с т

Что там чернеет? Посмотри!

М е ф и с т о ф е л ь

Корабль германский трехмачтовый,
На мину налететь готовый;
На нем мерзавцев сотни три,
Портрет Вильгельма, сухари,
Воды холодной сто ушатов
Да груз немецких дипломатов.

Ф а у с т

Всё утопить!

ЗВЕРИ О ВОЙНЕ

МЕДВЕДЬ

Вчера охотники стрельбу по мне открыли,
Да как! Не пулями, а сундуками били!
Я, знаете, дремал;
Вдруг, в полуночный час, «трах, трах!» —
Запело здорово в ушах.
От страха я упал.
Куда ни повернись — все «бум!» да «бум!».
Побрел я наобум.
Меж тем — то сбоку трахнет,
То чуть не под носом, визжит, свистит и пахнет
Ужасной гарью. Наконец, прошло
Сметенье леса; в норму все вошло.
Иду я перелеском,
Смотрю: охотник спит, ружье играет блеском...
Затрясся я — однако подошел,
Обнюхал... Мертв он был,— я мертвеца нашел!
Ну, думаю, попал в себя случайно!
Однако ж подозрительная тайна
Явилась далее: здесь много было их
Все мертвых и в крови — охотников таких...

БЕЛКА

А белка, ворочая шишку,
Пропела кокетливо мне:
«Я этого бедного мишку
Вполне понимаю, вполне!
Теперь шутники, для потехи,

Лес темный исследовав весь,
Свинцовые стали орехи
Нам, белкам, разбрасывать здесь.
Но странно смотреть на иного
Бредущего тут шутника,—
Когда он упал, и немного
Дрожит, замирая, рука...
Он в полости нежной и зыбкой
Бледнея отходит ко сну.
И смотрит с застывшей улыбкой,
Как я пробегаю сосну».

БЛОХА И ЕЕ ТЕНЬ

Вольное подражание г-ну Штирнеру
в его произведении
«Единственный и его достояние»

Блоха скакнула на два фута...
Вот красота!
Блохой счастливая минута
Пережита!
Но кто-то черненький, с ней рядом,
Свершив прыжок,
Как и она, виляет задом
И чешет бок...
Вот огорченье! Вот тревога!
Блоха — дуплет,
Четыре фута... Слава богу —
Нахала нет?!
Блоха косится... побледнела...
Ах! Что за черт?!
Тень тут и заслонила тело,
Побив рекорд...
Да, на полкорпуса отстала
Моя блоха!
Клопы смеются: «Проскакала!
Хи-хи! Ха-ха!»
И вот — прыжок восьмифутовый
Готова снесть,—
Блоха пустилась в риск фартовый,
Спасая честь;
Но сверхнадрыва рой блошиный
Ей не простил...
«Блохой, мол, будь, а не машиной!»

И умертвил.
Сердечный вздох печально бросил
Над трупом сим...
Капут блохе... Прощенья просим
Засим...

ДОН КИХОТ

(Гидальго поэза)

Нет! Не умер Дон-Кихот!
Он — бессмертен; он живет!
Не разжечь ли в вас охоту
Удивиться Дон-Кихоту?!
Ведь гидальго славный жив,
Все каноны пережив!

Каждый день на Россинанте
Этот странный человек,
То — «аллегро», то — «анданте»,
Тянет свой почтенный век.

Сверхтяжелую работу
Рок дал ныне Дон-Кихоту:
Защищать сирот и вдов
Был герой всегда готов,
Но, когда сирот так много
И у каждого порога
В неких странах — по вдове,
Дыбом шлем на голове
Может встать — при всем желаньи
Быть на высоте призванья.

А гидальго — телом хил,
Духом — Гектор и Ахилл.
Он, к войскам не примыкая,
Не ложась, не отдыхая,
Сам-один — везде, всегда,
Где в руке его нужда;

Где о подвиге тоскуют —
Дон и Россинант рискуют.

Колдунов на удивленье
Производит вся земля;
Век шестнадцатый — в сравненьи
С нашим веком — просто тля.
О старинном вспомнить странно,
Дети — Астор и Мерлин;
Вот лежит в заре туманной —
Злой волшебник Цеппелин;
Дале — оборотней туча,
Изрыгая с ревом сталь,
Тяжковесна и гремуча,
На колесах мчится вдаль.
И — подобие дракона —
(а вернее — он и есть!)
Туча мрачная тевтона
Отрицает стыд и честь.
Там — разрушены соборы
Черной волей колдуна,
Там — везут солдаты-воры
Поезд денег и вина;
Там — поругана девица,
Там — замучена жена,
Там — разрушена больница,
И святыня — свержена!

А гидальго Дон-Кихот
Продолжает свой поход.
То разбудит часового
От предательского сна,
То эльзасская корова
Им от шваба спасена;
То ребенку путь укажет
Он к заплаканной семье,
То насильника накажет,
То проскочет тридцать лье
Под огнем, с пакетом важным,
То накормит беглеца,
То в бою лихом и страшном
В плен захватит наглеца...

Очень много дел Кихоту;
Там он — ранен, мертв он — тут;

Но — пошлет же Бог охоту —
Воскресает в пять минут!
Так, от века и до века,
Дон-Кихот — еще не прах;
Он — как сердце человека
В миллионах и веках.

О ЧЕМ ПЕЛА ЛАСТОЧКА

Как-то раз в кругу семейном, за вечерним самоваром
Я завел беседу с немцем — патриотом очень ярым.
Он приехал из Берлина, чтобы нам служить
примером —
С замечательным пробором, кодаком и несессером.
Он привез супругу Эмму с «вечно женственным»,
в кавычках,
С интересом к акушерству и культурностью в
привычках.
Разговор как подобает все вокруг культуры терся...
На германском идеале я застенчиво уперся.
Снисходительной усмешкой оценив мою
смиренность,
Он сказал: «Мейн герр, прошу вас извинить за
откровенность,
Чтоб понять вы были в силах суть культурного
теченья,
Запишите на блокноте золотое изреченье.
Изреченье — излеченье от экстаза и от сплина:
Дисциплина — есть культура, а культура —
дисциплина.
Дети, кухня, кирха, спальня — наших женщин
обучают;
Дисциплина, кайзер, пфенниг — им в мужчинах
отвечают.
Идеал национальный мы, конечно, ставим шире:
От Калькутты до Марселя, от Марселя до Сибири.
Вы народ своеобразный, импульсивно-неприличный,
Поэтически-экстазный и — увы — нигилистичный.
Гоголя и Льва Толстого изучал я со вниманьем...
Поразительно! Писали с несомненным прилежаньем...»

Я пустил в него стаканом (ты б стерпеть, читатель,
смог ли?).
Он гороховые брюки подтянул, чтоб не подмокли.
И, картинно улыбаясь, молвил: «Пятна от тэина
Выводить рекомендую только с помощью бензина».

P. S. Стиль подделываю Гейне с тем намеком, что за
Вислой
Сей талант великолепный признают с усмешкой кислой.
А поэтому полезно изучать, для просвещенья:
В людоедских прусских школах все его произведенья.

ЭСТЕТ И ЩИ

Басня

Однажды случилось, что в неком эстете
Заснула душа.
Вздремнула, заснула и в сне потонула,
Забыв все на свете,
Легонько и ровно дыша.

Здесь следует оговориться,
Пока душе эстета спится:
Что значит, собственно, *эстет*?
Ответ:
Эстет — кошмарное, вульгарное созданье,
Природы антраша и ужас мирозданья.
Он красоту — красивостью сменил,
Его всегда «чарующе» манил
Мир прянично-альфонс-ралле картинок,
Альбомов и стихов, духов, цветов, ботинок;
Его досуг — о женщине мечты;
Его дневник — горнило красоты;
Штаны — диагональ, пробор — мое почтенье,
Излюбленный журнал, конечно, «Пробужденье»...
Короче говоря —
От января до января —
Ходячая постель, подмоченная гнилью
С ванилью.
Словцо в сердцах, читатель, сорвалось,
Авось
Его редактор не заметит,
Сквозь пальцы поглядит... иль так... в уме отметит.
Ну, далее... Эстета на войну

Берут; стригут пробор, отвозят за Двину,
За Вислу — и пошлó. Эстет зубную щетку
Молитвенно хранит и порошка щепотку
От крыс, клопов и блох. И зеркальце при нем —
Последний дар души, что ночью спит и днем.
Эстетово в окопах тело
Обтерлось, наконец, и кашу лупит смело,
Хоть ранее поворотило б нос
От рубленных котлет (от отбивных — вопрос).
Однажды, после перехода,
К позиции подъехала подвода
С походной кухней. Хлещет щи эстет...
Проснулась вдруг душа, скорбит, а он в ответ:
«Коль щей не буду есть — умру, прощай, красивость!
Смири, душа, спесивость!»
Тогда души услышал он слова:
«Пустая голова!
О том лишь я скорблю, что щей осталось мало,
А то я б за двоих душевно похлебала!»

Мораль обязан я сей басни показать:
Щи были хороши; душа же — как сказать?..

ПИСЬМО ЛИТЕРАТОРА ХАРИТОНОВА К ДЯДЕ В ТАМБОВ

Я, милый дядя, безутешен,
Мое волнение пойми:
Военным я рассказом грешен:
«О немце,— написал,— в Перми»...

Я пал, и пал довольно низко,
И оправданий не ищу;
Пал как голодная модистка
С желудком, воззванным к борщу.

Пусть те, кто в этом черном деле
Готовы благосклонно ржать,
Кричат, что нужно в черном теле
Литературу содержать!

Пиши, журнальный пролетарий,
«Окопы» эти — без числа,
Но рассмотри, какой динарий
Тебе фортуна поднесла.

Конечно, в повседневном звоне
Он принесет насущный прок,
Но обожжет тебе ладони
И в горле встанет поперек.

Ведь эта подлая монета,
Оплата скромных жвачных блюд,
Цена бифштекса и омлета —
Мзда за невежество и блуд.

Когда ты, черт, сидел в траншее?
Когда в атаку ты ходил?
Ты только, не жалея шеи,
В энциклопедии удил!

Я, дядя, пал довольно низко
И оправданий не ищу,
Но, опростав борщную миску,
Пищеварительно дышу.

А тем, кто сделал из искусства
Колючей проволоки ряд,
Все человеческие чувства
Проклятье черное вопят.

ПОРЫВ

Судомойка из трактира,
Прочитав лихой роман:
«Дон-Формозо и Эльвира»,—
На пятак взяла румян.

Перед зеркалом постой-ка,
Горемыка-судомойка!
Щеки бледные накрась,
Не ударь портретом в грязь!

Вышла... Где ты, Дон-Формозо,
Ночью спившийся в бреду?
Приходи с мечом и розой.
Я тебя, Эльвира, жду.

Встреча. Галстучек. Цепочка.
Котелок. Пенсне. Усы.
«Дон» забыт, и злая точка
Кроет стыдные часы.

Критик, взглядом бойким, смелым,
Рассмотрев себя на свет,
Вдруг нашел, что в общем, в целом
Он не критик, а поэт.

Дело в шляпе. Вот поэма
Шевелится в голове:
Как шпионка-немка Эмма
С горя топится в Неве.

Пишет, а рука привычно
Отмечает на полях:
«У NN'а неприлично
Издан желтый альманах;

С. А. Б. не знает быта;
Л. К. К. украл сюжет;
Из готового корыта
Пьет такой-то вот поэт...»

Глядь, набросана статейка,
«Эмма» где-то в стороне,
И безрадостен, как вейка,
Добролюбов на стене.

Не ищите здесь морали,
Надо всем никто, как бог;
Мы бесхитростно писали
С легкой помощию ног.

РАБОТА

Каждый день, по воле рока
Я, расстроенный глубоко,
За столом своим сижу,
Перья, нервы извожу.
Подбираю консонансы,
Истребляю диссонансы,
Роюсь в арсенале тем
И строчу, строчу затем.

Где смешное взять поэту?
Уязвить кого и как?
«Минну»? «Карла»? «Турка»? «Грету»?
Или бюргера колпак?
Но теперь по́ белу свету
То высмеивает всяк.

Есть «удушливые газы».
Можно высмеять бы их,
Но, припомнив их проказы,
Я задумчиво притих:
Слишком мрачные рассказы
Для того, чтоб гнуть их в стих.

Хорошо. Войны не трону.
Но, желая гонорар,
Я пошлю «Сатирикону»
Мелочную злобу в дар.

И, имен не называя,
Всех приятелей своих

Так облаю, лая, хая,
Что займется дух у них.

Тот — бездарен; этот — грешен;
Этот — глуп; а этот — туп;
Этот — должен быть повешен;
Этот — просто жалкий труп.

Только я — идейно честен,
Сверхталантлив и красив,
Только мне всегда известен
Вдохновения прилив!

Храбрый я,— Аника-воин!
Вы — прокисли? Ничего...
Всяк трудящийся достоин
Пропитанья своего...

СНОПЫ

Последний раз сверкнул над хлебом серп.
Последний сноп подобран у коряги.
Жнецы ушли. У серебристых верб
Блестит луна. Тревожно спят овраги.

Как павшими, усеяны поля
Снопами грязными, их колосом лучистым.
Тяжелый труд. Тяжелая земля.
Тяжелый вздох под горизонтом мглистым.

Оборванный, без шапки, босиком
Бродил помешанный, шепча свои заклятья,
И на меже, невидимый, тайком
К снопам простер безумные объятья.

Он нé взял у деревни ни зерна.
Зачем ему? Задумчивая гостья —
Луна — во власти голубого сна,—
Взял васильки и разбросал колосья.

Истоптан хлеб, поруган тяжкий труд,
А васильки завязаны снопами.
Усталые, к заре теперь придут,
Твердя: «Нечистый подшутил над нами».

О поле, поле! Или никогда
Ты не возьмешь на рамена иные
В одной руке — веселый вздох труда
И хлеб земной, и васильки земные?

СПОР

Аэростат летел над полем смерти.
Два мудреца в корзине спор вели.
Один сказал:
«Взовьемся к синей тверди!
Прочь от земли!
Земля безумна; мир ее кровавый
Неукротим, извечен и тяжел.
Пусть тешится кровавою забавой,
Сломав ограду, подъяремный вол!
Там, в облаках, не будет нам тревоги,
Прекрасен мрамор их воздушных форм.
Прекрасен блеск, и сами мы, как боги,
Вдохнем благой нирваны хлороформ.
Открыть ли клапан?»
«Нет! — второй ответил.—
Я слышу гул сраженья под собой...
Движенья войск ужель ты не приметил?
Они ползут как муравьиный рой;
Квадраты их, трапеции и ромбы
Здесь, с высоты, изысканно смешны...
О, царь земли! Как ты достоин бомбы,
Железной фурии войны!
Ужель века неимоверных болей,
Страданий, мудрости к тому лишь привели,
Чтоб ты, влекомый чуждой волей,
Лежал, раздавленный, в пыли?!
Нет,— спустимся. Картина гнусной свалки,
Вблизь наблюденная, покажет вновь и вновь,
Что человечеству потребны палки,
А не любовь».

ПЕТРОГРАД ОСЕНЬЮ 1917 ГОДА

Убогий день, как пепел серый,
Над холодеющей Невой
Несет изведанною мерой
Напиток чаши роковой.
Чуть свет газетная тревога
Волнует робкие умы;
Событьям верную дорогу
Уже предсказываем мы.
И за пустым стаканом чая,
В своем ли иль в чужом жилье,
Кричим, душ и сердец вскрывая
Роскошное дезабилье.
Упрямый ветер ломит шляпу,
Дождь каплей виснет на носу;
Бреду, вообразив Анапу,
К Пяти углам по колбасу,
К витринам опустевших лавок,
Очередям голодных баб
И к рыночным засильям давок
Прикован мыслью, будто раб.
Ползут угрюмые подводы;
Литейный, Невский — ад колес;
Как средь теченья, ищут броды
Растерянные пешеходы;
Автомобиль орет взасос,
Солдат понурые шинели
Мчит переполненный трамвай;
Слышны мотоциклеток трели
И басом с козел: «Не зевай!»
У сквера митинг. Два солдата
Стращают дачника царем...

Он говорит:
«Былым огнем
Студенчества душа богата...
Царя я не хочу, но все ж
Несносен большевизма еж».
В толпе стесненной и пугливой
С огнями красными знамен
Под звуки марша горделиво
Идет ударный батальон.
Спокойны, тихи и невзрачны
Ряды неутомимых лиц...
То смерти недалекой злачный
Посев неведомых гробниц...
Самоотверженных лавина,
Дрожит невольная слеза,
И всюду вслед стальной щетине
Добреют жесткие глаза...
Рыдай, петровская столица,
Ударов новых трепещи,
Но в их угрозе как орлица
Воскрылий бешеных ищи.
Сама себе служи наградой,
Коня вздыбляя высоко,
И вырви с болью как с отрадой
Стрелы отравленной древко.

МЕЛОДИЯ

Фрегат, за тридевять земель
Свершив свой путь, пристал
К вечерней гавани и рей
Еще не опускал.
Еще вечерних фонарей
Матрос не зажигал.

На рейде, бросив якоря,
Став бушпритом на Юг,
Он, мощью, вид имел царя
Среди покорных слуг —
Шхун, барок, бригов...
                        и заря
Прочла названье — «Друг».

— Эй, эй, на корабле! — вскричал
Хмельной как дым матрос.—
Какой сюда вас ветер мчал
И в гавань как занес?
Я раньше вас не примечал,
Ответьте на вопрос.

Но тих, как серафима взор,
Был звездный рейд вдали,
И в гавань огненный узор
Бросали корабли,
И в реях пел воздушный хор
О красоте земли.

Матрос упрямый, как дитя,
Мотая головой,
Упорно говорил: «Хотя
Я только рулевой,
Но поднимаю не шутя
Свой вымпел боевой!

Я говорю... фюить... фюить,
Ваш такелаж мудрен...
Когда вы будете грузить?
Когда и сколько тонн?
И... это самое... фюить,
Я пьян, но я умен».

И слышал он, поняв едва
(Иль грезилось ему)
Ночные тихие слова,
Прорезавшие тьму:
«Морей блаженна синева
Фрегату моему.

Но я в игре веселой дня
В огне небесных риз,
Когда штурм-трос ползет звеня
И в парус хлещет бриз,
Возьму от вас, навек храня,
Прекрасную Таис.

Звездой рожденная цвести,
Она, свежее роз,
Со мною, на моей груди,
В венках из нежных кос
Уйдет от вас навек...
Прости,
Прости меня, матрос!»

ДАЙТЕ

Дайте хлеба человеку,
Человек без хлеба — волк,
Ну — и хлеб без человека
Небольшой, конечно, толк.
Дайте чаю, он полезен,
Бодрость будит, гонит сон.
Утомлению любезен
И тоске приятен он.
Сахар с чаем неразлучен,
Дайте сахару, вобще!
Без него желудок скучен,
Монпансье ему — вотще...
Дайте мяса,— в нем таится
И кузнец, и кирасир...
В нем невидимо струится
Сильной жизни эликсир.
Дайте яиц, масла, гречки,
Проса, полбы и пшена,
Чтобы нервность нашей речи
Вдруг была укрощена.
Чтобы жизнь, взлетая шире,
Обернулась — нам в удел —
Не картошкою в мундире —
А богатой жатвой дел!

БУРЖУАЗНЫЙ ДУХ

Я — буржуа. Лупи меня, и гни,
И режь! В торжественные дни,
Когда на улицах, от страха помертвелых.
Шла трескотня —
В манжетах шел я белых.

Вот главное. О мелочах потом,
Я наберу их том.
Воротничок был грязен, но манжеты
Недаром здесь цинично мной воспеты:
Белы, крахмальны, туги...
Я — нахал,
Нахально я манжетами махал.

Теперь о роскоши. Так вот: я моюсь мылом.
Есть зеркало, и бритва есть, «Жиллетт»,
И граммофон, и яблоки «ранет»,
Картины также «Вий» и «Одалиска».
Да акварель «Омар», при нем сосиска.

Всего... все трудно даже перечесть:
Жена играет Листа и Шопена,
А я — с Дюма люблю к камину сесть
Иль повторить у По про мысль Дюпена;
Дюма дает мне героизм и страсть,
А Эдгар По — над ужасами власть.

У нас есть дети, двое... Их мечта —
Бежать в Америку за скальпами гуронов.
Уверен я, что детские уста
Лепечут «Хуг!» не просто, нет. *Бурбонов*,

Сторонников аннексий я растил!
Молю всевышнего, чтоб он меня простил.

Мы летом все на даче. Озерки
Волшебное, диковинное место;
Хотя цена на дачу не с руки,
И дача не просторнее насеста,
Но я цинично заявляю всем:
На даче! Ягоды! В блаженстве тихом ем!!!

Вот исповедь. Суди. Потом зарежь.
Я оправданий не ищу, не надо.
К «буржуазности» я шел сквозь «недоешь»,
Сквозь «недоспи», сквозь все терзанья ада
Расчетов мелочных. Подчас, стирая сам,
Я ужинал... рукою по усам.

Я получаю двести два рубля,
Жена уроками и перепиской грабит,
Как только носит нас еще земля?!
Как «Правда» нас вконец не испохабит?!
Картины... книги... медальон... дрова!
Ужасная испорченность... ва-ва!

Упорны мы! Пальто такое «лошь»
Со скрежетом купили, хоть рыдали;
За «Одалиску» мерзли без калош,
А за «Омара» полуголодали.
Вопще, оглох наш к увещаньям слух...
Елико силен буржуазный дух!

РЕКВИЕМ

Гранитных бурь палящее волненье,
И страхом зыблемый порог,
И пуль прямолинейных пенье —
Перенесли мы,— кто как мог.
В стенных дырах прибавилось нам неба,
Расписанного тезисами дня;
Довольны мы; зубам не нужно хлеба,
Сердцам — огня.
Истощены мышленьем чрезвычайно,
Опутаны мережами программ,
Мы — проповедники в ближайшей чайной
И утешители нервозных дам.
До глупости, до полного бессилья
До святости — покорные ему,
Бумажные к плечам цепляя крылья,
Анафему поем уму.
Растерянность и трусость стали мерой,
Двуличности позорным костылем
Мы подпираемся и с той же в сердце верой
Других к себе зовем.
Свидетели отчаянных попыток
Состряпать суп из круп и топора —
Мы льстиво топчемся, хотя кнута и пыток
Пришла пора.
И крепкий запах смольнинской поварни
Нам потому еще не надоел,
Что кушанья преснее и бездарней
Кто, любопытный, ел?
О, дикое, безжалостное время!
Слезам невольным даже нет русла,

Как поглядишь — на чье тупое темя
Вода холодная спасительно текла!
Лет через триста будет жизнь прекрасной,
Небесный свод алмазами сверкнет
И обеспечен будет — безопасный
В парламент — вход.

ОТСТАВШИЙ ВЗВОД

В лесу сиял зеленый рай,
Сверкал закат-восход;
В лесу, разыскивая путь,
Бродил отставший взвод.
День посылал ему — тоску,
Зной, голод и... привет;
А ночь — холодную росу,
Виденья, сон и бред.
Блистала ночь алмазной тьмой,
Трещал сырой костер;
Случалось — в небе пролетал
Огнистый метеор,
Как путеводная звезда
В таинственную даль,
Чертя на жадном сердце след,
Далекая печаль;
А в серебре ночной реки,
В туманах спящих вод
Сиял девичьих нежных лиц
Воздушный хоровод.
В дыму над искрами вились
Ночные мотыльки
И изумрудный транспарант
Чертили светлячки;
И гном, бубенчиком звеня,
Махая колпаком,
Скакал на белке вкруг сосны,
Как на коне верхом;
И филин гулко отвечал
Докладам тайных слуг:
«Я здесь людей не примечал;

Теперь их вижу... Хуг!»
Всех было десять человек,
Здоровых и больных;
Куда идти — и как идти —
Никто не знал из них.
И вот, когда они брели
В слезах последних сил,
Их подобрал лесной разъезд,
Одел и накормил,
Но долго слышали они
До смерти, как во сне,
Прекрасный зов лесных озер
И гнома на сосне.

ИСКАЖЕНИЯ

Звезда покатилась...
Это мы рассмешили ее.
Глубже ночь опустилась,
Развеселое ныне житье!

Наступило молчанье:
Тихий ангел над домом летел,
А к тому — примечанье:
Дом был — морг, а жильцы — не у дел.

Поперхнулся хозяин:
Значит, гости идут за двором;
Значит, к Авелю Каин
Прибежит с топором.

ДВИЖЕНИЕ

Праща описывает круг,—
Смеется Голиаф;
Праща описывает круг,—
Повержен Голиаф;
Праща описывает круг,—
Но умер Голиаф.

Давид играет и поет,—
Безумен царь Саул;
Давид играет и поет,—
Задумчив царь Саул;
Давид играет и поет,—
Спит, грезя, царь Саул.

Мечта разыскивает путь,—
Закрыты все пути;
Мечта разыскивает путь,—
Намечены пути;
Мечта разыскивает путь,—
Открыты все пути.

СОН

На границе вод полярных, средь гигантских светлых теней,
Где в горах, среди гранита, гаснут призраки растений,
Реют стаи птиц бессонных; улетают, прилетают,
То наполнят воздух свистом, то вдали беззвучно тают.
Им в пустыне нет подобных ярким блеском оперенья;
Дикой нервности полета нет средь птиц иных сравненья;
А они живут без пищи, никогда гнезда не строя;
И пустыня их волнует грозной вечностью покоя.
Если льдины раздвигает киль полярного фрегата —
Стаи бережно проводят и напутствуют собрата
И, его снастей коснувшись драгоценными крылами,
Средь гигантских светлых теней исчезают с парусами.

ЛИ

Поэма

Посвящаю А. И. Куприну

— Да, я три раза видел ЛИ,—
Сказал мне старый Биг.
— Его я видел и теперь
Доволен навсегда;
Не может больше счастья быть,
Как повстречаться с ним.

Как позабыть его лицо? —
Оно светло; глаза
Улыбкой странною блестят,
Но нет тревоги в них,
Как будто истина навек
Принадлежит ему.

О, эта истина! Заметь,
Что истин много. Им
Отведены часы и дни.
Царь Истина — весь мир.
Царь Истина... такая есть,—
Ее-то знает ЛИ.

Она проста на первый взгляд,
Но очень мудрена,
Когда захочет человек
Умом ее понять.
Ну, кто научно объяснит
Движенье сердца мне?..

Душа живого сердца — ЛИ,
Вот кто такой он есть;
Когда приходит он — тебе
Приятно и легко.
На знамени его всегда
Написано: «ПРИВЕТ!»

Не человек он — нет. И он
Явился мне во сне,
Когда голодный я заснул
В пакгаузе пустом;
Вдруг разбудил меня толчок
Приветливый в плечо.

Я встал. Тут крыс унылый писк
Вернул меня стремглав
К действительности злобной. Я
На свет луны смотрел
И думал: «Это мне со сна
Почудился толчок».

Как серебро в смоле, сиял
Холодный диск луны.
У ног моих застыл, дымясь,
Ее молочный луч.
Она смеялась надо мной
Из дали темных бездн.

Я вновь хотел смежить глаза,
Но показалось мне,
Что тень или намек на тень
Парит над головой
С улыбкой милой, как цветок
Среди осенних гряд.

В волненьи сильном я не мог
Запомнить все тогда,
Я мог заметить лишь, что он
Прекрасен и не горд.
Приветлив, прост, как джентльмен,
И пошутить не прочь.

— Кто спит — тот ест,— сказал он, взяв
Юмористичный тон,—
Но афоризм этот хорош,

И то условно — раз.
Гораздо лучше ветчина,
Хлеб, пиво и треска...

Уверен я, что утром ты
Пойдешь в Кардийский док.
Есть с бородой там человек,
Чахоточный такой,—
Смотритель. Ты ему скажи,
Что ЛИ тебя послал.

Меня зовут, мой милый, ЛИ.
Я — некто и ничто.
Я, как случится,— есть иль нет,
Но, большей частью,— да.
Три раза встретишь ты меня
На жизненном пути.

Я раз еще к тебе приду
Без разрешенья, сам;
А в третий — ты увидишь, где
Нужна моя рука,
Сообразив, как человек,
Зачем приходит ЛИ.

И он исчез. Ужель всю ночь
Проговорил я с ним?
Ревело утро пристаней
Раскатами сирен,
И солнце в голубой воде
Плескалось нагишом.

Надеюсь, это не был сон,—
Сказал я сам себе,
Сердито взяв Кардийский док
В уме на абордаж,—
Доверчив страшно был в те дни
Я, веря чудесам.

В воротах дока человек
С унылой бородой,
С румянцем алым на щеках
Остановил меня,
Плюясь сердито, и спросил —
Зачем я здесь брожу,

Я шапку торопливо снял,
Откашлялся, вспотел,
И буркнул: «Я пришел от ЛИ
Поденщину просить;
ЛИ наказал вам передать,
Что он меня послал».

Смотритель важно загудел:
«ЛИ? Что-то помню... да...
Высокий этакий, в пенсне.
Ну ладно, становись».
И тут же выдал мне значок, билет и
инструмент.

2

Теперь я расскажу тебе
О новой встрече с ним;
Кардийский док он не считал
Особенно большим
Приличным делом для себя,
Он лучше поступил.

Раз я спасался от тюрьмы
В окрестностях Рено;
Меня ловили пятый день
И не могли поймать.
Я избегал опасных мест
Инстинктом и судьбой.

Я не украл и не убил,
Но спас из петли сам
Контрабандиста, это был
Премилый человек,
Стрелявший метко на бегу
В таможенный дозор.

Мне даром это не прошло:
Меня по бороде
И шраму выше уха знал
В том округе кой-кто.
И я в окрестные леса
Бежал как нелюдим.

Осенний дождь шумел в листве
Пунцово-золотой,
И небо серое врагом
Смотрело на меня,
И ветер яростно гудел
Над мокрой головой.

Но голод теткой никогда
Прикинуться не мог,
И я пошел, на пятый день,
Куда глаза глядят,—
За хлебом к людям. Шел на риск.
Был голоден, как волк.

На перекрестке я попал
В облаву: из кустов
Жандармы конные, хлеща
Горячих лошадей,
В погоню кинулись за мной,
Крича: «Остановись!»

Держи карман!.. Развив пары,
Я в сторону рыскнул
И по оврагам, где копыт
Бессильно волшебство,
Примчался к дому лесника
На красный свет окна.

Сам не был дома, но его
Испуганная дочь
Серьезно слушала меня
И улыбнулась, лишь
Я руку ей поцеловал,
Прося укрыть на час.

Она ввела меня в чулан
И плотно заперла,
И снова стала шить и петь
Приятным голоском
О королеве и ея
Изысканном паже.

Свирепый голос раздался
С порога: «Мариэт!
Куда девался человек,

Что пробежал сюда?
Дела плохие, если он
Под юбкой у тебя...»

«Ступай немедленно к чертям! —
Сказала Мариэт. —
Давно ли с девушками ты
Так обращаться стал..
Клянусь, я расскажу отцу
О дерзости твоей...

Здесь кто-то, верно, пробежал
Задворками, и я
Ходила даже посмотреть
С ружьем и фонарем.
Но это был, должно быть, волк,
Иль пьяница, как ты».

Еще поспорили они,
Но спасовал жандарм,
Недаром смелые глаза
У женщин,— иногда
Вернее выстрела,— и ты
И я боимся их.

Вот стихло. Крадучись, как вор,
Я выглянул за дверь...
Но не увидел Мариэт,
Сидел у печки ЛИ.
И бил в ладоши, и, смеясь,
Торжествовал вовсю...

Я вздрогнул и глаза протер...
Не ЛИ, а Мариэт
Встает и тихо говорит:
«Скорее уходи
Лесной тропой на Зурбаган».
И объяснила путь.

Я крепко руку ей пожал,
Взял хлеб и серебро,
Что без обиды предложить
Сумела мне она,
И вышел. Снова мокрый лес
Шумел над головой.

Но через несколько шагов
Я обернулся: дверь
Была открыта, Мариэт
Стояла молча в ней
С улыбкой сдержанной в лице,
Прижатом к фонарю...

3

Биг продолжал: «Об этом — все.
Но слушай,— третий раз
Я помогал немного ЛИ
В истории его.
Все вышло верно, как сказал
Он сам про третий раз.

На океанский пароход,
Плывущий в Порт-Саид,
Сел неизвестный пассажир,
Зловещий, как болид,
Огнем вспахавший небеса
Немой аэролит.

Он был не молод и не стар,
Изысканно одет,
Красив угрюмой красотой
Во тьме прошедших лет —
Печатью тягостных утрат,
Падений и побед.

Казалось, он в душе таил
Всех выражений знак:
На суетливых моряков
Смотрел он, как моряк,
Как будто указать хотел
Что делать им — и как.

На хамовитых торгашей,
Офицеров и дам
Смотрел он так же, как они;
Как если б, чудом, сам
Был женщина и офицер,
Не джентльмен, торгаш и хам.

Но про него сказать не мог
Никто бы никогда,
Откуда он и почему
Молчит везде, всегда,
Как темная у корабля
Бездонная вода.

За двадцать долгих дней — ни с кем
Он слова не сказал,
Вопросов, возгласов к нему
Никто не обращал.
Его лица ни разу смех,
Согрев, не освещал.

Бесшумно появлялся он
И тут, и там — везде,
Как будто отдыха искал,
Не находя нигде,
Как будто изнывал, томясь
В неведомой беде.

Куда бы он ни приходил,
Следили все за ним,
Глаза прищурив, и сигар
Задумчивее дым
Сливался с воздухом морей —
Простором голубым.

И дам изысканный цветник
В лонгшезах, у борта,
Его завидя, умолкал,
Шепчась надменно; та,
Чей взор он длил,— смотрела, сжав
Презрительно уста.

Он умер... Он взойти хотел
На палубу, но вдруг
Склонился к поручням, в глазах
Блеснул немой испуг,
Он пошатнулся и упал
К ногам проворных слуг.

Веселый пароходный врач,
Осмотр закончив свой,
Сказал присутствующим: «Он

Был, кажется, немой.
Теперь он более чем нем,
Ручаюсь головой!»

И документы, паспорта
Искали у него
У мертвого,— но ни бумаг,
Ни писем — ничего
Не обнаружили, и он
Чужим был для всего.

Я видел бледное лицо,
Покой закрытых глаз...
Приятель! всяческую смерть
Я наблюдал не раз,
Но смерти именно такой
Не мыслил бы для нас.

Ни состраданья, ни руки
Знакомых иль друзей,
Но многоликий здесь стоял
Спокойный ротозей,
Как будто он в театр пришел,
В театр или музей.

И даже имя мертвеца
Никто сказать не мог,
Чтоб хоть прибавить про себя:
С таким-то черт иль бог.
Сухое выраженье лиц
Твердило скрытно: «сдох».

Вдруг гневно захотелось мне,
Чтоб не был одинок
Тот, кто без имени лежал.
Не траур, не венок —
Он похороны в море ждал
С балясиной меж ног.

Волненьем думным сердце сжав,
Мне вспомнились все те,
Кто умирал, как жил, один,
В холодной пустоте.
Кто близость избранных людей,
Грустя, хранил в мечте.

Возвысив голос, я сказал,
Храня спокойный взор:
«Мне этот человек знаком,
Его зовут Кон-Фор,
Три месяца провел я с ним
В ущельях диких гор.

Его я знаю как себя:
Изгнанья десять лет
В пустыне он похоронил,
Переступив запрет
Закона мысли,— да, такой
Закон придумал свет.

В непримиримости его
Таился черный яд.
Умом вдали от всех он был,
Душой рвался назад
К привычкам сердца,— и не мог
Разрушить этот ад.

Лишенья, недуги и гнев
Окаменили дух.
Он к окружающему стал
Безличен, слеп и глух,
Лишь сокровенному внимал
Он, умолкая вдруг.

Пока судьбы тяжелый грех
Удар свой грозный длил,—
Он потерял навеки всех,
Кого, скорбя, любил,
Всех отдал он земле — и стал
Немым, как с нами был.

И та, чье имя произнесть
Не мог он без мольбы,—
Перестрадав, устала ждать.
И жить в тисках судьбы,
Покинув навсегда сама
Мир скорби и борьбы.

Едва ли жил он с той поры;
Он прозябал, верней
Воспоминаньем жалким тех

Живых и ярких дней,
Когда — для молодости — мир
Был ближе и родней.

Теперь спокойный он лежит
Здесь на глазах у нас.
В мученьях дух его горел,
И, догорев, угас:
Да будет мир его душе,
И нашей — в смертный час!..»

Итак,— ты видишь,— я судьбу
И имя дал ему.
Такая стройность лжи была
Жутка мне
самому...
Как сказку эту я сложил,—
Не знаю — не пойму.

Подобной сказки никогда
Не приходилось мне
Излить так просто и легко
Ни сердцу, ни во сне.
И, сам примолкнув, я на миг
Поверил ей вполне.

Толпа обидчива. Она
Молчанья не простит
Ни мертвым, ни живым: толпе
Изнанка тайны льстит,
Тогда, довольная, она
Рыдает иль свистит.

И я, всех зорко осмотрев,
Поймал печали знак,
Знак примиренья, шляпы сняв,
Молчали все; моряк,
Скиталец вечный, прошептал,
Крестясь угрюмо: «Так».

Тогда, случайный кинув взгляд,
Увидел я вдали
С цветком в петлице, на корме
Гуляющего ЛИ.

Он беззаботно закричал:
«Ну, этих провели!»

Еще мгновенье — и волна
Блеснула сквозь него,
Он тенью в парусе мелькнул
И скрылся... для кого?
В какие страны? Трудно знать
Все прихоти его.

Два миллиарда человек
По безднам мчит земля,
И к каждому приходит ЛИ
С улыбкой короля,
Власть терпеливую свою
С хозяином деля.

И только в битвах, где сердца
Иная точит власть,
Не мог он выразить никак
Свою смешную страсть
К проделкам странным, из каких
Я рассказал здесь часть.

Прощай, товарищ. Ночь глуха,
Я выпил и устал.
Когда-нибудь расскажешь ты,
Как ЛИ к тебе пристал,
Как взгляд твой, радуя его,
Смеялся и блистал.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ 1917—1930 гг.

В третий том Собрания сочинений включены рассказы, написанные в 1917—1932 гг., а также подборка «Из поэзии А. С. Грина 1907—1919 гг.», содержащая 29 стихотворений и поэму «Ли». В период с 1917 по 1932 г. произведения писателя вышли в 52 различных периодических изданиях — газетах, журналах, альманахах и сборниках. Тогда же вместе с перепечатками Грин опубликовал более 400 произведений (всего на протяжении творчества им было создано более 900 произведений, включая стихотворения). С 1922 по 1932 г. вышло 15 авторских сборников, куда были включены 108 рассказов писателя. Его печатали почти все издательства, выпускавшие художественную литературу («Красная звезда», «Молодая гвардия», «Недра», «Огонек», «Полярная звезда», «Федерация»), но особенно часто «Земля и фабрика» и Госиздат. С 1927 по 1929 г. в Ленинграде в частном издательстве Л. В. Вольфсона «Мысль» выходило Собрание сочинений А. С. Грина, предполагавшееся как полное, но вышло только 8 томов, вобравших в себя 90 рассказов и роман «Золотая цепь». Любопытным фактом является участие Грина в написании коллективного романа, получившего название «Большие пожары», который начинался главой Грина «Странный вечер» (Огонек.— Пг., 1927, № 1. С. 6—7). По числу авторов в «Больших пожарах» было 25 глав: А. Грин, Л. Никулин, А. Свирский, С. Буданцев, Л. Леонов, Ю. Либединский, Г. Никифоров, Л. Лидин, И. Бабель, Ф. Березовский, А. Зорич, А. Новиков-Прибой, А. Яковлев, Б. Лавренев, К. Федин, Н. Ляшко, А. Толстой, М. Слонимский, М. Зощенко, В. Инбер, Н. Огнев, В. Каверин, А. Аросев, Е. Зозуля, М. Кольцов.

Наиболее часто Грин печатался в журналах: «Огонек», «20-й век», «Новый сатирикон», «Тридцать дней», «Пламя», «Красная нива» и во многих газетах. Переход от изданий типа газ. «Чертова перечница» («орган вежливого протеста и молчаливого отчаяния», как она себя именовала) к «Пламени» (рабоче-красноармейскому органу) и к другим изданиям подобного типа вовсе не означал, что в мировоззре-

нии и творчестве Грина произошла такая кардинальная эволюция. Как и другие писатели его времени, он пережил период сомнений и разочарований в возможностях новой общественной системы. Этот момент наиболее очевидно сказался в стихотворном наследии писателя, по сути, откровенно публицистическом. Стихотворение «Петроград осенью 1917 г.» было опубликовано в октябре 1917 г., т. е. Грин как бы предвосхищал грядущую победу пролетариата, ведомого большевиками, но и не скрывал своих опасений в виду суровых испытаний. Последующие рассказы, фельетоны, стихотворения («Лакей плюнул в кушанье», «Легче стало», «Сделайте бабушку» и др.), опубликованные в газете «Чертова перечница» (выходила в мае — сентябре 1918 г.— всего 11 номеров), содержали и сожаление писателя по безвозвратно отринутому, и насмешки над теневыми сторонами рождавшегося строя. Любопытен сам факт, что на злобу дня Грин стал писать стихами.

Еще ранее особенности публицистического дарования Грина сказались в трактовке им «военной» темы на страницах «Нового сатирикона» (сатирического еженедельника, выходившего под редакцией А. Аверченко). Если герой стихотворения «Военный летчик» не задумывался, во имя чего он сбрасывает смертоносный груз, а герой «Дон-Кихота» уже осознавал бессмысленность войны, то герой-журналист в стихотворении «Работа» (1915, № 47) с отвращением отталкивался от ура-патриотических тем.

Интермедия «Вокруг развалин» явилась наиболее сильным антивоенным выступлением Грина в «Новом сатириконе» (1917, № 18). Приведя слова Куприна: «Голубь нес в зубах пальмовую ветвь» (речь шла о международной конференции в Гааге, где были приняты конвенции о законах и обычаях войны, о нейтралитете и мирных способах разрешения конфликтов, но под завесой разговоров о мире готовилась всемирная бойня), Грин замечает, что в этой фразе не простая описка — «тут работала интуиция»: «у того голубя есть зубы — острые и жестокие, почти не знающие пощады, сплошные клыки. Нет, это не голубь... Новый птеродактиль описывает в воздухе пируэт и превращается в ревущий биплан».

В «Новом сатириконе» подпись А. С. Грина встречается около 40 раз. Интересно, что в том же номере, где появилось первое в этом журнале стихотворение В. Маяковского «Судья» (1915, № 9), был напечатан большой стихотворный фельетон Грина «Флюгер», изобличавший литературные флюгеры, а в № 12 за тот же год, где публиковалось стихотворение Маяковского «Ученый»,— помещено аллегорическое стихотворение Грина «Встреча». В нем писатель изобразил свою встречу с Парками (богинями судьбы), которые в ответ на вопрос, почему они бесприютно бродят по дорогам, а не прядут, как им положено, нити человеческих судеб, отвечают: «Мы пряли бы, да ниток не хватает...» Эта аллегория, резко антивоенная

по своему содержанию, была по тем временам очень рискованной. Она подсказывалась фактами, о которых умалчивали военные бюллетени (о нехватке оружия, людей и т. п.). Сатирические произведения А. Грина были насквозь пропитаны злобой дня.

В прозе А. С. Грина преобладающим оставался жанр романтико-психологической новеллы. После революции до 1923 г. критика не замечала писателя. Автор единственной рецензии А. Норман выделял как достоинства Грина «внутренний психологизм», «чудесный запас фантазии», «дерзкий вызов на борьбу с судьбой», «глубокое проникновение в тайны природы и жизни». Но в то же время он упрекал писателя за «журналистскую работу» (т. е. для журналов), посвященную «гражданским темам», которую этот критик считал пустяками, а не делом художника, как Грин.

С 1923 г. в появившихся тогда новых журналах критики, библиографии, библиотековедения и издательского дела — «Литературный еженедельник», «Книга и революция», «Печать и революция», «Книгоноша» и др.— стали публиковаться рецензии, в том числе и на произведения Грина. Характерно, что оценки давались только по выходе того или иного издания, но критики не стремились рассмотреть творчество писателя в целом, либо по отдельным периодам или жанрам. Не было откликов и на вышедшие в 1927—1929 гг. тома Полного собрания сочинений А. С. Грина. За 1923—1929 гг. напечатано около сорока рецензий на произведения А. С. Грина и только треть из них содержала положительные отклики. Но сегодня и так называемые отрицательные рецензии прочитываются по-иному, ибо то, в чем обвиняли писателя (С. Динамов, В. Шишов, И. Иринов и многие другие критики) — отрыв от действительности, от запросов современности,— явилось по сути сильной стороной дарования Грина, сохранившей его для нас и для наших потомков.

Удержались в критике и аналогии с зарубежными мастерами, столь характерные для дореволюционной критики. Например, о сборнике А. С. Грина «Рассказы» (М.; Пг., 1923) говорилось следующее: «Грин — романтик, иногда мистик, балансирующий между Э. По и Дж. Лондоном, без остроты первого и четкой простоты второго. В данных рассказах влияние Лондона заметно особенно сильно. Благодаря остроумному содержанию и хорошей литературной форме, книга читается с большим интересом» (Книгочоша, 1923, № 14, с. 8).

К упрекам в несамостоятельности и несовременности в середине 20-х годов присоединились обвинения в «асоциальности», космополитизме, протаскивании буржуазной идеологии. Но это уже был выход на опасную «передовую линию» политической борьбы. Разговор о литературе не получался, когда критик подходил к оценке творчества писателя с таких, например, «позиций»: «...то, что было терпимо до Октября, стало совершенно несносно в наше

время». Эти слова принадлежат Г. Лелевичу — одному из самых яростных противников Грина в 20-х годах. В той же рецензии на сборник Грина «На облачном берегу» (М.; Л., 1925) он утверждал, что «Грин последыш того слоя русской интеллигенции, который не приобщился к буржуазному миру и в то же время не пошел за пролетариатом... Этот слой уже давно вырождается, и книга Грина — одно из ярких проявлений последней стадии вырождения» (Печать и революция, 1925, № 7, с. 271). В связи с нападками на идейную сторону творчества подвергалось сомнению и мастерство художника, объявляемого мистиком. Тот же Г. Лелевич писал, что Грина как «истого декадента» интересует «только болезненное, бредовое, только то, на чем лежит печать психиатрической больницы или спиритического салона...» (там же).

В 20-е годы попытку дать объективное истолкование творческой манеры А. Грина предпринял Я. Фрид — он первым обратил внимание на психологизм писателя. В связи с оценкой сборника «Гладиаторы» (М., 1925) он писал: «...гибкими, послушными схемами приключенческих сюжетов Грин пользуется только для того, чтобы, поместив персонажи в нужную обстановку, облегчить осуществление своего основного задания — психологического анализа. Его интересует личность как таковая — во всех ее отклонениях от нормы в решительные, роковые для людей моменты, когда переживания обостряются. Его интересует психология безумца, калеки, преступника, психология любви-ненависти и т. д.». Интересным является и стремление критика обосновать связь Грина с западной литературой через его близость с эпохой символизма, устремленного к Западу. Не случайно поэтому, полагал Я. Фрид, и тяготение Грина к Э. По — как к основоположнику школы и учителю символистов. Именно «в связи с этим обстоятельством», по мнению критика, разъясняется «оторванность» Грина от русских тем и отечественной литературы (Новый мир, 1926, № 1, с. 187—188).

Показательна эволюция отношения к Грину у некоторых критиков. К. Локс в 1923 г. в первой рецензии на произведения А. Грина (Книгоноша, 1923, № 14, с. 8) предпринял попытку приблизить А. Грина к творчеству Дж. Лондона. Статья (Печать и революция, 1923, № 5, с. 296) уже более объективна — в ней указывалось на своеобразие, новизну гриновского романтизма и владение сюжетом. В 1933 г. К. Локс выступил со статьей, где он сумел уловить основные особенности творческой манеры Грина (см.: примеч. к рассказу «Тюремная старина»).

Пережил эволюцию А. Роскин. В первой статье о произведениях А. С. Грина (Художественная литература, 1935, № 4, с. 6) он видел в романтике лишь искусного формалиста, идейно враждебного новому строю. Во второй (Литературный критик 1938, № 5, с. 167—187)

автор был более объективен — здесь он радикально пересматривал свой взгляд, снимая с Грина ярлык поставщика «легкого чтения». А. Роскин утверждал теперь: «О Грине часто говорят как о писателе, бежавшем от жизни. Между тем книги Грина возбуждают ту тягу к прекрасному, которую способны внушать только книги жизнелюбцев». Критик склонен был видеть влияние А. Куприна на становление творческой манеры писателя: «...лучшее — купринское — осталось в гриновском творчестве: ясный и солнечный воздух купринских «Листригонов»... Грин воспевает волю к благородному деянию, важность и совершенную необходимость красоты в обыкновенной человеческой жизни. Творчество Грина оптимистично в самой своей основе».

С высокой оценкой творчества писателя в 30-е годы выступили М. Левидов, Ю. Олеша, Л. Борисов и другие. «Почему любят его читатели?» — ставила вопрос М. Шагинян и видела причину в приверженности к теме, «которая отвлеченно называется «душой человека». «Все в тебе, человек»,— вот азбука Грина» (Красная новь, 1933, № 5, с. 171). Критерием объективной оценки творчества А. С. Грина в первую очередь может служить отношение к нему писателей-современников; оно вызревало изнутри, вступая в противоборство с предвзятыми оценками.

В письме Н. Асееву из Сорренто 5 мая 1928 г. М. Горький признавал: «Грин — талантлив, очень интересен, жаль, что его так мало ценят» (Архив А. М. Горького.— Шифр ПГ-РЛ, 2, 12). И еще ранее, в апреле 1926 г. он писал А. Воронскому: «...В области «сюжетной» литературы все интереснее становится А. Грин. В его книжке «Гладиаторы» есть уже совсем хорошие вещи» (Архив А. М. Горького.— М., 1965. Т. 10: М. Горький и советская печать. Кн. 2.— С. 32).

А. Грин жаловался в письме М. Горькому (3 авг. 1930 г.) на трудности с изданием его книг. Например, в издательстве «Земля и фабрика» ему сказали: «Вы не хотите откликаться эпохе, и в нашем лице эпоха Вам мстит» (Архив А. М. Горького.— Шифр КГ-П, 22-3-8). Ощущая этот перекос в отношении к писателю, доброжелательная критика, вопреки очевидности, утверждала, что «плавание в глубь индивидуальности было Грину абсолютно чуждо» (М. Шагинян), что «авантюрный» сюжет А. С. Грина выше подобных ему в западной литературе прежде всего присутствием психологизма.

Большой интерес к творчеству Грина проявлял К. Зелинский. В 1934 г. он опубликовал ряд статей, где высоко ставил его талант как стилиста. Он также указывал на двойственность миропонимания писателя: «Грин и борец, и «прячущийся от жизни» художник». При этом критик называл писателя «воинствующим романтиком» (см. предисловие к сборнику «Фантастические новеллы.— М., 1934).

В 30-е годы объективные суждения о творчестве писателя выдвигаются на передний план, хотя порой продолжают звучать отголоски прежних оценок. Тезис К. Зелинского (1934 г.) о том, что Грин находился в постоянном конфликте с жизнью действительной, «уточнял» А. Роскин: «Каждая новая вещь Грина превращалась в глухую тяжбу с советской действительностью, с революцией...» (Художественная литература, 1935, № 4, с. 6). К. Зелинскому принадлежит мысль о том, что в творчестве А. Грина прослеживается любопытное и постепенное «превращение» его стиля от Куприна к Эдгару По (Красная новь, 1934, № 4, с. 206).

Подлинным критерием оценки творчества романтика в 30-е годы явилось коллективное обращение в издательство «Советская литература» о публикации посмертного сборника произведений А. Грина (ЦГАЛИ. Фонд № 127. Оп. I. Ед. хр. 210. Лл. 11—13. Письма писателей в издательство «Советская литература»). В этом документе содержится признание таланта А. Грина такими мастерами слова, как Ю. Олеша, Н. Асеев, Л. Леонов, Ал. Малышкин, Э. Багрицкий, В. Катаев, Л. Сейфуллина, А. Фадеев, Ю. Либединский. В результате вышел сборник А. С. Грина «Фантастические новеллы» (М.: Советский писатель, 1934.— 597 с.), вобравший в себя лучшие его произведения.

Наиболее активным сторонником творчества Грина выступил К. Паустовский. Он опубликовал ряд статей, преображенных затем в форму критико-биографического очерка. На протяжении последующих десятилетий этот очерк служил предисловием ко многим отечественным и зарубежным изданиям А. С. Грина. К. Паустовский утверждал, что современность 30-х годов нуждалась в творчестве Грина как романтика. Но в то же время он (как и М. Шагинян, и М. Слонимский, и др.) сетовал, что Грин не сумел освоить «жизненную конкретику новой действительности». В этом выводе было явное противоречие, скрытое от критиков господствующим «пафосом эпохи». Ведь очевидно, что Грин перестал бы существовать как индивидуальность, если бы ему удалось освоить жизненную конкретику в том упрощенном понимании, которое тогда подразумевалось.

30-е годы стали переломными в оценке творчества писателя. Но несмотря на рост популярности, вульгаризаторская критика ограничивала доступ его произведений к широкому читателю. В эти годы А. С. Грина издают очень мало, а в библиотеках его произведения по-прежнему изымаются.

Объективное исследование романтизма А. Грина было прервано войной. В 50-е годы возобладала злобная вульгаризаторская критика — в центральных журналах появились статьи В. Важдаева (Новый мир, 1950, № 1, с. 257—272) и Ан. Тарасенкова (Знамя, 1950, № 1, с. 162—166), в которых творчество Грина объяснялось

с позиций огульных политических обвинений. На основе этих статей построена информация о писателе в БСЭ (1952, т. 12). А. С. Грин был посмертно объявлен космополитом и предан забвению. Его книги не переиздавались в течение ряда лет.

В 1956 г. в «Новом мире» был опубликован страстный критический очерк М. Щеглова в защиту романтизма А. Грина. С тех пор в печати появилось множество работ, для которых показателен тон доброжелательства, объективного, бережного отношения к творчеству русского романтика. Его художественное наследие начали осваивать с разных сторон: стали всерьез изучать своеобразие романтизма писателя, его художественной концепции (В. Вихров, В. Ковский — автор первой диссертации и первой монографии о А. Грине); началось критическое освоение новеллистики писателя (В. М. Россельс), накопление жизненно-биографического материала (В. Сандлер).

Работы современных исследователей выгодно отличаются от прошлой критики. Нынешнее признание писателя вызревало исподволь, оно мотивировано как сложными движениями внутри самой литературной критики, так и не менее сложными преображениями во внутреннем мире современного человека, а также значительными общественно-социальными завоеваниями.

Каждый сам миллионер // Петроградский листок (газ.).— 1917. 1 янв. То же // 20-й век (еженедельный иллюстрированный журн.).— Пг., 1917. № 18. С. 12—13.— Под псевд.: А. Степанов. Печатается по первой публикации. В «правдинские» СС не входил [1].

«Продолжение следует» // Синий журнал (еженедельник).— Пг., 1917. № 5. С. 4—6. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— М.: Прибой, 1927. Печатается по ПСС [2].— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927.

Нож и карандаш // Синий журнал.— Пг., 1918. № 11. С. 4. Под названием «Талант» // Для детей: Приложение к журналу «Нива» (иллюстрированный ежемесячник).— Пг., 1917. № 6. С. 183—191. Печатается по первой публикации. В «правдинские» СС не входил.

Враги // Огонек (еженедельный художественно-литературный журн.).— Пг., 1917. № 14. С. 217—219. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

---

[1] Здесь и далее имеются в виду Собрания сочинений: В 6 т.— М.: Правда, 1965; 1980.

[2] Здесь и далее так обозначается Полное собрание сочинений. А. С. Грина.— Л.: Мысль, 1927—1929.

Кювье Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель.

Узник «Крестов» // 20-й век.— Пг., 1917. № 17. С. 7. Печатается по первой публикации.

Ученик чародея//Огонек.— Пг., 1917. № 17. С. 258—267. То же//Тридцать дней (ежемесячный художественно-литературный, общественный и научно-популярный иллюстрированный журн.).— М., 1926. № 10. С. 26—37. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

Мрак // Петроградский листок (Лит. прилож.).— 1917. 1 апр. Печатается по этой публикации. В «правдинские» СС не входил.

Огненная вода//Стрекоза (еженедельный журнал сатиры и юмора).— Пг., 1917. № 18. С. 4—5. Вошел в ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М., Л.: Молодая гвардия, 1927.

Рождение грома // Всемирная новь (еженедельник).— Пг., 1917. № 18. С. 3—4. Печатается по первой публикации. В «правдинские» СС не входил.

Лафайет Мари Жозеф Поль (1757—1834) — деятель Французской революции конца XVIII в. и революции 1830 г.

Руже де Лиль Клод Жозеф (1760—1836) — франц. поэт и композитор, автор «Марсельезы» (национального гимна Франции).

Шедевр // Свободная Россия (газ.).— Пг., 1917. 9, 16 июня. Печатается по этой публикации. В «правдинские» СС не входил.

«Печной горшок (да-с!) мне дороже:/Я пищу в нем себе варю».— Здесь использованы строки стихотворения Пушкина «Поэт и чернь» (1828):

...на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Шпандырь — ремень, которым сапожники прикрепляют работу к ноге.

Ван-Дейк Антонис (1599—1641) — выдающийся фламандский живописец.

Корреджо (наст. имя: Антонио Аллегри; ок. 1489/1494—1534)— выдающийся итальянский живописец.

Рассказ вошел в цикл «Несколько рассказов» — коротких произведений, ставящих вечные темы в парадоксальном заострении («Оргия», «Самоубийство», «Человек с дачи Дурново», «Торговцы», «Враги»). Логическим завершением этого цикла явился «Шедевр» — рассказ-предупреждение; в нем говорится о возможной судьбе искусства в будущем. А. Грина, как и Куприна и других современников,

отвращало от революционной действительности опасение, что прагматика, забота о сытости могут сделать искусство ненужным. Еще в 1915 г. в рассказе «Убийство романтика» (Северная звезда, 1915, № 6, с. 64), где Грин тоже заглядывал в будущее, хотя и не так далеко — в 1985 г., он выразил, по сути, такую же обеспокоенность. В том рассказе некий художник заканчивает картину: ваза с цветами и молодая женщина. Но входят трое в масках и зачитывают приговор: «Демократии враждебно мечтательное, отвлеченное содержание картин Эгана. Демократия нуждается в изображении предметов труда и портретов рабочих». Художник приговорен к смерти. Торжествует соперник Эгана, рисовавший исключительно «извозчичьих лошадей и ящики с мылом».

Создание Аспера // Огонек.— Пг., 1917. № 25. С. 390—395. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л.: Прибой, 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

Картуш Луи Доминик (1603—1721) — французский разбойник, промышлявший в окрестностях Парижа. Был приговорен к колесованию.

Фра-Дьяволо — Михаил Пецца (1760—1806), итальянец, атаман разбойников. Был заочно приговорен к смерти — за его голову назначалась очень высокая цена. Был повешен в Неаполе. Его жизнь и приключения послужили основой для сказаний и песен.

Морганатическая жена — неравнородная, т. е. не принадлежащая к царственному роду, не имеющая прав престолонаследия; этих же прав лишались и дети от такого брака.

Восстание // Вольность (газ.) — Пг., 1917. 12 окт. Печатается по этой публикации. В «правдинские» СС не входил.

Гераклит (Эфесский, ок. 530—440 гг. до н. э.) — выдающийся древнегреческий философ, один из главных представителей античной диалектики («все течет — все изменяется»).

Рене // Аргус (иллюстрированный художественно-литературный еженедельник).— Пг., 1917, № 9/10. С. 47. То же // ПСС.— Т. 13. Колония Ланфиер: Рассказы.— Л., 1929. Печатается по сб.: Грин А. С. На облачном берегу.— М.; Л.: Госиздат, 1925.

Латюд Жан Анри (1725—1805) — французский авантюрист, просидевший в тюрьмах 35 лет.

Железная маска — таинственный узник, умерший в Бастилии в 1703 г. В тюрьме он никогда не снимал маски; имя его осталось неизвестным. Предполагают, что это брат французского короля Людовика XIV.

Челлини Бенвенуто (1500—1571) — знаменитый итальянский скульптор, ювелир и писатель, прожил жизнь, полную приключений, и описал ее в автобиографической книге.

Веселая вдова — ироническое название гильотины.

Червонный валет — название молодых богатых бездельников.

Струя. Под названием «Сказка о слепой рыбе» // Для детей: Приложение к журналу «Нива».— Пг., 1917. № 12. С. 370—374. Под названием «Струя» // Пламя (еженедельный общедоступный научно-литературный и художественно-иллюстр. журн.).— Пг., 1918. № 30. С. 8—9. То же // Комсомольская правда (воскресное приложение).— М., 1960. 21 авг. Печатается по первой публикации. В «правдинские» СС не входил.

Пешком на революцию // Революция в Петрограде (альманах): Впечатления, рассказы, очерки, стихотворения.— Пг.: Книгоиздательство И. Р. Белопольского. 1917. С. 15—24. Печатается по сб.: Грин А. С. Джесси и Моргиана: Повесть, новеллы. Роман.— Л.: Лениздат, 1966.— 507 с. В «правдинские» СС не входил.

Февральская революция застала Грина в местечке Лоунатйоки (Финляндия) в 70-ти км от Петрограда, где он временно проживал после того, как в конце 1916 г. был выслан за непочтительный отзыв о царе в общественном месте.

Маятник души. Под названием «Возвращение» // Республиканец (еженедельник с иллюстрациями).— Пг., 1917. № 37/38. С. 6—8. Название, данное самим Грином, не устраивало редакторов. Рассказ был подвергнут правке: «революция» у Грина имела эпитет «великая», и она «прогремела», а не просто «вспыхнула», как было исправлено редакторами. Были опущены конец рассказа — сообщение о том, что Репьев застрелился, и заключительные слова: «Между тем грозная, живая жизнь кипела вокруг, сливая свою героическую мелодию с взволнованными голосами души, внимающей ярко озаренному будущему...» Слова эти, видимо, были важны Грину, ибо выражали его позицию, но с содержанием рассказа связаны были неорганично. Полностью рассказ был опубликован по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ, в газете «Вечерняя Москва» (1965, 27 марта) с предисловием Н. Н. Грин об истории его создания. Опубликован в 74-м томе «Литературного наследства» (М., 1965, с. 650—652) с предисловием В. М. Россельса, который тогда отмечал, что «Маятник души» «открывает нам область гриновского творчества, о которой в критике не сказано почти ничего,— область злободневной журналистики» (там же, с. 645). Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Клубный арап // Огонек.— Пг., 1918. № 1. С. 10—16. Печатается по первой публикации.

Макао — здесь: азартная карточная игра.

Преступление Отпавшего Листа // Огонек.—Пг., 1918. № 3. С. 13—15. Печатается по этой публикации.

Сила непостижимого // Огонек.— Пг., 1918. № 8. С. 11—13. Печатается по этой публикации.

Борьба со смертью // Свободный журнал (популярный художественно-литературный двухнедельник).—Пг., 1918. № 2. С. 7.

Под названием «Вырванное жало» // Мир (газ.).— Пг., 1918. 8 сент. Под названием «Борьба со смертью» вошел в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л.: Прибой, 1927. Печатается по ПСС.— Т. 5. Шесть спичек.— Л., 1927.

Карнавал // Огонек.— Пг., 1918. № 15. С. 9—12. Печатается по этой публикации. В «правдинские» СС не входил.

Отряды ландскнехтов и рейтаров — пеших и конных воинов.

Старик ходит по кругу // Чертова перечница (орган вежливого протеста и молчаливого отчаяния).— Пг., 1918. № 2. Печатается по первой публикации. В «правдинские» СС не входил.

Корнет (дореволюц.) — первый офицерский чин в кавалерии (соответствует подпоручику в пехоте).

Пять верст в час — около 5,3 км/час (верста — русская мера длины: 1,0668 км).

...станет Иерусалимом крестоносцев — здесь: станет главным городом той местности.

Вперед и назад: Феерический рассказ // Честное слово (газ. вне партий и влияний: политика, общественность, литература, искусство).— М., 1918. 1 и 2 авг. Печатается по этой публикации.

Скромное о великом: (Памяти Л. Н. Толстого) // Мир (газ).— М., 1918. 11 сент. Печатается по этой публикации.

Л. Толстого и Пушкина Грин называл в ряду самых любимых русских писателей. А. С. Грину принадлежит также заметка, написанная к 125-летию со дня рождения поэта (в мае 1924 г.) под названием «Воспоминания об А. С. Пушкине». Здесь он писал: «...Когда я думаю о А. С. Пушкине, немедленно и отчетливо представляется мне та Россия, которую я люблю и знаю. Я знаю его всю жизнь, с той поры, как начал читать... Я слышал, что где-то в воздухе одиноко бродит картинный вопрос: «Современен ли А. С. Пушкин?» То есть: «Современна ли природа? Страсть? Чувства? Любовь? Современны ли люди вообще?» Пусть ответят те, кто заведуют отделом любопытных вопросов...» (Литературная газета.— М., 1962, 10 февр.).

Волшебное безобразие // Пламя.— Пг., 1919. № 52. С. 13. Печатается по ПСС.— Т. 8. Окно в лесу. Л., 1929.

Истребитель // Пламя.— Пг., 1919. № 60. С. 4—5. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

Гриф // Красный милиционер (газета).— Пг., 1921. № 1. С. 10—12. Печатается по этой публикации.

Состязание в Лиссе // Красный милиционер.— Пг., 1921. № 2/3. С. 27—30. Печатается по ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929.

По воспоминаниям В. П. Калицкой, рассказ был написан вско-

ре после авиационной недели в Петербурге, проходившей 25 апр.— 2 мая 1910 г. (см.: Воспоминания об Александре Грине.— Л., 1972. С. 171—173). Является как бы первым «подходом» к тематике романа «Блистающий мир» (1923).

Новогодний праздник отца и маленькой дочери // Красная газета. Веч. вып.— Пг., 1922. 30 дек. Печатается по этому изданию. Публиковался под названием «Праздник отца и маленькой дочери» // Комсомольская правда.— М., 1962, 7 янв.

Тифозный пунктир // Литературное приложение к газете «Накануне» (печаталась в Берлине, распродавалась в киосках Советского Союза) — 1922, 3 дек. Главой московской конторы газеты был Н. С. Калменс, ее московским корреспондентом — Эм. Миндлин,— оба высоко ценили творчество Грина. В Берлине «литературное приложение» к газете редактировал А. Н. Толстой — он и опубликовал рассказ. Рассказ примыкает к ряду автобиографических. Главное из того, что в нем происходило с Грином в действительности: служба в армейском обозе, заболевание тифом и эвакуация в санитарном поезде из-под Пскова в Петроград. В последующем, уже в жизненной истории самого писателя — был еще и тифозный барак. И тогда появился М. Горький, который посылал туда продукты, следил за лечением, а потом помог получить комнату в Доме искусств на Мойке и работу в издательстве Гржебина. Рассказ «Тифозный пунктир» был забыт и затерян. Найден англичанкой Кристин Томас и опубликован (со вступительной статьей В. М. Россельса) в газете «Литературная Россия» 21 янв. 1972 г. Печатается по этой публикации.

Виванти Анни (1868—1942) — итало-английская писательница, автор занимательных романов, отразивших нравы буржуазно-аристократического мира. Лучший роман — «Пожиратели» (у Грина назван «Поглотители») написан по-английски и ею же переведен на итальянский язык; большой успех имел также ее «Роман Марии Тарновской», написанный по-французски (на русский переведен в 1912 г.).

Дать хлюста (старин. простореч.) — в карточных играх: дать сдачу, в которой все карты одной масти.

Белый огонь // Грин А. С. Белый огонь: Рассказы.— Пг.: Полярная звезда, 1922.—72 с. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М., 1930.

Берн-Джонс Эдуард (1833—1898) — английский художник, эстет и символист, принадлежавший к романтическому «Братству прерафаэлитов», считающемуся предтечей эстетики модернизма.

Канат // Грин А. С. Белый огонь.— Пг., 1922. То же // Мир приключений. М., 1923. № 3. С. 2—22. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М., 1930.

Убийство в Кунст-Фише // Красная газета.— Пг., 1923. 15 янв. Веч. вып. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М., 1930.

Писатель своеобразно воспроизвел здесь наиболее типичные мотивы искусства западноевропейского декаданса: «страх преследования» (ср., например, с «Адом» А. Стриндберга) и способность убивать не физической силой, но одной силой чувства, на расстоянии (ср., например, с «Дьявольским наваждением» Т. Крагера — его герой совершает поджог, убийства, находясь за пределами видимости уничтожаемых объектов).

Пропавшее солнце // Красная газета.— Пг., 1923. 29 янв. Веч. вып. Печатается по сб.: Грин А. С. Сердце пустыни.— М.: Земля и фабрика, 1924.

Путешественник Уы-Фью-Эой // Красная газета.— Пг., 1923. 31 янв. Веч. вып. Печатается по ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929.

Мистраль — холодный северный или северо-восточный ветер.

Аквилон — сильный северный ветер.

Триремы — у древних римлян суда с тремя рядами весел.

Галиот — парусное плоскодонное судно.

Клипер — быстроходное парусное судно.

Кардиф — здесь: уголь (от английского города Кардифф — известен угольными шахтами).

Гладиаторы // Петроград (двухнедельный художественный, иллюстрированный, литературный журн.).— 1923. № 1. С. 11—12. То же // Грин А. С. Сердце пустыни: Сб. рассказов.— М.: Земля и фабрика, 1924. То же в сб.: Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929.

Триклиниум — в Древнем Риме обеденный стол с ложами по трем сторонам, а также помещение, где находился этот стол.

Тимпан — древний ударный музыкальный инструмент (род медных тарелок).

Приказ по армии // Красная панорама (журн.).— Пг., 1923. № 1. С. 1—2. То же в сб.: Грин А. С. Сердце пустыни.— М.: Земля и фабрика, 1924. То же в сб.: Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. То же в сб.: Грин А. С. История одного убийства.— М.; Л.: Земля и фабрика, 1926. Печатается по второму изданию этого сборника (М.; Л., 1927).

Знаменитая тезка — здесь имеется в виду Жанна д'Арк (1412—1431) — Орлеанская дева, героиня французского народа, возглавлявшая в ходе Столетней войны (1331—1453) освободительную борьбу против английских захватчиков. Крестьянка из деревни Домреми (на границе Шампани и Лотарингии).

Гениальный игрок // Красная газета. Веч. вып.— Пг., 1923.

8 марта. То же в сб.: Грин А. С. Сердце пустыни.— М.: Земля и фабрика, 1924. То же в сб.: Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928.

Словоохотливый домовой // Красная газета. Веч. вып.— Пг., 1923. 29 марта. № 70: (Лит. листок). То же в сб.: Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928.

Бунт на корабле «Альцест» // Красная газета. Веч. вып.— Пг.,— 1923. 22 апр. То же // Моряк (журн.).— М., 1926. № 8. С. 14—15. Печатается по этому изданию. В «правдинские» СС не входил.

Сердце пустыни // Красная нива (литературно-художественный иллюстрированный еженедельник).— М., 1923, № 14. С. 12—13. То же в сб.: Грин А. С. Сердце пустыни.— М.: Земля и фабрика, 1924. Печатается по ПСС.— Т. 13. Колония Ланфиер: Рассказы.— Л., 1929.

...авгуры — жрецы Древнего Рима, прорицатели; здесь — люди, делающие вид, что посвящены в особые тайны.

Лошадиная Голова // Красная нива.— М., 1923. № 18. С. 1—4. То же в сб.: Грин А. С. Сердце пустыни.— М.: Земля и фабрика, 1924. То же в сб.: Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 13. Колония Ланфиер: Рассказы.— Л., 1929.

Креп — здесь: траурная повязка.

Голос и глаз // Огонек.— Пг., 1923. № 25. С. 1. То же в сб.: Грин А. С. На облачном берегу.— М.; Л.: Госиздат, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928.

Русалки воздуха // Петроград.— 1923. № 4. С. 9—12. Печатается по этому изданию. В дальнейшем не публиковался, в «правдинские» СС не входил.

...русалки воздуха — своеобразная гриновская интерпретация мотива древнегреческой мифологии о сиренах (в виде птиц с женскими головами или в виде женщин с птичьими ногами), завлекавших своим чарующим пением моряков к прибрежным скалам, о которые и разбивались корабли.

Как бы там ни было // Огонек.— Пг., 1923. № 31. С. 3—5. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л.: Прибой, 1927. Печатается по ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927.

По закону // Огонек.— Пг., 1924. № 2. С. 6—8. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М., Л.: Молодая гвардия, 1927.

Веселый попутчик // Ленинград (двухнедельный художественно-иллюстрированный и литературный журн.).— 1924. № 4. С. 19—24. То же в сб.: Грин А. С. На облачном берегу.— М.; Л.:

Госиздат, 1925. Рассказ дал название 11-му тому ПСС. Печатается по сб.: Грин А. С. Вокруг света: Рассказы.— М.: Огонек, 1928.— 44 с. (Б-ка «Огонек»; № 362).

«Вода» Сирано де Бержерака — здесь: вино. Сирано де Бержерак (1619—1655) — известный французский писатель. С его личностью связаны различные легенды.

Обезьяна-сопун // Красный журнал (иллюстрированный, литературно-художественный и научно-популярный двухнедельник).— Л., 1924. № 4. С. 10—11. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л.: Прибой, 1927. Под названием «Обезьяна» публиковался в ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927. Печатается по этому изданию.

Безногий // Огонек.— Л., 1924. № 7. С. 4, 5—8. То же в сб.: Грин. А. С. На облачном берегу.— М.; Л.: Госиздат, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 8. Окно в лесу: Рассказы.— Л., 1929.

Крысолов // Россия (ежемесячный журнал политики, общественности, литературы, искусства, критики).— М.; Л., 1924. № 3. С. 47—79. То же в сб.: Грин А. С. На облачном берегу.— М.; Л.: Госиздат, 1925. Печатается по отдельному изданию: Грин А. С. Крысолов.— М.: Огонек, 1927.—52 с.— (Б-ка «Огонек»; № 250).

Клякс-папир — промокательная бумага.

Дагеротип — первая фотография по способу французского художника-декоратора и изобретателя Луи Жака Манде Дагера (1787—1851).

В рассказе обозначена дата действия: 22 марта 1920 г. в Петрограде, когда начало темнеть. По воспоминаниям Н. Н. Грин, все знаменательные дни жизни Грин приурочивал к цифре «23», которую считал для себя счастливой. 22-го числа — это значит накануне благоприятного поворота событий: ночной путь, пройденный героем по останкам прошлого, воспринимается как символ — трудная победа над путаными «ощущениями ночных сил» с их «неопределенным языком» (говоря словами самого гриновского рассказа). Здание брошенного банка — временное пристанище героя — это тот же огромный дом на Мойке, где располагался и Дом искусств (ДИСК); в нем в 1920 г. А. Грин по ходатайству Горького получил комнату. Сосед Грина поэт Вс. А. Рождественский, вспоминая набеги постоянных обитателей Дома искусств на банк за бумагой (для рукописей в ход шли и ведомости, и бланки), так описал внутренность огромного помещения: «...хаос сдвинутых прилавков, поваленных шкафов, поломанной мебели и груды исписанной конторской бумаги, в сугробах которой буквально утопала нога. Особенно много этого хлама было в сводчатых подвальных помещениях». Вся эта «фантастическая обстановка и послужила поводом для создания одного из самых удивительных гриновских рассказов, где причудливый вымысел так естественно переплетается с самой повседневной действительностью,

сдвигая все планы реального и воображаемого» (см.: Воспоминания об Александре Грине.— Л., 1972, с. 243). По сути о том же говорила В. Панова: «Для меня «Крысолов» замыкает цепь величайших поэтических произведений о старом Петербурге-Петрограде, колдовском городе Пушкина, Гоголя, Достоевского, Блока и зачинает ряд произведений о новом, революционном Ленинграде» (цит. по кн.: Грин А. С. Джесси и Моргиана.— Л., 1966, с. 503).

Белый шар // Товарищ Терентий (иллюстрированный двухнедельный журнал).— Свердловск, 1924, № 8. С. 9—10. Печатается по сб.: Грин А. С. Белый шар.— М.: Молодая гвардия, 1966.— 464 с.

Заколоченный дом // Экран Рабочей газеты (бесплатное приложение к «Рабочей газете»).— М., 1924. № 23. То же в сб.: Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928.

Бирхалле (нем.) — пивная.

Афронт (фр.) — здесь: резкий отпор.

«Тристан и Изольда» — французский рыцарский роман бретонского цикла о трагической любви Изольды, жены корнуэльского короля к его племяннику — вассалу Тристану.

«Молитва девы» («Bergeuse») — популярная в начале XX в. колыбельная (муз. Н. Корнилова, слова К. Оленина).

Голос сирены // Всемирная иллюстрация (ежемесячный журн.).— М., 1924. № 5/6. С. 21—23. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М.; Л.: Молодая гвардия, 1927.—88 с.

На облачном берегу // Красная нива.— М., 1924. № 28. С. 666—672. То же в одноименном сборнике (М.; Л.: Госиздат, 1925). Печатается по ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927.

Гатт, Витт и Редотт // Альманах для детей и юношества: Приложение к журналу «Красная нива».— М., 1924. Вып. 3. С. 55—64. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М.; Л.: Молодая гвардия, 1927.

Штейгер (нем.) — горный мастер, ведающий рудными работами.

Бродяга и начальник тюрьмы // Грин А. С. Сердце пустыни: Сб. рассказов.— М.: Земля и фабрика, 1924.—142 с. То же в сб.: Грин А. С. Градиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. Публиковался в ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928. Печатается по сб.: Грин А. С. На облачном берегу: Рассказы.— М.: Огонек, 1929.—44 с.— (Б-ка «Огонек»; № 473).

Равашоль Леон — французский анархист и террорист; взорвал 11 и 23 марта 1892 г. в Париже бомбы в квартирах судебных чиновников, участвовавших в процессах над анархистами.

Джек-Потрошитель — прозвище Джона Шеппарда (1702—1724),

профессионального грабителя, действовавшего в окрестностях Лондона. Многократно убегал из тюрмы несмотря на усиленную охрану. Был повешен в возрасте 21 года. Стал популярен как романтический герой «страшных рассказов».

Ринальдо Ринальдини — герой романа «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1797), созданного немецким писателем Кристианом Августом Вульпиусом (1762—1827).

Нат Пинкертон — американский сыщик, герой написанной разными авторами огромной серии детективных рассказов, очень популярных в начале XX в.

Победитель // Красная нива.— М., 1925. № 13. С. 296—298. То же в сб.: Грин А. С. Рассказы.— М.; Красная звезда, 1925.— 64 с.— (Дешевая юмористическая и сатирическая библиотека; Вып. 5). То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л.: Прибой, 1927. Печатается по ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы — Л., 1927.

«Скульптор, не мни покорной / И вязкой глины ком...» — строки из стихотворения «Искусство» французского писателя Теофиля Готье (1811—1872).

Четырнадцать футов // Красная нива.— М., 1925. № 24. С. 550—552. То же в сб.: Грин А. С. Гладиаторы: Рассказы.— М.: Недра, 1925. Печатается по ПСС.— Т. 11. Веселый попутчик: Рассказы.— Л., 1928.

Сюжет почти полностью совпадает с рассказом «Маленький Карсон» Дж. Лондона (1876—1916) за исключением конца: герой американского писателя благополучно спасен, тогда как герой Грина трагически гибнет.

Золото и шахтеры // Красная нива.— М., 1925. № 35. С. 824—827. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М.; Л.: Молодая гвардия, 1927.

Бедуин — представитель кочевых и полукочевых арабов Аравийского полуострова и Северной Африки.

Шесть спичек // Красная нива.— М., 1925. № 45. С. 1085—1089. То же в сб.: Грин А. С. Брак Августа Эсборна.— Л.: Прибой, 1927. Публиковался в ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. Вокруг света: Рассказы.— М.: Огонек, 1928.—44 с.— (Б-ка «Огонек»; № 362).

Серый автомобиль // Грин А. С. На облачном берегу.— М.; Л.: Госиздат, 1925.—231 с. Печатается по этому изданию.

Гюисманс Жорис Карл (1848—1907) — французский писатель (голландец по происхождению), следовал принципам натурализма, провозглашенным Э. Золя (1840—1902). В романах «Наоборот» (1884; рус. пер. 1906) и «Там, внизу» (1891; рус. пер. 1907) натурализм перерастает в декадентство. Писатель считал, что перед современной ему литературой стоит задача создания «спиритуалистического нату-

рализма», свободного от «грубой реальности», обращенного к таинственному и потустороннему.

Изображение Корриды Эль-Бассо — как «восковой куклы», «Мертвой Жизни» — чем-то напоминает заводную куклу из «Песочных часов» Э. Т. А. Гофмана (1776—1822). И в целом в рассказе Грина ощущается влияние его символико-фантастической поэтики: темные силы в понимании Гофмана — это собственнический эгоизм, поклонение вещи; светлые силы — это бескорыстие чувства, прежде всего — любовь, фантазии и мечта, т. е. внутренний мир человека.

...четвертое измерение — безраздельная власть «бессознательного», настойчиво защищаемая сторонниками мистицизма в искусстве. (Грин во многих произведениях «проверял» действие этой власти на своих героях.)

Писатель преодолевал в себе очевидное тяготение к интуитивизму декадентского толка. Это явно сказалось и в сочувственном отношении к главному герою — в нем сконцентрированы побуждения трактовать искусство исходя из «бессознательного», из тайн «четвертого измерения». Рассказ представляет собой как бы художественно-критическое эссе, в котором писатель высказал свое отношение к принципам искусства, «до крайности удаленным от истины». Таковы, в его трактовке, натурализм (типа Гюисманса) и мистицизм; резкой, развернутой критике подвергается футуризм, в котором, по Грину, «сильно развито ощущение механизма» (автомобиля).

Брак Августа Эсборна // Красная нива.— М., 1926. № 13. С. 4—6. То же в одноименном сборнике (Л.: Прибой, 1927). Печатается по ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927.

Нянька Гленау // Смена (двухнедельный журнал рабочей молодежи).— М., 1926. № 17. С. 4—5. Публиковался в ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М.; Л.: Молодая гвардия, 1927.

Личный прием // Смена.— М., 1926. № 20. С. 8—9. Публиковался в ПСС.— Т. 5. Шесть спичек: Рассказы.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М.; Л., 1927.

Чужая вина // Экран Рабочей газеты.— М., 1926. № 39. С. 4—6. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М.; Л., 1927.

Змея // Красная нива.— М., 1926. № 42. С. 3—5. Публиковался в ПСС.— Т. 5. Шесть спичек.— Л., 1927. Печатается по сб.: Грин А. С. По закону.— М.; Л., 1927.

Четыре гинеи // На досуге (диковинки-загадки-головоломки).— Л., 1929. № 4. С. 5—7. Два раза переиздавался в 60-е годы. В «правдинские» СС не входил. Печатается по первой публикации.

Стеньга — второе снизу колено составной мачты судна.

Помпа — насос в водоотливных судовых устройствах.

Легенда о Фергюсоне // Смена.— М., 1928. № 7. С. 6—7. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

Шестьдесят шесть — карточная игра.

Корнет-а-пистон — медный духовой музыкальный инструмент.

Слабость Даниэля Хортона // Красная нива.— М., 1927. № 29. С. 6—7. Печатается по этой публикации.

Купер Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский писатель, автор серии романов о североамериканских индейцах.

Нетти Бемпо — охотник, герой серии романов Ф. Купера «Кожаный чулок».

Гуроны — племя североамериканских индейцев.

Материалом для рассказа послужила работа в лесу на Урале с богатырем Ильей (А. С. Грин описал это в «Автобиографической повести», в главе «Урал»). История создания рассказа приведена в предисловии к его публикации в журнале «Молодая гвардия» (М., 1964, № 6, с. 136).

Фанданго // Война золотом: Альманах приключений.— М., 1927. С. 17—51. Издание изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Фанданго — испанский народный танец.

«Человек — это звучит гордо» — из монолога Сатина в пьесе М. Горького «На дне».

«Осенние скрипки» — вальс композитора В. А. Присовского.

«Пожалей ты меня, дорогая» — романс, слова и музыка Н. Р. Бакалейникова.

«Чего тебе надо? Ничего не надо» — слова из популярной в начале XX в. песенки «Девочка Надя».

Тамбурин — род бубна, ударный инструмент.

Кот Киплинга — герой сказки английского писателя Джозефа Киплинга (1865—1936) «Кошка, которая гуляла сама по себе» (в ранних русских переводах — кот).

Дом ученых КУБУ — общественное и культурное учреждение, открытое по инициативе М. Горького в Петербурге в 1921 г. при Центральной комиссии по улучшению быта ученых.

Ренье Анри де (1864—1936) — французский поэт и романист.

«На севере диком...» — стихотворение Г. Гейне из цикла «Лирическое интермеццо» в переводе А. С. Грина. Заключительное четверостишие (о «пальме-сосне») сочинено переводчиком.

Сетон-Томпсон Эрнест (1860—1946) — канадский писатель, автор многих произведений о животных.

Арабеск — здесь: сложный орнамент.

«Вот тебе, коршун, награда...» — из стихотворения Н. А. Некрасова «Секрет».

«Принцесса Греза» — драма в стихах французского писателя Эдмона Ростана (1868—1918).

Пифия — в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона.

Акварель // Красная нива.— М., 1928. № 26. С. 4—5. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода; Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

Элда и Анготея // Тридцать дней (ежемесячник).— М., 1928. № 8. С. 34—39. С предисловием К. Паустовского опубликован в воскресном приложении «Комсомольской правды» от 17 янв. 1960 г. Печатается по первому изданию.

Измена // Красная нива.— М., 1929. № 2. С. 4—5. Печатается по этой публикации.

Открыватель замков: Исторический рассказ из жизни изобретателей конца XVIII столетия // Огонек (общественно-политический и литературно-художественный, иллюстрированный еженедельник).— М., 1929. № 34. С. 6—7. В «правдинские» СС не входил. Печатается по первому изданию.

Гнев отца // Красная нива.— М., 1929. № 41. С. 2—3. Печатается по сб.: Грин А. С. Огонь и вода: Рассказы.— М.: Федерация, 1930.

Вор в лесу // Красная нива.— М., 1929. № 52. С. 2—3. Печатается по этому изданию.

Бочка пресной воды // Знание — сила (ежемесячный научно-популярный журнал).— М., 1930. № 7. С. 7—8. В дальнейшем не переиздавался. В «правдинские» СС не входил. Печатается по первому изданию.

Зеленая лампа // Красная нива.— М., 1930. № 23/24. С. 11. Печатается по этому изданию.

Молчание // Вокруг света (журн. революционной романтики, приключений, путешествий, научной фантастики и краеведения).— Л., 1930. № 30. С. 21—23. В «правдинские» СС не входил. Печатается по первому изданию.

Два обещания // Грин А. С. Огонь и вода.— М.: Федерация, 1930. Печатается по этому изданию.

Глаголь коридора — коридор в виде буквы «Г» (по-старославянски эта буква называлась «глаголь»).

Комендант порта // Красная новь (ежемесячный литературно-художественный и научно-публицистический журн.).— М., 1933. № 5. С. 174—177. Печатается по этому изданию.

Эспланада — широкая улица с аллеями посередине.

Суперкарго — лицо, ведающее приемом и выдачей груза на судне, обычно второй помощник капитана.

Бархатная портьера // Красная новь.— М., 1933. № 5. С. 177—182. Печатается по этому изданию.

Пари // Красная новь.— М., 1933. № 5. С. 182—186. Печатается по этому изданию.

В предисловии к подборке рассказов, опубликованных в журнале «Красная новь» («Комендант порта», «Бархатная портьера», «Пари») М. Шагинян указывала на сюжетное сходство последнего из названных с ранним рассказом — «Вокруг света» (1916), но и на более глубокую психологическую мотивировку поведения героя в почти идентичной ситуации. «Открывателем новых стран был А. С. Грин не на морях и океанах, а в той области, которая отвлеченно называется душой человека...»,— утверждала М. Шагинян. При всем том, что в этих рассказах, по мнению писательницы, заметны черты «пониженного тонуса», характерного для творчества уже больного и обреченного человека. Однако именно в них оказались обнажены главные свойства Грина: «мечта», которую ищет герой, «в самом человеке»; и для него «душа интересна не как магнитное поле пассивных ощущений, а как единственная в мире энергия, могущая действовать разумно и целесообразно...». Именно в этих, ранее «забракованных», рассказах «с впечатляющей силой и ясностью» встает «та зрелость, достигнутость, определенность главнейших свойств литературного облика писателя, которую мы называем обычно его «темой». Грань, где тема жизни сливается с темой художественного творчества, становится именно в предсмертном труде столь же неуловимой и снятой, как черта горизонта в сумерки...» (Красная новь.— М., 1933, № 5, с. 171—173).

Тюремная старина. Неоконченный рассказ // Тридцать дней (ежемесячный художественно-литературный, общественный и научно-популярный иллюстрированный журн.).— М., 1933. № 7. С. 69—70. В «правдинские» СС не входил. Печатается по первой публикации.

«Я пойду в солдаты...» — по известным теперь документам, хранящимся в фондах Центрального государственного архива военно-морского флота, Александр Степанович Гриневский был призван (а не пошел вольноопределяющимся) на военную службу в марте 1902 г. и направлен в 213-й Оровайский резервный пехотный батальон, затем полк, стоявший в Пензе (см.: Петраш В. Новое о писателе А. С. Грине // Красная звезда.— М., 1960. 27 нояб. № 278. С. 4).

«...в следующем 1902 г. я убежал...» — в послужном списке Александра Гриневского значилось: «1902 г. март 18-го: зачислен в батальон рядовым. Июль 8-го: исключен из списков батальона бежавшим. Июль 17-го: зачислен в списки батальона из бегов. Июль 28-го: предан суду. Ноябрь 28-го: исключен из списка батальона бежавшим» (см. примечания В. Сандлера к публикации этого рассказа в кн.: Грин А. С. Джесси и Моргиана.— Л., 1966).

Рассказ примыкает к ряду автобиографических: «Случайный доход» (1924), «По закону» (1924), «Золото и шахтеры» (1925), соприкасающихся с «Автобиографической повестью», вышедшей в «Издательстве писателей» в Ленинграде в 1932 г. В данном Собрании сочинений А. С. Грина повесть не публикуется (напечатана в 6-м томе «правдинского» СС 1965 г.). По выходе повесть была воспринята критикой с полярно противоположных позиций. Характер обвинений носили суждения, содержавшиеся в статье «Перманентное бегство в Америку». Ее автор Н. Гнедина писала о Грине: «...индивидуалист, прошедший мимо оценки существенных сторон общественного бытия, таких, как отношения между рабочими и предпринимателями, революционное брожение в войсках» (Художественная литература.— М., 1932, № 18, с. 2—3). Объективно оценил «Автобиографическую повесть» К. Г. Локс в своем предисловии публиктора к рассказу «Тюремная старина», являющемуся логическим продолжением повести. Критик пытался осмыслить и все творчество писателя в целом, утверждая, что сложность А. Грина вырастала из «тонкой художественной работы, где элементарные инстинкты развивались в сюжетику страстей и психологических неожиданностей». К. Локс обобщал: «...Искусство Грина, в его самом лучшем и положительном образе, проникнуто героикой мечты и любовью к далекому. Это и дает ему право на возможное в человеческом мире бессмертие» (Тридцать дней.— М., 1933. № 7. С. 68—69).

А. А. Ревякина

ИЗ ПОЭЗИИ А. С. ГРИНА 1907—1919 гг.

Поэтическое наследие А. С. Грина мало известно и почти не изучено. Но уже ранние стихи (1907—1909) показывают, что поэтичность его прозы не случайна — Грин был незаурядным поэтом.

Единственным исследованием, посвященным не только его прозе, но и стихам, является монография В. В. Харчева «Поэзия и проза Александра Грина» (Горький, 1975). Кроме этой книги, попытки анализа либо косвенные упоминания о стихах писателя встречаются в немногих статьях, из которых значительной можно назвать лишь работу В. М. Россельса «Олень вечной охоты» в сборнике «Сколько весит слово» (М., 1984).

Указывая на кризис в творчестве 1914—1916 гг., сказавшийся в том, что писатель отошел от своего — «гриновского» — способа изображения, В. Харчев пишет: «...Обилие «рублевых» рассказов объясняют «обычно нуждой ... зависимостью от поденщины», однако, думается, перед нами не главная причина падения таланта Грина, а лишь следствие общего творческого кризиса. Грин сам отказался от своей писательской самобытности» (указ. кн., с. 90). С этим замечанием стоит согласиться, хотя в то же время нельзя не признать, что

и этот как бы «отказ от самого себя» позволил проявиться некоторым важным чертам дарования и мировоззрения писателя.

В названные годы писатель был принят во многих петроградских газетах и журналах; но он стал печататься в основном в «Новом сатириконе» (Пг.). В 1913 г. во главе с писателем Аркадием Аверченко этот журнал откололся от сатирического еженедельника «Сатирикон» (Пб.). В новом журнале сотрудничали Куприн, Саша Черный, Тэффи; оформляли его художники Кустодиев, Коровин, Добужинский, Бакст. Почти в каждом номере стали публиковаться фельетоны в стихах и прозе — за подписью «А. С. Грин»; некоторые из них были автобиографичны («Порыв», «Работа», «Письмо литератора Харитонова к дяде в Тамбов»).

«Громовая весть» о Февральской революции потрясла Грина, но эйфория длилась недолго, скоро иллюзиям пришел конец. И в журнале вновь замелькала подпись «А. С. Грин» под фельетонами, рассказами и стихами, где ощущалось предвидение новых, еще более тягостных и кровавых событий для страны («Буржуазный дух», «Петроград осенью 1917 года» и др.). Как принял Грин Октябрьскую революцию (об этом исследователи часто спорят, находясь на противоположных позициях) — ясно из стихотворений «Реквием», «Заря», «Искажения» (см. комментарий).

В 1918 г., после июньских событий, значительная часть журналов и газет, в которых печатался Грин, была закрыта. Публиковаться стало негде — пришлось идти на компромисс. Среди вновь открытых журналов наиболее толерантным, терпимым стал еженедельник «Пламя», редактировавшийся А. В. Луначарским. Здесь можно было встретить и бурно-революционные стихи братьев Бориса и Владимира Смиренских, и кровожадные вирши Ильи Ионова, и лирические, почти салонные опусы за подписью «А. Б.». В журнале печатались Николай Клюев и друг А. С. Грина, тишайший, но, несомненно, очень талантливый, поэт Яков Годин (вполне вероятно, что именно он привлек Грина к работе в журнале Луначарского). Для «Пламени» — и в этом, по-видимому, проявилась некая попытка ужиться с новым строем) — Грин написал рассказ в стихах — «Фабрика Дрозда и Жаворонка» — утопию, в которой воспевалось Светлое Будущее, где Труд соединится с Красотой и станет не ярмом, а радостью. Впоследствии Грин предпочитал не вспоминать об этом произведении.

В журнале Луначарского были напечатаны и такие отобранные временем стихотворения: «Движение», «Отставший взвод», «Незамерзающий ключ», «Сон». Первое в этом ряду знаменует верность Грина избранным принципам творчества: дух побеждает в борьбе с грубой силой; искусство преображает душу; мечта неистребима. Этим трем тезисам Грин остался верен всю жизнь, что и сделало его, наряду с глубоким убеждением в изначальной чистоте человека, в неограниченности его возможностей, необходимым нам и сегодня.

Элегия // Сегодня.— СПб., 1907. 13 марта. Печатается по этой публикации.

«Адресом» сатиры была только что созванная (20 февр. 1907 г.) Вторая Государственная дума, по составу более консервативная, чем предыдущая. Сатирическая окраска усиливается от контраста с заимствованной у Лермонтова формой его лирического стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

Мотыка // Новый журнал для всех.— СПб., 1909. № 10. С. 15—16. Печатается по этой публикации.

Мотыка — то же, что мотыга (ручное земледельческое орудие для разрыхления почвы).

В стихотворении выразились безнадежность и пессимизм, присущие произведениям этого периода творчества Грина,— тогда же были написаны рассказы «Рай», «Кошмар», «Окно в лесу».

Единственный друг // Кировская правда.— 1968. 12 июня. То же в кн.: Прометей: Историко-биографический альманах.— М., 1968. Т. 5. С. 198—199. Печатается по этой публикации.

Стихотворение это — из альбома Веры Павловны Калицкой, первой жены Грина,— датируется 1909 годом. При жизни писателя не публиковалось — Грин обоснованно считал его слабым. Однако стихотворение сохраняет память о важном биографическом периоде в жизни писателя. Вера Павловна оставалась преданным другом Грина и после их развода. Позднее возникла долгая дружба и со второй женой Грина — Ниной Николаевной. Их переписка (обе были обязательны в ответах и обладали эпистолярным талантом) — богатое сведениями о времени, о жизни и творчестве Грина собрание документов (ЦГАЛИ, ф. 127). Вера Павловна и ее муж (ученый-геолог К. П. Калицкий) много помогали Гринам в последние тяжелые годы жизни Александра Степановича. Более того, все десять лет, которые Нина Николаевна провела в лагерях (Печорском и Астраханском), Вера Павловна регулярно ей писала, посылала деньги и посылки. В то время это была не просто духовная и материальная помощь — это было проявлением мужества.

«За рекой в румяном свете...» // Новый журнал для всех. СПб., 1909. № 16. С. 3. Печатается по этой публикации.

Колет — широкий отложной воротник в средневековой одежде.

Написанное в том же году, что и «Мотыка», стихотворение это также проникнуто безнадежностью. Приближающийся из-за гор «рыцарь рдяный» мог восприниматься тогда как символ приближающихся революционных событий; об этом говорит и гамма оттенков: «красный», «рдяный», «алый». Однако последующая строфа, начинающаяся с осторожного «Но...», звучит как зловещее предупреждение: здесь появляется «черный изгиб плаща» и надвигающаяся на него «тень». Публиковалось под названием «Заря» // Петроградское эхо

(газ.).—1918. 26 янв.— Подпись: Виктория Клемм. Первая и последняя строфа изменены. Первая звучит так: «За рекой, в стране туманной, / Разгорается костер. / Удивительный и странный / Едет рыцарь из-за гор». Последняя строфа: «Взор застыл. Смеются губы. / Под конем смеется бес, / И над ним играют трубы / Опечаленных небес». В примечаниях к стихотворению «Заря» Н. Н. Грин писала: «Виктория Клемм — псевдоним А. С. Грина. Это стихотворение он подарил мне в 1918 г. Когда я спросила его, почему такой странный женский псевдоним, Александр Степанович ответил: Это имя и фамилия матери жены Эдгаро По Вирджинии Клемм» (автограф этого замечания хранится в архиве Ю. А. Первовой). Добавим, что в биографиях Э. По и в его посвящении теще (и тете — она была его близкой родственницей) названа Мария Клемм.

Первый снег // Неделя «Современного слова» (газета).— СПб., 1912. № 240. С. 204. То же // Родина.— Пг., 1914. № 50. С. 658. Печатается по первой публикации.

В. П. Калицкая вспоминала, что однажды, слушая стихи Грина, неожиданно расплакалась и на удивленный его вопрос ответила: «Очень трогательно... сказано про снег: «Гнездя на острые углы пушистый свой ночлег» (см.: Воспоминания об Александре Грине.— Л., 1872., С. 164).

Военный летчик // Война (еженедельный журн.).— Пг., 1914. № 11. С. 13. То же // Новый Сатирикон.— Пг., 1914. № 35. С. 7. То же // Война.— Пг., 1915. № 50. С. 7. Печатается по первой публикации. Относится к ряду «ура-патриотических» стихотворений Грина, появившихся в начале первой мировой войны.

Военный узор // Война и герои.— СПб., 1914. № 4. С. 10—12. То же // Война.— Пг., 1915. № 60. С. 7. Печатается по первой публикации.

Стихотворная форма напоминает пушкинскую «Полтаву» (1828).

Отрывок из «Фауста» // Новый сатирикон.— Пг., 1914. № 38. С. 6. Печатается по этой публикации.

Стихотворная форма заимствована у Пушкина — «Сцена из Фауста» (1825).

Ауэрбах — может быть, имеется в виду Бертольд Ауэрбах (1812—1882) — немецкий писатель, автор романов «Спиноза», «Поэт и купец». Выступал с пропагандой объединения Германии.

Матчиш — от исп. matachin — танец, исполняемый в быстром темпе.

Маргарита — героиня драматической поэмы «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832).

Ревель — прежнее название г. Таллинна.

Знай наших. (Басня) // Новый сатирикон.— Пг., 1914. № 40. С. 30. Печатается по этой публикации.

Шницлер Артур (1862—1931) — австрийский писатель, драматург; произведения отмечены пессимизмом, культом смерти, патологической чувственностью. Сотрудничал в немецком сатирическом журнале «Симплициссимус» (Мюнхен).

Публий Корнелий Тацит (ок. 55—120 н. э.) — римский историк-писатель. Описывая в «Германии» жизнь германских племен, подчеркивал их агрессивность.

Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт. Наиболее известны его пасторальная драма «Аминта» (1573) и эпическая поэма «Освобожденный Иерусалим» (1580).

Плиний Старший (ок. 79—24 до н. э.) — римский писатель, автор труда «Естественная история в XXXVII книгах». Погиб при извержении Везувия.

Виргилий (Вергилий) (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды».

Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия».

Джон Мильтон (1608—1674) — английский поэт. Автор поэмы «Потерянный рай».

Звери о войне // Новый сатирикон.— Пг., 1915. № 2. С. 10. Печатается по этой публикации.

Блоха и ее тень. (Вольное подражание г-ну Штирнеру в его произведении «Единственный» и его достояние») // Новый сатирикон.— Пг., 1915. № 4. С. 10. Печатается по этой публикации.

Штирнер Макс (1806—1856) — псевдоним Каспара Шмидта — немецкий философ-идеалист; проповедник анархизма и индивидуализма. В своей известной книге «Единственный и его собственность» (1845 г.; рус. пер. в 1906 г.) утверждал, что все этические принципы и правовые нормы являются «призраками», мешающими осуществиться человеческому «я». Одной из главных форм реализации личности считал институт частной собственности. Настаивал на освобождении человечества от идей, порабощающих «я», на необходимости разумного эгоизма.

Дон-Кихот. (Гидальго-поэза) // Новый сатирикон.— Пг., 1915. № 6. С. 7. Печатается по этой публикации.

Дон-Кихот — герой знаменитого романа испанского писателя Мигеля Сервантеса (1547—1616) «Хитроумный гидальго Дон-Кихот Ламанчский» (1605—1615).

Гидальго-поэза — производное от двух слов: «гидальго» (идальго), т. е. испанский дворянин и «поэза» — так претенциозно именовал свои стихи русский поэт Игорь Северянин (1887—1941).

Аллегро — быстрый, подвижный темп в музыке.

Анданте — умеренный, спокойный темп.

Гектор — герой «Илиады» Гомера, защитник Трои.

Ахилл — герой «Илиады», находившийся среди осаждавших Трою.

Шваб (уничижит.) — немец.

Лье — прежняя французская путевая мера (колеблется от 3,3 до 5,8 км).

Стихи нельзя назвать в ряду особенно сильных, но вместе с некоторыми рассказами 1915 г. («Продавец счастья», «Эпизод при взятии форта Циклоп» и др.) они являют собой новую веху в творчестве Грина — его герои становятся жертвенными.

О чем пела ласточка // 20-й век.— Пг., 1915. № 8. С. 10. Печатается по этой публикации.

Название заимствовано у немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829—1911). Роман с таким названием, а также другие произведения писателя («Из мрака к свету», «Один в поле не воин», «Между молотом и наковальней») переводились и издавались в России.

Эстет и щи // Новый сатирикон.— Пг., 1915. № 14. С. 10. Печатается по этой публикации.

Журнал «Пробуждение» — двухнедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге (Петрограде) с 1905 по 1918 г. Имел репутацию бульварного чтива.

Письмо литератора Харитонова дяде в Тамбов // Биржевые ведомости.— Веч. вып.— Пг., 1915. Печатается по этой публикации.

Динарий (лат.) — древнеримская золотая монета.

Высмеивая журналистов, которые сидят в тылу и «мучаются» этим, Грин в определенной мере иронизировал и над собой.

Порыв // Новый сатирикон.— Пг., 1915. № 21. С. 8. Печатается по этой публикации.

«Дон Формозо и Эльвира» — выдуманное по аналогии с подобными название развлекательного романа.

Вейка — извозчик-финн, промышляющий в Петербурге во время масленичных гуляний.

Работа // Новый сатирикон.— Пг., 1915. № 47. С. 8. Печатается по этой публикации.

«Минну?» «Карла?» «Турка?» «Грету» — по-видимому, произвольное, наполовину придуманное перечисление типичных названий произведений немецких поэтов и писателей.

«Бюргера колпак» — здесь: синоним мещанства, самодовольства.

Аника-воин — здесь: синоним бахвальства, самонадеянности.

Это стихотворение, быть может, самое ироничное по отношению к отсиживающимся в тылу журналистам, да и к самому поэту, зарабатывающему на «злобе дня».

Снопы // Кировская правда.— 1972. 3 авг. Датируется 1915 годом (об этом см. в той же газете: Петряев Е. Новые материалы о Грине). Печатается по рукописи, хранящейся в архиве И. В. Лебедева.

Лебедев И. В. (1879—1950) — известный борец, жил в Петербурге; с ним дружили Грин и Куприн, которые называли его «дядей Ваней».

Рамена — часть руки от локтя до кисти (устар., сохр. в укр. яз.).

Стихотворение символично — утверждается извечное противоречие между тяжестью труда и красотой природы.

Спор // Солнце России (иллюстрированный еженедельник).— Пг., 1917. № 17 (375). С. 1. Печатается по этой публикации.

Нирвана (санскрит.) — понятие небытия, постепенного слияния человека с природой.

Фурия (греч.) — у древних греков — одна из богинь мести.

Обе точки зрения в «Споре» принадлежат, по сути, самому Грину: «Он был и первым мудрецом, когда уносился на облаках фантазии к несуществующим островам Рено. Был и вторым мудрецом: вставал в позу созерцателя, язвил мещан, а порой и вообще страсти человеческие, которые казались ему «изысканно смешны» (Харчев В. Указ. кн. С. 130).

Петроград осенью 1917 года // Солнце России.— Пг., 1917. № 22 (380). С. 10. Печатается по этой публикации.

...к Пяти углам.— В Ленинграде есть небольшой «пятачок» — площадка, где сходятся пять улиц (Рубинштейна, Загородный проспект и др.).

Сатирический тон стихотворения во второй его части становится почти эпическим: ударный батальон под красными знаменами идет на фронт. Знаменательна последняя строфа, напоминающая по интонации пушкинского «Медного всадника».

Незамерзающий ключ // Солнце России.— Пг., 1917. № 26 (384). С. 15. То же // Пламя.— Пг., 1919. № 55. С. 8, 15. Печатается по первой публикации.

Дается символическое изображение искусства, уводящего от суетности мира к чистоте и свету горных вершин.

Мелодия // Солнце России.— Пг., 1917. № 27 (385). С. 10—14.— Под псевд.: А. Г. Публиковалось под названием «Танис» // Вечерний Тбилиси.— 1967. 7 дек. Печатается по первой публикации.

Автограф стихотворения под названием «Танис» хранится в архиве В. Я. Брюсова (Рукописный отдел Гос. б-ки им. В. И. Ленина). И. Сукиасова в предисловии к публикации стихотворения в газ. «Веч. Тбилиси» писала: «...оно интересно своим содержанием, которое своеобразно перекликается с темой «Алых парусов»: в далекую

неизвестную гавань приплывает корабль под названием «Друг», чтобы увезти навстречу счастью прекрасную Танис». Публикуя стихотворение, Грин изменил имя на Таис. Временем создания стихотворения И. Сукиасова считает 1913 г.

Дайте // Новый сатирикон.— Пг., 1917. № 3. С. 36. Печатается по этой публикации.

Кирасир (фр.) — воин, служивший в тяжелой артиллерии.

Полба — крупа из семян гибрида, полученного от пшеницы и ячменя.

Дюпен — герой рассказа Эдгара По «Убийство на улице Морг».

Стихотворение написано в те дни, когда стало очевидно, что Февральская революция не состоялась. Грин взывает к стоящим у власти в тоне скорее горько-юмористическом, чем сатирическом. Это не боль обывателя, а тревога простого человека за страну: надвигался голод, близилась разруха. Последняя строфа звучит серьезно — это не сатира, а предупреждение.

Буржуазный дух // Новый сатирикон.— Пг., 1917. № 40. С. 6—7. Печатается по этой публикации.

По тональности произведение это мало отличается от военных фельетонов Грина: оно столь же автобиографично. Наступает переоценка ценностей. Средний интеллигент чувствует себя преступником лишь потому, что привык жить в условиях элементарной цивилизации: мыться мылом, ежедневно бриться, читать переводные романы (Грин называет имена любимых им Эдгара По и Александра Дюма), слушать Шопена и Листа. Все, что недавно было столь естественно, сейчас становится презираемым, едва ли не наказуемым как «буржуазный дух».

Реквием // Новый сатирикон.— Пг., 1918. № 2. С. 6. Печатается по этой публикации.

Первой строкой «Реквием» перекликается с пушкинской «Элегией» (1830).

Поварня (устар.) — кухня.

«...Вода холодная спасительно текла?» — перефразировка текста Гоголя из его «Записок сумасшедшего» (1835).

«Лет через триста будет жизнь прекрасной...» — несколько измененные слова из пьесы Чехова «Три сестры» (1900).

«...Небесный свод алмазами сверкнет...» — перефразировка слов героини из пьесы Чехова «Дядя Ваня» (1897).

К. Паустовский в предисловиях ко многим сборникам Грина повторял: «Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, Грин пришел бы в восторг. Но ждать он не умел и не хотел». Вторя Паустовскому, В. Харчев в упомянутой книге расценивает суть «Реквиема» как жалобу растерявшегося обывателя, «дачника». Между тем это стихотворение написано в одно время с рассказом «Преступление Отпавшего Листа», где Грин

прямо говорит о явлениях, убивающих души: «...тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаясь, пресытился ими, огрубел и умер...» И в том и в другом произведении — горечь, провидение, но отнюдь не суетность растерявшегося «дачника».

Отставший взвод // Новый сатирикон.— Пг., 1918. № 16. С. 13. То же // Пламя.— Пг., 1919. № 41. С. 16. Печатается по первой публикации.

По словам Н. Н. Грин, стихи эти были написаны в 1910 г. (ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 46). Как и рассказ «Остров Рено» (1909) они по-своему обозначили выход писателя на свой — «гриновский» — путь творчества.

Искажения // Чертова перечница.— Пг., 1918. № 8. Печатается по этой публикации.

Авель, Каин — согласно текстам Ветхого Завета, сыновья Адама — первого человека, созданного Богом. Каин из зависти убил Авеля; его имя стало символом братоубийства, предательства.

Как в стихотворении «Реквием», позиция Грина меньше всего напоминает брюзжание разозленного обывателя. Лаконичное и горькое, оно в немногих строках показывает драматические реалии наступившего быта: затаенность, ожидание ареста, близость смерти.

Движение // Пламя.— Пг., 1919. № 39. С. 9. Печатается по этой публикации.

Голиаф — великан из племени филистимлян, которое в XII—XI вв. до н. э. владело Палестиной.

Давид — царь Израильско-Иудейского государства (XI—X вв. до н. э.). Поэт, философ, воин; известен как автор Псалтири — Книги Псалмов Ветхого Завета.

Саул — царь, основатель Израильско-Иудейского государства (XI—X вв. до н. э.). Под его водительством израильские племена освободились от господства филистимлян.

«Движение» — одно из наиболее часто цитируемых стихотворений Грина. Логика В. Харчева такова: «От исторического действия к пробуждению творчества и творческой жизни по законам мечты, к идеалу — таково «движенье», по Грину. Первое откровенно оптимистическое произведение — мировоззрение Грина до революции было пессимистическим». (Указ. кн.— С. 145.) Стихотворение, несомненно, декларативно, но кредо автора представляется несколько иным: Грин утверждал неистребимость мечты как главного духовного движителя, способного открыть «все пути».

Сон // Пламя.— Пг., 1919. № 56. С. 15. Печатается по этой публикации.

Одно из наиболее совершенных по форме стихотворений. Идея — «гриновская» по самой сути своей: сказочные птицы помогают в беде «собратьям» — парусным кораблям, оберегают их в пути.

ПОЭМА

Ли (необычайная форма) // Свободная Россия. Веч. вып.— Пг., 1917. 30 мая. С. 2. Поэма была опубликована журналом «Москва» (1969, № 5, с. 203—204), но число опечаток, пропусков и искажений значительно снизили уровень публикации. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве Ю. А. Первовой.

По словам Н. Н. Грин, поэма была написана вслед за рассказом «Остров Рено». Сведения об этом произведении содержатся в письме А. С. Грина к редактору газеты «Биржевые новости» В. А. Бонди: «...Несколько необычной формы представляю Вам рассказ — рассказ в стихах (не стихи, а именно проза, написанная стихотворным размером); мне показалось, что сюжет требует такой формы... Я четыре года писал этого «Ли», стараясь добиться наибольшей простоты. Посвящаю А. И. Куприну с согласия и даже по желанию последнего» (ИРЛИ.— Р. 1. Оп. 5. № 384). Расцвет их дружбы пришелся на 1912—1918 гг. Грин только что вернулся из архангельской ссылки и остро нуждался в литературных связях. Но особенно ценной для Грина была поддержка в тот момент, когда он начал писать свои «странные» рассказы и не был понят. А. И. Куприн ввел Грина в «Новый журнал для всех», где были опубликованы рассказы «Рай», «Колония Ланфиер», «Пролив бурь», «Синий каскад Теллури», а затем и в журнал «Современный мир», где публиковались такие рассказы, как «Капитан Дюк» и др. Позднее у писателя возник замысел написать об отношениях с Куприным — он всегда с теплым чувством и интересом вспоминал «купринское время» — начиная с «богемского» 1912-го и дальнейшие годы...» (ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 16).

В примечаниях к рассказу Н. Н. Грин писала: «...Любил А. Ç. этот рассказ, называл его чаще «поэмой». Образ Ли он повторил в Бам-Гране — рассказ «Ива» (1965 г., архив В. М. Россельса).

Добавим, что Грин не раз впоследствии обращался к любимому волшебнику, язвительному и доброму: Бам-Гран спасает влюбленных в неоконченном романе «Алголь — звезда двойная» (ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. Хр. 28), Бам-Гран появляется в первых черновиках романа «Блистающий мир» (ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 64). Наиболее значителен образ Бам-Грана в рассказе «Фанданго» — единственном произведении Грина, в котором сосуществуют Петроград и Зурбаган.

Теме «жить для других», пишет В. М. Россельс, была посвящена «совсем уж «гриновская» полуфантастическая поэма «Ли», напечатанная при жизни автора всего один раз... Герой встречает настоящего волшебника, Ли, который не только сам дважды спасает его от беды, но — и это, пожалуй, самое главное — обучает его стремлению п о м о г а т ь д р у г о м у» (Р о с с е л ь с В. Сколько весит слово: Сб. статей.— М., 1984, с. 404).

Ю. А. Первова

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ 1917—1930

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМА

Грин А. С.

Г85 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 3. Рассказы (1917—1930); Стихотворения; Поэма/Сост. с науч. подгот. текста В. Росселься: Примеч. А. Ревякиной, Ю. Первовой.— М.: Худож. лит., 1991.—734 с.

ISBN 5-280-01611-X (Т. 3)

В третьем томе Собрания сочинений представлены рассказы А. С. Грина 1917—1930 годов, а также неизвестные ранее широкому читателю стихотворения и поэма.

Г $\frac{4702010201\text{-}241}{028(01)\text{-}91}$ Подписное **ББК 84Р7**

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГРИН

Собрание сочинений в пяти томах
ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор О. Дворцова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор И. Филатова

ИБ № 6292

Сдано в набор 03.12.90. Подписано в печать 12.08.91. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Т. таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64. Усл. кр.-отт. 38,64. Уч.-изд. л. 38,71. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—4116. Заказ № 1769. Цена 8 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

